



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





*Acquired through the*  
HOOVER INSTITUTION

*The Nicolas A. de Basily  
Memorial Collection*



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES







СОЧИНЕНІЯ

А. И. ГЕРЦЕНА

ТОМЪ I





СОЧИНЕНІЯ

А. И. ГЕРЦЕНА

ТОМЪ I

## Сочиненія А. И. ГЕРЦЕНА (Искандера)

---

- БЫЛОЕ И ДУМЫ. 4 тома. Лондонъ и Женева. 1861—1867.  
ЕЩЕ РАЗЪ. (Сборникъ статей.) Женева, 1866.  
КРЕЩЕНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. Третье изданіе. Лондонъ, 1858.  
КТО ВИНОВАТЪ? Романъ въ двухъ частяхъ. Лондонское изданіе.  
ПИСЬМА ИЗЪ ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ. (1847—52.) Съ портретомъ  
автора. Лондонъ, 1858.  
ПРЕРВАННЫЕ РАЗСКАЗЫ. (Съ портрет. автора.) Лондонъ, 1857.  
РУССКІЙ НАРОДЪ И СОЦІАЛИЗМЪ. Письмо къ И. Мишле. (Пе-  
реводъ съ французскаго.)  
СТАРЫЙ МІРЪ И РОССИЯ. Письма къ В. Лантону. (Переводъ съ  
французскаго.) Лондонъ, 1858.  
СЪ ТОГО БЕРЕГА. Лондонъ, 1858.  
ТЮРЬМА И ССЫЛКА. (Съ портретомъ автора.) Лондонъ, 1858.  
ФРАНЦІЯ ИЛИ АНГЛІЯ? (Переводъ съ французскаго.) Лондонъ.  
CAMICIA ROSSA. La chemise rouge, Garibaldi à Londres, (en fran-  
çais) Bruxelles, 1865.  
DE L'AUTRE RIVE, (en français). Genève, 1871.  
DU DEVELOPPEMENT DES IDÉES RÉVOLUTIONNAIRES EN  
RUSSIE. Londres. 1853.  
LA CONSPIRATION RUSSE DE 1825, suivie d'une Lettre sur l'é-  
mancipation des paysans en Russie. Londres, 1858.  
LA FRANCE OU L'ANGLETERRE? Variations russes sur le thème  
de l'attentat du 14 Janvier 1858. Londres, 1858.  
FRANCE OR ENGLAND? London, 1858.  
LA MAZOURKA. Un article du *Kolokol*, dédié avec profonde sympa-  
thie et respect à Edgar Quinet, (en français). Genève, 1869.  
LE PEUPLE RUSSE ET LE SOCIALISME. Lettre à M. Michelet.  
LES MÉMOIRES. Les volumes 1 à 3. Paris, 1860—62.  
LETTRE adressée à l'empereur de Russie. Genève, 1866.  
LETTRES SUR LA FRANCE ET L'ITALIE. Genève, 1871.  
NOUVELLE PHASE DE LA LITTÉRATURE RUSSE. Bruxelles, 1868.
- 

Соч. А. И. Герцена въ сотрудничествѣ съ Н. П. Огаревымъ и др.

ЗА ПЯТЬ ЛѢТЪ. (1855—60). Соціальныя и политическія статьи  
Искандера и Н. Огарева. Лондонъ, 1860—61.

КОЛОКОЛЬ. 1857—68. Лондонъ и Женева.

ПОЛЯРНАЯ ЗВѢЗДА. (1857—1869.) Лондонъ и Женева.

---

СБОРНИКЪ ПОСМЕРТНЫХЪ СТАТЕЙ. 2-ое изд. Женева, 1874.

---

*Herzen, Ad.*

ŒUVRES D'ALEXANDRE HERZEN

СОЧИНЕНІЯ

А. И. ГЕРЦЕНА

СЪ ПРЕДИСЛОВІЕМЪ

ТОМЪ I

ДНЕВНИКЪ  
ДИЛЕТТАНТИЗМЪ ВЪ НАУКѢ  
БУДДИЗМЪ ВЪ НАУКѢ

GENÈVE — BALE — LYON

H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR

1875

Tous droits réservés.

*Ve*



---

Genève. — Imp. russe, A. Troussoff, chemin de la Cluse, 12.

---

AC 65

H/42

v. 1-2

ОГЛАВЛЕНІЕ

	СТР.
Предисловіе. . . . .	VII

ДНЕВНИКЪ

1842. . . . .	1
1843. . . . .	70
1844. . . . .	159
1845. . . . .	259

ДИЛЕТТАНТИЗМЪ ВЪ НАУКЪ

I. Дилеттантизмъ въ наукъ (1842) . . . . .	279
II. Дилеттанты-Романтики (1842). . . . .	300
III. Дилеттанты и цехъ ученыхъ (1842) . . . . .	324
IV. Буддизмъ въ наукъ (1843). . . . .	351





## ПРЕДИСЛОВІЕ

Прошло болѣе пяти лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ умеръ Герценъ. Эти пять лѣтъ, наполненные грозными, міровыми событіями, разрушили европейское равновѣсіе, измѣнили до основанія общественный строй многихъ странъ; они уничтожили много надеждъ, породили много требованій, указали много новыхъ политическихъ условій, вызвали изъ глубины общественной жизни много сложныхъ и важныхъ задачъ. Вездѣ въ Европѣ старый порядокъ быстро рушится, вездѣ появляются еще неясныя очертанія новаго склада: во всѣхъ политическихъ партіяхъ, прежніе дѣятели обойдены, они уступаютъ свое мѣсто новымъ дѣятелямъ, приносящимъ инныя мысли, инныя чувства, иной темпераментъ. Въ такія эпохи переломовъ, быстрыхъ толчковъ впередъ, лучшіе люди прошедшаго скоро забываются, они быстро старѣютъ въ глазахъ обновленнаго общества и остаются развѣ лишь какъ историческія воспоминанія, не имѣющія ничего общаго съ дѣйствительностью.

Постигла ли эта участь, общая всѣмъ сходящимъ со сцены, и покойнаго Герцена? стоитъ ли онъ, съ своей блестящей прошедшей дѣятельностью, въ разрѣзъ съ настоящимъ и въ какой мѣрѣ примутъ будущія поколѣнія оставленное имъ литературное наслѣдство? Вопросы эти не могутъ имѣть ничего обиднаго ни для памяти Герцена, ни для его друзей и почитателей; они истекаютъ изъ необходимыхъ, непреложныхъ законовъ исторіи и должны быть рѣшены на главномъ листѣ настоящаго „Собранія.“

Отъ рѣшенія этихъ вопросовъ зависитъ, очевидно, самый характеръ изданія. Если Герценъ пересталъ быть человекомъ современнымъ, если онъ настолько опереженъ событіями, что между его мыслью и мыслью окружающей среды образовалась уже разсѣлина, которую время, какъ это всегда бываетъ, будетъ все болѣе и болѣе углублять и расширять, то бесполезно тратить и трудъ и матеріальныя средства на воспроизведеніе всего того, что вышло изъ подъ его

пера. Такое собраніе имѣло бы развѣ характеръ изъясненія уваженія къ памяти умершаго, со стороны его семейства или его друзей, оно не имѣло бы для публики, для общества никакого серьезнаго значенія. Достаточно было бы выбрать то, что имѣетъ еще общій интересъ, оставляя все остальное въ видѣ библиографической рѣдкости, доступной не многимъ любопытнымъ и любознательнымъ.

Пишущій эти строки долго думалъ объ этомъ; онъ внимательно перечиталъ все, оставленное Герценомъ, онъ сравнилъ его съ тѣмъ, что теперь пишется по тѣмъ же вопросамъ, онъ взвѣсилъ достоинства и недостатки съ безпристрастіемъ, тѣмъ болѣе для него легкимъ, что онъ стоитъ на совершенно другой точкѣ зрѣнія, и пришелъ къ глубокому и искреннему убѣжденію, что возсозданіе творенія Герцена, во всѣхъ его подробностяхъ, будетъ услугою для его соотечественниковъ, не только въ смыслѣ обогащенія литературы систематическимъ собраніемъ произведній замѣчательнаго писателя, но и въ смыслѣ прямаго, непосредственнаго поученія.

На основаніи этого убѣжденія, которое раздѣляютъ всѣ тѣ, которые близко знаютъ труды покойнаго, предпринято настоящее изданіе. Оно будетъ заключать въ себѣ, по возможности въ хронологическомъ порядкѣ, все, что Герценъ напечаталъ или оставилъ послѣ себя въ рукописи, кромѣ развѣ нѣкоторыхъ мелкихъ, отрывочныхъ статей, появившихся въ *Колоколѣ* и имѣющихъ чисто личный и временной характеръ; въ послѣднемъ томѣ будетъ приложена имѣющаяся, впрочемъ немногочисленная, переписка. О самомъ способѣ изданія можно сказать не многое, такъ какъ способъ этотъ зависитъ отъ многихъ весьма измѣнчивыхъ и трудно опредѣлимыхъ условій.

Еслибъ въ рукахъ издателей были достаточныя средства, все изданіе, въ которое войдетъ вѣроятно болѣе 15 томовъ такого формата какъ настоящій томъ, могло бы выйти въ теченіи полутора года. Но не таковы существующія условія. Изданіе, предпринятое семействомъ покойнаго, на свои собственные средства и на средства пожертвованныя весьма не многими друзьями, должно подвигаться осторожно и слѣдовательно медленно: его быстрота будетъ зависѣть отъ успѣха первыхъ томовъ, а достаточный успѣхъ заграницей напечатанной русской книги можно ожидать и желать, на него нельзя рассчитывать. Конечно можно было прибѣгнуть къ подпи-

скѣ; это средство, весьма употребительное, когда дѣло идетъ о человѣкѣ, игравшемъ видную роль, часто удается и издатели о немъ думали. Имъ казалось съ перваго взгляда, что собрать какіе нибудь 20,000 франковъ на такое дѣло, которое во всякомъ случаѣ окупить хоть часть издержекъ, очень возможно и даже не трудно; но при ближайшемъ разсмотрѣніи дѣла, они отказались отъ этого пути. Всякая подписка удается только при условіи значительной публичности; обращаться въ русскіе журналы конечно нечего было и думать — имя Герцена пугаетъ правительство, слѣдовательно оно запрещено; заграничныя періодическія изданія недостаточно распространены въ Россіи да и притомъ, надо сознаться, издателямъ показалось недовкимъ прибѣгать къ иностранной прессѣ для того, чтобы просить средства на печатаніе сочиненій Герцена. Это имя русское, оно вплетено во всѣ главныя событія современной Россіи — оно должно остаться цѣлымъ, нетронутымъ въ средѣ немногихъ русскихъ друзей до тѣхъ поръ, пока обстоятельства позволятъ ему вернуться прямо и свободно въ оставленное отечество и явиться на судъ ничѣмъ не стѣсненнаго общественнаго мнѣнія. Таковы причины, побудившія насъ начать изданіе и таковы его особенныя условія.

Но указать эти причины, высказать убѣжденіе, что полное собраніе сочиненій Герцена не анахронизмъ, намъ кажется недостаточнымъ. Убѣжденіе это, если оно не субъективный взглядъ, не увлеченіе родственной связи или дружбы, должно имѣть свое основаніе и быть способнымъ передаваться всякому безпристрастному, непредупрежденному человѣку. Читатель, надѣмся, позволитъ намъ объяснить наше убѣжденіе, оправдать нашъ взглядъ, опредѣлить нашу мысль. Съ этою цѣлью помѣщено предисловіе къ первому тому полнаго собранія сочиненій.

Чтобъ узнать человѣка и опредѣлить его значеніе нужно, разумѣется, прежде всего, знать его біографію, прослѣдить его жизнь съ возможной подробностью, и какъ частнаго человека и какъ общественнаго дѣятеля. Эта біографія существуетъ, и нѣтъ надобности ее здѣсь повторять. Она написана самимъ Герценомъ и вошла, подъ разными заглавіями, въ *Былое и Думы*, которыя обнимаютъ весь періодъ ранней молодости, университетской жизни, правительственныхъ преслѣдованій въ Россіи и заграничной жизни до шестидесятихъ годовъ. Въ посмертныхъ сочиненіяхъ и нѣсколькихъ,

еще при жизни напечатанныхъ брошюрахъ (напр. „*Samisïa gosva*“ и др. находятся очерки изъ лондонской жизни, т. е. изъ временъ блестящаго успѣха *Колокола* и *Полярной Звѣзды*. Конечно, все это отрывочго, во всемъ этомъ нѣтъ той послѣдовательности, которую мы привыкли встрѣчать въ біографіяхъ, потому что Герценъ описывалъ окружавшую его среду и знакомыхъ ему людей гораздо больше чѣмъ себя, но во всемъ что онъ о себѣ сообщаетъ, такая искренняя правда, такое неподражаемое сходство съ дѣйствительностью, которыя дѣлаютъ рассказъ его неизмѣримо интереснѣе всякаго систематическаго изложенія.

Намъ остается сказать нѣсколько словъ о послѣднихъ годахъ, о которыхъ не имѣется до сихъ поръ печатныхъ свѣдѣній. Послѣ окончанія польскаго возстанія, въ 1864 г., Герценъ покинулъ Лондонъ и переселился въ Женеву. *Колоколъ*, нѣкогда такъ грозно звонившій тризну умершему и благовѣсть оживающему, все еще выходилъ—но вліяніе его быстро уменьшалось; ясно было, что въ Россіи настала какая то новая эпоха, что погода переменилась, что вѣтеръ изъ попутнаго сталъ противнымъ. Явились не только новое направленіе и новыя общественныя требованія, явились новые люди, которые скоро, гонимые правительствомъ, стали пріѣзжать изгнанниками на западъ. Съ ними Герценъ столкнулся въ Женевѣ—этомъ международномъ центрѣ политической эмиграціи. „Общее между нами было слишкомъ обще, писалъ онъ. Вмѣстѣ идти, служить, по французскому выраженію, вмѣстѣ что нибудь дѣлать—мы могли, но вмѣстѣ стоять и жить, сложа руки, было трудно“ \*). Трудность эта была изъ тѣхъ, которыя должны неминуемо увеличиваться и усложняться обстоятельствами; разладъ, повторявшійся въ разныхъ формахъ каждодневно и происходившій отъ различія темпераментовъ, образованія, взглядовъ на вещи не могъ кончиться примиреніемъ.

Споры, изъ сферъ общихъ вопросовъ, перешли мало по малу въ область мелкихъ житейскихъ дразгъ; молодые революціонеры стали сначала учить покровительственнымъ тономъ „отсталыхъ стариковъ,“ потомъ упрекать ихъ въ барствѣ, въ непослѣдовательности, наконецъ, просто обвинять ихъ въ неправильномъ присвоеніи себѣ чужихъ денегъ. По этой прогрессіи можно было, понятно, далеко уйдти.

\*) Сборникъ посмертныхъ статей: „Общій Фондъ.“

Здѣсь необходимо сдѣлать ту оговорку, которую сдѣлалъ самъ Герценъ въ своей статьѣ: „Общій Фондъ.“ Я вовсе не желаю прямо или косвенно оскорбить молодую эмиграцію, принесшую изъ Россіи и свои убѣжденія и свои особые революціонныя приемы. Она была продуктомъ если не своего времени, то по крайней мѣрѣ своей среды и тѣхъ особенныхъ обстоятельствъ, которыя развились въ Россіи въ началѣ шестидесятыхъ годовъ и о которыхъ будетъ рѣчь ниже. Личности въ этомъ случаѣ исчезаютъ, онѣ не отвѣтственны, ихъ бесполезно и бессмысленно осуждать, какъ бесполезно и бессмысленно сѣтовать на горькіе плоды, растущіе на дикомъ деревѣ; но интересно, полезно и поучительно констатировать новое направленіе и изучать его.

Два года, проведенные Герценомъ въ Женевѣ, были для него тягостными годами. *Колоколъ* не расходилоя, мелкіе споры съ эмиграціей положительно отравляли жизнь. Въ началѣ 1867 года Герценъ уѣхалъ изъ Женевы и съ тѣхъ поръ пріѣзжалъ въ нее только на короткое время. Выборъ новаго мѣстожителства представлялъ не мало затрудненій: онъ хотѣлъ продолжать свою дѣятельность, продолжать *Колоколъ*, для этого надо было имѣть подъ рукой типографію, а ее не позволили бы ни во Франціи, ни въ Италіи, ни даже въ Бельгіи. Онъ рѣшился оставить редакцію свою въ Женевѣ и жить въ другомъ мѣстѣ. Остановившись нѣкоторое время въ Италіи, онъ провелъ двѣ зимы въ Ниццѣ, провелъ нѣкоторое время въ Брюсселѣ и мѣсяца за три до своей смерти пріѣхалъ въ Парижъ, гдѣ намѣревался окончательно остаться.

*Колоколъ*, выходившій съ 1-го Января 1868 года на французскомъ языкѣ, прекратилъ свое существованіе въ началѣ 1869 г. Время чисто политической пропаганды кончилось; не съ кѣмъ было говорить: одни не хотѣли или не могли слушать, другіе не хотѣли или не могли понимать. Но таланту Герцена оставалось еще обширное поприще. Обращенный на вопросы общіе, не стѣсняясь ни географическими границами, ни измѣнчивыми потребностями времени, онъ могъ повѣдать намъ еще многое изъ видѣннаго и надуманнаго — таково было ожиданіе всѣхъ друзей. Въ цвѣтѣ силъ, успокоенный, послѣ долгой и часто неблагоприятной борьбы, окруженный той широкой умственной средой, которая въ Парижѣ такъ безпристрастна, такъ человѣчна, Герценъ, безъ всякаго сомнѣнія, занялся бы литературными работами,

которыя выходили у него такъ неподражаемо хороши. Обстоятельства сложились иначе.

Еще въ 1868 г. у Герцена открылся діабетъ, болѣзнь съ которой можно иногда очень долго жить, но которая не рѣдко оканчивается быстро смертью. Крѣпкое, здоровое тѣлосложеніе больного и во время принятыхъ мѣръ скоро улучшили состояніе и можно было надѣяться на совершенное выздоровленіе; неожиданное обстоятельство разстроило эти надежды. Въ Январѣ 1870 г. Герценъ простудился и получилъ воспаленіе лѣваго легкаго. Всякій воспалительный процессъ при сахарной болѣзни въ высшей степени опасенъ и съ третьяго же дня стало ясно, что не оставалось никакого спасенія. Герценъ умеръ ночью съ 20 на 21 Января, на шестой день послѣ появленія первыхъ симптомовъ, сохранивъ память почти до послѣдней минуты и не подозрѣвая опасности своего положенія. Похороны его привлекли огромную толпу; почти вся французская республиканская партія была на лицѣ, много шло за гробомъ старыхъ дѣятелей, даже простыхъ работниковъ, знавшихъ Герцена въ 1848 году. Тѣло его перевезено въ Ниццу, гдѣ надъ могилой его скоро будетъ поставленъ монументъ, заказанный семействомъ на деньги, собранныя по подпискѣ.

Таковы главные факты послѣднихъ лѣтъ. Я сообщаю ихъ вкратцѣ, не вдаваясь въ подробности, потому что это предисловіе не имѣетъ характера біографіи — на него должно смотрѣть какъ на объясненіе литературной дѣятельности Герцена а не какъ на рассказъ различныхъ эпизодовъ его жизни.

Мнѣнія о Герценѣ существуютъ самыя разнообразныя, самыя противорѣчивыя. Одни, становясь на точку зрѣнія существующихъ государственныхъ понятій, весьма пламенной и искренней но и узкой любви отечества считаютъ его преступнымъ революціонеромъ, потому что онъ, не стѣсняясь никакими второстепенными соображеніями, бичевалъ старый порядокъ и измѣнникомъ своей родины, потому что онъ покинулъ ее и раскрывалъ передъ глазами иностранцевъ ея уродства и болѣзни. Это мнѣніе *старыхъ*, консерваторовъ, принимая это слово въ смыслѣ личныхъ убѣжденій а не партіи, такъ какъ въ Россіи нѣтъ и не можетъ быть никакихъ политическихъ партій. Другіе, исходя изъ западныхъ теорій революціи и социализма, которыя, быть можетъ, нѣсколько преждевременны и „теплично“ привились нѣкоторой части

русского общества, смотрятъ на него какъ на человѣка отсталого, или скорѣе *недошедшаго*, лишеннаго той безграничной смѣлости мысли, которая позволяетъ доходить легко и свободно до самыхъ крайнихъ предѣловъ, какъ бы парадоксальны они ни были. Это мнѣніе молодыхъ, *новыхъ*, мечтающихъ быстро и насильственно перестроить складъ русскаго общества. Третіе наконецъ, люди уничтоженія крѣпостнаго права и слѣдовавшихъ за нимъ реформъ, люди усовершенствованій а не идеальнаго совершенства, почитаютъ его представителемъ либеральныхъ идей въ Россіи, лучшимъ выраженіемъ дѣйствительно прогрессивной политики, результатомъ которой было бы увеличеніе благосостоянія отечества. Въ одномъ всѣ согласны, и друзья и враги и русскіе и иностранцы: Герценъ былъ умный человѣкъ и замѣчательный писатель. Это, сколько мнѣ извѣстно, никто никогда не оспаривалъ.

Въ сущности, во всѣхъ этихъ несогласныхъ и противорѣчивыхъ отзывахъ есть и доля истины и доля несправедливости. Совершенно вѣрно и то, что Герценъ былъ революціонеромъ и то, что онъ не былъ анархистомъ, не ошибаются ни тѣ, которые осуждаютъ его въ крайности, ни тѣ, которые упрекаютъ его въ умѣренности, потому что между его мнѣніями, были мнѣнія крайнія и мнѣнія умѣренные. Противники и почитатели ошибаются въ одномъ и, безъ сомнѣнія, весьма важномъ пунктѣ: они употребляютъ въ своихъ сужденіяхъ непригодную мѣрку, они всѣ исходятъ изъ ложной оцѣнки.

Герценъ вовсе не былъ политическимъ человѣкомъ. Ни по складу ума, ни по темпераменту, ни по характеру онъ не подходитъ подъ опредѣленіе практическаго дѣятеля на поприщѣ политическихъ вопросовъ. Я очень хорошо понимаю, что такой взглядъ можетъ показаться многимъ страннымъ, даже парадоксальнымъ. Съ раннихъ лѣтъ Герценъ подвергался политическимъ гоненіямъ; посаженный въ тюрьму, сосланный въ отдаленныя губерніи, лишенный въ послѣдствіи всѣхъ правъ имуществъ и всѣхъ правъ состоянія, объявленный „государственнымъ преступникомъ“, приговоренный чуть ли не на каторжную работу, ему кажется трудно отказать въ качествѣ политическаго человѣка. Можно къ этому, пожалуй, прибавить еще другія, болѣе основательныя соображенія. Развѣ *Колоколъ* не былъ дѣломъ чисто политической пропаганды? Развѣ среда, въ которой Герценъ жилъ



въ Лондонѣ, не была средой политическихъ изгнанниковъ всѣхъ государствъ и политическихъ конспираторовъ всѣхъ странъ? Развѣ не имѣлъ онъ прямыхъ и близкихъ сношеній съ людьми, которые такъ опрометчиво кинулись въ несчастное польское возстаніе? Все это безспорно, но все это ничего не доказываетъ. Мнѣнія правительства, въ особенности такого какимъ было русское правительство въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, не есть еще авторитетъ при оцѣнкѣ людей; и Пушкинъ былъ сосланъ, и Сильвіо Пелико сидѣлъ девять лѣтъ въ казематахъ. Правительство преслѣдуетъ всѣхъ тѣхъ, которыхъ считаетъ въ данную минуту для себя опасными а понятіе объ этой опасности весьма измѣнчивое, весьма смутное, и, слѣдуетъ прибавить, большею частью весьма странное.

Въ 1834 году двадцати двухъ лѣтняго Герцена арестуютъ, держатъ восемь мѣсяцевъ въ тюрьмѣ, допрашиваютъ и наконецъ торжественно приговариваютъ къ ссылке за то, что пѣли какія то неблагонамѣренныя пѣсни на именинномъ обѣдѣ, на которомъ онъ не присутствовалъ; въ 1849 году, безъ всякихъ поводовъ и объясненій, у Герцена конфискуютъ его состояніе и годъ спустя посылаютъ ему приказъ возвратиться въ Россію. Ни молодой человѣкъ, только что вышедшій изъ университета и ревностно занимавшійся тогда философіей, ни туристъ, ѣхавшій по его собственному выраженію „безъ всякаго опредѣленнаго плана, съ единственной цѣлью остаться до нельзя за границей,“ и не думали бунтовать противъ правительства — ихъ приняли за какихъ то заговорщиковъ, опасныхъ для русскаго самодержавія. Стоитъ прочесть появляющійся здѣсь въ первый разъ *Дневникъ*, чтобы убѣдиться, что Герценъ, уже возвратившійся изъ ссылки и собирающійся въ чужіе края, вовсе не былъ и не намѣревался быть политическимъ агитаторомъ. *Дневникъ* этотъ не предназначался для печати — это была просто записная книжка, въ которую вписывалось въ часы досуга то, что приходило на умъ, безъ всякаго опасенія цензурнаго или полицейскаго вмѣшательства; въ немъ первое мѣсто занимаютъ вопросы философскіе, историческіе, литературные и только изрѣдка появляются взгляды политическіе да и то чисто абстрактнаго, теоретическаго характера. Можно сказать навѣрное, что еслибъ Герцена не преслѣдовали, еслибъ дали его таланту свободно развиваться, онъ продолжалъ бы идти по тому пути, на которомъ мы находимъ *Дилеттантизмъ* въ



*наукъ, Письма объ изученіи Природы, и Кто виноватъ?*

Во всемъ этомъ есть смѣлыя, либеральныя мысли, во всемъ этомъ видѣнъ свободный умъ, не раздѣляющій предразсудковъ тогдашней среды, но нѣтъ и тѣни какихъ бы то ни было политическихъ замысловъ. Правительство, не смотря на свои гоненія, не могло конечно измѣнить склада ума и темперамента Герцена — онъ остался и послѣ ссылки, и во время своего хотя и добровольнаго, но необходимаго, изгнанія тѣмъ же художникомъ и мыслителемъ, какимъ былъ въ первые года своей литературной карьеры; оно могло только придать его дѣятельности другой характеръ. Такъ дѣйствительно и случилось, но случилось не вдругъ, а постепенно, подъ вліяніемъ цѣлаго ряда важныхъ европейскихъ событій. До 1853 года, т. е. въ продолженіе шестилѣтняго пребыванія за границей, Герценъ въ своихъ сочиненіяхъ касался политики только съ общей, теоретической точки зрѣнія: *Съ той берега, Прерванные рассказы, Письма изъ Франціи и Италіи* произведенія чисто литературныя: въ которыхъ политическія событія играютъ конечно видную роль, но *цѣль* автора, его задача принадлежатъ художеству, а не политикѣ. Развѣ картина Мюллера, представляющая Шенье въ ожиданіи казни, не написана съ желаніемъ вселить въ зрителяхъ сочувствіе къ приговоренному поэту и отвращеніе къ терроризму? Однако никто не скажетъ что эта, во многихъ отношеніяхъ прекрасная картина, политическое произведеніе. Она, какъ и выше названныя сочиненія Герцена, не смотря на свой сюжетъ, остается произведеніемъ художественнымъ.

Съ 1855 года, съ выходомъ I-й части *Полярной звезды* начинается собственно *политическая* дѣятельность Герцена. Всѣ условія сложились, чтобы направить вниманіе русскаго на государственный строй Россіи. На западѣ реакція торжествовала; послѣ іюньскихъ дней и Кавеньяка, 2-ое декабря и Наполеонъ-президентъ, а потомъ Наполеонъ-императоръ, царство развратной буржуазіи, гоненія на все честное и живое; въ Россіи агонія Николаевской системы, война, исходъ которой не могъ быть сомнительнымъ и ожиданіе чего то другого, новаго, лучшаго. Если прибавить къ этому, что Герценъ, жившій въ Лондонѣ, былъ окруженъ обществомъ, тогда многочисленнымъ, изгнанниковъ и политическихъ людей всѣхъ странъ, въ которыхъ революція была убита, станетъ яснымъ, что онъ долженъ былъ мало по малу перейти на поприще политической пропаганды. Но и тутъ слѣдуетъ

сдѣлать оговорку. Я перечиталъ объявленіе о появленіи *Полярной звезды*, напечатанное въ первомъ ея томѣ; оно чрезвычайно мѣтко, въ немногихъ страницахъ обрисовываетъ положеніе Россіи на другой день послѣ смерти Николая, оно указываетъ на всѣ слабыя стороны правленія, начавшагося картечными выстрѣлами на дворцовой площади и кончившагося севастопольскимъ погромомъ, но въ немъ нѣтъ и тѣни того, что можно было бы назвать *политической программой*. „Не думайте, говоритъ Герценъ въ передовой статьѣ второй книжки *Полярной Звезды*, что мы намекаемъ на то, что у насъ программа; мы ее такъ же ищемъ, какъ вы, хотимъ искать вмѣстѣ.....“ это писано въ 1856 году. По немногу, однако, задача опредѣляется и уясняется. Новое царствованіе началось, съ нимъ явились новые люди и новые правительственные виды, желаніе радикальныхъ реформъ стало проникать въ высшія государственныя сферы. Появился *Колоколъ* (1857) съ эпиграфомъ *Vivos voco!* Что то живое, сильное пробуждалось, дѣйствительно, въ то время на крайнемъ сѣверѣ: на мѣсто общихъ, неясныхъ стремленій къ свободѣ, явился практическій и понятный вопросъ объ уничтоженіи крѣпостнаго права. *Колоколъ* посвятилъ себя этому вопросу и развивалъ съ безпощадной логикой, съ неизмѣннымъ постоянствомъ въ большихъ статьяхъ и въ мелкихъ замѣткахъ свои три основныя начала: освобожденіе крестьянъ съ землею, земская воля, свобода Польши. Это, безъ всякаго сомнѣнія, политическая дѣятельность, но съ особымъ спеціальнымъ значеніемъ: она не истекала изъ темперамента Герцена, она истекала изъ необходимости. Въ то время въ Россіи всѣ сдѣлались вдругъ политическими людьми; поэты и философы, ученые и промышленники, духовенство и дворяне — всѣ были увлечены какой-то неудержимой силой въ область общественныхъ вопросовъ и государственныхъ реформъ. Принужденный жить за границей, освобожденный волею правительства отъ требованій цензурнаго устава, Герценъ воспользовался своимъ положеніемъ и совершенно естественно сталъ не только представителемъ оппозиціи, но и центромъ, во кругъ котораго собирались самые радикальные ея элементы. Въ Лондонъ пріѣзжали за лозунгомъ люди всѣхъ сословій и чиновъ, тамъ было нѣчто въ родѣ пятаго, въ Петербургѣ несуществующаго, отдѣленія собственной е. в. канцеляріи, занимающагося изготовленіемъ и обсужденіемъ проэктвъ либеральныхъ мѣръ. Вліяніе Гер-

цена въ то время было огромно; его голосъ доходилъ до Зимняго дворца и проходя чрезъ его стѣны, шелъ дальше, въ глубь обширной страны русской, пробуждая вездѣ давно заснувшую мысль, призывая всѣхъ на великое дѣло освобожденія. Но вліяніе это продолжалось не долго, оно быстро и какъ бы вдругъ исчезло съ началомъ польскаго возстанія — лучшее доказательство, что Герценъ не былъ политическимъ человѣкомъ, что за нимъ не было партіи, что его дѣйствіе на русскую публику происходило отъ временнаго совпаденія его личныхъ симпатій съ настроеніемъ умовъ въ Россіи. Освободивъ крестьянъ и измѣнивъ судопроизводство, Россія остановилась — она исполнила задачу, лежавшую непосредственно передъ ней; для Герцена это былъ первый пунктъ программы, онъ продолжалъ идти далѣе, требовать большаго, не замѣчая, что идетъ одинъ, что требованій этихъ у общества вовсе нѣтъ. То, чего хотѣлъ Герценъ, совершенно раціонально съ точки зрѣнія современныхъ идей, оно логично съ точки зрѣнія здраваго пониманія исторіи, оно пожалуй необходимо для общественнаго благосостоянія, но въ этомъ и состоитъ разница между теоретическимъ изслѣдованіемъ и политическою дѣятельностью, что одно не стѣсняется временными, практическими условіями, а другая подчиняетъ научную логику минутной и часто случайной необходимости.

Я съ нѣкоторою подробностью остановился на этомъ вопросѣ о характерѣ дѣятельности Герцена, потому что вопросъ этотъ чрезвычайно важенъ; для того, чтобы понять значеніе какого бы то ни было дѣятеля, для того, чтобы оцѣнить его настоящее достоинство, его надобно мѣрить подходящей мѣркой. Герценъ былъ прямымъ, типичнымъ продуктомъ своего времени; онъ не былъ политическимъ человѣкомъ потому, что въ то время никакой политики въ Россіи не было и не могло быть. Послѣ минутной вспышки 1825 г., самодержавіе изъ неограниченнаго сдѣлалось необузданнымъ, оно, тяжелою рукой, закрыло всѣ выходы всякимъ политическимъ стремленіямъ и заставило общественную мысль обратиться на другое направленіе: въ Россіи начался тотъ періодъ критики и отрицанія, который, вѣкомъ прежде, съ такимъ блескомъ развился во Франціи. Славянофилы и западники, православные и гегельянцы объявили другъ другу войну; тутъ дѣло шло вовсе не о формѣ правленія — объ ней нечего было спорить — даже не о тѣхъ или другихъ госу-

дарственныхъ улучшеніяхъ, борьба была между старымъ и новымъ въ сферѣ науки, философіи, религіи и искусства.

Переходъ отъ одного историческаго фазиса къ другому, всегда такъ происходитъ: разложеніе начинается съ идей абстрактныхъ и мало по малу доходитъ до конкретныхъ фактовъ политики. Вспомнимъ вѣкъ Вольтера и его сподвижниковъ; тогда, какъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ, о политической революціи не могло быть и рѣчи, всѣ силы шли на разрушеніе укоренившихся предрасудковъ, на освобожденіе мысли изъ подъ опеки религіозной неподвижности. Всякое явленіе, всякое событіе какъ бы мелко оно ни было, служило поводомъ нападокъ, которыя принимали всѣ возможные формы, и форму ученыхъ сочиненій, и форму легкихъ журнальныхъ статей, и форму беллетристическихъ произведеній; при этомъ не было ни опредѣленной философіи, ни строгихъ критическихъ приемовъ, употреблялись всѣ находившіеся подъ рукою средства, чтобъ прорвать плотину, мѣшавшую мысли двигаться далѣе. Сходство обѣихъ эпохъ поразительное, и разница ихъ заключается развѣ только въ народныхъ особенностяхъ и въ сравнительно высшей цивилизаціи ХІХ вѣка. Если взять съ одной стороны людей прошлаго столѣтія, Вольтера, Дидро, энциклопедистовъ, а съ другой, кружокъ дѣятелей, прославившихъ московскій университетъ и русскую литературу сороковыхъ годовъ, Грановскаго, Бѣлинскаго, Герцена, нельзя не увидать съ перваго же взгляда, что у нихъ были тѣ же замыслы, тотъ же темпераментъ, тѣ же цѣли, что они представляютъ собой, въ двухъ различныхъ средахъ, одинаковую степень общественнаго развитія.

Сравненія, конечно, ничего не доказываютъ, но онѣ часто многое объясняютъ, представляя для литературной оцѣнки новыя, дополнительные мѣрила. Здѣсь сравненіе невольно напрашивается: Герцена, съ полнымъ правомъ, можно назвать русскимъ Вольтеромъ.

Двѣ черты характеризуютъ въ особенности великаго французскаго писателя: изумительная всеобщность таланта, способнаго быстро переходить отъ одного предмета къ другому и совершенно своеобразная, беспощадная иронія. Эти двѣ особенности принадлежатъ Герцену въ высокой степени. Безъ сомнѣнія, въ его произведеніяхъ нѣтъ того разнообразія, той универсальности, которыя встрѣчаются въ твореніи Вольтера, онъ, быть можетъ, серьезнѣе глядѣлъ на обще-

ственную жизнь, но это зависѣло отъ того, что ему приходилось заниматься исключительно русскими, сравнительно не сложными и малочисленными вопросами и рѣшать ихъ сообразно требованіямъ не XVIII-го а XIX вѣка. Помимо этого различія въ объемѣ, если можно такъ выразиться, все схоже во французскомъ и русскомъ писателѣ и сходство распространяется не только на индивидуальныя свойства, но и на характеръ вліянія на окружающую общественную среду. Въ самомъ дѣлѣ, нигдѣ, ни въ какой странѣ, послѣ Вольтера, не было человѣка, который, ставъ въ разрѣзъ со всѣмъ установленнымъ и принятымъ, однимъ своимъ перомъ имѣлъ такое необычайное вліяніе, какимъ было вліяніе Герцена на русскую публику. Его читали всѣ, и старые, и молодые, и люди официальные, и люди недовольные и на всѣхъ дѣйствовалъ онъ, ободряя однихъ, вселяя въ другихъ непреодолимый страхъ, онъ сдѣлался необходимымъ элементомъ, его мнѣніе стало нужной составной частью общественнаго мнѣнія.

Такой результатъ не достигается случайно, онъ не зависитъ отъ тѣхъ быстро проходящихъ капризовъ людей, которые возносятся вдругъ на верхъ славы какого нибудь дѣятеля и бросаютъ его потомъ въ глубокую бездну забвенія; тутъ должна быть опредѣленная, разумная причина. Сила Вольтера — это часто повторяли на всѣ лады — состояла въ томъ, что онъ заключилъ союзъ съ королями противъ боговъ. Въ этомъ опредѣленіи, какъ во всѣхъ опредѣленіяхъ, имѣющихъ претензію резюмировать въ нѣсколькихъ словахъ цѣлую жизнь и цѣлый общественный строй, много неточности и много преувеличенія, но въ немъ есть значительная доля правды. Вольтеръ ставилъ вопросы философскіе и нравственные выше вопросовъ политическихъ, вопросовъ о государственной формѣ, онъ имѣлъ слѣдовательно на своей сторонѣ всѣ слои общества, въ странѣ, въ которой скептицизмъ распространился и въ дворянствѣ, и въ духовенствѣ. Лучшие люди того времени принадлежали, по крайней мѣрѣ по рожденію и общественному положенію къ тѣмъ классамъ, которые принято называть „вышними,“ умственное движеніе должно было слѣдовательно идти сверху и не касаться слишкомъ глубоко правъ и преимуществъ привилегированныхъ сословій. Тонкій, аристократическій, въ хорошемъ смыслѣ этого слова, умъ Вольтера, былъ лучшимъ представителемъ этого движенія; онъ сосредоточилъ въ себѣ тѣ каче-

ства, которыя были общи всѣмъ безъ различія и не выходилъ изъ круга тѣхъ вопросовъ, съ которыми всѣ могли быть согласны. Совершенно подобную роль игралъ Герценъ въ Россіи. Онъ тоже, по крайней мѣрѣ въ блестящую эпоху своей дѣятельности, стоялъ на реальной почвѣ дѣйствительно *общихъ* интересовъ, онъ тоже не брезгалъ мнѣніемъ людей официальныхъ, потому что зналъ, что при русскомъ государственномъ строѣ безъ ихъ вмѣшательства нельзя ничего сдѣлать, онъ тоже писалъ царю и давалъ ему совѣты, онъ тоже не дотрогивался до формы правленія, которую никто не думалъ мѣнять, и довольствовался требованіемъ *нравственныхъ* улучшеній, которыхъ всѣ хотѣли. „Мы считаемъ первымъ необходимымъ, неотлагаемымъ шагомъ, писалъ онъ въ предисловіи къ первому номеру *Колокола*: освобожденіе слова—отъ цензуры, освобожденіе крестьянъ—отъ помѣщиковъ, освобожденіе податнаго сословія — отъ побоевъ.“ Это требовала вся передовая часть общества, которая состояла вся, за немногими исключеніями, изъ либеральнаго дворянства, это допускало до нѣкоторой степени и правительство, смутно чувствовавшее, что нужно во что бы то ни стало выбиться изъ старой, опасной колеи. Всѣ предпринятые реформы, всѣ исполненныя улучшенія, носились конечно въ воздухѣ, они лежали, безъ сомнѣнія, въ исторической необходимости, но сложныя общественныя событія, въ особенности въ странахъ политически неразвитыхъ, никогда не начинаются самопроизвольно, для ихъ наружнаго проявленія нужно вмѣшательство человѣка, который вложилъ бы въ свою дѣятельность крѣпкую волю и сильный умъ. Герценъ былъ для Россіи этимъ человѣкомъ, онъ формулировалъ ясно, мѣтко, опредѣленно то, что всѣ думали, то что всѣ чувствовали, то, что всѣ желали. Этимъ объясняется его вліяніе, этимъ опредѣляется его значеніе въ исторіи русской мысли.

Справедливость такой оцѣнки доказывается еще другимъ соображеніемъ. Въ извѣстный періодъ своей дѣятельности, увлеченный логикой, Герценъ переступилъ границу понятій, созрѣвшихъ въ русскомъ обществѣ, онъ коснулся важнаго вопроса внутренней политики, вопроса о Польшѣ и требовалъ его *справедливаго* рѣшенія. Справедливость въ политикѣ пустое слово, мертвая буква до тѣхъ поръ, пока понятіе о ней не сдѣлалось общимъ достояніемъ; относительно Польши въ Россіи не было этого понятія ни въ обществѣ, ни въ правительственныхъ сферахъ, слѣдовательно во

нимъ его нельзя было ничего сдѣлать и Герценъ ничего не сдѣлалъ. Онъ вышелъ изъ своей роли русскаго писателя, онъ сталъ говорить русскому обществу съ точки зрѣнія на западѣ созрѣвшихъ идей, и вліяніе его также быстро прекратилось, какъ быстро развилось оно въ первые годы *Колокола*. Эта ошибка, для которой не трудно найти много и много смягчающихъ обстоятельствъ, но которую, быть можетъ, можно было избѣгнуть, даетъ намъ противоположеніе, позволяющее вѣрнѣе оцѣнить первую часть дѣятельности Герцена и съ полнымъ правомъ сказать, что въ ней онъ былъ русскимъ Вольтеромъ.

Теперь, намъ кажется, самъ собой рѣшается вопросъ о современности сочиненій Герцена, поставленный въ самомъ началѣ этого предисловія. Еслибъ въ его идеяхъ была какая нибудь опредѣленная доктрина, какая нибудь строго обособленная философія, можно бы было найти, что онѣ опережены новыми доктринами, опровергнуты болѣе раціональной философіей. Но доктрины и философія въ нихъ на второмъ планѣ — ихъ главный характеръ, характеръ отрицанія всего отжившаго, вреднаго въ Россіи, преслѣдованія всего мѣшающаго дальнѣйшему развитію. Старое, негодное еще далеко не разрушено; многое поколеблено, многое задавлено подъ ударами беспощадной сатиры, но многое стоитъ еще грознымъ препятствіемъ, черезъ которое трудно и опасно пробиваться всякой новой мысли. Мало того: изъ тѣхъ дикихъ, татарскихъ уродствъ, которыя казались убитыми перомъ Герцена, нѣкоторыя какимъ то чудомъ воскресли опять, доказывая лишній разъ странную живучесть всѣхъ осадковъ прошедшаго. Борьба съ ними не кончена, и для борьбы этой сочиненія Герцена представляютъ цѣлый припасъ орудій.

Послѣ смерти Герцена, русская заграничная литература приняла совершенно другой характеръ. Станки, печатавшіе *Полярную Звѣзду* и *Колокола*, стали печатать *Народное Дѣло*, революціонныя брошюры, двухнедѣльный и неперіодическій *Впередъ*. Сатира, направленная противъ „правящихъ” ословій, замѣнилась воззваніями къ безграмотному „народу” или къ несовершеннолѣтней молодежи, желаніе возможныхъ улучшеній сдѣлалось слишкомъ скромнымъ и уступило мѣсто громкимъ требованіямъ водворенія какого то золотого вѣка, который долженъ будетъ развиваться подъ двойнымъ знаменемъ „революціи” и „соціализма.” Читая эти произведенія „молодой Россіи” нельзя не сознаться.



что между ними и твореніями Герцена, кромѣ общаго желанія способствовать прогрессу, нѣтъ рѣшительно ничего общаго, невозможно даже сказать, чтобъ первыя были измѣненнымъ продолженіемъ или развитіемъ вторыхъ. Это двѣ совершенно разныя вещи, которыя вовсе не пополняютъ другъ друга и которыхъ судьба должна бытъ различна, какъ различно ихъ происхожденіе.

Герценъ резюмировалъ въ себѣ нѣсколько десятилѣтій умственной жизни Россіи, онъ представлялъ собой не какой нибудь слой или классъ людей, а русское современное ему общество безъ всякаго различія сословій. Въ немъ былъ и народный духъ и аристократическое чувство и художественное чутье и научное образованіе, въ него вошли уравновѣшиваясь и сливаясь всѣ элементы русской жизни, онъ былъ типомъ цѣльнымъ, на который нельзя смотрѣть съ какой нибудь специальной точки зрѣнія. Совсѣмъ другими являются новые заграничные русскіе дѣятели; они представляютъ собой болѣе или менѣе значительную дробь русской мысли, они выступаютъ защитниками теоретическихъ интересовъ болѣе или менѣе многочисленнаго класса русскаго общества. Соціально-революціонный переворотъ въ пользу крестьянскаго населенія—вотъ ихъ программа. Программу эту я не стану разбирать; разумна она или нѣтъ, продуктъ ли она отвлеченнаго, кабинетнаго мышленія или точнаго изученія общественныхъ условій—это мнѣ все равно; моя цѣль здѣсь не судить русскую революціонную литературу, а характеризовать ея особенности, по отношенію къ мыслямъ и задачамъ Герцена. Съ этой точки зрѣнія и, отвлекаясь отъ всякихъ субъективныхъ мнѣній и предвзятыхъ идей, нельзя не согласиться, что новая эмиграція гораздо менѣе представляетъ Россію; она высказала въ главномъ своемъ органѣ, что для нея „вопросъ національный долженъ совершенно исчезнуть передъ важными задачами соціальной борьбы” (*Впередъ* № 1); въ ея глазахъ русская революція есть только частный случай общей, необходимой революціи, она, по своимъ убѣжденіямъ, международна, космополитична, она часть интернаціональнаго Союза рабочихъ—она не прямой, непосредственный плодъ земли русской, не смотря на то, что большинство членовъ ея вышло изъ глубокихъ слоевъ русскаго общества и проповѣдуетъ необходимость „идти въ народъ.”

Герценъ, напротивъ того, былъ человекомъ русскимъ, со



всѣми достоинствами и недостатками, принадлежащими русскому человѣку; онъ изучалъ Россію не для того, чтобъ прилагать къ ея развитію соціальныя теоріи, выработанныя на западѣ, а для того, чтобы открыть въ ея нѣдрахъ условія ея самостоятельной жизни. Онъ въ этомъ направленіи шелъ очень далеко, онъ считалъ Россію единственной *сопѣжесей* страной и ставилъ ее въ примѣръ западу — это, быть можетъ, крайность, во всякомъ случаѣ это ясное доказательство того, что онъ смотрѣлъ на современную исторію и современную политику глазами русскаго.

Намъ могутъ сказать, что, подъ вліяніемъ быстро текущихъ событій, Россія измѣнилась въ послѣднее время, что она теперь не то, чѣмъ зналъ ее Герценъ, что въ ней развились другія потребности и другой темпераментъ, что, слѣдовательно, ей нужна другая умственная пища. Такое мнѣніе, странное для всякаго кто хоть немного вдумывался въ историческіе законы, часто приходится слышать. Понятія какъ и нравы народовъ мѣняются вѣками, постепенно и медленно, они не подвержены тѣмъ внезапнымъ метаморфозамъ, какія испытываютъ революціонныя теоріи меньшинства. Правда, что та часть молодаго поколѣнія, которую, по какому то странному злоупотребленію словъ, называютъ „умственнымъ пролетаріатомъ,” бросилась въ совершенно своеобразныя крайнія идеи, но за этой горстью людей стоятъ неподвижно или туго подвигаясь, не только народныя массы, но и все остальное образованное сословіе. Если снять съ поверхности русскаго общества тонкую, едва замѣтную пленку, которую образуетъ „соціально-революціонная партія,” мы найдемъ его такимъ, какимъ было оно тому назадъ десять лѣтъ: оно занято всецѣло детальною борьбой противъ мелкихъ препятствій и мелкихъ предразсудковъ, оно стираетъ съ себя понемногу пыль прошедшаго и вовсе не помышляетъ о какомъ бы то ни было насильственномъ переворотѣ.

Герценъ работалъ и писалъ для этого общества, слѣдовательно его трудъ не утратилъ свое значеніе. Мы предлагаемъ его на судъ читателей. съ полной увѣренностью, что дѣлаемъ полезное дѣло.





# ДНЕВНИКЪ

Съ 25 Марта 1842 г.

---

## Новгородъ.

25 Марта. — Тридцать лѣтъ! Половина жизни. Двѣнадцать лѣтъ ребячества, четыре школьничества, шесть юности и восемь лѣтъ гоненій, преслѣдованій, ссылокъ. И хорошо и грустно смотрѣть назадъ. Дружба, любовь и внутренняя жизнь искупаютъ многое. Но признаюсь, непрерывныя гоненія и оскорбленія нашли средство причинить ужасную боль и при словѣ 30 лѣтъ становится страшно, пора, пора отдохнуть. Я навѣрно отслужилъ свои 15 лѣтъ, могу идти въ безсрочно-отпускные. Даже и 25, если считать годы вдвое, какъ у моряковъ за кампанію.

26. — Вчера получилъ вѣсть о кончинѣ Михаила Федоровича Орлова. Горе и пуще бездѣйственная кос-

ность подѣдаетъ геркулесовскія силы, онъ вѣрно прожилъ бы еще лѣтъ 25 при другихъ обстоятельствахъ. Жаль его. Эта новость, пришедшая въ день моего рожденія *avis*o. *Memento mori* въ одномъ отношеніи и *vive*re *memento* въ другомъ. Примѣръ передъ глазами.

Я никогда не считалъ Михаила Федоровича ни великимъ политикомъ, ни истинно опаснымъ демагогомъ, ни даже человекомъ тѣхъ огромныхъ способностей, какъ о немъ была fama. Но онъ имѣлъ въ себѣ много привлекательнаго, благороднаго, начиная съ наружности до обращенія и пр. Онъ былъ *человѣкъ*, между московскими аристократами, исполненный предразсудковъ, отсталый отъ новаго поколѣнія, упорно державшійся теоріи репрезентативности, какъ она была постановлена въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго вѣка, и выдумывавшій свои теоріи, дивившій своей неосновательностью. Молодое поколѣніе кланялось ему, но шло мимо и онъ съ горестью замѣчалъ это. Я былъ лѣтъ 19, познакомившись съ нимъ. Тогда онъ былъ еще красавецъ: „чело какъ черепъ голый,“ античная голова, оживленныя черты и высокій ростъ придавали ему истинно что-то мощное. Именно съ такой наружностью можно увлекать людей. Возвращенный изъ ссылки, но не прощенный, онъ былъ въ очень затруднительномъ положеніи въ Москвѣ. Снѣдаемый самолюбіемъ и жаждой дѣятельности, онъ быть похожъ на льва, сидящаго въ клѣткѣ и не смѣвшаго даже рычать. *Faute de mieux* онъ окружилъ себя небольшимъ кругомъ знакомыхъ и проповѣдывалъ тамъ свои теоріи: главное лицо по талантамъ и странностямъ занималъ въ этомъ кругу Чаадаевъ. Подавленное честолюбіе, глубокая увѣренность, что онъ могъ бы дѣйствовать съ блескомъ на высшихъ правительственныхъ мѣстахъ и воспоминаніе прошедшаго,

желаніе сохранить его какъ нѣчто святое, ставило Орлова въ непрерывное колебаніе. „Стереть прошедшее“ и явиться кающеюся Магдалиной говорилъ одинъ голосъ, „не сходить съ величественнаго пьедестала, который данъ ему прошедшимъ интересомъ и оставаться окруженнымъ ореоломъ оппозиціонности,“ говорилъ другой голосъ. Отъ этаго Орловъ дѣлалъ непрерывныя ошибки. Вовсе безъ нужды и безъ пользы громогласно иной разъ унижался и пріобрѣталъ одинъ стыдъ. Ибо тѣ, передъ которыми онъ это дѣлалъ, не довѣряли ему, а тѣ, которые были свидѣтелями, теряли уваженіе. Правительство смотрѣло на него какъ на закоснѣлаго либерала и притомъ какъ на безхарактернаго человѣка, а либералы — какъ на измѣнника своимъ правиламъ; даже легкое наказаніе его въ сравненіи съ другими Декабристами не нравилось. И въ самомъ дѣлѣ, непріятно было видѣть на московскихъ гуляньяхъ и балахъ Михаила Ѳедоровича въ то время, какъ всѣ его товарищи были и уничтожались на каторгѣ. Орловъ не умѣлъ носить трауръ, который ему повелѣвала благопристойность высшая. При всемъ томъ, обѣ стороны судили его пристрастно, онъ отнюдь не былъ ни Мирабо, ни Сіэсъ для петербургской аутократіи, также не заслуживалъ насмѣшки либераловъ. Главная вина его *неловкость*. Въ сущности онъ сохранялъ много рыцарски доблестнаго до конца жизни, въ немъ было бездна гуманнаго, добраго. За это мы должны его простить. Въ 1834, я оставилъ его въ цвѣтѣ лѣтъ и силъ, моральныхъ и физическихъ. Пришелъ мой чередъ ссылки; возвратившись наконецъ въ 1840, я видѣлъ его мелькомъ въ 41 г., онъ на меня сдѣлалъ ужасное вліяніе: что-то руинное, убитое было въ немъ. Работавши 7 лѣтъ и все по пустому, чтобъ получить поприще, онъ убѣдился, что *тамъ* никогда не

простятъ, что ни дѣлай; ужасное обвиненіе—онъ смѣлъ думать о правахъ — анаеема нестирающаяся. А юное поколѣніе далеко ушло и съ снисхожденіемъ (а не съ увлеченіемъ) смотрѣло на старика. Онъ все это чувствовалъ и глубоко мучился, занимался отдѣлкой дома, стекляннымъ заводомъ, чтобъ заглушить внутренній голосъ — но не выдержалъ. Съ моей стороны я посылаю за нимъ въ могилу искренній и горькій вздохъ; несчастное существованіе оттого только, что случай хотѣлъ, чтобъ онъ родился въ эту эпоху и въ этой странѣ. Аминь.

28. — Два удара піетизму и католицизму. Архіерей Шартрскій возсталъ въ Парижѣ противъ Германской философіи, пугалъ паденіемъ католицизма etc., но правительство, созданное доктринерами, взяло сторону мысли противъ авторитета. И подобное же повторилось въ Стутгардѣ, гдѣ министръ въ камерѣ рѣшительно вышелъ лицомъ къ лицу сражаться съ католическимъ духовенствомъ. Въ Вяткѣ жилъ сосланный грузинскій князь, онъ не выдержалъ суроваго климата и впалъ въ злѣйшую чахотку, я посѣтилъ его за нѣсколько дней до смерти, онъ былъ едва живъ, но съ видомъ глубокаго убѣжденія сказалъ: „Лишь бы весной не было хуже, а то пожалуй сдѣлается чахотка.“ Вотъ какъ умирающіе не понимаютъ своего положенія; тоже о католицизмѣ и піетизмѣ.

Временной налогъ Пия дѣлаетъ эпоху.

## АПРѢЛЬ МѢСЯЦЪ

2. — Получилъ вѣсть о кончинѣ Карла Ивановича Кало 27 марта въ университетской больницѣ. Ему легко было закрыть глаза, одинъ изъ честнѣйшихъ, благороднѣйшихъ людей, не смотря на свое званіе. Онъ инстинктивно какъ-то любилъ меня, съ самаго дѣтства. Что это какъ быстро уносить могила прежнее поколѣніе. „И тебя уже не стало“!...

— Завтра подаю въ отставку. Одна четверть желаній исполнится; хоть волю употребленія времени приобрѣту.

4. — Господи, какіе невыносимо тяжелые часы грусти развѣдаютъ меня. Слабость ли это? или послѣдствіе того развитія, которое приняла душа моя или наконецъ мое законное право, образъ отраженія во мнѣ окружающаго. Неужели считать мою жизнь оконченною, неужели все волнующее, занимающее меня, всю готовность труда, всю необходимость обнаруженія скоронить, держать подъ тяжелымъ камнемъ пока приучусь къ нѣмотѣ, пока заглохнутъ потребности — и тогда начать жизнь пустоты, роскоши. Да только послѣднее возможно, когда оно естественно течетъ изъ сущности извѣстнаго рода плоскости духа, въ этотъ міръ чужой не взойдетъ. Есть другая жизнь прекрасная и высокая, съ единой цѣлью внутренняго просвѣтленія — но я чувствую, что середь тихихъ занятій кабинета подчасъ является ужасная тоска. Я долженъ обнаруживаться — ну, пожалуй,

по той же необходимости, по которой ищется сверчекъ.  
Гейне говоритъ :

Gut verloren — etwas verloren  
Ehre verloren — viel verloren  
Musst Ruhm gewinnen,  
Da werden die Leute sich anders besinnen.  
Muth verloren — alles verloren  
Da wäre es besser nicht geboren.

Это величайшая истина и потому-то, когда я сознаю совершенную потерю духа, я паду. Но еще, кажется, я далекъ отъ этаго. Счастливы дѣтски-религіозные люди, имъ жить чрезвычайно легко. Но будто возможно изъ совершеннолѣтія перейти въ ребячество иначе какъ черезъ безуміе. Одна мать, потерявшая всѣхъ дѣтей своихъ, говорила мнѣ съ веселымъ видомъ, „я не жалѣю ихъ, я ихъ хорошо помѣстила,“ и она вставала по ночамъ въ заутрени, держала строгій постъ и была счастлива. Я даже завидовать не могу, хотъ удивляюсь великой тайнѣ врачеванія безвыходнаго горя—субъективнымъ мечтательнымъ убѣжденіемъ. У ней несчастіе переполнило душу и обратилось въ безумное блаженство. Но мои плечи ломаются, но еще несутъ! И ужасная мысль, что еще годы надобно таскать эту тяжесть, разливаетъ мракъ и судорожное негодованіе щемитъ душу.

6. — Тенерь всѣ пугаютъ меня ужасными послѣдствіями отставки, но такъ и быть, лучше годъ лишній ссылки, во спокойное употребленіе времени. Одинъ большой плутъ предлагаетъ выпутаться деньгами, быть можетъ она и такъ, деньги у насъ всемогущи. Самодержавіе ограниченное взятками, такъ какъ во Франціи



была нѣкогда монархія limitée par des chansons. Вотъ состояніе! Одно желаніе—силы, силы перенести еще.... сколько — ну навѣрное три года — этихъ свирѣпыхъ гоненій.

8. — Писалъ въ Дубельту, чтобъ увѣдомить его объ отставкѣ. Я не думаю, чтобъ онъ или Г. Бенкендорфъ имѣли что нибудь противъ меня лично, не думаю даже, чтобъ тотъ или другой по охотѣ или по симпатіи дѣлали зло. Но боюсь всего отъ равнодушія; у насъ почти нѣтъ инквизиціи изъ убѣжденій, (развѣ таковъ былъ Мордвиновъ, предмѣстникъ Дубельта). Какъ бы то ни было, я далъ себѣ слово многое сдѣлать, во многомъ уступать, чтобъ добратся до свободы. Я склонилъ голову — тамъ нѣтъ борьбы гдѣ съ одной стороны никакихъ правъ, никакой силы. Понимаю, что подавая въ отставку, я отдалилъ нѣсколько счастливые шансы. Но жертвовать всѣмъ временемъ — это потеря существенная. Я считалъ годъ лишній удаленія за отставку и нахожу, что выгода перевѣшиваетъ.

Написавши такое письмо, я всякій разъ дѣлался боленъ: усталъ, дрожь, безсиліе и волненіе. Вѣроятно это то самое чувство, которое испытываютъ публичныя женщины, первые раза продавая себя за деньги — хотя и защищаясь нуждой. Полнаго отпущенія сознательному грѣху нѣтъ. L'homme se sent flétri. Да, можетъ я этимъ спасу свою индивидуальность. А тутъ вопросъ — да нужна ли индивидуальность моя для чего бы то ни было, или нужна ли на что нибудь индивидуальность, спасаемая такимъ образомъ? Гдѣ же внутренняя жизнь, если человѣкъ не можетъ покориться обстоятельствамъ, какъ бы они скверны ни были, съ гордымъ сознаніемъ правоты. Эгмонтъ и Оранскій! Эгмонтъ рыцарской до-

блестью купилъ плаху. Но надобно *быть* Оранскимъ, чтобъ стяжать право поступать какъ онъ. Спасая себя хитрыми уступками, онъ спасалъ страну. А я спасаю себя? Но неужели моя жизнь кончена, неужели все это вздоръ. *Nein, das sind keine leere Träume!*

Я не могу долго пробыть въ моемъ положеніи, я задохнусь и какъ бы ни вынырнуть — вынырнуть.

12.— Вотъ что значитъ подать въ отставку. Мнѣ стало какъ то легче; явились свѣжія силы и туманъ нѣсколько разсѣялся. Изъ двухъ чудовищъ, стоящихъ подлѣ меня съ вѣчно поднятой дубиной, одно исчезло. И какъ будто съ выходомъ въ отставку я обязанъ работать — ибо досугъ мой, время мое. И буду работать. А между тѣмъ еще не знаю, чѣмъ разрѣшится, какія послѣдствія принесетъ этотъ шагъ.

Хочется написать пропедевтическое слово желающимъ приняться за философію, но сбивающимся въ цѣли, правѣ, средствѣ науки. По дорогѣ тутъ слѣдуетъ указать весь вредъ добрыхъ людей, *любящихъ* пофилософствовать. Враги науки не такъ опасны какъ всѣ полу-піэтисты, полу-раціоналисты. Началъ; что будетъ, не знаю.

13.— Продолжаю въ свободное время лекціи Вильмена. И это мнѣ очень полезно, мы забыли XVIII вѣкъ, тутъ онъ оживаетъ, переносимся снова въ тѣ времена Вольтера, Бюффона — и что ни говори великіе имена. Замѣчательно слѣдитъ какъ въ началѣ своей карьеры Вольтеръ дивитъ, поражаетъ смѣлостью своихъ религіозныхъ мнѣній и черезъ два десятка лѣтъ Гольбахъ, Дидро; онъ отсталъ, матеріализмъ распахнулся во всей силѣ « *Le patriarche ne veut pas se départir de son rémunérateur vengeur; il raisonne là dessus comme un enfant* » пишетъ

Гриммъ. А также смѣло и дерзко выказываетъ свою голову и попираетъ ногами нравственность. Тутъ видишь *das Werden* 93 года; Дидро импровизируетъ:

Et mes mains ourdiraient les entrailles des prêtres  
A défaut d'un cordon pour étrangler les rois.

При всемъ томъ, эта ступень развитія чрезвычайно важна и сдѣлала существенную пользу. Ошибка ихъ состояла въ томъ, что они поняли генезисъ духа во временномъ, конечномъ, приняли его за произведение матеріи, за матерію. Генезисъ отчасти вѣренъ у нихъ; даже если бы нѣсколько шаговъ они пробились бы дальше, то они сами поняли бы, что они со словомъ матерія сопрягаютъ еще что то обладающее ею, призывающее ее къ жизни, что то вѣчное, безпокойное, имѣющее цѣлью проявленіе и пр. атрибуты, не идущіе страдательной матеріи. Такъ какъ Спиноза былъ истиненъ на той точкѣ, на которой стоялъ, и эта точка была необходимой степенью, такъ и ихъ. Что касается до атеизма, онъ послѣдовательнѣе нежели робкій деизмъ Вольтера и Руссо. Впрочемъ Руссо случайно наткнулся на истинный путь Богопознанія, т. е. развитія духа своего до созерцанія Бога. Этотъ ихъ творецъ, геометръ *des jenseits*, неучаствующій, праздный, котораго мы не можемъ знать и передъ которымъ благоговѣмъ, не удовлетворяетъ ни горечь придыханія религіознаго ума, ни строгость логическаго. Отрицаніе бога было шагомъ къ истинному разумѣнію его, отрицаніе его какъ Іеговы, какъ Юпитера, какъ чуждаго земли, сидящаго гдѣ то, совлекало съ него послѣднюю конечность и послѣднюю абстракцію философіи, приданную религіозными представленіями. Для нихъ съ точки зрѣнія анализа и *raison naturelle* Богъ только су-

ществовалъ, какъ природа, какъ вселенная, какъ вѣчный міръ, о которомъ Плиній говоритъ: *Aeternus, immensus, totus in toto, immo vero ipse totum*, тотальность дѣятельности замкнутой *idemque rerum naturae opus et rerum pro natura*. Надо оставить перебродить эту матерію творца и творенія вмѣстѣ, а она должна сама выработаться изъ Лукреціевской тенденціи въ направление современной духовной философіи. Это движеніе — склепъ разума. Это его феноменологія. Но уже послѣ Гольбаховъ, Дидро и С° невозможно чувственно-католическое представленіе, вдохновлявшее глубокіе умы гораздо выше матеріализма, потому что они умѣли оторваться (безсознательно) отъ буквы и переноситься въ сферы абсолютной спекуляціи — но служившіе идолопоклонствамъ массъ. Что за огромное зданіе воздвигнула философія XVIII вѣка, у одной двери котораго блестящій, язвительный Вольтеръ, какъ переходъ отъ двора Людовика XIV къ царству разума а у другой мрачный Руссо, полубезумный наконецъ, но полный любви, и остроты котораго не выражали ни остроумія рѣзкаго, ни родства съ *grand siècle*, а предсказывали остроты *de la Montagne*, С. Жюста и Робеспьера. Вольтеръ съ омерзеньемъ прочелъ въ *Емилѣ*: „И если сынъ короля полюбитъ истинно дочь палача, отецъ не долженъ ему препятствовать.“ Вотъ *réhabilitation de l'homme* чисто демократическая. Масса читала не такъ, какъ Вольтеръ.

Шутки, полуслова дѣйствуютъ — но гордый языкъ лицомъ къ лицу съ властью долженъ былъ поразить у Руссо. Мы привыкли.

И всѣ дѣятели того вѣка были люди жизни въ Англіи и во Франціи: Монтескье, Бюффонъ и пр. Германія выдвинула потомъ свою мысль, свое искусство — обширное

и великое, но выращенное въ кабинетѣ. Біографію германскихъ читать нельзя. Первый человекъ у нихъ Шиллеръ, да развѣ Лессингъ еще. Чему же дивиться, что Фридрихъ II, человекъ практическій, не могъ сродниться съ своимъ отечественнымъ направлениемъ. Для того чтобы симпатизировать съ нимъ надобно было показать ему всю мощь свою (Гёте, Гегель).

15. — 2-го вышелъ указъ, дозволяющій помѣщикамъ дѣлать условія съ крестьянами, которые остаются при землѣ, но уже дѣлаются въ среднемъ положеніи между крѣпостнымъ и помѣщичьимъ подъ названіемъ обязанныхъ. Причина, сказано, чтобъ земли не выходили изъ дворянскихъ родовъ; но есть ли это ограниченіе права отпуска въ свободные хлѣбопашцы, ясно не видать. Силы обязательной указъ не имѣетъ, это предложеніе тѣмъ кто хотятъ. Побудительной причины хотѣтъ не предвидится. Состояніе крестьянъ мнимо улучшится. Это *ex-attachés à la glèbe* среднихъ вѣковъ, *la gente corvéable et taillable*. Замѣчателенъ циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ, объявляющій, что въ этомъ указѣ (который давно былъ ожидаемъ) ничего новаго нѣтъ, что онъ относится къ желающимъ и чтобъ не смѣли *подразумѣвать* иной смыслъ, мнимое освобожденіе крестьянъ *etc. etc. Ne réveillez pas le chat qui dort!*

26. — Дней пять занимался статьей о „дилетантизмѣ въ наукѣ“ — я доволенъ, кажется удачно обрисована эта болѣзнь общая нашимъ *pseudo*-философамъ.

Крестилъ у Рейхеля.

29. — Урокъ отъ Германа. Я поступилъ не вовсе осторожно, однако очень извинительно, мнѣ отвѣчали письмомъ полнымъ если не дерзости, то желанія пока-

затѣ оскорбленіе и принести оскорбленіе. Мнѣ было больно. Старикъ, оказывающій мнѣ въ коротенькое знакомство учтивость и доброе расположеніе вдругъ поставилъ въ такое странное положеніе. Я писалъ и извинился, потому что считаю неосторожность виною; другой сатисфакціи не могло быть и полнѣе не могло. Но когда же люди перестанутъ быть китайцами, когда они не будутъ приводить въ зависимость отъ щепетильнаго самолюбія всѣ прекраснѣйшія отношенія. И какая готовность при тѣни не обиды а подозрѣнія въ забвеніи условнаго поклоненія, которымъ взаимно люди обманываютъ другъ друга — прервать всѣ связи, доставлявшіе удовольствіе etc. Тяжело убѣждаться, что записные эгоисты изобрѣли себѣ лучшій *esprit de conduite*. Надобно совершенную симпатію, единство образа мыслей, много сходнаго въ прошедшемъ и тогда еще нѣсколько лѣтъ близкаго знакомства, шпіонства другъ за другомъ, чтобы дерзнуть откровенно поступать. Я проученъ этими встрѣчами, въ которыхъ за тѣнь симпатіи я простиралъ откровенно облытія и оставался въ дуракахъ. Отъ этаго мнѣ тошно, грустно въ томъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ никого близкаго; а этихъ любезныхъ незнакомцевъ хочется ежедневно мѣнять, они надоѣдаютъ.

— Теперь еще вопросъ, что онъ сдѣлаетъ, получивши мое письмо? Что скажетъ? Я съ полнымъ сознаніемъ что не хотѣлъ оскорбить — извинился. Ложный стыдъ можетъ заставить его поддержать и послѣ того мысль, что я поступилъ дурно. Но истинное благородство требуетъ не того.

30. — Самые жесткіе, неумолимые изъ всѣхъ людей, склонные къ ненависти, преслѣдованію за это, ультра-религіозники — изъ нихъ вѣтъ святой герминдадой.

Оттого что они чрезвычайно вѣшнія натуры, глубина ихъ ложная, они въ другую сторону вышли вонъ изъ глубокой и прекрасной среды жизни, въ которой живетъ все благородное и доброе. Ихъ обуялъ формализмъ и сверхъ всего они поврежденные. Да сверхъ того они играютъ отчаянную игру въ XIX вѣкъ.

## МАЙ МѢСЯЦЪ

4. — Странное сближеніе, читалъ на дняхъ *Прометей* Есхила и *Двое Фоскари* Байрона. Если сравнить Грековъ съ Іудеями, то удивительно на сколько греки *больше* люди, они не могли склониться ни подъ какое иго. Что за громкій, энергическій протестъ этотъ прикованный Титанъ, пренебрегающій Зевсомъ, ругающійся надъ нимъ, и этотъ хоръ океанидъ вѣрный Титану даже послѣ угрозъ. Сколько человѣчески прекраснаго въ молчаніи Прометея, когда его приковываютъ и въ отказъ Юпитеру объяснить пророчество о низверженіи его съ престола. Э. Кинне воспользовался этимъ пророчествомъ и на немъ основалъ поэму, прекрасно придуманную, но плохо и слабо выполненную, въ самомъ дѣлѣ *post facto* слова Прометея кажутся предсказаніемъ Христа. Гёте представилъ *того* Прометея, Есхилова. И эта пьеса давалась въ Аѳинахъ, а въ Парижѣ въ 1842 въ камерѣ депутатовъ какой-то глупецъ съ ужасомъ требовалъ закона, чтобъ отвратить на театрахъ появленіе лицъ въ платьяхъ католическаго духовенства. Народъ, побѣдившій Ксеркса, рукоплескалъ свободному

и гордому голосу Титана, не смотря, что этотъ голосъ направленъ противъ Зевса!

Два лица остаются глубоко впечатлѣнными въ душѣ послѣ чтенія Фоскари. Дождь и Марина. Въ мрачныхъ, конвульсивныхъ созданіяхъ Байрона старикъ Фоскари святой, доблестный, спокойный и великій, а она южная по натурѣ, необузданная въ страстяхъ и сильная именно по южному. Отвѣты дожа предсѣдателю Десяти и вся послѣдняя сцена удивительно хороши. Какъ относится Есхилловъ Прометей къ Каину Байрона и его Аталантъ къ дѣвамъ? Тутъ измѣрить разстояніе и различіе Греціи и XIX вѣка.

9. — Вотъ и опять девятое мая. Но уже одного изъ героевъ этаго дня нѣтъ. Бѣдный Астраковъ подъ сырой землей. Четыре года—да что это много времени или мало? Кажется все это было три недѣли, мѣсяцъ тому назадъ. А много прошло. Худшее это болѣзненное состояніе Наташи въ продолженіи послѣднихъ двухъ лѣтъ. Вся жизнь ея до свадьбы было мученіе; два года счастья и потомъ новыя мученія — физическія. Какже быть довольнымъ жизнію. Ея болѣзнь и преслѣдованія двѣ черныя нити глубоко вплетенныя въ нашу жизнь. Съ какимъ мучительнымъ чувствомъ я вижу послѣдовательное ослабленіе существа такъ молодаго лѣтами. И она много способствуетъ сама болѣзни, принимая всѣ впечатлѣнія съ чрезвычайной силой и скрывая часто дѣйствія ихъ. Хотѣлось бы скакать на югъ, на Европейскую почву — разсѣяніе, климатъ, люди помогли бы ей. А на ногахъ цѣпь. И тутъ становится досадно, зачѣмъ намъ на смѣхъ есть средства и не вѣлено пользоваться. Какую свѣтлую, прекрасную жизнь мы могли бы вести! Нѣтъ желанья роскоши, нѣтъ желанья знатности; симпатическій



кругъ людей, умственная, артистическая дѣятельность и свобода. Давно отказался я отъ другихъ мечтаній. Но будущее грозитъ худшимъ.

Есть благо, котораго власть отнять не можетъ—это воспоминанія, развѣ догадаются понтъ дурманомъ или наливать какой нибудь составъ въ мозгъ. Что это за свѣтлые дни были 8 и 9 мая 1838! Тутъ то раздается грудь и человѣкъ безконеченъ въ своемъ блаженствѣ. Но въ этой средѣ долго нельзя удерживаться, жизнь утягиваетъ въ свою прозаическую діалектику, хочетъ непременно поставить изнанку возлѣ лицевой стороны. Будемъ нести изнанку за лицевую сторону—и съ богомъ въ дальнюю дорогу.

19.—Писалъ эти дни вторую статью о дилетантизмѣ. Мнѣ самому уясняется мысль писавши. Вѣроятно это скорѣе недостатокъ чѣмъ достоинство.

20.—*Semper idem*. Одно чувство всплываетъ надъ всѣмъ, тягостное и ужасное. Чувство моего положенія. Переписывался съ Денномъ о здоровьѣ жены. Деннъ—какъ и здравый смыслъ—совѣтуетъ ѣхать въ Москву, для основательнаго леченія подъ хорошимъ руководствомъ. И никакихъ средствъ. Ёхать на недѣлю, на двѣ одной Н. врядъ будетъ ли полезно; надолго она меня не хочетъ оставить. Рѣчь идетъ о жизни человѣка, двоихъ дѣтей я уже лишился, по милости гоненій. Неужели правдоподобно это? Повѣрятъ ли счастливыя страны въ возможности такихъ насилій; черезъ сто лѣтъ здѣсь не повѣрятъ. И между тѣмъ это истина, я долженъ быть нѣмымъ зрителемъ, какъ слабѣетъ, разрушается быть можетъ это прекрасное существо, и не могу употребить такого простаго средства, какъ ѣхать ле-

читься въ Москву, а уже что и думать о чужихъ краяхъ.  
Да гдѣ же вина? Что сдѣлано мною?

Когда человѣкъ въ 30 лѣтъ смѣлится впередъ, какъ я и видитъ туманъ и мракъ, то онъ долженъ благословить судьбу, если она дала ему характеръ на столько свѣтлый, на столько независимый, что онъ не предается отчаянію. Начать новую жизнь поздно. Продолжать старую невозможно. Великій искусъ, надобно обречься на совершеннѣйшую ничтожность. Тогда, быть можетъ, оставить въ покоѣ.

Это моя великая надежда, ею я живу. У насъ ни въ чемъ нѣтъ многолѣтней послѣдовательности. Перестанутъ наконецъ гнать. И настанутъ годы—спокойной пустоты, тупой боли и пассивной бездѣтельности.

23.—Какъ невыносимо грустно и тягостно жить подъ часъ. Книга выпадаетъ изъ рукъ, перо тоже. Хочется жить, дѣятельности, движенія и одно..... одно нѣмое, тупое, глупое положеніе сосланнаго въ пустой городишко. Подъ часъ я изнѣмогаю. Стыдно дѣлается потомъ, но что же дѣлать, я человѣкъ, не плутарховскій герой, не лицо изъ житія святыхъ. Больно, унижительно, оскорбительно и существенно убійственно, если взять въ расчетъ время. И умереть, быть можетъ, въ этомъ положеніи..... Фи!

## ЮНЬ МѢСЯЦЪ

10.—Сегодня уѣхалъ Огаревъ послѣ 11 дней. Прекрасно проведенные дни, дни жизни т. е. когда человѣкъ живетъ въ настоящемъ, хотя не со всѣхъ сторонъ свѣтло; но мы давно не встрѣчались такъ спокойны и

веселы. Онъ намѣренъ разойтись съ нею. Дай богъ, но врядъ ли найдетъ достаточно силы. Она хитростью, притворствомъ можетъ еще овладѣть его тихой и благородной душой. Можетъ еще и наставутъ свѣтлые дни со стороны частной жизни.

Онъ говорилъ и о другихъ надеждахъ; но я такъ отвыкъ отъ нихъ, что едва сердце бьется при словахъ; удивленіе похожее на то, когда бы мы увидѣли усопшаго намъ близкаго — а вѣры нѣтъ.

И такъ, онъ въ Римъ, въ Парижъ, а я — все здѣсь и съ цѣпью на ногахъ. Писалъ въ Дубельту; 1 іюля его серебряная свадьба. Я чувствую психическую необходимость ѣхать въ большой городъ; надобны люди, я вяну, во мнѣ бродитъ какая то неупотребленная масса возможностей, которая не находя истока, поднимается со дна души всякую дрянъ мелочи, нечистыя страсти.

Еслибъ можно было уловить и рассказать все, что проскользаетъ въ иную минуту бездѣйствія — какъ бы гадокъ, развратенъ показался человѣкъ.

Мнѣ одиночество въ кругу звѣрей вредно. Моя натура по превосходству соціабельная. Я назначенъ собственно для трибуны, форума, такъ какъ рыба для воды. Тихій уголокъ полный гармоніи и счастія семейной жизни не наполняетъ всего и именно въ ненаполненной доли души за неимѣніемъ другаго бродитъ цѣлый міръ — бесплодно и какъ то судорожно.

11. — Онъ привезъ „Мертвыя души“ Гоголя, — удивительная книга, горькій упрекъ современной Руси, но не безнадежный. Тамъ, гдѣ взглядъ можетъ проникнуть сквозь туманъ нечистыхъ, навозныхъ испареній тамъ онъ видитъ удалую, полную силы національность. Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во

всей полнотѣ; не типы отвлеченные, а добрые люди, которыхъ каждый изъ насъ видѣлъ сто разъ. Грустно въ мірѣ Чичикова, такъ какъ грустно намъ въ самомъ дѣлѣ; и тамъ, и тутъ одно утѣшеніе въ вѣрѣ и упованіи на будущее. Но вѣру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упованіе *ins Blaue*, а имѣетъ реалистическую основу, кровь какъ то хорошо обращается у русскаго въ груди. Я часто смотрю изъ окна, на бурлаковъ, особенно въ праздничный день, когда подгулявши съ бубнами и пѣньемъ они ѣдутъ на лодкѣ, крикъ, свистъ, шумъ. Нѣмцу во снѣ не пригрезится такого гулянья; и потомъ въ бурю—какая дерзость, смѣлость, летитъ себѣ, а что будетъ, ни будетъ. Взглянулъ бы на тебя дитя—юношею, но мнѣ не дождаться, благословляю же тебя хотъ изъ могилы. Но все это ни одной іотой не уменьшаетъ горечь жизни. Сверхъ всего повтореннаго много разъ, отдѣльность, несимпатія со всѣхъ сторонъ тягостна. Барству, чиновничеству мы не хотимъ протянуть руки, да и они на нашего брата смотрятъ, какъ на безумнаго, а православный народъ, которому, для котораго, за который всякій благородный человѣкъ готовъ богъ знаетъ, что сдѣлать, если не въ открытой войнѣ, въ которой онъ насъ опутываетъ сѣтью мошенничества, то онъ молчитъ и недовѣряетъ, нисколько недовѣряетъ—я это испытываю очень часто; когда онъ видитъ простой расчетъ, дѣло другое, но когда не изъ расчета а просто изъ доброжелательства что нибудь сдѣлать—онъ качаетъ головой и боится быть обманутымъ.

12.—Не у всѣхъ страсти тухнуть съ лѣтами, съ обстоятельствами; есть организаціи, у которыхъ съ лѣтами и страсти окрѣпаютъ и принимаютъ какой то стран-

ный характер прочности. Вообще человекъ долженъ быть очень остороженъ, радуясь что онъ миновалъ бурный періодъ—онъ можетъ возвратиться къ нему вовсе неожиданно. И тутъ рѣшается споръ: разумъ или сердце возьметъ верхъ. Выше, свободнѣе, нравственнѣе, когда разумъ; но въ самомъ огнѣ увлеченья есть прелесть, живешь въ десятеро. А послѣ, раскаяніе, упреки.

Я всегда проповѣдывалъ противъ *Naturgewalt*; но гуманность моя, идетъ до того, что я прощаю ей, если только въ силу этой *Naturgewalt*., не отрекается человекъ самъ отъ всего человѣческаго. Это рѣдко и бываетъ, почти только при помѣшательствѣ, въ какомъ бы то ни было отношеніи. Ибо сама страсть влечетъ къ чему нибудь человѣческому, хотя часто и не лучшимъ путемъ. Наслажденіе напимѣръ, есть по превосходству право живущаго etc. etc. Все это рѣшительно недоступно піэтистамъ. Вообще въ піэтизмѣ нѣтъ ничего гуманнаго, не смотря на то, что христіанство по превосходству гуманно. Они, заморившіе въ себѣ все, называемое ими земное, не имѣютъ никакой снисходительности, они жестки, даже свирѣпы. Любви въ нихъ нѣтъ, ихъ любовь подлажена *ein Sollen*, по приказу. Нашъ братъ просто человекъ; напротивъ, чѣмъ ниже раздается его кругъ, тѣмъ больше отпускаетъ—да и то подъ часъ, кажется, не нужнымъ, потому что и отпускать нечего, (кромѣ уголовныхъ дѣлъ и то не всѣхъ).

16. — Продолжаю. Тотъ, кто нашелъ въ себѣ силу хранительскую и побѣдилъ распахнувшуюся страсть, не будетъ жестокъ въ осужденіи ближняго, не выдержавшаго напора, увлекшагося, отъ того, что онъ помнитъ, что ему стоила побѣда, какъ онъ изнеможенный, сломанный вышелъ изъ борьбы. Жестоки легко побѣждающіе

т. е. такіе, къ которымъ страсти едва притрогиваются, узкія натуры, эгоисты и абстрактно добродѣтельные люди. Но вотъ еще вопросъ, сюда же относящійся: Безспорно всякая побѣда есть освобожденіе отъ внѣшняго, но не приходится ли людямъ часто бороться съ фантомами ими придуманными. Чтобъ привести совершенно очевидный примѣръ, я не могу приписать достоинство особенно замѣчательное глупому, человѣку, отказывающемуся при желаніи ѣсть отъ скоромной пищи въ постный день. Борьба нелѣпа, развѣ для упражненія себя въ самообузданіи. Оттого человѣкъ кажется рабомъ страстей болѣе нежели онъ есть, что его не выпускаютъ изъ смѣшнаго рабства *sui generis* предразсудки напр. монашескіе обѣты. Примѣръ передъ глазами. Огаревъ понимаетъ ясно, когда бракъ есть что нибудь, и когда онъ дѣлается нелѣпой формой, взаимнымъ рабствомъ, отвратительнымъ соединеніемъ гетерогеннаго; такой бракъ *in facto* уже распался, если нѣтъ дѣтей, онъ безслѣдно прошедшее. Онъ именно въ этомъ случаѣ — а не смѣетъ разойтись. Боятся общественнаго мнѣнія, говорятъ онъ; но тутъ есть и другая боязнь отъ совѣсти *imogée*.

17. — Вчера гонецъ изъ Петербурга отъ Огарева. Дубельтъ не находятъ возможнымъ дѣлать представленіе, находя бесполезнымъ, ибо по всѣмъ прочимъ обо мнѣ государь отказалъ (вѣроятно ли??!) и предлагаетъ послѣднее средство: писать Наташѣ къ императрицѣ и притомъ съ тѣмъ же нарочнымъ. Прислали черновую. Наташа переписала, подписала и отправили. Просьбу беретъ доставить Сологубъ, много хлопотавшій въ этомъ. И все вмѣстѣ оскорбительно до невѣроятной степени; достоинство моей человѣческой личности, а вмѣстѣ и всѣхъ личностей замято въ грязь этимъ безправіемъ.

20.— Чудеса! письмо отъ Дубельта и вновь отказъ. Для чего же просьба? Невѣроятно, невѣроятно! Неужели рѣшиться на совершенную пустоту жизни? Какъ ужасно искушается душа осмѣливающаяся, становится выше толпы. Черезъ четыре дня будетъ 8 лѣтъ. Тутъ нѣтъ словъ. Лишь бы не надломились плечи подъ тяжестью креста.

— Проѣзжалъ Фроловъ съ больной сестрой вчера. Мнѣ благотворны всѣ эти проѣзды, я смываю провинциализмъ ими—набираю силы. Оттого я и хочу переѣхать въ Тверь, чтобъ быть опять на большой дорогѣ.

27.— Двѣ замѣчательныя случайности, нѣсколько противорѣчащія сказанному за двѣ страницы о простомъ народѣ. Мнѣ нужны были деньги, одинъ изъ здѣшнихъ купцовъ самъ мнѣ привезъ, далъ безъ росписки, и ни подъ какимъ видомъ не хотѣлъ (и не взялъ) процентовъ. Казалось, что онъ радъ былъ, что могъ меня одолжить. Ог допс, я никогда, положительно ничего для него не сдѣлалъ, а такъ какъ я теперь отставной, то вѣроятно и не могу впередъ ничего сдѣлать. Они оцѣнили разницу между мною и прочими чиновниками и за это спасибо. Второе. Буфетчикъ здѣшней гостинницы совѣщался со мною на счетъ своего сына, онъ третій годъ въ гимназiи. „Да ужъ мнѣ бы хотѣлось его послѣ въ университетъ, чтобъ былъ человѣкомъ.“ Мальчикъ приходилъ ко мнѣ, живой. Я ему далъ книгу и подстрекнулъ заниматься. Совѣтую итти по медицинскому факультету. Отецъ чей то вольно отпущенный. In potentia много въ русской душѣ. Недавно еще рассказывалъ инженеръ о Боровицкихъ лоцманахъ; что за удалъ! что за безконечный stimulus, который развертываетъ въ нихъ эту потребность пѣсней, вина и удали!

28.— Вчера поздно вечеромъ или вѣрнѣе ночью, сидѣлъ я у окна съ Наташей, было тепло и чрезвычайно хорошо. Тишина мертвая. Волховъ сверкалъ; тихо и гладко текъ онъ, ни листокъ не шелохнется, весла шумѣли правильно, ритмомъ раздѣляя время, на другомъ берегу пѣлъ мужикъ какую то безконечную пѣсню — мы слушали его съ восторгомъ, какъ дай богъ, чтобъ слушали Росси и Пасту. Время шло, а онъ пѣлъ да пѣлъ — грустно, уныло. Что заставляетъ его пѣть? Вѣдь духъ вырывающійся на волю, изъ душевной прозаической сферы пролетаріата, этой пѣснью онъ безсознательно входитъ въ царство Божіе, въ міръ безконечнаго, изящнаго. Духъ выработавшійся до человѣчности, звучитъ такъ, какъ цвѣтокъ благоухаетъ, но звучитъ и для себя; за трепетомъ жизни, за неопредѣленной радостью бытія животнаго, слѣдуетъ экспансивность человѣка, онъ наполняетъ своею пѣснью окружающее, единство его съ другими и удовлетворяетъ свою жажду. Если глубоко всмотрѣться въ жизнь, конечно, высшее благо есть само существованіе — какія бы внѣшнія обстановки ни были. Когда это поймутъ — поймутъ, что въ мірѣ нѣтъ ничего глупѣе, какъ пренебрегать настоящимъ въ пользу грядущаго. Настоящее есть реальная сфера бытія. Каждую минуту, каждое наслажденіе должно ловить, душа безпрерывно должна быть раскрыта, наполняться, всасывать все окружающее и разливать въ него свое. Цѣль жизни — жизнь. Жизнь въ этой формѣ, въ томъ развитіи, въ которомъ поставлено существо т. е. цѣль человѣка — жизнь человѣческая. Читаю Лукреція: *De rerum natura*. Какой взрослый и въ многихъ отношеніяхъ здоровый взглядъ. (Разумѣется, надобно простить метафизическія ошибки, физическія etc). Да, древній міръ умѣлъ лучше даже нашего любить и цѣнить космосъ, великое Все, Природу.



## ЮЛЬ МѢСЯЦЪ

1. — Вчера была ужасная гроза и громъ ударилъ въ церковь, шаговъ сто отъ нашего сада. Мы сидѣли на терассѣ, ударъ былъ оглушительнъ. Стало какъ то неловко и страшно. Ну, если убьетъ меня, насъ! Гроза миновала, но мнѣ было грустно. Гдѣ время вѣры въ будущее, въ жизнь, въ ея необходимость, въ храненіе ее, въ ея важную связь съ всемірнымъ, съ всеобщимъ, съ человѣчествомъ. Knaben Gedanken! Когда тонулъ досчаникъ на Волгѣ, \*) я твердо смотрѣлъ на опасность. Я вѣрилъ въ индивидуальность. И теперь думаю, что естественная смерть не придетъ, пока человѣкъ имѣетъ что нибудь выразить. Но случай внѣшній ударить и ни кому, ни чему и дѣла нѣтъ.

6. — Скажи фонтанъ Бакчи-Сарая.

Таковъ ли былъ я разцвѣтая?

Я съ страннымъ чувствомъ обращаюсь иногда назадъ, далеко назадъ, къ ребячеству. Какъ богато хотѣла развернуться душа, и что же вышло? какое то неудачное существованіе, переломленное при первомъ шагѣ. Но гдѣ же внутренняя сила, если внѣшнее могло ее сломить? Стало и безъ внѣшняго не много бы вышло. А между тѣмъ, какъ всегда, грудь была полна чувствъ, голова — мыслей. Зачѣмъ? или что препятствуетъ ихъ проявленію?

\*) Этотъ эпизодъ рассказанъ въ *Тюрьмѣ и Ссылкѣ*.

9. — Письмо отъ графа Бенкендорфа къ моей женѣ, извѣщаетъ о разрѣшеніи ѣхать въ Москву, съ тѣмъ, чтобъ я не пріѣзжалъ въ Петербургъ. Все сдѣлано графомъ Вельегорскимъ. Не даромъ, онъ магнетически какъ то понравился мнѣ при первой встрѣчѣ; и графъ Сологубъ много хлопоталъ. Оно не все—но лучше. Я не ждалъ. Ровно 8 лѣтъ взятію Огарева 9 іюля 1834. Въ Москвѣ будутъ и непріятности, но не такъ заглохнешь. И опять фатумъ, фатумъ!

### Москва.

25 іюля. Двѣнадцать дней какъ мы оставили Новгородъ. Но встрѣча съ Москвою не была вполнѣ радостна; изъ близкихъ людей почти никого нѣтъ. Отца я засталъ въ разрушающемся состояніи; онъ сталъ впадать въ какую то старческую апатію, занимается исключительно мелочами и пр. а потомъ онъ страдаетъ неизлѣчимой болѣзнью и вся обстановка становится *lugubre*. И самое положеніе не лишено непріятности, предписано имѣть надзоръ, опять шпіоны окружаютъ, опять *sur le qui vive*. Два, три человѣка и средства занимаются искупаютъ съ другой стороны.

29. — Ничего не дѣлаю, а внутри сдѣлалось и дѣлается много. Я увлекался, не могъ остановиться—и послѣ ахнулъ. Но въ самомъ раскаяніи есть что то защищающее меня передо мною. Не тѣ ли единственно удерживаются, которые не имѣютъ сильныхъ увлеченій. И почему мое увлеченіе было полно упоенія, безумнаго *bien être*, на которое обращаясь, я не могу его проклясть. Подлѣ не фактъ, подлѣ обманъ, оскорбленіе—

обиды вѣтъ. Это я понимаю до ясности. Ригоризмъ не можетъ дать абсолюцію, да я и самъ далекъ оттого, чтобы дать ее себѣ, но человѣчественный судъ долженъ молчать, снисходить, реабилитировать. Въ этомъ великое призваніе нашего вѣка. Пусть положительное законодательство назначаетъ плети и цѣпи; мы не будемъ съ ними за одно, мы должны съ иной точки взглянуть на паденіе, на искушеніе. Христосъ не бросилъ камня.

— Много толковалъ о подобныхъ предметахъ съ Боткинѣмъ. Да, люди (т. е. развившіеся до современности) не хотятъ, чтобы что нибудь впередъ шло, безсознательныхъ уступокъ мнѣнію, положительному законодательству, преданію еіс. Все хотятъ провести сквозь горнило сознанія, съ этимъ вмѣстѣ дѣтскія вѣрованія, готовныя понятія о добрѣ и злѣ уничтожаются. Человѣкъ ищетъ полной свободы не для своеволія, а для разумно нравственнаго бытія. Много теперь сковываетъ людей, подобно какъ соблюденіе постовъ. Оскорбившагося угрызала совѣсть, онъ мучился проглоченнымъ кускомъ. Зачѣмъ? Затѣмъ, что преступилъ высшее велѣніе.

— Былъ у Чаадаева. Подробности о смерти Михаила Федоровича. Онъ умеръ спокойно, величаво. Все путное въ Москвѣ показало участіе къ больному, даже не знакомые. Оцѣнили, поняли, благословили въ путь.

Толпа народу была на отпѣваніи и проводила его. Витали дѣлаетъ бюстъ. Послѣ его смерти полиція опечатала бумаги и отослала въ Петербургъ.

— Толки о мертвыхъ душахъ. Славянофилы и антиславянисты раздѣлились на партіи. Славянофилы № 1 говорятъ, что это апотеоза Руси, иліада наша, и хвалятъ слѣдовательно; другіе бѣсятся, говорятъ, что тутъ анаеема Руси и за то ругаютъ. Обратнo тоже раздво-

ились антиславянисты. Велико достоинство художественнаго произведенія, когда оно может ускользнуть отъ всякаго односторонняго взгляда. Видѣть апотеозу смѣшно, видѣть одну анафему несправедливо. Есть слова примиренія, есть предчувствія и надежды будущаго полнаго и торжественнаго, но это не мѣшаетъ настоящему отражаться во всей отвратительной дѣйствительности. Тутъ переходъ отъ Собакевичей къ Плюшкинымъ, обдаетъ ужасъ, съ каждымъ шагомъ вязнете, тонете глубже, лирическое мѣсто вдругъ оживить, освѣтитъ и сейчасъ замѣняется опять картиной, напоминающей еще яснѣе въ какомъ *ровѣ* ада находимся и какъ Дантъ хотѣлъ бы перестать видѣть и слышать — а смѣшныя слова *веселаго* автора раздаются. Мертвыя души поэма глубоко выстраданная. Мертвыя души? Это заглавіе само носить въ себѣ, что то наводящее ужасъ. И иначе онъ не могъ назвать, не ревизскія — мертвыя души, а всѣ эти Ноздревы, Маниловы и *tutti quanti* — вотъ мертвыя души, и мы ихъ встрѣчаемъ на каждомъ шагу. Гдѣ интересы общіе, живые, въ которыхъ живутъ всѣ вокругъ насъ дышавція мертвыя души? Не всѣ ли мы послѣ юности, такъ или иначе, ведемъ одну изъ жизней гоголевскихъ героевъ. Одинъ остается при Маниловской тупой мечтательности, другой буйствуетъ *à la* Ноздревъ, третій Плюшкинъ и пр. Одинъ дѣятельный человѣкъ Чичиковъ и тотъ ограниченный плутъ. Зачѣмъ онъ не встрѣтилъ нравственнаго помощника *добросерда—стародума*..... да откуда попался бы въ этомъ омутѣ человѣкъ столько абнормальный, и какъ онъ могъ бы быть типомъ? Пушкинъ въ Онѣгинѣ представилъ отрадное, человѣческое явленіе въ Владимірѣ Ленскомъ — да и пристрѣлилъ его, и за дѣло. Что ему оставалось еще, какъ не умереть, чтобы

остаться благороднымъ, прекраснымъ явленіемъ? Черезъ десять лѣтъ онъ отучнѣлъ бы, сталъ бы умнѣе, но все былъ бы Маниловъ. Да и въ самой жизни у насъ такъ. Все выходящее изъ обыкновеннаго порядка гибнетъ: Пушкинъ, Лермонтовъ впереди, а потомъ отъ А до Z многое множество, отъ того что они не дома въ мірѣ мертвыхъ душъ.

— Съ славянофилами столько же мало можно говорить, и они также нелѣпы и вредны, какъ піетисты. Рѣшительно нѣтъ мѣста рѣчи и слову. Религіозные люди напримѣръ, часто прибѣгаютъ къ уловкѣ: „да по разуму то такъ, да разумъ то спотыкается.“ Такъ и славянофилы: „да все это по европейски такъ, а по нашему нѣтъ.“ Вредные они до чрезвычайности. Причина очевидна. Магшіег въ Москвѣ. Они принялись было его образовывать въ славянофильство, предложили ему изслѣдовать все превосходство православія надъ католицизмомъ (Магшіег вѣроятно послѣ школы впервые услышалъ о важномъ преніи). Затаскали его до того, что ему наконецъ опротивѣли монахи, похвалы древняго быта и т. п. Православіе ихъ знамя.

— Въ Польшѣ молодые гегелисты отрываются торжественно отъ всякой положительной религіи, сопряженной съ формализмомъ ритуаловъ etc.

## АВГУСТЪ МѢСЯЦЪ

2. — Вчера былъ въ Перовѣ. Первый разъ посѣтилъ тѣ мѣста, гдѣ 8 мая 1838 встрѣтился съ Natalie и откуда мы поѣхали во Владиміръ. Съ той встрѣчи мы не разлучались и четыре года съ половиной, лучшую безъ

малѣйшей тѣни сторону моего бытія, составило это безпрерывное присутствіе существа благороднаго, высокаго и поэтическаго. Мало по малу все окружавшее меня сошло съ пьедесталовъ, на которые его подняло юношество въ увлеченіи. Но она осталась на своемъ, поднялась еще выше. Мы сидѣли въ той самой комнатѣ, гдѣ ждали коляску и я чувствовалъ себя хорошо. Нѣтъ, отдѣльные факты паденій не состоятельны противъ истиннаго чувства, одно мимолетное состояніе души другой *grundton* ея.

— Дома печально. Состояніе отца ужасно. Къ существенной болѣзни у него, всегда мнительнаго, присоединяется раздраженное воображеніе о ея возможности. Онъ мучить себя, самъ мѣшаетъ всѣмъ пособіямъ и проводить дни въ какомъ-то страшномъ состояніи *abattement*. Морально онъ никогда такъ не падалъ. Онъ началъ на все смотрѣть съ какимъ-то полнѣйшимъ равнодушіемъ и заниматься только своей болѣзнью и мелочами. Можно ли желать, если его болѣзнь неизлечима, продолженіе такихъ страданій? Хотя большая часть ихъ воображаемая, но отъ этого не легче ему.

— Статья о Дилетантизмѣ нравится и очень нравится. Повѣсть нѣтъ. Повѣсть не мой удѣлъ; это я знаю и долженъ отказаться отъ повѣстей. Мнѣ трудно писать повѣсти, сцены (какъ Трензинской въ *Отеч. Зап.*) выйдутъ хороши, но цѣлое, но все не имѣетъ выдержанности. Въ такихъ статьяхъ какъ Дилетантизмъ я дома и пишу ихъ съ увлеченіемъ и свободой.

13. — Наказаніе идетъ рядомъ съ проступкомъ, оно есть одно изъ естественныхъ послѣдствій, а у кого душа такъ свихнута, что проступокъ не развивается въ наказаніе, для него положительное законодательство

имѣть тюрьмы, штрафы etc., etc. Страшный судъ перѣхалъ вмѣстѣ со всѣмъ заприроднымъ на землю, онъ наше царство небесное внутри человѣка. Какія минуты ужаснѣйшихъ страданій я перенесъ нѣкогда за М! Какія угрызенія, униженія за послѣднюю глупость! а она глупость, увлеченіе мгновенное — а между тѣмъ я страдаю.

Съ жадностью пробѣжалъ я *Horace G. Sand*, великое произведеніе, вполне художественное и глубокое по значенію. Горасъ лицо чисто современное намъ, жертва вѣка больше чѣмъ организаціи. Онъ всегда былъ бы тоже сильныхъ страстей, глубокихъ и непреходящихъ убѣжденій, всегда былъ бы мелокъ и эгоистъ. Но переходное время боренія двухъ міровъ, растравившее всѣ раны, провозгласившее всѣ права личности, указавши безконечную мощь и власть и дало эгоизму несравненно блистательнѣйшую арену и притомъ романическую. А потомъ скептическое состояніе умовъ, особенно во Франціи развило еще болѣе жажду сильныхъ потрясеній за дешевую цѣну. Таковъ Горасъ. Онъ не можетъ выйти изъ себя, онъ не способенъ къ сильной страсти, потому что не способенъ жить для другаго; въ другомъ, онъ натягиваетъ въ себѣ страсть для того, чтобъ упиться одуряющимъ, огненнымъ сокомъ ея, а между тѣмъ она не даетъ емужданнаго блаженства, потому что il y a du louche là dedans. Эгоизмъ, одинъ онъ истиненъ. Кто его обвинить за увлеченіе Марты? Даже ревность, еслибъ она выражалась не такъ грубо, не такъ гадко, нашла бы отпущеніе. Нѣтъ, не тутъ, ни даже въ своей ничтожности, въ мелочахъ, въ придиркахъ къ ней, въ охлажденіи: во всей красѣ онъ является гигантомъ эгоизма, узнавши о беременности. Я дивлюсь всему снисхожденію *La Ravinière*.

А между тѣмъ многіе ли, сойдя въ глубину души, не найдутъ въ себѣ много горасовскаго. Хвастовство чувствами, которыхъ нѣтъ, страданіе для народа, желаніе сильныхъ страстей, громкихъ дѣлъ и полная несостоятельность, какъ дойдетъ до дѣла. А слабость раскаиваться, просить прощенія и на другой день впадать снова въ порокъ. Это я испыталъ на себѣ. Господи, какъ себя ридить въ герои человѣкъ, сидя въ кабинетѣ, и вотъ какъ герой втолкнуть въ жизнь, кругомъ все кипитъ, несется, страсти раздуваются какъ паяльной трубкой, а онъ остается при своемъ удѣльномъ вѣсѣ. Горькія минуты разочарованія, но счастье тому, кто ихъ имѣлъ. Хуже всего, когда все окружающее догадается прежде самого.

15. — *Deutsche Jahrbücher*. Ими философія германская выступаетъ изъ аудиторіи въ жизнь, становится социальная, революціонна, получаетъ плоть и слѣдовательно прямое дѣйствіе въ мірѣ событій. Тутъ видны, ясны большіе шаги въ политическомъ воспитаніи и нѣмцы дѣлаются почти свободны отъ обвиненій обыкновенно налагаемыхъ на нихъ. Въ статьѣ, въ которой они говорятъ объ отрѣченіи отъ положительной религіи со всѣмъ формализмомъ ея, благородство удивительное. „А что (въ концѣ статьи) сдѣлаетъ государство? Или оно оставитъ насъ въ покоѣ и признаетъ тогда церковь за общество сущее рядомъ и по одинаковому праву съ другимъ обществомъ. Или оно будетъ послѣдовательно характеру взятому имъ прежде, неразрывно съ церковью, и тогда оно въ правѣ насъ гнать. Тогда насъ ждетъ ссылка. И мы пойдемъ въ нее. И для того говоримъ, чтобъ предупредить слабыхъ, чтобъ они знали, что такой шагъ можетъ влечь за собой такія послѣдствія и остереглись бы. Сами мы не такъ думаемъ; кто отца или мать возлюбилъ



богѣ Христа, тотъ недостоемъ быть Христовъ.“ Давно ли нѣмцы стали говорить этимъ языкомъ, давно ли сердце забилося у нихъ отъ такихъ реальныхъ причинъ и не пророчить ли это многое въ будущемъ, то есть въ будущемъ близкомъ, которое мы увидимъ. *Se mouro, se mouro!*

— Одна изъ статей оканчивается прямо: надобно рѣшиться и однажды на всегда: „Христіанство и Монархія или Философія и Республика!!“ И вотъ Германія lancée въ эмансипацію политическую и съ своимъ характеромъ твердой мысли, глубины и притомъ піэтизма. Какъ противоположны характеры Германіи и Франціи въ дѣлѣ эмансипаціи ясно, слѣдя за *Deutsche Jahrb.* и *Revue Indépendante*. Въ *Revue* сколько жизни, огня, словъ такихъ, которыя сейчасъ соберутъ кружки на бульварахъ и притомъ какая плоскость пониманія истинъ независимо отъ современныхъ интересовъ. Философски - политическія статьи просто смѣшны; Франція двумя вѣками отстала въ спекуляціи отъ нѣмцевъ, такъ какъ нѣмцы пятью отъ французовъ въ приложеніи идеи права къ дѣйствительности.

21.— Безслѣдно не можетъ пролетѣть испытаніе, на которое тратилось души много, при которомъ были страданія и упоеніе, какъ бы впрочемъ для поверхностныхъ людей ничтожны сами факты ни показались.

23.— Странно и оскорбительно участіе большей части людей, даже любящихъ насъ. Человѣкъ палъ, потерялся, ищетъ выхода, страдаетъ и въ безсиліи обращается къ людямъ, увѣреннымъ въ любви къ нему и въ его любви. Они тотчасъ оскорбляютъ его, заставляютъ его привязать себя къ позорному столбу, расска-

зывая подробности, самымъ ужаснымъ образомъ (сожалѣя и прощая) выскажутъ глубину паденія, которую онъ зналъ. Они не могутъ удержаться отъ суда, ибо они любили не человѣка, а свой идеалъ. Потомъ начинается исторія помощи. Не спрашивая сообразно ли, нѣтъ ли съ характеромъ, съ настоящимъ болѣзненнымъ состояніемъ человѣка, даютъ совѣты и требуютъ исполненія такъ, какъ они хотятъ. А если онъ не можетъ такъ поступить — радуются его неудачамъ, упрекаютъ ими, терзаютъ. Себя, свою гордость, тѣнь того, что люди разумѣютъ подъ честью не компрометируютъ они для помощи, тутъ эгоизмъ развертывается съ тою же нахальностью, какъ когда у насъ проситъ знакомый помощи денежной. Мелкіе, мелкіе люди! А къ нимъ принадлежимъ больше или меньше и мы, говорящіе. Однако не совсѣмъ. Любовь и симпатія полная (напримѣръ въ исторіи Ог.) окружили его какой-то атмосферой — что-то глупо выразился — à la Selin. Что онъ ни дѣлалъ, онъ не могъ выйти изъ любви и дружбы, хотя и были произносимы слова жесткія etc., etc.

29. — Мое теперешнее состояніе похоже на похмѣлье, какое-то усталое, лѣнивое состояніе чего-то *wüstes*, неясная память дурачествъ сдѣланныхъ, на которыя тратилась энергія, энергія пьяная и глупая. Это хорошо, какъ средство смиренія, какъ *themenlo* слабости. А между тѣмъ я добровольно загрязнился.

## СЕНТЯВРЬ МѢСЯЦЪ

2.— Случайно попалась на глаза *Manon Lescaut*. Когда то я читалъ и съ большой любовью этотъ романъ. Причина очевидна, коллизія истинная, великая и полная глубокаго интереса и паѳоса. Легкій взглядъ XVIII столѣтія не умѣлъ разглядѣть во всю ширину и бездонность ужасъ любви къ такому существу какъ *Manon*, хотя понялъ трагическую сторону превосходно выразившуюся въ окончаніи. Я его оправдываю. Надо было вообще дойти до высокой степени разврата, чтобъ безъ любви, (какая бы она ни была), безъ увлеченія, холодно и расчетливо заводить интриги, интриги мелкія, которыя при первомъ неудобствѣ бросаются и о которыхъ совсѣмъ не вспоминаютъ или вспоминаютъ такъ, какъ о вчерашнихъ котлетахъ. Для меня этотъ систематическій развратъ отвратителенъ. Въ публичномъ домѣ человѣкъ отрѣшается отъ своего достоинства и остается чисто животнымъ; но въ расчетливой интригѣ онъ падаетъ ниже животнаго, именно потому что животный актъ убитъ человѣческимъ размышленіемъ, но человѣческимъ не сдѣлался. Одного физическаго желанія мало для человѣка, онъ дѣлаетъ тотчасъ требованіе высшаго порядка — красоты. Эта прелещая красота должна его увлечь своимъ магнетизмомъ. Ну, какже повѣрить, чтобъ подъ этими изящными чертами крылся развратъ, обманъ, или и узнавши его, какъ не повѣрить, что весь этотъ обманъ, развратъ случай-

ное паденіе, отклоненіе отъ истинной благородной сущности бытія въ формѣ столь граціозной. Богатство души передаетъ свой избытокъ ей, заблудшейся, несчастной и между тѣмъ узы скрѣпляются самымъ обладаніемъ, близостью. Есть что то отвратительное въ томъ, чтобъ, раскрывая объятія женщины, не отдаться ей, презирать ее; въ такомъ случаѣ лучше ее не надобно, тутъ нѣтъ ни увлеченія ни огня. Быть обманутымъ лучше. Состояніе илотизма, въ которомъ держали женщинъ, произвело тотъ ужасный развратъ, который именно гадокъ по его скрытности, по обманчивости своей. Повѣсть о Мапон будетъ всегда прекраснымъ произведеніемъ.

10.— Когда безъ всякаго внѣшняго побужденія, безъ всякой причины со дна души поднимается какая то давящая грусть, которая растетъ, растетъ и вдругъ сдѣлается нѣмая, жестокая боль и такъ станетъ ясно все дурное, трагическое нашей жизни; готовъ бы умереть кажется. Суета послѣдняго времени долго заглушала этотъ голосъ; пріѣздъ въ Москву, эпизодъ о торгѣ, досада на себя и матерьяльные хлопоты не давали ему мѣста. Лишь только стало поспокойнѣе и лучше, вѣчный голосъ скорби, вопль негодованія, вопль духа, рвущагося къ формѣ жизни полной, человѣческой, свободной— снова раздался. Судьба рѣшена; половина жизни прошла въ боли и борьбѣ, эта половина не замѣняема, вторая врядъ ли будетъ радостиѣе.

Споръ съ Чаадаевымъ о католицизмѣ и современности, при всемъ большомъ умѣ, при всей начитанности и ловкости въ изложеніи и развитіи своей мысли, онъ ужасно отсталъ. Даже мнѣ было жаль употреблять всѣ средства; въ немъ какъ то благородно воплотилась разумная сторона католицизма. Онъ въ ней

нашелъ примиреніе и отвѣтъ и притомъ не путемъ мистика и піэтиста, а соціально-политическимъ воззрѣніемъ. Но, тѣмъ не менѣе, и это голосъ изъ гроба, голосъ изъ страны смерти и уничтоженія. Намъ странно этотъ голосъ. Истиннаго оправданія нѣтъ имъ, что они не понимаютъ живаго голоса современности.

11.— Поймутъ ли, оцѣнятъ ли грядущіе люди весь ужасъ, всю трагическую сторону нашего существованія? А между тѣмъ наши страданія почка, изъ которой разовьется ихъ счастье. Поймутъ ли они, отчего мы лѣнтяи, отчего ищемъ всякихъ наслажденій, пьемъ вино и пр.?.... Отчего руки не поднимаются на большой трудъ? Отчего въ минуту восторга не забываемъ тоски?..... О пусть они остановятся съ мыслью и съ грустью передъ камнями, подъ которыми мы уснемъ, мы заслужили ихъ грусть! Была ли такая эпоха для какой либо страны: Римъ въ послѣдніе вѣка существованія и то нѣтъ. Тамъ были святы воспоминанія, было прошедшее, наконецъ оскорбленный состояніемъ родины могъ успокоиться въ лонѣ юной религіи, являвшейся во всей чистотѣ и поэзіи. Насъ убиваетъ пустота и безпорядокъ въ прошедшемъ, какъ въ настоящемъ, отсутствіе всякихъ общихъ интересовъ.

Правы утверждающіе, что наша исторія развивается самобытно; *genus originale* — надобно сознаться.

13.— Сцена какъ выразился кто то есть парламентъ литературы. Трибуна, пожалуй, церковь искусства и сознанія. Ею могутъ разрѣшаться живые вопросы современности, по крайней мѣрѣ обсуживаться, а *реальность* этаго обсуживанья, въ дѣйствіи, чрезвычайна. Это не лекція, не проповѣдь, а жизнь развернутая на самомъ

дѣлѣ со всѣми подробностями, съ всеобщимъ интересомъ и семейственностью, съ страстями и ежедневностью. На дняхъ испыталъ я это на себѣ. Небольшая драма заставила меня думать и думать. Юноша влюбился въ дѣвицу старѣе себя. Она его любитъ и они женились. Прошло пять лѣтъ, молодой человѣкъ влюбляется въ другую и начинается тотъ ужасный бой, который такъ удивительно выразилъ Гете въ *Wahlverwandschaft*. Мужъ, человѣкъ честный, благородный, онъ понимаетъ свою обязанность относительно жены, уважаетъ ея высокія достоинства, но не любитъ ее и скрываетъ. Жена необыкновенно благородное созданіе любитъ мужа до безумія, и все понимаетъ, въ страданіяхъ. Она рѣшается умертвиться. Мужъ въ отчаяніи. Проходитъ годъ, она осталась въ живыхъ, но ее считают умершею и первый онъ убѣжденъ въ этомъ. Онъ женится на другой и встрѣчаетъ на дорогѣ свою первую жену. Женатый отъ живой жены! ему кажется, что онъ сдѣлалъ что то чудовищное. Жена (1-я) умираетъ, онъ хочетъ убить себя, но его другъ заставляетъ его жить для второй жены etc. Вотъ что тутъ ужасно: *всѣ правы*. Молодой человѣкъ откровенно поступилъ, женившись на дѣвушкѣ старше его — но это была неосторожность, въ ней заключалось адское сѣмя, изъ котораго должно, могло по крайней мѣрѣ, вырасти то несчастіе, которое выросло. Но за неосторожность развитіе жизни наказываетъ его въ десятеро противъ всякаго уголовнаго преступника. А жена—добродѣтельная, отдававшаяся ему такъ самоотверженно и вовсе, что ей дѣлать? Отойти прочь, оставить его? Да гдѣ эти герои, гиганты или лучше эгоисты? Она и прежде могла бы *разсчитать*. Но богъ съ ними съ хорошими счетчиками, они не бываютъ несчастны—но и блаженство жизни и полнота ея не для

нихъ. Женщина убита, она ничего не имѣетъ внѣ мужа. Мужъ убитъ, онъ обезчестенъ въ своихъ глазахъ, онъ обманщикъ въ обѣ стороны, онъ рабъ. Они влекутъ быстро другъ друга въ могилъ, слабѣйшій падетъ прежде, второй спасенъ. Не тутъ то было, угрызеніе совѣсти на вѣки стало набрасывать трауръ. Хозяинъ — безвыходность! Бракъ, когда отъ него отлетитъ духъ, позорнѣйшая и нелѣпѣйшая цѣпь. Какъ, на какихъ условіяхъ дозволяется ее бросить, трудный вопросъ, которому фактическое разрѣшеніе дадутъ грядущія поколѣнія, но я замѣчу вотъ что. Да неужели для человѣка только и дано въ удѣлъ, что *любитъ*ся и развѣ одна любовь даетъ *grundton* всей жизни? на все есть время. Зачѣмъ этотъ человѣкъ не раскрылъ свою душу общимъ, человѣческимъ интересамъ, зачѣмъ онъ не доросъ до нихъ? Зачѣмъ и женщина эта построила весь храмъ своей жизни на такомъ песчаномъ грунтѣ? Какъ можно имѣть единымъ якоремъ спасенія индивидуальность чью нибудь? Все оттого, что мы дѣти, дѣти и дѣти.

Древній міръ вовсе не зналъ той трагической стороны семейной жизни, которая развилась въ сѣни феодально-христіанскаго міра. Древній міръ былъ одностороненъ, онъ не призналъ права женщины; но мы можемъ перестать быть Вертерами и Тогенбургами, не впадая въ его односторонность. Какой фазисъ въ жизни занимаетъ любовь, потомъ семейство? Какой бы ни занимало, но исключительно человѣкъ не долженъ себя погружать въ одно индивидуальное чувство. У него якорь спасенія въ идеи, въ міръ общихъ интересовъ; духъ человѣка носится между этими двумя мірами. Пренебреги онъ сердцемъ индивидуальнымъ, онъ былъ бы уродъ — обратно тоже.

Встарь религіозные люди находили примиреніе и вы-

ходъ въ религіи, она тоже всеобща. Выходъ былъ мнимый — но врачевалъ.

22. — Высочайшее произведеніе русской живописи, разумѣется, *Послѣдній день Помпеи*. Странно, предметъ ея переходитъ черту трагическаго, самая борьба невозможна. Дикая, необузданная *Naturgewalt* съ одной стороны и безвыходно трагическая гибель всѣмъ предстоящимъ. Мало воображеніе дополняетъ и видитъ ту же гибель за рамами картины. Что противъ этой силы сдѣлаетъ черноволосый Плиній? Что христіанинъ? Почему русскаго художника вдохновилъ именно этотъ предметъ?

На оборотъ. На фронто́нѣ Исакиевской церкви будетъ барельефъ, представляющій Исакія Далматскаго, гордо не покоряющагося императору, бѣсящемуся и досаждующему на него. Надобно думать, что ценсура не пропуститъ этотъ барельефъ!

Геройство консеквентности, самоотверженіе принятія послѣдствій такъ трудно, что величайшіе люди останавливались передъ очевидными результатами своихъ принциповъ. Таковъ Гегель, развитіе юнаго гегеліанизма, развитіе его началъ; но Гегель бы отрекся отъ нихъ, онъ любилъ, уважалъ *das Bestehende*, онъ видѣлъ, что онъ не вынесетъ удара, и не хотѣлъ ударить, ему казалось, на первый случай и того довольно, что онъ дошелъ до своихъ началъ. Юное поколѣніе съ нихъ начало, шагъ впередъ былъ именно тотъ ударъ, который долженъ былъ глубоко поразить *das Bestehende*. Гегель бы отрекся отъ нихъ; но вотъ въ чемъ дѣло, они *върнѣе* были бы ему, нежели онъ самъ, т. е. ему мыслителю, отрѣшенному отъ его случайной личности, эпохи и пр. Шеллингъ живой примѣръ, какъ можно отстать отъ собственной своей мысли, когда мыслитель остановится



на половинной дорогѣ ея развитія, не имѣя, впрочемъ, силы остановить имъ же даннаго движенія. Положеніе Шеллинга истинно трагическое, какъ выразился Руге. Всякая остановка, половинность не годится, когда развитіе идетъ впередъ. Жиронда явнымъ образомъ положила голову на плаху, ставши между якобинцами и монархистами. Ежели бы королевская партія одолѣла, ихъ все бы казнили. Таково нынѣ положеніе правой стороны гегельянства. Маргейнеке поступилъ съ доброй цѣлью для Бруно Бауера престранно, онъ хотѣлъ попасть въ *juste milieu* и попалъ между двухъ стульевъ на полъ. И прусское правительство и юная гегельянская школа его обругали.

Будь горячъ или холоденъ! А главное будь konsekventenъ, умѣй *subir* истину во весь объемъ.

30.— Продолжая, вотъ еще, что слѣдуетъ замѣтить. Не должно обвинять Гегеля въ хитрости, въ лицемерствѣ. Новое воззрѣніе такъ далеко отрѣзывало отъ прежняго, что онъ не смѣлъ себѣ *признаться* во всѣхъ слѣдствіяхъ своихъ началъ, оттого неминуемое послѣдствіе *неясность* въ многихъ практическихъ выводахъ. Онъ хочетъ не истиннаго, естественнаго, само собою текущаго результата; но еще, чтобъ онъ былъ въ ладу съ существующимъ. Ему страшно было говорить такъ, какъ страшно бѣ было другимъ слушать. Юная школа могла высказать больше, для нее не шло впередъ то уваженіе къ окружающему фактическому міру, которое было у Гегеля; но не должно забывать, что не шло именно потому, что Гегель поставилъ юное поколѣніе на высокую точку, съ которой оно могло разомъ увидѣть то, что онъ вырабатывалъ и что ему открывалось, какъ видъ входящему на гору. Когда онъ взошелъ, ему •

не видать было больше горы, онъ испугался этаго, она слишкомъ была связана со всѣми испытаніями, судьбами, которыя онъ пережилъ. Таково всегда было развитіе во времена идеи. А потому величайшая справедливость должна быть въ приговорахъ дѣателямъ. И Лютеръ, и Мирабо, и Платонъ были перейдены т. е. развиты.

— Критика дѣлается исполненною высокою страстности, она дѣлается религіозна наконецъ. Самое отрицаніе, конечно, вмѣстѣ и положеніе. Ее знаетъ свобода, такъ какъ знала философія самопознаніе. Свобода т. е. освобожденіе отъ внѣшняго, мертваго ограниченія, отъ цѣпей былаго, непризнаннаго за вѣчное самопознаніемъ, свобода дѣйствовать по разумѣнію, мышленію, изложеніе мысли etc.

Христіанство удивительно приготовило индивидуальность къ настоящему. Углубленіе въ себя, признаніе безконечности въ себѣ, очищенный и вмѣстѣ доведенный до высочайшей степени эгоизмъ и слѣдовательно развитіе собственнаго достоинства. А съ другой стороны, мысль самопожертвованія для всеобщаго, любовь и пр. Эта борьба сама по себѣ развила все богатство духа человѣческаго. А съ другой стороны, борьба съ матеріальнымъ, временнымъ. Эта *вѣчная ложь* феодальныхъ вѣковъ, говорящихъ объ уничтоженіи страстей, о пренебреженіи земель, и поступающихъ совсѣмъ иначе сколько должны были развитъ пракческаго и теоретическаго. Современность ставящая реальнѣйшей сущностью государство, (именно царство божіе на землѣ, по религіозному выраженію) разомъ уничтожаетъ ложь, ибо государство имѣетъ и свою временную сторону и свою вѣчную, любовь и эгоизмъ, развитіе себя и отдаваніе себя, всеобщее въ каждомъ и каждый втекающій, въ всеобщее, которому царь Разумъ. Тутъ истинное

осуществленіе темно провидѣннаго христіанствомъ и всему отзывъ etc.

— Читалъ на дняхъ комедію Бомарше. Нѣтъ сомнѣнія, что *Свадьба Фигаро* гениальное произведеніе и единственное на французской сценѣ. Въ ней все живо трепещетъ, пышетъ огнемъ, умомъ, критикой и слѣдовательно оппозиціей. Мысль его ясна въ Фигаро, хотя отъ этаго само лицо не приобрѣло особенной дѣйствительности; для меня chef d'œuvre его Сусанна, Херубимъ и графиня.

Вопросъ о семейной жизни, объ отношеніяхъ брака его очень занимали; это главная тема почти всѣхъ комедій его. Въ *La mère coupable* онъ взялся лицомъ къ лицу съ своей задачей. Пьеса немного резонерствующая, писанная въ его старости, но онъ самъ говоритъ, что она для него результатъ долгихъ медитацій и что до нее онъ доходилъ *Севильскимъ Цирюльникомъ* и *Свадьбой Фигаро*. Тема глубока. Графъ Альмарива, бѣсившійся нѣсколько лѣтъ отъ ревности, ненавидящій сына своего по подозрѣнію, что онъ не отъ него родился, добивается доказательствъ и между тѣмъ беретъ мѣры уничтожить имѣнья, передать ихъ. Наконецъ, доказательства пришли. Онъ сынъ Херубима. Графъ жестоко, свирѣпо упрекаетъ жену. Ангельское, самоотверженное существо, павшее давно, случайно, будучи оставлена мужемъ, увлеченная безумной страстью Херубима, она проводила время свое въ глубокомъ раскаяніи. Упреки ей приняты какъ наказаніе, но подъ тяжестію ихъ она ломится. Человѣческое чувство побѣждаетъ въ графѣ романтизмъ ревности. Онъ проситъ прощенія у жены, отъ души обнимаетъ, признаетъ Леона, такъ какъ его жена еще прежде признала его побочную дочь, и гармоническое счастье водворяется на мѣсто дикаго боре-нія страстей, которыми, быть можетъ, слишкомъ искупи-

лись невинная вина графини и легкомысліе (несравненно виновнѣйшаго) графа. Дѣйствіе пьесы хорошо, человѣчески примиряющее. Радуеться видя графа, выходящаго изъ заколдованнаго круга предразсудковъ и фанатизма.

Мысль реабилитаціи женщины одна изъ любимыхъ и ярко прорѣзывается вездѣ у Бомарше рядомъ съ негодованіемъ, насмѣшкой противъ аристократіи и тогдашняго состоянія. Уже въ *Barbier de Séville* притѣсненная Розина имѣетъ всѣ его симпатіи и онъ заставляетъ ее сказать, когда Бартоло говоритъ, что мужъ имѣетъ право читать письма жены. *Mais pourquoi lui donnerait-on la préférence d'une indignité qu'on ne fait à personne ?* (Acte II. Scène XV.) Въ *Свадьбѣ Фигаро* женщина торжествуетъ безусловно; во первыхъ въ этой неуволимой, острой, милой Сусаннѣ, которая побѣдила самаго Фигаро, побѣдила торжественно, потому что и въ немъ выражалась тиранская натура мужчины; во вторыхъ въ графинѣ. Мужъ волокита смѣетъ, имѣетъ право (и доселѣ) тѣснить жену ревностью, онъ ее мучитъ за взглядъ, шутки; онъ ее готовъ опозорить, предать общественному поруганію за поступокъ, который онъ сейчасъ готовъ былъ совершить, и который, еслибъ совершилъ, извлекъ бы улыбку у всѣхъ, кромѣ Фигаро. Эту неправду, эту дикую неправду и выставилъ Бомарше и онъ конечно былъ изъ первыхъ, понявшихъ плотское состояніе женщины.

— И всѣ эти бѣшенныя страсти ревности, мщенія еще казались такъ справедливо текущими изъ самыхъ естественныхъ отношеній мужа и жены. А между тѣмъ, глядя имъ въ глаза прямо и трезво, видишь что это все привидѣнія, не имѣющія дѣйствительности. А сколько слезъ, сколько крови пролилось во имя ихъ!

## ОКТЯВРЬ МѢСЯЦЪ

7. — De la Prusse par un inconnu. 1842. Авторъ выдается за француза. Католикъ à la mode, то есть съ демократическими выходками; но книга исполнена интереса, не смотря на односторонность. Пруссія должна была, если не вся, то правительствомъ, покраснѣть до ушей. Скрытый, обманчивый, безэнергичный и тупой деспотизмъ, облеченный въ формы германо-quasi-европейскія. Какъ страшно сдѣлается на душѣ, когда видишь все бѣдное развитіе права гдѣ нибудь въ Пруссіи, вдругъ взглянешь домой — и Пруссія покажется раемъ земнымъ.

16. — Пересматривалъ и поправлялъ статью „Grübe'n по поводу одной драмы“ т. е. развитіе мысли, записанной послѣ бенефиса Самойлова (8 лѣтъ старше), статья вышла не дурна. Она назначается въ *Альманахъ* Грановскаго вмѣсто „Дилетантизма,“ отнятаго для *Отеч. Зап.* А ргороз, въ послѣднемъ № повѣсть извѣстнаго графа Ѳ. В. Ростопчина. Много юмора, остротъ и меткаго взгляда.

22. — День рожденія Наташи — 25 лѣтъ. Страшно идетъ время. Вчера я смотрѣлъ долго на два портрета мои Витберговой работы. Одинъ дѣланъ въ концѣ 1835, другой въ половинѣ 1836, оба были похожи, особенно первый. И мнѣ стало грустно, первый разъ я испыталъ чувство человѣка не токмо вышедшаго изъ юности, но

и отдалившагося отъ нее. Гдѣ эти черты, гдѣ это выраженіе, гдѣ мягкость, нѣжность, грація? Семь лѣтъ и какая переменѣна! Я перенесся въ то время. Это былъ періодъ романтизма въ моей жизни: мистическій идеализмъ полный поэзіи, любовь, всепоглощающее и всенаправлявшее чувство. Одиночество, первый годъ ссылки, нѣсколько мѣсяцевъ послѣ тюрьмы. Это былъ періодъ *der Gemüthlichkeit*, но у меня никогда не было жизни такъ сосредоточенной въ личныхъ отношеніяхъ, чтобъ хоть на время забыть всеобщіе интересы. Напротивъ, я со всѣмъ огнемъ любви жилъ въ сферѣ общечеловѣческихъ, современныхъ вопросовъ, придавши имъ субъективно-мечтательный цвѣтъ. Наконецъ, въ 1838 г., жизнь достигла до той высшей степени цѣлаго развитія, далѣе которой идти нельзя. Надобно объяснить. Съ 1838 года шелъ ли я назадъ или впередъ? Сомнѣнья нѣтъ, что впередъ: взглядъ сталъ шире, основательнѣе, ближе къ истинѣ, я отдѣлался отъ тысячи предразсудковъ съ тѣхъ поръ, много занимался еіс. Но для меня, какъ для лица, лучшаго, полнѣйшаго періода жизни не можетъ быть какъ половина 1838 до половины 1839. Сторона мысли, разума взяла верхъ надъ страстностью (и должна была); но съ тѣмъ вмѣстѣ потухло множество наслажденій. Тотъ годъ тѣмъ важенъ, что тогда все было уравновѣшено и развернуто въ пышный цвѣтъ, стройный, согласный концертъ всѣхъ элементовъ. Такой періодъ въ исторіи человѣчества — была греческая жизнь. Человѣчество гораздо дальше двинулось въ христіанскомъ и современномъ мірѣ, но того юношескаго, стройнаго согласія внутренняго и внѣшняго нѣтъ, одна сторона пожертвована другой. Тотъ годъ былъ лучшимъ годомъ для нашихъ индивидуальностей. Испивъ всю чашу наслажденія индивидуальнаго бытія, надобно продолжать

службу роду человѣческому, хотя бы она была и не легка. Да зачѣмъ же переживается такой прекрасный періодъ, зачѣмъ онъ такъ скоро проходитъ? Онъ не проходитъ, а измѣняется. Да и сверхъ того все индивидуальное подчинено времени, хотя съ другой стороны полнота наслажденія внѣ всякаго времени, она заключаетъ безконечность въ настоящемъ и есть достойная цѣль индивидуальнаго бытія. А пророс. Часто говорятъ, земной шаръ какъ индивидуумъ, имѣющій органическое развитіе, имѣлъ (какое бы оно ни было) временное начало и слѣдовательно будетъ имѣть конецъ, (недавно еще говорилъ мнѣ объ этомъ M. Gros philosophe franco-germanique) а съ нимъ и человѣчество; словомъ, судьба планеты, судьба индивидуальнаго. Для чего все развитіе, къ чему и проч. Вопросъ трудный. Физически не знаю, какъ отвѣчать на самую гипотезу гибели планеты. Но этимъ, если хотятъ (какъ Gros) доказать личность Бога или безсмертіе души, немного возьмутъ. Да самое развитіе ist Lohn der reichlich lohnet — вѣчность не въ числѣ лѣтъ отъ рожденія до безконечности, а въ развитіи въ себѣ божественнаго духа, неимѣющаго зависимости отъ времени.

26. — Вчера въ восьмомъ часу утра умеръ Вадимъ. Онъ былъ болѣнъ съ мѣсяцъ. Последнюю ночь я провелъ у его кровати и онъ скончался при мнѣ. Мы послѣдніе годы волею и неволею видались рѣдко. Онъ жилъ въ южныхъ губерніяхъ, я въ сѣверныхъ, онъ въ Москвѣ, я въ Петербургѣ; къ этому присоединялась разница въ образѣ воззрѣнія на предметъ слишкомъ яркій, чтобъ можно было примириться, забывъ ее, и не достаточно развитая, чтобъ именно по самой противоположности мнѣній найти другъ въ другѣ особый интересъ. Онъ

отъ славянофильства дошелъ до ортодоксности и даже до ненависти къ Западу; такимъ образомъ ему пришлось отвергнуть все историческое развитіе человѣчества, всю науку, философію, всю мысль нашего вѣва—на это силъ не было, осталось *das vorgehenne ignorieren* и защита мѣста, тутъ надобно дойти до безумія, чтобъ сдѣлаться интереснымъ, т. е. какъ Морошкинъ. Но при всемъ этомъ и не смотря на другія личныя отношенія, я цѣнилъ въ этомъ человѣкѣ всегда высокое благородство души, чистоту жизни, съ которой онъ проламывался сквозь ужасныя несчастія и недостатки. Годъ тому назадъ, онъ еще былъ полонъ силъ, предпріятій, даже когда я пріѣхалъ въ Москву въ іюнѣ, онъ былъ здоровъ или жаловался на общее разстройство; въ августѣ и именно 26, въ именины Наташи, онъ былъ у меня и говорилъ, что простуженъ, что надобно побережъся. Потомъ я его съ мѣсяцъ не видалъ, онъ жилъ на дачѣ; пріѣхавши, я засталъ его очень похудѣвшимъ, въ ипохондріи; въ началѣ октября развилась чахотка, и вчера я присутствовалъ при великой тайнѣ смерти, и вся эта вся потенція, энергія, какъ угодно, — исчезла, уничтожилась, оставя послѣ себя слѣдъ на веществѣ уже гніющемъ и на костяхъ, которыя долго не сгніютъ, но сгніютъ же. Дней пять передъ смертью меня ужаснула не худоба его, не кашель, а замѣтная тупость умственныхъ способностей и чрезвычайная ограниченность даже, это потуханье интеллектуальной стороны шло возростая, за день до смерти, за два онъ только занимался болѣзнію, говорилъ о лекарствахъ, о ихъ дѣйствіяхъ. Въ два часа ночи (съ 24 на 25) онъ проснулся, ему было по легче, однако жена догадалась, что не передъ добромъ, привела дѣтей, онъ улыбнулся. Жена сказала ему, чтобъ перекрестилъ ихъ, онъ сдѣлалъ видъ, что самъ хочетъ,



потомъ закрылъ глаза и уснулъ. Прислали за мной Я пришелъ въ началѣ четвертаго, онъ спалъ спокойно-изрѣдка только издавая легкій стонъ, и не просыпаясь, не раскрывая глазъ, не взоидя ни на минуту въ сознаніе, умеръ. Въ 7 часовъ утра дыханіе стало рѣже, прерывистѣе, онъ раза два продолжительно застоналъ и въ ту же минуту глаза его приняли спокойный видъ и дыханіе прекратилось. Черезъ два часа, мы его уже переносили на столъ, а еще черезъ два часа мальчикъ отъ Кампіони снималъ маску, заливши алебастромъ лице. Тайна и грозная, страшная тайна! А какъ наглазно видно тутъ, что *jenseits* мечта, что духъ безъ тѣла невозможенъ, что онъ только въ немъ и съ нимъ что нибудь! — „Мы увидимся, скоро увидимся,“ говорила жена; теплое, облегчающее вѣрованіе, мое послѣднее вѣрованіе, за которое я держался всѣми силами. Нѣтъ и тебя я принесъ на жертву истинѣ! А горько разставаться съ тобою было, романтическое упованіе новой жизни.

Когда я вышелъ изъ ихъ дома, чтобъ послать имъ людей и сдѣлать часть распоряженій, солнце свѣтило, морозный день былъ сѣверно хорошъ, на улицѣ движеніе, жизнь. Жизнь вѣчна, жизнь идетъ своимъ чередомъ, она производитъ для себя и уничтожаетъ, испортивши, износивши формы, не жалѣя объ нихъ. Я пріѣхалъ къ Кампіони. Никого нѣтъ въ первой залѣ, я въ другую: статуи, картины, роскошныя, граціозныя формы жизни поразили меня послѣ того, какъ я такъ пристально вглядѣлся въ угловатыя, ужасныя формы смерти. А въ другой комнатѣ, дѣвочка лѣтъ 15, пѣла веселую итальянскую пѣсню.

Говоря объ этомъ днѣ, я не долженъ пропустить лицо, поразившее меня изяществомъ всего существа своего.

Черткова (Елизавета Григорьевна, урожденная графиня Чернышева, т. е. Чернышевыхъ въ самомъ дѣлѣ, а не военнаго министра), сначала, она поразила меня удивительно благородной и выразительной наружностью; въ ней видна аристократическая кровь, это одна изъ героинь Вальтеръ Скотта, высокая, худая, не въ первой молодости, грандіозная и *hehr*, какъ говорятъ нѣмцы. Но потомъ она меня удивила образомъ участія; ни слезъ непрерывныхъ, ни банальныхъ утѣшеній, ни перешептыванья, ни жестовъ, ничего — спокойное, глубокое участіе, безъ словъ, но ясно звучащее въ этой группѣ, составленной изъ мертвеца и его пріятелей, хлопчущихъ около него, и жены въ отчаяніи, и дѣтей испуганныхъ. Эта женщина была похожа на тѣ явленіе образа богородицы, которые видѣлись прежними святыми и которые сходили примирительной голубицей между Богомъ и человѣкомъ. Эта женщина была артистическая необходимость въ этой группѣ — безъ нее картина была бы *zughaugée* чернымъ и безнадежнымъ. Вотъ и моя дань аристократіи, въ ней именно важнѣйшую долю изящной формы и изящныхъ формъ надо отнести чистой, благородной крови и правамъ истинной аристократіи. Проведя весь этотъ день и всѣ сутки въ натянуто напряженномъ состояніи, въ которомъ одно сильное чувство смѣнялось другимъ, скорбь, тяжкія мысли и проч. Когда я вечеромъ поздно остался дома, одинъ съ Наташей, возлѣ спалъ малютка-тишина — тогда мнѣ стало чрезвычайно легко, я вошелъ опять въ среду истинной жизни, ибо судорожныя экста-тическія минуты составляютъ крайность.

А давно ли Вадишъ, только что выпущенный изъ университета кандидатомъ, въ преизбыткѣ силъ, съ необузданнымъ самолюбіемъ, съ русской удалю дѣлихъ всѣ мечты, всѣ увлеченія наши? Это было въ концѣ

1831, до начала 1834. Одинадцать лѣтъ впрочемъ! Послѣ женитьбы онъ много измѣнился; а можетъ не онъ, а мы двинулись впередъ, а онъ остался на старомъ мѣстѣ. Попадши въ Славянизмъ, онъ даже и на старомъ мѣстѣ не остался, а пошелъ инымъ путемъ назадъ; всѣ общіе человѣческіе интересы, всѣ современные вопросы занимали его только по мѣрѣ ихъ причастности къ славянскому міру, а тутъ надобно замѣтить, что именно имъ то они вовсе и не занимаются. Мы разстались довольно холодно. Въ 1840 году мы встрѣтились въ Петербургѣ, разстояніе между нами было не переходимое; но я тогда въ немъ оцѣнилъ прекраснаго семейнаго человѣка и мы сблизились опять и такъ остались до его кончины. Въ послѣднее время его финансовое положеніе начало было поправляться; но несчастье за несчастьемъ лишили возможности улучшить жизнь; работой онъ былъ заваленъ, можетъ онъ касался, наконецъ, до спокойствія въ матерьяльномъ отношеніи — но жизнь порвалась.

И она давно ли кажется жила у насъ въ домѣ, пріѣзжая изъ Корчевы, Темира, дѣвица беззаботная и *un peu rédante*. А теперь вдова, въ крайности, съ двумя дѣтьми и съ третьимъ неродившимся. Будущность ея ужасна, не представляется ни пристанища, ни куска хлѣба. Конечно, найдутся люди; но хлѣбъ милостыни, что ни говори, съ пескомъ. Вотъ еще семейство въ счетъ Астраковыхъ, Медвѣдовыхъ, Витберга и многихъ многихъ. Страшно вспомнить, всѣмъ помочь силъ нѣтъ. А кого же обойти?

29. — Вчера схоронили Вадима въ Симоновѣ. Похороны были торжественны по истинному участію людей, окружавшихъ гробъ. Жена твердо шла за гробомъ,

стояла возлѣ и, когда привинтили крышку, она облокотилась на гробъ. Никто не смѣлъ ни двинуть гробъ, ни прервать этой нѣмой горести. Она долго стояла, слезъ не было, но взглядъ ея былъ невыносимъ ; кругомъ все рыдало; въ ея взглядѣ было видно что то безпредѣльно отчаянное и убитое, и вмѣстѣ недоумѣніе, вопросъ, упрекъ. Въ Симоновѣ покойника встрѣтилъ самъ архимандритъ, (Мельхиседекъ) бывшій пріятелемъ съ Вадимомъ, и эта дань уваженія была хороша. Жена стала возлѣ могилы, ее уже закапывали, также страшно молча и безъ слезъ. Архимандритъ подошелъ къ ней и сказалъ : „Довольно, это не наше, въ церковь за мной, молиться Богу.“ И мы взошли въ церковь уже безъ покойника, уже онъ сталъ совершенно прошедшее. Вотъ гдѣ крѣпость религіи; въ эти минуты человѣкъ готовъ все сдѣлать, чтобъ найти выходъ и примиреніе. Религія врачуетъ все. Когда мыслитель, гражданинъ говоритъ о подчиненіи индивидуальнаго всеобщему, на нихъ смотрятъ, какъ на людей безъ сердца ; когда художникъ или ученый скажетъ, что звукъ его лиры, его кисть утѣшительница въ его горести — назовутъ эгоистомъ. А когда религія рѣзко говоритъ: „оставь, это мое, идемъ молиться, покоряйся безропотно,“ тогда все покоряется и склоняетъ колѣна, безъ разсужденій, повинуюсь слѣпо.

## НОВАРЬ МѢСЯЦЪ

1. — Духъ человѣческій роетъ себѣ да роетъ внутри, онъ дѣлаетъ свое какъ въ родѣ такъ и въ лицѣ. Жена Вадима, которая первые дни своего несчастія была въ

полнѣйшей вѣрѣ, вдругъ со вчерашняго дня начинаетъ сомнѣваться и безпрестанно колеблется между дѣтскимъ признаніемъ и полнымъ отрицаніемъ. Она называетъ это паденіемъ, молится о подкрѣпленіи, но молитва не исполняется; тутъ ясно видно благородное, человѣческое направленіе, не позволяющее обольщать себя и съ другой стороны видно, какъ слабо дѣйствуетъ при современномъ состояніи развитія духа религіозная положительность.

2. — Письмо отъ Сатина изъ Ганау. Огаревъ опять надѣлалъ глупости въ отношеніи къ женѣ, снова сошелся съ нею, поступалъ слабо, обманывалъ, унижался и опять сошелся, послѣ всего бывшаго. Вотъ что я писалъ къ Огареву: „Бѣдный, бѣдный Огаревъ, я грущу о твоёмъ положеніи, но ни слова, когда дружба истощила безуспѣшно все, чтобъ предупредить, отвратить; ея дѣло остаться вѣрною въ любви. Дай руку, какъ бы ты ни поступилъ, не хочу быть судьей твоимъ, хочу быть твоимъ другомъ; я отворачиваюсь отъ темной стороны твоей жизни и знаю всю полноту прекраснаго и высокаго, заключеннаго въ ней. У тебя широкія ворота для выхода изъ личныхъ отношеній — искусство, міръ всеобщаго; я хочу не знать жалкой борьбы, отъ которой раны, конечно, будутъ не на груди.“

Я откровенно дѣлю съ нимъ его несчастіе, понимаю его слабость (какъ его, ибо во мнѣ есть возможность паденій, увлеченій, но такой слабости нѣтъ и тѣни), не могу простить его поступка, но далекъ и отъ жестокаго приговора. У К. сильная способность любить, но онъ жестокъ, на словахъ, скорѣ въ приговорахъ, это его недостатокъ, его ограниченность. Для хладнокровнаго наблюдателя это психологическій феноменъ, достойный

изученія. Чѣмъ эта ограниченная, неблагородная, некрасивая, наконецъ, женщина, противоположная ему во всѣхъ смыслахъ, держитъ его въ илотизмѣ? Любовью? онъ не любитъ ее, даже не уважаетъ; абстрактной идеей брака? онъ давно не признаетъ власть его. Чѣмъ же? Отталкивающее ея существо такъ сильно, что все, приближавшееся къ ней, ненавидитъ ее; вездѣ, на Кавказѣ, въ Москвѣ, въ Неаполѣ, Парижѣ она возбуждала смѣхъ и негодованіе. Сожалѣніе и слабость, безпредѣльная слабость, вотъ что затягиваетъ цѣпь, которую должно было сбросить, такъ далеко зашелъ ея эгоистическій, дерзкій нравъ. Такая ли будущность ждала Огарева? И въ такомъ то омутѣ теряетъ онъ силы на глупую борьбу, теряетъ здоровье, жизнь. Это ужасно! Но теперь то ему и нужна дружба!

6.— Отвратительная тяжесть нашей эпохи тѣмъ ужаснѣе, что людямъ мыслящимъ приходится бороться не съ одними людьми силы и власти, а еще съ долею литераторовъ. Славянофильство приноситъ ежедневно пышные плоды; открытая ненависть къ западу есть открытая ненависть ко всему процессу развитія рода человѣческаго, ибо западъ, какъ преемникъ древняго міра, какъ результатъ всего движенія и всѣхъ движеній, все прошлое и настоящее человѣчество (ибо не арифметическая цифра, счетъ племенъ или людей—человѣчество). Онъ допс вмѣстѣ съ ненавистью и пренебреженіемъ къ западу—ненависть и пренебреженіе къ свободѣ мысли, къ праву, ко всѣмъ гарантіямъ, ко всей цивилизаціи. Такимъ образомъ Славянофилы само собою становятся со стороны правительства, и на этомъ не останавливаются, идутъ далѣе: правительство тѣснитъ безсмысленно, оно имѣетъ шпіоновъ, которые доносятъ вздоръ, оно за вздоръ бьетъ

казнями и ссылками; но нѣтъ на столько образованныхъ шпионовъ, чтобъ указывать всякую мысль, связанную изъ свободной души, чтобъ понимать въ ученой статьѣ направление и пр. Славянофилы взялись за это. Отвратительные доносы Булгарина не оскорбляли, потому что отъ Булгарина нечего ждать другаго, но доносы *Москвитинина* повергаютъ въ тоску. Булгаринъ работаетъ изъ одного гроша, а эти господа? Изъ убѣжденія! Каково же убѣжденіе, позволяющее прямо дѣлать доносы на лица, подвергая ихъ всѣмъ бѣдствіямъ деспотическаго наказанія? Правительство, по счастью, безграмотно, не читаетъ журналы. И что за дикія мнѣнія проповѣдуются ими! А возражать нельзя. Москва центръ всѣхъ этихъ скопищъ. Горько и подчасъ нельзя не сознаться, что Петербургъ какъ бы то ни было, а выше Москвы. Цензура здѣсь вдесятеро строже, привязчива, подла, притѣснительна, а между тѣмъ цензоръ Крыловъ — профессоръ съ либеральной гепомшѣе. То, что въ *Отеч. Зап.* печатается, то здѣсь страшно говорить при многихъ. Слава Петру, отрекшемуся отъ Москвы! Онъ видѣлъ въ ней зимующіе корни узкой народности, которая будетъ противодѣйствовать европеизму и стараться снова отторгнуть Русь отъ человѣчества.

Для Пашкова *Альманаха* я изготовилъ было свою статью „Къ характеристикѣ Неоромантизма.“ Да, помните, этаго цензура не пропуститъ, это будетъ обидно для піэтистовъ, надо такъ измѣнить, такъ скрыть мысль. Боже праведный! Въ образованныхъ государствахъ каждый, чувствующій призваніе писать, старается раскрыть свою мысль, употребляя на то талантъ свой, у насъ весь талантъ долженъ быть употребленъ на то, чтобъ закрыть свою мысль подъ рабски вымышленными условными словами и оборотами. И какую мысль? Пусть

бы революціонную, возмутительную. Нѣтъ, мысль теоретическую, которая до пошлости повторялась въ Пруссіи и въ другихъ монархіяхъ. Можетъ, правительство и промолчало бы, патріоты уважутъ, растолкуютъ, перетолкуютъ! Ужасное, безвыходное состояніе!

Анекдотъ съ графомъ Про....., котораго выслали за границу, напомнилъ, между прочимъ, разговоръ Конарскаго съ кн. Долгорукимъ за часъ до смертной казни.

10. — Вчера сосѣдъ мой въ театрѣ рассказывалъ, что оперу Россини *Вильгельмъ Телль* даютъ у насъ подъ названіемъ *Карлъ Смѣлый*. Я еще этой глупости не зналъ, и смѣшно, и досадно, и отвратительно.

14. — Scène de la vie privée — горькое объясненіе съ отцомъ. Странное дѣло, какъ живущъ эгоизмъ и какъ онъ растетъ съ лѣтами, до какой безчувственности доводитъ онъ. Послѣ смерти Льва Алек. онъ былъ испуганъ, пораженъ, и съ годъ явно былъ кротче, но теперь съ каждымъ мѣсяцемъ я вижу, что онъ глубже и глубже падаетъ въ какую то жизнь скупца и эгоиста, для котораго въ мірѣ ничего не существуетъ, кромѣ капризовъ. Странно видѣть человѣка 74 лѣтъ вблизи, ведущаго такую жизнь отрѣшенную отъ всѣхъ человѣческихъ интересовъ, и страшно то, что нѣтъ возможности поставить себя такъ, чтобъ или молча быть зрителемъ, или удерживаться въ границахъ при всякомъ оскорбленіи. И безъ хвастовства могу сказать, что я прожилъ собственнымъ опытомъ и до дна всѣ фазы семейной жизни и увидѣлъ всю непрочность связей крови; они врѣзки, когда ихъ поддерживаетъ духовная связь (то есть, когда ихъ не нужно), а безъ нихъ держутся до перваго толчка. Vanitas! Vanitas!



Письмо отъ Бѣлинскаго. Фанатикъ, человѣкъ экстремы, но всегда открытый, сильный, энергичный. Его можно любить или ненавидѣть, середины нѣтъ. Я истинно его люблю. Типъ этой породы людей — Робеспьеръ. Человѣкъ для нихъ ничего, убѣжденіе все.

18. — А. И. Тургеневъ милый болтунъ, весело видѣть, какъ онъ, не смотря на сѣдую голову и лѣта, горячо интересуется всѣмъ человѣческимъ, сколько жизни и дѣятельности. А потомъ пріятно слушать его всесвѣтныя рассказы, знакомства со всѣми знаменитостями Европы. Тургеневъ — европейская кумушка, человѣкъ au courant всѣхъ сплетней разныхъ земель и странъ, и все рассказываетъ, и все описываетъ, острить, хохочетъ, пишетъ письма, ѣздитъ спать на вечера et faire l'aimable вездѣ.

— Былъ на дняхъ у Елагиной, матери если не Граковъ то Киреевскихъ. Видѣлъ втораго Киреевскаго. Мать чрезвычайно умная женщина, безъ *цитатъ*, просто и свободно. Она груститъ о славянобѣсіи сыновей. Между тѣмъ оно растетъ въ Москвѣ. Чѣмъ кончится это безумное направленіе, становящееся костью, въ теченіи образованія. Оно принимаетъ видъ фанатизма мрачнаго, нетерпимаго. Можетъ хорошо, что возможность такихъ убѣжденій обнаруживается, а съ ними вмѣстѣ обнаруживается вся нелѣпость ихъ.

„Можетъ ли, имѣетъ ли право человѣкъ мѣнять крайугольные убѣжденія свои. Если можетъ, гдѣ же неизбѣжныя основы нравственнаго и умственнаго бытія человѣка?“ Въ самомъ дѣлѣ, съ перваго взгляда кажется, что то странное, пустое въ душѣ человѣка, мѣняющаго свои убѣжденія. Но это не правда. (Здѣсь не идетъ рѣчь о тѣхъ плоско-импресіонабельныхъ натурахъ, ко-

торыя безъ причины бросаютъ свои мнѣнія.) Человѣкъ развивается, истина раскрывается, на сколько онъ вмѣщаетъ ее въ себя въ концѣ развитія, а не съ самаго начала, она имѣетъ свои степени развитія, на которыхъ она иначе понимается подъ извѣстнымъ угломъ — но человѣкъ не долженъ останавливаться на абстракціи. Человѣчество достигаетъ истины, краеугольныя основы его бытія нравственнаго лежатъ въ немъ (an sich), но ясны ему могутъ быть на концѣ развитія, а не при началѣ, не въ прошедшемъ. Всею истиной прошедшее никогда не обладало. Да и это фундаментальное, истинное есть всеобщее, идея, Богъ и притомъ богъ понятой не jenseitlich, не фантастически образно, а въ имманенціи и присущей ей трансценденціи (міръ мышленія, нравственности, идеи уничтожающей, снимающей все временное какъ трансценденція самой природы и человѣка). Важно не слово, а понятіе, смыслъ. Конечно добродѣтель вѣчна и всегда должна была быть нормою дѣйствованій. Но какъ опредѣлилась и понималась добродѣтель въ данныя эпохи? Міръ Эллинскій, Юдаическій, Христіанскій разумѣли совсѣмъ розное. Все течетъ и текуче, но бояться нечего, человѣкъ идетъ къ фундаментальному, идетъ къ объективной идеи, къ абсолютному, къ полному самопознанію, знанію истины и дѣйствованію сообразному знанію, то есть къ божественному разуму и божественной волѣ. Выдерживать свое частное мнѣніе противъ истины — ограниченность, эгоизмъ, гордость. Случай когда лице правѣе вѣка, почти невозможенъ или возможенъ при эксцентрическихъ обстоятельствахъ.

— Розенкранца статья о жизни Гегеля въ Прудцовомъ *Альманахѣ* на 1842. Вотъ что тамъ очень хорошо. « Der Gedanken aus welchem sein (Hegels) ganzes System emporkeimte war das der Liebe. Die Anschauung aber, an welcher

er sich als Charakter orientirte war der des Gottmenschen. Schon in der Tübinger Periode sprach er die Analogie der Liebe mit der Vernunft aus und stellte sie—ob wohl sie nur ein empirisches Prinzip sei — unendlich hoch. Die Bewegung der Liebe aus sich in ein Bruder als in sich selbst unterzugehen, in den Bruder bei sich zu sein und sich nur zurückzukehren um sich seiner von Neuem zu entäussern, wurde ihm der Weg zu seiner dialektischen Welt. » Хотя Розенкранцъ вообще очень недалекій пониматель и формалистъ большой руки, но это не мѣшаетъ отдать ему справедливость, что единственно такъ надобно умѣть понимать Гегеля; и тогда сдѣлается смѣшно отъ глупыхъ сентенцій о сухости ума, объ импоеибельности его и проч.

Тамъ же: «Glauben ist die Art wie das, wodurch eine Antinomievereinigt ist, in unserer Vorstellung vorhanden ist. Die Vereinigung ist die Thätigkeit. Diese Thätigkeit reflectirt als Object ist das geglaubte » (Гегель. Теологическое разсужденіе писанное въ 1794 г.).

Понятіе любви къ женщинѣ согласное съ высказываемымъ нынче лѣвой стороною; онъ заставляетъ рыцаря рассказывать о своей нѣжной страсти Аристиду.

23. — Вчера провелъ вечеръ у Елагиной. Были оба Киреевскіе, Дмитріевъ и вздоръ. Иванъ Киреевскій конечно замѣчательный человѣкъ; онъ фанатикъ своего убѣжденія такъ какъ Бѣлинскій своего. Такихъ людей нельзя не уважать, хотя бы съ ними и былъ діаметрально противоположенъ въ воззрѣніи; ненавистны тѣ люди, которые не умѣютъ рѣзко стоять въ своей системѣ, которые хитро отступаютъ, боятся высказаться, стыдятся своего убѣжденія и остаются при немъ. Киреевскій ссег еі ате свое убѣжденіе, онъ нетерпящъ, онъ

грубо и дерзко возражаетъ, вѣренъ своимъ началамъ и разумѣется одностороненъ. Человѣкъ этотъ глубоко перестрадалъ вопросъ о современности Руси, слезами и кровью купилъ разрѣшеніе—разрѣшеніе нелѣпое, однако не такъ отвратительное какъ піэтическій оптимизмъ Аксакова. Онъ вѣритъ въ славянскій міръ—но знаетъ гнусность настоящаго. Онъ страдаетъ — и знаетъ, что страдаетъ и хочетъ страдать, не считая въ правѣ снять крестъ тяжелый и черный, положенный фатумомъ на него. Таковъ онъ показался мнѣ: натура сильная и держащаяся всегда въ какой то экзальтаціи, которая, полагаю, должна быть неразрывна съ фанатической односторонностію. Въ такихъ убѣжденіяхъ, страсти участвуютъ на равнѣ съ разумомъ, а страсти не даютъ величаваго спокойствія мысли. М. Дмитріевъ—другаго рода человѣкъ; во первыхъ какъ родной братъ похожъ на Краевскаго, умѣренно либералъ, умѣренно остеръ, романтикъ à la Casimir Delavigne, говорунъ и оберъ-прокуроръ. Толкуетъ о Европѣ, о жандармахъ и полиціи и печатаетъ доносы въ стихахъ.

Дошла рѣчь до *Отечественныхъ Записокъ*, и до Бѣлинскаго. Киреевскій, отозвался съ негодующимъ презрѣніемъ. Дмитріевъ съ острою. Рѣчь шла о какой то неважной статьѣ; я вдругъ бросилъ имъ свое мнѣніе также рѣзко въ пользу *Отеч. Зап.* Сдѣлалось молчаніе, Перемѣнили разговоръ тотчасъ. Елагина была съ моей стороны. А смѣшно Дмитріевъ бранить (съ умѣренностью) все — и недоволенъ, что Бѣлинскій не имѣетъ достаточнаго уваженія къ тому, къ чему онъ самъ не имѣетъ уваженія.

— Былъ у графа С. Г. Строгонова и провелъ у него часа два. Можетъ я ошибаюсь, можетъ онъ имѣетъ особый даръ fasciner людей — но я ужаваю и люблю его.

Доселѣ изъ всѣхъ аристократовъ извѣстныхъ мнѣ, я въ немъ одномъ встрѣтилъ много человѣческаго. Говорили съ нимъ опять о современномъ состояніи науки въ Германіи. „Да, замѣтилъ графъ, борьба великая и рѣшительная; и страшное положеніе людей критики, они должны были привести на жертву всѣ святѣйшія убѣжденія, всѣ вѣрованія, все облегчающее нашу жизнь и для чего?“ — Для истины, для истины — сказалъ я. „Истина ихъ не для насъ, мы не на той степени развитія, зачѣмъ намъ забѣгать?“ — Въ этомъ нельзя не согласиться; но что дѣлать тѣмъ, которые развились до современности? — „Несчастіе для нихъ, но, конечно, нельзя идти назадъ. Впрочемъ можно заниматься инымъ, полезнѣйшимъ, своевременнѣйшимъ.“ Строгоновъ отзывается объ Бѣлинскомъ съ признаніемъ его достоинства (вотъ насколько онъ выше славянофиловъ). Онъ понимаетъ значеніе *Отеч. Зап.*, понимаетъ единство ихъ духа. Бранилъ Францію и *Москвитянина* и кончилъ тѣмъ, что самымъ любезнымъ образомъ пригласилъ приходить къ нему по вечерамъ, поспорить и потолковать. Много неосновательности въ томъ, что онъ говоритъ, но, во первыхъ, онъ не всю свою мысль высказываетъ, во вторыхъ, не надобно забывать, что есть уже значительная разница въ лѣтахъ и что онъ провелъ свою жизнь въ военномъ станѣ и въ высшей аристократіи нашей, которая не отличается особенной современностью образованія.

Анекдотъ. Пасторъ Зедергольмъ, ограниченный человѣкъ и вовсе незнающій философіи, хотя и занимается ею лѣтъ тридцать, вздумалъ за деньги прочесть нѣсколько лекцій хорошо знакомымъ людямъ. На второй лекціи кто то вздумалъ подшутить надъ Зедергольмомъ *dans le genre russe*. Является нѣкто, вызываетъ пастора въ другую комнату и увѣдомляетъ его, что *eine hohe*

Person предупреждаетъ его, чтобъ онъ прекратилъ свои лекціи подъ опасеніемъ великихъ непріятностей. Ужасъ овладѣваетъ гостями и пасторомъ. Жена его въ отчаяніи, гости бѣгутъ въ смятеніи и пасторъ уничтоженный, убитый, мученикъ науки доселѣ не можетъ прійти въ себя. Шутка была глупа, негуманна. А положеніе въ которомъ такая шутка можетъ такъ удасться еще въ тысячу разъ глупѣе и негуманнѣе.

29.— Писалъ статью о специализмѣ въ наукѣ. Рядъ этихъ статей идетъ удачно.

Въ *альманахѣ* Пруца между разными выписками изъ Гегелевскихъ бумагъ замѣчательна нота его о смертной казни. Онъ начинаетъ съ замѣчанія Монтескье, что жестокія и частыя казни ожесточаютъ народъ и дѣлаютъ равнодушнѣе и къ наказанію и къ преступленію. Гегель дѣлаетъ вопросъ, почему ожесточаетъ зрѣлище казней? если привыкаютъ видѣть смерть, то войско видитъ и въ десятеро болѣе. Что же въ казни поражаетъ насъ? Ein wehrloser Mensch ist es, der uns in die Augen fällt, der gebunden, von einer zahlreichen Mänge umgeben, von ehrlosen Henkersknechten gehalten hinausgeführt und der ganz wehrlos, unter dem Zuruf und Gebet der geistlichen, die der Missethäter nachschauet, um das Bewusstsein des gegenwärtigen Augenblicks zu übertäuben. So stirbt er. Солдатъ, сраженный пулей, не производитъ того страшнаго чувства, онъ имѣетъ право защиты, были шансы въ его пользу, у преступника отнято право защиты. Die empörende Empfindung einen Wehrlosen von einer, noch dazu überlegenen Anzahl Bewaffneter hinrichten zu sehen, wird bei den Zuschauern nur dadurch nicht in Muth verwandelt, dass ihnen der Ausspruch des Gesetzes heilig ist. Wenn die Henker schon Diener der Gerechtigkeit sind, so hat doch diese blasse Verstel-

lung die allgemeine Empfindung nicht zu unterdrücken vermocht, welche das Handwerk oder den Stand dieser Menschen, die hier in Augensicht des ganzen Volkes mit kalten Blick einen Wehrlosen tödten können, die hier ganz als blinde Werkzeuge, so wie die wilden Thiere, denen man ehemals die Verbrecher vorwarf, ihren Dienst verrichten, mit dem Brandmal der Ehrlosigkeit stempelt.

Далѣе онъ замѣчаетъ, что палачи всегда бываютъ очень тихіе и скромные люди, желая спасти свою личность отъ позора званія и проч.

А въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* высочайшее повелѣніе объ учрежденіи особой цензуры при III отдѣленіи; было прежде только для театра, теперь для всѣхъ литературныхъ произведеній, вѣроятно. Еще шагъ! — Боже, Боже—неужели нѣтъ предѣла? На дняхъ было 17 лѣтъ этой мрачной, страшной страницѣ нашей исторіи.

Въ Барселонѣ провозгласили республику.

## ДЕКАВРЬ МѢСЯЦЪ

9. — Какъ будто въ этотъ промежутокъ ничего и не было. Все по прежнему. Саша бѣгаетъ, шумитъ, Natalie въ своей комнатѣ. Я за письменнымъ столомъ. А между тѣмъ мрачная, гадкая страница прожита нами. Въ ночь съ 29 на 30 родился малютка, вечеромъ 5 умеръ. — Третій. Какой поп sens, какая оскорбительная власть случайности. Дитя родилось легко, здоровое, потомъ утромъ 30 начались судороги и всѣ пособія оказались ничтожными, шесть дней оно страдало, мучилось, на

седьмой остался изнуренный трупъ. Пятаго ему стало легче, надежды явились не токмо у меня, но у самого Рихтера—отъ этаго вѣсть о его смерти ударила больно. Прежде я не надѣялся. А бѣдная мать, третій разъ обманутая, удивленная, такъ сказать, наглостью безпорядка, задавленная горемъ. Мнѣ пришло въ голову — хорошо что мы *Persönlichkeit Gottes, übergerisende Subjectivität* принимаемъ не въ томъ смыслѣ, какъ добрые люди, а то признаться не въ похвалу лицу были бы эти бессмысленные удары.

Кетчеръ, благородный Кетчеръ жилъ у насъ всѣ эти дни, не спалъ ночи, самъ пеленалъ, помогалъ купать, смотрѣлъ за всѣмъ, касающемся больныхъ, утѣшалъ, хлопоталъ и въ самомъ дѣлѣ успѣлъ; половину тягости онъ снялъ на свою грудь съ нашей.

М. В. Рихтеръ замѣчательнѣйшій изъ всѣхъ видѣнныхъ мною докторовъ; онъ идетъ къ дѣлу съ обширнымъ взглядомъ, съ обдуманностью и занимается, какъ фактомъ науки, больнымъ, съ усердіемъ и глубокомысліемъ. Когда малютка умеръ, онъ предложилъ мнѣ разрѣшить аутопсію, польза была очевидна, ибо третій подобный случай заставилъ употребить всѣ средства для дознанія истинной причины. Я согласился. Однако страшно щемящее чувство душило меня все время аутопсіи; я было отворилъ дверь, взошелъ въ комнату, гдѣ производилась она, но мнѣ было очень не хорошо и я тотчасъ ушелъ. Есть какой то *Pietät* къ близко-умершему и какая то профанація въ разоблаченіи тайнъ. Вотъ результатъ. Часть мозга слишкомъ мягка, другая груба, вода въ мозгу, неправильно сильная оссификація. И такъ причина смерти *hydrocephalus* и отъ абнормальнаго состоянія мозга зависѣли всѣ нервные явленія, спазмы, конвульсіи etc. Осталь-



ное образовано хорошо. Но тутъ то медицина и въ жалкомъ положеніи, она не умѣетъ отвѣчать на вопросъ: какъ предотвратить въ фѣтальномъ состояніи hydrocephalus? еще менѣе въ какой зависимости и отъ какихъ причинъ; третій разъ отъ довольно здоровыхъ родителей родятся дѣти съ такой болѣзнью, въ то время какъ первый ребенокъ, предшествовавшій, былъ совершенно здоровъ? Они ссылаются на слабые нервы жены, на ея нѣжное сложеніе вообще, однако эта слабость далека отъ обмороковъ и другихъ признаковъ болѣзненнаго ослабленія нервовъ; говорятъ (и это мое собственное убѣжденіе), что въ первомъ случаѣ бывшемъ въ Петербургѣ, испугъ, причиненный присылкою за мной изъ тайной полиціи (*belli frutti!*) обусловилъ болѣзнь младенца. А второй, а третій случаи? — да натура взяла *pil* — да почему же она взяла *pil*? — *chi lo sa?*

Рихтеръ совѣтуетъ ѣхать въ теплый край, брать морскія ванны. Хорошо, очень хорошо было бы. Да куда? въ чужіе края — пустятъ ли? Опять *chi lo sa*. Тяжкое, не представляющее выхода состояніе. Несчастье съ одной стороны, гоненія съ другой, даже отношенія къ отцу столь же тяжелы, какъ и гоненія, все вмѣстѣ давитъ свинцовыми ногами въ грудь.

13. — Иногда такая злоба наполняетъ всю душу мою, что я готовъ кусать себя. И частное и общее все глупо, досадно. Я мучился, когда стонало бѣдное дитя, теперь хотѣлъ бы еще слушать этотъ стонъ. Стонъ все же бытіе. А это тупое, нѣмое молчаніе трупа, могилы. Я мучился прежде, что не имѣю права ѣздить въ Москву — а теперь тѣмъ, что въ Москвѣ. Этотъ городъ мнѣ противенъ. Я въ послѣднее время не могъ ни разу взойти въ старый домъ безъ судорожнаго щемленія. Видъ, жизнь

отца приводятъ меня въ ужасъ, онъ мало по малу утратилъ всѣ слѣды благородныхъ чувствъ, съ каждымъ днемъ растетъ въ немъ мелочная скупость, привязчивость и страшный холодъ и безучастіе ко всему близкому и дальнему. Не могу вѣрить, чтобъ всякій старецъ оканчивалъ такъ страшно свою жизнь. Нѣтъ, это горькое наказаніе за жизнь. Да зачѣмъ я то поставленъ зрителемъ и судьей? О жизнь, жизнь, какая гиря! Но выбора нѣтъ. Впередъ!

21.— Вчера продолжительный споръ у меня съ Хомяковымъ о современной философіи. Удивительный даръ логической фасцинаціи, быстрота соображенія, память чрезвычайная, объемъ пониманія широкъ, вѣренъ себѣ, не теряетъ ни на минуту *aggrégé-pensée*. къ которой идетъ, Необыкновенная способность. Я радъ былъ этому спору, я могъ нѣкоторымъ образомъ извѣдать силы свои, съ такимъ бойцомъ помѣриться стоитъ всякому ученью, и мы разошлись, каждый при своемъ, не уступивши іоты. Консеквентность его во многомъ выше формалистовъ гегеліанскихъ; онъ прямо говоритъ, что изъ гегелевыхъ началъ-на *Persönlichkeit Gottes, die Transcendenz* вывести нельзя, не сдѣлавши великой ошибки, что изъ нее необходимо *Immanenz* и жизнь—*inneres Gähren*, приходящая въ себя къ идеи. Но, говоритъ онъ, такъ какъ этотъ результатъ нелѣпъ, слѣдовательно послѣднее слово философіи нелѣпость.

Опровергая Гегеля, Хомяковъ не держится въ всеобщихъ замѣчаніяхъ, въ результатахъ, нѣтъ, зная свою изворотливость, онъ идетъ въ самую глубь, въ самое сердце, то есть, въ развитіе логической идеи. Но его недостатокъ главный невозможность перехода (слѣдовательно полнаго пониманія) мысли въ фактъ, къ факту. Что фактъ логическій не можетъ *вполнѣ* знать факта

реального и это вотъ почему. Одна изъ сторонъ факта случайна, отъ нее мысль отвлекаетъ; онъ ее признаетъ, но оставляетъ, беретъ необходимое, законъ, реинтегрируетъ понятіе факта во всей чистотѣ его всеобщаго, т. е. абстрактнаго бытія, но фактъ des Daseins имѣетъ *необходимо* и сторону случайности и слѣдовательно какъ конкретъ не можетъ быть воссозданъ, а только какъ абстракція; отсюда недостатокъ жизни въ логическомъ движеніи. Оставленіе случайности возможно въ теоріи, на дѣлѣ не такъ (все это мнѣніе его). Человѣкъ въ фѣтальномъ состояніи долженъ развиться въ человѣка совершеннолѣтняго, необходимость лежитъ въ понятіи *Entwurg*; но случайность отрѣзываетъ нить жизни и факта нѣтъ. А потому случайность существенна факту, а мысль принята за несущественное.

— Далѣе. Философія ведетъ къ имманенціи, но если самопознаніе, субъективность развертывается погруженная въ міръ реальный, а міръ реальный *idealerweise* долженъ развиться въ самопознаніе, но можетъ *geheimni sein* на дорогѣ случайностью, стало можно предположить такую эпоху вселенной, въ которой субъективности, сознанія вовсе нѣтъ, а есть *dumpfes, unkluges fur sich* броженіе—а если планета такая же индивидуальность, какъ индивидуальность человѣка, то и развившись до сознанія, она можетъ погибнуть, и съ ней весь побѣжденный процессъ, который долженъ бы былъ продолжаться на всѣхъ. Но изъ нихъ каждое также зависитъ отъ случайности—отсюда хаотическое, страшное воззрѣніе. Я сказалъ ему, что это свирѣпѣйшая односторонность имманенціи и доказывалъ кругомъ ограниченныя вліянія случайности *etc. etc.* Результатъ его: Гегель и гегельяне представляютъ высшій моментъ философіи, совершенно послѣдовательный и необходимый изъ всего предшество-

вавшего развитія, но этотъ результатъ доводитъ до построения идеальнаго паралельнаго реальному — но и реальное доводитъ въ послѣднемъ словѣ до имманенціи и распадающагося хаотическаго атомизма, слѣдовательно до нелѣпости. Но эта нелѣпость не есть субъективная ошибка лица или школы, а логическое, необходимое послѣдствіе всего движенія науки. Слѣдовательно, наука въ послѣднемъ результатѣ своемъ уничтожаетъ себя и доказываетъ, что живой фактъ можетъ только въ абстракціи быть знаемъ мыслью, по строямъ его, но какъ конкретъ онъ выпадаетъ изъ нея. И такъ, логическимъ путемъ однимъ нельзя знать истину. Она воплощается въ самой жизни — отсюда религіозный путь. По дорогѣ были еще тысячи отступленій и частныхъ соприкосновенныхъ вопросовъ. Между весьма оригинальными замѣчаніями Хомякова, вотъ примѣръ. Христіанская партія въ Германіи упрекаетъ гегельянъ вообще въ томъ, что личность Бога у нихъ не выходитъ въ замкнутости обыкновенной *Persönlichkeit*. А тѣ защищаются въ этомъ. Между тѣмъ если бы такая *Persönlichkeit* выходила по логическому пути, то въ самой *Persönlichkeit* было бы полнѣйшее отрицаніе втораго лица, и слѣдовательно отрицаніе возможности христіанства. Остается принятіе безличнаго Бога *cela n'arrange pas les affaires піэтистовъ* — но можно еманировать христіанство. *Belle alternative*. Греція никогда не знала никакого бога, кромѣ человека. Персія, Индія выше ее поклонялись хотъ абстрактнымъ но всеобщимъ идеямъ. Буддизмъ хотѣлъ свободы, хотя бы на счетъ бытія. Въ этомъ безуміи есть высокое направленіе etc. etc.

Долго говоривши, наконецъ я хотѣлъ узнать рѣшительно его построения, его внутреннюю мысль, ибо такого рода негачія не есть положеніе чего бы то ни

было. Но онъ отдѣлался и ничего не сказалъ. Сперва онъ употребилъ выраженіе *бытіе есть богъ*, потомъ сказалъ *богъ внѣ міра*, но какже, спросилъ я, бытіе отдѣльно отъ сущаго. Разумѣется, замѣтилъ онъ, не отдѣльно, но для себя — дальнѣйшаго развитія и главное христіанскаго онъ не сдѣлалъ. Да я думаю и нѣтъ ничего готоваго.

22. — Такъ какъ въ прошлый разъ, такъ и теперь. Наташа видимо перенесла спокойно ужасный ударъ, плакала, но держалась въ предѣлахъ самоотверженія и грусти — а не отчаявалась. Эта умѣренность и власть надъ собой кажется мнимая. Теперь, когда прошли недѣли, болѣе и болѣе видны опустошенія сдѣланныя новымъ ударомъ въ этомъ нѣжномъ и нервномъ существѣ.

Иногда ея безвыходно печальный взоръ мнѣ невыносимъ, онъ для меня тягостнѣе всякаго креста. Доля конечно должна относиться къ болѣзненному состоянію. всякая маленькая шероховатость, ничтожное обстоятельство ее оскорбляетъ глубочайшимъ образомъ, и она скрываетъ это; но выраженіе боли и грусти вырѣзывается на благородномъ челѣ до такой яркой степени, что ихъ нельзя не видать. Я виню себя въ томъ, что не умѣю окружить ея жизнь со всѣхъ сторонъ сферой высшаго порядка, въ которую не входили бы маленькія мелочи. Съ другой стороны, вредъ слишкомъ затворнической жизни также очевиденъ, надобно движеніе, разсѣянность. Но развѣ всякіе люди могутъ разсѣять, а гдѣ же взять иныхъ? Странное устройство жизни. Мы нашли полную гармонію, полное соотвѣтствованіе. Я теперь, какъ пять лѣтъ и шесть тому назадъ готовъ *huldigen* высокому прекрасному существу. Тупая случайность смутила наше благородно-гармоническое существованіе. Три гробика: три колыбели замѣнились вдругъ тремя гробами. Это

страшно. Да, нѣтъ предопредѣленія—отсутствіе разума въ управленіи индивидуальной жизнью очевидно.

27. — Я иногда сокрушаюсь отъ какого то сокрушительнаго огня въ крови. Потребность всякихъ потрясеній, впечатлѣній, потребность непрерывной дѣятельности, и невозможность сосредоточиться на одной книжкѣ, заставляетъ духъ безпокойно бросаться на все безъ разбора, безъ разума. А послѣ *je me sens flétri, flétri doublement par le repentir même, repentir d'homme faible, qui a toute la possibilité de tomber demain encore plus profondément.* Этотъ безпокойный духъ, кажется, свидѣтельствуешь не болѣе, какъ неустоявшійся нравъ; есть жадность вѣчно бродящая и киснущая потомъ, когда перебродить.

—Вчера Грановскій говорилъ о своихъ семейныхъ отношеніяхъ—тоже недурны. Хлопочетъ о разводѣ въ бракѣ; а не слѣдуетъ ли допустить разводы всѣхъ узъ родства, не исключая узъ родительскихъ? Одно физическое рожденіе не связываетъ неразрывно, и если родство не родилось въ духѣ — его нѣтъ, оно цѣпь, натяжка. И будто человѣкъ не можетъ иными дѣйствіями отрѣчься отъ физическаго рожденія. Должно ли въ самомъ дѣлѣ въ грядущихъ вѣкахъ семейственность подавлять, или какъ она измѣнится? Въ современныхъ отношеніяхъ нѣтъ развитія, нѣтъ будущаго. Половина энергіи пропадаетъ на бесплодную борьбу внутри семейства, и сколько нѣжныхъ, благородныхъ душъ гибнутъ безвозвратно, жертвою нелѣпыхъ предразсудковъ. А если н эту цѣпь снять? Посмотрите тогда на животнаго — да и цѣпи оттого, что люди все еще животныя.

*Diplomatische Geschichte der Polnischen emigration von 1831.* Собраніе довольно любопытныхъ документовъ о

Польшѣ унесенной, безземельной. Вообще дѣйствіе этой брошюры щемящее и тяжелое. Самая надежда, которую они хранятъ, не оживляетъ, не облегчаетъ, потому что она похожа на надежду чахоточнаго. Демократическая партія совершенно отдѣлилась отъ аристократовъ и предала ихъ позору, обличивъ сколько они ускорили катастрофу.

Языкъ манифеста 1840 твердъ. Нѣкоторыя подробности о событіяхъ, покрытыхъ непроницаемой завѣсой послѣ революціи. О дѣтяхъ, эмиссарахъ еіс. А мы толкуемъ о утопіяхъ, въ то время какъ возлѣ, около..... ну да что объ этомъ говорить. Грустно — и съ этимъ грустнымъ чувствомъ, давно знакомымъ, мы проводимъ и этотъ годъ.

Окончилъ этимъ днемъ статью объ ученыхъ. Многіе ее находятъ лучшей изъ моихъ статей. Окончилъ и о романтизмѣ для *Альманаха*. Пора снова приняться за серьезное чтеніе; 1842 проведенъ со стороны занятій прерывисто, хоть не бесполезно. Сначала усердное чтеніе Гегеля, пониманье и воспроизвожденіе живое его ученья, тогда и первая статья о дилетантизмѣ; потомъ съ 1-го іюня мѣсяца четыре *dolce far niente*, а въ концѣ нѣсколько исправился. Но все не могъ наладить систематическаго труда. А состарился я много въ этотъ годъ, и покидаю его не вовсе довольнымъ собою.

29.—Хомяковъ въ изложенномъ спорѣ, между прочимъ, бросилъ слѣдующее замѣчаніе: Древній міръ, оканчиваясь, умирая, выразился двумя индивидуальностями Пилатомъ и Брутомъ—Брутомъ, который провелъ всю жизнь въ стоическомъ поклоненіи добродѣтели, преслѣдуя ее, жертвуя ей, окончилъ тѣмъ, что угомонился въ ней. И Пилать, который зналъ что дѣлаетъ неправое, сдѣлалъ его омывая руки.

# 1843

## ЯНВАРЬ МѢСЯЦЪ

1. — Встрѣтились мы съ 1843 годомъ подъ счастливымъ созвѣздіемъ. Девять лѣтъ я не встрѣчалъ новый годъ въ Москвѣ. Шумно и весело, съ пѣнящимися бокалами и искренними объятіями друзей перешли мы въ него. И было чрезвычайно весело, что рѣдко посѣщаетъ насъ; на минуту скорбное отлетѣло, мы были довольны, что вмѣстѣ, послѣ долгихъ и скорбныхъ лѣтъ. Огарева не доставало; но онъ былъ съ нами въ воспоминаніи и въ портретѣ.

7. — Deutsche Jahrbücher запрещены въ Саксоніи. Ввозъ лейпцигскихъ газетъ запрещенъ въ Пруссіи, за крупныя слова между королемъ прусскимъ и Гервегомъ. А какъ все еще смѣшно, жалко! Въ Петербургѣ Клейнмихель, министръ инженерный, велѣлъ посадить двухъ цензоровъ на гауптвахту и они были посажены, а потомъ кто то велѣлъ ихъ выпустить и ихъ выпустили. Послѣ этаго, просто по улицамъ ходить опасно, первый генералъ вздумаетъ посадить, велитъ дать 500 палокъ, потомъ извинится.

— Объ Deutsche Jahrbücher жалѣть особенно нечего, потому что полныя энергіи издатели не сядутъ сложа ру-



ки, а такъ какъ переѣхали изъ Галля въ Лейпцигъ, такъ переѣдутъ въ Цюрихъ, Женеvu, пожалуй въ Бельгію. Въ одномъ изъ послѣднихъ № была статья француза Jul. Elisard о современномъ духѣ реакціи въ Германіи. Художественно-превосходная статья. И это чуть ли не первый французъ, (котораго я знаю) понявшій Гегеля и германское мышленіе. Это громкій, открытый, торжественный возгласъ демократической партіи, полный силъ, твердый обладаніемъ симпатій въ настоящемъ и всего міра въ будущемъ; онъ протягиваетъ руку консерватистамъ, какъ имѣющій власть, раскрываетъ имъ съ неимоверной ясностью смыслъ ихъ анахронистическаго стремленія и зоветъ въ человѣчество. Вся статья отъ доски до доски замѣчательна. Когда французы примутся обобщать и популяризировать германскую науку, разумѣется понявши ее, тогда наступитъ великая фаза der Bethätigung. У нѣмца нѣтъ еще языка на это. Въ этомъ дѣлѣ можетъ и мы можемъ вложить лепту.

8. — Аксаковъ, князь Гагаринъ и др. Когда настанетъ эпоха современнаго развитія, разумнаго и сознательнаго для народа, мыслящіе проникнуты единымъ духомъ, увлечены одной всеобщей мыслью, религіей. Возможно еще противодѣйствіе религіи—своя религія прошедшаго. Но когда народъ ощущаетъ одинъ темный трепетъ призванія, одно броженіе чего то неяснаго, но влекущаго его въ сферу шири, тогда мыслящіе, не имѣя общей связи, начинаютъ метаться во всѣ стороны. Страшное сознаніе гнусной дѣйствительности, борьбы, заставляетъ искать примиренія во что бы ни стало, примиренія во всякой нелѣпости, себнობольщенія — лишь бы была дѣйствительность мысли, лишь бы оторваться отъ дѣйствительности и найти причину, почему она такъ гадка. Вотъ приг

этого множества партій самых непонятныхъ въ Москвѣ. Общая связь одна — всѣ убѣждены въ тягости настоящаго, но выходъ находятъ каждый молодецъ на свой образецъ. Партія католиковъ всѣхъ дальше въ нелѣпости. Она нелѣпа во Франціи, ибо католицизмъ имѣлъ торжественный моментъ развитія и столько же торжественный моментъ признанія дряхлости, безсилія (его воскрешеніе смѣшно думать на западѣ), ну да французы католики *par métier*, каково же въ нашъ вѣкъ сдѣлаться католикомъ *par affinité élective*, сдѣлаться іезуитскимъ пропагандистомъ. Жаль откровенность, съ которой бросаются въ эти мертвые пути. Таковъ князь Гагаринъ; онъ считаетъ Чаадаева *отсталымъ*. Понять можно: аристократъ, вѣроятно не получившій серьезнаго образованія, ни сильнаго таланта — между тѣмъ умъ и горячее сердце, богъ привелъ взглянуть на Францію, на Европу. Дома то черно, страшно. Путь человечества неизвѣстенъ. Основныя, краеугольныя начала современнаго взгляда, аутономія разума, исторія — *terra incognita*. А тутъ случайная встрѣча съ іезуитомъ, съ безумнымъ католикомъ; передъ непривычнымъ глазомъ разворачивается въ первый разъ ученіе, мощно развитое изъ своихъ началъ, (которыя впередъ втѣсняетъ своимъ авторитетомъ) и удивленный человекъ предается вымершему принципу. Таланты Чаадаева дѣлаютъ его болѣе отвѣтственнымъ. *Vice versa*: партія православныхъ, Киреевскій *en tête*, а потомъ и Шевыревъ — дилетанты религіи и славянофилы и русофилы, и Аксаковъ полу-гегеліанецъ и полуправославный. Они передъ католиками имѣютъ важный шагъ впередъ, потому что они родились въ православіи, связаны воспитаніемъ, народными воспоминаніями etc. Сверхъ того православіе никогда не имѣло такого торжественнаго финала какъ реформація, оно покойное ни-

когда не шло ни впередъ ни назадъ, и потому это безжизненное, но и не мертвое бытіе въ самомъ дѣлѣ имѣетъ нѣчто проблематическое, о чемъ мечтать можно. Почему знать чѣмъ оно разовьется, такъ какъ можно ждать еще развитія Византійскаго зодчества, а уже готическаго нельзя. Я говорилъ долго съ Аксаковымъ, желая посмотрѣть, какъ онъ примирилъ свое православіе съ своимъ гегеліанизмомъ, но онъ и не примиряетъ, онъ признаетъ религію и философію разными областями и позволяетъ имъ жить какъ то вмѣстѣ, это конкубинатъ *sui generis*. Другіе, какъ Киреевскій, отвергають все западное, не хотятъ даже знать, боятся знать, т. е. боятся углубиться въ себя, чтобъ не найти тамъ зародышей скептицизма. Споры между католиками и православными пресмѣшны — такъ и переносишься въ блаженной памяти средніе вѣка. Типъ этихъ споровъ одинъ: „откуда вѣдѣмы изъ Кіева или изъ Чернигова?“ для людей невѣрящихъ въ вѣдѣмы остается зѣвать и жалѣть расточенія силъ. Эти Г-да дѣлали преспеціальныя изученія исторіи церкви, знаютъ подробности ненужныя и мелочныя, дающія пищу ихъ контроверзѣ и совершенно незнакомы съ краеугольными истинами историческаго развитія, до смѣшнаго. Князь Гагаринъ однажды доказывалъ, что въ XVI что ли то вѣкѣ было незаконное избраніе русскаго патріарха и отсюда выводилъ заключеніе о мѣрѣ законности постановленій и пр., но развѣ греко-россійская церковь не есть событіе, которое требуетъ только признанія? и что поможетъ доказательство, что она не имѣетъ въ такомъ то смыслѣ, такого то оправданія. Тутъ еще не всѣ. Есть и протестанты, улыбающіеся надъ тѣми и другими, какъ надъ отсталыми, смѣющіеся надъ невѣждами утверждающими что вѣдѣмы изъ Кіева или изъ Чернигова; а сами они знаютъ навѣрное, что

вѣдьмы идутъ изъ Житомира. Ихъ положеніе тѣмъ незавидно, что ихъ бьютъ со всѣхъ сторонъ религіозные и совсѣмъ не религіозные; куда они не обернутся, это чужая собака, пристающая къ грызущимся. И грызущіеся тотчасъ обращаются на чужую, оставляя свой раздоръ.

И на это расточается большая дѣятельность — хоть плода ждать нельзя; но какъ бы то ни было нельзя не признать, что самая дѣятельность эта утѣшительна, безъ нея Москва была бы гробъ; привычка заниматься всеобщимъ, переносить свои интересы въ сферу вопросовъ религіозныхъ — хороша. Привычка собираться для споровъ, излагать, защищать свое *profession de foi* поставляетъ въ люди насъ, все таки безличныхъ рабовъ. И такъ спасибо и на томъ!

Вчера явился ко мнѣ знакомиться профессоръ казанскаго университета Григоровичъ. Отрадно уже самое юношески-благородное желаніе изъяснить свою симпатію людямъ..... какъ сказать..... людямъ движенія; но еще отраднѣе видѣть профессора славянскихъ языковъ въ Казани, твердо смотрящаго на свой предметъ съ точки зрѣнія современной науки. Мнѣ дорого было и его вниманіе, и узнать, что за Волгой есть такой благородный представитель гуманности.

Разговоръ съ Грановскимъ о личномъ положеніи моемъ, нашемъ, всегда оставляетъ мрачное расположеніе. А впрочемъ подчасъ випять надежды. *Nein, nein es sind keine leere Träume!* Нѣтъ достаточно вѣры, оттого нѣтъ достаточно резигнаціи. Хочется насладиться жизнью, отдохнуть отъ прошлыхъ ударовъ, въ то время какъ слѣдовало бы самоотверженно оставить домъ. Конечно, мы приносимъ хоть малую, но приносимъ пользу.

14.—Правительство подыскивается и приготовляет ловушки славянофиламъ. Оно само поставило знаменемъ народность, но оно и тутъ не позволяетъ идти дальше себя, о чемъ бы ни думали, какъ бы ни думали—не хорошо. Надобно слугъ и солдатъ, которыхъ вся жизнь проходитъ въ случайныхъ интересахъ и которые принимаютъ за патриотизмъ дисциплину. Передъ Рождествомъ, Клейнмихель велѣлъ посадить на гауптвахту двухъ цензоровъ за неоправившееся ему выраженіе объ офицерахъ. Врядъ поймутъ ли, сообразятъ ли европейцы этотъ случай. Министръ инженерный, который только начальникъ публичныхъ работъ, военный, приказалъ арестовать чиновниковъ, служащихъ по пному вѣдомству и для которыхъ, какъ для всѣхъ, есть же законный судъ, вслѣдствіи котораго можно наказывать. Въ родѣ осаднаго положенія. Мы все глубже и глубже погрязаемъ въ какое то дикое состояніе высшаго деспотизма и безправія. Утѣшаетъ одно—все это зиждется на одной матеріальной силѣ, нравственной, исторической основы никакой.

16.—Опять тяжелый разговоръ съ Natalie, точно въ прошедшемъ году послѣ ея болѣзни. Отчасти всѣ эти Grübeleien именно слѣдствіе болѣзни; но есть корни и глубже, въ ея характерѣ, въ ея воспитаніи. Главная вина моя, что я не умѣлъ осторожно, нѣжно вырвать ихъ. Нѣсколько дней я заставлялъ ее въ слезахъ, съ лицомъ печальнымъ. Сначала я молчалъ, но не могъ скрыть и свою грусть, это удвоило ея печаль, наконецъ, я не находилъ болѣе силъ, à la lettre не находилъ силъ вынести этотъ видъ; отъ него приходилъ въ какое то горячешное состояніе, уходилъ съ какою то тяжестью въ груди, въ головѣ. За что это благородное, высокое со-

зданіе страдаетъ, уничтожаетъ себя, имѣя всю возможность счастья, возмущеннаго только воспоминаніемъ трехъ гробиковъ, воспоминаніемъ ужаснымъ, но которое одно не могло бы привести къ такимъ слѣдствіямъ. Я просилъ наконецъ объяснить, и снова явились ни на чемъ неоснованныя Grübeleien. „Я тебѣ не нужна, напротивъ, всегда больная, страждущая Я тебѣ порчу жизнь, лучше было бы избавить отъ себя—ты меня любишь, я знаю, ударъ тебѣ былъ бы болѣе, но потомъ было бы спокойнѣе и пр. пр.“ Я просилъ, умолялъ, требовалъ наконецъ разумомъ разобрать всю нашу жизнь, чтобъ убѣдиться, что все это тѣни, призраки. Она плакала ужасно и признавалась, что съ перваго дня нашей жизни вмѣстѣ, ее эти мысли не покидаютъ, что она только ихъ скрывала, что они уже развиты съ самой первой встрѣчи, что она поняла какъ моя натура должна была имѣть иную натуру въ соотвѣтственность, болѣе энергичную и пр., и пр., и все это съ видомъ существеннаго, сильнаго горя. Наконецъ часа черезъ два я уговорилъ ее самую разобрать по хладнокровію. Тогда начались новыя слезы, извиненія, доказательства, что самый этотъ фактъ подтверждаетъ. Что за причина заставляетъ мучиться ее? Чрезвычайная нѣжность и сюсцептибельность, чрезвычайная любовь. Но зачѣмъ же болѣзненное выраженіе такого преепростаго начала? Привычка сосредоточиваться, обвиваться около мыслей скорбныхъ. Если я въ этомъ отношеніи могу себя винить, то это въ разсѣяннѣ, въ возможности предаваться предметамъ занятій и поглощаться ими. Это понято ею какъ нельзя лучше, и мысли никогда не приходило ей въ этомъ видѣть дурное; но она много остается одна. *Безпечность врожденная* мнѣ кажется, подчасъ, невниманіемъ и я не умѣю поправить себя,

потому что я живу чрезвычайно просто, поступаю совершенно натурально. Но самое ужасное, самое оскорбительное для меня это не высказываемое, но понятное обвинение въ недостаткѣ любви—оно оскорбительно по ложности. Въ то время, какъ душа моя склоняется, *huldigt* съ умиленіемъ ее прекрасной высокой душѣ; въ то время, какъ ея личность обнимаетъ мою какимъ то благоуханіемъ любви; въ то время, какъ я только въ нее и вѣрю—недовѣріе! Я гордился прежде ригоризмомъ своимъ, но опытъ доказалъ, что я могу падать, увлеченный минутнымъ порывомъ знойной страсти; но отъ моего паденія до *grundton* всей жизни моей нѣтъ перехода. Моя любовь къ Natalie моя, святая святыхъ, высшее, существеннѣйшее отношеніе въ моей частной жизни, становящееся рядомъ съ моимъ гуманизмомъ. Я такъ сросся съ моей любовью, что мнѣ страшнымъ, чудовищнымъ кажется всякое сомнѣніе. Ну, не нелѣпость ли, что мы мучимъ другъ друга безъ всякихъ достаточныхъ причинъ?

18.—Странное состояніе растетъ у Natalie и подавляетъ ее. Ея характеръ принадлежитъ къ такимъ, съ которыми нѣтъ средствъ, на которые ничто не дѣйствуетъ, кромѣ внутренняго голоса. А онъ ей подсказываетъ сомнѣніе и мрачныя вещи. Неужели, я довелъ ее до этого ужаснаго состоянія, недостаткомъ любви, пустотою..... Да что же я послѣ этого?..... У ней нѣтъ вѣры въ меня. Все это составляетъ какой то узелъ въ жизни, отъ котораго будемъ считать новую эру. А тяжело мнѣ, ужасно-тяжело..... кара это что ли? Конечно, но да мимо идетъ скорѣе чаша сія! Недѣлю тому назадъ, жизнь была еще спокойна и вдругъ безъ причины разверзлись какія то пропасти подъ ногами, лишь

бы удержаться на краю. Я виновать, много виновать, глубоко падалъ — но любовь моя была всегда святою святыхъ; я минутами забываю ее — могъ забывать — и вотъ чудовищное дѣйствіе. Я отравилъ жизнь, страшно сказать, волосы становятся дыбомъ, я испортилъ жизнь тому существу, котораго любилъ и люблю больше всѣхъ. Несчастный нравъ! Я мелокъ, загрязненъ — но что же въ ней нѣтъ милосердія? Я заслужилъ крестъ, лежащій на мнѣ, но колѣни гнутся подъ тяжестью его. А я думалъ, что мои паденія съ рукъ сойдутъ — низкое упованіе! Жалкая душа и тѣмъ болѣе жалкая, что она вооружена талантами. Я поднимусь, ну а рубцы то нанесенные мною? Впрочемъ, я не хотѣлъ никогда ни даже темной минуты доставить ей, я всегда готовъ былъ всѣмъ пожертвовать для нее. Но при всемъ этомъ чувствую, какъ справедливъ крестъ, безконечная любовь ея имѣетъ въ себѣ безконечную гордость, эта гордость пренебрегаетъ милосердіемъ — простымъ прощеніемъ, она стираетъ, отбрасываетъ факты, но остается при горести и оплакиваніи утраченнаго счастья. Облегченіе, облегченіе ей и мнѣ! *Grâce, grâce — grâce pour toi même.*

19. — Что дѣлается со мною? Все покрывается какимъ то туманомъ. И вдругъ трепеть, должно быть въ родѣ того, который ощущаетъ колодникъ, приговоренный къ кнуту передъ наказаніемъ; все мучитъ меня. Неужели я заслужилъ? не мнѣ вѣшать мѣру наказанія. Высочайшая любовь къ лицу есть эгоизмъ! Высочайшее смиреніе — гордость! А чувствовать себя не правымъ, носить угрызеніе, видѣть терзаніе невиннаго, святаго существа ежеминутно передъ глазами. О лучше ослѣпнуть!

21. — И во всѣхъ случаяхъ она побѣждаетъ меня. Эта единственная индивидуальность, которая просто



порабощаетъ меня, можетъ именно потому, что всякая мысль порабощенія далека отъ ея благородной, прекрасной души. Вчера мы долго, долго и скорбно говорили. Я раскрывалъ всѣ раны, всѣ угрызения, нанесенныя минутами паденія; мало по малу становилось на душѣ свѣтлѣе; я какъ то выросталъ, ощущалъ всю мощь свою, всю любовь свою и всю ея любовь, обнявшую нимбомъ существо мое. И мы провели минуты высокаго блаженства, все прошедшее было забыто, мы были хороши, какъ въ день свадьбы. Благословеніе этому вечеру!

22. — Истинное, глубокое раскаяніе, очищаетъ не токмо отъ событія, въ которомъ раскаявается человѣкъ, но вообще очищаетъ отъ всей пыли и дряни наносимой жизни. Небрежность людская позволяетъ насѣсть пыли. паутинѣ на святѣйшія струны души; гордость не позволяетъ видѣть паденья—и тотчасъ раскаянія (если натура не утратила благородства); человѣкъ возстановляется, но гордости нѣтъ, нѣтъ сухости, въ немъ трогательная грусть, онъ стыдится и проситъ милосердія, онъ дѣлается симпатиченъ падшему.

— Всѣ эти дни рѣшительно ничего не дѣлалъ. Минутами душа такъ переполнялась, что изъ каждаго пальца, кажется, готова была струиться сила; я можетъ впервые въ жизни глубоко жалѣлъ, что я не музыкантъ: то, что мнѣ хотѣлось сказать, только можно было бы сказать звукамъ. Минутами овладѣвала апатія — тягостная, сонная. Впрочемъ, читалъ Мицкевича. Много прекраснаго, высоко художественнаго въ этомъ плачѣ поэта. Боже мой какъ хороша у него картина русской дороги зимой! безконечная пустыня, бѣлая, холодная, море—нераскрывающее груди своей вѣтру, вѣтру, который мететъ эту степь, отъ полюса до Чернаго моря. Дороги пересѣкаю-

ція ту степь, вызваны не торговлей, не народной нуждой, а проведены по приказу царя, и пр. и пр. Замѣчательно въ той же поэмѣ мѣсто о памятникѣ Петра. Мицкевичъ сравниваетъ его (и влагаетъ это въ уста путника) со спокойной позой Марка Аврелія въ Римѣ. Тутъ лошадь несетъ, она стала на дыбы на краю пропасти, и остановилась какъ замерзнувшая каскада, еще шагъ и сѣдокъ разбился бы въ дребезги. Взойдетъ солнце свободы, подуетъ вѣтеръ западный и растаетъ каскада.

Во второй части „Дѣдовъ“ еще духъ отрицанья сильнѣй, истинно байроновскій, борется съ католическимъ воззрѣніемъ. Но оно съ каждымъ шагомъ беретъ верхъ. Для образца его поэзіи :

### A UNE MÈRE POLONAISE

Le Christ à Nazareth, aux jours de son enfance,  
Jouait avec la croix, symbole de sa mort ;  
Mère du polonais ! qu'il apprenne d'avance  
A combattre et braver les outrages du sort.

. . .

Accoutume ses mains à la chaîne pesante ;  
Qu'il apprenne à trainer l'immonde tombereau,  
A mépriser la mort sous la hache sanglante  
A toucher sans rougir la corde du bourreau.

. . .

Car ton fils n'ira point sur les tours de Solyme,  
Comme ses fiers aïeux, détrôner le croissant,  
Ni comme le Gaulois, planter l'arbre sublime  
De la liberté sainte et l'arroser de sang.

. . .

Il lui faudra combattre un tribunal parjure,  
Recevoir le défi par un agent secret,

Pour témoin le bourreau dans la caverne impure  
Un ennemi pour juge et la mort pour décret.

\* \* \*

La mort!... Pour monument et pour gloires funèbres  
Il aura d'un gibet les horribles débris,  
Quelques pleurs d'une femme — et, parmi les ténèbres,  
Les mornes entretiens de quelques vieux amis.

Сколько бѣдствій лежитъ позади этой колыбельной  
пѣсни!

28.— Вѣсть объ Julien Elisard. Онъ смываетъ прежніе  
грѣхи свои, я совершенно примирился съ нимъ.

31.— Началъ статью о формализмѣ—будетъ хороша.  
Вчера die Judin оставила меня подъ какимъ то тягостно  
хорошимъ чувствомъ. Мнѣ просто чрезвычайно нравится  
libretto. Много и много навѣваетъ думъ—притомъ му-  
зыка какъ море обтекающее, томящее и примиряющее  
безконечными волнами звуковъ.

## ФЕВРАЛЬ МѢСЯЦЪ

4.— Боткинъ назвалъ начало статьи о философіи sym-  
phonia egoica. Я принимаю эту хвалу—она написалась въ  
самомъ дѣлѣ съ огнемъ и вдохновеніемъ. Тутъ моя  
поэзія, у меня вопросъ науки сочлененъ со всѣми со-  
ціальными вопросами. Я иными словами могу высказы-  
вать тутъ чѣмъ грудь полна.

14.— Тихо проведенное время. Графъ Строгоновъ обѣ-  
щаль написать въ Бенкендорфу и узнать можно ли, ѣхать

на короткое время въ чужіе края. Если.... боже мой, я не соображу, что черезъ шесть мѣсяцевъ я могу сидѣть гдѣ бы то ни было, не боясь жандармовъ. Но надежды опереть не на чемъ, лучше не думать объ этомъ. Изъ людей видѣлъ одного да и тотъ женщина, т. е. Павлова — ея голосъ непріятенъ, ея видъ также не вовсе въ ея пользу, но умъ и таланты не подлежатъ сомнѣнію. Больше на первый случай ничего не могу сказать.

15. — Письмо отъ Огарева. На него только можно сердиться и негодовать, когда ни его нѣтъ, ни письма нѣтъ. Достоинство сирены: сталъ говорить, и симпатическая всему прекрасному и высокому душа все поправила, примирила, возстановила. Письма отъ J. Elisard'a и отъ Бѣлинскаго — одинъ умомъ дошелъ до того, чтобъ выйти изъ паутины, въ которой сидѣлъ; другой страдаетъ, глубоко страдаетъ, безпокойный духъ его мечется, ломаетъ себя. И когда же онъ дойдетъ до свѣтлаго, гармоническаго развитія? или есть натуры, которыхъ вся жизнь въ томъ и состоитъ, что они ломаются? Впрочемъ много и внѣшнихъ обстоятельствъ имѣютъ вліяніе на него. Не деньги, а недостатокъ симпатій, недостатокъ близкихъ людей, одиночество, на которое его обрекъ Петербургъ.

18. — Въ Siècle между прочимъ съ чрезвычайнымъ хладнокровіемъ рассказанъ слѣдующій случай, бывшій, помнится, въ Ліонѣ. Какой то работникъ, не имѣя нѣкоторое время занятій, пришелъ въ ужасную крайность. На его рукахъ больная жена, оба очень молоды. Они жили на чердакѣ и, не имѣя въ одинъ день хлѣба и видовъ что нибудь достать, онъ укралъ въ нижнемъ этажѣ какую то бездѣлицу для того, чтобъ, продавши

ее, купить хлѣба и лекарства женѣ. Воровство было сдѣлано такъ неловко, что тотчасъ открыли кто виновникъ. Работникъ, до того слышій порядочнымъ человѣкомъ и понявшій, что потерялъ послѣднее благо, ожидая жандармовъ, грустилъ, грустилъ съ женою—да и рѣшились *повѣситься*. Оба привели въ дѣйствіе предположеніе, но жандармы успѣли отрѣзать веревки. Теперь будетъ судопроизводство. Оно въ высшей степени замѣчательно. Надобно замѣтить, что французское *jury* смертоубійство легче и снисходительнѣе обсуживаетъ, чѣмъ *воровство*.

Подобные случаи выставляютъ разомъ во всей гнусности современное общественное состояніе. Не можетъ человѣчество идти далѣе съ этими путями незаконія. Но какъ выйти? Тутъ то весь вопросъ, но на него не можетъ быть полного теоретическаго отвѣта. Событія покажутъ форму, плоть и силу реформаціи. Но общій смыслъ понятенъ. Общественное управленіе собственности и капиталами, артельное житіе, организація работъ и возмездій, и право собственности поставленное на иныхъ началахъ. Не совершенное уничтоженіе личной собственности, а такая инвестируема обществомъ, которая государству даетъ право общихъ направленій. Фурьеризмъ, конечно, всѣхъ глубже раскрылъ вопросъ о социализмѣ, онъ далъ такія основанія, такія начала, на которыхъ можно построить болѣе фалангъ и фаланстеровъ. Подобные анекдоты оправдываютъ злобный характеръ Прудоновой брошюры.

20.— Говорятъ, Уваровъ общій отчетъ за управленіе Министерства Просвѣщенія за десятилѣтіе заключаетъ предложеніемъ расширить свободу книгопечатанія и слѣдовательно измѣнить цензурныя учрежденія. Конечно это дѣлается для славы, для того, чтобъ даже въ Европѣ

поговорили, но тѣмъ не менѣе что за путаница хорошаго и дурнаго во всемъ управленіи, въ каждомъ государственномъ лицѣ. Нѣтъ опредѣленныхъ воззрѣній, нѣтъ опредѣленныхъ цѣлей, и вѣчный типъ Хлестакова, повторяющійся отъ волостнаго писаря до царя. Духъ подражанія Европейцамъ насъ не оставилъ, мы все еще, какъ мѣщане въ дворянствѣ, хвастаемся, что мы образованы и стараемся заявить, что имѣемъ либеральныя идеи. Между тѣмъ ихъ нѣтъ, такъ какъ нѣтъ образованія. Но и вражды противъ идей нѣтъ. Оттого выходитъ, что такой то съ спокойной совѣстью говорить и дѣлаетъ въ трехъ разныхъ смыслахъ, нисколько не замѣчая того. Разумѣется этотъ недостатокъ всего замѣтнѣе въ значительныхъ людяхъ. Наши вельможи не умѣютъ себя держать ни относительно насъ, ни относительно служащихъ, всего менѣе относительно иностранцевъ; или горро или горро росо, или дерзко, или фамиліарно, или грубо, или унижительно учтиво. Они не свободны въ своихъ манерахъ, потому что они играютъ роль, а не въ самомъ дѣлѣ аристократы. Одинъ изъ самыхъ лучшихъ магнатовъ, графъ Строгоновъ, исполненный личнаго благородства и пр. совсѣмъ тѣмъ впадаетъ иногда въ страшныя нелѣпости, желая à propos de bottles вдругъ представить изъ себя лорда Тори и забывая, что полчаса передъ тѣмъ онъ посмѣялся надъ англійскимъ торизмомъ и излагалъ вещи человѣческія безъ всякихъ предразсудковъ касты. Таковы всѣ и князь Дмитрій Владимировичъ Голицынъ, слывшій либераломъ и какъ premier gentilhomme de l'empire. Ein gutes Herz verwirte Fantasie, das heisst auf Deutsch ein Narr war Lamettrie. А не выражаетъ ли все это вмѣстѣ, что мы не устоялись? броженіе странное, уродливое гетерогенныхъ элементовъ.

А. А. Тучковъ чрезвычайно интересный человѣкъ, съ необыкновенно развитымъ практическимъ умомъ. У насъ это большая рѣдкость, мы или животные, или идеологи, какъ и азъ грѣшный. Ничѣмъ не занимаемся или занимаемся всѣмъ на свѣтѣ. Еще болѣе интересный, потому что очевидецъ и долею актеръ въ трагедіи слѣдствія по 14 Декабрю, актеръ какъ подсудимый разумѣется. Характеристическія подробности! Рассказъ объ этомъ времени наша *genesis*, эпопея. Когда нибудь надобно записать подробности.

28.—Завтра выйдетъ въ Петербургѣ 3. № *Отеч. Зап.*, въ которомъ моя статья о романтизмѣ. Я продолжалъ ее. Или цензура ее изуродуетъ, или эта статья можетъ принести послѣдствія. Можетъ третью ссылку. Горько будетъ, но я готовъ. Я окрѣпъ и возмужалъ въ послѣднее время, мнѣ нуженъ досугъ и я теперь болѣе чѣмъ когда либо надѣюсь на огромную силу души Natalie. Странная жизнь! Но жребій брошенъ, я не могу жить иначе, нѣчто похожее на призваніе заставляетъ поднимать голосъ, а они не могутъ вынести человеческого голоса. Вліяніе, которое дѣлаетъ мой голосъ, убѣждаетъ всѣмъ жертвовать, ибо кромѣ его, я ни къ чему не призванъ. Ссылка заставить смолкнуть. Надобно предпринять трудъ продолжительный. А любимая мечта, послѣднее желаніе личное—путешествіе! И вдругъ вмѣсто ссылки дозволеніе ѣхать. И счастье, и несчастье, втѣсняемое внѣшней, неразумной силой, противны и оскорбительны. Въ обоихъ случаяхъ личность человека подавлена.

## МАРТЪ МѢСЯЦЪ

4.—Еще ужасное и тяжелое объясненіе съ Наташей. Я думалъ все окончено, давно окончено; но въ сердцѣ женщины не скоро пропадаетъ такое оскорбленіе. Она плакала, отчаянно, горько плакала, и уничтожалъ себя; состраданіе, любовь, мучительное угрызеніе, бѣшенство, безуміе—все разомъ терзало меня. Сегодня я проснулся въ ознобѣ, весь больной, съ какой то ломотой во всемъ тѣлѣ. Еслибъ была молитва! Въ какую пропасть стащилъ я ее, которая не могла представить себѣ такого паденія. Гнусно, отвратительно! Когда я смотрю пристально на себя и разоблачаю все гадкое, мнѣ является потребность сильная идти ко всѣмъ любящимъ меня и сказать: прежде посмотрите, вотъ вашъ другъ! Да, и это изъ самолюбія, мнѣ больнѣе всего ихъ неправая оцѣнка. Еще пять, шесть такихъ сценъ и я сойду съ ума, а она не переживетъ. Ночь, ночь, темно, скверно, тяжело. Но что же ей, когда я такъ чисто покаялся, когда это уже давнопрошедшій фактъ. Зачѣмъ подрываться подъ другаго. Зачѣмъ? глупо, и тутъ любовь, но въ другомъ видѣ, любовь — немезида. Чтобъ довершить все, чтобъ дать послѣдній ударъ въ самую грудь, я вспомнилъ, что вчера было 3 марта. 3 марта 1838 года, я не былъ раскаявающимся и гадкимъ, она не была убитая и невольно карающая. Тогда мы увидѣлись впервые послѣ разлуки. Все было свѣтло, свято, прекрасно. Жизнь сулила одно блаженство. Зачѣмъ же я допустилъ змѣвное



жало? Гдѣ мнѣ прибратъ черное слово, которымъ бы я могъ выразить мое состояніе?

10. — Кажется, живетъ себѣ такъ, ничего важнаго не дѣлаешь, *sempre idem* ежедневности, а какъ только пройдетъ порядочное количество дней, недѣль, мѣсяцевъ — видишь огромную разницу возрѣнія. Доселѣ я тридцати лѣтъ не останавливался. Ростъ продолжается, да вѣроятно и не остановится. Последнее время я пережилъ цѣлую жизнь, и все мрачное перерабатывается во мнѣ въ ткань свѣтлую лишь бы она не страдала, лишь бы она умѣла примириться, забыть. Мнѣ такъ страшны ея страданія—за что она бѣдная за всю высоту, чистоту, купила слезы. Но какже любовь не врачуетъ? Неужели моя любовь слаба?

13. — Ея страданія, ея сомнѣнія уничтожаютъ меня. Я палъ, *je suis flétri* въ ея глазахъ, ее мучить это, она сама унижена въ моемъ униженіи, полное довѣріе потрясено! Время, моя безпредѣльная любовь уврачуютъ быть можетъ. Я понимаю, что раскаяніемъ, слезами я очистился. Мы вмѣстѣ оплачемъ, вмѣстѣ погрустимъ — но теперь она часто хуже нежели грустить. Вчера мнѣ было ужасно тяжело. А въ такія минуты я, долго изнѣмогая, дохожу до мыслей слабыхъ. Мнѣ бы хотѣлось уѣхать одному изъ Москвы, не видать, не знать и отдохнуть такъ. Мнѣ становится страшно въ комнатѣ,—мнѣ больно смотрѣть на игру Саши, онъ такъ беззаботенъ, веселъ. Да чья же грудь не найдетъ въ себѣ полного примиренія за такое полное раскаяніе? Ея страданія, ея сомнѣнія тѣмъ страшнѣе, что вся религіозная сторона упованія, успокоенія, въ ней. Иной религіи я не знаю. Вѣра въ человѣчество, вѣра въ всеобщее слишкомъ широка, слишкомъ безлична; она свята мнѣ, но я

говору объ индивидуальномъ вѣрованіи, объ частномъ возношеніи и спокойствіи.

— Вторая статья также принята съ рукоплесканіемъ. Меня, еслибъ знали во всѣхъ изгибахъ, поставили бы можетъ на одну доску съ Бакунинымъ, т. е. талантъ и дрянной характеръ. *La nature ne fait jamais un ras qui ne soit en tous sens (Buffon).*

14. — Когда человѣкъ съ глубокимъ сознаніемъ своей вины, съ полнымъ раскаяніемъ и отрѣченіемъ отъ прошедшаго проситъ, чтобъ его судили, распяли—онъ не возмутится никакимъ приговоромъ. Онъ вынесетъ всякое наказаніе, поверженный въ прахъ, слезами раскаянія, мучительными угрызеніями, онъ смиренъ и понимаетъ, что наказаніе должно быть, что это справедливость. Еще болѣе онъ тутъ же подозрѣваетъ, что ему легче будетъ по ту сторону наказанія, что казнь примиряетъ, замыкаетъ, отрѣзываетъ прошедшее отъ грядущаго. Да, онъ не возмутится, а просто приметъ казнь. Но сила карающая должна на томъ и остановиться; если она будетъ продолжать карать, если она безпрестанно будетъ ему напоминать всю гнусность его поступка—по страшному реактивному дѣйствию—падшій возмутится, онъ себя самъ начнетъ реабилитировать. Отчасти это понятно; что онъ прибавитъ къ своему раскаянію? Чѣмъ ему иначе примириться? Невинный имѣетъ передъ виноватымъ такой страшный шагъ впередъ, что онъ не можетъ быть довольно снисходителенъ. Дѣло человѣческое посадить виновнаго (если его раскаяніе чисто) возлѣ, погрузить о его паденіи и показать ему же, что все еще обладаетъ всѣми силами уничтожить сдѣланное, раскаяніемъ, что достоинство человѣческое въ немъ неподавлено. Человѣкъ, котораго удостовѣрятъ, что онъ сдѣ-

лалъ смертный грѣхъ, которому нѣтъ прощенія, долженъ зарѣзаться или глубже погрязнуть въ пороки — инаго выхода ему нѣтъ.

17. — Жизнь, жизнь! Середь тумана и грусти, середь болѣзненныхъ предчувствій и настоящей воли—вдругъ взойдегъ солнце и такъ свѣтло на душѣ, ясно, безпредѣльно хорошо. Вчера весь день прошелъ такъ; мы были какъ 3 марта, какъ 9 мая. Мы тѣснѣе соединились, выстрадавъ другъ друга, намучившись. Волна жизни дѣлается шире, полнѣе—лишь бы она лишилась ѣдко соленыхъ свойствъ.

Высокая, святая женщина! Я не встрѣчалъ человека, въ которомъ бы благороднѣе, чище и глубже былъ взглядъ. Но она безпрестанно себя разлагаетъ, поддерживая себя непрерывно въ восторженномъ состояніи, ей нравится эта полнота жизни—но тѣло ея болѣзненное и слабое не можетъ вынести яркаго огня, которымъ пылаетъ умъ и сердце. За такія минуты какъ вчера, можно пожертвовать годами. И странное начало этому обновленію, этой гласности любви. Не было мгновенія, не токмо времени, въ которомъ бы я не любилъ ее со всѣмъ глубокимъ чувствомъ благоговѣнія, но она мучилась и подозрѣвала какую то хододность, которой не было и не было. Между тѣмъ въ минуту физическаго, нечистаго увлеченія я сдѣлалъ поступокъ, въ которомъ она вовсе меня не подозрѣвала. Я былъ чистъ и правъ въ томъ, въ чемъ ея болѣзненное воображеніе обвинило. Я никогда не придавалъ бы огромной важности гадкому, по безслѣдному поступку, еслибъ онъ не прибавилъ ей страданій. Она никогда не пойметъ, никогда не сообразить, что можетъ быть чисто физическое увлеченье, минута буйнаго кипѣнья крови, минута воображенія

разожженного образом нечистымъ, словомъ, страсть, которая вовсе не переводима на языкъ любви и непонятна для нея, страсть полуживотная, грязная и не благословенная тѣмъ знаменіемъ, которымъ любовь освѣщаетъ физическій актъ. Мы глубже почувствовали благо нашей жизни! но я трепещу, что ея Grübeleien опять возвратятся и будутъ мучить. А между тѣмъ ея здоровье разрушается наглазно, она тлѣетъ—одна надежда у меня на лѣто и на путешествіе. Это наконецъ какая то ядовитая иронія, жертвовать тѣломъ за развитіе ума. Какъ широко, прекрасно текла бы жизнь наша, еслибъ каплю силъ прибавить ей. Болѣзнь развиваетъ Grübeleien, а Grübeleien помогаютъ болѣзни.

19.— Четыре года тому назадъ 19 марта уѣхалъ Огаревъ изъ Владиміра, послѣ перваго свиданья. Какъ все тогда было свѣтло! Не прошло года послѣ свадьбы; тихая, спокойная, прекрасная идиллія владимірской жизни! Не доставало только друга, и онъ явился радостный и упоенный своимъ счастіемъ. Все улыбалось. Ни одного диссонанса не было видно. Мы были чрезвычайно счастливы. Любовь, дружба, преданность всеобщимъ интересамъ, сознаніе блаженства—это былъ блестящій эпилогъ юности, точка поворота, къ которой все собралось въ праздничной одеждѣ. Давши эту награду за прошлое, этотъ залогъ будущему, судьба повлекла насъ быстро по желѣзной дорогѣ. Сколько переменилось въ эти четыре года, сколько испытаній! Главное дѣло все цѣло: и дружба, и любовь, и преданность общимъ интересамъ — но освѣщеніе не то, алый свѣтъ юности замѣнился сѣвернымъ, яснымъ, но холоднымъ солнцемъ реального пониманья. Чище, совершеннолѣтнѣе пониманье, но нѣтъ нимба, окружавшаго все для него. Періодъ

романтизма исчезъ, тяжелые удары и годы убили его. Мы, не останавливаясь, шли впередъ, многого достигли, но юныя формы приняли мускулезный и похудѣвшій видъ путника усталаго, сожженного солнцемъ, искусившагося всѣми тягостями пути, знающаго теперь всѣ препятствія и пр. Первый ударъ былъ страшенъ, потому что разъ потрясъ самыя нѣжныя струны. Это ссора съ М. Л\*), а четыре года тому назадъ, мы разстались какъ братъ съ сестрой. Ея раздоръ съ мужемъ, его слабость и цѣлая исторія отвратительная и мучительная. А потомъ вторая ссылка и многое. Мнѣ кажется наступаетъ теперь новая эпоха, успокоенія совершеннолѣтняго и дѣятельности болѣе развитой. А впрочемъ проживемъ—увидимъ. Теперь одна цѣль, одно желаніе поправить здоровье Natalie и ѣхать, ѣхать на югъ, въ степь, если нельзя въ Италію.

23. — Тихое счастье домашнее снова начинаетъ кротко согрѣвать мое безпокойное существованіе. Здоровье Наташи лучше, духъ ея расправилъ опять свои крылья во всемъ спокойномъ благородномъ характерѣ. Бурные дни эти доказали мнѣ всю великую необходимость для меня въ ней. Всѣ святѣйшіе корни бытія сплетены съ нею неразлучно. Лишь бы какъ нибудь устроить ея здоровье.

— Что за прекрасная, сильная личность Ивана Киреевскаго. Сколько погибло въ немъ и притомъ развито. Онъ сломался такъ, какъ можетъ сломаться дубъ. Жаль его, ужасно жаль. Онъ чахнетъ, борьба въ немъ продолжается глухо и подрываетъ его. Онъ одинъ искупаетъ всю партію славянофиловъ.

\*) Первая жена Огарева.

25.— Годъ какъ начать этотъ журналъ, тридцать одинъ годъ мнѣ. Этотъ годъ былъ съ излишествомъ богатъ опытомъ, толчками по плюсу и по минусу; въ новый вступили весело въ кругу друзей и знакомыхъ.

27.— Не могу не замѣтить остроту уморительную. На дняхъ за ужиномъ я сказалъ, что нашъ девизъ *taceamus*. Хомяковъ прибавилъ *taceamus igitur*. А Александръ Ивановичъ Тургеневъ тотчасъ спѣлъ: *taceamus igitur, Russi dum sumus, post Mongalam servitutem, post Polon....* (не упомяну) *nos habebit humus!* Да, помолчимъ!

— Въ Германіи яростныя гоненія на свободу книгопечатанія. Прусскій король является безъ маски, Баварскій выдерживаетъ роль, которую игралъ всю жизнь — претенціозной тупости. Когда онъ издалъ свою глупую книжонку, написанную исковерканнымъ языкомъ: *Wal-hala's Gunsten*, которую въ Лейпцигѣ называли *Walfisch-halle's Gunsten*, въ одномъ изъ лейпцигскихъ журналовъ было сказано отъ имени Людвига Баварца: « *Mein Bruder in der Wart der ist redselig, ich aber bin schreibselig.* » Хороши эти литераторы и говоруны.

30.— Едва прошло нѣсколько спокойныхъ дней — Саша занемогъ и очень круто. Неужели вся жизнь должна быть пыткой и мученьемъ, смѣняемымъ для отдыха только и для того, чтобъ не уничтожился человѣкъ, — покоемъ? Грустно, тяжело и только тѣмъ, что ничего не можешь дѣлать, какъ быть зрителемъ. Человѣкъ по песчинкѣ, несчетнымъ трудомъ, потомъ и кровью копить, а случай хватить и однимъ глупымъ ударомъ разрушаетъ выстраданное. Едва теперь удалось нѣсколько поправить растроенное здоровье Наташи, спокойствіе,

вниманіе, гармонія кругомъ; едва начали возвращаться силы, вотъ новый толчекъ. И кто его знаетъ, каковъ онъ будетъ..... и весна..... кровью полна голова и гадко.

## АПРѢЛЬ МѢСЯЦЪ

5.—Длинный разговоръ о философіи съ И. Киреевскимъ Глубокая, сильная, энергичная до фанатизма личность. Наука по его мнѣнію чистый формализмъ, самое мышленіе способность формальная, оттого огромная сторона истины, ея субстанціальность является въ наукѣ только формально и слѣдовательно абстрактно, не истинно или бѣдно истинно. Философія не можетъ рѣшить свою задачу, не достигнетъ примиренія и истины, потому что ея путь недостаточенъ etc. etc. Слово есть также формальное выраженіе, не исчерпывающее то, что хочешь сказать, а передающее односторонно. Конечно наука *par droit de naissance* абстрактна и пожалуй формальна; но въ полномъ развитіи своемъ ея формализмъ—діалектическое развитіе, составляющее органическое тѣло истины, ея форму, но такую, въ которую утянуто само содержаніе. Содержаніе животнаго, не члены его, взятые какъ члены, но и не внѣ членовъ; оно само ставитъ органы и разчленяется. Конечно таже наука имѣетъ результатомъ негацию и переходитъ себя, ибо философія каждой эпохи есть фактической, исторической міръ той эпохи, схваченный въ мышленіи. Переходя себя—она переходитъ необходимо въ *новый* положительный міръ, уничтоживъ все незыблемо твердое стара-

было вчера и сегодня, я становлюсь въ жизни скептикомъ, и себя презираю за этотъ скептицизмъ. Гдѣ сила любви? Я могъ, любя, нанести оскорбленіе, пасть мелко, гнусно. Она еще болѣе, любя, не можетъ стереть этаго паденія съ меня, не можетъ принести мнѣ на жертву Grübeleien оскорбленій, что же можетъ человѣкъ для человѣка. Сдѣлать жертву въ томъ случаѣ, когда ему пріятнѣе жертвовать, нежели не жертвовать. Страшно. лучшія, святѣйшія отношенія, индивидуализируясь и углубляясь въ одномъ личномъ, грозятъ страшными ударами. Что замѣшало въ мою жизнь этотъ звукъ страшно раздирающей душу? А бываютъ минуты, въ которыя жизнь просто становится противна и отвратительна.

15. — Письмо отъ Огарева, письмо отъ Бѣлинскаго и длинный разговоръ съ Кетчеромъ и Наташей. Странная вещь до какой степени низокъ человѣкъ; онъ самъ и ни въ какомъ случаѣ не можетъ выйти изъ себя или подняться въ такую сферу, въ которой бы въ самомъ дѣлѣ поглощались его личныя особенности, Eigenthümlichkeiten характера и пр. Какъ опытъ и навыкъ къ вѣрному взгляду безпрестанно открываютъ въ жизни, въ людяхъ новое и какъ по большей части тягостно трезвое воззрѣніе; нимба нѣтъ, которымъ бы окружалось. Мы удивляемся великимъ самопожертвованіямъ потому, что мѣримъ все на свой аршинъ. Все дѣло въ томъ, что чѣмъ человѣкъ жертвуетъ, то не есть его существенный интересъ или наслажденіе — самопожертвованіе превышаетъ его. Всякое я тянетъ къ себѣ, даже въ любви и дружбѣ. Эгоизмъ есть только сосредоточенное болѣзненное, исключительное, сумашедшее проявленіе личности, которая имѣетъ сильный, рѣзкій голосъ во всѣхъ начинаніяхъ людскихъ. Сознаніе не вовсе признанная



власть надъ личнымъ влеченіемъ. Огаревъ понимаетъ, что онъ свое положеніе дѣлаетъ безвыходнымъ именно по нерѣшительности и не дѣлаетъ однако ни шагу потому, что самая тягость его положенія для него легче нежели рѣшиться на что нибудь. И все таки какъ прекрасны люди, какъ Огаревъ и, въ другомъ родѣ, какъ Бѣлинскій. Какой любовью и какимъ привѣтомъ мы окружены!

Графъ Строгоновъ писалъ еще къ Бенкендорфу и просилъ доложить государю о моемъ путешествіи. О боже, неужели такъ близко совершеніе мечты, упованіе самаго заповѣднаго—мнѣ страшно вздумать, что въ іюлѣ быть можетъ, проведу мѣсяцъ съ Огаревымъ на Lago Maggiore; я поюнѣю, это одно изъ послѣднихъ требованій чисто личныхъ.

18.—Какъ бы не такъ. Письмо отъ Строгонова, которымъ извѣщаетъ объ отказѣ. Какое постоянное, упорное, злое гоненіе. И за что? Какія тутъ причины? Фридрихъ II говорилъ, что онъ съ однимъ Солтыковымъ не могъ воевать и что тотъ его всегда приводилъ въ замѣшательство своими движеніями, потому что они были лишены всякой причины и всякаго смысла. Не всему можно искать причинъ! Еще мечта, одна изъ предпослѣднихъ убита. Тяжела шапка рабства! Состояніе безправія души и никакого конца не предвидится. И ее положеніе не измѣняется, все тоже болѣзненное настроеніе, таже грусть. Одинъ я какъ то безобразно здоровъ физически, и внутри иногда бываетъ хорошо, а часто ночь ночью. Какъ то холодно въ груди, давящая тоска, убійственная, разлагающая мозгъ не костей, а духа.

—Друзья, друзья они много дѣлаютъ, мы ими окружены какъ прелестнымъ вѣнкомъ; но мнѣ надобно быть

безъ всякой задней мысли, чтобъ отдаваться имъ, а когда сквозь ихъ и свои слезы я вижу слезы ея, я кажусь бѣглецомъ съ поля битвы, и радость меркнетъ. Путешествіе, Италія излечили бы ее и меня..... такое страшное насиліе; черезъ поколѣніе никто не повѣритъ, что люди могли, не повѣсившись съ отчаянія, жить подъ такимъ гнетомъ.

— Гибель, потуханье гдѣ нибудь въ холодныхъ, снѣговыхъ полянахъ, безъ участія, безъ отзыва — хороша будущность! Одно осталось — заниматься. И такъ опять за книги, и затаить все живое въ душѣ, и обмануть себя схоластикой. — Abomination!

21. — Спорили, спорили и какъ всегда кончили ничѣмъ, холодными рѣчами и остротами. Наше состояніе безвыходно, потому что ложно, потому что историческая логика указываетъ, что мы внѣ народныхъ потребностей и наше дѣло отчаянное страданіе. Страданіе безсимптомное, неоцѣняемое и конечно полезное для будущаго, но намъ не дающее никакого личнаго вознагражденія; жить отвлеченной идеей самопожертвованія не естественно, даже религіозные фанатики имѣли награду личную въ упованіи. Стоицизмъ есть тоже отчаянное положеніе.

22. — Ужасно проведенный вечеръ и ночь. Ея грусть принимаетъ видъ безвыходнаго отчаянія. Бывало за слезами слѣдовали свѣтлыя слова. Я не знаю, что мнѣ дѣлать. Ни моя любовь, ни молитва къ ней ничего не помогаетъ. Я гибну нравственно уничтоженный, флетирированный. Каплю елея на раны, каплю воды на алканье!.... изнѣмогаю. Я шутя, безсознательно, буйствуя, развязалъ руки низкой натурѣ своей, разбилъ

зданіе всей жизни, я не умѣлъ сохранить, потому что слишкомъ много дано было.

Теперь нѣтъ помощи, что укажетъ время—не знаю; я надѣялся, я предвидѣлъ, что все это пройдетъ, что ужасное положеніе пройдетъ какъ катастрофа, но свѣтлое то прошло. Она бываетъ жестка, беспощадна со мной—много надобно было, чтобъ довести до этаго ангельскую доброту.

Она не слушаетъ болѣе словъ моей любви — а все же — подчасъ мнѣ кажется, я не заслужилъ этаго; я такъ много люблю, такъ искренно раскаяваюсь. Жизнь ужасно тяжела—подчасъ мнѣ (и это первый разъ какъ себя запомню) кажется хорошо бы умереть, „глупую сказку, какъ говоритъ Макбетъ, рассказанную дуракомъ“ закрыть — и да здравствуетъ небытіе. Страшно земля подъ ногами колеблется. Нѣтъ точки, на которую опереться. А мои мечты — мечты! Иногда хотѣлось бы броситься на грудь кого нибудь близкаго и говорить, и стонать, а иногда такъ пошлы кажутся всѣ эти друзья; не нужно ихъ, всѣ они ничего не понимаютъ.

У меня не осталось ничего святаго, одна она; она и богъ, и безсмертье, и искупленье; передъ ней я святотатецъ. Она хочетъ и не можетъ отпустить мнѣ; ночь, ночь!!

28. — Она сказала на концертѣ Листа *новость*. Господи, что будетъ, то будетъ. Можетъ это выходъ, представляемый судьбою. Все взволновалось во мнѣ и какое то чувство радостное переплелось съ тысячей другихъ чувствъ. О еслибъ любовь могла творить чудеса, я совершилъ бы ихъ. Надежда и страхъ.

## МАЙ МѢСЯЦЪ

1. — На прошлой недѣлѣ слушалъ нѣсколько разъ Листа. Когда столько и столько накричатъ, ждешь богъ вѣсть чего, и часто обманываешься—именно потому, что ожиданія сверхъ естественныя неисполнимы. Однако истинные таланты не теряютъ ничего отъ крика фамы. Такова Таліони, на которую я смотрѣлъ иногда сквозь слезъ; таковъ и Листъ, котораго слушая, иногда навертывается слеза. Поразительный талантъ.

— Вчера дикій концертъ цыганъ. Для Листа это было ново и онъ увлекся. Музыка цыганъ, ихъ пѣніе не есть просто пѣніе, а драма, въ которой солистъ увлекаетъ хоръ — безгранично и буйно. Понять легко, почему на вакханаліяхъ цыгане дѣлаютъ такой эффектъ.

6. — Я безпрестанно строю, строю вновь храмъ домашняго счастья и онъ мнѣ кажется опять незыблемымъ, а черезъ день все рушится какъ прахъ. Какая страшная казнь мнѣ. Все что я дѣлаю, для того чтобъ исправить, оказывается недостойнымъ. Я святотатственными руками коснулся дерзко и грубо до святыхъ отношеній, я могъ забыть ихъ, я оправдывалъ себя, и обрушилъ страшныя несчастія на голову свою. Я, привязанный внутренно къ позорному столбу, долженъ страдать; я игралъ всѣмъ благомъ жизни—проигралъ, это естественно. Но я понимаю, что это не такъ, что во мнѣ таилась всегда основа святая и чистая. Да зачѣмъ же она не удержала меня? О если послѣ всѣхъ этихъ мученій, должно усу-

губиться мое несчастіе если..... страшно сказать..... что тогда будетъ? Есть выходъ. Да ужъ вѣры нѣтъ въ свою силу. Я нравственно запятнанъ. Тяжело, безконечно тяжело, и тѣмъ тяжеле, что я какъ ребенокъ хватаюсь за каждую тѣнь надежды и, по прежней свѣтлости характера, открываю душу радостнымъ упованіямъ, а время обличаетъ несостоятельность ихъ.

— Приѣмъ Листа у Павлова выразилъ какъ то всю юность нашего общества и весь характеръ его. Литераторы и шпионы, все выказывающее себя. Мнѣ было грустно. А Листъ милъ и уменъ.

9. — Пять лѣтъ послѣ моей свадьбы. Этотъ пятый годъ былъ тяжелъ, онъ раздавилъ послѣдніе цвѣты юности, послѣднія упованія — и былъ правъ. Налегать, играть своимъ счастіемъ, значитъ оправдать бѣдствія, накликать ихъ. Одно осталось цѣло, свято какъ было: это она, она изнуренная, склоненная подъ бременемъ жизни — подъ бременемъ, которое я не умѣлъ сдѣлать легче. Я вглядѣлся въ себя и въ жизнь. У меня характеръ ничтожный, легкомысленный; людямъ нравится во мнѣ широкій взглядъ, человѣческія симпатіи, теплая дружба, доброта, и они не видятъ, что *fond* всему слабый характеръ, не въ томъ смыслѣ какъ у Огарева — инертивно-слабый, а суетливо-слабый, и какъ такой, склонный къ прекраснымъ порывамъ и гнуснѣйшимъ поступкамъ. Послѣ гнуснаго поступка, я понимаю всю отвратительность его, то есть слишкомъ поздно, а твердой хранительной силы нѣтъ. И эти паденія повергаютъ меня въ скептицизмъ страшный, убійственный, повязка падаетъ за повязкой, мечта за мечтой, и простота результатовъ, до которыхъ доходишь этимъ путемъ, страшна, хуже всякаго отчаянія именно по наглой на-

• готѣ своей. Вчера говорилъ объ этомъ съ ближайшими людьми, но и они не хотятъ понять: одинъ умъ ставится ими во что нибудь и благородная *поступь*, такъ сказать. Мнѣ больно принимать ихъ любовь, зная, что они ее дурно помѣстили. Да, да, послѣдніе листы облетѣли; будетъ ли весна и новый листъ, могучій по возврату? кто скажетъ. И призваніе общее, и частное призваніе, все оказалось мечтою, и страшныя, раздирающія сомнѣнія царятъ въ душѣ—слезы о вѣкѣ, слезы о странѣ, и о друзьяхъ, и объ ней. Чаша эта горька! А пять то лѣтъ тому назадъ какъ все было свѣтло и ясно; это былъ предѣлъ, далѣе котораго индивидуальное счастье не идетъ. Шагъ далѣе, шагъ вонъ. Шагъ вонъ значило для нея шагъ къ могилѣ. Страшная логика у жизни. Иногда, кажется, для того можно лишить себя жизни, чтобъ испортить развитіе этихъ королларій, чтобъ сдѣлать насмѣшку.

На дняхъ читалъ я Киреевскому и Хомякову четвертую статью—большой эффектъ и рукоплесканіе. Третья статья напечатана въ *Отеч. Зап.* и тоже производитъ говоръ, но прежде я болѣе бы вкусилъ эти рукоплесканія, упился бы ими отъ души; теперь для меня существуетъ одно упоеніе—*via humida*, т. е. виномъ.

13.—Баронъ Гакстгаузенъ и Козегартенъ, путешественники изъ Пруссіи, занимающіеся изслѣдованіемъ славянскихъ племенъ и въ особенности бытомъ и состояніемъ крестьянъ въ Европѣ. Я имѣлъ случай говорить съ Гакстгаузеномъ; меня удивилъ ясный взглядъ на бытъ нашихъ мужиковъ, помѣщичью власть, земскую полицію и управленіе вообще. Онъ находитъ важнымъ элементомъ, сохранившаюся изъ древности, общинность, ее то надобно развивать, сообразно требованіямъ вре-

мени. Индивидуальное освобожденіе съ землею и безъ земли онъ не считаетъ полезнымъ, оно противопоставляетъ единичную, слабую семью всѣмъ страшнымъ притѣсненіямъ земской полиціи, *das Beamtenwesen ist grässlich in Russland*. „Зачѣмъ у васъ судебская власть не поставлена самобытно относительно другихъ властей? Зачѣмъ дворяне не умѣютъ пользоваться выборами и избирать на уѣздныя мѣста порядочныхъ людей?“ Мало ли зачѣмъ. Затѣмъ что правительство не вынесетъ никакой самобытной власти, затѣмъ что исправникъ трактуется какъ лакей, затѣмъ что въ уѣздныхъ городахъ жить нельзя—нѣтъ ни врачей, ни средства воспитать дѣтей, ни общества, ни удобствъ жизни. Онъ хотѣлъ, чтобъ ему сказали нормальное отношеніе помѣщичьихъ крестьянъ къ господину, напримѣръ въ Московской губерніи, алгебраическую формулу, такъ сказать. Но это вздоръ; еслибъ отношеніе общины сельской къ помѣщику измѣнялось съ ея величиною, съ количествомъ земель или иныхъ условій жизни. тогда можно бы понять какую нибудь норму. Это не такъ. Состояніе общины N. зависитъ отъ того, что помѣщикъ ея богатъ или бѣденъ, служить или не служить, живетъ въ Петербургѣ или въ деревнѣ, управляетъ самъ или прикащикомъ. Вотъ это то и есть жалкая и безпорядочная случайность, подавляющая собою развитіе. Между прочимъ, говоря о дворовыхъ людяхъ и мастеровыхъ, баронъ Гавстгаузенъ замѣтилъ: *ily a des principes d'un saint-simonisme renversé (à chacun selon ses talents)* т. е. что чѣмъ талантливѣе, тѣмъ больше дуютъ съ него оброка. Демократическая нивелировка.

15.— Скорѣе будетъ Бѣлинскій; жду, очень жду его. Я мало имѣлъ близкихъ отношеній по виѣшности съ

нимъ, но мы много понимаемъ другъ друга. И я люблю его рѣзкую односторонность, всегда полную энергію и безстрашную. Потомъ онъ по своему симпатиченъ. Мнѣ надобны эти обновленія, какъ свѣжія примочки воспаленному мѣсту; я какъ то быстро изнашиваю жизнь. Онъ пишетъ мнѣ о моемъ счастьи, а я ему хочу высказать, какъ я не умѣлъ понять его, какъ я забылся, заблуждался. Онъ меня осудитъ, и мнѣ останется, покраснѣвъ и затаивъ слезу, слушать. Тоже будетъ, когда явится Огаревъ! Одно, одно лишь бы новыя силы помогли ей; мнѣ страшно жить такъ, я стою со всѣмъ благомъ моей жизни, съ моимъ руномъ на весеннемъ льду и эти минуты внутренняго трепета, ихъ ничѣмъ ничто не вознаградитъ. Страшный скептицизмъ остается результатомъ всего этаго и ни занятія, ничто не мощно побѣдить боль.

26.—Одинадцать дней не дотрогивался до журнала, ну, что же въ нихъ?—ничего. Жадное стремленіе къ какой то полной жизни и скептицизмъ все мутящій. Всякій день уносить что нибудь. Я быстро отцвѣлъ и отживаю теперь свою осень, за которой не будетъ весны. Шиллеръ безконечно правъ, говоря, что *Irrethum Leben* ; медузины взгляды скептицизма убили черты,

оживленные мечтами и пр. Я смотрю около — все дѣти, умныя, полныя благородства, высоты, симпатіи и вѣры, дѣтской вѣры, всѣ они могутъ дѣлать, потому что они игру принимаютъ за дѣло. Дитя потому соп амоге держаетъ шнурокъ, что онъ твердо убѣжденъ въ лошади на концѣ шнурка. На дняхъ говорили о безсмертіи. Я не вѣрилъ въ безсмертіе, но желалъ его; этотъ разъ я съ ужасомъ замѣтилъ, что мнѣ все равно и что мысль уничтоженія даже сладка въ иную минуту; выдохнуть-



ся подъ прекраснымъ небомъ, среди людей свободныхъ, пышныхъ растеній, благословляя дѣтей, друзей—лишь бы не увидѣть упрека на чьемъ либо лицѣ. Зачѣмъ женщина вообще не отдается столько живымъ общимъ интересамъ, а ведетъ жизнь исключительно личную? Зачѣмъ они терзаются личнымъ и счастливы личнымъ? Соціализмъ какую переменѣну внесетъ въ этомъ отношеніи.

29.—Я забывался, падалъ и очистился, какъ христіанинъ, кровью невиннаго. Но эта кровь вопіетъ, я изнѣмогаю, теряю всѣ силы. Ея слова, ея уничтоженіе, горестъ. Нѣтъ, я не такъ палъ, къ падшему пощада; если бы у меня былъ характеръ, я зарѣзался бы. Кроме эгоизма есть натяжки у людей, гипостазія эгоизма, онъ начало и конецъ всего плюсъ гордость и желаніе наслажденій. Жить иную минуту легко, а всегда тяжело, безконечно тяжело. Я ослабѣлъ какъ то.

31.—Сегодня или вчера годъ, какъ пріѣхалъ Огаревъ въ Новгородъ. Этотъ годъ страшно обширенъ по внутреннимъ событіямъ и въ немъ я отстрадался за все благо моей прошлой жизни. Послѣдній безотчетно свѣтлый мигъ—былъ мигъ, въ который мы проводили его. Вслѣдъ за тѣмъ нечистыя волненія, тоска душнаго состоянія ссылки, переѣздъ, дурачество и горестное, раздирающее душу сознаніе, что я, дурачась, не смотрѣлъ на существо, близъ меня стоящее; что я поколебалъ ея вѣру, отнялъ основу нравственнаго быта, убилъ, разрушилъ. Когда я опомнился, я бросился на колѣни, я рыдалъ, я умолялъ, но было поздно. Есть страшныя развитія души, которыя не имѣютъ прошедшаго; для нихъ прошедшее вѣчно живо, онѣ не гнут-

ся, а ломаются, онѣ падаютъ паденіемъ другаго и не могутъ сладить съ собою. Вчера вечеромъ нашъ разговоръ объ этомъ былъ вротомъ, меня посѣтило опять давно не извѣстное чувство гармоніи, и я плакалъ отъ радостнаго чувства. О еслибъ она знала все, что дѣлается въ душѣ моей, она увидѣла бы, что никогда я не былъ достойнѣе блага ея любви, и сталъ чнще, выше всею глубиною моего паденія.

Размышленіе по поводу *Записки объ Останкинѣ*. Дружба и любовь должны бѣжать холодной, юридической справедливости. Любовь въ основаніи пристрастна, лицепріятна, въ этомъ ея характеръ. Тактъ, уваженіе, деликатность на всѣхъ степеняхъ сношенія людей другъ съ другомъ, близость, пренебрегающая этимъ, близка къ шероховатости. Уваженіе, вѣра — вотъ риза истинной симпатіи.

## ІЮНЬ МѢСЯЦЪ

4. — *Histoire de Dix ans*, L. Blanc. Чрезвычайно замѣчательное явленіе по взгляду, по изложенію и по ревелациі. Въ революціи 30 іюля вся Франція и вся первая половина XIX вѣка имѣютъ представителей en bien et en mal. Франція величественно и торжественно возстаетъ, оскорбленная глупыми ордонансами, противодѣйствіе геройское, но которое, умѣвши побѣдить, не имѣло выдержки и позволило себя глупо обмануть. Скептический, не дошедшій до формулированія своей мысли, XIX вѣкъ не имѣлъ ничего готоваго. Демократія была без-

системная, соціалізмъ едва родившійся, съ первыхъ дней революціи проводить, чья побѣда. Робкая, трусливая, корыстолюбивая и переменчивая bourgeoisie завладѣть всѣмъ и въ центрѣ ея, окруженный неблагородными лицами и нѣсколькими обманутыми какъ Казимиръ, хитрый Лудвигъ Филиппъ, человѣкъ прозаическій, далекій отъ всякой геніальности, царь во имя посредственности и для нее. Камера—грязное болото, въ которомъ исчезаетъ великій потокъ революціи, боясь народа болѣе нежели бурбоновъ, спѣшила сдѣлать короля. А король ея разомъ обманулъ мошеннически Карла X, и камеру, и народъ. Отъѣзжающій старикъ, окруженный своей семьей, вѣрный этикетамъ и рыцарски преданный идеѣ, которой уже нѣтъ, примиряетъ съ собою; его жаль, онъ окруженъ какимъ то поэтическимъ отблескомъ прошедшихъ вѣковъ. Лудвигъ Филиппъ, принимающій безъ штановъ депутацію, представляетъ какую то циническую фигуру, поселяющую отвращеніе.

### Покровское.

14. — Странно идетъ наша жизнь. Возлѣ каждой минуты блага и счастья, какая то безотходная иронія ставитъ страшныя привиденія. Третьяго дня мы пріѣхали сюда и я давно не былъ въ такомъ свѣтло-радостномъ расположеніи. Видъ полей меня обмылъ, мнѣ было хорошо, очень хорошо..... тишина кругомъ, спокойствіе, все расположило душу къ ряду впечатлѣній безотчетно гармоническихъ. А сегодня утромъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ дома, утонулъ Матвѣй. Я любилъ его, онъ былъ для меня болѣе нежели слуга, я въ немъ воспиталъ благородныя свойства и они принялись; онъ маль-

чикомъ вступилъ въ мой домъ и съ лѣтами прибрѣлъ истинно человѣческія достоинства. Онъ развился болѣе нежели надобно, *avec une grécosité*, которая начинала его мучить неравномѣрностью своей. Онъ тяготился своимъ состояніемъ, часто бывалъ небреженъ, но всегда благороденъ, онъ искупалъ цѣлый классъ людей въ моихъ глазахъ. И вдругъ погибнуть такъ глупо, такъ бессмысленно случайно, 22 лѣтъ, это страшно. Какой скептицизмъ навѣваютъ такіе примѣры. Вчера онъ упалъ было съ плотины. Саша со слезами бросился къ нему и сказалъ: „я тебя люблю, не утони,“ это послѣдняя сладкая минута его. Я совѣтовалъ не купаться за плотиной, онъ не послушался; сегодня утромъ пошелъ и заплатилъ жизни за неосторожность. Можетъ для него смерть благо, жизнь ему сулила страшные удары; съ нѣжной душой, онъ былъ все же слуга, у него не было будущаго. Но страшно быть свидѣтелемъ такого спасенія отъ будущаго.

Когда я прибѣжалъ на берегъ, его искали и полъ часа не могли найти въ глубинѣ; я велѣлъ спустить плотину, его поймали неводомъ и вытащили. Боже, этотъ, цвѣтущій силами, молодой человѣкъ, который вчера вечеромъ пребеззабѣтно говорилъ со мною, который не думалъ конечно о смерти, теперь посинѣлый трупъ съ открытыми глазами. Что думалъ онъ, какъ шелъ вдвоемъ купаться? они дурачились въ рѣкѣ; что думалъ онъ, протянувши руки и не найдя тотчасъ помощи? Еще разъ страшно!

Грустное впечатлѣніе этаго случая, на долго отравитъ нашу деревенскую жизнь, а она было началась такъ благотворно. Бѣдный Матвѣй! Писалъ къ его матери.

Вчера деревенскіе мальчики приходили играть съ

Сашей, мнѣ грустно было смотрѣть на нихъ. Съ какимъ радушіемъ наперерывъ они старались чѣмъ нибудь потѣшить Сашу.

Нисшіе классы ужасно оклеветаны. Посмотрите какъ добръ, какъ весь предается ласкѣ простолюдинъ (разумѣется, исключая дворовыхъ); стоятъ съ нимъ обходиться по человѣчески. Грубые приемы наши ставятъ его *en garde*, самая привычка подозрѣвать что его хотятъ обидѣть, насторожила ихъ. Но когда онъ увѣрится, что къ нему подходятъ съ любовью, онъ вострепнется и радъ жизнь положить за всякаго. Горе людямъ, пользующимся властью, чтобъ еще болѣе втоптывать въ грязь народъ и стыдъ имъ за клевету подлую и низкую на нихъ, они клеветуютъ, чтобъ оправдаться. А тѣ бѣдные не имѣютъ этой послѣдовательности ненависти къ истинно враждебному стану.

Вчера хоронили его; Кетчеръ и я несли гробъ. Миръ его памяти! Какъ земное быстро минуетъ, переходитъ, пораженное смертью. Жизнь какъ потокъ тотчасъ находитъ свое русло и течетъ.

Уединеніе сельской жизни, близость съ природой и даль отъ людей чрезвычайно хороши. Человѣкъ долженъ по временамъ отходить въ сторону, чтобъ собраться. Внѣшнее однообразіе жизни деревенской даетъ просторъ внутреннимъ процессамъ.

Каждая бездѣлица въ этомъ домѣ и въ околныхъ мѣстахъ напоминаетъ мнѣ меня въ разныя эпохи моей жизни—я нашелъ надпись сдѣланную мною въ 1827 г. и другую въ 1838. Какая поэма, романъ, какой рядъ событий и видоизмѣненій между этими годами! Стремлюсь побывать въ Васильевскомъ, тамъ я долѣе жывалъ и лучшія воспоминанія дѣтства и отрочества связаны съ горами, водами этой деревни. Лѣта развитія не прибавляютъ

грузъ, а напротивъ, потребляютъ массу мечтаній и вѣрованій юношескихъ; становится все легче, плечи многихъ довлѣютъ нести тяжести, но ничего не нести надобно имѣть въ десятеро болѣе силъ. Думать что судьба человѣка напр. таинственно предопредѣлена, стараться разгадать эту тайну, узнать нѣчто грозное легче, нежели знать, что никакого секрета нѣтъ спрятаннаго о жизни каждаго человѣка. До большой легкости ноши достигъ я рядомъ бурныхъ испытаній, но мнѣ грустно. Въ 1827 г. я былъ 15 лѣтъ, идеи древняго республиканизма бродили въ головѣ, я вѣрилъ непреложно, что „взойдетъ заря плѣнительнаго счастія.“ Тутъ, въ этой комнатѣ, лежа на этомъ диванѣ, я читалъ Плутарха и свѣжее, отроческое сердце билось. Въ 1838 г. я пріѣзжалъ изъ ссылки, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ свадьбы, мнѣ было 26 лѣтъ, жизнь раскрыла всѣ прелести и упоенія. Теперь въ 1843 г., измученный многими, съ скептицизмомъ въ душѣ, я ищу у тѣхъ же полей участія. А юности уже нѣтъ, а вѣрованій нѣтъ, только что то похожее волнуетъ подчасъ кровь.

18. — 2-й томъ L. Blanc, 1831 годъ. Отличительная черта французскаго правленія послѣ революціи 30 года, ограниченность, коварство и стараніе мошенническими штуками скрыть свои корыстные и жалкіе виды. Дома, въ камерѣ, въ сношеніяхъ съ государями и съ народами — тоже самое. Талейранъ доказалъ наконецъ, что плутовство не значитъ геніальность. Король потерялъ всякое уваженіе — Dupont (de l'Eure) уличилъ его во лжи. Лувигъ Филиппъ взбѣсился и сказалъ, что онъ обнародуетъ его грубость. „Почемъ знать, отвѣчалъ министръ, кому повѣрять, вамъ или Dupont (de l'Eure).“ Король смирился. Обиднѣе всего тупость тогдашняго упра-

вленія; Франція выпадала гегемонія всей либеральной Европы, а она загрязнилась въ дипломатическихъ сдѣлкахъ, выдавала, продавала своихъ приверженцевъ. Орлеанская эпоха не смоетъ этихъ пятенъ. Бельгія, Испанія, Италія и Польша уличаютъ ее въ эгонизмъ и трусости. Въ противоположность ей, карлисты получаютъ благородный свѣтъ. Одно объясненіе — не развитость демократической партіи; политическіе перевороты безъ соціальнаго сдѣлались невозможны. А царство средняго сословія было все же продолженіе феодальнаго социализма, котораго высшее развитіе въ Америкѣ, остановившейся на односторонней тенденціи. Сѣверная Америка—*les plus ultra* феодальнаго развитія, такъ какъ оно должно было явиться въ мірѣ реформаціонномъ.

26.— А какъ взглянешь около себя..... Бѣдный, бѣдный русскій мужикъ. И что досаднѣе всего видѣть, средство поправить его состояніе по большей части подъ руками, алчность помѣщиковъ и неустройство государственныхъ крестьянъ повергаетъ ихъ въ это положеніе. Глядя на ихъ жизнь, кажется чѣмъ то чудовищно-преступнымъ жить въ роскоши; обыкновенно мужикъ здѣшной полосы никогда не ѣстъ мяса, у него едва хватаетъ хлѣба, коли по богаче, ѣстъ капусту; онъ каждый день съ своей семьей отыгрывается отъ голодной смерти. О запасахъ думать нечего; умри лошадь, корова, онъ пошелъ ко дну. У кого много работниковъ въ семьѣ, тѣ живутъ по лучше; но много ли такихъ? Возлѣ ихъ бѣдныхъ полей, богатые поля помѣщика, обработанные его руками, скирды хлѣба, копны сѣна. Какое ангельское самоотверженіе! Сегодня приходили къ окну нищіе изъ сосѣдней деревни, помѣщикъ выгоняетъ ихъ ежедневно на работу поголовно—у нихъ хлѣба нѣтъ, это бросается

въ глаза, а если есть только хлѣбъ, то совѣсть помѣщика чиста, чего же имъ болѣе, они сыты. Мы дивимся гладіаторамъ, а развѣ черезъ вѣкъ не будутъ дивиться намъ, нашей свирѣпой жестокости, отсутствію человѣколюбія въ насъ? Чѣмъ мы лучше суринамскихъ колонистовъ, англичанъ въ Индіи? Нѣтъ мы хуже, потому что крестьяне наши лучше дикихъ; кротко, грустно несутъ они тяжелый крестъ жизни, черно проводятъ ее, имѣя въ перспективѣ розги, голодъ и барщину, если оброчный, рекрутство, взятіе во дворъ. Наши славянофилы толкуютъ объ общинномъ началѣ, о томъ, что у насъ нѣтъ пролетаріевъ, о раздѣлѣ полей; все это хорошіе зародыши и долею они основаны на неразвитости. Такъ у бедуиновъ право собственности не имѣетъ эгоистичнаго характера европейскаго; но они забываютъ съ другой стороны отсутствіе всякаго уваженія къ себѣ, глупую выносливость всякихъ притѣсненій, словомъ возможность жить при такомъ порядкѣ дѣлъ. Мудрено ли, что у нашего крестьянина не развилось право собственности въ смыслѣ личнаго владѣнія, когда его полоса не его полоса, когда даже жена, дочь и сынъ — не его. Какая собственность у раба? онъ хуже пролетарія — онъ георудіе для обработыванія полей. Баринъ не можетъ убить его, такъ же какъ не могъ при Петрѣ, въ извѣстныхъ мѣстахъ, срубить дубъ; дайте ему права суда, тогда только онъ будетъ человѣкомъ. Двѣнадцать милліоновъ людей *hors la loi*. *Carmen horrendum*.

23. — Дочиталъ первые три тома L. Blanc. Какъ поэтически явился Сень-Симонизмъ, какъ геройски явилась республиканская партія и какъ вдругъ уничтожились одни и обезсилѣли другіе. Но если они видимо уничтожились и ослабли, то въ нравахъ, въ общемъ



мнѣніи осталось очень-очень много. У нихъ не было полной отгадки. Между тѣмъ необходимость соціальнаго переворота теперь стала очевидна; враги развитія, какъ Гизо, понимаютъ и трепещутъ. Измѣненіе права собственности, коммунальная жизнь, организація работъ — вопросы, занимающіе всѣхъ, видящихъ далѣе носа; неслѣпость случайнаго и неслѣпаго распредѣленія такого важнаго орудія какъ богатство, неслѣпость гражданскаго порядка, приносящаго на жертву огромное большинство, невозможность равенства при такомъ устройствѣ — все это стало очевидно, а давно ли? Воззрѣнія со стороны консерватистовъ проникнуты сознательно или безсознательно эгоизмомъ и своекорыстіемъ привилегированныхъ кастъ. Теперь, на примѣръ, толкуютъ, что при организаціи равнаго воспитанія отецъ не можетъ дать того воспитанія, которое онъ считаетъ лучшимъ, а забываютъ, что теперь всѣ отцы нисшихъ классовъ не могутъ дать никакого воспитанія своимъ дѣтямъ. Конечно, при лучшемъ общественномъ устройствѣ многіе не будутъ имѣть возможность тратить деньги какъ теперь, они стѣсняются — но никто не будетъ мереть съ голоду. А развѣ при развитіи идеи права не стѣсняется самодержавная воля деспота, развѣ ему не хуже, на примѣръ, въ Англіи, нежели въ Россіи? Франціи принадлежит великая инициатива этаго переворота. Она ему положила начало Конвентомъ. Болѣзненно достигаетъ она до осуществленія. Достигнетъ ли, когда? Все равно, человечество ей не забудетъ первый шагъ. Удивляюсь, какъ Славянобѣснующіеся не понимаютъ исторіи, не понимаютъ Европейскаго развитія — это помѣшательство. Славяне въ будущемъ вѣроятно призваны ко многому, но что же они сдѣлали въ прошедшемъ съ своимъ

стоячимъ православіемъ и чуждостью отъ всего чловѣческаго?

30.— Гостили Бѣлинскій, Боткинъ, Грановскіе. Исторія Боткина отравила почти все время, она поселила неловкость между нами и покрыла чѣмъ то тяжелымъ все время. Конечно онъ не правъ какъ смѣшно слабый характеръ, какъ чловѣкъ пріучившійся рефлексировать тамъ, гдѣ должно дѣйствовать, наконецъ какъ чловѣкъ ставящій эгоистически выше всего какое то себяпотворство, обоготворяющій маленькія удобства и боящійся поднести чашу жизни къ устамъ, потому что тяжело держать ее. Все это такъ; далѣе, мы только тѣхъ людей можемъ уважать, которые, рѣшивши въ сердцѣ и въ головѣ вопросъ, ломаютъ всѣ препятствія, пренебрегаютъ ранами, словомъ имѣютъ храбрость поступка и всѣхъ послѣдствій его, доросли до дѣйствительной жизни. Но, съ другой стороны, нельзя не видѣть, что слабость Боткина испугалась въ самомъ дѣлѣ страшнаго. Онъ содрогнулся отъ слова бракъ; истинная любовь не содрогнулась бы, но все же бракъ страшенъ. Контрактваніе себя, кабала, цѣпь.

Бракъ не есть истинный результатъ любви, а христіанскій результатъ ея, онъ обрушиваетъ страшную отвѣтственность воспитанія дѣтей, семейной жизни etc., etc. Мнѣ семейная жизнь легка съ этой стороны — но это случайность и именно потому я имѣю голосъ. Между свободнымъ счастіемъ чловѣка и его осуществленіемъ всегда путы и препятствія прежняго религіознаго возрѣнія. Въ будущую эпоху нѣтъ брака, жена освобождается отъ рабства, да и что за слово жена? Женщина до того унижена, что какъ животное называется именемъ хозяина. Свободное отношеніе половъ, публичное

воспитаніе и организація собственности. Нравственность, совѣсть а не полиція, общественное мнѣніе опредѣляютъ подробности сношеній.

Глубоко грустные стоны издаются и теперь еще по временамъ изъ болѣзненной души Наташи. Ей судьба привила духъ страданій, исторія Боткина опять потрясла ее и растравила старое; причина все одна: мы не можемъ свободно и широко взглянуть на отношенія людей между собою, христіанскіе призраки мѣшаются. Они были необходимы въ свое время — теперь ихъ не нужно. Христіанскій бракъ былъ нуженъ для того, чтобъ приучить людей въ женѣ уважать женщину; ревнивая любовь среднихъ вѣковъ, идеализація дѣвицы овружили женщину свѣтлымъ кругомъ и очь останется и будетъ тѣмъ свѣтлѣе, чѣмъ далѣе разовьется нравственность.

Христіанское общество, какъ всякое одностороннее, имѣетъ всегда въ себѣ самомъ обратную сторону. Неразрывный бракъ съ одной стороны и съ другой публичные дома, гдѣ женщина брошена въ грязный развратъ, поставлена ниже животнаго. Но какъ примирить, какъ устроить? Сень-Симонисты дали великій примѣръ смиренія, они ждали голоса женщинъ, чтобъ рѣшить вопросъ; но съ тѣхъ поръ, развѣ голосъ G. Sand не заявлялъ мнѣніе женщины?

Бѣлинскій не перемѣнился ни на волосъ, вѣчно въ экстремѣ; но глубоко вникающій и симпатичный съ одной стороны, рѣзкій до цинизма въ словахъ, но вѣрный въ смѣлости и не трусь, конечно, въ консеквентности. Я люблю его рѣчь и недовольный видъ и даже ругательство.

## ЮЛЬ МѢСЯЦЪ

4.—*Révo'ution d'Angleterre. Charles I. par Guizot.* Для того, чтобы дойти до вселенскаго переворота конца XVIII столѣтія, надобно было испытать частные эмансипаціонные перевороты. Реформація торжественно заключается англійской революціей. Она далеко отъ всеобъемлющаго характера французской, она боится инициативы, старается каждому требованію придать историческую основу, она предоставляет только такія права, на которыя она имѣетъ историческіе антецеденты. Она двигается впередъ, но спиною, безпрестанно смотря на прошедшее и боясь, особенно въ первую половину, сознаться, что идетъ по вовсе не разработанной землѣ и новой. Между тѣмъ, всѣ вопросы первой важности обсуживаются съ трибуны и въ брошюрахъ. Республиканское устройство пресвитеріальной церкви, разногласица независимыхъ, нижній парламентъ въ глазахъ народа захватывающій власть — внедряютъ великія идеи о правѣ народа, о самодержавіи народа, массы воспитываются. Полковникъ Кромвель, вербуя себѣ солдатъ, говорилъ имъ: „знайте впередъ, я не хочу лицемѣрить, не говорю: беру васъ защищать короля и парламентъ; нѣтъ, еслибъ король стоялъ передо мною, я первый пустилъ бы ему пулю въ лобъ и пр.“ При началѣ революціи массы отступили бы съ ужасомъ отъ чловѣка, который бы дерзнулъ произнести слова эти. Кромвель зналъ съ кѣмъ говорить, всѣ энергическіе изъ

слушателей шли подъ его знамя. Въ Англіи какъ тутъ такъ и до нашихъ дней, удивляетъ насъ, привыкнувшихъ къ военно-восточному деспотизму, глубокое, твердое, величаво спокойное сознаніе правъ своихъ и правъ благородства, достоинства человѣка вообще. Гизо приводитъ въ *pièces justificatives* примѣръ лорда при Елизаветѣ, говорившаго въ парламентѣ очень сильно противъ нее. Съ какою доблестью отвѣчаетъ онъ и съ какою доблестью члены верховнаго суда понимаютъ правоту его. Права свободно разумной личности признаны съ тою же непоколебимостью, съ какою у насъ напримѣръ они всѣ отвергнуты. Во время первой войны, король и парламентъ плѣннымъ ни съ той, ни съ другой стороны не дѣлали обидъ и общественное мнѣніе громко возстало, когда король для униженія плѣнныхъ велѣлъ имъ дефилировать передъ собою, а въ его глазахъ они были государственными преступниками. Вотъ этаго то воспитанія въ правомѣрное состояніе у насъ вовсе нѣтъ; даже мы не уважаемъ и ту законность, которая дается нашимъ сводомъ. Оттого сводъ безпрестанно нарушается внизу массою подлыхъ агентовъ и самимъ народомъ, для выгодъ котораго сдѣланъ законъ; съ другой стороны, высшей властью, которая не видитъ въ немъ закона, а распоряженіе, указы, состоящіе до новаго указа. Отсюда этотъ хаосъ неопредѣленныхъ правъ, гдѣ пной разъ власть старается объ развитіи элективнаго начала или коллегіальнаго управленія, а массы противодѣйствуютъ ему; а другой разъ малѣйшее поползновеніе пріобрѣсти гражданскія права со стороны лицъ, особенно же заявленіе своихъ правъ, сознаніе ихъ, принимаются за бунтъ и также властью наказываются кнутомъ и всѣмъ на свѣтѣ.

— Разстояніе наше съ Европой во всемъ неизмѣримо.

Въ Европѣ сомодержавіе было болѣзнь одного вѣка, отъ которой сама власть тотчасъ стремилась отречься (скрывая цѣль подъ личиною общественной пользы); у насъ въ заключеніе всей исторіи нашей, не имѣвшей никакого знамени, въ XIX вѣкѣ, водрузили хоругвь, на которой просто и ясно говорятъ, что цѣль наша, слово эпохи — самодержавіе. Народъ только поддержка самодержавія. Представьте европейское государство: Сардинію, Неаполь, Австрію, гдѣ бы цинизмъ деспотизма дошелъ до того, чтобъ на знамени написать: „Абсолютизмъ — самовольство власти.“

6. — Обыкновенно возстаютъ противъ дѣлопроизводства процессовъ Людовика XVI и Карла I. Политическіе преступники во время переворота всегда судятся внѣ обыкновенныхъ формъ, цѣль этаго рода процессовъ вовсе не раскрытіе истины, виновности, а обвиненіе, побѣда принципа. Людовикъ XVI и Карлъ I положили головы для торжества идеи революціонной и для спасенія самой революціи; обстоятельства Англіи и Франціи сверхъ фанатизма привели къ трагической катастрофѣ. Не гораздо ли страннѣе и гнуснѣе видѣть, какъ въ монархіяхъ въ спокойное время, когда ничего не боятся, судятъ исключительными судами и инквизиторскими порядками не тоѣмо политическихъ преступниковъ, но людей неосторожныхъ, авторовъ эпиграммы или остроты за чашей вина. Зачѣмъ всегда указывать на бурное время, когда въ штиль, безъ нужды, дѣлаютъ тоже. Да, жалостно прощаніе Карла I съ дѣтьми. А развѣ всѣ погибающіе въ Шпильбергѣ, Сибири, Бобруйскѣ, Динабургѣ, Петро-Павловской крѣпости бездѣтны? Да можетъ они и не прощались съ ними; да можетъ ихъ дѣти пошли по міру. Люди до сихъ поръ

не могут повѣрить, что они не токмо передъ Богомъ, но и передъ людьми равны

— Перечитывалъ наши письма 1835—36 годовъ. Хороши всѣ эти и звуки, и пѣсни любви, какъ давно не слыханная національная пѣсня, а ужъ сколько прожнто съ тѣхъ поръ! Эта восторженная любовь, полная юности и романтизма перешла въ иную форму, болѣе истинную и дѣйствительную, но не такъ радужно и ярко свѣтлую. Читая, наворачивается улыбка, переносишься въ тѣ времена, завидуешь имъ и чувствуешь, что теперь совершеннолѣтіе. Эти шаги въ совершеннолѣтіе считаются потерями душами нѣжными. Трезвый взглядъ очень труденъ, также какъ консеквентность своимъ началамъ. И истинно тяжело тому, кого судьба наградила страшной логикой и когда у него нѣтъ недвижимаго имѣнія — куда онъ не пускаетъ мысль.

9. — *Histoire de la Contre-Révolution en Angleterre* par Ar. Carrel. XVI вѣкъ началъ, въ границахъ реформаціи, эмансипацію Европы отъ христіанства; нельзя было міру феодальному и католическому безъ боя уступить тѣмъ болѣе, что и сами реформаторы и всѣ секты противопапскія, кромѣ малыхъ исключеній, не отдѣлались отъ феодализма. Распутный Карлъ II и отвратительно ограниченный Яковъ II были органами этаго прошедшаго, ищущаго себѣ мѣсто въ мірѣ, явно отрекшемся отъ него. Разница притѣсненій и ужасовъ Якова съ нашимъ состояніемъ огромная; тамъ есть партія за него, у насъ только повиновеніе изъ невѣжества и выгоды. У насъ власть не имѣетъ партіи *propre sic dictum*. Абсолютизмъ въ Европѣ хотѣлъ обоготворить историческое начало монархической власти, у насъ императорство одной стороной въ противоположность съ исторіей, оно эмансипа-

ціонно по петровському елементу и притѣснительно во имя силы, на которую опирается, во имя грубой, матеріальной силы. Яковъ II прямо боролся и съ нимъ боролись, тамъ были права на борьбу, ему богъ знаетъ какихъ трудовъ стоило сдѣлать судебную власть подлою, у насъ понятія нѣтъ о правѣ виѣ произвола. Тамъ насиліе, революція, абнормальность—у насъ обыкновенный порядокъ дѣлъ, оттого тамъ человѣкъ шелъ на плаху невинно, но могъ высказать это; у насъ молча, не то казнили бы его, у насъ не усомнились бы въ томъ, что онъ казненъ по праву. Карель замѣчаетъ, что республика была невозможна для Англіи при ея раздѣленіи на классы — безсомнѣнно. Оттого-то и во Франціи не провозглашаютъ республики. Государство раздѣленное должно имѣть центръ, связующій его—государь; иначе будетъ охлократія или *régime de terreur*. Самая власть Кромвеля опиралась на консервативные интересы одного класса, такъ какъ власть Людовика Филиппа.

10.— Феодальный бытъ и управленіе развились органически изъ элементовъ народныхъ и историческихъ и развились во всей силѣ и красѣ съ чрезвычайной многосторонностію и послѣдовательностію. Въ немъ и имъ развиты католицизмъ и рыцарство, романтизмъ и общины. Но стремительно развивающійся духъ Европы, въ нѣсколько вѣковъ *изжилъ* романтично-феодальное содержаніе, остались формы да и тѣ должны были ждать видоизмѣненій — часъ христіано-германскаго міра наступалъ; онъ дѣлался тѣсенъ для вновь развивавшихся идей—революція за революціей начинаютъ съ XV столѣтія громить феодальное *statu quo*. Реформація начала освобожденіе отъ католицизма и вмѣстѣ съ тѣмъ отъ христіанства; считаютъ послѣ реформаціи одну полити-



ческую революцію, состоящую въ освобожденіи народовъ отъ власти, пріобрѣтеніе правъ и пр., но параллельно съ нею шла другая революція, ниспровергавшая съ другаго конца все феодальное устройство — развитіе центральной власти, абсолютизма; абсолютизмъ, для покрытія своей новизны, революціонности назвалъ себя историческимъ, повелъ свое начало отъ временъ до-историческихъ; но это чистая ложь. Абсолютизмъ центральной власти относительно феодальнаго устройства также революціоненъ, какъ либерализмъ и политическій характеръ деспотизма Людовика XIV не имѣетъ той религіозной связи съ народомъ, съ государствомъ, какъ власть королей въ средніе вѣка.

— Послѣ Вестфальскаго міра разработался новый элементъ, сдѣлавшійся преобладающимъ до французской революціи — это дипломатія и политика, основаніемъ ихъ эгоизмъ и плутовство, все дѣлалось какъ у игроковъ съ подтасованными картами; народный голосъ становился не нуженъ, самый голосъ чести, сильный въ средніе вѣка — умолкъ. Народы управлялись дворами. Тамъ гнѣздились торгаши народной крови и благосостоянія, дѣлили земли, присоединяли чужое, отчуждали свое полицейскими распоряженіями, поддерживая ихъ въ случаѣ нужды арміями. Постоянныя арміи (учрежденіе анти-феодальное) сдѣлались величайшей опорой централизаціи и всѣхъ увеличеній королевской власти. Но разъединенная съ народомъ власть эта становилась болѣе и болѣе оскорбительною и должна была, пройдя грязнымъ періодомъ публичной безнравственности и разврата, пасть если не вездѣ фактически, то вездѣ во мнѣніи. Миновало съ дипломатіей и дворами то величавое, виднѣвшееся на челѣ царей среднихъ вѣковъ, о чемъ Шекспиръ такъ прекрасно сказалъ: „и океанъ не

смоетъ слезъ съ чела моего," цари окруженные непреклонными, гордыми герцогами и вассалами, тогда они были необходимы и въ нихъ вѣровали и они вѣровали въ себя (какія бы индивидуальныя отступленія ни были). Рыцари стали дворовыми людьми, челядью королей. Обманъ и ложь считались не пороками для власти; а рядомъ, реформація подталкивала дѣтскія вѣрованія; уму, мысли дано было уваженіе. Французская революція является совершенно послѣдовательнымъ вторымъ отрицаніемъ феодализма. Центральная власть отеклась отъ народа и аристократовъ, оставя божественность короля въ пользу его. Французская революція была тѣмъ же дѣйствіемъ со стороны массъ, она доказала небожественность власти и замкнула приготовительную эру перехода въ новый міръ. Въ наше время, фактически, по старой памяти, многое стоитъ, но дряхлое, оглуѣвшее, какъ Талейранъ, въ послѣдніе годы, представитель этаго былаго. Плутство въ дипломатіи осталось мерзкой привычкой—оно невозможно. Это изнашивание формъ нѣкогда прекрасныхъ, есть признакъ сильной жизни; это, говоря языкомъ философіи, та великая трансценденція *der übergreifen den Subjectivität* человѣчества, изъ которой состоитъ исторія. Народы, слабые внутренними началами, бѣдные жизнію и мыслию, какъ Китай, Персія,—вѣка живутъ подъ одной формой и имъ она довлѣетъ.

11. — XVIII вѣкъ начался въ мракѣ страшныхъ событий, которыми окончивался христіанскій міръ. Людовикъ XIV давилъ полстолѣтія почти всю Европу, онъ уже совершилъ отрицаніе былаго безсознательно и былъ просто деспотъ, тиранъ. Его называли великимъ, потому что современники его, за исключеніемъ Вильгельма III, были малы и низки. Читая объ немъ, мѣришь наглазно,

сколько мы подвинулись; для Европы теперь все это невозможно, у насъ хотя возможно, но уже дико. Гоненіе гугенотовъ, уничтоженіе цѣлыхъ городовъ, обманы и пронырство въ сношеніяхъ съ союзниками—это величіе. Хороша и Германія того вѣка. Однѣ Англія и Голландія искупали тогда человѣчество и ими успокоивается взглядъ, останавливаясь на Вильгельмѣ III. Англія велика своимъ предвореніемъ въ политическомъ воспитаніи всѣхъ народовъ. Около Людовика составила атмосферу подлости, все въ ней было подло: Боссюэтъ и Кольберъ, литература и церковь, войско и парламентъ, все были лакеи; едва кое гдѣ вырѣзывается, величественная въ своей простой красотѣ, фигура Фенелона. Вильгельмъ III былъ не тори и не вигъ, Наполеонъ еще болѣе былъ внѣ всѣхъ партій. Въ этомъ свидѣтельство ихъ превосходства надъ современниками; они глядѣли обширнѣе, они вышли изъ пробитыхъ полей на свѣжую дорогу. Сверхъ того, въ этомъ глубокой тактъ дѣйствительности. Партіи сердятся на такихъ людей, они кажутся измѣнниками съ обѣихъ сторонъ, чаще всего они бываютъ правѣе обѣихъ сторонъ, и именно потому не могутъ принять à сѣигъ всѣ увлеченія которойнибудь. Есть другаго рода люди, которые потому не принадлежатъ къ партіи, что имъ это не серьезно, что они ниже всеобщихъ интересовъ напр. Талейранъ, или гнусно, алчны и подчиняютъ подлому расчету интересы общіе, напр. Фушѣ. Но мы говоримъ объ истинныхъ дѣятеляхъ въ исторіи. Имѣть свою теорію, свои твердыя, однажды оконченныя стремленія и цѣли—также негодно въ политической дѣятельности какъ въ наукѣ. Кромвель говорилъ: „въ переворотѣ всѣхъ дальше уйдетъ тотъ, кто не знаетъ, куда идетъ.“ Онъ на себѣ доказалъ истину этихъ словъ. Само собою разумѣется, что есть

краеугольные начала, общія тенденціи очень сознательныя и очень сознанныя, но лишь бы не было требованія осуществить ихъ по субъективному мнѣнію; надобно дать волю обстоятельствамъ и выразумѣвъ ихъ указаніе стать во главѣ ихъ, покоряясь имъ—покорить ихъ себѣ; это принесеніе на жертву мнѣнія, не говоря о прочемъ, совершенно законно уже потому, что я смотрю на предметъ съ извѣстной точки, а событіе, развивая его, развиваетъ вслѣдствіе всѣхъ сторонъ. Самый трогательный примѣръ вреда отъ настроеній—Лафайетъ. Это идеализмъ въ политикѣ. Человѣкъ жизни идетъ до конца, до послѣднихъ слѣдствій. Человѣкъ рефлексіи и теорій не идетъ дальше грани поставленной имъ самимъ и тутъ всегда, при благопріятнѣйшемъ стремленіи, при безусловной чистотѣ, при талантѣ, онъ тормозитъ ходъ происшествій, а такъ какъ гора крута, его расшибаетъ какъ Жиронду. Ни Робеспьеръ, ни Наполеонъ не могли имѣть предварительно опредѣленнаго плана дѣйствія; они были живые органы, отдавшіеся событіямъ, участникамъ и развивателямъ ихъ, и, на оборотъ, развивались ими. Наполеонъ разъ въ жизни былъ съ *aggrège pensée* противоположной духу обстоятельствъ, онъ по собственнымъ словамъ его понялъ, что надобно надѣть республиканскую шапку, а вмѣсто ее онъ надѣлъ токъ съ перьями Карла Великаго. Ватерлоо было отвѣтомъ на эту ошибку. Но не легко уразумѣть, сродниться съ своимъ временемъ такъ, чтобъ понимать его, слѣдить за нимъ, забѣгать и не потерять ни своего, ни того, что видоизмѣняетъ его. Послѣ легко обсуживать ошибки, событія прошедшія, какъ трупъ разсѣченный ясно показываетъ гдѣ причина смерти; но когда они живы одному острому глазу доступно внутреннее строеніе, изъ за цвѣта и пара страстей и односторонности.

13. — Нѣтъ скорбиѣ и грустиѣ чувства какъ несчастно вѣрный взглядъ на вещи, снимающій съ нихъ наружный покровъ, удовлетворяющій другихъ въ томъ случаѣ, когда не только нѣтъ возможности дѣйствовать на вещи, но даже нѣтъ средства показать другимъ, что они заблуждаются. Это особое положеніе, невѣріе въ то, чему вѣрятъ другіе; неразрывная съ ними, горькая иронія и досада даютъ душу живую и раскрытую. Взглядъ этотъ отъ общаго переходитъ къ лицамъ и тутъ еще хуже; онъ безжалостно вскрываетъ ихъ, указываетъ неподложныя точки помѣшательства ихъ, къ которымъ они приросли и становится больно за современнаго человѣка. Какъ мало цѣлыхъ, трезвыхъ натуръ! Иной я трезвѣе другихъ разумомъ, эстетическимъ чувствомъ, да характера ни на грошъ. Не признакъ ли это несовершенности?

Читаю *Von der esthetischen Erziehung der Menschheit* Шиллера. Великое и пророческое твореніе; оно, какъ Лессингово воспитаніе человѣчества, предупредило многихъ свое время. Шиллеру не отдавали въ послѣднее время достодолжнаго; письма эти писаны въ 1795 или около, тогда едва начиналъ писать Шеллингъ. Шиллеръ пошелъ съ точки зрѣнія Канта; какіе сочные, жизненно-прекрасные плоды—онъ далеко перешелъ взглядъ критической школы. Тутъ, какъ въ нѣкоторыхъ страницахъ Гёте, первые аккорды, поэтическіе и звучные, новой науки. (Фихте онъ изучалъ, ссылается на него.)

16. — *Schlosser, Geschichte der XVIII Jahrhunderts*. Великій XVIII вѣкъ начался съ такой же крайности, какъ кончился; но вовсе въ противоположномъ смыслѣ. Самодержавіе, достигнувшее политическаго развитія, взяло на себя показать немнящимъ массамъ всю нечеловѣч-

ность свою, оно обезумѣло и въ какомъ то буйномъ опьяненіи, по горло въ крови, развратное и наглое, показало, что можно ждать отъ нелѣпаго переноса всѣхъ правъ на одно лицо, которому нѣтъ преградъ. Оно раззорило народы, не умѣя защитить ихъ, оно поглотило несмѣтныя богатства, не сдѣлавъ улучшеній, оно пировало плахой и цѣпами, останавливая голодный крикъ страждущей толпы. Толпа заслуживала такого воспитанія. Что можетъ лучше характеризовать этотъ періодъ, какъ война за испанское престолонаслѣдіе и потомъ за австрійское. Около десяти лѣтъ Европа облита кровью, государства раззорены, города уничтожены, арміи погублены — изъ чего? гдѣ интересы бойцовъ? изъ того, чтобъ втѣснить народу полубезумнаго меланхолика, чуждаго по правамъ и по происхожденію, въ короли, насколько не заботясь, хочетъ ли его или нѣтъ народъ. Чтобъ увѣнчать тупость подобной войны, судьба спутила, призвавъ его соперника — лице столь же ничтожное — смертью брата, на другой тронъ. Съ какою наглостью дѣлать и передѣливаютъ кровавые куски испанской монархіи; какое право, какой смыслъ? Идея законности наслѣдія одна выдвигается впередъ, это неблагородный бой у гроба о достояніи покойника, милліоны людей составляютъ это достояніе, а съ ними обращаются какъ съ стадами. Вотъ къ чему пришелъ христіанскій міръ, вѣчно стремившійся къ недостижаемому идеалу, невозможному и мечтательному. А массы — массы смотрѣли, оцѣпенѣлыя отъ ужаса, и не могли въ себѣ побѣдить застарѣлую болѣзнь ума, привязывавшую ихъ къ династіямъ. Жалкая Германія выпила всю горечь позора и бѣдствій, ея династы валялись въ грязи, нанимаясь къ Лудвигу XIV или императору, опозоренные, они утопали въ развратѣ и пили по каплѣ кровь глухихъ народовъ,

не умѣвшихъ даже негодовать. Династы занимались церемоніалами и дипломатіей, никогда не подумавши о томъ, что дѣлается у нихъ подъ ногами. Можетъ этотъ геше-шѣпзе пригодился для будущаго, растолкалъ народы, занесъ зародыши человѣческихъ идей въ косные классы—живой организмъ европейскій все перетворилъ и переработалъ—но изъ этаго нельзя ни іотой уменьшить печать позора абсолютической эпохи. И не умѣли видѣть народы возлѣ стоявшую Англію, возлѣ стоявшую Голландію; слѣпота несовершеннолѣтія, дѣтскаго взгляда только излечивается временемъ. Сѣверная война не лучше. Собственно цѣль, интересъ былъ у Петра I, и Петръ I тутъ, какъ Фридрихъ II послѣ, не принадлежитъ къ стаѣ самодержцевъ начала XVIII вѣка. Во первыхъ, они революціонеры, во вторыхъ, геніальные люди; они шли своей дорогой, во многомъ впадали въ ошибки, но имѣли интересы великіе, результаты до которыхъ достигли, гигантскіе. Петръ съ наружностью и съ духомъ полуварвара, но геніальный и незыблемый въ великомъ намѣреніи пріобщить къ человѣческому развитію заключенную страну свою, очень страненъ въ дикой грубости своей, возлѣ изнѣженныхъ и утонченныхъ Августовъ и С°. Человѣкъ, отрекшійся отъ всего блага страны своей, повраснѣвшій за нее и кровью водворявшій новый порядокъ, имѣетъ всегда что то революціонное, хотя и на тронѣ, и въ самомъ дѣлѣ въ немъ даже нѣтъ требованій на феодальное поклоненіе, на церемонность и проч. общую всѣмъ въ то время. Онъ схватилъ Европейизмъ въ Голландіи—лучшій источникъ того времени, онъ принадлежалъ новой Европѣ, вѣдрялъ ее какъ варваръ, но правительство втолкнулъ въ колею вовсе непохожую на Европейскихъ династовъ; хуже или лучше, навѣрное не такую. Матеріальный, поло-

жизельный гнетъ, не опирающійся на прошедшее, революціонный и тираническій, опережающій страну для того, чтобъ не давать ей развиваться вольно, а изъ подъ кнута, европеизмъ въ наружности и совершенное отсутствіе челоѡчности внутри—таковъ характеръ современный, идущій отъ Петра. Тѣмъ не менѣе, лице его велико въ этомъ вѣкѣ и мысль его велика, она еще не совсѣмъ исполнилась, но вѣроятно будетъ и ей осуществленіе. Петръ, какъ только почувствовалъ силу, замѣшался въ большую часть европейскихъ интригъ, принялъ участіе, подалъ голосъ, посылалъ войско, справедливо или нѣтъ, но Европа пріучилась къ имени Россіи, и Россія была втолкнута въ семью европейскихъ народовъ. Россія и Пруссія два свѣжіе элемента для развитія; Пруссія — королевство послѣ реформаціонное, ей въ основѣ не феодальная мысль, но нельзя не согласиться, что въ ея начальномъ развитіи ужасная прозаичность и ея геній — прозаикъ Фридрихъ II. Странно видѣть, какъ капральской палкой и мѣщанскимъ понятіемъ объ экономіи въ Пруссіи, кнутомъ и топоромъ въ Россіи вселяется гуманизмъ. Дурныя средства должны были отразиться въ результатахъ. Пруссія бездушна и *zu nüchtern*. Германія вообще, потративши всю силу на бой за религію, на тридцати-лѣтнюю войну, ниже всей Европы въ развитіи гуманности. Какъ согласить такую почву съ литературой, вскорѣ имѣвшей Лессинга, Гёте и Шиллера.

21. — Посѣщеніе Философова; оно мнѣ было дорого сверхъ личныхъ отношеній потому, что показываетъ жажду людей сообщаться, обновляться, передавать свое; сто верстъ скверной дороги и три дня, жертва, которую даромъ не дѣлаютъ, особенно люди, дѣлающіе это не отъ пустоты и скуки. Такія вещи иногда, если не ми-



рять, то укрощаютъ мою нелюбовь къ нашему обществу. Письмо отъ Огарева изъ *bagni di Lucca*—и хорошо. Главное въ немъ *не видать горизонта*. Ничего не можетъ быть страшнѣе, когда въ человѣкѣ виденъ горизонтъ—съ нимъ нѣтъ полной свободы, нѣтъ той безконечности симпатій.

23.—Въ началѣ XVIII столѣтія твердо и мощно стоитъ міръ христіано-самодержавный, феодально-монархическій. Внизу, безсознательная толпа за все страдаетъ и платитъ, вверху власть, *par la gráce de Dieu*, поддерживаемая дворянствомъ и войскомъ. Она не боится, да и гдѣ ея состоятельные враги, неужели нѣсколько литераторовъ? А между тѣмъ, червь гробовой уже точитъ этотъ міръ; страшное дуновение Англіи два раза освобожденной и наконецъ вышедшей лучшими умами изъ религіозной односторонности, взяло скептицизмомъ и разсудочнымъ движеніемъ на Францію и вызвало людей далеко ушедшихъ впередъ съ легкой руки англійской пропаганды—Монтескье, Вольтеръ etc. etc. Какъ слабъ былъ этотъ твердый существующій порядокъ! Его сила и мощь были призрачны; такъ сгнившій пѣнь стоитъ будто силенъ и здоровъ, сгнивши и превратившись въ землю внутри. Замѣчательно, что антихристіанская пропаганда развилась вмѣстѣ съ рядомъ либеральныхъ идей въ Англіи и Франціи въ аристократіи, которой сила только и зависѣла отъ того же феодально-религіознаго воззрѣнія, которое подрывалось. И возможно ли было мечтать, что послѣ этихъ ударовъ христіанство и феодализмъ еще живы. Толпы тогда были изъяты изъ движенія, но Руссо далъ иное направленіе развитію.

27. — Судьбы Германіи жалки и пошлы въ XVIII вѣкѣ. Ея аристократы все таки мѣщане, *cela n'est pas du comte il faut*, нѣтъ граціи, нѣтъ благородства. И отвратительные кретины царствующие, не занимаясь, раззоряя, уничтожая въ глупой роскоши свои народы, заставляють дивиться; откуда взялись цѣлыя поколѣнія дураковъ и мерзавцевъ на тронѣ и около и еще болѣе дивиться этой кошачьей живучести нѣмцевъ, которыхъ раззоряють, раззоряють и войной и всѣмъ на свѣтѣ, а они все съ голоду не мрутъ. Вотъ великіе результаты картофельной экономіи. Безнравственность въ Германіи доходила до высшаго предѣла, ни малѣйшей тѣни чловѣческаго достоинства. Крѣпости набиты арестантами, гоненія за религію, гоненія за стихи, гоненія за дерзкое слово объ министрѣ, все это тихо, безъ шума и народъ ничего. Были и въ другихъ земляхъ ужасы въ половинѣ XVIII вѣка напр. Англійскій парламентъ страшно наказалъ Шотландское возстаніе, но тамъ это абнормальность, а тутъ все это въ порядкѣ вещей. Ученые и духовенство первые клеветы власти. Французы, сгнетенные деспотизмомъ Людовика XIV, гнушались нѣмецкой подлостью. Во Франціи чувствуется вліяніе новаго духа въ каждомъ литературномъ произведеніи; тамъ читаешь, улыбаясь, видя, какъ эти люди пляшутъ на шагъ отъ пропасти, по другую сторону которой Франція обновляется. Въ Германіи нѣтъ ни одного луча свѣта, тамъ одинъ либераль Фридрихъ II, самодержавецъ Пруссіи.

—И какъ подумаешь, что едва 75 лѣтъ прошло, какъ Европа спала въ униженіи, едва пробуждаемая благовѣстомъ водворителей новаго міра и взглянешь на современное ея состояніе, далекое отъ достиженія, но тѣмъ не менѣе развитое потребностію, невольно благо-

говѣйный трепетъ уваженія къ человѣчеству обнимаетъ душу. Велика французская революція; она первая возвѣстила міру, удивленнымъ народамъ и царямъ, что міръ новый родился и старому нѣтъ мѣста.

30.— Блестящая, острая и аристократическая оппозиція Вольтера и общества Гольбаховъ не видала всего результата своихъ началъ; они думали разрушать старое въ извѣстномъ кругу, смѣлые въ отрицаньи, въ построеніи своей системы матеріализма, они держались вдали отъ массъ. Появленіе Руссо должно было поразить ихъ. Руссо былъ монтаньяръ между ними жирондистами. Руссо имѣлъ инныя симпатіи и другое провидѣніе. Ихъ идеаль была Англія, ее поставилъ цѣлью Монтескье, Руссо въ учрежденіяхъ Англіи видѣлъ также феодализмъ. Легкая и смѣлая въ словахъ, оппозиція приняла у Руссо характеръ плача и проклятія. Руссо мечталъ, хотя и превратно, о новомъ мірѣ; его поняли только въ революцію. Шлоссеръ говоритъ между прочимъ, что въ половинѣ XVIII вѣка добрые нѣмецкіе теологи еще толковали, подкрѣплясь ужасной начитанностію о томъ, кто писалъ заповѣди Моисея, Богъ или Христосъ. Добрые нѣмцы!

31.— А въ 1770—80, Лессингъ и Базедовъ были въ полномъ цвѣтѣ, въ полной дѣятельности, и огромная потребность свѣта обличилась въ Германіи, и наставало время Шиллеровыхъ драмъ, поэмъ Гёте, Гердеръ уже писалъ.

—Противодѣйствіе галломаніи было безсомнѣнно полезно; но эпоха галломаніи была весьма необходима, чтобъ очеловѣчить нѣмцевъ.

Удивительное развитіе; гдѣ и какъ прозябали заро-

дыши, распустившіеся вдругъ, откуда столько силъ у Германіи, изнуренной войнами? Какъ просвѣщеніе конулось массъ въ столь короткое время?

## АВГУСТЪ МѢСЯЦЪ

8. — На дняхъ исполнилъ давнишнее желаніе, ѣздилъ въ Васильевское. Послѣдній разъ я былъ тамъ 1830 года. По дорогѣ туда слышалъ вѣсть о іюльской революціи — и такъ 13 лѣтъ. Васильевское тѣсно связано съ ребячествомъ и отрочествомъ; съ 1842 всякое лѣто или черезъ лѣто я проводилъ тамъ мѣсяцы. Въ Москвѣ ученье, товарищи, дѣтская суета; въ Васильевское я пріѣзжалъ будто бы для отдыха, для отчета и потому память объ этомъ мѣстѣ вплетена во всѣ воспоминанія. У меня пробѣжало какое то странное чувство, когда я увидѣлъ и узналъ давно знакомыя мѣста, мнѣ хотѣлось и смѣяться, и заплакать. И помимо всего прелестное мѣсто. Жаль, что оно продано. Я понимаю аристократическое чувство привязанности къ обладанію мѣстомъ. Разныя фазы жизни живо промелькнули: вотъ дерево, гдѣ я сидѣлъ ребенкомъ, вотъ дорога, по которой юношей я хаживалъ къ сельской красавицѣ и тратилъ на легкую интригу огромную энергію, неопѣненную разумѣется. Встрѣтилъ горбатую работницу священника, которая во время оно была уже лѣтъ семидесяти; одинъ мужикъ узналъ меня. Та же рѣка, гористые берега, обширные виды, мнѣ жаль было ѣхать, я только при этой рѣкѣ, при этихъ липовыхъ аллеяхъ могу ярко перенестись въ тѣ времена, когда вся жизнь лежала впереди и на душѣ все было пестро и зелено.

— *Omnia idola constanti et solenni decreto sunt abneganda et renuntianda et Intellectus ab iis omnino liberandus est et expurgandus, ut non alius fere sit aditus ad regnum Hominis, quod fundatur in scientiis, quam ad regnum Coelorum, in quod nisi sub persona infantis intrare non datur.*—  
*Baco ab Veritas.*

Метода Бекона *вовсе не* эмпирія въ томъ смыслѣ, въ которомъ поняли ее нѣкоторые изъ французскихъ и англійскихъ естествоиспытателей. Онъ за истину вѣденія и цѣль принималъ форму какъ всеобщее, какъ идею, но не абстрактную, а внутренно опредѣленную, онъ, возвышаясь къ всеобщности, искалъ единство.

16.— Былъ въ Москвѣ. Москва на меня наводитъ глубокое уныніе, я не могъ дождаться часа отъѣзда. Тоска отъ окружающаго и тоска отъ того, что былъ одинъ; я привыкъ, вжился въ мою маленькую семейную жизнь, мнѣ необходимы и слова Наташи и смѣхъ Саши. Потребность воротиться была мучительно сильна.

18.— Брошюра Фрауенштета о Шеллингѣ. Нѣтъ дѣла болѣе неблагоприятнаго, какъ то, что дѣлаетъ Шеллингъ: подготовка и прилаживаніе философскаго мышленія къ данному неподвижному, прошедшему воззрѣнію. Это схоластика и съ тѣмъ вмѣстѣ ложь. Сколько поэтическаго дара и остроумія истощено на объясненіе миеовъ и между тѣмъ объясненія эти оставляютъ какое то непріятное чувство; чувствуете, что все придумано послѣ. Положеніе Шеллинга понятно; понятно, какъ его платоническому духу болѣзненно видѣть негацию, одну негацию — но какъ понять, что онъ удовлетворился жалкими мистико-философскими, натянутыми и художественными воззрѣніями. Онъ начинается съ пантеизма

и приходитъ къ іуданизму, и этотъ іуданизмъ называетъ положительной философіей. По мѣрѣ того, какъ онъ развиваетъ свою положительную науку, становится тягостнѣе и неловче; чувствуешь, что его рѣшеніе не разрѣшаетъ, что все покрыто туманомъ, несвободно. Мало по малу онъ совершенно оставляетъ наукообразный путь и теряется въ самомъ эксцентрическомъ мистицизмѣ, объясняетъ сатану, чудеса, воскресеніе, сошествіе духа *au pied de la lettre*. Не вѣришь, что это писано въ XIX вѣкѣ, кажется это слова схоластика XIV вѣка, или теолога первыхъ лѣтъ реформаціи. Языкъ и воззрѣніе Бекона понятнѣе для насъ и современнѣе. Новое доказательство какъ германскій умъ всегда готовъ свихнуться въ область туманныхъ фантазій и тратить талантъ и геній на пустую работу, лишь бы внѣ практическихъ сферъ, лишь бы внѣ тѣхъ сферъ, въ которыя человѣкъ призванъ. А послѣ Канта могли бы идти путемъ трезвымъ. Впрочемъ Шеллингъ нанесъ ударъ страшный христіанству, его философія обличила наконецъ всю нелѣпость христіанской философіи, онъ своимъ именемъ, своей ссорой съ Гегелемъ, заставилъ обернуться на себя всю ученую Германію и подумать о своемъ бредѣ. Есть вещи, для которыхъ гласность, обличеніе, обслѣдованіе — смерть.

Шеллингъ сдѣлался вверхъ ногами поставленный Яковъ Бемъ. Тотъ, полный мистическаго созерцанія во всѣ стороны, восходилъ къ глубокому философскому воззрѣнію, Шеллингъ изъ глубокаго философскаго воззрѣнія опустился въ дѣтскій мистицизмъ. Бемъ, заключенный въ мистическую терминологію, живши въ началѣ XVII столѣтія, нашелъ твердость не останавливаться на буквѣ, имѣлъ мужество принимать страшныя консеквенціи для боязливой совѣсти того вѣка, онъ дѣй-

ствовалъ разумомъ и мистицизмъ окрилялъ его разумъ. У Шеллинга вездѣ видна покорность разума и устремленіе всѣхъ силъ подчиниться теизму и преданію—безъ истинно наивной вѣры. Простая вѣра не станетъ употреблять его Spitzfindigkeiten.

25.—Завтра утромъ ѣдемъ въ Москву. Меня душитъ тоска, ужъ не предчувствіе ли? Съ какимъ то отвращеніемъ ѣду я, мнѣ ужасно хотѣлось бы еще пожить въ Покровскомъ. Здѣсь тихо, вдали отъ людей, отъ сплетенъ, отъ гнусностей. Да и этотъ простой, добрый народъ я полюбилъ его и славный народъ—сколько надежды на эти умныя, развязныя, бойкія фizioноміи.

## СЕНТЯВРЬ МѢСЯЦЪ

9.—Съ 26 въ Москвѣ. Время суетъ, внѣшнихъ занятій, почти потерянное, если бы не было *занимательныхъ* эпизодовъ; наконецъ все успокоивается и я могу надѣяться на покой и мою обычную жизнь. Эпизодъ свадьбы страшенъ. И что за уродливое и вмѣстѣ высоко благородное, поражающее лице несчастнаго Е. И. Въ ту минуту когда вѣнчали, онъ убитый и оскорбленный читалъ молитвы объ нихъ. Онъ прислалъ образъ благословить ихъ. И откуда эта дѣвушка взяла столько коварной хитрости, чтобы обманывать всѣхъ—и уличенная, она не раскаялась, и пошла къ вѣнцу легко и свободно—осыпаемая горькими упреками. *L'une vaut l'autre*. Но мнѣ ихъ стало жаль, когда они стояли подъ вѣнцомъ

и священникъ влалъ страшные чары, изъ которыхъ имъ не выпутаться. А они думали кажется о постороннемъ, не зная что и зачѣмъ, а между тѣмъ, все придумали и устроили сами, во имя любви. То была обоюдная афера и оба ошиблись.

28. — Беконъ и Декартъ представляютъ генезисъ философіи какъ науки, безъ метода того и другого она никогда не развилась бы въ наукообразной формѣ. Яковъ Бемъ болѣе глубокой и мощной силой, гениальной интуиціей поднялся до величайшихъ истинъ, но это путь генія, путь индивидуальной мощи. Но генезисъ не есть еще сама философія. Ни признаніе факта Бекона не покорило ему вполне природу, ни идеализмъ Декарта не покорилъ ему духа. Сѣмя брошенное Декартомъ возросло въ Спинозѣ. Спиноза истинный и всесторонній отецъ новой философіи. Еgo, говоритъ онъ, *non presumo, me optimum invenisse Philos. sed verum me intelligere scio*. Это сознаніе почерпнуто изъ глубокаго созерцанія и оно истинно. Высота Спинозы поразительна. И какое полное жизни мышленіе. Онъ далъ основу, изъ которой могла развиться германская философія, одна сторона была имъ исчерпнута (духъ какъ субстанція) и онъ первый не взялъ ничего внѣшняго, не прибѣгнулъ къ религіознымъ или традиціоннымъ средствамъ. Спиноза былъ врагъ формализма, не смотря на схоластическія формы, въ которыхъ излагаетъ свое ученіе, это недостатокъ вѣка. Напримѣръ, требованіе доказательствъ искусственныхъ не ясное, само по себѣ ему противно.

И не мудрено, онъ мышленіе почиталъ высшимъ актомъ любви, цѣлью духа, его жизнью. Не говоря о цѣломъ ученіи его, замѣчу, какія молніи генія безпрестанно прорываются у него напр. *Homo liber de nulla re*



minus quam de morte cogitat et ejus sapientia non mortis sed vitæ meditatio est.... Beatitudo non est virtutis premium, sed ipse virtus. Его взглядъ на временное sub specie eternitatis, всецѣлость разнообразія вѣчно живетъ въ его разумѣ, оставляетъ далеко за нимъ его предшественниковъ. Для него мышленіе было дѣломъ высоко религіознымъ и чисто нравственнымъ. А какъ его принялъ вѣкъ? и должно ли дивиться этому намъ—онъ умеръ въ 1677 году.

22. — Споръ о дуэли. Что значить отсутствіе всеобъемлющихъ, религіозныхъ убѣжденій: каждый человѣкъ по своему принимаетъ за путеводную нравственность остатки старыхъ убѣжденій, начатіе новыхъ и все это существуетъ въ хаотическомъ безпорядкѣ. Старый міръ имѣетъ сильные корни въ нашей душѣ и не смотря на то, что его характеръ во всемъ аристократиченъ, монашественъ, противуестественъ, бездна его самыхъ существенныхъ мнѣній перешла въ нашъ вѣкъ, развивающійся подъ знаменемъ демократіи, реальности и самозаконности разума.

Кто осмѣлится говорить противъ дуэли, противъ щепетильной дворянской чести и point d'honneur, а между тѣмъ нелѣпость дуэли очевидна. Человѣкъ смѣлѣе дотронулся рукою до Бога, до всего общаго, но до частнаго, личнаго не смѣетъ коснуться. Честь, честь — и никогда не дать себѣ отчета, что именно честно и что оскорбительно и какое удовлетвореніе какимъ образомъ исправляетъ. Дуэль есть смертная казнь, сопряженная съ опасностью палача, дуэль есть актъ дикой, кровавой мести, на которую не токъмо отдѣльное лицо, но и общество не имѣетъ никакого права. Феодальные вѣка доказали всю случайность содержанія чести, но тогда

личность должна была требовать безконечнаго признанія, иначе не развилось бы понятіе о достоинствѣ человека. А теперь! . . .

25.— Новость о покушеніи въ Польшѣ и другая въ *Journal des Débats* объ арестованіи 3000 человекъ. Мученическая страна! опять слѣдственная коммиссія, опять каторга, Сибирь. Грустно, тяжело грустно — страшное время и ничего впереди. Конечно пройдутъ вѣка... старая пѣсня, разумѣется такъ, но видѣть около, возлѣ и всю жизнь быть только страдательнымъ зрителемъ. Какую грудь, какія плечи надобно имѣть!

30.— XVIII вѣкъ имѣлъ что то революціонное въ костяхъ и мясѣ. Во имя абсолютизма, такіе люди какъ Помбаль, Аранда, пріобщали цѣлыя страны къ новому порядку идей. Или Струэнзе въ Даніи. Когда наступать время, духъ находитъ себѣ мѣсто въ самомъ вражескомъ станѣ. Теорія открытаго эгоизма и себякорыстія дали послѣдній ударъ христіано-феодалной нравственности. Отсутствіе нравственности—отличительный характеръ тогдашней политики. Фридрихъ и Екатерина равно не гнушались всѣми средствами.

Не говоря уже о раздѣленіи Польши, достаточно вспомнить все оскорбительное тиранство косвенныхъ налоговъ, перенятыхъ Фридрихомъ II у Франціи — но развитыхъ въ какой то грязно гнусной формѣ, до которой они никогда не достигали во Франціи. (Напримѣръ акцизъ на жженый кофе и пр.)

## ОКТАВРЬ МѢСЯЦЪ

6.—Schlosser приводитъ мѣсто, въ которомъ Рейнгольдъ, будучи юношей и ученикомъ іезуитовъ, писалъ къ отцу: «Ein so eifriger Christ, wie du, mein bester Papa, weiss beinahe so gut als ein Geistlicher, dass es heiligere Bruder giebt, als jene der sündhaften Natur, und dass ein Mensch, der dem Fleische abgestorben ist, eigentlich keinen andern Vater mehr haben könne, als den himmlischen, keine andere Mutter als seinen Orden, keine andere Verwandte als seine Brüder in Christ und kein anderes Vaterland, als den Himmel. Die Anhänglichkeit an Fleisch und Blut ist eine von den stärksten Ketten mit denen uns Satan fest an die Erde schmieden will. Писано 13 сентября 1773 г. Но за что же Шлоссеръ такъ негодуетъ на іезуитовъ при томъ и выставляетъ это мѣсто, какъ документъ превратнаго ученія. Да это просто логическая консеквенція христіанскаго ученія, начало этаго возрѣнія въ самомъ Евангеліи. Да они, сверхъ того, не истинны только по супранатуральному устремленію духа къ jenseits, возрѣніе это широко и глубоко человѣчественно. Безъ сомнѣнія естественныя связи ниже духовныхъ.

9.—3 сентября въ Аѳинахъ и движеніе въ Италіи. И такъ, югъ Европы не спитъ. Въ Италіи будутъ казни, въ Греціи богъ знаетъ что. Правительство Людвига Филиппа противъ — оно не хочетъ понять своего призванія въ борьбѣ двухъ началъ и укрѣпляетъ Парижъ. Безъ крови не развяжутъ эти узлы. Отходящее начало

судорожно выдерживаетъ свое мѣсто и, лишенное всякихъ чувствъ, готово всѣми человѣческими средствами отстаивать себя. А намъ, славянамъ предстоитъ молчаніе или слово внѣ отечества, какъ сказалъ Мицкевичъ, начиная нынѣшній курсъ свой. Но и вездѣ, несовершеннѣе поразительное; въ Англіи напр., радикалы хотятъ требовать, чтобъ не платящіе земледѣльцы владѣльцу земли наемной суммы были судимы и наказывались на общихъ установленіяхъ о долгахъ. Это они догадались въ 1843 году.

24. — Вчера проводили Кетчера въ Петербургъ—ему болѣе нежели кому либо нужны друзья и симпатическій кругъ, онъ только въ немъ и живетъ; въ Петербургѣ у него нѣтъ ни друзей, ни близкихъ. Такая жизнь ему будетъ тяжела; но собственно для его развитія, петербургская жизнь для него важная фаза. Москва располагаетъ къ квіетическому и мечтательному взгляду, онъ въ Москвѣ начиналъ принимать свой ріи и состарился бы въ немъ, тамъ взойдутъ новые элементы въ жизнь.

26. — Разговоръ съ П. В. Киреевскимъ. Ихъ воззрѣніе странно до поразительности, оно безъ сомнѣнія не изъято поэзіи, хотя односторонность очевидна. Религіозное воззрѣніе имѣетъ необходимо долю ложную, но ихъ воззрѣніе есть еще частно религіозное, именно греко-россійское христіанство: они отвергаютъ все западное христіанство; исторія какъ движеніе человѣчества къ освобожденію и себяпознанію, къ сознательному дѣянію для нихъ не существуетъ, ихъ взглядъ на исторію приближается къ взгляду скептицизма и матеріализма съ противоположной стороны. Вся жизнь человѣчества — болѣзненное, абнормальное явленіе. Въ этомъ есть сума-

шедшая консеквенція; принять грѣхопаденіе т. е. осуществленіе развитія, передъ ними должно ввести страшный безпорядокъ и перекувырнуть смыслъ исторіи. Они принимаютъ за истинную церковь, за единую дверь къ благодати, остальное все нечестиво, сбилось съ дороги etc. И съ тѣмъ вмѣстѣ признаютъ, что и греческая церковь подавлена, никуда не годна у насъ. Что же остается? И для кого искупленіе рода человѣческаго? Неужели христіанство въ началѣ имѣвшее 12 апостоловъ, черезъ 1800 лѣтъ оканчивается двумя или тремя лицами, знающими какую то подъ спудомъ хранящуюся истину въ церкви, живущей по ихъ сознанію во лжи? Дѣятельность и стремительное движеніе европейское — они называютъ мелочной хлопотливостью и находятъ единымъ идеаломъ квіетическое спокойствіе какой то созерцательной жизни на индійскій манеръ. Внутренній страхъ, что ихъ мысль не признана, дѣлаетъ ихъ фанатически нетерпимыми, въ нихъ, какъ во всѣхъ фанатикахъ недостаетъ любви. Они на западъ смотрятъ съ ненавистью. Это также пошло и нелѣпо какъ воображать, что все наше національное гнусно и отвратительно. Оттого что Руси общечеловѣческое начало начали прививать неестественно, насильственно, они ополчились противъ общечеловѣческой цивилизаціи Европы, считая ее однимъ блескомъ пустымъ и ложнымъ. Присутствуя при прививкѣ формъ, они проглядѣли, что долго на родной почвѣ въ этихъ формахъ обитала прекрасная сущность. Въ одномъ французскомъ водевилѣ кто то кричитъ: *Ma voiture, ma voiture, 50 fr. pour ma voiture!* Въ переложеніи на русскіе нравы того же водевиля, актеръ кричитъ: карету, карету или 50 палокъ! Виноватъ ли европеизмъ! Да, какъ тяжело отъ этаго искусственнаго періода. А за чѣмъ же мы представляли

нѣсколько вѣковъ стоячее болото. Да въ этой то стоячести вся прелесть созерцательной жизни. Противъ этого говорить нечего, разные критеріумы — надобно идти врозь или замолчать..... Петръ Киреевскій выражаетъ собою, въ числѣ самыхъ отчаянныхъ славянофиловъ, ультраславяниста; разумѣется, что при всемъ уродливомъ взглядѣ, онъ человѣкъ талантливый, восторженный и благородный, онъ можетъ во многомъ долженъ будетъ уступить брату — но далеко оставляетъ за собой многихъ одномышленниковъ. Съ своей точки зрѣнія они очень консеквентны. А опору точки зрѣнія не подвергаютъ анализу, даже минуютъ ее высказать. Это вѣрованіе и какъ вѣрованіе, имѣетъ корень въ субъективномъ чувствѣ. Киреевскіе послѣдовательнѣе Аксакова и Самарина; тѣ хотятъ на основаніяхъ современной науки, построить зданіе славяно-византійское, они по Гегелю доходятъ до православія и по западной наукѣ до отверженія западной исторіи; они принимаютъ прогрессъ, смотрятъ нашими глазами на будущность человечества, оттого у нихъ потеряна необходимая консеквентность. П. В. обращенъ на одно прошедшее Руси, онъ смотритъ на будущее безъ вѣры, народъ какъ индивидуальность, какъ случайная личность, носитъ въ груди возможность гибели, но прожитое имъ его руно, которое онъ стремится возстановить для Руси.

Пробѣжалъ IV томъ Кюстина. Безъ сомнѣнія, эта самая занимательная и умная книга, писанная о Россіи иностранцемъ. Есть ошибки, много поверхностнаго — но есть истинный талантъ путешественника, наблюдателя, глубокой взглядъ, умѣющій ловить на лету, умѣющій по нѣсколькимъ обращивамъ догадаться о массѣ. Всего лучше онъ схватилъ искусственность, поражающую на всякомъ шагу и хвостовство тѣми элементами европей-

ской жизни, которые только и есть у насъ для показа. Есть выраженія поразительной вѣрности: *un empire de façades.... la Russie est policée non civilisée....* и др., онъ глубоко подловилъ характеръ общества, описывая ironie и грусть его, подавленность и своеволие, онъ оцѣнилъ національный характеръ—это большое достоинство. Онъ успѣлъ въ грубой, дикой и рабствомъ искаженной физиономіи, разглядѣть черты высокихъ свойствъ, прекрасныхъ надеждъ и намековъ. Горько улыбаешься, читая, какъ на француза дѣйствовала безпредѣльная власть и ничтожность личности передъ нею; какъ онъ пряталъ свои бумаги, боялся фельдъегеря и т. д. Онъ проѣзжій, чужой чуть не ускакалъ отъ удущья—у насъ грудь крѣпче организована. Мы привыкаемъ жить какъ поселяне возлѣ огнедышащаго кратера. Ложь, притворство, связанность рѣчи въ обществѣ также не могли не броситься въ глаза французу. Теплое начало его души и добросовѣстность сдѣлали особенно важной эту книгу, она вовсе невраждебна Россіи, напротивъ, онъ богѣе съ любовью изучалъ насъ и любви не могъ не бичевать многого, что насъ бичуетъ. На Петра онъ смотрѣлъ съ точки зрѣнія славянофиловъ—судить слишкомъ рѣзко, во многомъ справедливо, но безъ глубокаго историческаго смысла; такія событія какъ Петровскій переворотъ должно брать шире и обще. Царствованіе Екатерины онъ назвалъ длинной комедіей, которой она обманывала Европу. Ловко и къ мѣсту припомнилъ онъ слово Александра М<sup>ме</sup> de Staël: *je ne suis qu'un heurteux accident pour la Russie.*

— Арестъ и незаконное взятіе француза Pernet сильно подѣйствовали на Кюстина, они наполнили его знакомымъ чувствомъ негодованія; но онъ не по русски, не затаилъ въ душѣ и слово и слезу, онъ далъ

волю своей рѣчи и къ концу онъ одушевляется и сильной рѣчью отбрасываетъ всю отвѣтственность народныхъ бѣдствій страны, населенной прекраснымъ племенемъ, правительству. Слова его язвятъ и попадаютъ мѣтко, онъ называетъ правительство *le mensonge couponné*. Полный грусти летитъ онъ за границу и въ Тильзитъ грудь его вздохнула свободно, гора свалилась съ плечъ. Онъ пріѣхалъ въ Россію съ *aggrègement* враждебной европейскому либерализму, а уѣхалъ примирившись. Онъ совѣтуетъ недовольнаго француза прислать посмотреть Россію для излѣченія. Тягостно вліяніе этой книги на русскаго, голова склоняется на грудь и руки опускаются; и тягостно отъ того, что чувствуешь страшную правду и досадно, что чужой дотронулся до больного мѣста и миришься съ нимъ за многое и болѣе всего за любовь къ народу.

29.—Вчера Fenella, которую видѣлъ и прежде, увлекла меня сильнѣе обыкновеннаго. Голандъ очень хорошій актеръ, не имѣя голоса, онъ игрой выкупаетъ многое. Бельгійцы съ представленія Фенеллы пошли на площадь. Парижане бѣсновались и съ колѣнопреклоненіемъ заставляли пѣть Марсельезу.

— Что ни говори записные музыканты, а *libretto*, а сама драма развиваемая въ оперѣ очень важное дѣло; тогда музыка дѣйствуетъ не отвлеченно, а захватываетъ вмѣстѣ съ драмой всего человѣка и дѣйствіе ее не ослаблено, а увеличено. *Libretto* Жидовки, Вильгельма Телля, Фенеллы — наши, современные. Есть мѣста въ Вильгельмѣ Теллѣ, при которыхъ кровь кипитъ, слезы на рѣсницахъ и между тѣмъ музыкой все это обнимается какою то примиряющей средой.



## НОВАБРЬ МѢСЯЦЪ

3. — Письмо изъ Ганау, и еще нѣсколько писемъ теплыхъ, симпатичныхъ, воскресающихъ много хорошаго изъ былого. Я всегда и вездѣ встрѣчалъ людей, готовыхъ любить.

4. — Die Kommunisten in der Schweiz. Wortlicher Abdruck des Kommissionalberichtes an die Regierung von Zürich. Первое что удивило въ этой книгѣ, это фамилія Бакунина, названнаго не тожмо въ числѣ комунистовъ, но упомянутый какъ одинъ изъ « venin ». Они были захвачены, слѣдовательно и онъ. Странная судьба этаго человѣка. Пока онъ былъ въ Россіи, этаго конца предсказать было нельзя. Jules Elysard указалъ великую перемѣну — его консеквентность не могла остановиться. Что съ нимъ будетъ? Комунистское движеніе въ Швейцаріи имѣло представителемъ своимъ Вейтлинга, прежде портнаго, потомъ энергическаго писателя и пропагандиста. Мѣста изъ его писаній, приведенныя комиссіей, краснорѣчивы и сильны. Распространеніе комунизма шло очень быстро между работниками швейцарскими и германскими. Начала ихъ извѣстны: Eine vollkommene Gesellschaft hat keine Regierung, sondern eine Verwaltung — организація работъ, равенство in facto, война собственности etc., etc. Много одушевленія; слова Вейтлинга иногда поднимаются до апостольской проповѣди, прекрасно опредѣляютъ они свое отношеніе къ либераламъ.

Есть нелѣпости (напримѣръ теорія воровства), но есть за то рѣзкая истина.

Болтовня де-Санглена имѣетъ свой интересъ какъ живая хроника за 50 послѣднихъ лѣтъ. Поверхностный и малообъемлющій умъ, но большая живость, своего рода острота и бездна фактовъ интересныхъ. Нѣкоторыя подробности о смерти Павла, множество анекдотовъ объ александровскихъ временахъ, которые онъ имѣлъ случай хорошо знать *en qualité* начальника тайной полиціи, о Барклаѣ (онъ былъ генераль-полицмейстеромъ первой арміи 1802). Конечно незавидное время была тогда, но какая разница. Что то гуманное, кроткое, хранившее благопристойность было въ правительствѣ. Нынче маска не считается нужной. Нѣтъ любви, нѣтъ связи съ народомъ. Безпощадность и деспотизмъ сдѣлался привычкой послѣдняго изъ полицейскихъ служителей равно какъ характеръ всего управленія.

— Недавно сѣкли инженерныхъ юнкеровъ, и потомъ на 6 лѣтъ въ солдаты за какую то дѣтскую шалость. Боже мой!

10. — Кетчерово письмо, проникнутое любовью и нѣжностью. Какъ въ немъ странно спаялись его демократическая угловатость, грубость внѣшняя съ дѣтскою нѣжностью и свѣжестью души. Онъ долго въ Петербургѣ не проживетъ.

Длинный и презанимательный разговоръ съ Самаринымъ. Онъ согласенъ, что ясно не можетъ развить логически свою мысль о имманентномъ сосуществованіи религіи съ наукой, что *das Aufheben* наукой оставляетъ церковь во всей ея дѣйствительности. Онъ согласенъ, что расторжимость человѣка, который мышленіемъ разрушаетъ то, что принимаетъ фантазіей и сердцемъ, съ

другой стороны, усыпляя мышление, снова даетъ мѣсто представленію, непримирима. Но они требуютъ это, хотя, etc.

— Требованіе это вмѣстѣ съ Славянизмомъ дѣлается религіей. Они говорятъ, что плодъ европейской жизни созрѣетъ въ славянскомъ мірѣ, что Европа, достигнувъ науки, негачія существующаго, наконецъ провѣдѣнія будущаго въ вопросахъ соціализма и коммунизма, совершила свое, и что славянскій міръ почва симпатическаго, органическаго развитія будущаго. Это мысль не токмо ихъ, но и западныхъ славянъ, на примѣръ Мицкевича; но у нашихъ важное различіе. У нихъ славянизмъ нераздѣленъ съ греческой религіей. Церковь одна — это наша церковь; они ждутъ, что католицизмъ и протестантизмъ равно признаетъ истинность ея и это самая отчаянная гипотеза изъ всѣхъ. Такое созерцаніе будущаго безъ сомнѣнія религія, и можетъ дойти до фанатизма.

Читалъ V томъ Кюстина. Книга эта дѣйствуетъ на меня какъ пытка, какъ камень приваленный къ груди, я не омотрю на его промахи, основа воззрѣнія вѣрна; и это страшное общество, и эта страна Россія. Его взглядъ оскорбительно много видитъ. Какъ вѣрно сказалъ онъ: *la pensée inutile s'envenime dan l'âme qu'elle empoisonne faute d'autre emploi*. Славянофилы, вѣря въ мечтаемую будущность, хотя и понимаютъ настоящее, но радуясь будущему, мирятся съ нимъ. Ихъ счастье!

16. — Замѣчательно, что Византійская архитектура, иконопись, церковная музыка и ваяніе, не имѣютъ въ смыслѣ художественномъ высокаго развитія. Съ одной стороны это подтверждаетъ мысль славянофиловъ, что восточная церковь чище и вѣрнѣе христіанству, съ

другой, свидѣтельствуешь объ несовмѣстимости христіанства со всякой живой сферой—такъ и съ искусствомъ. Католическая церковь, имѣвшая сама въ себѣ негацию и слѣдовательно развитіе, не могла не найти стила и высокаго развитія. Живопись была эмансипаціей изъ подъ власти исключительности религіозной. И въ этомъ великое достоинство католицизма, не понимаемое православными. Они не понимаютъ, что абстрактное, не-выходящее въ жизнь существованіе церкви, потому именно и чисто, (употребляя ихъ выраженіе), что оно отдѣлено отъ жизни; да въ этомъ собственно опредѣленъ недостатокъ а не достоинство. Вѣрность буквальная христіанству, должна была привести къ квіэтико-созерцательному повою и къ мертвой церкви съ пассивнымъ характеромъ. Католицизмъ есть само христіанство развивающееся; оно есть дѣйствительно христіанство, а востокъ eine schlechte Möglichkeit, ein incommensurables Problem. Восточная церковь, скажутъ теперь, когда католицизмъ изжилъ свои формы, явится какъ высшая религіозная форма и съ ней сочетаются идеи социализма и коммунизма. Да на чемъ же это основано? Во первыхъ, человѣчество не можетъ опредѣлиться въ религіозномъ отношеніи Византизмомъ, потому что Византизмъ не можетъ удовлетворить развитію самомышленія, возникшаго на развалинахъ католицизма; добросовѣстно никто не можетъ сказать, чтобы была адекватность между ученіемъ восточной церкви и требованіями духа времени. Мудрено ли послѣ этаго, что вся ея жизнь выражаетъ недѣйствительность ея. Она не признаетъ государства, а государство тѣснить ее, она ограничивается жизнью монастырской, постомъ и молитвой, а жизнь развивается возлѣ, внѣ ея вліянія, она считаетъ искусство чуждымъ себѣ, науку—игнорируетъ, все вре-

менное—давить. И всю жизнь была давима всѣмъ временнымъ и попираема.

24. — Вчера Грановскій началъ свои публичныя лекціи. Превосходно. Какой благородный, прекрасный языкъ, потому именно, что выражаетъ благородныя и прекрасныя мысли. Я очень доволенъ. Его лекціи въ самомъ дѣлѣ событіе, какъ говоритъ Чаадаевъ; слыханное ли дѣло, чтобъ на лекціи, безъ опытовъ физики или химіи сошлось множество людей, изъ которыхъ 50 заплатили за входъ по 50 рублей. И какъ современны они, какой камень въ голову узкимъ націоналистамъ. Писалъ сегодня статейку объ нихъ для *Москов. Вѣдом.* повезу ее завтра къ графу Строгонову—кажется не дурно. Множество дамъ; разумѣется онѣ не слушать ѣздятъ, а казать себя,—но все это хорошо и впрочемъ въ самомъ дѣлѣ есть желаніе интересовъ всеобщихъ.

А между тѣмъ дома опять тучи. Удивительная вещь, только что все успокоится, только покажется, что пришло время гармоніи, новый ударъ въ самую грудь напомнить всю наготу и ломкость. Саша очень боленъ. Страшные опыты меня сдѣлали почти трусомъ, и теперь именно, когда Наташа такъ ищетъ покой. Я вѣрю, почти убѣжденъ, что безъ чего нибудь новаго, болѣзнь его минуетъ благополучно; но у меня, т. е. у мужчины, и притомъ вовсе не нервнаго, сердце надрывается видѣть страданія ребенка. А она..... страшно! Для меня есть минуты еще больше горькія, нежели самые болѣзненные припадки коклюша, это когда въ промежуткѣ сильныхъ припадковъ онъ начинаетъ играть и говорить вздоръ; такъ видна тутъ слабость, какое то невыразимо тяжкое состояніе вызываетъ болѣзненный видъ

ребенка, безопасно играющего, не зная, что съ нимъ дѣлается и какія страданія его ждутъ черезъ минуту.

Что тутъ придумаетъ человѣчество? Чѣмъ укрѣпить оно себя отъ страшныхъ ударовъ случайности — тутъ страховыя общества не помогутъ; on a beau dire о мѣрѣ всеобщемъ, разумѣется человѣку, имѣющему широкіе интересы нѣсколько легче нежели сосредоточенному на одномъ личномъ и семейномъ, но легче не значитъ легко. Легко однимъ эгоистамъ, тѣ истинные цари жизни.

26. — Вчера возилъ графу Строгонову первую статью о лекціяхъ Грановскаго. Онъ согласился, чтобъ она была напечатана въ *Московск. Вѣд.*, но чтобъ имя Гегеля не было произнесено. Откуда эта гегелюфобія? Потомъ длинный разговоръ объ *Отеч. Зап.*, Бѣлинскомъ, Боткинѣ, етс., онъ знаетъ множество подробностей. Странно какое вниманіе обращено на меня и на всѣхъ. Предостереженія, совѣты. Въ графѣ Строгоновѣ бездна рыцарски-благороднаго. Длинный, замѣчательный разговоръ.

28. — Вчерашняя лекція Грановскаго была превосходна. Какое благородство языка, смѣлое, открытое изложеніе. Были минуты въ которыхъ его рѣчь подымалась до вдохновенія. Рѣчь шла о философіи исторіи; есть нѣкоторыя неясности, отъ которыхъ люди отдѣлываются словами, которымъ придаютъ какое то страшное по содержанію значеніе или себя увѣряютъ, что вопросъ уясненъ, а онъ только переведенъ на другой языкъ. Читая Гегеля и находясь весь еще подъ его самодержавной властью, я самъ въ многихъ случаяхъ разрѣшалъ логическими штуками или логической поэзіей не такъ то легко разрѣшимое. Съ такими вещами я

встрѣтился и у Грановскаго; онъ, не имѣя твердости сдѣлаться свирѣпымъ имманентомъ, (какъ выражается Хомяковъ) и удерживая своего рода идеализмъ, необходимо наталкивается на антиномію, которую приходится разрѣшать поэзіей, антропоморфизмомъ всеобщаго etc. Онъ прекрасно защитилъ философію въ обвиненіи, что она всегда за сильнаго, и объяснилъ намъ..... Словомъ, ничего подобнаго въ Москвѣ никогда не было читано всенародно. И публика была внимательна, даже увлечена. Статья моя объ его лекціяхъ напечатана вчера. Сюрпризъ удался вполнѣ, онъ и не подозрѣвалъ. Утромъ Коршъ ему прислалъ №; Грановскій былъ такъ тронутъ, что не могъ сразу все прочесть. Когда кончилась лекція, все порядочное въ аудиторіи съ восторгомъ изъявляло свою благодарность профессору. Это одинъ изъ лучшихъ дней въ жизни Грановскаго. И какъ счастлива, съ горящимъ лицомъ и со слезами на глазахъ сидѣла его жена. Публичныя чтенія удивительно заманчивы, кабы позволили. Статья сдѣлала эффектъ, всѣ довольны, славянофилы и яростные тоже довольны. Пора приниматься за вторую статью.

## ДЕКАВРЬ МѢСЯЦЪ

1. — Вчера Грановскаго встрѣтили страшными рукоплесканіями, онъ не ждалъ и смѣшался. Долго не могъ прійти въ себя. Лекціи его дѣлаютъ фуроръ; мода ли скука ли, чтобъ ни вело большинство въ аудиторію, польза очевидна, эти люди пріучаются слушать. Публич-

ныя чтенія пойдуть въ ходъ, *sui generis* публичность. Можно было бы радоваться и мечтать, еслибъ можно было забыть, что въ то же время розгами засѣваютъ до полусмерти юношей. А такое воспоминаніе представляетъ такими жалкими, такими ничтожными, всѣ наши усилія, дѣла.....

6. — Аненковъ и письмо изъ Петербурга. Бѣлинскій женился — кажется въ мірѣ нѣтъ человѣка менѣе способнаго къ семейной жизни, не смотря на то, что въ груди его гигантская способность любви и даже самоотверженія. Кетчеръ предлагаетъ пріѣхать — удивительный человѣкъ, сколько высокой любви помѣщается въ немъ и притомъ любви дѣятельной, готовой на пожертвованія; меня глубоко трогаетъ его дружба. Не северно ли, что мы все доброе и благородное считаемъ жертвой, какой то абнормальной натяжкой.

— Перечиталъ введеніе въ Гегелеву философію исторіи. Чѣмъ болѣе мы зрѣемъ, тѣмъ замѣтнѣе рѣшительный идеализмъ великаго замыкателя христіанства и Колумба для философіи и человѣчественность; что за странные два концентрическіе круга, которыми онъ опредѣляетъ духъ человѣчества: исторія — это поприще духа, одѣйствованіе его, его истина, его полное бытіе. Потомъ духъ самъ по себѣ, въ своей области, — эти круги то имѣютъ одинакій радіусъ и тогда одинъ кругъ, то радіусъ духа самаго по себѣ получаетъ какую то безконечную величину и тогда опять кругъ одинъ, а онъ въ обоихъ случаяхъ считаетъ два круга. Человѣчество знаетъ духъ такъ, какъ духъ себя знаетъ, во всемъ этомъ есть таутологическая бифуркація, затрудняющая смыслъ истины для того, чтобъ ее высказать глоссологіей вѣка.



11.— Неблагодарство славянофиль *Москвитянина* велико; они добровольные помощники жандармовъ. Они негодуютъ на Грановскаго за то, что онъ не читаетъ о Руси, (читая о среднихъ вѣкахъ въ Европѣ) не толкуетъ о православіи; негодуютъ, что онъ стоитъ со стороны западной науки, (когда восточной вовсе нѣтъ) и что будто бы мало говорить о христіанствѣ вообще. Все это было бы ихъ дѣло; но они кричатъ объ этомъ, такъ что и Филаретъ началъ толковать, хотятъ печатать въ *Москвитянинѣ*, что онъ читаетъ по Гегелю etc. Публика, дамы за него. Живое участіе къ его чтеніямъ растетъ, все это придаетъ хоть нѣсколько жизненности обществу; а между тѣмъ, того и смотри закроютъ лекціи. Главный характеръ нашего періода у насъ это хаосъ, анархія, толку не найдешь ни въ чемъ. Въ *Отеч. Зап.* напечатана моя IV статья почти вся. Я со всякимъ днемъ нахожу вѣроятнымъ, что надъ всѣми нами опять разразится громъ, а между тѣмъ истинно никто ничего не дѣлаетъ таковаго, чтобъ выходило изъ предѣловъ; полуслова, абстракціи. Что за жизнь!

17.— Вторую статью о лекціяхъ Грановскаго графъ Строгоновъ отказалъ помѣстить въ *Моск. Вѣдом.*— можетъ онъ правъ: боязнь крика, поповъ, доносовъ справедлива. Я долго былъ у него, разстались, кажется, довольные другъ другомъ; странный онъ человѣкъ, но я уважаю многое изъ его качествъ и безъ сомнѣнія, онъ очень важенъ для Московскаго университета а *partant de là* и для просвѣщенія всей Россіи. *Москвитянина* нѣтъ еще.

Доселѣ въ Петербургѣ говорятъ и говорятъ о страшномъ беззаконіи наказанія инженерныхъ юнкеровъ. Даже Петербургъ ужаснулся и смѣлъ показать негодованіе

на Клейнмихеля. Подробности этой исторіи поразительны: ни покрывала, ни стыда. Такими ударами они разбудятъ хоть кого. Ихъ друзья, кромѣ шпионовъ и отъявленныхъ мерзавцевъ, не могутъ переварить этаго. Да не сказка ли это изъ 1743 года. Вѣрить ли что въ 1843 г. она была??

21. — Вчера Грановскій публично съ кафедры оправдывался въ гнусныхъ обвиненіяхъ, расточаемыхъ Шевыревымъ и Погодинымъ и наконецъ напечатанныхъ въ *Москвитянинъ*. Окончивъ чтеніе онъ сказалъ: „Я считаю необходимымъ оправдаться передъ вами въ нѣкоторыхъ обвиненіяхъ на мой курсъ. Обвиняютъ что я пристрастенъ къ Западу; я взялся читать часть его исторіи, я это дѣлаю съ любовью и не вижу, почему мнѣ должно бы читать ее съ ненавистью. Западъ кровавымъ потомъ выработалъ свою исторію, плодъ ея намъ достается почти даромъ, какое же право не любить его? Еслибъ я взялся читать нашу исторію, я увѣренъ, что и въ нее принесъ бы ту же любовь. Далѣе меня обвиняютъ въ пристрастіи къ какимъ то системамъ; лучше было бы сказать, что я имѣю мои ученыя убѣжденія; да, я ихъ имѣю и только во имя ихъ, я явился на этой кафедрѣ, рассказывать голый рядъ событій и анекдотовъ не было моею цѣлью. Проникнуть ихъ мыслию“..... и тутъ еще нѣсколько словъ, которыя я не разобралъ. Громъ рукоплесканій и неистовое bravo, bravo окончило его рѣчь; съ невыразимымъ чувствомъ одушевленія былъ сдѣланъ этотъ аплодисментъ, проводившій Грановскаго до самыхъ дверей аудиторіи. На этотъ разъ публика была достойна профессора. И какая плюха доносчикамъ! Такія проявленія сколько они ни бѣдны, какъ они ни рѣдки—радуютъ. Глядя на гамъ и шумъ, у меня

сердце билось и кровь стучала въ голову, есть таки симпатіи. Можетъ послѣ этаго, власть наложить свою лапу, закроютъ курсъ — но дѣло сдѣлано, указанъ новый образъ дѣйствія университета на публику, указана возможность открыто, благородно защищаться передъ публикой въ обвиненіяхъ щекотливыхъ, и подтверждена возможность единодушной оцѣнки такого подвига, возможность возбудить симпатію.

— Что за великое дѣло публичность. Именно какъ Proudhon говоритъ, что работникамъ платятъ каждому отдѣльно, а не цѣнятъ новую силу происходящую изъ совокупности ихъ. Да, множество людей представляетъ не арифметическую сумму силъ ихъ, а несравненно сильнѣйшую мощь, происходящую отъ поглощенія ихъ въ едино, каждый сильнѣе всею мощью всѣхъ.

Читаю IV томъ L. Blanc. Какъ подлѣ и отвратительнѣе Лудвигъ Филиппъ и его правительство въ исторіи съ герцогиней Беррійской. Вотъ что значитъ отсутствіе того голоса въ сердцѣ, который громко вопіетъ противъ всего нечистаго, сальнаго. Не говоря о томъ, что воспользоваться беременностью женщины, чтобъ опозорить ее—подло, особенно когда (по ихъ же понятіямъ) эта женщина свое пятно бросаетъ и на идею королевской власти и на свою семью, которая есть семья Лудвига Филиппа, но и это можно бы простить; страшны средства употребленныя для доказательства. Ей, женщинѣ послать сказать, чтобъ она встала и прошла по комнатамъ для того, чтобъ ея животъ былъ виденъ, подписка, допросы въ самое время родовъ, восемнадцать свидѣтелей, пушечные выстрѣлы. Низко и грязно — къ тому же и несправедливо. Это только наше варварское понятіе о женщинѣ могло поставить въ важное обвиненіе женщинѣ, что она, будучи нѣсколько лѣтъ вдовою,

нашла себѣ друга, любовника, мужа. Вообще исторію этого времени читать грустно, все такъ мелко, пошло.... разумѣется прорываются громадныя дѣянія и громадныя характеры—но это исключеніе. Таковъ книгопродавецъ и типографъ Ботъ, въ первыхъ дняхъ іюльской революціи, отдѣльныя сцены въ исторіи Cloître de St-Mery, Rodde, идущій продавать афишку, рыцарь-демократъ Ар. Карель, итальянецъ Бонаротти, старецъ карбонаризма, великая, святая личность и огненная натура Маццини, и..... и вся бесполезность ихъ усилій. Это опять отбрасываетъ во всѣ ужасы скептицизма. На дняхъ пробѣжалъ я 1-й № *Европейца*. Статьи Ив. Киреевскаго удивительныя, онѣ предупредили современное направленіе въ самой Европѣ; какая здоровая, сильная голова, какой талантъ, слогъ..... и что вышло изъ него. Деспотизмъ его жалъ, жалъ и онъ сломился наконецъ. Сломился какъ благородная натура, онъ не измѣнилъ своему направленію, а бросился въ самый темный лѣсъ мистицизма—тамъ ищеть спасенія. Бѣдныя жертвы и великія жертвы, приносимыя молоху!

24. — Пріѣзжалъ Бѣляевъ изъ Вятки. Удивительно до чего безуміе и опьяненіе власти доходить; въ Вятской губерніи въ Нолинскомъ уѣздѣ крестьяне за ослушаніе чиновникамъ палаты государственныхъ имуществъ, были усмиряемы губернаторомъ вооруженной рукой; они стояли въ толпѣ и не дѣлали никакихъ насилій, ждали объясненія, въ нихъ стрѣляли картечью и 60 человекъ убито. Они бросились на колѣни и ихъ передрали плетями. Губернаторъ этотъ, знаменитый шпионъ Мардвиновъ, управлявшій нѣсколько лѣтъ III отдѣленіемъ—были мѣрами толь отеческими недовольны—и его повысили въ директоры одного изъ департаментовъ ми-

нистерства финансовъ. Вторая исторія въ 1842 году въ Казани, гдѣ, отнявши у мужиковъ картофель, велѣли его сѣять, потомъ освободили ихъ за деньги, потомъ опять велѣли сѣять. Выведенные изъ себя крестьяне взбунтовались и были усмиряемы пулями и тесаками—цѣлая семья бѣжала въ лѣса и мѣсяцы не смѣли возвратиться. Ктонибудь долженъ проснуться или правительство или народъ. О первомъ также трудно повѣрить какъ о другомъ, впрочемъ министръ Киселевъ проѣзжалъ по Космодемьянску, гдѣ была военно-судная коммиссія по этому дѣлу—и даже не озаботился спросить о немъ. И этотъ господинъ хочетъ быть Umwalzungsmann! Misère, misère! Разумѣется они могутъ быть стимуломъ, тѣми толчками въ лицо спящаго, отъ котораго тотъ вскочить, но быть великими дѣятелями для этаго надобно любовь къ идеѣ, любовь къ народу.

На генерала Киселева  
Не положу моихъ надеждъ,  
Онъ милъ — о томъ ни слова!

сказалъ Пушкинъ.

Съ 29 на 30, ночь..... Ни вѣры нѣтъ, ни надежды..... я себя какъ то ненавижу..... хотѣлось бы, чтобъ тутъ былъ Грановскій и вино хотѣлъ бы пить..... этаго не должно бы быть. Время тащится тихо, можетъ вопросъ нѣсколькихъ существованій рѣшается теперь. Тупая сила, глупая сила... Ну что же, смертный приговоръ или милость? — случай.

30.— Вечеръ. Въ часъ безъ 10 минутъ родился мальчикъ—доселѣ все счастливо, но я еще не смѣю, боюсь надѣяться. Страшные опыты проучили.

которое афишируетъ примиреніе науки съ религіей: религія въ основѣ." На это я сказалъ ему, что очень хорошо не принимать людей, толкующихъ о соглашеніи и примиреніи, потому что они лжецы и трусы. Примиренія нѣтъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ его понимаютъ, и наука не имѣетъ нужды ни въ мирѣ, ни въ войнѣ. Взаключеніе графъ сказалъ, что если онъ не успѣетъ другимъ образомъ, то готовъ или оставить свое управленіе или закрыть нѣсколько кафедръ, „вы вѣроятно съ другими назовете тогда меня варваромъ, вандаломъ.“ И опустилъ глаза и промолчалъ. Разговоръ сталъ слабѣть и скоро кончился. Не жаль ли, что эта доблестно-рыцарская натура падаетъ подъ нерѣшительностью?

— И какъ будто есть даѣ науки въ самомъ дѣлѣ. (Останавливать современную науку, значить убивать вообще развитіе науки и сводить преподаваніе на сухія, историческія, филологическія, естествознательныя, математическія свѣденія, не связанныя ни единою мыслью.

8. — Какъ шатко, страшно шатко все въ жизни кромѣ мысли, которая собственно уже и есть снятіе жизни индивидуальной, единственно полной. Какъ спокойны мы были, а сегодня опять страшный день, и едва теперь я нѣсколько сталъ спокойнѣе, а днемъ намучился и настрадался, особенно вечеромъ. Наташа сильно занемогла; вчера немного неосторожно понадѣялась она на свои силы и можетъ дорого еще заплатить за это, я боялся, что разовьется воспаленіе; но кажется еще нѣтъ, и не будетъ, сильные спазмы, боли нестерпимыя воспаленіе поставить на край гроба. Отъ этой мысли дѣлается какая то лихорадка. Теперь два часа, она спитъ, что то будетъ завтра. А мы послѣдніе дни были спуста рукава. Случай этотъ разразился такъ неожиданно

колѣна мои подгибались. Хорошо что Елизавета Богдановна у насъ, она облегчила меня; безъ близкаго человѣка страшно въ такія минуты, убійственно. Къ тому же я такъ неловокъ, когда ухаживаю за больными. Да мимо идетъ чаша сія!

11. — И прошла. А душа какъ корабль: что ни побѣжденная буря, то ближе къ разрушенію. Матросы становятся лучше, а дерево хуже.

Странная вещь: въ Börsenhalle—новость объ опредѣленіи бывшаго дерптскаго профессора Мадай къ Нассаускому герцогу, по рекомендаціи Великой Княгини Елены Павловны. Мадай это тотъ благородный профессоръ, который, послѣ дикой и отвратительной исторіи съ Ульманомъ и Бунге, напечаталъ спустя нѣкоторое время статью въ Allgemeine Zeitung обо всемъ дѣлѣ, изложилъ всю закулисную исторію драмы, грубое и несправедливое окончаніе ея отрѣшеніемъ Ульмана и Бунге, за принятіе однимъ Ständchen, и за то, что другой сказалъ, что нѣтъ закона, препятствующаго студентамъ такимъ образомъ изъяснять свою симпатію. Статью эту Мадай подписалъ. Ясное дѣло, что послѣ этаго онъ долженъ былъ оставить Дерптъ; не знаю, какъ сошло ему съ рукъ такъ легко, у насъ не очень смотрятъ на права иностранцевъ. Мадай всю гадкую часть интригующаго приписываетъ Уварову. Or donc, въ Börsenhalle написано, что Мадай опредѣленъ герцогомъ по рекомендаціи великой княгини, засвидѣтельствовавшей что Мадай прекрасный человѣкъ и оставилъ службу по личнымъ отношеніямъ съ министромъ просвѣщенія. Кто въ состояніи что нибудь понять въ этой галиматьѣ нашего управленія? Въ другихъ государствахъ какъ бы скверно правительство ни было, какіе бы раздоры вну-



три совѣта ни были, наружно министры держутся за одно, идутъ подъ однимъ знаменемъ, съ одною мыслью, которая есть съ тѣмъ вмѣстѣ мысль правительства. Примѣры такіе какъ недавно съ Олазагой или нѣкогда съ Фоксомъ, когда дѣло шло объ Индійской компаніи, и гдѣ король подкапывалъ министерство черезъ перовъ, рѣдкіи и ненормальны. У насъ напротивъ министерство не связуется никакою мыслью, въ немъ нѣтъ даже формальнаго единства, даже благопристойности. Меншиковъ отпускаетъ злыя колкости надъ Канкриннымъ, Клейнмихелемъ, etc., публично. Киселевъ идетъ своей дорогой, Перовскій — своей. Наконецъ члены императорской фамилии не считаютъ нужнымъ стоять за одно съ своей прислугой. Разумѣется голосъ великой княгини въ этомъ дѣлѣ благородное дѣло, честь ей. Уваровъ пользовался прежде ея расположеніемъ. Можетъ слетить, лучше ли это, хуже ли, какъ сказать? Онъ человѣкъ дрянный, мелкій и точный, а пользы надѣлалъ бездну. Строгоновъ благороденъ, рыцарь и тоже очень полезенъ округу, а сдѣлаютъ министромъ, не знаю что будетъ, и трудно сказать впередъ это или назадъ. Вотъ истинно вавилонское столпотвореніе!

14. — Крикъ и гамъ объ лекціяхъ Грановскаго. Онъ имѣлъ разговоръ съ гр. Строгоновымъ и онъ боится, а сначала такимъ жаркимъ защитникомъ былъ. Мейендорфъ милый типъ важной глупости — боится ѣздить. Страхъ замѣтно развивается.

18. — Наступилъ годъ мрачными днями, страшными страданіями, которыми я думалъ искупить все, и можетъ въ самомъ дѣлѣ искупилъ какую нибудь долю. Вѣчно довѣрчивый я думалъ, что все темное забыто;



но достаточно было воскреснуть въ памяти по поводу числа, миновавшимъ образамъ и мыслямъ, чтобъ снова повергнуть ее во всю безумную грусть. Какая доля слабымъ нервамъ и какая память оскорбленія! И что ей дѣлать, если нѣтъ силъ и средствъ забыть, примириться истинно, простить безслѣдно. Всякій разъ подобное неожиданно и разомъ выталкиваетъ меня изъ той сферы жизни, которая мнѣ свойственна, и я себѣ кажусь какъ то жалко гадокъ. Лишь бы не возвратились прошлогоднія сцены. Жизнь послѣдняго малютки, думалъ я, все уврачуется.

Самаринъ возвратился; онъ съ ужасомъ начинаетъ разглядывать невозможность удержаться на ихъ тонѣ ортодоксно-философскомъ. Благородное устройство его головы не дозволяетъ ему остановиться на формальномъ, внѣшнемъ сосуществованіи или лучше на юкстапозиціи. Его поразила въ Казани Лама, увѣренный, спокойный въ своей ортодоксіи. Но онъ грустенъ, процессъ совершается круто и я знаю по себѣ, какъ тяжело разставаться съ нѣкоторыми мечтами, хотя я въ нихъ и не такъ вжился какъ онъ. Недавно *Allgemeine Zeitung à propos de boules* цитировала удивительное мѣсто изъ Гёте объ Америкѣ (хотя оно и не вовсе къ ней идетъ).

Dich stört nicht im Innern  
Zu lebendiger Zeit,  
Unnützes Erinnern  
Und vergeblicher Streit.

Пора начать и человечеству забывать ненужное изъ былаго, то есть помнить о немъ какъ о быломъ, а не какъ о сущемъ.

Филаретъ поручилъ Голубинскому опровергнуть Гегеля; Голубинскій отвѣчалъ что ему не совладать съ

берлинскимъ великаномъ и что онъ не можетъ его безусловно отвергнуть. Филаретъ требовалъ, чтобъ онъ по крайней мѣрѣ противъ тѣхъ сторонъ возсталъ, съ которыми не согласенъ. Но Голубинскій опять отвѣчалъ тѣмъ, что онъ такъ послѣдователенъ, что можно или все отвергать или все принять. И такъ, кротъ провапываетъ и въ духовную академію. Строгоновъ совсѣмъ растерялся, ему хочется и свободу преподаванія и чтобъ оно не выходило изъ границъ имъ выдуманныхъ — онъ боится рѣзко принять ту или другую сторону и качается въ непріятномъ, ужасномъ положеніи. Имъ всѣмъ хотѣлось бы дать всѣ права науки на условіи, чтобъ она не пользовалась ни однимъ. Въ родѣ томъ, какъ Екатерина II сзывала депутатовъ или какъ испанскіе гранды снимали шляпу передъ королемъ, но онъ долженъ былъ всякій разъ остановить.

24.—Безпрерывные споры и разговоры съ славянами много способствовали съ прошлаго года, къ уясненію вопроса и добросовѣстность съ обѣихъ сторонъ сдѣлала большія уступки, образовавшія мнѣніе болѣе основательное нежели чистая мечтательность славянъ и гордое презрѣніе ультра-оксидентныхъ.

Gottes ist der Orient,  
Gottes ist der Occident.

Главная ошибка ихъ, что вѣря (и не безъ основанія) въ огромное будущее славянъ, какъ того племени, которое имѣетъ призваніе своею непосредственностію соответствовать высшему, логическо-историческому вопросу, выработанному Европой, они хотятъ и въ самомъ младенчествѣ его видѣть что то высшее европейскаго развитія, какъ будто возможность будущаго значитъ превосходство

Инадъ дѣствительностію развитою и осуществившей свое призваніе. Впрочемъ, я собираюсь объ этомъ писать цѣлую статью. Движеніе умственное, безпокойное, ищущее разрѣшеній, говорящее въ Москвѣ усиливается очевидно. Страшно думать что когда эту дѣятельность хорошенько разглядятъ, развѣятъ опять по лицу Россіи всѣхъ порядочныхъ людей.

25. — Терроръ. Какая то страшная туча собирается надъ головами людей, вышедшихъ изъ толпы. Страшно подумать; люди совершенно невинные, не имѣющіе ни практической прямой цѣли, не принадлежащіе ни къ какой ассоціаціи, могутъ быть уничтожены, раздавлены, казнены за какой то образъ мыслей, котораго они не знаютъ, который имѣть или не имѣть не состоитъ въ воли человѣка и который остановить они не могутъ.

Противники мысли объ экспатріаціи совѣтуютъ ѣхать по добру да по здорову. Строгоновъ испуганный преслѣдуетъ порядочныхъ профессоровъ требованіемъ иначе читать—они хотятъ бѣжать изъ Москвы, искать слушателей въ другихъ университетахъ. Что то будетъ? Ударъ не минуетъ моей головы, меня знаютъ они давно. Впрочемъ, я на все готовъ. А кажется въ самомъ дѣлѣ лучше бы ѣхать, только не тогда, когда другіе ждутъ цѣпей,—felonie!

## ФЕВРАЛЬ МѢСЯЦЪ

Письмо отъ Кетчера. — Булгаринъ писалъ къ князю Волконскому, что со времени его попечительства въ литературѣ показывается вредная тенденція, что *Отеч. Зап.* подрываютъ православіе, самодержавіе и народ-

ность, что должно назначить комиссію для разбора этого журнала, что онъ туда явится присяжнымъ доносителемъ и грозить Волконскому буде онъ не сдѣлаетъ никакихъ распоряженій, довести все это до свѣденія государя, черезъ прусскаго короля. Волконскій ничего не могъ сдѣлать противъ подлаго шпіона, цензуру стѣснили, тѣмъ пока и кончилось. И такъ, всего аристократическаго положенія, Волконскому недостаточно было, чтобъ подавить доносъ—это бросаетъ важный свѣтъ. Еще шагъ в *Отеч. Зап.* рухнули бы со всѣми участниками. Чѣмъ болѣе мерзости тѣмъ ближе къ концу, но въ данномъ случаѣ близкаго конца нигдѣ не видать. За ихъ покой, за ихъ жизнь въ будущемъ вѣкѣ, за ихъ праздность въ настоящемъ,—нѣтъ полной симпатіи къ славинамъ.

1 января въ Парижѣ, гдѣ теперь Гречъ, были во всѣ дома, куда онъ ѣздилъ, разосланы визитныя карточки: *N. de Gretch, mouchard de Sa Majesté russe*. Говорятъ въ *Presse* статья русскаго; онъ пишетъ о положеніи нашемъ относительно шпіонства, что не токмо въ Россіи, но въ Парижѣ русскій въ тысячу разъ болѣе откровененъ съ французомъ нежели съ соотечественникомъ, потому что изъ 800 русскихъ множество шпіоновъ, сообщающихъ всякое слово и малѣйшая неосторожность, т. е. не рабская скрытность—можетъ навлечь страшныя и едва вообразимыя для чужихъ краевъ гоненія. И такъ мы являемся позорнѣе и позорнѣе передъ Европой, покровъ за покровомъ падаетъ и вмѣсто сильнаго народа является колѣнопреклоненная толпа и палачъ. А славянофилъ за надежды, за возможности смотритъ съ пренебреженіемъ на европейцевъ, съ гордостью. Дѣтское заблужденіе. Въ этомъ, какъ и во многомъ, останутся рѣзкія преграды между нами.

3. — Чего и чего не случается въ жизни; за минуту нельзя предвидѣть какая новая нелѣпость случайности хватить въ голову. Вчера мы преспокойно сидѣли, смѣялись, вдругъ Саша зацѣпился за ножку трюмо и объ противоположную разсѣкъ глубоко себѣ лобъ, кровь полилась рѣкою; что дѣлать, какія мѣры, какъ велико поврежденіе, цѣла ли кость? Къ тому же слабость Наташи, ея страшный испугъ. Положили компрессъ изъ холодной воды съ уксусомъ, явная недостаточность этихъ средствъ, страхъ употребить другія. Я послалъ за Альфонскимъ и за Варвинскимъ. Онъ ушибся во второмъ часу, Альфонскій пріѣхалъ въ три, склеилъ рану и кажется все сойдетъ съ рукъ. Но что же это за страшное бытіе наше, безпрестанно и съ физической и съ нравственной стороны ждешь ударовъ или не ждешь, но поражаешься ими.

6. — Читаю письма Форстера, знаменитаго Майнцакаго депутата при конвентѣ 93 года. Удивительная натура, всесторонняя гуманность, пламенное желаніе практической дѣятельности, энергія его рѣзко отличаютъ отъ германцевъ того времени. Какъ въ его юношескихъ письмахъ все понятно и близко душѣ. Первый высокій человекъ, съ которымъ онъ встрѣтился, былъ Якоби; до того молодой Форстеръ, чрезвычайно рано развитый, ѣздилъ вокругъ свѣта, потомъ жилъ въ Лондонѣ и между людьми, которые не могли сильно дѣйствовать на него. Истинно глубокой симпатіи не могло быть между Якоби и Форстеромъ,—но какъ юношески ринулся онъ къ нему, какъ любилъ его горячо, подчинялся ему, принималъ религіозныя фикціи; онъ по преимуществу реалистъ. Когда вспомню какъ, переламывая тяжелую скуку я заставлялъ себя читать переписку Гёте съ Шиллеромъ,

гдѣ иногда проблескиваютъ мысли гениальныя, затеряныя въ филистерскія и гелертерскія подробности съ поглощающимъ интересомъ этихъ писемъ, становится странно. Жизнь полная выше гениальной односторонности.

Форстеръ никакъ не могъ ужиться съ жалкой жизнью нѣмецкихъ ученыхъ, онъ истинную симпатію нашелъ въ одномъ Лихтенбергѣ. Они были прямые продолжатели Лессинга. Тяжело было имъ жить въ совершенно не сочувствующемъ обществѣ, но какая широкая, ученая дѣятельность, академическая и съ какимъ уваженіемъ эта дѣятельность признана самимъ правительствомъ. Наше страшное состояніе имъ не было извѣстно, въ Европѣ всегда уважались лица, у насъ именно лицо (какъ въ Азіи) и считается за ничтожность.

А прогроз. Кіевскій генераль губернаторъ Бибииковъ донесъ на Рѣдкина *Юридическія Записки*, что въ нихъ была помѣщена статья о Литовскомъ статутѣ апологическая ему въ то время, какъ онъ замѣняется русскимъ законодательствомъ. Статьи эта напечатана года два. Министръ, Бенкендорфъ тотчасъ начали переписку, запросы, вопросы и, еслибъ не хотѣлъ того Строгоновъ, дѣло кончилось бы хуже замѣчанія. Въ то же время и черезъ того же Бибиикова, Маркевичъ сочинитель исторіи Малороссіи, съ нимъ 40 человекъ малороссовъ подали доносъ на Сенковского, что онъ оскорбительно отзывался о Малороссіи въ *Библіотекѣ для чтенія*, что онъ называлъ ихъ бѣглыми холопами польскими и для того, чтобъ доказать, что они не холопы и свободные люди, они подаютъ доносъ баринову управляющему нѣмцу — прося защитить народность. Истинно черезъ десять лѣтъ закроютъ III отдѣленіе собственной канцеляріи, потому что оно, а равно и шпіоны будутъ не нужны,



доносъ будетъ обыкновенное дѣло, знакъ преданности отечеству и государю—*acte de dévouement*. Не правъ ли К. Козловскій, говорившій Кюстину, что въ Россіи есть *des dilettanti de bassesse*. Въ прежнее время они скрывались, теперь, ободренные правительствомъ, они, поднявши голову и вытянувши уши, ходятъ между нами—и добрые щадятъ насъ еще, ибо въ ихъ рукахъ судьба насъ и нашихъ семействъ.

9. — Продолжаю читать Форстера. Удивительно полная, реальная, ясно и глубоко видящая натура. Его переписка начинается собственно съ 1778 года; вскорѣ знакомится онъ съ Якоби и подчиняется его вліянію, но долго онъ не могъ живую душу свою пеленать въ романтическую философію — и съ 1783 года настаетъ рѣшительная реакція и полное развитіе силъ и самосознанія и тутъ Форстеръ появляется лицомъ великимъ, достигающимъ колоссальности въ 1791, 92, 93 годахъ. Эпоха его переворота, отъ религіозныхъ мечтаній къ трезвому сознанію безконечно занимательна. Чѣмъ болѣе онъ отходитъ отъ мечтаній, тѣмъ ярче начинаетъ онъ понимать соціальное положеніе человѣка, тѣмъ глубже разумѣетъ жизнь и природу; ему нѣсколько тяжель сначала разлагающій скептицизмъ, но истина ему дороже всего и онъ тотчасъ мирится съ потерей, тотчасъ видитъ пользу и благо истины, хоть она не такъ лестра какъ ложь. Конечно по слову Пушкина:

Стократъ блаженъ кто преданъ вѣрѣ,  
Кто хладный умъ угомонивъ,  
Покоится въ сердечной нѣгѣ  
Какъ пьяный путникъ на ночлегѣ.

Но истинно благородная душа не можетъ довольствоваться благомъ, основанномъ на опьяненіи, купленномъ

цѣною свободы. Для суетной гордости, для поверхностнаго примиренія, разумѣется, религія выше науки, разума. Это Форстеръ прекрасно оцѣнилъ, она удовлетворяетъ страшно самолюбію, сближая человѣка съ Богомъ такъ, что садится торжественно въ центръ управленія міромъ и видитъ все сокровенное въ природѣ, и видитъ все подъ ногами своими. Отдѣлываясь отъ религіозныхъ бредней, съ другой стороны всесторонне гуманная натура Форстера не скрываетъ ни великаго развивательнаго свойства этихъ мечтаній, ни глубоко человѣческаго смысла вообще. Глядя въ Вѣнѣ на толпу модельщиковъ, колѣнопреклоненныхъ на улицѣ передъ церковью, въ которой продаютъ индульгенціи, Форстеръ видитъ не одно слѣпое и глупое, напротивъ «*der Mensch ist ein weichherziges Thier, Versöhnung und Frieden sucht er so gern und ist so froh wenn er sie erlangt zu haben glaubt!*». Отступая отъ искусственной экзальтаціи, обыкновенно сопутствующей аскетизмъ религіозный, Форстеръ начинаетъ тотчасъ давать мѣсто чувству и самой чувственности; слово наслажденіе уже не равнозначительно для него со словомъ порокъ, паденіе и пр. Напротивъ, логическая натура его указываетъ ему на другое, на признаніе страсти, на такой гармоническій бытъ, въ которомъ и страсть будетъ имѣть мѣсто, но уже не разрушительное. Онъ пишетъ къ Зёмерингу..... *ich bin sinnlicher wie du, und bin es mehr als jemals, seitdem ich der Schwermerei auf immer Adieu gesagt habe, dass es Thorheit sei um der ungewissen Zukunfts willen das sichere Gegenwärtige zu verschärzen..... ich werde nicht wieder glauben; dass wär der Süßigkeit angenehmer Empfindungen empfänglich gemacht worden sind, bloß um den Schmerz zu fühlen, sie aus selbst verfasst zu haben..... Empfinden war immer meine erste Wollust, Wissen nur die*



Zweite, und wie viel Ueberwindung es mich gekostet hat in der Zeiten der traurigen Schwärmerei und Bigotterie mein Gefühl zu kreuzigen, ist mir selbst in der Erinnerung entsetzlich.

—Поразительнѣе всего у Форстера необыкновенный тактъ пониманія жизни и дѣйствительности; онъ принадлежитъ къ тѣмъ рѣдкимъ практическимъ натурамъ, которыя равно далеки отъ идеализма какъ отъ животности. Нѣжнѣйшія движенія души понятны ему, но всѣ онѣ отражаются въ ясномъ, свѣтломъ взглядѣ. Этотъ ясный взглядъ и симпатія ко всему человѣческому, энергическому раскрылъ ему тайну французской революціи среди ужасовъ 93 года, которыхъ онъ былъ очевидецъ.

12. — Лекціи Мицкевича au Collège de France 1840 — 1842. Мицкевичъ славянофилъ, въ родѣ Хомякова и С<sup>о</sup> со всею той разницей, которую ему даетъ то, что онъ полякъ, а не москаль, что онъ живетъ въ Европѣ, а не въ Москвѣ, что онъ толкуетъ не объ одной Руси—но о чехахъ, иллирійцахъ и пр., и пр. Нѣтъ никакого сомнѣнія, въ славянизмѣ есть истинная и прекрасная сторона, эта прекрасная сторона вѣрованія въ будущее, всего прекраснѣе у поляка, у поляковъ бѣжавшихъ отъ ужасовъ и казней и носящихъ съ собою свою родину. Но съ этимъ прекраснымъ характеромъ надежды, у славянъ всегда является какое то самодовольство, jactance, которое тѣмъ страннѣе, чѣмъ очевиднѣе ужасъ современнаго положенія. Славяне всегда рабы, вездѣ холопы—смирные, пассивные холопы. Демократическій элементъ, на который они опираются, утраченъ, крѣпостное состояніе достаточное доказательство. И когда цвѣло это общинное устройство? Въ періодъ величай-

шей неразвитости. Бедуны демократы, и патриархализмъ имѣетъ всегда своего рода семейно-общинное начало. Конечно славяне имѣли болѣе вышнихъ препятствій къ развитію, нежели романо-германскіе породы, одни физическія препятствія очень важны, (которыми никакъ не должно пренебрегать, какъ это дѣлаютъ идеалисты), климатъ большею частію сырой и холодный, перемѣнчивый и суровый, плоскость, недостатокъ водныхъ сообщеній и ужасныя разстоянія. Тутъ, впрочемъ, и могла развиться *деревня*, но всякая централизація должна была встрѣтить большія препятствія, города не могли получить важнаго значенія, а деревни были впоследствии подавлены. Демократическій элементъ не могъ выработаться, лучшее доказательство псевдо-аристократія, крѣпостное состояніе и страшно нелѣпый фактъ, что лишеніе правъ большей части населенія шло увеличиваясь отъ Бориса Годунова до нашего времени.

17. — Мицкевичъ говоритъ, что разгадка судебъ міра славянскаго лежитъ сокрытая въ будущемъ. Это говорятъ всѣ славянофилы, но они не имѣютъ геройства послѣдовательности, они все же хотятъ отыскать отгадки въ прошедшемъ. Прошедшее христіанство принадлежитъ Европѣ романо-германской, католицизму, феодализму и ихъ разложенію. Во всемъ этомъ славяне не участвовали. Разумѣется и Византія и Русь имѣли жизнь и жизнь болѣе близкую къ Европѣ нежели Китай etc; но для нихъ, ихъ исторія не была полнымъ осуществленіемъ всей скрытой въ нихъ мысли. Византія замирала въ чиновничьей, мертвой централизаціи, мудрствовала о догматахъ и развивала ихъ въ теологическія тонкости. Русь по какому то глубокому провидѣнію взяла, сложившись, гербомъ Византійскаго орла,

двуглаваго, врозь смотрящаго. Истинно полного слитія государства съ народомъ никогда не было, народъ спокойно, покорно, но безучастно прозябалъ въ своихъ деревняхъ, будто ожидая чего то. Великій смыслъ былой исторіи государства, это тихое гигантское развитіе его, не смотря на всѣ препятствія. Еще менѣе вѣрно воззрѣніе, что Польша представила своимъ былымъ самую развитую фазу славянскаго міра. Конечно, самую развитую, но не славянскую, это было совершенно ложное направленіе для славянскаго народа и тѣмъ хуже, что оно глубоко проникло въ высшіе классы. Мицкевичъ сравниваетъ поэмы и лѣтописи чеховъ, руссовъ, поляковъ и пр.; безучастіе и простота Нестора ему не понравились, а между тѣмъ Галлусъ сколокъ съ западныхъ лѣтописцевъ, духъ вѣющій въ немъ не чисто славянскій — какъ напр., въ *Словѣ о Полку Игоревѣ* или какъ въ сербскихъ отрывкахъ имъ приведенныхъ. Сербь были всего менѣе подъ вліяніемъ Запада. Образецъ высшаго развитія славянской общины—черногорцы. Русское правительство сдѣлало въ 1834 опытъ развратить ихъ, надавало земли владыкѣ, посовѣтовало завести сенатъ — все это не удалось, у нихъ полнѣйшая демократія, патріархально-дикая, но энергическая и сильная. Европа болѣе и болѣе обращаетъ вниманіе свое на этотъ нѣмой міръ, который называетъ себя словенами. Много, много удивительнаго въ этомъ мірѣ напр., у насъ при самомъ безжалостномъ, свирѣпомъ деспотизмѣ, при управленіи не національномъ, бездушномъ, инквизиторскомъ, съ каждымъ десятилѣтіемъ видѣнъ шагъ впередъ. Оппозиціонность растетъ, всѣ боятся и всѣ говорятъ, мы менѣе всѣхъ, потому что мы сознаемъ себя оппозиціей, а другіе безсознательно; по счастью они не умѣютъ слѣдить ни за литературой, ни

за чѣмъ—нѣтъ умно учрежденнаго шпионства, оно болѣе подло и оскорбительно устроено нежели сообразно цѣли. Если бы теперь сколько нибудь не такъ звѣрски терзали всякую свободную мысль, доходящую до нихъ, мы вдругъ шагнули бы ужасно. Но я полагаю, что для настоящаго поколѣнія только и будутъ одни слезы и плаха, теперь всего боящееся правительство виждетъ съ увеличеніемъ трусости, увеличитъ страшныя мѣры, примѣръ передъ глазами — Польша.

Запрещено въ Московскихъ газетахъ печатать отрывки изъ отчета полицмейстера о Петербургѣ — *c'est significatif*, они боятся гласности, говорящихъ фактовъ объ безобразіи этаго города, гдѣ все искусственно, гдѣ на четыре мушкеры падаетъ одна женщина, гдѣ число солдатъ страшно, гдѣ сотни умираютъ отъ венерической болѣзни и пр. И такъ они стыдятся его закулисной жизни. Вавилонъ, можетъ необходимый нѣкогда, полезный даже теперь, но у котораго нѣтъ никакой будущности.

21. — По поводу книги Штура *Untergang der Natur Staaten*, пришло опять въ голову о славянахъ и германцахъ или лучше европейцахъ. Азія не умѣла выйти въ сознательно дѣятельную жизнь изъ непосредственной, оттого ея государства или дробились внѣшней силой или замирали въ формализмъ, въ стоячестіи внѣ-исторической жизни. Греція и Римъ уже имѣли потребность отрѣшиться отъ естественныхъ опредѣленій, но не могли вынести въ своей односторонности такого отрѣшенія. Противоборствующій плебей былъ олицетвореніемъ отрицанія патриціатскаго, гречески-аристократическаго государства, тяготѣвшаго во имя преданія. Римъ и Греція пали сами отъ себя и въ этой борьбѣ

естественнаго, непосредственнаго порядка съ демократіей, религіи — съ філософіей, развились и ихъ смертныя болѣзни и ихъ высокое человѣческое значеніе для всемірной исторіи. Германецъ съ перваго появленія является съ характеромъ несравненно болѣе освобожденнымъ отъ всего непосредственнаго, отъ почвы, отъ похолѣнія, даже отъ семьи; личность—вотъ идея, которую онъ вноситъ въ міръ, и исчерпавъ все необъятное содержаніе своей мысли, онъ будто оканчивая свое призваніе, какъ завѣщаніе будущему, оставляетъ *Déclaration des droits de l'homme*. Но имѣли ли мы право сказать, что грядущая эпоха, которая на знамени своемъ поставитъ не личность—а общину, не свободу—а братство, не абстрактное равенство — а органическое распредѣленіе труда, не принадлежитъ Европѣ? Въ этомъ весь вопросъ. Славяне ли, оплодотворяясь Европой, одѣйствуютъ идеаль ея и приобщать къ своей жизни дряхлую Европу или она насъ приобщитъ къ поюнѣвшей жизни своей. Славянофилы разрѣшаютъ этаго рода вопросы скоро, какъ будто дѣло давно рѣшеное. Есть указанія, но далеко нѣтъ полнаго рѣшенія. Въ германцахъ съ перваго шага ясна идея, которую они внесутъ въ міръ. Я недавно читалъ Тацита о германскомъ народѣ—они, говоритъ онъ, любятъ жить по одиночкѣ, разсѣиваться на большомъ пространствѣ, но любятъ хлѣбопашество и пр. Законъ ихъ предоставляетъ местию вступаться за обиды, связь ихъ между собой свободна, дружба къ герцогу, вѣрность, преданность свободная, высокое понятіе о чести, особаго рода уваженіе къ женщинѣ, къ цѣломудрію — все вмѣстѣ говоритъ и предсказываетъ монадную жизнь феодализма и развитіе личности. Католицизмъ является великою мощью освобожденія отъ національных непосредственностей и единою связью раз-

ноплеменныхъ. Путь развитія славянскаго міра совсѣмъ не такъ ясенъ. Они говорятъ, что всякая односторонность ярче бросается въ глаза и легче удобовѣрима, но гдѣ же, въ самомъ дѣлѣ, въ исторіи славянъ всесторонность? она лежитъ только въ инстинктѣ и нигдѣ непроявляемой до нашего періода, который именно ими и отвергается. Они говорятъ, что судоржное движеніе замѣтнѣе органически нормальнаго развитія, но это фразы не имѣющія смысла, ибо органическое развитіе всемірной исторіи, совершившееся внѣ славянскаго міра, очевидно, также какъ каменная жизнь славянъ ограничившаяся до Петра гигантской кристаллизаціей. Славянскій міръ, котораго мощный и полнѣйшій представитель Русь, изъ чисто непосредственной жизни въ Кіевскій періодъ, переходитъ въ сознательно государственный періодъ съ перенесеніемъ столицы въ Москву; но силъ его хватило только на ростъ. Выросши Русь начинала входить, не смотря на юность, въ маразмъ и ее ждало или разложеніе или искупленіе извнѣ. Это искупленіе принесъ съ собою съ запада Петръ I и сунулъ его жесткой рукой бунтовщика, который былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и царемъ. Народъ собственно мало участвовалъ въ исторіи, онъ пробуждался иногда, являлся съ энергіей какъ въ 1612, такъ и 1812., никогда не показывалъ ни малѣйшаго строяющаго, зиждущаго начала и удалялся пахать землю. Эта даль и безучастіе народа есть можетъ великое пророчество, но его прежде надобно признать какъ фактъ,—этого славянофилы не хотятъ. Съ другой стороны, не надобно никакъ забывать, что какое бы двойство между народомъ и правительствомъ ни было, однако правительство принадлежитъ къ народу, а до Петра оно вмѣстѣ съ церковью было совершенно русское, между тѣмъ, чуждое

всякаго развитія и прогресса, оно дошло до того, что первый гениальный царь, попавшійся на престолъ, отбросилъ ржавые рычаги патріархально-помѣщичьяго управленія огромной страной и, желая привить ей Европейизмъ, началъ съ учрежденія страшнаго, высшаго деспотизма и инквизиціонно канцелярскаго управленія. Эта расторженность спасла Россію, ей мы обязаны тѣмъ развитіемъ, которое теперь по частнымъ случаямъ даетъ намъ право дѣлать высокія заключенія о будущемъ призваніи. Въ сторону всѣхъ предразсудки, съ которыми по преданію смотрятъ самые философы. Напримѣръ, ставятъ въ первое достоинство воинственность народа, богатство городовъ и пр., въ тоже время какъ проповѣдуютъ уничтоженіе войны и неестественность большихъ городовъ; количество земли занимаемой ставится до сихъ поръ въ достоинство, расширеніе границъ принимаютъ за успѣшное развитіе etc. Я не этихъ условій ищу у былой жизни славянъ, (хотя надобно сознаться, что завоеваніе, богатство и проч. свидѣтельствуешь въ пользу энергіи и богатства не пришедшей въ ясность мысли) а ищу того сочлененія, того намека на будущее, какъ у древняго германизма временъ Тацита; намеки эти едва видны въ бытѣ, въ направленіи хлѣбопашескомъ, въ деревняхъ и равнодушной негачіи всего прочаго. Исторія же скучна, бѣдна, она не вовлекала всѣхъ силъ народа въ свою ткань, она оставляла его почвой и не болѣе.

24. — Мицкевичъ приводитъ, между прочими черногорскими пѣснями и легендами ихъ и сербовъ, одну прекрасную и исполненную граціи. Три брата строили крѣпость, но она все не строилась, наконецъ какое то видѣніе сказало имъ, что надобно закласть въ стѣну



первую особу, которая на другой день принесетъ имъ завтракъ. Они согласились и дали другъ другу слово молчать. Но старшіе братья предупредили своихъ женъ. Меньшой смолчалъ. На другой день, жена его кормила грудью ребенка и мать ея предложила ей идти за нее нести завтракъ, но она остановила старуху, дала ей нянчить младенца и пошла. Мужъ обнялъ ее съ горькими слезами и отдалъ каменщикамъ; начали закладывать бѣдную женщину, она сначала думала, что съ нею шутятъ, потомъ испуганная начала молить, просить — всѣ отъ нея бѣжали, тогда она стала молить каменщиковъ оставить два окошечка, одно для груди, чтобы покормить своего милаго ребенка, другое для глазъ, чтобы взглянуть на него. Такъ жила она годъ, потомъ окаменѣла и остались окошечки, и изъ обоихъ льются два вѣчныхъ ручья, одинъ изъ ея груди, другой ручей слезъ изъ глазъ. Чрезвычайно поэтическій образъ. Поэма о свадьбѣ Зерноевича съ дочерью венеціанскаго дожа, вѣроятно, славянофиламъ не понравится, она вся сплетена изъ обмановъ, лжей, коварныхъ убійствъ и наконецъ ренегатства. Максимъ дѣлается Скандербегомъ. Замѣчательно удивленіе славянъ, когда Венеціанка заговорила о своихъ правахъ; они не привыкли, чтобы жены ихъ говорили противъ воли мужей. Сравнить съ этой поэмой напр. Лотобардскіе рассказы Павла діакона, въ которыхъ видна вся сантиментальность, чистота нравовъ и уваженіе къ женщинѣ германцевъ. И притомъ надобно вспомнить, что Павелъ жилъ въ VIII вѣкѣ, а славянская поэма писана не ранѣе XV.



## МАРТЪ МѢСЯЦЪ

5. — Чаадаевъ превосходно замѣтилъ однажды, что одинъ изъ величайшихъ характеровъ христіанскаго воззрѣнія есть понятіе надежды въ добродѣтель и постановленіе ее съ вѣрою и любовью. Я съ нимъ совершенно согласенъ. Эту сторону упованія въ горести, твердой надежды въ повидимому безвыходномъ положеніи, должны по преимуществу осуществить мы. Вѣра въ будущее своего народа, есть одно изъ условій одѣйствованія будущаго. Былое сердцу нашему говоритъ, что оно не напрасно, оно это доказываетъ тѣмъ глубоко трагическимъ характеромъ, которымъ дышетъ каждая страница нашей исторіи. Польша имѣла свои свѣтлые годы при Ягеллонахъ, свою блестящую жизнь при Сигизмундѣ-Августѣ, свои упоенія славой при Стефанѣ Баторіи, при Янѣ Собѣсскомъ. Она жила, жила аристократіей какъ и вся Европа тогдашняя. Русь въ это время переходила отъ скорби къ скорби и первые самобытные, государственные шаги ея дѣлаетъ царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный, самое трагическое лицо въ исторіи человечества—великій умъ, сердце гienны и иронія, почерпнутая изъ глубокаго презрѣнія людей и своего народа, развита византійско-схоластической софистикой. И отъ него Русь унаслѣдовалась Петру. И съ положеніемъ перваго камня на Балтійскомъ берегу начался новый актъ трагедіи; его характеръ—открытое расторженіе народа на двѣ части: одну нѣмую, другую постороннюю народу,

безхарактерную. Безхарактерность высшихъ классовъ у насъ до того велика, что они какъ дворня принимаютъ весь характеръ царствующаго лица. Патологія и характеристика Екатерины, Павла и Александра — единственный ключъ къ пониманію русской исторіи новаго времени.

6. — Гречева защита государя противъ Кюстина фактъ поразительный — она обвиняетъ правительство гораздо хуже Кюстина токомъ апологіи, и тѣмъ, что она хвалитъ. Явная ложь, наглость, презрительныя ссылки на дѣла всѣмъ извѣстныя и представленныя совсѣмъ иначе, рабскій, холопскій взглядъ и дерзкая фамиліарность для того выставленная, чтобъ показать нашу удивительную патріархальность относительно государя. Онъ его трактуетъ *comme un des ses amis*. Есть страницы поражающія цинизмомъ раба, потерявшаго всякое уваженіе къ человѣческому достоинству. Онъ полагаетъ напримѣръ, что человѣкъ не находящій правительство сообразнымъ съ своими понятіями о правѣ и недовольный имъ долженъ ежеминутно трепетать, ибо онъ знаетъ, что недостоевъ Сибири. Нигдѣ не защищаетъ онъ Россіи, онъ говоритъ только о лицѣ государя, оправдываетъ его и говоря о секретныхъ дѣлахъ всякій разъ увѣряетъ, что онъ знаетъ ихъ изъ достовѣрнаго источника. Такъ какъ Гречъ органъ правительства, то, по его брошюрѣ, разомъ измѣряется все разстояніе между народомъ и Петербургомъ. Еслибъ была симпатія, этимъ ли путемъ, этими ли устами защищалось бы правительство? Гречъ предалъ на позоръ дѣло, за которое поднялъ подлую рѣчь. Лабинскій показалъ болѣе такта — онъ не смѣлъ съ презрѣніемъ говорить о Трубецкой и проч., что цензура учреждена не для правительства, а для

народа, что благороднѣйшая часть народонаселенія фур-  
ируетъ полицейскихъ чиновниковъ, что въ Петербургѣ  
можно также свободно говорить какъ въ Лондонѣ и Па-  
рижѣ. Наконецъ, отрицая факты всѣмъ извѣстные, Гречъ  
усугубляетъ вдвое силу діатрибы. Напримѣръ, онъ го-  
воритъ, что это ложь, что государь значительную часть  
времени проводить на разводахъ, парадахъ и поѣздкахъ  
—а въ кабинетѣ; что насильственное и тяжкое произ-  
водство работъ въ Зимнемъ дворцѣ—ложь. Такое опра-  
вданіе кара, кара за неуваженіе къ національному перу,  
кара за боязнь замѣшать мысль въ оправданіе, кара за  
свою разобщенность. Вглядываясь въ общій духъ возрѣ-  
нія Грече-правительственнаго, хочется произнести ана-  
оному на всѣ эти громкія улучшенія, о которыхъ толку-  
ютъ съ Петра Великаго и которыя вносятся на концѣ  
штыка или привязанія къ кнуту. Не надобно благо-  
дѣяній, когда они даются съ презрѣніемъ и съ цѣлью  
задушить ими облагодѣтельствованныхъ.

7.— Умеръ Юшневскій, одинъ изъ главныхъ членовъ  
южнаго общества, нѣкогда генераль интендантъ II ар-  
міи, отправленный въ 26 году въ каторжную работу.  
Онъ умеръ на поселеніи. Другъ его, съ которымъ онъ  
вмѣстѣ жилъ, Вадковскій умеръ за три дня; Юшневскій  
несъ гробъ его и въ церкви, когда священникъ сталъ  
читать евангеліе, колѣна его погнулись, голова опу-  
стилась—подошли къ нему и нашли одинъ трупъ. Тутъ  
все колоссально и страшно. И 19 прошедшихъ лѣтъ  
и безвыходность, и смерть этихъ лицъ—послѣднее тор-  
жество, которое они могутъ дать власти. Быстро идутъ  
они въ могилу, и ни одинъ радостный лучъ не посвѣ-  
титъ имъ при переходѣ на тотъ свѣтъ—Væ victis!

Грановскій заключилъ послѣднюю лекцію превосход-

ными словами; рассказавъ какъ французскій король губилъ Тампліеровъ, онъ прибавилъ: „необходимость гибели ихъ, ихъ виновность даже, ясны, но средства употребленныя гнусны; такъ и въ новѣйшей исторіи мы часто видимъ необходимость побѣды, но не можемъ отказать ни въ симпатіи въ побѣжденнымъ, ни въ презрѣніи въ побѣдителю.“ И неужели эта аудиторія, принимающая его слова, особенно такія слова съ ужаснѣйшими рукоплесканіями, забудетъ ихъ? Забыть она ихъ впрочемъ имѣетъ право, но неужели они пройдутъ безслѣдно, не возбудивъ ни одной мысли, ни одного вопроса, ни одного сомнѣнія? Кто на это отвѣтитъ? Страшно сказать нѣтъ, и да страшно сказать.

10.—Перечиталъ рѣчь объ Уложеніи, Морошкнна. Изъ всего что я читалъ, писаннаго славянофлами, это безъ сомнѣнія и лучшее и талантливѣйшее сочиненіе. Онъ глубоко понялъ русскую юридическую жизнь. Уложеніе представляло возможность органическаго развитія а не Петровскаго столпотворенія, помутившаго новыми началами старья, старыми новья. Время приведетъ все въ порядокъ, но въ петровскій періодъ внесена бездна зла — аристократія, инквизиціонный процессъ, военный деспотизмъ, раздѣленіе сословій, произвольныя нововведенія, составлявшія иллогизмъ. Они имѣли поползновеніе внести аристократическій элементъ въ духовенство, они убили остатки славянскаго судопроизводства и сельское маклерство. Но что было дѣлать для вывода Россіи изъ коснаго положенія Кошихинскихъ временъ; намъ хорошо теперь заднимъ умомъ разсуждать. Удивительная задача въ исторіи развитіе Россіи.

14. — Петровскій періодъ важенъ именно какъ раз-

рывъ, какъ критика и отрицаніе. Русь не выступала изъ узъ семейно-патріархальныхъ. Царь Алексѣй Михайловичъ былъ помѣщикъ. Петръ разрушилъ въ правительствѣ единство съ народомъ; онъ отвлеченныя понятія поставилъ вмѣсто косныхъ, непосредственныхъ понятій. Онъ вызвалъ полярность, противопоставилъ одинъ элементъ другимъ; родные братья, вовлеченные въ борьбу, не узнавали другъ друга и тутъ ихъ вина болѣе нежели переворота, они безсознательно были братья, и потому инстинктъ не устоялъ противъ революціи. Правительство заняло, относительно народа, совсѣмъ другое мѣсто, оно не его мысль выражало, а мысль европеизма и отвлеченной централизаціи, оно сочло себя, за одно желаніе образованія, образованнымъ, и смотрѣло на народъ какъ на стадо. Реформа мало касалась народа, реформированною толпою сдѣлалось дворянство — его обрили, дали право не быть сѣченымъ и проч. Теперь реформа приближается къ деревнѣ. Все вмѣстѣ дало тѣ начатки движенія и жизни, которые мы видимъ своими глазами.

Перелистывалъ Баланша *Palingénésie Sociale*; умъ слоя Морошкинскаго, пластическій, чувственно логическій и не способный къ діалектикѣ; но множество *предчувствій* истинныхъ, симпатій и предсказаній къ будущему. Его появленіе, вскорѣ послѣ начала реставраціи, должно было сдѣлать большое вліяніе, онъ гораздо далѣе смотрѣлъ нежели Шатобріанъ или Местръ. Его языкъ темень, фантазія мѣшаетъ и помогаетъ ему, онъ объясняется миеами, и кажется самъ чувствуетъ недостатокъ ясности, этотъ недостатокъ онъ думаетъ вознаградить повтореніями и многословностью. Но имя его не должно забываться ни въ развитіи философіи исторіи, ни въ исторіи социализма.

17.— Дочиталъ Мицкевича лекціи. Много прекраснаго, много пророческаго, но онъ далекъ отъ отгадки, напротивъ грустно видѣть на чемъ онъ основываетъ надежду Польши и славянскаго міра. Въ его надеждѣ, если ее принять за надежду всѣхъ поляковъ, полный приговоръ Польшѣ. Нѣтъ, не католицизмъ спасетъ славянскій міръ и воззоветъ его къ жизни, и (истина заставляетъ признаться) не поляки поймутъ будущность. Мицкевичъ самъ цитовалъ стихи своего соотечественника, который говоритъ: „Геній, въ тысяча голосахъ его окружающихъ, умѣетъ понять истинный, вслушаться въ него и потомъ смѣло броситься въ колесницу и летѣть на совершеніе.“ Мицкевичъ не узналъ этаго голоса. Онъ далекъ отъ ненависти къ Россіи, напротивъ онъ хвалитъ ее, но не понимаетъ, до того не понимаетъ, что иной разъ лучшія ея стороны приводятъ его въ отчаяніе; такъ въ Петрѣ онъ понялъ одну отрицательную сторону, равно и въ Пушкинѣ, а онъ былъ друженъ съ нимъ; и какже его душѣ поэта было не понять Пушкина. Литературное движеніе послѣ Пушкина вовсе не существуетъ для него. Во всемъ вѣетъ трагическій духъ графа въ *Comédie infernale*; но Польша будетъ спасена помимо мессіанизма и папизма.

19.— Превосходные рассказы Михаила Семеновича \*) о своихъ былыхъ годахъ и между прочимъ о мелкомъ чиновничествѣ, о протоколистѣ Котельниковѣ, имя котораго не должно изгладиться изъ исторіи бюрократіи. Во всѣхъ этихъ рассказахъ пробивается какая то *sui generis* струя демократіи и ироніи. Люди эти, ненавидимые народомъ и презираемые властью, съ злою улыбкой смотрятъ

\*) Щепкина (актера).

внизъ и вверхъ и побѣждаютъ умомъ, безнравственной казуистикой, которая съ тѣмъ вмѣстѣ свидѣтельствуешь о чрезвычайномъ развитіи юридической способности. Мелкіе чиновники не худшее сословіе въ Россіи, пора перестать исключительную стрѣльбу по маленькимъ взяточникамъ, довольно ругали титулярныхъ совѣтниковъ и канцелярскихъ, пора иронію возвести въ чинъ; правда развратъ ихъ и цинизмъ глубоки, но сквозь густыя испаренія, мнѣ виднѣется важный элементъ, религиозно-гражданское чувство, консервативное; преданности у нихъ нѣтъ. Котельниковъ говорилъ: „что онъ ѣздитъ на двухъ исправникахъ, вѣдь всякіе бываютъ, къ иному подойти страшно, точно бѣшеный жеребецъ и фыркаетъ и бьетъ, а смотришь въ ѣздѣ куда хорошъ.“ И посмотришь на этаго сальнаго протоколиста, который кланяется въ ноги исправнику, стоитъ дрожа передъ губернаторомъ — вѣдь эта одна комедія, онъ равно смѣется въ душѣ надъ исправникомъ какъ надъ губернаторомъ, онъ обманываетъ ихъ подлостью и они не имѣютъ средствъ миновать, онъ понимаетъ свое превосходство надъ ними, свою необходимость; вѣдь для пракческаго и истиннаго исполненія ни одинъ законъ, ни одно распоряженіе не минуешь мелкаго чиновника, а онъ-то и обрѣжетъ крылья министерской фантазіи.

— У насъ понятіе о винѣ и правотѣ подсудимаго для судьи лишнее, онъ знаетъ, что подсудимый подошелъ подъ такую то статью, и судья всегда жалѣетъ о *неосторожности* и готовъ указать возможность миновать статью.

24. — Ghräger Geschichte der geistlichen Kirche. 1-ая ч. Поразительное сходство современнаго состоянія человечества съ предшествующими Христу годами, придаетъ

удвоенную важность исторіи развитія церкви и времени предварившаго евангельское ученіе. Съ одной стороны, древній міръ былъ весь собранъ въ одинъ узелъ, въ одинъ царящій органъ, съ другой, въ самомъ этомъ средоточіи обличилась ярко необходимость возрожденія. Между тѣмъ, вдали отъ центра разрабатывались, бродили неустроенныя и приходили въ органическій порядокъ смутныя идеи новаго порядка дѣлъ, міра возникающаго. Окаменѣлое ученіе Саддукеевъ, нѣсколько принявшее въ себя чуждыхъ началъ ученія Фарисеевъ, дряхлѣетъ, Терапевты и Ессениане выступаютъ изъ іудейскаго міра въ иной, въ которомъ Неоплатонизмъ, Александрійская мистика даютъ совершенно новое направленіе. Главнѣйшія истины христіанской теодицеи и христіанская нравственность проявляются отрывочно въ новыхъ ученіяхъ. Ессениане учреждаются точно такъ, какъ послѣ апостолы по свидѣтельству Ев. Лукн. Іосифъ говоритъ: „что у нихъ каждый вступавшій въ орденъ приносилъ свое имущество, которымъ распоряжалось общество, бѣдныхъ не было такъ какъ и богатыхъ, собственность была слитная, братству принадлежащая.“ Чистота нравовъ, доведенная до монашескаго аскетизма и плотоумерщвленія, свидѣтельствуется ясно, что они также какъ Христосъ принимаютъ плоть за зло и умерщвляютъ ее считаютъ святѣйшимъ дѣломъ. Они отрекаются отъ кровавыхъ жертвъ. Наконецъ у нихъ, какъ у мистическихъ Неоплатониковъ слагается ученіе о единичной троиственности Бога; отъ основной нравственности берутъ смиреніе, вѣру и любовь, — все вѣдетъ евангеліемъ и во всемъ чего то недостаетъ, того властнаго слова, той конкреціи, той молніи, которая единымъ ученіемъ, полнымъ и соотвѣтственнымъ, выразить, осуществить бродящія и несочлененныя части, пред-



существующія ему. Неопредѣленное чувство этой неполноты выражается упованіемъ Мессіи. Въ наше время социализмъ и коммунизмъ находятся совершенно въ томъ же положеніи, они предтечи новаго міра общественнаго, въ нихъ разсѣянно существуютъ membra disjecta будущей великой формулы, но ни въ одномъ опытѣ нѣтъ полнаго лозунга. Безъ всякаго сомнѣнія у Сен-Симонистовъ и у Фурьеристовъ высказаны величайшія пророчества будущаго, но чего то не достаетъ. У Фурье убійственная прозаичность, жалкія мелочи и подробности, поставленныя на колоссальномъ основаніи; счастье, что ученики его задвинули его сочиненія своими. У Сен-Симонистовъ ученики погубили учителя. Народы будутъ холодны пока проповѣдь пойдетъ этимъ путемъ; но ученія эти велики тѣмъ, что они возбудятъ наконецъ истинно народное слово какъ евангеліе. Доселѣ съ народомъ можно говорить только черезъ священное писаніе, и, надобно замѣтить, социальная сторона христіанства всего менѣе развита, евангеліе должно взойти въ жизнь, оно должно дать ту индивидуальность, которая готова на братство. Коммунизмъ конечно ближе къ массамъ, но доселѣ онъ является болѣе какъ негачія, какъ та громовая туча, которая чревата молніями, разобьющими существующій негѣпый общественный бытъ, если люди не покаются, видя передъ собою судъ божій. „Искупленіе, примиреніе“ — слова произносимыя тогда и теперь. Обновленіе неминуемо. Принесется ли оно вдохновенной личностью одного, или вдохновеніемъ цѣлыхъ ассоціацій пропагандистовъ — собственно все равно; разумѣется и то, что пути эти вовсе не противоположны. Христіанство не заключается въ Христѣ, а въ Христѣ и апостолахъ, въ апостолахъ и ихъ ученикахъ, въ живой средѣ

ихъ оно развивалось и становилось тѣмъ, чѣмъ человѣчеству надобно было.

27.—Жизнь человѣка непрерывная, злая борьба; лишь только съ одной стороны побѣждены препятствія, улаженъ миръ, съ другой возстаютъ изъ подъ земли, падаютъ съ неба враги, нарушающіе спокойное пользованіе жизнью, гармонію и развитіе. Настоящимъ надобно чрезвычайно дорожить, а мы съ нимъ поступаемъ неглижѣ и жертвуемъ его мечтамъ о будущемъ, которое никогда не устроится по нашимъ мыслямъ, а какъ придется, давая сверхъ ожиданія и попирая ногами справедливѣйшія надежды. Только было наша внутренняя жизнь пошла по спокойнѣе, страшная болѣзнь малютки повергла опять въ судорожное состояніе людей, ожидающихъ сентенцію капризнаго царя..... снова слезы, разрушеніе едва восстановленныхъ силъ ея и темная ночь. Безпрерывный стонъ младенца имѣетъ въ себѣ что то уничтожающее для всякаго уха (человѣческаго). А для матери? И это безпрестанное присутствіе съ невозможностью помощи, съ ненужностью пособій. Кто главный виновникъ этихъ страданій, неразрывныхъ съ семейнымъ бытомъ? Устройство ли семейства? или при всякомъ сожитіи людей не отстранятся эти удары? Отвернуться отъ нихъ можно. Избытокъ эгоизма и сосредоточенности на себѣ или совершенная преданность всеобщимъ интересамъ облегчаетъ крестъ частной жизни. Но для всѣхъ ли? Фурье разрубилъ вопросъ, но не развязалъ узла кровныхъ сношеній; Фурье не понялъ женщины, не понялъ любви, ему безпрестанно мерещились развратные браки, негодныя женщины, скверные отцы и ложная наружность, которой все это прикрито лицемѣрной внѣшностью и кто не согласится, что легальное, юридическое опредѣ-

леніе брака, родства etc., сходное съ католическимъ и феодальнымъ воззрѣніемъ не состоятельно? Но внутреннее вѣнчаніе любовью, истинныя отношенія мужчины къ женщинѣ, обоихъ къ дѣтямъ, не улаживаются такъ легко словомъ: общественное воспитаніе. Напротивъ, при совершенной свободѣ отношеній, вся отвѣтственность падетъ на самого человѣка. Бракъ не будетъ—любовь, останется, наследства не будетъ—дѣти будутъ. Отстранить мать отъ воспитанія дѣтей можно только тогда, когда она хочетъ этаго. Но та мать, которая этаго хочетъ и въ теперешнемъ устройствѣ не много страдаетъ отъ дѣтей — рѣчь не о ней, рѣчь о матери любящей. Силой отнять дѣтей—варварство и противорѣчіе съ системою, дающею всякой страсти развитіе. И жизнь снова утянута въ жизнь дѣтей, истощена ими, и она, исходя любовью, исходитъ силами. Но такое несчастное положеніе не лучше ли довольства? Но среди этихъ боре-ній не являются ли минуты, о свѣтѣ которыхъ другіе и понятія имѣть не могутъ.

28. — Конечно любящая мать будетъ страдать отъ случайностей, которымъ подвержено существованіе дѣтей. Но въ общинной жизни, развитой на широкихъ основаніяхъ, женщина будетъ болѣе причастна общимъ интересамъ, ее нравственно укрѣпитъ воспитаніе, она не будетъ такъ односторонно прикрѣплена къ семейству и тогда удары будутъ выносимѣе. Въ прошломъ бытъ также было утѣшеніе въ отрываньи себя отъ частнаго, возношеніемъ къ Богу, въ молитвѣ. Личность Іисуса, лишенная своей сверхъестественной стороны, выступаетъ у Геррера недосыгаемо прекрасна, великое помазаніе всемірнаго призванія, самоотверженіе, безконечная любовь, наконецъ самопожертвованіе для запечатлѣнія

истины, для торжества идеи. Герреръ очень хорошо рассматриваетъ отношеніе Іисуса къ Іоанну, къ положительной религіи и къ положительному праву. Враждебныя начала христіанству должны были привиться съ перваго шага апостольской пропаганды; конечно Христосъ не хотѣлъ церкви съ окаменѣлыми институтами, цѣликомъ взятыми отъ Левитъ, но какъ безъ наружной церкви могла возрасти внутренняя идея. Первая христіанская община была Ессейски-Іуданческая, она неоторвалась отъ преданія и отъ нравовъ Израильскихъ, она дѣлила съ Фарисеями вѣру втораго для нея, перваго для нихъ, пришествія. Она мало сообщалась съ язычниками. Апостолъ Павелъ словомъ и раззореніе Іерусалима событіемъ оторвали христіанъ отъ Іуданзма. Іерусалимъ не могъ уже быть средоточіемъ новой религіи и ученіе Христа приняло свой вселенскій характеръ — запутанное въ іудейскія формы, оно не могло бы быстро перейти въ другіе народы.

30. — Никто ранѣе 25 лѣтъ не можетъ ѣхать за границу, пошлины 700 рублей въ годъ, паспорта выдаются только въ Петербургѣ, жена безъ мужа не можетъ ѣхать. Я желаю прочесть этотъ указъ печатный, чтобъ имѣть матеріальное доказательство такого беззаконія и безобразія, совершающагося около половины XIX вѣка. Всѣ эти оскорбительныя, исполненныя презрѣнія всѣхъ правъ, мѣры возрастаютъ—времена Бирона и безумныхъ мѣръ Павла очію совершаются и вѣроятно долго продолятся. Какіе плечи надобно имѣть, чтобъ не сломиться.

## АПРѢЛЬ МѢСЯЦЪ

3. — Пасторъ Reuter въ Гессенъ-Дармштадтѣ былъ взятъ подъ стражу за политическія мнѣнія и при допросѣ пытаемъ ужасными средствами: ему набивали кольцо цѣпи на кость руки, сѣкли его etc. Приведенный въ отчаяніе и бѣшенство старикъ хотѣлъ перерѣзать себѣ горло стекломъ и, какъ разумѣется, не могъ; однако его нашли мертвымъ. Доктора нашли, что смерть причинена не разрѣзомъ стекла, а другими острыми орудіями, (которыхъ въ тюрьмѣ не было). Вотъ плодъ инквизиціоннаго процесса и прекрасный матеріалъ къ исторіи современныхъ германскихъ правительствъ. Судья, пьяница и дѣлатель фальшивыхъ документовъ, осыпанъ крестами etc.

— Разные анекдоты о Петрѣ I. Странное сочетаніе геніальности съ натурой тигра. Страшенъ процессъ, которымъ страна могла дойти до необходимости появленія такого врача, до возможности его и до того, что она могла вынести такое царствованіе. Возмущенные стрѣльцы говорили, что Петръ не сынъ царя Алексѣя Михайловича, а Ягужинскаго. Однажды середь оргіи, Петръ сталъ приставать къ Ягужинскому отецъ ли онъ его, тотъ удивленный отпирался. Петръ велѣлъ его поднять на дыбы и допрашивать; тогда взбѣшенный Ягужинскій отвѣчалъ: „чертъ тебя знаетъ, чей ты сынъ, у твоей матери было разомъ три любовника и я въ ихъ числѣ.“ Въ Псковѣ онъ такія неистовства надѣлалъ въ

церкви, что его народъ чуть не убилъ, онъ страшно переказнилъ священника и бросившихся на него. Ихъ распяли и онъ самъ перестрѣлялъ ихъ потомъ. Марать, Робеспьеръ и Фукье Тенвиль вмѣстѣ. Понять, оправдать, отдать не токмо справедливость, но склониться передъ грозными явленіями Конвента и Петра — долгъ. Но не всѣхъ актеровъ 93 года можно любить, также и Петра.

5.—И такъ, указъ о путешествіяхъ не пуфъ, въ немъ есть какое то величіе безобразія и цинизма; это языкъ плантатора съ неграми, тѣни уваженія къ подлымъ рабамъ, которымъ писали фирманы—нѣтъ; власть не унизилась, чтобъ сыскать какой нибудь резонъ, хотя ложный, но благовидный, она попираетъ святѣйшія права, потому что презираетъ, она нагла нашей низостью. Усовершенствоваться въ художествахъ и ремеслахъ позволено, но не въ наукахъ! Страшное время — силы истощаются на бесплодную борьбу, жизнь утекаетъ и ни капли отрадной, ни близкой надежды — ничего.

10.—Въ Тамбовской губерніи было возмущеніе крестьянъ одной волости, характеръ дѣла (по рассказамъ) довольно замѣчателенъ. Крестьяне жаловались, что съ нихъ берутъ лишніе поборы. Министръ Государственныхъ Имуществъ велѣлъ имъ дать расчетъ что они должны платить, но съ нихъ, не смотря на то, стали требовать гораздо болѣе. Тогда они въ тиши надѣлали кистеней, пикъ и отказались отъ платежа, явилась земская полиція и начальство, посланное Государемъ Императоромъ, они ихъ прогнали. Привели роту солдатъ, солдаты не хотѣли стрѣлять — чуть ли не первый случай послѣ Петра. Разумѣется, наконецъ ихъ усмирили и вѣроятно часть перебита, а десятого послѣ кнута от-

правятъ въ каторжную работу. Всѣ мужики этой волости молокане, передъ ними шла дѣвушка, пѣвшая псалмы. И такъ изъ раскольничьихъ скитовъ вырываются такіе звуки, среди общей нѣмоты крестьянъ.

14. — Замѣчательная статья въ 3 послѣднихъ № *Московскихъ Вѣдомостей* объ освобожденіи негровъ. Приложение прямое и въ официальной газетѣ.

Читалъ Гегелеву философію природы. (*Encyclopedie II. Th.*) Вездѣ гигантъ, многое едва набросано, очеркнуто, но ширина и объемъ колоссаленъ. Какой огромный шагъ въ освобожденіи отъ абстрактныхъ силъ, въ введеніи въ свои рамы категорію величины, которой подавляли все земное и какой перевѣсъ качеству, конкретіи. Онъ освобождаетъ въ полномъ развитіи человѣка отъ его матеріальнаго опредѣленія, отъ его теллурической жизни, адекватностію его формы понятія (чѣмъ бѣднѣе его развитіе, тѣмъ болѣе онъ зависитъ отъ природы). Духъ вѣченъ, матерія всегдашняя форма его инобытія. Лишь только форма способна, лишь только она можетъ выразить духъ, она и выражаетъ его. Здѣсь, тамъ, вездѣ, гдѣ условія органическаго возстановленія собрались, одѣйствовались. Какъ началась индивидуализація планеты, солнечной системы, что было прежде etc. etc., на все это очень трудно отвѣчать, главное всякій разъ попадешь въ ту ли, въ другую ли сторону in die schlechte Unendlichkeit. Инобытіе чѣмъ полнѣе одна внѣшность, чѣмъ далѣе отъ адекватности съ понятіемъ, тѣмъ упрямѣе оно въ своей матеріальности, тѣмъ естественнѣе оно удерживается отъ разрѣшенія въ мысль и схваченное въ односторонности представляеть именно die schlechte Unendlichkeit вещества. Разсудкомъ не выйдешь изъ этихъ логическихъ круговъ, такъ

какъ разсудкомъ никогда не поймешь жизнь органическую, ибо жизнь сама въ себѣ, *an sich* спекулятивна. Разсудочная истина формально до оконченности ясна, но плоска, и истиннаго примиренія въ ней нѣтъ. Спекулятивная по видимому смутна, но она глубока.

19.—Конечно Гегель въ отношеніи естествовѣденія далъ болѣе огромную раму нежели выполнилъ, но *coup de grâce* естественнымъ наукамъ въ ихъ настоящемъ положеніи окончательно нанесенъ. Признаютъ ли ученые это или нѣтъ все равно, тупое *Vornehmthuerei des Ignoriren* ничего не значитъ. Гегель ясно развилъ требованіе естественной науки и ясно показалъ всю жалкую путаницу физики и химіи, не отрицая, разумѣется, частныхъ заслугъ. Имъ сдѣланъ первый опытъ понять жизнь природы въ ея діалектическомъ развитіи отъ вещества самоопредѣляющагося, въ планетномъ отношеніи, до индивидуализаціи въ извѣстномъ тѣлѣ, до субъективности, не вводя никакой агенціи кромѣ логическаго движенія понятія. Шеллингъ предупредилъ его, но Шеллингъ не удовлетворилъ наукообразности. Самъ Гегель не можетъ (въ чемъ его упрекаетъ Тренделенбургъ) держаться безпрестанно въ изрѣженной средѣ абстракціи и дѣйствительность жизненно, со всѣмъ огнемъ врывается представленіями, фантазіями, поэтическими образами (за что Гегель заслуживаетъ большую похвалу), но онъ вѣренъ и неумолимо строгъ въ общемъ развитіи; Шеллингъ провидѣлъ требованіе, но слишкомъ легкой дорогой удовлетворился имъ.

22.—Окончился курсъ Грановскаго. Этотъ курсъ событіе, событіе имѣющее большое значеніе. Сверхъ внутренняго своего достоинства онъ имѣетъ внѣшнюю ва-



жность тѣмъ, что теперь начнутся публичные курсы; публика узнала новое, сильное, волнующее наслажденіе всенародной, энергической рѣчи. Доценты увидѣли какою аудиторіею можетъ Москва окружить ихъ.

Симпатія къ Грановскому далеко превосходитъ все, что можно себѣ представить, публика была удивлена, поражена благородствомъ, откровенностью и любовью; Грановскій прямо касался самыхъ волнующихъ душу вопросовъ и нигдѣ не явился трибуномъ, демагогомъ, а вездѣ свѣтлымъ и чистымъ представителемъ всего гуманнаго. На послѣдней лекціи аудиторія была биткомъ набита. Когда онъ въ заключеніе началъ говорить о славянскомъ мірѣ, какой то трепетъ пробѣжалъ по аудиторіи, слезы были на глазахъ и лица у всѣхъ облагородились. Наконецъ, онъ всталъ и началъ благодарить слушателей — просто, свѣтлыми, прекрасными словами, слезы были у него на глазахъ, щеки горѣли, онъ дрожалъ: „благодарю тѣхъ, такъ кончилъ онъ, которые съ симпатіей слушали меня и раздѣляли добросовѣстность тона ученыхъ убѣжденій; благодарю и тѣхъ, которые, не раздѣляя ихъ, съ открытымъ челомъ, прямо и благородно высказывали мнѣ свою противоположность. Еще разъ благодарю васъ!“ Онъ молчалъ и кланялся. Безумный, буйный восторгъ увлекъ аудиторію: крики, рукоплесканія, шумъ, слезы, какой то торжественный безпорядокъ, нѣсколько шапокъ было брошено на воздухъ. Дамы бросились къ доценту, жали его руку, я вышелъ изъ аудиторіи въ лихорадкѣ. Слава доценту и слава аудиторіи. Литераторы, товарищи, друзья приготовили обѣдъ, вліяніе послѣднихъ словъ было такъ сильно и такъ живо, что всѣ противоположныя возрѣнія примирились въ дружескомъ торжествѣ и самыя противоположныя натуры искали другъ друга, чтобъ заявить свое

различіе и уваженіе. Весело, шумно и наконецъ пьяно окончился этотъ день. Его отмѣтятъ многіе, онъ многимъ вспомнётся какъ прекрасный праздникъ любви и симпатіи.

27. — Споръ университета и церкви развивается и далекъ отъ конца. Современное состояніе истинно удручаетъ неувимостью своей, видомъ всесовершеннѣйшаго беспорядка. Въ былое время вопросъ современной жизни разрѣшался односторонно, ко всему его жали. Непримиимость элементовъ рѣзко выдается теперь въ глаза, и не позволяетъ трезво мыслящему удовлетворенія частнымъ рѣшеніемъ. Давно забытые элементы жизни, вызванные со дна моря невыносимой тоскою ожиданія, въ буйномъ броженіи смѣшались съ новымъ и младенчествуящимъ, осадокъ и пѣна равно увлеклись броженіемъ. Это послѣднее явленіе; передъ новымъ пришествіемъ истины и мертвые подали свой голосъ и заявили свои права, чтобъ не быть забытыми при воскресеніи. Но какъ тяжело съ этими мертвецами и тяжело потому, что не будучи слѣпыми, мы не можемъ отрицать въ нихъ остатокъ жизненности, а въ противоположномъ зачатокъ смерти. Именно это то и страшно, и давить. Человѣкъ 93 года зналъ знамя, къ которому стать и которое вполне соответствовало ему. А тутъ напротивъ, вамъ равно не хочется ни съ доктринерами защищать полицейскими мѣрами университетъ, ни съ іезуитами, усилившимися тѣмъ, что полиція ихъ толкаетъ. Такъ и наши ультра-славянофилы: чувствуешь все дѣлящее отъ нихъ и чувствуешь симпатію, и понимаешь, какъ они пришли къ своему возрѣнію и какъ противоположное возрѣніе при неосторожности переходитъ въ петербургскій взглядъ—въ то время какъ западно-либе-

ральныя головы считаютъ націонализмъ подпорою правительства. Что тутъ дѣлать? Ждать ли пока вырастетъ уже родившійся мессія, о которомъ проповѣдуютъ Та-віанскій и Вронскій, или броситься à corps perdu въ односторонность и понять ихъ приготовленными буквами святаго глагола, который раздастся? Или сложить руки и лечь спать?

## МАЙ МѢСЯЦЪ

4. — Нѣтъ ничего забавнѣе и досаднѣе, какъ *juste milieu* во всякомъ дѣлѣ; это безразличная точка въ магнитѣ, это статическая задача, употребляющая всѣ силы на поддержаніе равновѣсія, и не имѣющая послѣ силъ въ остаткѣ для какого нибудь дѣйствования, это австрійская политика. Храбрость послѣдовательности великое дѣло. Вчера я душевно смѣялся на стараніе Рѣдкина вывести личнаго бога и христіанство путемъ чистаго мышленія. Логика доводитъ до идеи, до безличнаго духа, который личенъ въ человѣкѣ и черезъ человѣка себяпознающъ, далѣе не выведешь ничего кромѣ непростительной таутологіи, которой угощали берлинскіе философы Германію. Разъ духъ—какъ всеобщій духъ человѣчества, которому оно необходимо—другой духъ личный, экстрамундальный; но духъ безъ міра, *an sich* есть логическая абстракція, стало и тотъ духъ имѣетъ свою объективность, свое *außersich sein*—и опять *schlechte Unendlichkeit*. Въ логикѣ слово *Gott, Geist, über-greifende Subjectivität* вовсе не значитъ *eine bestimmte*

*Persönlichkeit, eine Individualität*, индивидуальность подчинена категоріи времени, она употребляетъ эти слова какъ *persona moralis*, какъ духъ такого то народа, такой то эпохи. А этимъ господамъ страшно, они имѣютъ голосъ въ груди, препятствующій идти до этихъ результатовъ. Хорошо: ну такъ принять, что путь, который привелъ къ нелѣпости ложенъ и надобно отбросить науку—опять трусость и непоследовательность. Да мы примиримъ, уладимъ и науку и религію. Религія приметъ ли такое примиреніе? она отречется во имя церкви такъ, какъ наука отречется во имя логики. Бакунинъ горько выразился говоря, что люди *du juste milieu* похожи на польскихъ жидовъ, которыхъ и Россія и Польша вѣшали.

12.— Наши праздники 8 и 9 были хороши неожиданнымъ пріѣздомъ для нихъ стараго друга, участника на первомъ планѣ тогдашнихъ дней. Обстановка въ прошломъ году была страшнѣе; теперь фактически чернаго мало, но таковъ рубецъ, оставляемый отъ зажившихъ ранъ, такова его жизнь въ памяти, что того полного довѣрія простосердечнаго нѣтъ. Однажды обожженный молніей боится каждой грозы, онъ свои силы на противодѣйствіе истощилъ—напрасно думаютъ, что силы развиваются въ мукахъ.

Хомяковъ писалъ къ Ивану Васильевичу \*), предлагая *Москвитянина* и страдая его, что ихъ противники хотятъ купить голосъ его, все это продолжалось въ то время, какъ Хомяковъ торжественно мирилъ и примирялъ. Иванъ Васильевичъ отклонилъ предложеніе и спрашиваетъ, кто эти противники, не Грановскій ли съ друзь-

\*) Старшій Киреевскій.

ли, что въ такомъ случаѣ онъ къ нимъ чувствуетъ болѣе симпатіи нежели ко всѣмъ славянофиламъ. Черта истинно московско-русская въ Хомяковѣ, это лукавство, прикрытое боиоміей. Истиннаго сближенія между ихъ воззрѣніемъ и моимъ не могло быть, но могло быть довѣріе и уваженіе, которое и есть между другими, напримѣръ между нами и Киреевскими. Съ полной гуманностью, подвергаясь упрекамъ со стороны всѣхъ друзей, протягивалъ я имъ руку, желалъ ихъ узнать, оцѣнилъ хорошее въ ихъ воззрѣніи. Но они фанатики и нетерпящіе люди. Они создали міръ химеръ и оправдываютъ его двумя-тремя порядочными мыслями, на которыхъ они выстроили не то зданіе, которое слѣдовало. Всѣхъ ближе изъ нихъ къ общечеловѣческому взгляду — Самаринъ; но и у него еще много твердо и исключительно славянскаго. Аксаковъ во вѣки вѣковъ останется благороднымъ, но и не поднимется дальше Москвафили.

17.—Огромное письмо въ родѣ диссертациі отъ Бѣлинскаго. Возраженіе на мое, писанное къ Ивану Павловичу\*); энергія и невозможность дѣла сломили его. Возможность внутренняя и невозможность внѣшняя превращаютъ силы въ ядъ, отравляющій жизнь; они загниваютъ въ организмъ, бродятъ и разлагаютъ, отсюда взглядъ гнѣва и желчи, односторонность въ самомъ мышленіи. Бѣлинскій шипеть: „я жидъ по натурѣ и съ филистимлянами за однимъ столомъ есть не могу,“ онъ страдаетъ и за свои страданья хочетъ ненавидѣть и ругать филистимлянъ, которые вовсе не виноваты въ его страданіяхъ. Филистимляне для него славянофилы, я самъ не согласенъ

\*) Галахову.

съ ними, но Бѣлинскій не хочетъ понять истину въ fatras ихъ нелѣпостей. Онъ не понимаетъ славянскій міръ; онъ смотритъ на него съ отчаяніемъ и неправъ, онъ не умѣетъ *чаять жизни будущаго вѣка*, а это чаяніе есть начало возникновенія будущаго. Отчаяніе—умерщвление плода въ чревѣ матери. Буду писать къ нему такое же длинное письмо. Странное положеніе мое, какое то невольное *juste milieu* въ славянскомъ вопросѣ: передъ ними я человекъ запада, передъ ихъ врагами человекъ востока. Изъ этаго слѣдуетъ, что для нашего времени эти одностороннія опредѣленія не годятся.

19.—Какой то пилигримъ рассказывалъ о Соловецкомъ монастырѣ: монахи истязаютъ тамъ арестантовъ ужаснѣйшимъ образомъ, они ихъ сѣкутъ, вынуждая требовать денегъ, заставляя въ трескучіе морозы полуодѣтыхъ работать и пр. Этими сѣченіями предводительствуетъ настоятель, сѣкутъ въ трапезѣ, на техническомъ языкѣ это называется „лозами стирать гордыню!“ Ну въ этомъ я полагаю славянофиламъ не обвинить Петровскую реформу. Это такъ и вѣдетъ Русью царя Ивана Васильевича и прежними нравами ея.

27.—У насъ до того всѣ элементы перепутаны, что никакъ нельзя указать съ которой стороны враждебный станъ, быть можетъ оно и хорошее начало, указующее, что всѣ стороны отдѣльно взятыя въ Европейскомъ бытѣ, отдѣльно взятыя не могутъ служить опредѣленіемъ, развѣ только отчасти. Конечно подобное совершается теперь въ Европѣ, этому лучшее свидѣтельство упадокъ либерализма, конституціонной оппозиціи, вигизма; тамъ напимѣръ, теперь возникаютъ во-

просы въ парламентѣ, (Ешлея предложеніе и др.) въ которыхъ голоса дѣлятся по другимъ началамъ и доля Виговъ, съ долею Тори противъ такой же помѣси. Зато тамъ правительство всегда понятно съ какой стороны. У насъ и этаго нѣтъ. Новыя постановленія объ экзаменахъ и полученіи степеней ученыхъ идутъ изъ совершенно инаго источника, нежели законъ о паспортахъ. Никакой системы, никакой единой мысли—это, чего нѣтъ другаго, придаетъ интересъ сюрприза.

30. — Вчера проводили Кетчера. Время идетъ да идетъ. Мы разлучаемся, снова сталкиваемся и все въ томъ же элементѣ бездѣйствія, пустоты и духоты. Иногда мнѣ кажется, что старость возлѣ носа, что она насъ застигнетъ и намъ останутся одни воспоминанія стремленій, надеждъ и лѣнь еще болѣе западетъ въ душу..... право отъ этаго болѣе нежели близко и что то такъ тягостно, страшно начинается дѣлаться. Писалъ къ Бѣлинскому, утѣшалъ его, а въ сущности, я вовсе не такъ далекъ отъ многихъ воззрѣній его.

## ІЮНЬ МѢСЯЦЪ

2. — Дочиталъ вторую часть Гегелевой энциклопедіи. Конечно это не такое оконченное и полное зданіе какъ его эстетика, но великій мыслитель не измѣнилъ себѣ въ философіи природы, геніальныя мысли, заставляющія трепетать, поразительныя простотою, поэзіей и глубиной, разсѣяны вездѣ. Зоологическій отдѣлъ и органика вообще превосходны (не вступая въ мелочи

и дробныя разсматриванія каждаго параграфа), я не знаю ни кого, кто бы такъ вполне понялъ жизнь и такъ умѣлъ сказать понятное, развѣ Гёте. Въ деревнѣ перечитаю еще и составляю записки.

4. — Вчера Самаринъ защищалъ свою диссертацию. Не понятно сочетаніе высокихъ діалектическихъ способностей этаго человѣка, съ жалкими православными теоріями и съ утрированнымъ славяннзмомъ; въ немъ противорѣчіе это бросается особенно въ глаза потому, что у него рѣшительно логика преобладаетъ надъ всѣмъ. Онъ правда и самъ видитъ шаткость своей фантастической основы — но не отступаетъ отъ нея. Можетъ юность, всегда готовая предаваться отвлеченнымъ теоріямъ, виною этаго направленія, недостатковъ фактическихъ свѣдѣній и неумѣнье покориться историческому элементу. Вообще диссертация и защита ея произвела какое то грустное чувство. Во всемъ этомъ есть что то ретроградное, негуманное, узкое, какъ и во всей партіи національной. Какъ съ ними ни ладъ въ нѣкоторыхъ вопросахъ—остается страшный оврагъ, дѣлящій и непреодолимый. Въ нихъ бездна дѣтской суетливости, такъ вчера Хомяковъ восторгался фразами о православіи — на которыя никто не смѣлъ возражать. Католикъ могъ точно также изъ своихъ началъ хвалить католицизмъ. Это былъ бы разговоръ двухъ поврежденныхъ.

Продолжалъ читать давно оставленнаго Ghröger'a. Явленіе гностическихъ школъ чрезвычайно важно, здѣсь всѣ фазы древняго міросозерцанія сдѣлали оцѣнку соединиться съ философіей новой религіи. Они проглядѣли главное—практическій характеръ и простоту христіанства, но требованія ихъ были справедливы, они хотѣли догматы превратить по своему въ мысль, въ мысль уче-



ную, аристократическую, но этимъ самымъ они и были еретиками, потому что христіанство имѣло именно значеніе какъ религія, какъ откровеніе. Гностицизмъ нѣкоторымъ образомъ привился къ греческой церкви, оттого она непрерывно занималась теодицеей, а западная церковь жизнью; западная церковь осталась вѣрною апостолу Петру, а Петръ былъ весь въ преданіи Іудаизма, іерархіи, храма Іерусалимскаго. Въ II вѣкѣ является уже протестантъ, личность сильная, энергическая и геніальная, Марціонъ. Послѣдователь апостола Павла, отрѣшившійся отъ всего прошедшаго Іудаизма, человѣкъ не буквы, а духа, онъ имѣлъ огромное вліяніе и его школа жила до VI столѣтія. Онъ понялъ то, что и до сихъ поръ христіане не поняли, что Христомъ снимается Іегова, такъ какъ Юпитеръ и пр., что понятіе бога сопрягаемое съ Іеговою противорѣчитъ Христу. И такъ, во второмъ столѣтіи существуетъ зародышъ протестантизма, являвшійся непрерывно въ разныхъ формахъ, мнимо подавленный, гнетомый и наконецъ восторжествовавшій въ Лютерѣ. Тертуліанъ западный католикъ, въ немъ пуническая кровь Карфагенца очистилась римскимъ законовѣдѣніемъ, но осталась африканская; пламенный и практическій, онъ нисколько не похожъ на трансцендентальныхъ отцовъ восточныхъ. Восточная церковь всегда глубже и шире занималась догматами и не переходила въ жизнь. Католицизмъ, болѣе односторонній, восполнялся жизнью, на которую имѣлъ сильнѣйшее вліяніе и недостатокъ его отвлеченнаго принципа стирается полнотою историческаго развитія. Это два сына Евангельской притчи, изъ которыхъ одинъ зовущему отцу сказалъ: „не пойду,“ и пошелъ, а другой: „пойду,“ и не пошелъ въ виноградникъ. Надобно замѣтить, что въ первые три вѣка ученіе Евангель-

ское и самыя основныя положенія были далеки отъ всякой твердой и ограниченной догматики, напротивъ, всѣ вопросы обсуживаются, рѣшаются разнo, умъ борется съ догматомъ, ищетъ примиренія. Оригенъ напротивъ, совершенно свободенъ въ своихъ философски-религіозныхъ писаніяхъ. Марціонъ принимаетъ Евангеліе за людьми записанныя преданія и не связывается буквой.

10. — Въ третьемъ вѣкѣ уже ярко обозначается характеръ римской церкви. Въмѣсто распушенности, спекулятивности востока является энергическая односторонность, изъ духовной академіи выходитъ въ юридически развивающуюся церковь. Видны сильныя корни и *eine mächtige Thatkraft*. Римскій первосвященникъ безъ всякаго права, кромѣ высокой іерархической мысли и римской почвы, напитанной своимъ царственнымъ призваніемъ, втѣсняетъ свою власть братьямъ, они ее сносятъ, возражая, но покоряясь тому законному насилию, которое присуще внутренней силѣ, власти. Кипріанъ Карфагенскій—душою іудейскій аскетъ, все западное духовенство тянетъ къ жидовскому. Слепая вѣра въ догматы, казуистика въ соподчиненныхъ вопросахъ, фанатизмъ, дѣятельность неутомимая, страстная восторженность, вотъ характеръ западныхъ отцовъ; всѣ сочиненія ихъ исполнены практическаго христіанства, а не теологическихъ тонкостей, это люди буквы въ догматѣ, но люди живые въ жизни. Одинъ грекъ, Діонисій, завелся между латинскимъ духовенствомъ и тотъ написалъ теорію логоса, послужившую основаніемъ Никейскаго изложенія.

Въ спорѣ Донатистовъ, въ началѣ III вѣка, впервые христіане отдають временной власти на рѣшеніе свой спорный вопросъ. Константинъ сначала удивленъ, но вѣрный царской натурѣ, тотчасъ беретъ за рѣшеніе.

Періодъ гоненій полонъ предметовъ для драмъ и сценъ, тѣмъ важнѣе это, что и у насъ рассказы о мученикахъ возможны, хотя они и столько же *возмутительны*, какъ отрывки изъ исторіи французской революціи. Великое одушевленіе, заставлявшее ихъ такъ смѣло становиться противъ власти, не смотря на то, что и они знали текстъ апостола Павла, служащій опорой всѣмъ незаконнымъ властямъ. Восточные отцы перенесли въ свою религію неоплатонизмъ и софистику Еллинискую такъ, какъ западные государственныя понятія о единствѣ и мощномъ устроеніи.

12.—La destinée terrestre de l'homme est la gestion de son globe.... tous les procédés sociaux sortis de l'arsenal philosophique, lois et systèmes, reposent sur des bases essentiellement fausses, puisqu'ils sont contradictoires entre eux, variables et flottans..... L'organisation de la Commune est la pierre angulaire de l'édifice social, quelque vaste et quelque parfait qu'il soit. V. Considérant *Destinée sociale*.

15.—Вчера письма отъ нашихъ изъ Берлина, ѣдутъ обратно въ концу августа, опять соберется старая семья друзей, давно не видались. Хотѣлось бы поскорѣе передать все пережитое и ихъ послушать.

17. — La morale n'est qu'une science mensongère et pédante qui affiche depuis 3000 ans la prétention de conduire les hommes à la vertu et aux bonnes mœurs avec ses dogmes absurdes de modération et de répression de passions, qu'il faut, au lieu de vouloir les *comprimer* — trouver les moyens d'*utiliser* et de satisfaire.

Nous attaquons la morale, précisément parce qu'elle est

impuissante à conduire les hommes au bien etc. V. Considérant.

Его сочиненіе несравненно энергичнѣе, полнѣе, шире по концепціи и по исполненію всего вышедшаго изъ школы Фурье. Разборъ современности превосходенъ, становится страшно и стыдно. Раны общественныя указаны и источники ихъ обличены съ беспощадностью.

Государь былъ въ Лондонѣ, видѣлъ свободный народъ и свободное God save the queen, шумное и не изъ подъ палки. Пишутъ, что общество попечительное о полякахъ хотѣло дать балъ 10 іюня, пока государь въ Лондонѣ, онъ послалъ имъ какую-то вспомогательную сумму, но леди Сомерсетъ возвратила ее съ благодарностью. Островскій былъ арестованъ во все время пребыванія государя, вотъ habeas corpus. Зачѣмъ онъ ѣздилъ? внутреннее ли безпокойство влечетъ къ перемѣнѣ мѣста или политическіе виды? Въ новомъ журналѣ, который началъ выходить со дня объявленія свободы книгопечатанія въ Саксоніи для книгъ свыше 20 листовъ (Wigand's Vierteljahrsschrift), замѣчательная статья о войнѣ; тамъ для Германіи европейская война представлена якоремъ спасенія и именно война съ Россіей. Можетъ и для насъ война принесла бы что нибудь. Объ эмансипаціи не говорятъ. На дняхъ въ *Москов. Вѣдом.* былъ указъ сенатскій по дѣлу о засѣченномъ крестьянинѣ, 42 пучка розогъ сломали объ него — онъ умеръ. Курская уголовная палата не признала помѣщика виновнымъ и между прочимъ заключаетъ: „что люди однихъ лѣтъ съ умершимъ крестьяниномъ выносятъ несравненно сильнѣйшія наказанія.“ Каковъ цинизмъ? Но хорошъ и сенатъ, онъ очень основательно разобралъ всю гнусность дѣйствій уголовной палаты и велѣлъ ей сдѣлать выговоръ, въ то время какъ и здравый смыслъ, и за-

конъ заставляютъ удалить отъ должностей чиновниковъ, явнымъ образомъ пристрастныхъ. Въ pendant къ этой ужасной исторіи, еще въ здѣшнемъ сенатѣ было дѣло о помѣщикѣ, сославшемъ своего двороваго человѣка на поселеніе, для того, что бы воспользоваться значительнымъ капиталомъ, принадлежащимъ дворовому человѣку; тотъ подалъ на него просьбу и дѣло дошло до сената; оберъ-секретарь полагалъ, что помѣщикъ долженъ выдать сосланному деньги. Сенатъ и министръ юстиціи рѣшили напротивъ, но этаго мало, оберъ-секретарю за его мнѣніе съ закономъ несогласное велѣно сдѣлать выговоръ. Случай такого грабежа рѣдки въ прошедшемъ, не этимъ способомъ помѣщикъ эксплуатировалъ крестьянъ. Прежде существовала невыраженная въ законѣ связь между владѣльцемъ и крестьяниномъ. Теперь изъ этой непосредственности одна часть выходитъ къ сознанію формальнаго права своего и къ желанію воспользоваться имъ, это превосходно, потому что другая половина не отстанетъ и пойметъ разомъ всю несообразную нелѣпость своего безправія. Доказательствомъ можетъ служить уже и то, что дворовый подалъ просьбу. Они до сихъ поръ не могутъ совершенно повѣрить въ свое безправіе и никакъ не понимаютъ, чтобы ихъ собственность была собственностью барина, они даже иногда думаютъ, что правительство въ случаѣ неправаго съ ними поступка, защититъ ихъ! Побольше такихъ рѣшеній и сенаторы, сходя въ могилу, могутъ сказать: и мы принесли свою лепту.

Въ Силезіи бунтуютъ работники, ломаютъ машины, бросаютъ издѣлія etc., etc. Семья выработываетъ тамъ въ недѣлю 16 Gute Groschen, изъ которыхъ въ послѣднее время уменьшили еще 2! И послѣ этаго фурьеристы неправы, что обличили меркантилизмъ и современ-

ную индустриальность какъ сифилитическій шанкеръ, заражающій кровь и кость общества. Купецъ сказалъ просившимъ работникамъ прибавки: если хлѣбъ дорогъ, ѣшьте сѣно! Местъ бунтовавшихъ очевидна, они жгли весяла, выбрасывали бумагу, деньги, портили товаръ и не вралъ.

26. — Опять въ *Покровскомъ*. Дождь, дурно, сѣро — а кругомъ поля, лѣсъ и тишина. Я ужасно люблю тишину; я счастливѣе въ деревнѣ, вѣроятно цѣлый годъ или годы надоѣло бы жить въ деревнѣ, но полгода я готовъ. Я устаю отъ шума, отъ людей, отъ слуховъ, отъ невозможности сосредоточиться, устаю отъ неестественности городской жизни, мнѣ становится невыносимымъ домъ противъ моихъ оконъ, улица, *habitués* этой улицы, которыхъ поневолѣ наконецъ замѣтишь. Дочитываю *V. Considérant* I томъ; хорошо, чрезвычайно хорошо — но не полное рѣшеніе задачи. Въ широкомъ, свѣтломъ фаланстерѣ ихъ тѣсновато, это устройство одной стороны жизни — другимъ неловко.

29. — Въ *Вигандовомъ* журналѣ статья *Гордана* объ отношеніи всеобщей науки къ философій весьма замѣчательна. Критика, снявшая религію, стоя на философской почвѣ, должна идти далѣе и обратиться противъ самой философій. Философское воззрѣніе есть послѣднее теологическое воззрѣніе, подчиняющее во всемъ природу духу, полагающее мышленіе за *rgius*, не уничтожающее въ сущности противоположность мышленія и бытія своимъ тождествомъ. Духъ, мысль — результаты матеріи и исторіи. Полагая началомъ чистое мышленіе, философій впадаетъ въ абстракціи, восполняемые невозможностью держаться въ нихъ, конкретное представленіе непре-

ривно присуще ; намъ мучительно и тоскливо въ сферѣ абстракцій—и срываемся непрерывно въ другую. Философія хочетъ быть отдѣльной наукой, наукой мышленія und darum zugleich Wissenschaft der Welt, weil die Gesetze des Denkens dieselben seien mit den Weltgesetzen ; dies muss zunächst umgekehrt werden : das Denken ist nichts anderes als die Welt selbst, wie sie von sich weiss, das Denken ist die Welt, die als Mensch sich selbst klar wird. А потому нельзя наукою мышленія начинать и изъ нее выводить природу. Философія не отдѣльная наука, на мѣсто ея должно быть соединеніе всѣхъ нынѣ разрозненныхъ наукъ.

## ІЮЛЬ МѢСЯЦЪ

1. — Der Muth der Wahrheit, Glauben an die Macht des Geistes ist die erste Bedingung des philosophischen Studiums ; der Mensch soll sich selbst ehren und sich des Höchsten würdig achten. Das verschlossene Wesen des Universums hat keine Kraft in sich, welche dem Muth des Erkennens Widerstand leisten könnte, es muss sich vor ihm aufthun und seinen Reichthum und seine Tiefen ihm vor Augen legen und zum Genüsse bringen.—Hegel's Anrede an seine Zuhörer. 1818 Berlin. Къ этому надобно только присовокупить, что такую же вѣру твердую и непоколебимую должно имѣть и къ природѣ, къ этой вселенной, которая не имѣетъ силы скрыть свою сущность передъ духомъ, потому что она стремится раскрыться ему. Потому еще, что открываясь ему, она открывается себѣ.



рыбы, тѣмъ болѣе неразвитому, фѣтальному состоянію соответствуютъ рыбы. Это напоминаетъ теорію Жофруа Сент-Илера о томъ, что высшіе млекопитающіе переходятъ въ утробѣ матери главныя фазы животнаго царства отъ инфузоріи до млекопитающаго.

Открытіе д'Орбиньи, разсматривавшаго наиболѣе ископаемые безпозвоночные ведетъ къ тому же заключенію; но Еренбергъ съ своими инфузоріями еще ничего не открылъ, указывающаго на соотношеніе ихъ формъ къ періодамъ. Извѣстно, что Еренбергъ доказалъ, что цѣлые слои известняка и разныхъ горнокаменистыхъ слоевъ принадлежать чешуѣ инфузорій.

20. — Кончилъ первое письмо объ естествознаніи. Кажется хорошо, а впрочемъ сначала все написанное кажется хорошо. Надобно перечитать черезъ мѣсяць или два. Вотъ бѣда журналистовъ и ихъ сотрудниковъ, они все печатаютъ съ брызгу и вѣроятно дорого иной бы разъ дали за право вырубить топоромъ закрѣпленное типографскимъ станкомъ.

— Началъ вторую часть Грѣрера, интересъ поглощающій. Древній міръ, умирая, утратилъ почти все чело-вѣческое достоинство; то, что было посвящено всѣмъ цесарямъ, развилось при Діоклеціанѣ. Діоклеціанъ дѣлается царемъ въ смыслѣ восточномъ, въ нашемъ смыслѣ, онъ отрѣзывается отъ всѣхъ, онъ является мистическимъ лицомъ, божествомъ. Въ Римѣ воздухъ былъ не хорошъ для такихъ затѣй, Діоклеціанъ, жившій въ Никомедіи, разъ пріѣхалъ въ Римъ, но и то ускакалъ въ Равенну. Римъ—это европейская почва! Новой, поглощающей всякую свободу, власти надобно было новый городъ, свой Петербургъ. Константинъ нашелъ его. Діоклеціана монархія вполне развилась при Константинѣ.



гнусная, рабская, чиновничья, подлая; народъ былъ до того обремененъ налогами, что толпами бѣжалъ съ своихъ земель; пытка, которой не смѣлъ Неронъ и не подвергать римскихъ гражданъ, распространилась на всѣхъ въ дѣлахъ оскорбленія величества. Восточные христіане и ихъ духовенство утратили тогда благородство первыхъ вѣковъ, они стали въ подломъ отношеніи къ власти и освободиться не могли въ послѣдствіи. Оно, какъ всѣ *высшія натуры*, до того пренебрегало дѣйствительностью и до того жило въ сферѣ теологическихъ тонкостей, что не замѣчало своего подлаго положенія относительно власти. Константинъ принялъ благословеніе новой церкви и имъ окончательно укрѣпилъ отвратительное самодержавіе свое. Евсевій рассказываетъ, что онъ смѣлъ называть себя „Епископомъ внѣ церкви“ и самъ называетъ его всеобщимъ Епископомъ. Его тронъ въ церкви стоялъ возлѣ епископскаго, онъ имѣлъ право входить въ алтарь. Амвросій *Медіоланскій*, возмущенный этимъ, велѣлъ первый, тронъ Θεодосія поставить внѣ хора. Константинъ распоряжался съ церковью, какъ хотѣлъ. Она молчала, греческая святая церковь, и встрѣчала въ 448 году, императора Θεодосія II словами: „да здравствуетъ императоръ и первосвященникъ.“ Никогда западное духовенство не падало до этой степени, римская почва осталась чиста, хорошо что столица была перенесена. За то византійскіе епископы богатѣли, за это они могли и Константина назвать *равноапостольнымъ*. Гнусному порядку азіатскаго деспотизма въ Римской Имперіи, принадлежитъ честь укрѣпленія мужиковъ (Coloni) въ рабство. Бѣдные мужики *считали* себя богатымъ собственникамъ земли, потому что не могли платить подати. Какже не византійская

кровь перешла въ наше государственное устройство? По плодамъ—корень; да и по корню плоды.

Чему удивилась (или теперь удивляется, въ то время она и не думала ни о чемъ кромѣ рабскаго повиновенія) церковь учрежденію сѵнода и оберъ-прокурора, это лежитъ глубоко въ самомъ принципѣ восточной церкви. Императоры при соборахъ назначали одного или многихъ чиновниковъ, *для наблюденія за порядкомъ*. тоѢ такъ было съ временъ Константина. И эти то рѣшенія соборовъ, подѢ явнымъ вліяніемъ временной власти, принимаютъ у насъ за вдохновенныя Святымъ Духомъ правила. Я не удивляюсь Юліану Отступнику. Церковь представилась ему съ такой гнусной и подлой стороны, что онѢ долженъ былъ отвернуться отъ нея. Евсевій совѣтовалъ его умертвить, понимая что такой человекъ не ихъ. Споръ съ Аріанизмомъ весьма важенъ и Грёреръ его вовсе не понималъ. Если Христосъ не единодушенъ, не тождественъ Богу, не Богъ, то христіанство падаетъ въ одну изъ тѣхъ религій, гдѢ соподчиняется богу его избранникъ и монотеизмъ, ограниченный въ родѢ іудейскаго или магометанскаго, остается. Все дѣло христіанства именно въ томъ и состоитъ, что Христосъ-человекъ—Христосъ-Богъ, Бого-человекъ. Но въ самой борьбѢ сколько интригъ, гадостей; какъ церковь стала подла, искательна. Люди помнили еще мученическія гоненія, были епископы, сидѣвшіе въ тюрьмахъ при ДіоклеціанѢ. И черезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ, какъ они жалки, разумѣется, исключая римское духовенство, папу и съ нимъ Аѳанасія. Константинъ приказалъ объявить исправленный символъ и велѣлъ отрѣшить Аѳанасія—толпа слушалась. Какъ величественны тутъ западные епископы. Пусть въ нихъ преобладала гордость, но въ нихъ мы видимъ людей.

Весьма можетъ быть, что въ теоретическомъ смыслѣ восточные были несравненно выше западныхъ ; но ихъ уклончивый, лукавый характеръ, ихъ готовность унижаться передъ властью—покрываетъ ихъ пылью.

Лучшій изъ нихъ Григорій Назіанзинъ. Но и въ немъ нечего искать величія, колоссальности Аѳанасія ; онъ одинъ носилъ въ себѣ идею православія, онъ осуществилъ ее, онъ исполнилъ Никейскій соборъ. Замѣчательно, что Юліанъ Отступникъ былъ полезенъ своимъ предшественникамъ для ортодоксіи. Соборы вообще нечисты, да и изложеніе ихъ Грѣреромъ тупо, онъ не понимаетъ ничего въ догматическихъ спорахъ. Іоаннъ Златоустъ сдѣлалъ несчастный опытъ : греческую церковь поставить нѣсколько независимѣе отъ власти—онъ умеръ въ ссылкѣ. Никонъ забылъ его біографію. Конечно греческая церковь иногда становилась посамобытнѣе напр. въ Египтѣ, при двухъ мерзавцахъ Теофилѣ и Кириллѣ (проклявшій Нестора въ Ефесѣ) ; но и тогда она прислонялась къ Римскому папѣ, и этотъ Кириллъ одинъ изъ ревностнѣйшихъ поборниковъ православія. Во второмъ Ефескомъ Соборѣ, собранномъ противъ Флавіана Константинопольскаго, Діаскоридъ Александрійскій ввелъ толпу вооруженныхъ монаховъ, въ шумѣ и дражѣ переволотили всѣхъ несогласныхъ ему архіереевъ, Флавіана онъ самъ топталъ ногами и избилъ его такъ, что онъ черезъ три дня умеръ. И все что было положено этимъ соборомъ, утверждено императоромъ и принято церковью. Одинъ голосъ протестовалъ энергически, сильно и открыто — голосъ римскаго папы Льва I ; онъ называлъ этотъ соборъ *latrocinium* и имя это осталось въ народѣ. Но уступчивая восточная церковь не думала отстаивать своего собора, когда подулъ иной вѣтеръ изъ дворца, она въ Халкедонѣ прокляла недавно принятое, и бла-

гословила проклятое. И вотъ источникъ ея ортодоксін.

Споръ о двойной натурѣ Спасителя самъ по себѣ чрезвычайно важенъ, но не онъ вовсе занималъ благочестивыхъ и вооруженныхъ кулаками архіереевъ, а мелкія личности, ненависть и властолюбіе безъ границъ или ограниченное только страхомъ передъ временною властью. Замѣчательно, что Ѳеодоръ Монсуестійскій, доказывая что Христосъ былъ истинно человѣкъ, говоритъ: „Что за польза была бы намъ отъ страданій Христа, если онъ не имѣлъ человѣческую душу, это была бы комедія, а не истинная борьба жертвы, зрѣлище, въ которомъ побѣдоносный исходъ былъ приготовленъ и пр.“ Въ этомъ замѣчаніи видѣнъ глубокій смыслъ истины Ѳеодора; теологи доселѣ не понимаютъ, что не токмо христовы страданія, но вся исторія съ ихъ точки зрѣнія выходитъ приготовленной комедіей, а если принять это, то надобно будетъ по совѣсти сказать прескверной, ибо какже объяснить милліоны милліоновъ страдавшихъ всю жизнь, умершихъ въ цѣпяхъ, казненныхъ etc., etc. Пусть бы подумали теологи о словахъ Ѳеодора. Замѣчательно, что въ Африканской церкви, и всего болѣе у Донатистовъ, понятіе объ отношеніи государства къ церкви и независимости послѣдней было наиболѣе развито. Католицизмъ, отправляясь отъ великой мысли единства и поглощая государство, самъ сталъ церковью и государствомъ; византійская церковь скромно легла у подножія трона. Независимыми остались нѣкоторые расколы—эти вѣчные протесты противъ іерархіи и оцѣпененія. Когда къ Донату пришли увѣщеватели отъ императора, онъ гордо отвѣчалъ: *Quid est imperatori cum ecclesia?* Можетъ въ Сирійской церкви и иныхъ отдѣльныхъ и дальнихъ епархіяхъ, было болѣе независимости нежели въ средоточіяхъ Греческой церкви.

Споръ Пелагіанъ точно такъ же былъ витальный вопросъ Христіанства какъ Аріанизмъ. У нихъ христіанство превращалось въ нику; безъ грѣхопаденія, безъ августиновскаго понятія о благодати нѣтъ церкви, нѣтъ католицизма. Въ Августинѣ и всемъ его ученіи видѣнъ уже сложившійся католикъ, принимая это слово въ его обширномъ смыслѣ, въ тѣсномъ смыслѣ напротивъ, Августина католики отвергали, наримѣръ Іезуиты. Споръ Пелагіанъ съ католиками потому не могъ кончиться, что истина рѣшительно между обоими.

Сегодня *десять* лѣтъ послѣ того какъ я былъ взятъ и началась сначала тюрьма, потомъ ссылка, потомъ гоненіе, продолжающееся поднесъ!

23.— Ужасное лѣто, холодъ, дожди, дожди и дожди. И прошлое лѣто было скверно. Печальная полоса земнаго шара, какъ мало и скудно даетъ она человѣку! Пишутъ, что въ Германіи замѣтили астрономы пятно на дискѣ солнечномъ и что отъ этаго пятна зависятъ разныя метеорологическія перемѣны. Такъ или нѣтъ все равно. Возможность очевидная. Кто поручится за то, что какая нибудь перемѣна въ солнцѣ вызоветъ катаклизмъ во всю поверхность земнаго шара, и тогда мы съ звѣрьми и растеніями погибнемъ и на наше мѣсто явится новое населеніе, прилаженное къ новой землѣ. Страшная вещь, а отвѣчать нельзя. Одно настоящее наше, а его то цѣнить не умѣемъ.

27.— Сегодня здѣшніе крестьяне, испуганные страшнымъ лѣтомъ, видя хлѣбъ и луга погибающими отъ дождей, служили молебень. Печально и съ какою то торжественностью шли они въ церковь. Мнѣ стало ихъ вдвое жаль. И тамъ имъ не будетъ расправы, не будетъ

14. — Письмо отъ Бѣлинскаго съ желчью и досадой писанное. Станный человекъ, онъ ищетъ любви, онъ полонъ нѣжности и, между тѣмъ, такъ раздражителенъ, такъ *невытерпимъ*, что при малѣйшемъ разномыслии готовъ обругать человека. Я знаю его и люблю, но иной могъ бы отвѣчать въ квадратъ колко; Бѣлинскій не остался бы назади и прекрасныя отношенія лопнули бы. Не такъ ли онъ разошелся съ Аксаковымъ? Разумѣется онъ къ мнѣнiямъ Аксакова симпатiи наконецъ не могъ имѣть; Аксаковъ свое москвобѣсiе довелъ до *absurdissimum*, но нельзя же было и порвать такъ холодно связи многихъ лѣтъ. Дружба должна быть снисходительна и пристрастна, она должна любить лице, а не идею; идея общiй элементъ сближенiя, она можетъ дать товарища, единовѣрца, но дружба требуетъ признанiя лица, а не всеобщей мысли его. Психологически занимательный вопросъ, отчего прiятель, любящiй другаго, любитъ непримѣнно укорить его, радуется, старается доказать, высказать его маленькiй недостатокъ и готовъ можетъ быть, въ то же время скрыть его пороки, пожертвовать собою, защищая его. *Sonderbar!*

22. — Дѣятельность должна имѣть ограниченiе, чтобъ не разсѣяться, вотъ призванiе матерiи у Лейбница; матерiя ограничиваетъ чистую монаду, она раздѣляетъ монады между собой, она страдательный предѣлъ дѣятельности и съ тѣмъ вмѣстѣ опредѣленность ея. Монада непрерывно стремится освободиться отъ матерiи, т. е. отъ частности къ всеобщему. Дѣятельность, жизнь, душа и тѣло ея необходимые полюсы, это мировой идеализмъ и мировая эмпирия; всеобщность, родъ — единичность и частность. Теодицея неудачна, задача не возможна, какъ ни разрѣшай ее. Въ религiозномъ воз-

зрѣніи доля произвола всегда возможна и велика, „наука невозможна тамъ, гдѣ все возможно.“ Различіе разума и безумія стерто, гдѣ же опора науки? Воззрѣніе людей во время Лейбница было еще сильно пропитано антропоморфизмомъ, субъективной телеологіей, Лейбницъ не могъ отдѣлаться отъ вліянія среды, онъ для этаго былъ слишкомъ живой и увлеченный современностью человѣкъ. Онъ продолжалъ трудъ Спинозы, но онъ не имѣлъ силы отрѣшиться какъ Спиноза и съ высоты напомнить христіанскому міру „забытую имъ категорію отношенія предмета къ самому себѣ“ (а не къ человѣку); наконецъ, я полагаю, Лейбницъ не хотѣлъ слишкомъ гертировать понятія своего вѣка, у него не доставало той *неподкупной честности*, которая была у Спинозы. Высшая честность языка не токмо бѣжитъ лжи, но тѣхъ неопредѣленныхъ, полузакрытыхъ выраженій, которыя какъ будто скрываютъ вовсе не то, что ими выражается. Напротивъ, она стремится впередъ высказать, какъ понимаетъ и предупреждаетъ неистинное толкованіе. Впрочемъ въ тѣ времена умѣли религіи отводить скромный уголокъ, она жила тамъ сама въ себѣ, а наука занимала все остальное въ душѣ и онѣ не ссорились. Декартъ ходилъ пѣшкомъ къ Лоретской божьей матери просить ее на колѣняхъ помочь его скептицизму и никогда не подвергать религію разуму, т. е. не хотѣлъ думать объ ней. Даже матеріалисты, какъ Локъ, были на свой манеръ религіозные и все это въ неспѣтости и противорѣчіи, какъ у нашихъ Гегеле-православныхъ славянофиловъ; Лейбницъ напротивъ искалъ живаго примиренія и ничего не выходило кромѣ запутанности, затѣмнившей его прекрасное ученіе ученикамъ.

28. — Нѣсколько дней прекрасно проведенныхъ въ симпатическомъ кругу друзей и хорошихъ знакомыхъ, пріѣхавшихъ сюда. Къ тому же и письма изъ Берлина. Семейныя дѣла Огарева никакъ не распутываются, что за фатумъ надъ нимъ. Нѣтъ, юность не прошла еще и подчасъ кажется, что есть элементы юности, которые умѣютъ храниться не токмо при входѣ въ мужество, но и съ сѣдиною. Дружба всегда была для меня великимъ поэтическимъ вознагражденіемъ; не мечтательный, не сосредоточенный въ себѣ, я искалъ наслажденія на людяхъ, дѣлилъ мысль и печаль съ людьми. Дружба меня привела къ любви. Я не отъ любви перешелъ къ дружбѣ а отъ дружбы къ любви. И эта потребность симпатіи, обмѣна, уваженія и признанія сохранились во всей силѣ. Юношеска билось сердце, когда я видѣлъ подвѣзжающіе экипажи, какъ искренно хотѣлось мнѣ обнять добрыхъ друзей, какъ полно оцѣнилъ я ихъ жертву. О страшно вздумать охолодѣть и перестать чувствовать въ груди своей эти минуты безотчетной радости! Ни какіе опыты не даютъ права душѣ оттолкнуть все хорошее.

Кто изъ за ошибки, изъ за одного обмана плюнетъ на все, тотъ гордъ и безмѣрно самолюбивъ; нельзя теперь, какъ нѣкогда, дѣтски довѣряться, дѣтски играть — это уродливое *Bettina will schlafen* сказанное сорокалѣтней М<sup>ме</sup> von Arnim. Но есть кое что не бросаемое ни въ какомъ случаѣ въ море, лучше утонуть самому.

А изъ Москвы пишутъ и говорятъ о мерзкихъ интригахъ и проискахъ. Богатство, деньги самый лучший оселокъ для человѣка. Патріотизмъ, смѣлая гордость, отарытая рѣчь, храбрость на полѣ битвы, услужливая готовность одолжить, все это легко встрѣтить; но человѣка, который бы твердо сочеталъ свою честь съ



практикой такъ, чтобы не кочнуться на сторону 1000 душъ или полумилліона денегъ—трудно. Собственность гнусная вещь; сверхъ всего несправедливаго, она безнравственна и какъ тяжелая гиря гнететъ человѣка внизъ, она развращаетъ человѣка и онъ становится на одной доскѣ съ дикимъ звѣремъ, когда корысть сбрасываетъ его съ пьедестала историческаго Standpunkt. Оттого ни одна страсть не искажаетъ до того человѣка какъ скупость, не смотря на все то, что Байронъ сказалъ въ ея защиту. Расточительность, мотовство не разумны но не подлы, не гнусны. Оно потому дурно, что человѣкъ ставитъ высшимъ наслажденіемъ самую трату и нѣгу роскоши; но его неуваженіе къ деньгамъ скорѣе добродѣтель, нежели порокъ. Они недостойны уваженія такъ, какъ и вообще всѣ вещи, человѣкъ ихъ потребляетъ, употребляетъ и на это имѣетъ полное право, но любить ихъ страстно, т. е. поддаваться корыстолюбію верхъ униженія. Христіанство не даромъ такъ враждебно смотритъ на собственность и на имущество, *точимое молю*. Въ роскошномъ уничтоженіи временное достигаетъ цѣли, оно гибнетъ, доставивши наслажденіе высшему существу. Въ скопленіи совсѣмъ напротивъ, человѣкъ начинаетъ принадлежать вещи. Слово „недвижимое имущество“ выражаетъ капканъ, въ которомъ пойманъ подвижной духъ. Звѣрь и тотъ уже освобожденъ отъ неподвижности—человѣкъ возвращается къ ней черезъ гражданскій порядокъ. Гегель въ молодости своей занимался французской революціей, когда она догорала и разбирала политическое состояніе человѣка указываетъ превосходно на жалкое положеніе, въ которое втокнулись люди: « Es war eine Beschränkung auf eine ordnungsvolle Herrschaft über sein Eigenthum, ein Beschauen und Genuss seiner völlig unterthä-

nigen kleinen Welt; und dan auch diese Beschränkung ver-  
söhnende Selbstvernichtung und Erhebung im Gedanken an  
den Himmel. • Да, недвижимое имущество здѣсь и на-  
града тамъ. Это двѣ цѣпи, на которыхъ и поднесъ во-  
дять людей. Но теперь *работники* принялись потрахи-  
вать одну изъ нихъ, а другая давно заржавѣла отъ  
лицемѣрныхъ слезъ пастырей о погибшихъ овцахъ. Наши  
внуки увидятъ.

За то какъ спокойно и съ какимъ благороднымъ со-  
знаніемъ смотритъ человѣкъ на эти злобыня, искажа-  
ющія все хорошее въ мелкой душѣ страсти и равно-  
торжествуетъ: онъ ли побѣдитъ или онъ побѣдитъ.  
Нищеты я боюсь, такъ устроенъ міръ; особенно бо-  
юсь я въ Россіи, гдѣ одни деньги и даютъ право. Но  
далѣе того, что называется une position honnête хлопо-  
тать не стану ни для себя, ни для дѣтей.

30.—Hegel's leben—Розенкранца. Розенкранцъ огра-  
ниченный человѣкъ и плохой мыслитель, слѣдственно  
его рассказъ плохъ и взглядъ очень ограниченный, но  
книга важна выписками и приложеніями. Жизнь Гегели  
была жизнь и развитіе его системы, она текла совер-  
шенно по германски, по школамъ, гимназіямъ и универ-  
ситетамъ. Самое поэтическое отношеніе у него было съ  
Гелдерлиномъ, близости съ Шеллингомъ я не вижу.  
Систему свою въ первый разъ Гегель набросалъ въ  
1800 году, ему было 30 лѣтъ (родился 1770). Прекрас-  
ный подарокъ на зубы XIX вѣку, тогда уже онъ съ  
Шеллингомъ распался. Главный планъ и основное тог-  
дашней системы не перемѣнилось, но только развилось.  
Мѣстами въ приводимыхъ отрывкахъ, явнѣе напомина-  
етъ мистическое вліяніе; пластичность выраженій и  
образы мѣткіе встрѣчаются вездѣ, возражалъ Рѣдкину,

требующему, чтобъ предметы наукообразнаго содержанія излагались языкомъ чистаго мышленія и пр. Въ тогдашнемъ опытѣ философіи природы находится замѣчательное мѣсто о строеніи земнаго шара; расчлененіе онаго (надобно замѣтить, что Гегель отдѣлилъ земную планету, какъ всеобщій индивидуумъ ея элементарныхъ процессовъ и какъ распаденіе (*auseinanderfallen*) вѣшняго смѣшенія камней и земель), принималъ онъ за результатъ безусловнаго прошедшаго, котораго они нѣмымъ представителемъ и остались, они теперь равнодушно стоятъ рядомъ, потерявши отношеніе свое, пораженные будто параличемъ. Мысль чрезвычайно важная, отсюда нельзя ли ждать когда нибудь отгадки, для чего и какъ явилось вещество планеты простыми тѣлами; что побудило сочетаться въ извѣстныя горнокаменные породы, не былъ ли это опытъ жить всею планетой, такъ, какъ растенія, опытъ жить всею поверхностію?... Въ отдѣлѣ *Geist*, Гегель тогда опредѣлилъ семейство индифферентностью рабства и свободы. „Въ естественномъ состояніи человѣкъ говоритъ женщинѣ: ты плоть отъ плоти моей; въ нравственномъ онъ говоритъ ближнему: ты духъ отъ духа моего“—водворяя такимъ образомъ равенство отношеній. Философія права того времени отвлеченна и полна схоластицизма, она неудовлетворяетъ широкимъ основаніямъ и стремится оправдать существующее. Философія религіи почти вполнѣ понимаема имъ была такъ, какъ впоследствии. Абстрактность и формализмъ приводятъ его къ результатамъ страшнымъ; напримѣръ, онъ находитъ необходимость дворянства какъ противоборство въ формѣ повиновенія, необходимость всѣхъ сословій, трусости купцовъ и проч. Воинамъ не убитымъ онъ вмѣсто утѣшеній предлагаетъ спекуляціи, чтобъ вознаградить несчастіе остаться въ

жизни и пр. Въ философіи религіи онъ ясно высказы-  
ваетъ, что протестантизмъ временная форма, и что  
возможна новая религія, въ которой духъ на собствен-  
ной своей почвѣ, въ величіи собственного образа явится  
религіей и философіей вмѣстѣ. Впослѣдствіи онъ этотъ  
результатъ такъ просто не высказывалъ. 2 ноября 1800 г.  
писалъ онъ къ Шеллингу о своей системѣ, гдѣ между  
прочимъ говоритъ: «Ich frage nicht jetzt welche Rückkehr  
zum Eingreifen in das Leben der Menschen zu finden ist?». Въ 1805 году, Гегель, читая курсъ исторіи, опредѣлилъ  
себя относительно Шеллинга, и Шеллинга относительно  
науки такъ, какъ послѣ они и остались. Замѣчательно,  
что вся Германія отстала отъ Гегеля и уже въ наше  
время смекнула въ чемъ дѣло, да и то Шеллингъ сво-  
имъ мистическимъ дурачествомъ самъ привелъ къ кри-  
тикѣ. Въ Іенѣ у Гегеля было очень мало слушателей—  
его рѣшительно не понимали студенты. Тамъ въ 1806  
окончилъ онъ свою феноменологію (Розенкранцъ очень  
хорошо ее называлъ Пургаторіемъ) и когда французы  
взошли въ Іену, онъ положилъ въ карманъ рукопись и  
пошелъ искать пристанища у Габлера. Тутъ онъ видѣлъ  
Наполеона—diese Weltseele какъ онъ говоритъ. „Стран-  
ное чувство, продолжаетъ онъ, видѣть такое лицо, вотъ  
эта точка, сидящая на лошади, тутъ..... царитъ міромъ.“

И прибавить слѣдуетъ: въ толпѣ, едва замѣтная фи-  
гура, бѣдный профессоръ несетъ въ карманѣ исписан-  
ные листы, которые не меньше будутъ царить, какъ  
приказы Наполеона. Жизнь! Гегель женился въ 1811  
году и писалъ въ честь своей невѣсты очень невзвуч-  
ные, но за то очень основательные стихи. Въ жизни  
былъ великій филистеръ.

## СЕНТЯВРЬ МѢСЯЦЪ

3. — Не знаю счастье или нѣтъ великимъ людямъ, что передавать ихъ жизнь всего чаще случается людямъ ограниченнымъ. Ласъ-Казъ, Екерманъ, Розенкранцъ приносятъ въ свое дѣло усердіе и честность, но ни понятія, ни таланта. Другой иначе бы воспользовался жизнью Гегеля, онъ представилъ бы этаго человѣка демоническимъ явленіемъ, мыслью, поглотившею всю дѣятельность, но мыслью, носившею религію, науку, искусство, право будущаго. У Гегеля внѣшней жизни не было; одно существованіе: онъ жилъ въ логикѣ, въ наукахъ и довольлъ себѣ; у него не было друзей. Женившись 40 лѣтъ, онъ передъ свадьбой писалъ къ невѣстѣ диссертацию объ обязанностяхъ брака, онъ отталкивалъ своими приемами, его улыбка была добродушіе съ ироніей, онъ не умѣлъ говорить. И все это вмѣстѣ характеризуетъ его въ десять разъ болѣе, нежели натяжки Розенкранца представить его дѣятельнымъ ректоромъ, прекраснымъ пріятелемъ, мужемъ. Гегель былъ величайшій представитель переворота, долженствовавшего отъ А до Z провести новое сознаніе человѣчества въ науки; въ жизни онъ былъ ничтоженъ. Къ этому, само собой разумѣется, много способствовало время, въ которое онъ жилъ и страна. Берлинъ сверхъ того имѣлъ на него вліяніе; въ практическомъ мірѣ Гегель былъ мѣщанинъ. Онъ не постыдился просить защиту прусскаго министерства противъ злой критики, помѣщенной въ прусскомъ журналѣ по поводу неделикатной и почти

подлой выходки противъ Фриза, онъ совѣтывалъ ограничить свободу печатанія журнала. Наконецъ его преподаваніе философіи права, сколько принесло важной пользы и разсѣяло пустую и всеобщую теоретическую демагогію, столько же сдѣлала вреда, защищая съ энергіей существующее зло, и ругаясь какъ надъ величайшей пошлостью, надъ *прекрасной душой* юношескихъ порывовъ.

4. — Пора ѣхать въ Москву, а смерть не хочется. Здѣсь жизнь какъ то чище и благороднѣе. Дѣйствительнаго дѣянія, на которое мы бы были призваны, нѣтъ, выдыхаться въ вѣчномъ плачѣ, въ сосредоточенной скорби не есть дѣло. Чт. же мнѣ дѣлать въ Москвѣ? Быть тутъ — зачѣмъ? Два, три близкихъ человека и толпа глупая, гадкая. Когда я смотрю на бѣдныхъ крестьянъ, у меня сердце обливается кровью, я стыжусь своихъ правъ, стыжусь, что и я долею способствую заѣдать ихъ жизнь, и этотъ стыдъ поднимаетъ душу и не безплоденъ; тутъ на бѣдной, жалкой скалѣ я могу чтонибудь сдѣлать. А та толпа вселяетъ презрѣніе, она не голодна, она сыта и рада, что сыта. О еслибъ гдѣнибудь въ тепломъ краю годъ-два пожить, пожить дѣятельно и мыслию и сердцемъ, но безъ толпы. Мнѣ даже люди выше обыкновенныхъ начинаютъ быть противны; этотъ суетный, сорокалѣтній парень Хомяковъ, просмѣявшійся цѣлую жизнь и ловившій нелѣпый призракъ Руссо-византійской церкви, дѣлающейя всемірной, повторяющій одно и то же, погубившій въ себѣ гигантскую способность, и Аксаковъ, безумный о Москвѣ, ожидающій не нынче завтра воскресенія старинной Руси, перенесенія столицы и чертъ знаетъ что. Даже И. В. Киреевскій страненъ при всемъ благородствѣ. Бѣлинскій

правъ. Нѣтъ мира и свѣта съ людьми до того разными.

А прогор, въ Allgemeine Zeitung выписка изъ статьи Бѣлинскаго о „Парижскихъ тайнахъ“ и именно они напали на то, что меня остановило, у насъ нельзя такимъ образомъ хвалить сытость (тѣмъ болѣе что и она очень апокрифна) и ругать революцію 30 года—imprasse. Опять бросить онъ на себя подозрѣніе въ сервильности.

### Москва.

15. — Давно пріѣхалъ; но что то не хотѣлось брать въ руки журналъ. Первая новость, которую я услышалъ, происшествіе на Лепешкинской фабрикѣ. Какіе то помѣщики Дубровины отдали въ кабалу 700 чело-вѣкъ крестьянъ, оторвавши ихъ отъ семействъ и заста-вляя, оставшихся въ деревнѣ стариковъ и дѣтей обра-ботывать барщину.

Прионять крестьянъ на работу дѣло обыкновенное, на дорогу и въ разные мѣста, преимущественно казен-ныя; нелѣпость и даже незаконность поступка очеви-дны. Крестьянинъ по закону работаетъ только три дня на господина, а тутъ онъ для себя не можетъ ничего сдѣлать. Но благо они терпятъ, правительство молчитъ. Дубровинскіе крестьяне оказались не такъ нравствен-ными, оставили работу и пошли толпою жаловаться въ генералъ-губернатору; онъ собрался ѣхать въ деревню, откуда онъ управлялъ въ теплую погоду губерніей, и поѣхалъ, поручивъ разобратъ какому то адъютанту. Тотъ, желая отличиться усмирениемъ революціи и най-дя сопротивленіе, далъ залпъ по голодной толпѣ, пере-билъ нѣсколько чело-вѣкъ и все вошло въ порядокъ. Теперь присланъ чиновникъ изъ Министерства Внутрен-



нихъ дѣлать слѣдствіе. Благородное руссiйское дворянство, нечего связать! Въ Новгородѣ выборные чиновники до того напакостили, что государь велѣлъ новгородскому дворянству объявить и просить дать знать, что онъ „съ горестью видитъ, что дворянство не умѣетъ пользоваться правами, ему дарованными, и буде впредь оно не исправится, онъ отмѣнитъ права.“

Что за люди, а впрочемъ они потому и не умѣютъ пользоваться, что права дарованы и дарованы тогда, когда объ нихъ и въ голову не приходило. Въ *pendant*. А судъ парламента освободилъ О'Коннеля. Великая страна, благоговѣть надобно передъ этой высокой, святой правомѣрностью. Это событіе всемірное, важность его неисчислима. „О'Коннель противъ королевы.“ Англичане враги, перы, аристократы все подчинили закону и великое, пластическое, плутарховское лицо агитатора снова явилось середь Дублина, съ тою же рѣчью, съ тѣмъ же видомъ. Истинно доблестная личность, его не удивила, не ошеломила свобода, онъ вышелъ изъ тюрьмы готовымъ на трудъ, вооруженнымъ, его первое слово было въ пользу репила, онъ требуетъ, чтобъ судили пристрастныхъ судей и смѣется надъ юриспруденціей *attorney general*. Бѣдныя, жалкіе славянофилы! Ну что же Англія то не проваливается, или въ Европѣ, въ запусѣвающемъ западѣ остались двѣ, три жилы полныя здоровой кровью? И не эта ли кровь недавно въ монархической Пруссiи раздалась при закладѣ Кѣнигсбергскаго университета, почти надъ ухомъ самаго короля, клавшаго первый камень. Святая почва Европы, благословеніе ей, благословеніе!

— Кончилъ Розенкранцеву книгу. Нѣтъ ничего смѣшнѣе, что до сихъ поръ нѣмцы, а за ними и всякая всячина, считаютъ Гегеля сухимъ логикомъ, костлявымъ



діалектикомъ въ родѣ Вольфа, въ то время какъ каждое изъ его сочиненій проникнуто мощной поэзіей, въ то время какъ онъ, увлекаемый (часто противъ воли) своимъ гениемъ, облачаетъ спекулятивнѣйшія мысли въ образы поразительности, мѣткости удивительной. И что за сила раскрытія всякой оболочки мыслью, что за молніеносный взглядъ, который всюду проникаетъ и все видитъ, куда ни обернулъ бы взоръ. Взглянулъ ли на хитрость, онъ говоритъ: „хвала хитрости, она — женственность воли, пронія безумной силы. Она не плутовство—она совмѣстима съ чрезвычайной открытостью. Величіе поступковъ (*das Betragen*) состоитъ въ томъ, чтобъ своей открытостью заставить другихъ показаться такими, какими они есть, такая открытость перехитрить безъ интриги.“ Стыдъ, что такое стыдъ? «*Das Trennbare, so lange es vor der vollständigen Vereinigung noch ein Eigenes ist, macht den liebenden Verlegenheit. Es ist eine Art von Widerstreit zwischen der völligen Hingebung, der einzig möglichen Vernichtung, der Vernichtung des Entgegengesetzten in der Vereinigung und der noch vorhandenen Selbstständigkeit. Jene fühlt sich durch diese gehindert. Die Liebe ist unwillig über das noch Getrennte, über ein Eigenthum. Diese Zürnen der Liebe über Individualität ist der Schaam. Sie ist nicht Zucken des Sterblichen, nicht Aeusserung der Freiheit, sich zu erhalten, zu bestehen. Bei einem Angriff ohne Liebe wird ein liebevolles Gemüth beleidigt. Sein Schaam wird zum Zorn, der jetzt nur das Eigenthum, das Recht vertheidigt. Wäre die Schaam nicht eine Wirkung der Liebe, die nur darüber, dass etwas Feindseliges ist, die Gestalt des Unwillens hat, sondern ihrer Natur nach selbst etwas Feindlicher das ein angreifbares Eigenthum behaupten wollte, so müsste man von den Tyrannen sagen, sie haben am meisten Schaam, so wie von Mädchen*

chen die ohne Geld ihre Reise nicht preisgeben oder von den eitlen die durch sie fesseln wollen. Beide lieben nicht. Ihre Vertheidigung des Sterblichen ist das Gegentheil des Unwillens über dasselbe. Sie legen ihm in sich einen Werth bei, sie sind Schaamlos. Ein reines Gemüth schämt sich der Liebe nicht, es schämt sich aber, das diese noch nicht vollkommen ist, sie wirft es sich vor, dass noch eine Macht, ein Feindliches ist, welches der Vollendung hinderlich и проч. Такихъ мѣстъ чрезвычайно много. Я читаю теперь его исторію философіи. Что за изложеніе: Софисты, Сократъ, Аристотель, да это такіе, высоко художественные, оконченные возстановленія, передъ которыми долго останавливаешься, пораженный свѣтомъ. И все это сухой логикъ!

17. — Оттого, что мы глубоко, непреминно распались съ существующимъ, оттого ни у кого нѣтъ собственно практическаго дѣла, которое было бы принимаемо за дѣло истинное, вовлекающее въ себя всѣ силы души. Отсюда небрежность, nonchalance, долею эгоизмъ, лѣнь и бездѣйствіе. Вотъ среда благопріятная для развитія! Чѣмъ больше, чѣмъ внимательнѣе всматриваешься въ лучшихъ, благороднѣйшихъ людей, тѣмъ яснѣе видишь, что это неестественное распадѣніе съ жизнію ведетъ къ идіосинкразіямъ, къ всякимъ субъективнымъ блаженіямъ. Beatus ille, qui procul negotiis можетъ съ головою погрузиться въ частную жизнь или въ теорію. Не всякій можетъ. И эти то немогущіе вянутъ въ монотонной, длинной агоніи, плачевной и главное убійственно скучной. Въ юности все еще кажется, что будущее принесетъ удовлетвореніе всему, лишь бы добратся поскорѣе до него, но nel mezzo del camin di nostra vita нельзя себя тѣшить—будущее намъ лично ничего не предвѣщаетъ,

мѣвъ гоненія усугубленныя и опять скуку бездѣйствія. Будутъ ли наши дѣти счастливы? Всякій разъ какъ я вижу Чаадаева, напимѣръ, я содрагаюсь. Какая благородная, чистая личность и что же? въ этой жизни тяжелая атмосфера сѣверная сгибаетъ въ ничтожную жизнь маленькихъ преній, пустой траты себя словами о ненужномъ, ложной замѣной истиннаго дѣла и слова. Хорошо кому это по натурѣ какъ Хомякову, онъ родился для византийско-петербургскаго порядка дѣлъ.

Жизнь безъ сильныхъ искушеній, несчастій такъ же неполна, какъ безпрестанно подавляемая несчастіемъ. Вѣчное горе дѣлаетъ скрытнымъ, недовѣрчивымъ, наконецъ повергаетъ въ совершенное безучастіе къ себѣ и къ окружающему и въ этомъ оно похоже на счастье никогда не возмущавшееся; благородная натура не теряетъ симпатій своихъ ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ, но онѣ остаются въ какой то непроявляемой *Innerlichkeit*. Вообще жизнь для полного развитія требуетъ событій; въ иномъ хранится бездна возможностей, о которыхъ онъ и не подозрѣвалъ и которыя никогда не дойдутъ до одѣйствоворенія, не будучи вызваны внѣшними условіями, наоборотъ теоретически можно увѣриться въ такихъ силахъ своихъ, которыхъ вовсе нѣтъ. Бѣда нашего вѣка въ расторженіи теоретической жизни и практической, исключая впрочемъ Англію. У грековъ было не такъ, отъ того жизнь ихъ (въ своихъ предѣлахъ, разумѣется) была виртуознѣе и лучше. Между прочимъ мы себя раздражаемъ непрерывно мечтами, этимъ суррогатомъ дѣйствительныхъ страстей. Одинъ никого не любитъ, а влюбленъ, теоретически хочетъ жениться во что бы ни стало, другой выдумываетъ другую мнимую муку и носится съ нею, все это одинакимъ образомъ свидѣтельствуетъ о

совершенномъ недостаткѣ истинныхъ, все поглащающихъ занятій ; дѣятельность теоретическая недостаточна.

23. — Объясненіе съ Д. П. \*) — *omni casu* его поступокъ благороденъ, ничѣмъ не понуждаемый, онъ самъ пришелъ ко мнѣ, чтобъ подробно и, какъ кажется, открыто изложить причину своего образа дѣйствій относительно наслѣдства. Гордость, аристократическія понятія на первомъ планѣ. Старикъ это достойное наказаніе за цѣлую жизнь эгоизма и непослѣдовательности убѣжденій, когда только замѣшивалась корысть, за его неуваженіе къ человѣку, за его скрытную двуличность. Мы разстались не безъ уваженія другъ къ другу, я совершенно прямо говорилъ о моихъ отношеніяхъ, мнѣ нечего прятать, все что я дѣлаю, я могу дѣлать всенародно, особенно въ этомъ, т. е. въ финансовомъ отношеніи. А между тѣмъ, онъ одному Д. П. вѣрилъ, на сколько могъ. И въ этомъ продолженіе казни. *Au geste qui vivra veerra*. Рано или поздно придется и окончательно высказаться.

Все время штудировалъ Аристотеля въ Гегелевой исторіи философіи. Господи, вотъ талантъ то. Я его считаю замыкателемъ греческой философіи. Нео-платонизмъ не имѣетъ того огромнаго сціентифическаго значенія, кажется мнѣ, которое ему придаютъ теперь и Гегель.

А впрочемъ кто гигантъ Аристотель или Греція? Гераклитъ за 500 лѣтъ до Рождества Христова положилъ въ основу *pánta rēi*. А софисты это бретеры діалектики.

\*) Галахвастовъ.

30. — Агтапсе возвратилась. Что за странная, уродливая исторія! Я не обвиняю, не хочу обвинять; но не могу не видать безумія во всемъ и въ нихъ обоихъ. Конечно Б. \*) болѣе виновать, нежели 18-ти лѣтняя неразвитая, пылкая парижанка, ему 35 лѣтъ да и нравъ не такъ порывистъ. Для чего же онъ женился? Для чего она шла за него, видя его рефлекцію и пр. Черезъ 7 дней — въ ссорѣ, черезъ мѣсяцъ въ разлукѣ и на всегда. Она оскорблена, страдаетъ.

Неразвитость ея не резонъ, онъ долженъ былъ развить ее. Эгоизма бездна виднѣется въ этомъ пренебреженіи къ ближнему, что то Горасовское. И зачѣмъ она пріѣхала? Ей, ей все безуміе и одно безуміе.\*\*)

Бакунину префектъ въ Парижѣ велѣлъ выѣхать — знай нашихъ — одинъ испанскій exaltado говорилъ, что Бакунинъ далеко ушелъ. Въ Цюрихѣ въ тюрьмѣ, а изъ Парижа выслали.

## ОКТЯВРЬ МѢСЯЦЪ

3. — Постоянно занимаюсь чтеніемъ Гегелевой исторіи философіи и статей. Началъ ходить къ Глѣбову на лекціи, читаетъ прекрасно сравнительную анатомію и анатомію человѣческаго тѣла.

8. — Продолжаю заниматься и оттого рѣдко добираться до журнала. Надобно обратить побольше вниманія на естественныя науки, ими многое уясняется въ вѣч-

\*) Боткинъ.

\*\*) См. въ „Посмертныхъ Сочиненіяхъ“ рассказъ подъ заглавіемъ „Базиль и Армансъ“.

ныхъ вопросахъ. Я отсталъ, десять лѣтъ почти вовсе не занимался ими.

15.—На дняхъ получилъ прекрасное письмо отъ Огарева, не смотря на всѣ странности, на всѣ слабыя стороны его характера, я рѣшительно не знаю человѣка, который бы такъ поэтически, такъ глубоко и вѣрно отзывался на все человѣческое. Я совершенно примирился съ нимъ, а то были минуты, въ которыя я негодовалъ и очень. Женщина эта мучить его, преслѣдуетъ и не выпускаетъ изъ рукъ добычи. Онъ ее не любить и между тѣмъ не можетъ отвязаться отъ нея — психическая задача. Долго ни онъ, ни Сатинъ не пріѣдутъ, и прекрасно для нихъ, пусть надышатся европейскимъ воздухомъ. А у насъ подтвержденіе ѣздить по чинамъ, какъ Петръ и Павелъ учреждали. Говорятъ еще, что право носить бобровые воротники предоставится только оберъ-офицерамъ. Чиновничество и византійскій китаизмъ. Женѣ Юшневскаго не позволяютъ возвратиться черезъ 19 лѣтъ.

Я чрезвычайно радъ, что попалъ опять на естественныя науки, надобно чѣмъ нибудь заглушить все, что остается отъ энергіи, кругомъ туманъ и конца ему не видать. И такъ кажется мы начинаемъ дѣлаться прошедшимъ! Вотъ и упованія. Здѣсь особенно скучны эти славянофилы, опять сдѣлались мнѣ противны, они сверхъ тупости хитры, коварны, исключая, разумѣется, двухъ, трехъ. Ихъ представитель Маякъ, напечатавшій нагло свое позорное и невѣжественное *profession de foi*....

Разрѣшенія на журналъ нѣтъ; это кажется послѣдняя мечта и та не сбудется! Стыдная жизнь; иногда бываетъ такъ тяжело, такъ тяжело, что апатія овладѣваетъ всѣмъ существомъ и хотѣлъ бы только ѣсть и пить.

21. — Переговоры о наслѣдствѣ etc. Удивительную мощь даетъ человѣку неуваженіе денегъ или по крайней мѣрѣ, когда въ немъ есть извѣстныя убѣжденія, которыя онъ ставитъ выше денегъ. Разумѣется, въ томъ случаѣ, когда это неуваженіе происходитъ не отъ Ноздревской безсчетности, а напротивъ соединено съ полнымъ сознаніемъ важности денежныхъ средствъ. Я отказался отъ Покровскаго, чтобъ не быть причиной ссоръ и дальнѣйшей запутанности. Отказъ съ моей стороны выкажетъ всѣхъ. Дм. Пав. странно судить, исполненъ предразсудковъ, но прямо обвинить его еще не могу, напротивъ много дѣльнаго и *шляхетно* благороднаго. Но что дѣлаетъ старикъ, Боже мой! Боже мой! Какъ страшно правъ Гоголь, говоря: забирайте теплыя и святыя чувства съ собою изъ юности, безъ нихъ старость страшнѣе могилы, на могилѣ хоть есть надпись, а въ безчувственныхъ чертахъ старости ничего не прочтешь. Эгоизмъ все вытраививаетъ съ лѣтами, если только неэгоистическія, человѣческія стороны такъ слабы, что могутъ вытравиться. Нѣтъ, такой старости не желаю, лучше умереть въ разгарѣ жизни, нежели живому пережить себя.

29. — Анатомія со всякимъ днемъ открываетъ мнѣ бездну новыхъ фактовъ, а съ ними мыслей, взглядовъ etc. на природу. Много знаютъ натуралисты, а во всемъ есть *нѣчто*, чего они не знаютъ и это нѣчто важнѣе всего, что они знаютъ. Объ этомъ именно я много писалъ въ своей статьѣ. А ргороз, я увѣренъ, что зоогностическая классификація Кювье и новѣйшихъ зоологовъ не удержится. Почему инфузоріи помѣщены ниже полиповъ? потому что малы; вообще безпозвочные худо размѣщены у Кювье: моллюски вслѣдъ за позвоночными,

но есть молюски чрезвычайно бѣдно организованные, всѣ безголовые; articulata не ниже высшихъ молюсковъ. Дѣло въ томъ, что прямолинейно нельзя расположить никакого царства природы, она разбрасывается и по множеству направленій достигаетъ высшихъ типовъ. Декандоль давно предлагалъ классификацію представлять въ томъ видѣ, какъ географическія карты. Читалъ Либиха органическую химию; много хорошаго, но и много гипотетическаго.

## НОВАЯ МѢСЯЦЪ

2. — Вчера въ плохомъ французскомъ спектаклѣ я былъ взволнованъ плохой пьесой и всего болѣе плохой публикою. Пьеса очень не важная, изъ нынѣшнихъ сентиментальныхъ и моральныхъ французскимъ пьесъ, гдѣ музыка играетъ въ мѣстахъ лирическихъ, а человѣкъ бредитъ на яву въ мѣстахъ патетическихъ. Но не въ этомъ дѣло. На сценѣ былъ представленъ старикъ музыкантъ, не ѣвшій, бѣдный, котораго хозяинъ дома выгоняетъ на улицу, у котораго отнимаютъ послѣднюю утѣху, старое фортепiano; старикъ проситъ, умоляетъ оставить ему инструментъ; строго исполняющій законъ и защищаемый имъ *progrès* не слушаетъ. Сцена страшная, вопиющая противъ современной общественности. Сцена производящая тупую боль, щемленіе, и до отвратительной степени вѣрная, ежедневная, ну возмутительная наконецъ. Я посмотрѣлъ на кресла, я поднялъ глаза на ложи. По сытому выраженію лица видно было, что они голоднаго не разумѣютъ. Что съ ними надобно



сдѣлать, чтобъ они начали понимать, чтобъ у нихъ сердце сверхъ приливовъ и отливовъ крови еще имѣло бы какое нибудь содержаніе.

— Гагаринъ католикъ сдѣлался іезуитомъ, онъ хочетъ натурализироваться во Франціи и потомъ, сдѣлавшись священникомъ, возвратиться въ Россію. Всякое убѣжденіе, заставляющее человѣка пренебрегать всѣмъ временнымъ, особенно русскаго, почтенно не само въ себѣ, а въ человѣкѣ. Au geste все это невозможно, его на границѣ схватятъ, или не пустятъ въ Россію, или онъ безъ вѣсти исчезнетъ. И за что идетъ онъ, понукается на мученичество, изъ за идеи мертвой, погибшей. Русскій, развивающійся до всеобщихъ интересовъ, готовъ схватиться за всякій вздоръ, чтобъ заглушить только страшную пустоту.

9.— Читалъ Гётевскія сочиненія по части естествовѣденія; что за исполинъ — намъ слѣдить невозможно за всѣмъ тѣмъ, что имъ сдѣлано и какъ! Поэтъ не потерялся въ натуралистѣ, его наука точно также поэзія жизни, реализма, съ такимъ же пантеистическимъ характеромъ и съ тою же глубиною. Теоретическимъ мыслителемъ, діалектикомъ онъ не былъ. Между прочимъ онъ въ предисловіи къ *Metamorphosen der Pflanzen*, говоритъ о незамѣтномъ переломѣ, какъ человѣкъ сначала съ юными силами непрерывно расширяетъ область своего вѣденія и мало по малу переходитъ къ храненію нажитаго и уже нѣтъ того стремленія къ новому. И мы скоро перейдемъ въ эту фазу, да только что хранить? Мы пали подъ бременемъ вѣка и страны, у насъ будущности нѣтъ, изъ прошлаго вынесли любовь къ людямъ и скептицизмъ. Ученія убѣжденія слабы, бѣдны, набирать ихъ поздно. Жизнь, если не пересѣчется не-

лѣпой случайностью, представить монотонную и однообразную іереміаду негодованій на окружающее, повтореній, таже невозможность писать то, что хочешь, и неспособность писать то, что можно. „Это наказаніе людей, выходящихъ изъ современности своей страны.“ Такія сентенціи хороши въ философіи, а на дѣлѣ скверны; а кто насъ вывелъ изъ современности, развѣ можно было найтись въ подобныхъ странныхъ обстоятельствахъ, не потерявъ человѣческаго достоинства.

Грановскій написалъ диссертацию о Винетѣ и Воллинѣ, гдѣ онъ доказываетъ, что Винета славянскихъ преданій никогда не существовала и пр. Такова дикая нетерпимость славянофиловъ, что они хотятъ возвратитъ диссертацию, что вѣроятно примѣра не имѣетъ, и готовы преслѣдовать Грановскаго какъ лице. Преслѣдовать за Винету — это дѣлаетъ маленькое указаніе, еслибъ эти люди получили власть въ руки, чтобы они сдѣлали со всѣми непокоряющимися ихъ варварскимъ мнѣніямъ; они показали бы что такое цензура великаго народа и что такое кроткая сила слова православной церкви. Теперь они ликуютъ и не нарадуются вѣсти, что *Отеч. Зап.* запрещены, и черезъ кого какъ не черезъ Погодина и Шевырева. И Грановскаго журналъ отчего не позволяютъ, я увѣренъ, что по ихъ гадкимъ доносамъ и проискамъ.

9.— Толки и переговоры съ Иваномъ Васильевичемъ на счетъ участіюванія нашего въ *Москвитянинъ*. Я сначала сказалъ, что такъ какъ опредѣленная и весьма большая разница въ нашихъ убѣжденіяхъ очевидна, но тѣмъ не менѣе нельзя отрицать личныхъ симпатій, искренняго уваженія къ его лицу, то я полагаю лучше подождать книжку, другую журнала и потомъ посмо-

трѣть возможно ли намъ участвовать. Безпристрастіе есть своего рода неопредѣленность и апатія, личное уваженіе есть тоже личность вредная дѣлу. Сверхъ того Иванъ Васильевичъ не дошелъ до послѣдней точки москвизма, но вся его партія щеголяетъ дикими и исключительными анти-гуманными мыслями. Хомяковъ согласился со мною и присовокупилъ, что онъ не далъ бы статьи Грановскому. Я замѣтилъ ему, что, проводя ту же консеквентность, Грановскій не взялъ бы и не помѣстилъ бы ее. Многосторонность симпатій nous égarrent; надобно рѣзко и опредѣленно обозначить въ чемъ наша мысль, и прямо высказать дѣломъ и словомъ невозможность общенія съ противоположнымъ мнѣніемъ.

Жалкія и парадоксальныя мнѣнія отчаянныхъ славянофиловъ не такъ бы бѣсили, еслибъ онѣ были только нелѣпы, а то они нечеловѣчественны и противны. На похоронахъ Погодиной въ Лютеранской церкви они держали себя неблагопристойно, я просилъ Хомякова вспомнить, какъ онъ рекомендовалъ поступить съ иностранцемъ, который бы не снялъ шляпы въ проходѣ сквозь Спасскія ворота.

Потомъ толкъ о Гагаринѣ. Хомяковъ находитъ наглымъ и дерзкимъ до невѣроятности, намѣреніе его возвратиться сюда проповѣдывать католическимъ пасторомъ, натурализовавшись французомъ. „Ну да, если онъ убѣжденъ чисто и благородно, что католицизмъ есть единая дверь къ спасенію.“ Да какъ же онъ отказался отъ отечества? Не отъ отечества, а для своего спасенія отъ ка-торги принялъ онъ видъ француза. Этаго онъ понять не могъ. „Еслибъ, говоритъ онъ, англичанинъ сдѣлалъ подобный поступокъ?“ Ну что же, былъ бы кругомъ виноватъ, потому что въ Англіи его защищала его законъ и пр.

20. — Болѣе и болѣе расхожусь съ Славянами, кажется ихъ удивилъ прямой языкъ, мой тонъ у Свербѣева. Потому думаю, что меня всѣ спрашиваютъ какъ было, что было, главное какъ я рѣшился сказать поэту-лауреату береговъ Неглинной, „что и не помѣстятъ его статьи въ нашъ журналъ.“

И Аксаковъ становится скученъ отъ фанатизма московщины; мой разговоръ за недѣлю тому назадъ озлобилъ и удивилъ многихъ. Когда люди начинаютъ сердиться, они позволяютъ всплыть многому, что лежитъ на днѣ души и въ чемъ неохотно себѣ сознаются. Изъ манеры славянофиловъ видно, что если бы матеріальная власть была ихъ, то намъ бы пришлось жариться гдѣнибудь на лобномъ мѣстѣ.

29. — Нѣтъ человѣка, который былъ бы менѣе меня подверженъ всякаго рода Grübeleien; но подъ часъ душа вдругъ стѣсняется какимъ то ужасомъ, трепещетъ передъ грозными возможностями и за этими минутами слѣдуетъ печальная полоса, отъ которой долго не отдѣлываешься, черныя грезы съ какой то подробностью втѣсняются одна хуже другой. Шаткость всего святейшаго и лучшаго въ жизни можетъ свести съ ума. А то, чего утратить нельзя не сытитъ вполнѣ.

Встрѣтилъ, въ числѣ слушателей Глѣбова, одного замѣчательно умнаго молодаго человѣка и съ горестью наглазно измѣрилъ, сколько свободного и благороднаго задавили въ насъ опытъ и гоненія. Этотъ молодой человѣкъ открыто, прямо говоритъ свои убѣжденія, не кастрируя каждую мысль, не оглядываясь воровски. Я перенесся въ тѣ времена, когда я, студентъ, отдавался также увлеченію свободной, смѣлой рѣчи. И теперь бывають такія минуты, но потомъ спохватишься, вотъ что

скверно. Хитрить, искажать мысль, заставить догадываться..... конечно „это иронія der brutalen Macht,“ но громкая, открытая рѣчь одна можетъ вполне удовлетворить человѣка. Упрекають мои статьи въ темнотѣ, несправедливо, они намѣренно затемнены. Грустно!

### ДЕКАВРЬ · МѢСЯЦЪ

3. — Наконецъ я дочиталъ брошюру Прудона *О Собственности*. Прекрасное произведеніе, не только не ниже, но выше того, что говорили и писали о ней. Разумѣется для думавшихъ объ этихъ предметахъ, для страдавшихъ надъ подобными соціальными вопросами главный тезисъ его не новъ; но развитіе превосходно, мѣтко, сильно, остро и проникнуто огнемъ. Онъ совершенно отрицаетъ собственность и признаетъ владѣніе индивидуальное и это не личный взглядъ, а выводъ логическій и строгій, которымъ онъ развиваетъ невозможность, преступность, нелѣпость права собственности и необходимость владѣнія. Очень встати къ этой брошюрѣ заключеніе отчета министра Киселева. помѣщенное въ газетахъ. Это министерство тоже не признаетъ собственность, ни даже владѣніе; въ то время какъ стонъ со всѣхъ сторонъ Россіи поднимается до Москвы и до Петербурга, этотъ человѣкъ имѣетъ мѣдный лобъ говорить, что ропотъ крестьянъ происходитъ отъ ихъ непривычки къ правильному управленію и порядку, что ихъ благосостояніе растетъ, что учрежденія не требуютъ коренныхъ измѣненій, что стоитъ имъ развиваться въ томъ же духѣ и заключаетъ наконецъ тѣмъ, что встрѣчаемыя

имъ неудовольствія необходимыя слѣдствія переворота, въ родѣ испытанія людямъ, идущимъ на исполненіе святой воли Господа. Съ какимъ негодованіемъ лѣтъ черезъ 50 будутъ читать такую колоссальную ложь и такое безстыдство; и никто не смѣетъ уличить, отвѣтить, по крайней мѣрѣ раскрыть глаза.

4. — Писалъ въ Самарину. Не могъ, да и не хотѣлъ удержаться, чтобъ не написать ему вполнѣ мое мнѣніе о славянахъ, объ этой пустотѣ, болтовнѣ, узкомъ взглядѣ, стоячести и пр. Ему изъ Петербурга по воспоминанію, издали, долго не отдѣлаться отъ нихъ, я не полагаю, чтобъ мое письмо на него подѣйствовало, но пусть же онъ услышитъ и другую сторону. Онъ одинъ изъ нихъ можетъ, вѣроятно, еще спастись. Исторія съ диссертацией Грановскаго послужила на пользу, всѣ сняли перчатки и показали настоящій цвѣтъ кожи. Грановскій отказался отъ всякаго участія въ *Москвитянинъ*.

10. — Славянофильство имѣетъ подобное себѣ явленіе въ новой исторіи западной литературы. Появленіе національно-романтической тенденціи въ Германіи послѣ наполеоновскихъ войнъ, тенденціи, которая находила слишкомъ всеобщую и космополитическую науку и мысль, шедшая отъ Лейбница, Лессинга до Гердера, Гёте, Шиллера. Какъ ни естественно было появленіе нео-романтизма, но оно было не болѣе какъ литературное, научное явленіе безъ симпатіи массъ, безъ истинной дѣйствительности, не трудно было угадать, что черезъ десять лѣтъ объ нихъ забудутъ. Точно такое же положеніе занимаютъ славянофилы. Они никакихъ корней не имѣютъ въ народѣ, они западной наукой дошли до своихъ національныхъ теорій, это болѣзнь литературная и больше

никакого значенія не имѣющая. Они вспоминаютъ то, что народъ забываетъ и даже о настоящемъ имѣютъ вовсе несходное мнѣніе съ народнымъ. Недавно я слышалъ, какъ они говорятъ о нравственной и крѣпко семейной жизни сельскаго духовенства, о вліяніи этихъ добрыхъ отцовъ семейства на крестьянъ, отъ допс, кто когда нибудь живалъ въ деревняхъ или говорилъ съ крестьянами хоть на большой дорогѣ, тотъ знаетъ истину такой идилліи.

„Зачѣмъ иностранцы насъ не понимаютъ, зачѣмъ смотрятъ враждебно, зачѣмъ мало занимаются нами еіс.“ Да зачѣмъ мы сами не болѣе 15 лѣтъ стали заниматься собою какъ самобытными; заниматься кѣмъ нибудь тогда только можно, когда онъ стоитъ этаго. Европа очень занимается нашей силой, потому что она въ ней видитъ мощнаго раба подѣ вліяніемъ розги и бича, который готовъ на время разрушить великіе плоды вѣковъ; Европа *tacitement* стоитъ подѣ однимъ знаменемъ отъ Кенигсберга до Дублина, разногласіе ихъ частныя вопросы, но есть Лабарумъ, около котораго всѣ народы готовы были бы соединиться (исключая можетъ части Австріи). Съ другой стороны они видятъ знамя прямо противоположное, написавшее яркими буквами „Самодержавіе“ —они должны ненавидѣть станъ враговъ и тотъ народъ, который готовъ идти на гибель народамъ.

11.— Когда при возрожденіи наукъ явилась древняя гуманная цивилизація, весь средневѣковый міръ испыталъ то, что русское государство испытало при принятіи западной цивилизаціи. Иная, вполне развитая мысль, вѣдралась въ Европу католическую и сочеталась съ нею; къ намъ такъ явилась мысль европейская.

14. — Вчера въ десять минутъ двѣнадцатаго родилась малютка. Странія были велики, но вѣры больше нежели тѣ раза. Рожденіе малютки — потрясающій религиозно-физическій актъ; люди со слабыми нервами не могутъ присутствовать при страданіяхъ женщины. Очень вѣроятно, я вовсе не подверженъ нервнымъ припадкамъ, но и то чувствую, что еще не много и волненіе сдѣлается не по груди, то есть сильнѣе сознанія. Особенно минута рожденія, перваго крика: какъ будто что нибудь обрывается въ груди, можетъ это магнетическое соотношеніе съ родильницей. И такъ дочь! Мнѣ хотѣлось дочь, если наша семья не уменьшится, останется такъ какъ есть, пожалуй и не увеличится — она какъ то теперь цѣла, замкнута. Надобна была дѣвочка, чтобъ въ ней повторилась мать, чтобъ былъ элементъ *des Weiblichen*, мягкости, кротости. Еслибъ я могъ быть счастливъ въ одномъ домашнемъ счастьи, еслибъ я имѣлъ эгоизмъ людей, называемыхъ добрыми отцами семействъ, я былъ бы вполне счастливъ. И теперь, когда черныя мысли о безвыходности, о бездѣйственности, о утратѣ всѣхъ упованій найдутъ на душу, одно утѣшеніе семья и двое, трое друзей. Оно врачуетъ, это правда, но врачеваніе есть само по себѣ актъ скорбный и пр.

Сегодня 19 лѣтъ знаменитому 14 Декабрю.

16. — Давно, а можетъ и никогда я не испытывалъ такого кроткаго чувства спокойнаго обладанія счастьемъ очага своего, какъ нынѣ. Правда торжественна была минута рожденія Саши, но наша неопытность повергала насъ въ непрерывный страхъ. Этотъ страхъ только развился отъ несчастныхъ случаевъ и когда родился Николя, я ничего не надѣялся, я былъ увѣренъ что онъ не останется живъ... совсѣмъ напротивъ теперь, я твердо



вѣриль и вѣра сбылась. Вся обстановка теперь какъ то тихо, прекрасно покойна. Такими днями, полосами въ жизни человѣкъ долженъ дорожить, проклятое невниманіе наше къ настоящему дѣлаетъ то, что мы только умѣемъ воспоминать утраченное. Конечно мудро оттолкнуть страшную мысль возможностей, случайностей; зачѣмъ смотрѣть впередъ, предвидѣть чего нѣтъ, что можетъ не быть, это своего рода Ggübeleien, отъ которыхъ я не такъ свободенъ какъ отъ романтическихъ. Идеализмъ выводитъ изъ этой шаткости благъ необходимость пренебреженія ими; конечно сфера идей не зависитъ отъ случайности и исключительное погруженіе въ частности губительно, но нельзя же опять выйти изъ своей кожи для того, чтобъ существовать только какъ мысль. Не тоѣмо блага жизни шатки, но сама жизнь шатка, малѣйшее неравновѣсіе въ этомъ сложномъ химизмѣ, въ этой отчаянной борьбѣ организма съ своими составными частями и жизнь потухла; однако, изъ этаго не слѣдуетъ, что лучше не родиться или родившись зарѣзаться, чтобъ не подвергнуться случайностямъ. Все прекрасное нѣжно, это цвѣты, которые мрутъ отъ каждаго холоднаго вѣтра, въ то время какъ суровый стебель крѣпнетъ, но за то онъ и не благоухаетъ и не имѣетъ яркихъ лепестковъ. Жизнь въ высшемъ проявленіи слаба, потому что вся сила матеріальная была потрачена, чтобы достигнуть этой высоты, мускулы можно рѣзать, члены отнимать, а до мозга нельзя грубо прикоснуться. Таковы блага любви, ими надобно упиваться, отдаваться имъ, жизнь въ нихъ ловить, цѣнить каждое мгновеніе. Nur wenn er glühet, labet der Quell. Августинъ говоритъ, что человѣкъ не можетъ быть цѣлью человѣка, страшные удары смерти ежедневно доказываютъ это; тотъ, кто все положилъ на одну го-

лову, для кого нѣтъ бога, кромѣ этаго лица, подвергается грозной случайности, безумію, самоубійству. Но что это *все*, какъ оно принято, въ какихъ предѣлахъ? мать стенающая у гроба единственнаго сына и молящаяся о душѣ его, этимъ актомъ показываетъ, что не все для нея было въ сынѣ. Но кое-что, и кое-что многое должно лежать на людяхъ, должно имѣть цѣлью ихъ, иначе холодъ и запустѣніе посѣтятъ душу, эгоизмъ или монашество — одинъ выходъ. Что за стертое и дерзко-скупое лицо, которое оттого заморить въ своей душѣ потребность любви, что предметъ его любви можетъ умереть, измѣнить и пр. Конечно могутъ быть выродки, т. е., люди не чувствовавшіе вовсе этой потребности; другое дѣло, глухимъ никто не рекомендуетъ слушать *Salvi*. Ловить настоящее, одѣйствоворить въ себѣ всѣ возможности на блаженство — подъ нимъ я разумѣю и общую дѣятельность, и блаженство знанія также, какъ блаженство дружбы, любви, семейныхъ чувствъ — а тамъ, что будетъ, то будетъ; на мнѣ отвѣтственность не лежитъ, тотъ отвѣтитъ, кто скрылъ талантъ въ землю, чтобъ его не украли. Талантъ, мы беремъ его со стороны его развитія, какъ великую возможность дѣятельности для другихъ; но зарыть талантъ не токмо можно для другихъ, но тоже преступленіе человѣкъ можетъ сдѣлать относительно себя.

Развѣ не глупый поступокъ сдѣлаетъ тотъ, который, страстно любя музыку, не пойдетъ ее слушать, имѣя на то возможность. Мнѣ всегда казались противны и смѣшны люди изъ какой то экономіи ощущеній, отказывающіеся отъ лучшихъ даровъ жизни; на это имѣютъ право одни безумные религіозники, для нихъ самоотверженіе ненужное и подавляющее самыя естественныя потребности — потѣха. Такое прекрасное лицо какъ Гри-

горій Назіанзинъ писалъ къ Василю Великому: „Помнишь ли, какъ мы тогда роскошествовали лишеніями.“  
Стало всѣ страсти, развратъ, обжорство имѣютъ полное право..... нѣтъ, не стало. У низкаго человѣка низкія желанія; но человѣкъ долженъ быть высокъ, поднимаясь, онъ подниметъ свою страсть, а поднимаясь, она проходитъ великое чистилище. Страсти низкія большею частію сильны потому, что хорошія сгнетены, или лучше они сами по себѣ хороши, но низки отъ сгнетенія. Отчего многіе изъ людей развитыхъ охотно выпьютъ стаканъ благороднаго вина и можетъ одинъ на тысячу щетъ мертвую чашу, а въ несчастныхъ классахъ, на которыхъ груди стоитъ безобразное зданіе нашей общественности, на оборотъ? Отчего во всѣхъ слояхъ общественныхъ есть женщины увлекавшіяся, падавшія какъ говорятъ, а публичные дома снабжаются только нисшими классами? Неужели эти бѣдныя жертвы гнусной несправедливости такъ легко попали бы въ свое ремесло, еслибъ онѣ имѣли воспитаніе? Чѣмъ больше разовьется человѣкъ, тѣмъ чище сдѣлается грудь и тѣмъ труднѣе будетъ его увѣрить, что бѣлое—черно, что все естественное—преступно, что все доставляющее истинное наслажденіе должно быть избѣгаемо. Есть несчастная распущенность, которая, какъ и вообще слабость характера, унижаетъ человѣка, такой человѣкъ слѣдуетъ уже не разуму, не сознанію, а однимъ естественнымъ влеченіямъ и тогда онъ становится ниже человѣческаго достоинства. Опять таже статика. Всѣ стороны, составляющія живой духъ человѣка, должны слитно, гармонически участвовать въ его дѣяніи,\*) иначе выйдетъ

\*) Вспомнилъ мысль рѣзко высказанную Павловымъ (студентомъ). Онъ называетъ всемірный процессъ химизмомъ: двуначальный хи-

односторонность. Физически это очень понятно, потому что въ физическомъ мірѣ царятъ Драконовы законы жесткіе и кровавые, пусть въ крови неостанетъ одной изъ существенныхъ составныхъ частей—смерть за эту неполноту; то негодно, что неполно. Но на эту тему можно написать цѣлую тетрадь. Возвращаюсь. Это чувство d'une béatitude tranquille давно мною не чувствовалось такъ; святые, прекрасные мѣсяцы моей Владимірской жизни были ярче, потому что мы были юнѣе, но есть и поэзія возмужалости, такъ какъ есть юное въ совершеннолѣтіи; теперь отчетливѣе, реальнѣе то, что было тогда лучезарнѣе и мечтательнѣе. За день до рожденія Наташи я какъ то превосходно настроился, съ какимъ то Sehnsucht хотѣлъ видѣть Грановскаго и Корша, т. е. всѣхъ по комъ у меня здѣсь можетъ быть Sehnsucht, на душѣ было легко, юное вспомнулось. И такъ, да благословится же на жизнь этотъ младенецъ, пусть она будетъ какъ ея братья, а главное какъ ея мать. Въ Николинкѣ есть что то женское, что за безконечная кротость въ его дѣтскихъ чертахъ, что за мило-доброе и вѣчно смѣющееся лицо.

17. — Языковъ написалъ какіе то ругательные стихи на Чаадаева, Грановскаго и Герцена! Ог допс Грановскаго онъ никогда не видалъ, меня разъ. Я не читалъ это произведеніе славянофильскихъ наущеній Хомякова и оскорбленнаго самолюбія поэта нѣкогда нравившагося,

мизмъ неорудной природы и многоначальный—орудной; такъ что послѣдній результатъ мышленіе и человѣкъ. Человѣкъ высшее равновѣсіе и взаимодѣйствіе составныхъ радикаловъ, малѣйшее неравновѣсіе—онъ животное, рядъ неравновѣсій—рядъ животныхъ; прочность покупается степенью пониженія напр. амфибіи, устраненіе слабости даетъ крѣпость, приближающую къ минералу и пр.

теперь выжившаго изъ ума, отсталаго. Мы не курили ему фиміамъ, не считали за счастье раздѣлять его томящую бесѣду. Наконецъ *Отеч. Зап.* недавно въ прекрасной и ловкой статьѣ оцѣнили его по заслугамъ.

Признаюсь, мнѣ хотѣлось бы прочесть для того, чтобъ убѣдиться еще въ одной чертѣ этой котеріи, я почти увѣренъ, что тутъ есть невольный доносецъ. А Аксаковъ написалъ премилые стихи, отказываясь отъ Дмитрія Коптева и Вигеля. Это свой кругъ стариковъ, изжившихъ все бѣдное умственное достояніе, непризнанныхъ, отсталыхъ, съ ненавистью встрѣчающихъ каждую мысль, піетисты, доносчики, злыя самолюбія, оскорбленныя притязательности: тутъ Глинка, Лихотинъ, Сушковъ и юный лѣтами, но старый подлостью, Коптевъ. Эта замкнутая котерія бездарности, догнивающіе остатки чего то загнивашаго прежде зрѣлости. О милая Москва да еще Вельтмановская котерія съ Нееловымъ, Рабугомъ!

Мнѣ прежде казался Иванъ Васильевичъ несравненно оконченнѣе Петра Васильевича — это не такъ. Петръ Васильевичъ головою выше всѣхъ славянофиловъ, онъ принялъ одинъ во всю ширину нелѣпую мысль, но именно за его консеквенцію. исчезаетъ нелѣпость, и остается трагическая грандіозность. Онъ — жертва, на которую палъ громъ за его народъ, за ту національность, которая бичуется теперь. Но Иванъ Васильевичъ хочетъ какъ то и съ западомъ поладить, вообще онъ и фанатикъ и эклектикъ. Фанатикъ, чтобъ быть полнымъ, именно долженъ не быть эклектикомъ, иначе то что придаетъ ему силу, рѣзкость, какъ паяльная трубка, усиливающая огонь, сгибая его на одну сторону, сглаживается, емусируется и выходитъ нѣчто неопредѣленное. Бездушному Хомякову все идетъ и эта многосторонность публичныхъ женщинъ и это лукавство преда-

тельски соглашающееся, и этот смѣхъ, которымъ онъ встрѣчаетъ негодованіе. Но Киреевскій долженъ бы быть окончениѣе.

18. — Наши личныя отношенія много вредятъ характерности и прямогѣ мнѣній. Мы, уважая прекрасныя качества лицъ, жертвуемъ для нихъ рѣзкостью мысли. Много надобно имѣть силы, чтобъ плакать и все таки умѣть подписать приговоръ Камиля-Де-Мулена!

27. — „Государь не соизволилъ разрѣшить господину Грановскому издавать журналъ.“ Вотъ вамъ и дѣятельность! Какъ глупо, нелѣпо такимъ образомъ гнать всякую мысль и какъ непоследовательно; можетъ ли профессоръ быть терпимъ на кафедрѣ, если онъ подозрителенъ какъ журналистъ? И на что у нихъ отвратительнѣйшая цензура, если и она не гарантія, что ничего прямого, яснаго не проскочитъ; а для косвеннаго, скрытаго всегда есть пути. Состояніе совершеннаго безправія. Горячешное состояніе какой нибудь Испаніи на примѣръ, по крайней мѣрѣ заставляетъ прощать безправіе въ вихрѣ, въ борьбѣ партій, въ взаимной опасности; а здѣсь отобрали кучку безсильныхъ и бьютъ ихъ сколько душѣ угодно, опираясь на огромную кучу оторопѣлыхъ или слабоумныхъ. Во имя чего? Иной разъ вѣжется бѣжалъ бы, спасая себя и дѣтей. Говорятъ, что готовится указъ о томъ, чтобъ дѣти дворянъ съ 10-ти лѣтъ ходили въ публичныя школы; таково безобразное положеніе наше, что нѣтъ гнусности, которая не представляла бы пользы и наоборотъ. Правительство беретъ эту мѣру вѣроятно только для того, чтобъ съ 10-ти лѣтъ въ корнѣ души задавить все благородное, чтобъ возроститъ себѣ поколѣніе подлыхъ

плотовъ; все слишкомъ энергическое, прежде 14-ти лѣтъ успѣетъ попасть въ Сибирь, за дерзость, за оторванную пуговицу. Такое публичное воспитаніе будетъ равнозначительно сплюсненію черепныхъ костей при рожденіи младенцевъ, употребляемому нѣкоторыми дикарями въ Африкѣ. Но оно будетъ полезно вовсе въ другомъ смыслѣ, оно вытащитъ изъ норъ провинціальныхъ барченковъ, оно спасетъ ихъ отъ отцевъ и матерей, оно отучитъ ихъ съ 12-ти лѣтъ развращать горничныхъ и бить слугъ; оно въ нихъ можетъ заронить мысль. Плетью гонять насъ къ просвѣщенію, плетью наказываютъ слишкомъ образованныхъ — вотъ безобразнѣйшая сторона демократическаго уравниенія, производимаго равнымъ лишеніемъ правъ. Къ этой нивелировкѣ принадлежитъ и то, что министръ внутреннихъ дѣлъ, искореняя сифилитическую болѣзнь, велѣлъ свидѣтельствовать всѣхъ дѣвушекъ, опредѣляющихся въ службу, берущихъ адресные билеты и пр. Это уже нивелировка позора, между публичной дѣвкой и скромно ведущей себя мѣщанкой въ чемъ же разница? тѣ же руки безстыдно и вѣроятно съ приправою остроты, грубо, нагло будутъ свидѣтельствовать тѣхъ и другихъ. Каждый сифилитическій, явившись въ больницу, обязанъ сказать отъ кого онъ занемогъ, и тотчасъ полиція обязана освидѣтельствовать указанную особу; и такъ послѣдній мерзавецъ можетъ доставить позоръ свидѣтельства всякой дѣвушкѣ, на которую онъ золь. Да послѣ откроется истина; положимъ, но развѣ у насъ общественное мнѣніе такъ образовано, что оно съумѣетъ понять, что тутъ гнусно собственно и кто гнусенъ? нѣтъ, оно ошельмуетъ бѣдную жертву.

Толкуютъ о новомъ указѣ объ эмансипаціи. Толки основаны на пропущенной статьѣ въ *Journal de Franc-*

fort. Хоть бы это! И чего они боятся, если хотятъ; кого — ужъ не помѣщиковъ ли? Дворцовую аристократію? ее деньгами, звѣздами можно утѣшить.

30. — Языковъ написалъ еще два стихотворенія: одно противъ насъ же, другое противъ Чаадаева, болѣе оскорбительное и подлое нежели первое. Гадкая котерія, стоящая за правительствомъ и церковью и смѣлая на языкъ, потому что имъ громко отвѣчать нельзя. Они, кромѣ Аксакова и Киреевскихъ, не имѣютъ тѣни гуманности и благородства. И что за сумбуръ въ головѣ у этихъ людей. Недавно я вытѣснялъ на чистую воду Хомякова изъ за лѣса фразъ, остроумь, анекдотовъ, которыми онъ уснащаетъ свою рѣчь и онъ вывертывался старыми понятіями идеализма, битыми мистическими представленіями.



# 1845

## ЯНВАРЬ МѢСЯЦЪ .

3.— Кажется, въ частномъ отношеніи, жизнь моя наконецъ потекла поспокойнѣе. Прошлый годъ былъ тихъ. А какая пестрая и богатая эффектными положеніями жизнь, какъ много для воспоминанія — едва теперь, я начинаю объективно смотрѣть на это бывшее. Десять лѣтъ тому назадъ, я новый, 1835 годъ встрѣтилъ въ тюрьмѣ. Только десять лѣтъ! и что съ тѣхъ поръ событий. Уже десять лѣтъ, а кажется вчера только или очень недавно!

Въ самый новый годъ длинное письмо Огарева, онъ развивается и притомъ одинаково со мной, съ нами. Впрочемъ сверхъ близости души, одна атмосфера современной мысли обнимаетъ насъ.

8.— Казнь Чеха какъ то тупа, король плакалъ, а велѣлъ казнить. Министры умоляли казнить его тайкомъ утромъ. Въ Шпандау отрубили ему голову и объявили афишами. Чехъ выдержалъ характеръ до послѣдней минуты и слѣдовательно остался побѣдителемъ. Не понимаю, какъ такіа простыя вещи какъ ненужность казней, вредъ ихъ не бросаются въ глаза правительствамъ. Еще въ Испаніи, гдѣ все мечется въ какомъ то опьяненіи,

понятно, что Нарвазъ казнить своихъ враговъ, такъ какъ его самого очень можетъ быть казнить завтра. Но тутъ спокойно, *gemüthlich und romantisch* отрубить голову при современныхъ понятіяхъ глупо, безразсечно даже, потому что человѣкъ твердый реабилитируется казнію и обращаетъ къ себѣ симпатіи. Еще глупѣе, ежели прусскіе министры доктринеры, Ейхгорнъ историкъ наприимѣръ, думаютъ остановить будущихъ охотниковъ до стрѣльбы этимъ средствомъ. Неужели вся исторія на всякой страницѣ не говоритъ имъ, что не только ни одного фанатика никогда не останавливала казнь, но даже людей увлеченныхъ случайной страстью. Тутъ проглядываетъ совсѣмъ иное, месть, просто месть, жажда крови дерзкаго, который даже не раскался, не далъ случая показать милосердія на себѣ, потому что не просилъ его.

Два наказанія только могутъ остановить человѣка—это угрызение совѣсти и общественное мнѣніе. Безъ уваженія къ себѣ, отъ самого себя и отъ близкихъ, человѣкъ жить не можетъ, никакія казни не могутъ сравниться съ постояннымъ сознаніемъ своей гнусности и справедливости презрѣнія отъ другихъ. Человѣкъ готовъ на всякую эпитимію, онъ будетъ на лобномъ мѣстѣ просить прощеніе, пойдетъ въ иное мѣсто (т. е. самъ сошлетъ себя) только чтобъ примириться съ собою, ибо въ раздорѣ этомъ онъ задохнется.

Разумѣется и власть и общественное мнѣніе въ неразвитомъ народѣ сливаются въ религіозной нравственности, въ велѣніяхъ свыше; критеріумъ, внѣшній законъ замѣняетъ недостатокъ сознанія о добрѣ и злѣ, о человѣчественномъ и нечеловѣчественномъ. Отчего русскій крестьянинъ одинъ на дорогѣ не ѣстъ скоромнаго, въ то время, какъ за нарушеніе поста, онъ на-

казанъ не будетъ, а березу на большой дорогѣ срубить — хотя самъ знаетъ, что за это его накажутъ розгами, плетью. Есть переходныя полосы государственной жизни, гдѣ религіозная и всякая идея нравственности теряется, какъ напримѣръ въ современной Россіи, но и тутъ, если совѣсть нѣкоторыхъ молчитъ, общественное мнѣніе слабое, неразвитое — все же отталкиваетъ безусловно гнусное. Отчего нигдѣ, никогда въ обществѣ не бываетъ полицейскихъ чиновниковъ? если переодѣтые шпионы, пользуясь анонимностью, и являются, то явныхъ нѣтъ. Наказаніе — современная нецѣпность; въ развитомъ государствѣ и въ будущемъ будутъ удивляться, какъ правительство вступало въ соревнованіе съ каждымъ злодѣемъ и дѣлало такую же мерзость надъ нимъ, которую онъ сдѣлалъ съ тѣмъ различіемъ, что онъ былъ болѣе или менѣе вынужденъ обстоятельствами, а правительство такъ, безъ всякой нужды. Казни — это абсолютныя преступленія, позсіа преступленія. Но гдѣ же истинное, непогрѣшающее мѣрило того, что хорошо и того, что дурно для человѣка? въ самомъ понятіи человѣка, развивающагося въ исторіи, въ историческомъ моментѣ, въ средѣ, въ которой онъ выросъ. Хорошо все то, что развиваетъ слитно родовое и индивидуальное значеніе человѣка, дурно если индивидуальное, феноменальное совершенно поглощаетъ общечеловѣческое, дурно если тѣло совершенно задавить духъ, но наказывать (*scilicet* въ развитомъ государствѣ) и за это нельзя; такіе люди будутъ презираемы, а дѣло положительныхъ законодательствъ, чтобъ эти отрицательные люди не могли положительно вредить, какъ безумные, какъ дураки, какъ животные. Критеріумъ добра и зла всегда есть въ человѣкѣ, какъ бы онъ ни выражался подъ вліяніемъ исторической эпохи — человѣкъ, который отри-

цаетъ его, дурачится, лжетъ. Стоитъ слушать формальныя фразы говорящаго и ясно увидишь, какъ онъ понимаетъ вмѣстѣ съ своимъ народомъ или вастой добро и зло. Слово “честь” развѣ не было на устахъ Цезаря Боржіа, ненарушимость обѣта развѣ и имъ не принималось въ основу договора и пр., но онъ нарушалъ ихъ. Въ этомъ то и доказательство, что онъ индивидуальную волю свою, удовлетвореніе страсти ставилъ выше всеобщаго понятія о нравственности своего времени. Ну какже не наказать его? Во первыхъ онъ не былъ наказанъ—*il était trop haut placé*, чтобъ быть наказаннымъ—а еслибъ онъ былъ менѣе высоко поставленъ, то онъ не могъ бы сдѣлать всего того, что онъ сдѣлалъ, и тогда судъ былъ бы иной надъ нимъ. Зачѣмъ же гражданское общество было еще на той жалкой степени развитія, что не могло провести своихъ же понятій о чести, о христіанскихъ обязанностяхъ и пр., а во всѣхъ проявленіяхъ жизни было непослѣдовательно, путалось въ противорѣчіяхъ, зачѣмъ оно имѣло такихъ преступниковъ, которыхъ не достигалъ законъ, и такой законъ, который разилъ чаще всего не по преступникамъ. Въ наше время, на западѣ Европы можно себѣ представить плантатора, злодѣя работниковъ, мужа варвара, развратника, убійцу, вора—но не Цезаря Боржіа. Ну что сдѣлалъ бы такой Цезарь? купилъ бы журналъ, ругалъ бы противниковъ въ фельетонѣ, подкупалъ бы голоса и можетъ вышелъ бы фродюлезно на дуэль. Вотъ на сколько современная Франція и Англія стоятъ выше тогдашней Италіи. Если представить себѣ будущую общественную форму, когда вопросъ о голодѣ и обжорствѣ, о наготѣ и пышности приведется въ порядокъ, когда невозможно будетъ оставаться безъ воспитанія никому, ни сыну богача, ни сыну нищаго, когда самое значеніе

слова ~~богамъ~~ будетъ безсмысленно по ненужности, сколько измѣнится въ нравственномъ быту того класса, который теперь фурнируетъ шахимъ преступниковъ — плебса. Тогда образцовые вкнуты будутъ ненужны, я думаю. Кстати о наказаніяхъ, вотъ случай, рассказанный Тучковымъ, въ Пензенской \*) губерніи: какой то помѣщикъ, великій злодѣй, страшно тяжель пришелся крестьянамъ; молодой крестьянинъ сказалъ односельцамъ, что онъ намѣренъ избавить ихъ отъ „отца общины“—тѣ перепугались суда, послѣдствій и пр. Молодой человѣкъ сказалъ, что все возьметъ на себя, что лишь бы они о немъ молились богу, что никому не достанется. Такимъ образомъ, онъ отправился на плотину, черезъ которую помѣщикъ долженъ былъ идти и à la G. Tell сталъ его ждать; когда тотъ пошелъ, онъ побѣждалъ ему на встрѣчу, схватилъ его въ перехватъ и вмѣстѣ въ омутъ. Оба утонули. Это античный героизмъ. Полагаю, что такого человѣка смертная казнь in spe не очень остановила бы. При всей неразвитости русскаго, его останавливаетъ „на міру будетъ стыдно,“ онъ уважаетъ мнѣніе своей общины; боится онъ помѣщика—это другое, это рабство, онъ ему повинуется, оскорбляясь, а тамъ онъ признаетъ.

10. — Славянофилы наконецъ болѣе и болѣе являются узенькими людьми раскола. Стихи Языкова съ доносомъ на всѣхъ насъ привели къ объясненіямъ, которыя съ своей стороны чуть не привели къ дуэли Грановскаго и Петра Киреевскаго. Я въ душѣ ненавижу не принципъ дуэлей, а нелѣпость смертной казни за оскорбленія этаго принципа, однако дѣлать было бы нечего.

\*) Это ошибка, не въ Пензенской, а въ Саратовской губ.

Послѣ всего этаго, наконецъ личное отдаленіе сдѣла-лось необходимымъ. Аксаковъ торжественно растался съ Грановскимъ и мною; видно было, что ему жаль, онъ благороденъ, чистъ, но одностороненъ, ограниченъ въ своемъ расколѣ. Мы дружески сказали другъ другу, что служили инымъ богамъ и что потому должны разо-йтись одинъ на право, другой на лѣво; уваженіе ему, какъ характеру, я не могу отказать. Онъ, и можетъ оба Кирѣевскіе, уносятъ личное уваженіе, а остальные — чертъ съ ними. Самаринъ не думаю, чтобъ ихъ былъ.

Странная Русь, изъ нея высшими плодами явля-ются или люди, опередившіе свое время до того, что задавленные существующимъ они бесплодно умираютъ по ссылкамъ, или люди, опертые на прошедшее, никакой симпатіи не имѣющіе въ настоящемъ и также бесплодно влачащіе жизнь.

13.—Иванъ Васильевичъ Павловъ рассказывалъ, какъ были приняты студентами мои статьи въ *Отеч. Зап.* При-знаюсь, мнѣ было очень весело слышать, большей награды за трудъ не можетъ быть. Юноши тотчасъ оцѣнили въ чемъ дѣло и гурьбою ходили въ бандитерскія читать. Грановскій пользуется между студентами чрезвычайнымъ авторитетомъ, для нихъ мѣра, къ которой прикидываютъ другихъ профессоровъ.

17.—Исторія химіи Дюма чрезвычайно замѣчатель-ная книга. Химія настоящая опора эмпириі, важность ея теперь только начинаютъ чувствовать. Безъ химіи нѣтъ физиологіи, нѣтъ слѣдовательно и естественныхъ наукъ. Естественныя науки доселѣ имѣли чрезвычайно шаткую основу, потому что они занимались одной мор-фологіей, а не тѣмъ, что измѣняется въ ней. Самъ ги-гантскій геній Гёте не постигнулъ этой важности химиз-

на, и его метаморфоза растений — одна морфологія. Новая химія идетъ не далѣе конца XVIII столѣтія, т. е. не далѣе Лавуазье. Онъ сказалъ: матерія вѣчная, утра- титься ничего не можетъ, все видоизмѣняется, ничего не пропадаетъ—и пошелъ, съ вѣсами въ рукахъ, слѣдить за химическими процессами. Эта мысль, руководившая имъ, конечно не менѣе важна, какъ открытіе кислорода; онъ посадилъ химію на ту базу, съ которой стоило ей органически развиваться, по крайней мѣрѣ роста фак- тами и наблюденіями, ожидая возможности перейти отъ грубой эмпириі къ эмпириі спекулятивной.

27.—Отправляю письмо къ графу Орлову о разрѣ- шеніи вѣзда въ Петербургъ. Это проба, какъ они смо- трять на меня; если пустятъ, можно будетъ проситься въ чужіе края.

## ФЕВРАЛЬ МѢСЯЦЪ

8.—Два первыхъ письма объ естествовѣденіи отпра- вилъ Краевскому. Занимался третьимъ, кажется изло- женіе греческихъ философовъ удачно, особенно софи- стовъ и Сократа. Послалъ діатрибу на *Москвитянина*, дѣлать нечего, пусть ихъ сердятся.

Говорятъ, что въ Пруссіи скоро издастся конститу- ція; вотъ тамъ своя эмансипація, а объ нашей и гово- рить перестали — фактъ важный. Адрессы, которые го- товятся послать изъ Рейнскихъ провинцій, дышатъ силой и рѣшительнымъ радикализмомъ, они требуютъ народ- наго представительства, свободы книгопечатанія и эман-

синацію жидовъ. Къ языку этихъ адрессовъ почтенный прусскій король не привыкъ.

12.—Бареръ говоритъ, что Мирабо сказалъ однажды Барнаву: *Barnave, tu as les yeux froids et fixes, il n'y a pas de divinité en toi.....*“ Въ этомъ выраженіи, какъ и во многихъ того времени, ярко отозвалось то время энергии въ словахъ и дѣлахъ, которое имѣло свой языкъ, свой романтизмъ, свою поэзію. Въ наше время никто не скажетъ подобнаго замѣчанія и такъ сильно.

14.—Сегодня Глѣбовъ вскрывалъ живую собаку. Въ первыя минуты зрѣлище страшное, отвратительное; но потомъ интересъ поглощаетъ все другое: вотъ она пульсація артерій, вотъ нервы, производящіе судороги при прикосновеніи и наконецъ сердце еще горячее, еще бьющееся. Я положилъ на него руку—есть что то торжественное въ этомъ святотатственномъ прикосновеніи къ тайнику жизни. Она жила полчаса, послѣднее время кажется уже была въ онѣмѣніи, но легкая пульсація и перистальтическія движенія кишекъ продолжались. При вскрытіи груди, когда воздухъ коснулся легкихъ, собака стала кашлять. Великая мистерія жизни это таинство не падетъ, оно болѣе и болѣе вселяетъ благочестиваго уваженія къ себѣ.

А проросъ къ сравнительной анатоміи и къ зоологіи, славянофилы жестоко освирѣпѣли, *Отеч. Зап.* имъ пришли солонны.

20.—Странное, нелѣпое предчувствіе мучить меня Темный фатумъ царитъ надъ нами и дѣлаетъ чертъ знаетъ что, изъ безразличнаго поступка развиваетъ чудовищный результатъ; человекъ спокойно спитъ, а онъ путаетъ, путаетъ нити и онъ прежде нежели что ни-



будь почувствуетъ, сознаеть, вовлеченъ въ безвыходное положеніе.

Гдѣ свобода?—Не знаю отчего, а что то тяжело на душѣ.

23.—Третьяго дня Грановскій защищалъ свою диссертацию о Іомсбургѣ и Винетѣ. Это было публичнымъ и торжественнымъ пораженіемъ славянофиль и публичной оваціей Грановскаго. Нападки были дѣланы съ невѣроятной дерзостью, съ цинизмомъ грубымъ до отвратительности. Грановскій отвѣчалъ тихо, спокойно, кратко, вѣжливо, улыбаясь; нравственно оппоненты были уничтожены имъ. Но толстая шкура ихъ не поняла бы этаго. Другой голосъ посильнѣе осудилъ ихъ. Грановскій былъ встрѣченъ громомъ рукоплесканій, каждое слово Бодянскаго награждалось всеобщимъ шиканіемъ. Изъявленія эти были такъ сильны и энергичны, что никто и не подумалъ останавливать ихъ. Сверхъ дерзости въ выраженіяхъ, гнусныя продѣлки Шевырева, Бодянскаго и другихъ были извѣстны всей публикѣ, на нихъ смотрѣли съ омерзеніемъ. Когда кончился диспутъ и графъ Строгоновъ поздравилъ Грановскаго, раздались: Vivat! vivat! продолжавшіеся съ четверть часа. На лѣстницѣ потомъ увидѣли какъ то Грановскаго, и новыя рукоплесканія, даже передъ университетомъ собралась толпа студентовъ, ожидавшая его выхода, но ее уговорили разойтись. Этотъ день торжества Грановскаго давиѣстѣ съ тѣмъ торжества всего университета. Университетъ доказалъ, что онъ имѣетъ и мнѣніе, и голосъ. Намъ доказалъ онъ, что его симпатіи далеки отъ славянофильства. Хвала студентамъ. Вчера за обѣдомъ я предложилъ первый тостъ за здоровье студентовъ московскаго университета. Славяне огорчились и какъ то не нахо-

дятся, аи гезіе благородные изъ нихъ были противъ всѣхъ продѣлокъ, а подлые выдумаютъ въ свое оправданіе несбыточные мерзости, что это интрига и пр. и по своимъ воторіямъ будутъ насъ вдвое ругать. Сегодня видѣлъ Петра Васильевича — чудный человѣкъ. Славянофилы постоянно набрасываютъ на насъ смѣшной и жалкій упрекъ, что мы ненавидимъ Россію; да изъ которой же стороны нашихъ словъ, дѣлъ, мнѣній это видно? Неужели изъ того, что мы страдали, а они нѣтъ, что мы становились въ оппозицію, которая только могла насъ вести въ ссылку, а они нѣтъ. Дѣло кажется просто и одна узкая нетерпимость ихъ могла взвести на насъ пошлое обвиненіе. Мы розно поняли вопросъ о современности, мы разнаго ждемъ, желаемъ; развѣ это мѣшаетъ намъ быть столько же патриотическими. Да, въ нашъ патриотизмъ входитъ общечеловѣческое и не токмо входитъ, но занимаетъ первое мѣсто; а у нихъ развѣ христіанство какое нибудь суздальское явленіе? Изъ этаго никакъ не слѣдуетъ, чтобы мы протянули другъ другу руки — нѣтъ; но не слѣдуетъ и того, чтобы вся монополя любви къ отечеству принадлежала имъ и они имѣли бы право насъ упрекать въ ненависти къ Россіи. У больного два врача, одинъ думаетъ его лѣчить отъ гемороа, другой отъ чахотки, быть можетъ, что они оба правы; однако гдѣ же достаточная причина считать того или другаго отравителемъ? они могутъ ни въ чемъ не соглашаться, но цѣль ихъ остается таже: желаніе излѣчить больного. Имъ нужно былое, преданіе, прошедшее, намъ хочется оторвать отъ него Россію, словомъ, мы не хотимъ той Руси, которой и нѣтъ, т. е. до-петровской, а той новой Руси они совершенно не знаютъ, они отрицаютъ ее, такъ какъ мы отрицаемъ древнюю.

26. — На дняхъ получилъ письмо отъ Самарина. Удивительный вѣкъ, въ которомъ человекъ до того умный какъ онъ, какъ бы испуганный страшнымъ, непримиримымъ противорѣчіемъ, въ которомъ мы живемъ, закрываетъ глаза разума и стремится къ успокоенію въ религін, въ квіэтизму, толкуетъ о связи съ преданіемъ. Письмо его подѣйствовало на меня грустно. Сегодня писалъ ему отвѣтъ, въ немъ я сказалъ ему: «Encore une étoile qui file et disparaît! Прощайте, идите иной дорогой, какъ попутчики мы не встрѣтимся, это навѣрное.» Да какъ это ему не стыдно принадлежать къ такимъ запакощеннымъ славянофиламъ!

28. — Студенты приготовили было новый аплодиссментъ Грановскому при первой лекціи. Инспекторъ просилъ его какъ нибудь предупредить; онъ предупредилъ по своему. Взошедши на кафедру, онъ сказалъ, стоя, à peu près такъ: „Милостивые государи! Позвольте мнѣ благодарить васъ за 21 февраля, этотъ день скрѣпилъ наши отношенія неразрывными узами, я получилъ отъ васъ самую прекрасную, самую благородную награду, какую только можетъ получить преподаватель въ университетѣ — вполне чувствую ее и еще съ большей ревностью посвящу жизнь мою московскому Университету. Позвольте мнѣ обратиться къ вамъ съ просьбой; я осмѣливаюсь просить васъ, Милостивые государи, не изъяслять болѣе наружнымъ образомъ вашего сочувствія. Мы слишкомъ близки другъ къ другу, чтобъ нужны были такіа доказательства. Не потому я прошу васъ объ этомъ, что считаю опасными для васъ, или для себя такіа изъясненія, я знаю, что это не остановило бы васъ, а потому, что они излишни послѣ того изъясненія вашей симпатіи, которое останется на всю жизнь мою лучшимъ

воспоминаніемъ. Зачѣмъ наружные знаки? вы и я принадлежимъ къ молодому поколѣнію, мы имѣемъ общее, прекрасное дѣло посвятить занятія наши серьезно изученію, служенію Россіи — Россіи вышедшей изъ рукъ Петра I, равно удаляясь отъ пристрастныхъ клеветъ нноземцевъ и отъ старческаго, дряхлаго желанія возстановить древнюю Русь во всей ея односторонности.“

Студенты разумѣется не аплодировали, съ благоговѣніемъ и молчаніемъ выслушали они превосходныя слова. Во всемъ, что дѣлаетъ Грановскій, есть какая то стройная грація; какое удивительное благородство и умѣнье притомъ остановиться въ необходимыхъ предѣлахъ.

Шевырева готовятся принять свистками или ошкаты, если онъ будетъ говорить т. е. выговаривать студентамъ. Это было бы хорошо, но за это можно ухватъ бѣднымъ юпошамъ на Кавказъ, а потому лучше было бы имъ т. е. всѣмъ студентамъ рѣшительно не ходить на его публичныя лекціи.

Бѣдный Крюковъ умираетъ. Еще однимъ свѣтлымъ, прекраснымъ человѣкомъ меньше въ нашемъ кругѣ.

De la création de l'ordre dans l'humanité того Прудона, который писалъ о собственности. Книга эта, вышедшая около двухъ лѣтъ тому назадъ чрезвычайно замѣчательное явленіе. Во первыхъ надобно, читая Прудона, какъ П. Леру и другихъ французовъ философствующихъ, безпрерывно помнить, что у нихъ есть свои странныя мысли и приемы, *des piaïseries*, иллогизмы и пр. Сквозь это надобно пробиться, надобно это принять за дурную привычку, которую мы терпимъ въ талантливомъ человѣкѣ и идти далѣе; поверхностныхъ читателей того и гляди страшатъ такія выраженія. Прудонъ рѣшительно поднимается въ спекулятивное мышленіе, онъ рѣзко и смѣло отдѣлался отъ разсудочныхъ категорій, пре-

красно выводитъ недостатокъ каузальности, субстанціальности и снимаетъ ихъ своими серіями т. е. понятіемъ разчленяющимся на всѣ свои моменты и снятаго разумѣніемъ какъ тотальность.

Бездна яркихъ мыслей. Напр., говоря о Кантовыхъ необходимыхъ координатахъ мышленія о времени и пространствѣ, онъ ставитъ рядомъ съ ними необходимость человѣческаго воззрѣнія видѣть каждый предметъ не единичностью, а звѣномъ ряда, а принадлежащимъ, отнесеннымъ къ цѣлому порядку явленій. Для него чувственная достовѣрность сама въ себѣ носитъ очевидное свидѣтельство своей истины etc. Выходя вездѣ къ конкретнымъ приложеніямъ, онъ превосходитъ въ иныхъ мѣстахъ; самая лучшая часть это его доказательства невозможности религіи въ грядущемъ, выводъ его силенъ, энергиченъ и смѣлъ, онъ заключаетъ словами прекрасно благородными. Вспомнимъ какъ религія благословеніемъ своимъ встрѣчала насъ при рожденіи, и какъ молитвами провожала тѣла наши, сдѣлаемъ для нея тоже, похоронимъ ее съ честью, вспоминая ея благодаренія человѣчеству. Религія — откровеніе причины, Философія — наука причины.... (явнымъ образомъ несправедливо). Метафизика — наука объ серіальныхъ отношеніяхъ одна остается съ частными науками. Да почему же это Метафизика? Если онъ подъ философіей разумѣетъ исключительный идеализмъ, дѣло другое, но гдѣ же право? развѣ онъ въ Спинозѣ и въ Гегелѣ и въ самомъ Кантѣ (котораго онъ изучалъ, кажется) не видѣлъ больше своего опредѣленія?

## МАРТЪ МѢСЯЦЪ

2. — Большое письмо изъ Берлина, вѣсти о Парижѣ, письма изъ Петербурга etc., etc. Между прочимъ статья Бакунина въ La Réforme — вотъ языкъ свободного человека, онъ дикъ намъ, мы не привыкли къ нему. Мы привыкли къ аллегоріи, къ смѣлому слову *intra muros*, и насъ удивляетъ свободная рѣчь русскаго, такъ какъ удивляетъ свѣтъ сидѣвшаго въ темной конурѣ. Огаревъ пишетъ о томъ, что нельзя жить дома, да мы знаемъ это лучше его. Слабость что ли, надежда ли, а что то да держать. Будемъ думать, да думать, да почти ничего не дѣлать, а жизнь будетъ идти да идти.

5. — Вчера въ 9 часовъ утра умеръ Крюковъ. Еще одно свѣтлое существованіе кануло въ прошедшее, прежде нежели что нибудь успѣло совершить. Я видѣлся съ нимъ наканунѣ, онъ былъ въ полномъ сознаніи, держалъ мою руку, говорилъ, что любить насъ всѣхъ..... смерти, кажется, не предвидѣлъ; онъ былъ страшно худъ, однако выраженіе лица было прекрасно, взглядъ свѣтелъ, покоенъ и кротокъ. Вчера сняли маску съ него. Охъ, что то тяжелое въ воздухѣ нынѣшняго года, какая то плита на груди.

7. — И схоронили его. Студенты несли до кладбища. Въ церкви было видно сколько цѣнили его; величаво и благородно быть такъ отпѣту не попами, а толпою друзей и почитателей. Я усталъ отъ этихъ дней, какъ то горечь переполнила душу. А впрочемъ надобно свѣ-

нуться съ смертію, надобно на столько уморить въ себѣ личность, чтобъ не бояться смерти—хорошо—но какъ примириться со смертію друга?... мыслію, что всѣ люди смертны, а такъ какъ Н. человѣкъ, то и онъ смертенъ? Піэтисты кричатъ теперь, что Крюковъ обратился, но по несчастію онъ послѣднее время былъ только короткія минуты въ сознаніи, а остальные въ полупомѣшательствѣ. А какъ противенъ весь пародіальный тонъ самой церкви, это официальное хладнокровіе поповъ, этотъ серьезный видъ при какихъ то безумныхъ нелѣпостяхъ — наконецъ, какъ это все длинно. То ли дѣло кружокъ друзей, горестныхъ, убитыхъ, молча опускающихъ въ могилу тѣло товарища.

12. — *Geb ihm ein Gott zu sagen was er leidet.* Сказанное слово устремляетъ ядъ вонъ изъ души. Та эпоха страшна въ горести, въ опасеніи, когда нѣтъ слова, нѣтъ силы сказать, когда человѣкъ боится себѣ сказать, признаться. А между тѣмъ, высказанное слово полuisполненное опасеніе, начало его осуществленія внѣ насъ. Я истерзанъ здоровьемъ Наташи и я, я снова способствовалъ ея болѣзни; а если болѣе нежели болѣзни? Что за проклятая ничтожность характера, что за преступная распущенность.

14. — Мнѣ бываетъ тягостно смотрѣть на близкихъ мнѣ друзей; я чувствую, что я хуже ихъ нравственно, что я слабъ, готовъ всегда увлечься всякими побужденіями. Могутъ ли, должны ли они любить меня? Любовь впрочемъ къ человѣку есть личность, предупрежденіе, несправедливость, пристрастіе. Справедливость мнѣ обязанъ оказать квартальный, если онъ исполнитъ свой долгъ; дружба не судъ, дружба любитъ всего человѣка, а не одинъ какой нибудь элементъ его. Любовь къ од-

ному элементу далеко не дружба: я могу съ восторгомъ слушать Листа, поклоняться его способности, но не быть съ нимъ другомъ; уважать въ человѣкѣ одни умственныя способности можно, но тогда лицо его дѣлается лишнимъ, такъ съ нами симпатизируетъ и книга.—дружба не осуждаетъ, но оплакиваетъ. Но въ этомъ то и вся страшная карательная сила ея. Человѣкъ можетъ только наказывать самъ себя, и безпощаднѣе инквизитора нѣтъ какъ совѣсть; не нравственные должны корить падшаго, а падшій долженъ сознавать свою ничтожность передъ ними. Это страшное чувство; мнѣ бываетъ до того тяжело смотрѣть на Грановскаго, что слезы навертываются на глазахъ.

17. — Майкова поэма: „Двѣ судьбы.“ Много прекрасныхъ мѣстъ, много разъ онъ умѣлъ коснуться до тѣхъ струнъ, которыя и въ нашей душѣ вибрируютъ болѣзненно. Хорошо отразилась въ немъ тоска по дѣятельности, наша чуждость всѣмъ интересамъ Европы, наша апатія дома etc., etc.

Цензура Петербурга гораздо снисходительнѣе. Да, что ни дѣлай правительство, а однажды привитая мысль зажглась и обращается по жиламъ, чуть маленькое отверстие, огонь выбивается; цензоры устаютъ, дѣятельная мысль сотенъ головъ ни на минуту не устаетъ.

25. — Три года тому назадъ начать этотъ журналъ въ этотъ день. Три года жизни схоронены тутъ или не то что схоронены, а прикрѣплены во всей мимолетности; перечитывая, все оживаетъ, какъ было, а воспоминаніе, одно воспоминаніе не возстановляетъ былого какъ оно было; оно стираетъ всѣ углы, всю рѣзкость и ставитъ туманную среду.

Ну Аминь.



## ОКТАВРЬ МѢСЯЦЪ

3. — Болѣе 6 мѣсяцевъ прошло и я не заглядываю въ журналъ, и не писалъ въ него и не завелъ другаго. Не отъ внутренней пустоты, а такъ, жизнь шла довольно тихо. Все болѣе и болѣе уравнивается, но есть и печальныя стороны и я удерживался иной разъ писать, чтобъ подъ вліяніемъ первыхъ минутъ не записать съ тою рѣзкостью, которая послѣ сдѣлается противною.

На первомъ планѣ скитанье Огарева и всѣ вѣсти, приходящія объ этомъ скитаньѣ — ибо онъ самъ не пишетъ. Вѣра въ способность его ко всему прекрасному и высокому не можетъ потрясена быть во мнѣ, но что же въ одной возможности, когда же наступитъ пора дѣла, что за противорѣчіе между жизнью *gentier*, безцѣльной, безъ занятій и этими *слезами* симпатіи всему прекрасному. Я не токмо не противъ заграничной жизни, но допускаю въ извѣстныхъ случаяхъ экспатріацію, но не для того, чтобъ жить тамъ праздному и проживать все свое состояніе пошло—такое употребленіе богатства въ наше время преступно. Да и такая жизнь за границей безнравственное бѣгство. Видно пора перестать слишкомъ много класть на голову индивидуальностей. Охъ, — Спиноза правъ !

29. — И на послѣднемъ листѣ повторится тоже, что было сказано на первомъ. Страшная эпоха для Россіи, въ которой мы живемъ и ни видать никакого выхода. На первомъ планѣ несчастная, бѣдная Польша, первый

свободный шагъ долженъ состоять въ примиреніи, нѣтъ болѣе, въ просьбѣ, чтобъ она простила Россію за то, что сдѣлано ея руками, но волею одного человѣка. Мы потеряли уваженіе въ Европѣ, на русскихъ смотрятъ съ злобой, почти съ презрѣніемъ. Россія становится представительницей всего ретрограднаго, матеріальной силой, употребляемой для того, чтобъ остановить теченіе европейскаго развитія; да и какъ же иначе смотрѣть на нее. Въ то время какъ въ самой Пруссіи, движеніе эмансипаціонное пріобрѣтаетъ болѣе и болѣе характеръ величественный, у насъ издается сводъ уголовныхъ законовъ, въ которомъ смерть за слово, за неосторожное выраженіе—кнутъ размѣненъ на плети; у насъ заводятъ маіораты, усиливаютъ дворянство, т. е. утрачиваютъ тѣ выгоды, которыя мы имѣли передъ Европой, тѣ выгоды, о которыхъ Бентамъ писалъ къ императору Александру I, когда онъ воцарился, что ему легче нежели какому нибудь монарху дать дѣльные законы, потому что предразсудки римско-феодалыные не мѣшаютъ . . . . И какъ эти три года, пройдутъ годы еще и еще, и мы состаримся и яснѣе увидимъ, что жизнь потеряна.....



# ДИЛЕТТАНИЗМЪ ВЪ НАУКЪ



# ДИЛЕТТАНТИЗМЪ ВЪ НАУКѢ

## I.

Мы живемъ на рубежѣ двухъ міровъ : оттого особая тягость, затруднительность жизни для мыслящихъ людей. Старыя убѣжденія, все прошедшее міросозерцаніе потрясены — но они дороги сердцу. Новыя убѣжденія, многообъемлющія и великія, не успѣли еще принести плода ; первые листы, почки пророчатъ могучіе цвѣты, но этихъ цвѣтовъ нѣтъ, и они чужды сердцу. Множество людей осталось безъ прошедшихъ убѣжденій и безъ настоящихъ. Другіе механически спутали долю того и другаго и погрузились въ печальные сумерки. Люди внѣшніе предаются въ такомъ случаѣ ежедневной суетѣ ; люди созерцательные — страдаютъ : во чтобъ ни стало ищутъ примиренія, потому что съ внутреннимъ раздоромъ, безъ краеугольнаго камня нравственному бытію, человекъ не можетъ жить. Между тѣмъ, всеобщее примиреніе въ сферѣ мышленія провозгласилось міру наукой. И жаждавшіе примиренія раздвоились : одни не вѣрятъ наукѣ, не хотятъ ею заняться, не хотятъ обслѣдовать почему она такъ говоритъ, не хотятъ

идти ея труднымъ путемъ; „наболѣвшія души наши,“ говорятъ они, „требуютъ утѣшеній, а наука на горячія просьбы о хлѣбѣ подаетъ камни, на вопль и стонъ растерзаннаго сердца, на его плачъ, молящій объ участіи — предлагаетъ холодный разумъ и общія формулы; въ логической неприступности своей она равно не удовлетворяетъ ни практическихъ людей, ни мистиковъ. Она намѣренно говоритъ языкомъ неудобопонятнымъ, чтобъ за лѣсомъ схоластики скрыть сухость основныхъ мыслей — elle n'a pas d'entraille.“ Другіе совсѣмъ напротивъ, нашли внѣшнее примиреніе и отвѣтъ всему какимъ то незаконнымъ процессомъ, усвоивая себѣ букву науки и не касаясь до живаго духа ея. Они до того поверхностны, что имъ кажется все ужасно легкимъ, на всякій вопросъ они знаютъ разрѣшеніе; когда слушаешь ихъ, то кажется, что наукѣ больше ничего не осталось дѣлать. У нихъ свой алькоранъ, они вѣрятъ въ него и цитируютъ мѣста, какъ послѣднее доказательство. Эти мухаммедане въ наукѣ чрезвычайно вредятъ ея успѣхамъ. Генрихъ IV говаривалъ: „лишь бы Провидѣніе меня защитило отъ друзей, а съ врагами я самъ справлюсь“; такіе друзья науки, смѣшиваемые съ самой наукой, оправдываютъ ненависть враговъ ея; — и наука остается въ маломъ числѣ избранныхъ.

Но хотя бы она была въ одномъ человѣкѣ — она фактъ, великое событіе не въ возможности, а въ дѣйствительности; отрицать событіе нельзя. Такого рода факты никогда не совершаются не въ свое время; время для науки настало, она достигла до истиннаго понятія своего; духу человѣческому, искусившемуся на всѣхъ ступеняхъ лѣствицы самопознанія, начала раскрываться истина въ стройномъ наукообразномъ организмѣ и притомъ въ живомъ организмѣ. За будущность науки нѣ-

чего бояться. Но жаль поколѣнія, которое, имѣя, если не совершенное освѣщеніе дня, то навѣрное утреннюю зарю—страдаетъ во тьмѣ или тѣшится пустяками, оттого что стоитъ спиною къ востоку. За что изъяты стремящіеся отъ блага обоихъ міровъ : прошедшаго умершаго, вызываемаго ими иногда, но являющагося въ саванѣ, и настоящаго, для нихъ неродившагося?

Массами философія теперь принята быть не можетъ. Философія какъ наука предполагаетъ извѣстную степень развитія самомышленія, безъ котораго нельзя подняться въ ея сферу. Массамъ вовсе недоступны безтѣлесныя умозрѣнія; ими привимается имѣющее плоть. А для того, чтобъ перейти во всеобщее сознаніе, потерявъ свой искусственный языкъ и сдѣлаться достояніемъ площади и семьи, живоначальнымъ источникомъ дѣйствования и воззрѣнія всѣхъ и cadaго—она слишкомъ юна, она не могла еще имѣть такого развитія въ жизни, ей много дѣла дома, въ сферѣ абстрактной; кромѣ философовъ-мухаммеданъ никто не думаетъ, что въ наукѣ все совершенно, не смотря ни на выработанность формы, ни на полноту развертывающагося въ ней содержанія, ни на діалектическую методу, ясную и прозрачную для самой себя. Но если массамъ недоступна наука, то до нихъ не дошли и страданія душнаго состоянія пустоты и натянутого бѣснующагося піэтизма. Массы не внѣ истины; онѣ знаютъ ее божественнымъ откровеніемъ. Въ несчастномъ и безотрадномъ положеніи находятся люди, попавшіе въ промежутокъ между *естественною* простотою массъ и *разумной* простотою науки.

На первый случай да будетъ позволено намъ не разрушать на нѣкоторое время спокойствія и квіэтизма, въ которомъ почиваютъ формалисты, и заняться исключительно врагами современной науки; ихъ мы понимаемъ

подъ общимъ именемъ дилеттантовъ и романтиковъ. Формалисты не страдаютъ, а эти больны — имъ жить тошно.

Враговъ собственно наука въ Европѣ не имѣетъ, развѣ за исключеніемъ какихъ нибудь кастъ, доживающихъ въ безсмысліи свой вѣкъ, да и тѣ такъ нелѣпы, что съ ними никто не говоритъ. Дилеттанты вообще тоже друзья науки, *par amis les ennemis*, какъ говоритъ Беранжѣ, но непріатели современному состоянію ея. Всѣ они чувствуютъ потребность пофилософствовать, но пофилософствовать между прочимъ, легко и пріятно, въ извѣстныхъ границахъ: сюда принадлежатъ нѣжныя мечтательныя души, оскорбленныя положительностью нашего вѣка, онѣ, жаждавшія вездѣ осуществленія своихъ милыхъ, но не сбыточныхъ фантазій, не находятъ ихъ и въ наукѣ, отворачиваются отъ нея, и, сосредоточенныя въ тѣсныхъ сферахъ личныхъ упованій и надеждъ, бесплодно выдыхаются въ какую то туманную даль. И съ другой стороны, сюда принадлежатъ истые поклонники позитивизма, потерявшіе духъ за подробностями и упорно остающіеся при разсудочныхъ теоріяхъ и аналитическихъ трупоразъятіяхъ. Наконецъ толпа этого направленія составляется изъ людей, вышедшихъ изъ дѣтскаго возраста и вообразившихъ, что наука легка (въ ихъ смыслѣ), что стоитъ захотѣть знать — и узнаешь, а между тѣмъ наука имъ не далась, за это они и разсердились на нее; они не вынесли съ собою ни уврѣжденныхъ дарованій, ни постоянного труда, ни желанія чѣмъ бы то ни было пожертвовать для истины. Они попробовали плодъ древа познанія и грустно повѣдали о кислотѣ и гнилости его, похожіе на тѣхъ добрыхъ людей, которые со слезами рассказываютъ о порокахъ друга — и имъ вѣрятъ добрые люди, потому что они друзья.



Возлѣ дилеттантовъ доживаютъ свой вѣкъ романти-  
ки, за одалые представители прошедшаго, глубоко скор-  
бящіе объ умершемъ мірѣ, который имъ казался вѣч-  
нымъ; они не хотятъ съ новымъ имѣть дѣла, иначе  
какъ съ копьемъ въ рукѣ; вѣрные преданію среднихъ  
вѣковъ, они похожи на Донъ-Кихота, и скорбятъ о глу-  
бокомъ паденіи людей, завернувшись въ одежды печали  
и сѣтованія. Они впрочемъ готовы признать науку;  
но для этого требуютъ, чтобы наука признала за аб-  
солютное, что Дульцинея Тобозская—первая краси-  
ца. Пришло время, въ которое должно безъ увлеченія  
и предразсудковъ смотрѣть на людей; начинается со-  
вершеннолѣтіе, и потому не одно сладкое должно вы-  
сказываться, но и горькое. Надобно для того начать  
рѣчь противъ дилеттантовъ науки, что они клеветаютъ  
на нее и для того, что ихъ жаль; наконецъ, всего бо-  
лѣе необходимо говорить о нихъ *у насъ*.

Одно изъ. существеннѣйшихъ достоинствъ русскаго  
характера—чрезвычайная легкость принимать и усваи-  
вать себѣ плодъ чужаго труда. И не только легко, но  
и ловко: въ этомъ состоитъ одна изъ гуманнѣйшихъ  
сторонъ нашего характера. Но это достоинство вмѣ-  
стѣ съ тѣмъ и значительный недостатокъ: мы рѣдко  
имѣемъ способность выдержаннаго, глубокаго труда.  
Намъ понравилось загребать жаръ чужими руками, намъ  
показалось, что это въ порядкѣ вещей, чтобъ Европа  
кровью и потомъ вырабатывала каждую истину и от-  
крытіе: ей всѣ мученія тяжелой беременности, тру-  
дныхъ родовъ, изнурительнаго кормленія грудью,—а  
дита намъ. Мы проглядѣли, что ребенокъ будетъ у  
насъ—пріемышъ, что органической связи между нами  
и имъ нѣтъ..... Все шло хорошо. Но когда мы прибли-  
зились къ современной наукѣ, ея упорство должно

было удивить насъ. Эта наука вездѣ дома — но только она нигдѣ не даетъ жатвы, гдѣ не посѣяна, она должна не только въ каждомъ принимающемъ народѣ, но въ каждой личности прозябнуть и возрасти. Намъ хотѣлось бы взять результатъ, поймать его, какъ ловятъ мухъ, и, раскрывая руку, мы или обманываемъ себя, думая, что абсолютное тутъ, или съ досадой видимъ, что рука пуста. Дѣло въ томъ, что эта наука существуетъ какъ наука, и тогда она имѣетъ великій результатъ; а результатъ отдѣльно вовсе не существуетъ: такъ голова живаго человѣка кипитъ мыслями, пока шей прикрѣплена къ туловищу, а безъ него она — пустая форма. Все это должно было удивить и оскорбить нашихъ дилеттантовъ гораздо болѣе, нежели иностранныхъ, ибо у насъ гораздо менѣе развито понятіе науки и путей ея. Наши дилеттанты съ плачемъ засвидѣтельствовали, что они обманулись въ коварной наукѣ Запада, что ея результаты темны, сбивчивы, хотя и есть порядочныя мысли, принадлежащія „такому-то и такому-то.“ Такія рѣчи у насъ вредны, потому что нѣтъ нелѣпости, обветшалости, которая не высказывалась бы нашими дилеттантами съ увѣренностью, приводящею въ изумленіе; а слушающіе готовы вѣрить, оттого, что у насъ не установились самыя общія понятія о наукѣ, есть предварительныя истины, которыя въ Германіи, на примѣръ, впередъ идутъ, а у насъ нѣтъ. О нихъ тамъ уже никто не говоритъ, а у насъ никто *еще* не говорилъ о нихъ. На Западѣ война противъ современной науки представляетъ извѣстные элементы духа народнаго, развившіеся вѣками и окрѣпнувшіе въ упрямой самобытности; имъ вспять идти не позволяютъ воспоминанія: таковы, на примѣръ, піетисты въ Германіи, порожденные односторонностью протестан-

тизма. Какъ ни жалко ихъ положеніе — быть изъятими изъ жизни современной, но нельзя отрицать въ нихъ особый характеръ упругости и послѣдовательности, съ которой они ведутъ отчаянный бой. Наши дилеттанты, если и принимаютъ эти чужеземныя болѣзни, то, не имѣя предшествующихъ фактовъ, они дивятся поверхностностью и неразуміемъ. Имъ не стыдно отступить, потому что они еще не сдѣлали ни одного шага впередъ. Они были всегда праздношатающимися въ сѣняхъ храма науки — у нихъ нѣтъ своего дома. И еслибъ они могли побѣдить восточную лѣнь и въ самомъ дѣлѣ обратить вниманіе на науку, они помирились бы съ нею. Но тутъ-то и бѣда. Мы сердимся на науку въ совершенныхъ годахъ такъ, какъ сердились на грамматику, будучи восьми лѣтъ. Трудность, темнота — главное обвиненіе; къ нему присовокупляются, какъ къ существенному, другія возраженія піэтическія, моральныя, патріотическія, сантиментальныя. Гёте давнымъ-давно сказалъ: „когда толкуютъ о темнотѣ книги, слѣдуетъ спросить, въ книгѣ ли темнота или въ головѣ.“ Вообще ссылаться вѣчно на трудность — это что-то неблагопристойное, лѣнивое и незаслуживающее возраженія \*). Наука не достается безъ труда — правда; въ наукѣ нѣтъ другаго способа пріобрѣтенія, какъ въ потѣ лица; ни порывы, ни фантазіи, ни стремленіе всѣмъ сердцемъ не замѣняютъ труда. Но трудиться не хотятъ, а утѣшаются мыслью, что современная наука есть разработка матеріаловъ, что надобно не человѣчьи усилія для того, чтобъ понять ее, и что скоро упадетъ съ неба или выйдетъ изъ-подъ земли другая *лекая* наука.

\*) У насъ, пожалуй, есть и еще нехлѣбѣ обвиненіе науки, зачѣмъ она употребляетъ *незнакомыя слова*. — Кому незнакомы??...

„Трудность, непонятность!“ А почему они знают это? развѣ внѣ науки можно знать степень ея трудности? развѣ наука не имѣетъ формальнаго начала, которое легко именно потому, что оно начало, какаянибудь неразвитая всеобщность? Съ другой стороны, они правы, ссылаясь на непониманіе, больше правы, нежели думаютъ. Если мы вникнемъ, почему при всемъ желаніи, стремленіи къ истинѣ, многимъ наука не дается, то увидимъ, что существенная, главная, всеобщая причина одна: всѣ они *не понимаютъ* науки и не понимаютъ, чего хотятъ отъ нея. Скажутъ: для кого же наука, если люди, ее любящіе, стремящіеся къ ней, не понимаютъ ея? стало быть, она, какъ алхимія, существуетъ только для адептовъ, имѣющихъ ключъ къ ея іероглифическому языку? Нѣтъ; современная наука можетъ быть понятна всякому, кто имѣетъ живую душу, самоотверженіе, и подходитъ къ ней *просто*. Въ томъ то и дѣло, что всѣ эти господа подходятъ къ ней *замысловато*, съ „задними мыслями“; испытывая ее, дѣлая ей требованія и ничѣмъ не жертвуя для нея; и она для нихъ остается—хотя бы они были мудры, какъ змѣи—безсмысленнымъ формализмомъ, логическимъ *casse-tête*, не заключающимъ въ себѣ никакой сущности.

Отреченіе отъ личныхъ убѣжденій значитъ признаніе истины; доколѣ моя личность соперничаетъ съ нею, она ее ограничиваетъ, она ее гнетъ, выгибаетъ, подчиняетъ себѣ, повинуюсь одному своеволю. Сохраняющимъ личные убѣжденія дорога не *истина*, а то, что они *называютъ* истиной. Они любятъ не науку, а именно туманное, неопредѣленное стремленіе къ ней, въ которомъ раздолье имъ мечтать и льстить себѣ. Эти искатели премудрости, каждый по своей тропинкѣ, такъ высоко оцѣнили свой подвигъ, такъ полюбили свою умную лич-

ность, что не могут поступиться ею. Было время, когда многое прощалось за одно стремление, за одну любовь къ наукѣ; это время миновало; нынче мало одной платонической любви: мы реалисты; намъ надобно, чтобъ любовь становилась дѣйствиємъ. А что заставляетъ такъ упорно держаться личныхъ убѣжденій? — эгоизмъ. Эгоизмъ ненавидитъ всеобщее, онъ отрываетъ человѣка отъ человѣчества, ставитъ его въ исключительное положеніе; для него все чуждо, кромѣ своей личности. Онъ вездѣ носитъ съ собою свою злокачественную атмосферу, сквозь которую не проникнетъ свѣтлый лучъ, не изуродовавшись. Съ эгоизмомъ об руку идетъ гордая надменность; книгу науки развертываютъ съ дерзкимъ легкомысліемъ. Уваженіе къ истинѣ — начало премудрости.

Положеніе философіи въ отношеніи къ ея любовникамъ не лучше положенія Пенелопы безъ Одиссея: ее никто не охраняетъ — ни формулы, ни фигуры, какъ математику, ни частоколы, воздвигаемые спеціальными науками около своихъ огородовъ. Чрезвычайная всеобъемлемость философіи даетъ ей видъ доступности извнѣ. Чѣмъ всеобъемлемѣе мысль и чѣмъ болѣе она держится во всеобщности, тѣмъ легче она для поверхностнаго разумѣнія, потому что частности содержанія не развиты въ ней и ихъ не подозреваютъ. Смотри съ берега на зеркальную поверхность моря, можно дивиться робости пловцовъ; спокойствіе волнъ заставляетъ забывать ихъ глубину и жадность, — онѣ кажутся хрусталемъ или льдомъ. Но пловецъ знаетъ, можно ли положиться на эту холодность и покой. Въ философіи, какъ въ морѣ, нѣтъ ни льда, ни хрусталя: все движется, течетъ, живетъ, подъ каждой точкой одинакая глубина; въ ней, какъ въ горнилѣ, расплавляется все твердое, окаменѣ-

лое, попавшееся въ ея безначальный и безконечный круговоротъ, и, какъ въ морѣ, поверхность гладка, спокойна, свѣтла, безпредѣльна и отражаетъ небо. Благодаря этому оптическому обману, дилеттанты подходятъ храбро, безъ страха истины, безъ уваженія къ преемственному труду человѣчества, работавшаго около трехъ тысячъ лѣтъ, чтобъ дойти до настоящаго развитія. Не спрашиваютъ дороги, скользятъ съ пренебреженіемъ по началу, полагая, что знаютъ его, не спрашиваютъ, что такое наука, что она должна дать, а требуютъ, чтобъ она дала имъ то, что имъ вздумается спросить. Темное предчувствіе говоритъ, что философія должна разрѣшить все, примирить, успокоить; въ силу этого отъ нея требуютъ доказательствъ на свои убѣжденія, на всякія гипотезы, утѣшенія въ неудачахъ и богъ-вѣсть чего не требуютъ. Строгій, удаленный отъ павоса и личностей характеръ науки поражаетъ ихъ, они удивлены, обмануты въ ожиданіяхъ, ихъ заставляютъ трудиться тамъ, гдѣ они искали отдыха, и трудиться въ самомъ дѣлѣ. Наука перестаетъ имъ нравиться: они берутъ отдѣльные результаты, неимѣющіе никакого смысла, въ той формѣ, въ которой они берутъ, привязываютъ ихъ къ позорному столбу и бичуютъ въ нихъ науку. Замѣтьте, каждый считаетъ себя состоятельнымъ судьей, потому что каждый увѣренъ въ своемъ умѣ и въ превосходствѣ его надъ наукою, хотя бы онъ прочелъ одно введеніе. „Нѣтъ въ мірѣ человѣка“—говоритъ одинъ великій мыслитель — „который бы думалъ, что можно не учась башмачному мастерству шить башмаки, хотя у cadaго есть нога — мѣра башмаку. Философія не дѣлитъ даже этого права.“ Личныя убѣжденія — окончательное, безапелляціонное судилище. А они откуда взяты? — отъ родителей, нянекъ, школы, отъ доб-

рыхъ и недобрыхъ людей, и отъ своего посильнаго ума. „У всякаго свой умъ—что за дѣло, какъ думаютъ другіе.“ Чтобъ сказать это, когда рѣчь идетъ не о пустыхъ случайностяхъ ежедневной жизни, а о наукѣ, надобно быть или геніемъ, или безумнымъ. Геніевъ мало, а сентенція эта повторяется часто. Впрочемъ, хоть я понимаю возможность генія, предупреждающаго умъ современниковъ (напр. Коперникъ) такимъ образомъ, что истина съ его стороны въ противность общепринятому мнѣнію, но я не знаю ни одного великаго человѣка, который сказалъ бы, что у всѣхъ людей умъ самъ по себѣ, а у него самъ по себѣ. Все дѣло философіи и гражданственности — раскрыть во всѣхъ головахъ одинъ умъ. На единеніи умовъ зиждется все зданіе человѣчества; только въ низшихъ, мелкихъ и чисто животныхъ желаніяхъ люди распадаются. При этомъ надобно замѣтить, что сентенціи такого рода признаются только, когда рѣчь идетъ о философіи и эстетикѣ. Объективное значеніе другихъ наукъ, даже башмачнаго ремесла, давно признано. У всякаго своя философія, свой вкусъ. Добрымъ людямъ въ голову не приходитъ, что это значитъ самымъ положительнымъ образомъ отрицать философію и эстетику. Ибо что же за существованіе ихъ, если они зависятъ и мѣняются отъ всякаго встрѣчнаго и поперечнаго? Причина одна: предметъ науки и искусства, ни око не видитъ, ни зубъ не ѣметъ. Духъ — Протей; онъ для человѣка то, что человѣкъ понимаетъ подъ нимъ, и на сколько понимаетъ; совсѣмъ не понимаетъ — его нѣтъ, но нѣтъ для *человѣка*, а не для *человѣчества*, не для себя. Юмъ, съ наивностью *suī generis*, своего вѣка, говоритъ, читая какую то гипотезу Бюффона: „Удивительно, я почти убѣжденъ въ достовѣрности его словъ, а онъ говоритъ о предметахъ,

которыхъ глазъ *человѣческій* не видитъ.“ Для Юма, слѣдственно, духъ существовалъ только въ своемъ воплощеніи; критеріумъ истины для него — носъ, уши, глаза и ротъ. Мудрено ли послѣ этого, что онъ отрицалъ каузальность (причинность)?

Другія науки гораздо счастливѣе философіи: у нихъ есть предметъ непроницаемый въ пространствѣ и сущій во времени. Въ естествовѣденіи, напр., нельзя такъ играть, какъ въ философіи. Природа — царство видимаго закона; она не даетъ себя насиловать; она представляетъ улики и возраженія, которыя отрицать невозможно: ихъ глазъ видитъ и ухо слышитъ. Занимающіеся безусловно покоряются, личность подавлена и является только въ гипотезахъ, обыкновенно не идущихъ къ дѣлу. Въ этомъ отношеніи, матеріалисты стоятъ выше и могутъ служить примѣромъ мечтателямъ-дилеттантамъ: матеріалисты поняли духъ въ природѣ и только какъ природу — но передъ объективностью ея, не смотря на то, что въ ней нѣтъ истиннаго примиренія, склонились; оттого между ими являлись такіе мощные люди, какъ Бюффонъ, Кювье, Лапласъ и др. Какую теорію ни бросить, какимъ личнымъ убѣжденіемъ ни пожертвуетъ химикъ, — если опытъ покажетъ другое, ему не прійдетъ въ голову, что цинкъ ошибочно дѣйствуетъ, что селитряная кислота — нелѣпость. А между тѣмъ опытъ — бѣднѣйшее средство познанія. Онъ покоряется физическому факту; фактамъ духа и разума никто не считаетъ себя обязаннымъ покоряться; не даютъ себѣ труда уразумѣть его, не признаютъ фактомъ. Къ философіи приступаютъ съ своей маленькой философіей; въ этой маленькой, домашней, ручной философіи удовлетворены всѣ мечты, всѣ прихоти эгоистическаго воображенія. Какъ же не разсердиться, когда въ философіи-наукахъ



всѣ эти мечты блѣднѣютъ передъ разумнымъ реализмомъ ея! Личность исчезаетъ въ царствѣ идеи въ то время, какъ жажда насладиться, упиться себялюбіемъ заставляетъ искать вездѣ себя и себя, какъ единичнаго, какъ этого. Въ наукѣ дилеттанты находятъ одно всеобщее, — разумъ, мысль по превосходству, всеобщее: наука перешагнула за индивидуальности, за случайныя и временныя личности; она далеко оставила ихъ за собою, такъ что они незамѣтны изъ нея. Въ наукѣ царство совершеннолѣтія и свободы; слабые люди, предчувствуя эту свободу, трепещутъ; они боятся ступить безъ пѣстуна, безъ внѣшняго велѣнія; въ наукѣ нѣ кому оцѣнить ихъ подвига, похвалить, наградить; имъ кажется это ужасной пустотою, голова кружится, и они удаляются. Распадаясь съ наукой, они начинаютъ ссылаться на темное чувство свое, которое хотъ и никогда не приходитъ въ ясность, но не можетъ ошибиться. Чувство индивидуально: я чувствую — другой нѣтъ, оба правы; доказательствъ не нужно, да они и невозможны — еслибъ была искра любви къ истинѣ въ самомъ дѣлѣ, разумѣется ее не рѣшились бы провести подъ каудинскія фурукулы чувствъ, фантазій и капризовъ. Не сердце, а разумъ судья истины. А разуму кто судья? — онъ самъ. Это одна изъ непреодолимѣйшихъ трудностей для дилеттантовъ; оттого они, приступая къ наукѣ, и ищутъ внѣ науки аршина, на который мѣрить ее; сюда принадлежитъ извѣстное нелѣпое правило: прежде, нежели начать мыслить, изслѣдовать орудія мышленія какимъ-то внѣшнимъ анализомъ.

При первомъ шагѣ, дилеттанты предъявляютъ допросные пункты, труднѣйшіе вопросы науки хотятъ впередъ узнать, чтобъ имѣть залогъ, чтò такое духъ, абсолютное... да такъ, чтобъ опредѣленіе было коротко и

ясно, т. е., дайте содержаніе всей науки въ нѣсколькихъ сентенціяхъ, — это была бы легкая наука! Что сказали бы о томъ человѣкѣ, который, собираясь заняться математикой, потребовалъ бы впередъ яснаго изложенія дифференцированія и интегрированія, и притомъ на его собственномъ языкѣ? Въ специальныхъ наукахъ рѣдко услышите такіе вопросы: страхъ показаться невѣждой держать въ уздѣ. Въ философіи дѣло другое: тутъ никто не женируется! Предметы все знакомые — умъ, разумъ, идея и проч. У всякаго есть палата ума, разума и не одна, а много идей. Я еще здѣсь предположилъ темную наслышку о результатахъ философіи, хотя и нельзя угадать, что именно допрашивающіе разумѣютъ подъ абсолютнымъ, духомъ и проч.; но болѣе отважные дилеттанты идутъ дальше; они дѣлаютъ вопросы, на которые рѣшительно нѣчего сказать, потому что вопросъ заключаетъ въ себѣ нелѣпость. Для того, чтобъ сдѣлать дѣльный вопросъ, надобно непременно быть сколько нибудь знакомому съ предметомъ, надобно обладать своего рода предугадывающею проницательностію. Между тѣмъ, когда наука молчитъ изъ снисхожденія, или старается, вмѣсто отвѣта, показать невозможность требованія, ее обвиняютъ въ несостоятельности и въ употребленіи уловокъ.

Приведу, для примѣра, одинъ вопросъ, разнымъ образомъ, но чрезвычайно часто предлагаемый дилеттантами: „какъ безвидное внутреннее превратилось въ видимое, внѣшнее, и что оно было прежде существованія внѣшняго?“ Наука потому не обязана на это отвѣчать, что она и не говорила, что два момента, существующіе какъ внутреннее и внѣшнее можно разъять такъ, чтобъ одинъ моментъ имѣлъ дѣйствительность безъ другаго. Въ абстракціи, разумѣется, мы можемъ отдѣлить при-

чину отъ дѣйствія, силу отъ проявленія, субстанцію отъ наружнаго. Но имъ не того хочется: имъ хочется *освободить* сущность, внутреннее — такъ, чтобъ можно было посмотре́ть на него; они хотятъ какого-то предметнаго существованія его, забывая, что предметное существованіе внутренняго есть именно внѣшнее; внутреннее, неимѣющее внѣшняго, просто — безразличное ничто.

Nichts ist drinnen, nichts ist draussen :  
Denn was innen, das ist aussen.

ГЕТЕ.

Словомъ, внѣшнее есть обнаруженное внутреннее, и внутреннее потому внутреннее, что имѣетъ свое внѣшнее. Внутреннее безъ внѣшняго какая-то дурная возможность, потому что нѣтъ ему проявленія; внѣшнее безъ внутренняго — бессмысленная форма, неимѣющая содержанія. Такимъ объясненіемъ дилеттанты недовольны: у нихъ кроется мысль, что во внутреннемъ спрятана тайна, которая разуму непостижима, а между тѣмъ вся сущность его въ томъ только и состоитъ, чтобъ *обнаружиться*, — и для чего, для кого была бы эта *тайная тайна*? Безконечное, безначальное отношеніе двухъ моментовъ, другъ друга опредѣляющихъ, другъ въ друга *утягивающихъ* такъ сказать, составляютъ жизнь истины; въ этихъ вѣчныхъ переливахъ, въ этомъ вѣчномъ движеніи, въ которое увлечено все сущее, живетъ истина: это ея вдыханіе и выдыханіе, ея систола и діастола. Но истина жива, какъ все органически живое, только какъ цѣлостность; при разъятіи на части, душа ея отлетаетъ и остаются мертвыя абстракціи съ запахомъ трупа. Но живое движеніе, это всемірное діалектическое біеніе пульса, находитъ чрезвычайное сопротивле-

ніе со стороны дилеттантовъ. Они не могутъ допустить, чтобъ *порядочная* истина, не сдѣлавшись нелѣпостью, могла перейти въ противоположное. Разумѣется, что внѣ науки нельзя передать ясно и отчетливо необходимость вѣчнаго, неуловимаго перехода внутренняго во внѣшнее, такъ что наружное есть внутреннее, а внутреннее наружное. Но причина, почему именно такіе выводы философіи возмущаютъ — очевидна. Разсудочныя теоріи приучили людей до такой степени къ анатомическому способу, что только неподвижное, мертвое, т. е. неистинное, они считаютъ за истину, заставляютъ мысль оледениться, застыть въ какомъ нибудь одностороннемъ опредѣленіи, полагая, что въ этомъ омертвлѣломъ состояніи легче разобрать ее. Встарь учились фізіологіи въ анатомическомъ театрѣ: оттого наука о жизни такъ далеко отстоитъ отъ наукъ о трупѣ. Какъ только взять одинъ моментъ — невидимая сила влечетъ въ противоположный; это первое жизненное сотрясеніе мысли: субстанція влечетъ къ проявленію, безконечное къ конечному; они такъ необходимы другъ другу, какъ полюсы магнита. Но недовѣрчивые и осторожные пытатели хотятъ раздѣлить полюсы: безъ полюсовъ магнита нѣтъ; какъ только они вонзаютъ скальпель, требуя *того* или *другаго*, — дѣлается разъятіе нераздѣльнаго, и остаются двѣ мертвыя абстракціи, кровь застываетъ, движеніе остановлено. Да пусть бы знали, что то или другое отдѣльно абстракціи, такъ какъ математикъ, отвлекая линію отъ площади и площадь отъ тѣла, знаетъ, что реально одно тѣло, а линія и площади абстракціи \*).

\*) Вообще, математика, не смотря на то, что предметъ ея по превосходству мертвъ и формаленъ, отдѣлилась отъ сухаго *то или другое*. Что такое дифференціалъ? — безконечно-малая величина;

Нѣтъ, эти люди, непонимающіе объективности разума, отрицающіе ее, именно тутъ требуютъ незаконной объективности, дѣйствительности своимъ отвлеченностямъ.

Здѣсь время напомнить третье условіе пониманія науки, о которомъ было сказано, *живую душу*. Только живой душой понимаются живыя истины; у нея нѣтъ ни пустаго внутри формализма, на который она растягиваетъ истину какъ на прокустовомъ ложѣ, ни твердыхъ застылыхъ мыслей, отъ которыхъ отступить не можетъ. Эти застылыя мысли составляютъ массу аксіомъ и теоремъ, которая впередъ идетъ, когда приступаютъ къ философіи, съ ихъ помощію составляются готовыя понятія, опредѣленія богъ-вѣсть на чемъ основанныя, безъ всякой связи между собою. Начать знаніе надобно съ того, чтобъ забыть всѣ эти сбивчивыя, невѣрныя понятія; они вводятъ въ обманъ; извѣстнымъ полагается именно то, что неизвѣстно; надобно смерти и уничтоженію предоставить мертвыхъ, отказаться отъ всѣхъ неподвижныхъ привидѣній. Живая душа имѣетъ симпатію къ живому, какое-то ясновидѣніе облегчаетъ ей путь, она трепещетъ, вступая въ область родную ей, и скоро знакомится съ нею. Конечно, наука не имѣетъ такихъ торжественныхъ пропилей, какъ религія. Пусть достиженія къ наукѣ идетъ повидимому безплод-

стало быть или онъ имѣетъ величину, и въ такомъ случаѣ это величина конечная, или не имѣетъ никакой величины: въ такомъ случаѣ онъ нуль. Но Лейбницъ и Ньютонъ постигли шире и приняли сосуществованіе бытія и небытія, начальное движеніе возникновенія, переливъ отъ ничего къ чему нибудь. Результаты теорій бесконечно-малыхъ извѣстны. Далѣе, математика не испугалась ни отрицательныхъ величинъ, ни несоизмѣримости, ни бесконечно-великаго, ни мнимыхъ корней. А разумѣется, все это падаетъ въ прахъ передъ узенькимъ разсудочнымъ „то или другое“.

ной степью ; это отталкиваетъ нѣкоторыхъ. Потери видны, пріобрѣтеній нѣтъ ; поднимаемся въ какую-то изрѣженную среду, въ какой-то міръ безплотныхъ абстракцій, важная торжественность кажется суровою холодною ; съ каждымъ шагомъ уносишься болѣе и болѣе въ это воздушное море ; становится *страшно проторно*, тяжело дышать и безотрадно, берега отдаляются, исчезаютъ, — съ ними исчезаютъ всѣ образы навѣянные мечтами, съ которыми сжилось сердце ; ужасъ объемлетъ душу : *Lasciate ogni speranza voi che entrate !* Гдѣ бросить якорь ? Все разрѣшается, теряетъ твердость, улетучивается. Но вскорѣ раздается громкій голосъ, говорящій подобно Юлію Цезарю : „чего боишься ? ты меня везешь !“ Этотъ Цезарь — безконечный духъ, живущій въ груди человѣка ; въ ту минуту, какъ отчаяніе готово вступить въ права свои, онъ вострепнулся ; духъ найдетъ въ этомъ мірѣ : это его родина, та, къ которой онъ стремился и звуками, и статуями, и пѣснопѣніями, по которой страдалъ, это *Jenseits*, къ которому онъ рвался изъ тѣсной груди ; еще шагъ — и міръ начинается возвращаться ; но онъ не чужой уже : наука даетъ на него инвеституру. Поблекли мечты, основанныя на раздраженной фантазіи, чрезъ посредство которой духъ прорывался къ знанію ; но за то дѣйствительность просвѣтлѣла, взоръ проникаетъ глубоко и видитъ, что нѣтъ тайны, которую хранили бы сфинксы и грифы, что внутренняя сущность готова раскрыться дерзающему. Но за мечты именно и держутся всего болѣе дилеттанты. Они не могутъ найти силъ перенести съ самоотверженіемъ начала и дойти до той оборотной точки, съ которой боль скептицизма и лишеній замѣняется предчувствіемъ знанія успокоеннаго. Они знаютъ, что боготворимыя мечты, всѣ идеалы ихъ какъ-то

не истинны, чувствуют неловкость, несвязность, и остаются при этой неловкости, *могут* остаться. Но человек, поднявшийся до современности съ живой душой не может удовлетвориться внѣ науки. Глубоко пострадавъ пустоту субъективныхъ убѣжденій, постучавшись во всѣ двери, чтобъ утолить жгучую жажду возбужденнаго духа и нигдѣ не находя истиннаго отвѣта, измученный скептицизмомъ, обманутый жизнью, онъ идетъ нагой, бѣдный, одинокій, и бросается въ науку.

„Неужели онъ страдательно склонится подъ ярмо чужаго авторитета?“ Наука не требуетъ ничего впередъ, не даетъ никакихъ началъ на вѣру, и какія начала у нея, которыя впередъ можно было бы передать? Ея начала — это конецъ ея, это послѣднее слово, итогъ всего движенія, до нихъ она достигаетъ; самое развитіе ихъ есть неопровержимое доказательство. Если же подъ началомъ разумѣть первую страницу, то въ ней истины науки, потому не можетъ быть, что она первая страница, и все развитіе еще впереди. Наука начинается съ какого нибудь общаго мѣста, а не съ изложенія своего *profession de foi*. Она не говоритъ „допусти то и то,“ а „я тебѣ дамъ истину спрятанную у меня, ты можешь получить ее, рабски повинувшись;“ въ отношеніи къ лицу, она только направляетъ внутренній процессъ развитія, прививаетъ индивидуальности совершенное родомъ, пріобщаетъ ее къ современности; она сама есть процессъ углубленія въ себя природы, и развитіе полнаго сознанія космоса о себѣ; ея вселенная *приходитъ въ себя* послѣ бореній матеріальнаго бытія, жизни, погруженной въ непосредственность. Его фантастическое упоеніе *образною* вѣденія становится, по выраженію Аристотеля, *трезвымъ знаніемъ*. Но для того, чтобъ до-

стигнуть дѣйствительно до трезвости, надобенъ былъ трудъ 3,000 лѣтъ. Сколько прожилъ скорбнаго, страдалъ, унывалъ, лилъ слезъ и крови духъ человѣчества, пока отрѣшилъ мышленіе отъ всего временнаго и односторонняго, и началъ понимать себя сознательной сущностью міра! Величественную и огромную эпопею исторіи надобно было прожить человѣчеству, чтобъ великій поэтъ, опередившій свою эпоху и предузнавшій нашу, могъ спросить :

Ist nicht der Kern der Natur  
Menschen im Herzen ?

О какомъ чужомъ авторитетѣ говорятъ дилеттанты, гдѣ возможность его въ наукѣ? Дѣло въ томъ, что они науку принимаютъ не за послѣдовательное развитіе разума и самопознанія, а за разные опыты, выдуманные разными особами въ разные времена, безъ связи и отношенія между собою. Они не могутъ понять, что истина не зависитъ отъ личности трудящихся, что они только органы развивающейся истины; они не могутъ никакъ постигнуть ея высокое объективное достоинство; имъ все кажется, что это субъективные помыслы и капризы. Наука имѣетъ свою автономію и свой генезисъ; свободная, она не зависитъ отъ авторитетовъ; освобождающая, она не подчиняетъ авторитетамъ. Но въ самомъ дѣлѣ она имѣетъ право требовать впередъ на столько довѣрія и уваженія, чтобъ къ ней не приступали съ заготовленными скептическими и мистическими возраженіями, потому что и они—добровольныя принятія на вѣру. Гдѣ? по какому праву? на чемъ основываясь? заготавливаютъ возраженія на науку внѣ ея. Откуда эта твердая масса, отталкивающая свѣтъ? Въ душѣ чистой отъ предразсудковъ наука можетъ



опереться на свидѣтельство духа о своемъ достоинствѣ, о своей возможности развить въ себѣ истину; отъ этого зависитъ смѣлость знать, святая дерзость сорвать завѣсу съ Изиды и вперить горящій взоръ на обнаженную истину, хотя бы то стоило жизни, лучшихъ упованій.

Но какая эта истина, которую намъ обѣщаютъ за покрываломъ?... Въ самомъ дѣлѣ, *какая?* Тѣ, которые желали ее пламенно, скорбѣли и лили слезы по ней, тайкомъ заглянули, и были поражены — кто страхомъ, кто негодованіемъ. Бѣдная истина! Хорошо, что древніе ваяли покрывало изъ мрамора: его нельзя было поднять; глаза людей недостаточно окрѣпли, чтобъ вынести ея черты. Или *не той* истины хотѣли они? А сколько же истинъ? Люди добрые, разсудочные знаютъ *много*, очень много истинъ, — но *одна* истина имъ недоступна; какой-то оптическій обманъ представляетъ имъ истину въ уродливомъ видѣ и притомъ каждому на свой ладъ. Если собрать обвиненія, непрерывно слышимыя, когда рѣчь идетъ о наукѣ, т. е. о истинѣ, раскрывающейся въ правильномъ организмѣ, то можно, употребляя извѣстное средство астрономіи для полученія истиннаго мѣста свѣтила, наблюдаемаго съ разныхъ точекъ, т. е. вычитывая противоположные углы (теорія параллаксовъ), вывести справедливое заключеніе. Одни говорятъ — атеизмъ, другіе — пантеизмъ; одни говорятъ — трудность, ужасная трудность, другіе — пустота, просто ничего нѣтъ. Матеріалисты улыбаются надъ мечтательнымъ идеализмомъ науки; идеалисты находятъ въ анализѣ науки хитро-скрытый матеріализмъ. Піетисты убѣждены, что современная наука безрелигіознаѣ Эразма, Вольтера и Гольбаха съ компаніей, и считаютъ ее вреднѣе волтеріанизма. Люди нерелигіозные упрекаютъ науку въ ортодоксіи. И, главное, всѣ недовольны — требуютъ опять

завѣсы. Кого поразили свѣтъ, кого простота, кому стыдно стало наготы истины, кому черты ея не понравились, потому что въ нихъ много земнаго. Всѣ обманулись,— а обманулись отъ того, что хотѣли не истины.

Но дѣло сдѣлано. Событіе вспять не пойдетъ; однажды начавъ разоблачаться и показавъ намъ торсъ поразительной прелести, истина не надѣнетъ снова покрывала изъ ложнаго стыда; она знаетъ силу, славу и красоту наготы своей.

1842, апрѣля 25.

## II

### ДИЛЕТТАНТЫ-РОМАНТИКИ

Оставимъ мертвымъ погребать мертвыхъ.

Есть вопросы, до которыхъ никто болѣе не касается, не потому, чтобъ они были рѣшены, а потому что надѣли, не сговариваясь соглашаются ихъ считать непонятными, прошедшими, лишенными интереса и молчать объ нихъ. Но время отъ времени полезно заглядывать въ эти архивы мнимо-рѣшенныхъ дѣлъ: послѣдовательно оглядываясь, мы смотримъ на прошедшее всякій разъ иначе; всякій разъ разглядываемъ въ немъ новую сторону, всякій разъ прибавляемъ къ уразумѣнію его весь опытъ вновь пройденнаго пути. Полнѣе сознавая прошедшее, мы уясняемъ современное, глубже опускаясь въ смыслъ былаго — раскрываемъ смыслъ будущаго, глядя назадъ — шагаемъ впередъ; наконецъ, и для того полезно перетрясти ветошь, чтобъ узнать, сколько ея истлѣло и сколько осталось на костяхъ.

Одно изъ такихъ дѣлъ, которое, выражаясь судейскимъ слогомъ, зачислено рѣшеннымъ впредь до востребованія, дѣло недавно поступившее въ архивъ — тяжба романтизма и классицизма, такъ волновавшая умы и сердца въ первую четверть нашего вѣка (даже и ближе), тяжба этихъ возставшихъ изъ гроба сошла съ ними вмѣстѣ второй разъ въ могилу, и нынѣ говорятъ всего менѣе о правахъ романтизма и его боѣ съ классиками — хотя и остались въ живыхъ многіе изъ закоснѣлыхъ поклонниковъ и непримиримыхъ враговъ его.

А давно ли этотъ бой, шумно начавшійся, блисталъ во всей красѣ? Много было талантовъ на аренѣ; общественный голосъ участвовалъ живо, дѣятельно; нынѣ избитыя имена „классикъ, романтикъ“ были многозначительны — и вдругъ все замолкло; интересъ, окружавшій сражавшихся, исчезъ; зрители догадались, что и тѣ и другіе сражаются за мертвыхъ; мертвецы вполне заслужили тризны и мавзолеи — они оставили намъ богатя наследія, которыя стяжали въ кровавомъ потѣ, страданіяхъ, тяжкомъ трудѣ, — но бороться за нихъ безцѣльно. Нѣтъ въ мірѣ неблагодарнѣе занятія, какъ сражаться за покойниковъ: завоевываютъ тронъ, забывая, что нѣкого посадить на него, потому что царь умеръ. Когда бойцы увидѣли, что они лишились участія — ихъ жаръ простылъ. Одни упорные и ограниченные люди остались на полѣ битвы въ полномъ вооруженіи, похожіе на теперешнихъ бонапартистовъ, отстаивающихъ права великой тѣни — но все же тѣни.

Борьба эта будто явилась съ того свѣта, чтобъ присутствовать при вступленіи въ отрочество новаго міра, передать ему владычество отъ имени двухъ предшествовавшихъ, отъ имени отца и дѣда, и увидѣть, что для мертвыхъ нѣтъ больше владѣній въ мірѣ жизни.

Фактическое явленіе романтизма и классицизма въ видѣ двухъ исключительныхъ школъ было слѣдствіемъ страннаго состоянія умовъ лѣтъ за тридцать тому назадъ. Когда народы успокоились послѣ пятнадцати первыхъ лѣтъ нашего вѣка и жизнь потекла обычнымъ русломъ, тогда лишь увидѣли, сколько изъ существовавшаго порядка вещей, незамѣненнаго новымъ, потеряно и сломано. Въ разгромѣ революціи и императорства нѣкогда было прійти въ себя. Сердца и умы наполнились скукой и пустотой, раскаяніемъ и отчаяніемъ, обманутыми надеждами и разочарованіемъ, жаждой вѣры и скептицизмомъ. Пѣвецъ этой эпохи, — Байронъ, мрачный, скептическій, поэтъ отрицанья и глубокаго разрыва съ современностью, падшій ангелъ, какъ называлъ его Гёте. Франція, главный театръ событій переворота, всего болѣе страдала. Религія была въ упадкѣ, политическія вѣрованія исчезли, всѣ направленія самыя противоположныя были оскорблены эклектизмомъ первыхъ годовъ реставраціи. Спасаясь отъ тягости настоящаго, отыскивая вездѣ выхода, Франція впервые иными глазами взглянула на прошедшее. Воспоминаніе человечества — своего рода небесное чистилище — былое воскресаетъ въ немъ просвѣтленнымъ духомъ, отъ котораго отпало все темное, дурное. Когда Франція увидѣла великую тѣнь преобразенныхъ среднихъ вѣковъ съ ихъ увлекательнымъ характеромъ единства, вѣрованія, рыцарской доблести и удали, и увидѣла очищенную отъ дерзкаго своеволія и наглої несправедливости, отъ всестороннихъ противорѣчій, кое какъ формально примиренныхъ тогдашней жизни, она, пренебрегавшая дотолѣ всѣмъ феодальнымъ — предалась нео-романтизму. Шатобріанъ, романы Вальтеръ-Скотта, знакомство съ Германіей и съ Англіей — способствовали къ распространенію

готическаго возрѣнія на искусство и жизнь. Франція увлеклась готизмомъ, такъ какъ увлеклась античнымъ міромъ, по чрезвычайной воспріимчивости и живости, не опускаясь во всю глубь. Однако не все покорилось романтизму: умы положительные, умы сосавшіе всѣ соки свои изъ великихъ произведеній Греціи и Рима, прямые наслѣдники литературы Лудовика XIV, Вольтера и энциклопедіи, участники революціи и императорскихъ войнъ, односторонніе и упрямые въ своихъ началахъ, съ презрѣніемъ смотрѣли на юное поколѣніе, отрицающее ихъ въ пользу понятій ими казненныхъ, какъ полагали, на вѣки. Романтизмъ, бродившій въ умахъ юнаго поколѣнія Франціи, братски встрѣтился съ зарейнскимъ романтизмомъ, разразившимся тогда же до высшаго предѣла. Въ характерѣ германскомъ было всегда что-то мистическое, натянуто-восторженное, склонное къ спекуляціи и не менѣе склонное къ кабалистикѣ — это лучшая почва для романтизма, и онъ не замедлилъ явиться въ полнѣйшемъ развитіи въ Германіи. Реформація, освободивъ преждевременно и односторонно умы германскіе, двинула ихъ въ поэтико-схоластическомъ, въ разсудочно-мистическомъ направленіи. Отклоненіе важное отъ истиннаго пути. Лейбницъ въ свое время замѣтилъ, что Германіи трудно будетъ отдѣлаться отъ этого направленія, которое, прибавимъ мы, оставило слѣды въ твореніяхъ самого Лейбница. Эпоха неестественнаго классицизма и галломаніи, на время прикрывшая національные элементы, не могла произвести важнаго вліянія: эта литература не имѣла отголоска въ народѣ. Богъ знаетъ для кого она говорила и чью мысль высказывала. Болѣе истинное, несравненно глубочайшее вліяніе произвела литературная эпоха, начавшаяся съ Лессинга: космо-политическая и

совершеннолѣтняя, она старалась развить національные элементы въ общечеловѣческіе ; это была великая задача и Гердера, и Канта, и Шиллера, и Гёте. Но задача эта разрѣшалась на полѣ искусства и науки, отдѣляя китайскою стѣною общественную и семейную жизнь отъ интеллектуальной. Внутри Германіи была другая Германія — міръ ученыхъ и художниковъ — они не имѣли никакого истиннаго отношенія между собою. Народъ не понималъ своихъ учителей. Онъ по большей части остался на томъ мѣстѣ, на которомъ сѣлъ отдыхать послѣ тридцатилѣтней войны. Исторія Германіи отъ вестфальскаго мира до Наполеона имѣетъ одну страницу, именно ту, на которой писаны дѣянія Фридриха II. Наконецъ, Наполеонъ, тяжело ударяя, добился практическихъ сторонъ духа германскаго, забытаго ея образователями, и тогда только бродившія внутри и усыпленные страсти подняли голову, и раздались какіе-то страшные голоса, полные фанатизма и мрачной любви къ отечеству. Феодальное воззрѣніе среднихъ вѣковъ, приложенное нѣсколько къ нашимъ правамъ и одѣтое въ рыцарски-театральные костюмы — овладѣло умами. Мистицизмъ снова вошелъ въ моду ; дикій огонь преслѣдованія блеснулъ въ глазахъ мирныхъ германцевъ и фактически-реформаціонный міръ возвратился въ идеѣ къ католическому міросозерцанію. Величайшій романтикъ, Шлегель, потому что онъ лютеранинъ, перекрестился въ католицизмъ, — тутъ видна логика.

Ватерлоо рѣшило на первый случай, кому владѣть полемъ : Наполеону-классику, или романтикамъ — Веллингтону и Блюхеру. Въ лицѣ Наполеона, императора французовъ и Корсиканца, представителя классической цивилизаціи и романской Европы, германцы снова побѣдили Римъ и снова провозгласили торжество готическихъ идей.

Романтизмъ торжествовалъ; классицизмъ былъ гонимъ: съ классицизмомъ сопрягались воспоминанія, которыя хотѣли забыть, а романтизмъ выкопалъ забытое, которое хотѣли вспомнить. Романтизмъ говорилъ безпрестанно, классицизмъ молчалъ; романтизмъ сражался со всѣмъ на свѣтѣ какъ Донъ-Кихотъ, — классицизмъ сидѣлъ съ спокойною важностью римскаго сенатора. Но онъ не былъ мертвъ, какъ тѣ римскіе сенаторы, которыхъ Галлы приняли за мертвецовъ: въ его рядахъ были не дюжинные люди — всѣ эти Бентамы, Ливингстоны, Тенары, Декандоли, Берцелии, Лапласы, Сэи, не были похожи на побѣжденныхъ, и веселыя пѣсни Беранже раздавались въ стану классиковъ. Осыпаемые проклятіями романтиковъ, они молча отвѣчали громко — то пароходами, то желѣзными дорогами, то цѣлыми отраслями науки, вновь разработанными, какъ геогнозія, политическая экономія, сравнительная анатомія, то рядомъ машинъ, которыми они отрѣшали человѣка отъ тяжкихъ работъ. Романтики смотрѣли съ пренебреженіемъ на эти труды, унижали всѣми средствами всякое практическое занятіе, находили печать проклятія въ матеріальномъ направленіи вѣка и проглядѣли, смотря съ своей колокольни, всю поэзію индустріальной дѣятельности, такъ грандіозно развертывавшейся, напримѣръ, въ Сѣверной Америкѣ.

Пока классицизмъ и романтизмъ воевали, одинъ, обращая міръ въ античную форму, другой въ рыцарство, возрастало болѣе и болѣе *нѣчто* сильное, могучее; оно прошло между ними, и они не узнали властителя по царственному виду его; оно оперлось однимъ локтемъ на классиковъ, другимъ на романтиковъ, и стало выше ихъ — какъ „власть имущее“; признало тѣхъ и другихъ и отреклось отъ нихъ обоихъ: — это была внутренняя мысль, живая психея современнаго намъ міра. Ей, рож-

денной среди молній и громовыхъ ударовъ отчаяннаго боя католицизма и реформаціи, ей, вступившей въ отрочество среди молній и громовыхъ ударовъ другой борьбы — не годились чужія платья: у ней были выработаны свои. Ни классицизмъ, ни романтизмъ долгое время не подозрѣвали существованія этой третьей власти. Сперва и тотъ и другой приняли его за своего сообщника (такъ, напримѣръ, романтизмъ мечталъ, не говоря уже о Вальтеръ-Скоттѣ, что въ его рядахъ Гёте, Шиллеръ, Байронъ). Наконецъ и классицизмъ и романтизмъ признали, что между ними есть что-то другое, далекое отъ того, чтобъ помогать имъ; не мираясь между собой, они опрокинулись на новое направленіе. Тогда была рѣшена ихъ участь.

Мечтательный романтизмъ сталъ *ненавидѣть* новое направленіе за его *реализмъ*!

Щупающій пальцами классицизмъ сталъ *презирать* его за *идеализмъ*!

Классики, вѣрные преданіямъ древняго міра, съ гордой вѣротерпимостью и съ сардонической улыбкой поглядывали на идеалоговъ и чрезвычайно занятые опытами, спеціальными предметами, рѣдко являлись на арену. По справедливости, ихъ не должно считать врагами нашего вѣка. Это большею частію люди практическихъ интересовъ жизни, утилитаризма. Новое направленіе такъ недавно стало выступать изъ школы, его занятія казались неприлагаемы, неразвиваемы въ жизнь: они отвергали его, какъ ненужное. Романтики, столь же вѣрные преданіямъ феодализма, съ дикой нетерпимостью не сходили съ арены; то былъ бой на смерть, отчаянный и злой; они готовы были воздвигнуть костры и завести инквизицію для окончанія спора; горькое сознаніе, что ихъ не слушаютъ, что ихъ игра потеряна, раздувало



закосяблѣый духъ преслѣдованія, и доселѣ они не смирились. А при всемъ томъ, каждый день, каждый часъ яснѣе и яснѣе показываетъ, что человѣчество не хочетъ больше ни классиковъ, ни романтиковъ — хочетъ людей, и людей современныхъ, а на другихъ смотритъ, какъ на гостей въ маскарадѣ, зная, что когда пойдутъ ужинать, маски снимутъ, и подъ уродливыми чужими чертами откроются знакомыя, родственныя черты. Хотя и есть люди, которые не ужинаютъ, для того, чтобъ не снимать масокъ, но ужъ нѣтъ больше дѣтей, которыя бы боялись замаскированныхъ. Возникшій бой былъ гибеленъ для обѣихъ сторонъ; несостоятельность классицизма, невозможность романтизма обличались: по мѣрѣ ближайшаго знакомства съ ними, раскрылось ихъ неестественное, анахронистическое появленіе, и лучшіе умы той эпохи остались не причастны войнѣ оборотней, не смотря на весь шумъ, поднятый ими. А было время когда классицизмъ и романтизмъ были живы, истинны и прекрасны, необходимы и глубоко-человѣчественны. Было... „Пользу или вредъ принесло папство“? спросилъ наивный Лас-Казъ у Наполеона. „Я не знаю, что сказать“ отвѣчалъ отставной императоръ: „оно было полезно и необходимо въ свое время, оно было вредно въ другое.“ Такова судьба всего являющагося во времени. Классицизмъ и романтизмъ принадлежатъ двумъ великимъ прошедшимъ; съ какимъ бы усиленіемъ ихъ ни воскрешали, они останутся тѣнями усопшихъ, которымъ нѣтъ мѣста въ современномъ мірѣ. Классицизмъ принадлежитъ міру древнему, такъ какъ романтизмъ среднимъ вѣкамъ. Исключительнаго владѣнія въ настоящемъ они имѣть не могутъ, потому что настоящее нисколько не похоже ни на древній міръ, ни на средній. Для доказательства достаточно бросить самый бѣглый взглядъ на нихъ.

Греко-римскій міръ былъ по превосходству реалистическій; онъ любилъ и уважалъ природу, онъ жилъ съ нею за одно, онъ считалъ высшимъ благомъ существовать; космосъ былъ для него истина, за предѣлами которой онъ ничего не видалъ, и космосъ ему довлѣлъ именно потому, что требованія были ограниченны. Отъ природы и чрезъ нее достигалъ древній міръ до духа, и оттого не достигъ до единого духа. Природа есть именно существованіе идеи въ многообразіи; единство понятое древними, была необходимость, фатумъ, тайная, міродержавная сила, неотразимая для земли и для Олимпа; такъ природа подчинена законамъ необходимымъ, которыхъ ключъ въ ней, но не для нея. Космогонія Грековъ начинается хаосомъ и развивается въ олимпійскую федерацію боговъ, подъ диктатурою Зевса; не дойдя до единства, они, республиканцы, охотно остановились на этомъ республиканскомъ управленіи вселенной. Антропоморфизмъ поставилъ боговъ очень близко къ людямъ. Грекъ, одаренный высокимъ эстетическимъ чувствомъ, прекрасно постигнулъ *выразительность внѣшняю*, тайну формы; божественное для него существовало облеченнымъ въ человѣческую красоту; въ ней обоготворялась ему природа, и далѣе этой красоты онъ не шелъ. Въ этой жизни за одно съ природой была увлекательная прелесть и легкость существованія. Люди были довольны жизнію. Ни въ какое время не были такъ художественно уравновѣшены элементы души человѣческой. Дальнѣйшее развитіе духа было необходимымъ шагомъ впередъ, но оно не могло иначе быть, какъ на счетъ плоти, тѣла, формы: оно было выше, но должно было пожертвовать античной граціей. Жизнь людей въ цвѣтущую эпоху древняго міра была безпечно ясна, какъ жизнь природы. Неопредѣленная

тоска, мучительныя углубленія въ себя, болѣзненный эгоизмъ — для нихъ не существовали. Они страдали отъ реальныхъ причинъ, лили слезы отъ истинныхъ потерь. Личность индивидуума терялась въ гражданинѣ, а гражданинъ былъ органъ, атомъ другой, священной, обоготворяемой личности — личности города. Трепетали не за свое я, а за я Аѳинъ, Спарты, Рима: таково было широкое, вольное воззрѣніе греко-римскаго міра, человѣчески прекрасное *въ своихъ границахъ*. Оно должно было уступить иному воззрѣнію, потому что оно было ограничено. Древній міръ поставилъ внѣшнее на одну доску съ внутреннимъ — такъ оно и есть въ природѣ, но не такъ въ истинѣ — духъ господствуетъ надъ формой. Греки думали, что они *вываяли* все, что находится въ душѣ человѣческой; но въ ней осталась бездна требованій, усыпленныхъ, неразвитыхъ еще, для которыхъ рѣзецъ не состоятеленъ; они поглотили всеобщимъ личностью, городомъ — гражданина, гражданиномъ — человѣка; но личность имѣла свои неотъемлемыя права, и, по закону возмездія, кончилось тѣмъ, что индивидуальная, случайная личность императоровъ римскихъ поглотила городъ городовъ. Апотеоза Нероновъ, Клавдіевъ и деспотизмъ ихъ — были ироническимъ отрицаніемъ одного изъ главнѣйшихъ началъ эллинскаго міра въ немъ самомъ. Тогда наступило время смерти для него и время рожденія инаго міра. Но плодъ жизни эллино-римской не могъ и не долженъ былъ погибнуть для человѣчества. Онъ прозябалъ пятнадцать столѣтій для того, чтобъ германскій міръ имѣлъ время укрѣпить свою мысль и пріобрѣсти умѣніе воспользоваться имъ. Въ этотъ промежутокъ расцвѣлъ и поблекъ романтизмъ — съ своей великой истиной и съ своей великой односторонностью.

Романтическое воззрѣніе не должно принимать ни за всеобще-христіанское, ни за чисто-христіанское : — оно почти исключительная принадлежность католицизма ; въ немъ, какъ во всемъ католическомъ, спаялись два начала, — одно, почерпнутое изъ Евангелія, другое — народное, временное, болѣе всего германическое. Туманная, склонная къ созерцанію и мистицизму фантазія германскихъ народовъ, развернувшись во всемъ своемъ безконечномъ характерѣ, принявъ въ себя и переработавъ христіанство ; но съ тѣмъ вмѣстѣ она придала религіи національный цвѣтъ, и христіанство могло болѣе дать, нежели романтизмъ могъ взять, даже то, что было взято ею, взято односторонно, и, развившись — развилось насчетъ остальныхъ сторонъ. Духъ, рвавшійся на небо изъ подъ стрѣлокъ готическихъ соборовъ, былъ совершенно противоположенъ античному. Основа романтизма — спиритуализмъ, трансцендентность. Духъ и матерія для него не въ гармоническомъ развитіи, а въ борьбѣ, въ диссонансѣ. Природа — ложь, не истинное : все естественное отринуто. Духовная субстанція чело-вѣка „краснѣла отъ того, что тѣло бросаетъ тѣнь“ \*). Жизнь, постигнувъ себя двойственностію, стала мучиться отъ внутренняго раздора и искала примиренія въ отреченіи одного изъ началъ. Постигнувъ свою безконечность, свое превосходство надъ природою, чело-вѣкъ хотѣлъ пренебрегать ею, и индивидуальность, затерянная въ древнемъ мірѣ, получила безпредѣльные права ; раскрылись богатства души, о которыхъ тотъ міръ и не подозрѣвалъ. Цѣлью искусства сдѣлалась не красота, а одухотвореніе. Громкій смѣхъ пирующаго Олимпа прекратился ; ждали со дня на день предста-

\*) Данте : восходъ въ рай.

вленія свѣта, вѣчность котораго была догматъ классическаго воззрѣнія. Все вмѣстѣ разливало что-то величественно-грустное на дѣйствія и мысли; но въ этой грусти была неодолимая прелесть темныхъ, неопредѣленныхъ, музыкальныхъ стремленій и упованій, потрясающихъ заповѣданнѣйшія струны души человѣческой. Романтизмъ былъ прелестная роза, выросшая у подножія распятія, обвившаяся около него, но корни ея, какъ всякаго растенія, питались изъ земли: этого романтизмъ знать не хотѣлъ; въ этомъ было для него свидѣтельство его низости, не достоинства: онъ стремился отречься отъ корней своихъ. Романтизмъ безпрестанно плакалъ о тѣснотѣ груди человѣческой и никогда не могъ отрѣшиться отъ своихъ чувствъ, отъ своего сердца; онъ безпрестанно приносилъ себя въ жертву — и требовалъ безконечнаго вознагражденія за свою жертву; романтизмъ обоготворялъ субъективность — предавая ее анаѹемѣ, и эта самая борьба мнимопримиренныхъ началъ придавала ему порывистый и мощно-увлекательный характеръ его. Если мы забудемъ блестящій образъ среднихъ вѣковъ, какъ намъ втѣснила его романтическая школа, мы увидимъ въ нихъ противорѣчія самыя страшныя, примиренныя формально и свирѣпо раздирающія другъ друга на дѣлѣ. Вѣря въ божественное искупленіе, въ то же время принимали, что современный міръ и человѣкъ подъ непосредственнымъ гнѣвомъ Божиимъ. Приписывая своей личности права безконечной свободы, отнимали всѣ человѣческія условія бытія у цѣлыхъ сословіій; ихъ самоотверженіе — было эгоизмомъ, ихъ молитва была корыстная просьба, ихъ воины были монахи, ихъ архіереи были военачальники; обоготворяемые ими женщины содержались какъ узники, — воздержность отъ наслажденій невинныхъ и преданность буйному

разврату, слѣпая покорность и безпредѣльное своеволие. Только и рѣчи было что о духѣ, о поправленіи плоти, о пренебреженіи всѣмъ земнымъ, и — ни въ какую эпоху страсти не бушевали необузданныѣ и жизнь не была противоположныѣ убѣжденію и рѣчамъ, формализмомъ, уловками, себяобольщеніемъ примиряясь съ совѣстью (напр. покупая индульгенціи). То было время лжи явной, безстыдной. Свѣтская власть, признавая папу за пастыря, Богомъ установленнаго, унижаясь передъ нимъ формально, вредила ему всѣми силами, безпрестанно повторяя о своемъ повиновеніи. Папа, рабъ рабовъ Южѣнокъ, смиренный пастырь, отецъ духовный — стяжалъ богатства и матеріальныя силы. Въ такой жизни было что-то безумное и горячее. Долго человечество не могло оставаться въ этомъ неестественно-напряженномъ состояніи. Истинная жизнь, непризнанная, отринутая, стала предъявлять свои права; сколько ни отворачивались отъ нея, устремляясь въ безконечную даль — голосъ жизни былъ громокъ и родствененъ человеку, сердце и разумъ откликнулись на него. Вскорѣ къ нему присоединился другой сильный голосъ — классическій міръ возсталъ изъ мертвыхъ. Романскіе народы, въ которыхъ никогда и нѣ погибала закваска римская, бросились съ восторгомъ на дѣдовское наслѣдіе. Движеніе совершенно-противоположное духу среднихъ вѣковъ стало заявлять свое бытіе во всѣхъ областяхъ дѣятельности человеческой. Стремленіе отречься отъ прошедшаго во что бы то ни стало — обнаружилось: захотѣли подышать на волѣ, пожить. Германія стала въ главѣ реформы и, гордо поставивъ на знамени „право изслѣдованія“, далеко была отъ того, чтобъ въ самомъ дѣлѣ признать это право. Германія устремила всѣ силы свои на борьбу съ католицизмомъ; сознательно-поло-

жительной цѣли въ этой борьбѣ не было. Она опередила классицизмъ романскихъ народовъ не своевременно, и именно оттого впоследствии была обойдена. Отрешаясь отъ католицизма, Германія отвязывала послѣднюю нить, прикрѣпившую ее къ землѣ. Католическій ритуаль сводилъ небо на землю, а протестантская пустая церковь только указывала на небо. Стоитъ вспомнить склонный къ таинственному характеръ германцевъ, чтобъ понять сильное вліяніе реформаціи на нихъ. Мистицизмъ схоластическій, отрѣшающій человѣка отъ всякаго реализма, мистицизмъ, основанный на буквальномъ лжетолкованіи текстовъ въ десяти разныхъ смыслахъ, холодное безуміе уоднихъ — разработанное съ страшной послѣдовательностью, фанатическій бредъ у другихъ, необузданный и тяжелый: вотъ направленіе, въ которое впали германцы послѣ реформаціи. Среди всего этого движенія, новый міръ „нарождался“; его дыханіе стало замѣтно вездѣ. Храмомъ Петра въ Римѣ человѣчество торжественно отреклось отъ готической архитектуры. Браманте и Бонаротти лучше хотѣли нечистый стиль de la renaissance, нежели суровый—оживы. Это очень понятно. Готизмъ, безъ сомнѣнія въ эстетическомъ смыслѣ, отвлеченномъ отъ исторіи, несравненно выше стиля возстановленія, рококо и другихъ, служившихъ переходомъ отъ готизма къ истинной реставраціи древняго зодчества. Но готизмъ, тѣсно связанный съ католицизмомъ среднихъ вѣковъ, съ католицизмомъ Григорія VII, рыцарства и феодальныхъ учрежденій, не могъ удовлетворить вновь развившимся потребностямъ жизни. Новый міръ требовалъ иной плоти; ему нужна была форма болѣе свѣтлая, не только *стремящаяся*, но и *наслаждающаяся*, не только подавляющая величіемъ, но и успокоивающая гармоніей. Обратились къ древнему міру; къ

его искусству чувствовалась симпатія; хотѣли усвоить его зодчество, ясное, открытое какъ чело юноши, гармоничное, „какъ остывшая музыка.“ Но много было прожито послѣ Рима и Греціи, и опытъ, глубоко запавшій въ душу, говорилъ въ то же время, что ни периптеръ Грековъ, ни римская ротонда не выражаютъ всей идеи новаго вѣка. Тогда построили „Пантеонъ на Пареемонъ“\*), и неопытные, боясь прямой линіи, исказили пилястрами, уступами и выступами античную простоту; переворотъ этотъ въ зодествѣ былъ шагомъ назадъ искусства и шагомъ впередъ человѣчества. Своевременность его доказала вся Европа: всѣ богатые города построили свои храмы Петра. Готическія церкви оставили недостроенными для того, чтобъ воздвигать церкви въ стилѣ возстановленія. Одна Германія, по превосходству готическая, оставалась долѣе вѣрною своему зодчеству—но она мало воздвигала въ эту эпоху: глубокія раны и истощеніе не позволяли ей много строить. Противъ такихъ всеобщихъ фактовъ возражать нечего; надо стараться ихъ понять; человѣчество грубо не ошибается цѣлыми эпохами. Храмъ новаго стиля свидѣтельствуетъ объ окончаніи среднихъ вѣковъ и ихъ воззрѣнія. Готическая архитектура сдѣлалась невозможною послѣ храма Петра: она сдѣлалась прошедшею, анахронизмомъ. Пластическія искусства освобождались въ свою очередь. Готическая церковь дѣлала иныя требованія на живопись, нежели храмъ Петра. Византизмъ выражаетъ одинъ изъ существенныхъ моментовъ готической живописи. Неестественность положенія и колорита, суровое величіе, отрѣшающее отъ земли и отъ

\*) Выраженіе о музыкѣ принадлежитъ Шеллингу; „Пантеонъ на Пареемонъ“ сказалъ о храмѣ Петра В. Гюго.



земнаго, намѣренное пренебреженіе красотою и изяществомъ—составляетъ аскетическое отрицаніе земной красоты; образъ не картина: это слабый очеркъ, намекъ; но художественная натура итальянцевъ не могла долго удержаться въ предѣлахъ символическаго искусства и, развивая его далѣе и далѣе, во времени Льва X, съ своей стороны вышло изъ преобразовательнаго искусства въ область чисто-художественную. Великіе, вѣчные типы *dei divini maestri* облекли во всю красоту земной плоти небесное, и идеалъ ихъ—идеалъ человѣка преобразованнаго, но человѣка. Рафаэлевы мадонны представляютъ апотеозу дѣвственно-женской формы; но его мадонны не супра-натуральныя, отвлеченныя существа—это преобразованныя дѣвы. Живопись, поднявшись до высочайшаго идеала, стала снова твердой ногой на землю, а не оставила ея. Византійская кисть отреклась отъ идеала земной человѣческой красоты древняго міра. Итальянская живопись, развивая византійскую, въ высшемъ моментѣ своего развитія отреклась отъ византизма и по видимому возвратилась къ тому же античному идеалу красоты; но шагъ былъ совершенъ огромный; въ очахъ новаго идеала свѣтилась иная глубина, иная мысль, нежелп въ *открытыхъ глазахъ безъ зрѣнія* греческихъ статуй. Итальянская кисть, возвращая жизнь искусству, придала ему всю глубину духа, развитаго словомъ божіимъ. Въ поэзіи совершался свой переворотъ. Рыцарство въ поэзіи теряетъ свою созерцательную важность и феодальную гордость. Аріосто, играя, улыбаясь, рассказываетъ о своемъ Орландѣ; Сервантесъ со злой ироніей объявляетъ міру безсиліе и несвоевременность его; Бокачіо раскрываетъ жизнь католическаго монаха; Раблэ идетъ еще дальше, съ отважной дерзостью француза. Протестантскій міръ даетъ Шекспира. Шекспиръ—это

человѣкъ двухъ міровъ. Онъ затворяетъ романтическую эпоху искусства и растворяетъ новую. Геніальное раскрытіе субъективности человѣческой во всей глубинѣ, во всей полнотѣ, во всей страстности и безконечности, смѣлое преслѣдованіе жизни до заповѣднѣйшихъ тайниковъ ея и обличеніе найденнаго, не составляетъ романтизма, а *переходитъ его*. Главный характеръ романтизма выражается сердечнымъ стремленіемъ куда-то, непременно грустнымъ, потому что „тамъ никогда не будетъ здѣсь.“ Онъ вѣчно стремится оставить грудь; ему нѣтъ примиренія въ ней. Для Шекспира грудь человѣка — вселенная, которой космологію онъ широко набрасываетъ мощной и геніальной кистью. Во Франціи и въ Италіи въ это время возрасталъ и усиливался ложный классицизмъ. Палладій, въ своемъ сочиненіи объ архитектурѣ, съ презрѣніемъ говоритъ о готизмѣ; слабыя и безцвѣтныя подражанія древнимъ писателямъ цѣнились выше исполненныхъ поэзи и глубины пѣсней и легендъ среднихъ вѣковъ. Античное увлекало своею человѣчностью, своимъ примиреніемъ въ жизни, въ красотѣ. Черезъ античное вырабатывалось новое. Въ наукѣ \*), въ политикѣ даже проявляется тотъ же духъ. Между тѣмъ, борьба католицизма и протестантизма продолжалась. Католицизмъ обновился, поюнѣлъ въ этомъ бою, протестантизмъ мужалъ и окрѣпалъ; но новый міръ не принадлежалъ исключительно ни тому, ни другому. Въ началѣ этой перепутанной борьбы, былъ одинъ ученый, отказывавшійся прямо пристать къ той или другой сторонѣ. Онъ говорилъ, что, занимаясь *ума-*

\*) О переворотѣ въ наукѣ предполагаемъ поговорить въ особой статьѣ, а потому не говоримъ здѣсь. Впрочемъ, достаточно назвать Бэкона, Декарта и Спинозу.

*миромъ*, не хочетъ мѣшаться въ войну папы съ Лютеромъ. Этотъ ученый гуманистъ былъ Эразмъ Роттердамскій, тотъ самый, который, улыбаясь, написалъ что-то такое *de libero et seruo arbitrio*, отъ чего Лютеръ дрожа отъ гнѣва сказалъ: „если кто нибудь меня ранилъ въ самое сердце, такъ это Эразмъ, а не защитники папы.“ Съ легкой руки Эразма, мысль новаго гуманическаго міра то являлась въ мірѣ классическомъ, то въ романтическомъ: реформація принесла ей бездну силъ, но она при первомъ случаѣ перешла къ классикамъ. Изъ этого ясно можно было понять—однако не поняли—что для новой мысли опредѣленія классики, романтики, несвойственны, несущественны, что она ни то, ни другое, или лучше и то и другое, но не какъ механическая смѣсь, а какъ химическій продуктъ, уничтожившій въ себѣ свойства составныхъ частей, какъ результатъ уничтожаетъ причины, *одѣйствовотворя* ихъ, какъ силлогизмъ уничтожаетъ въ себѣ посылки. Кто не видалъ дѣтей чудно схожихъ на отца и на мать—вовсе непохожихъ другъ на друга? Такое дитя—былъ новый вѣкъ: въ немъ были и есть элементы романтической мечтательности и классическаго пластицизма; но они въ немъ не отдѣльны, а неразъемлемо слиты въ его организмъ, въ его чертахъ.

Романтизмъ и классицизмъ должны были найти гробъ свой въ новомъ мірѣ, и не одинъ гробъ—въ немъ они должны были найти свое безсмертіе. Умираетъ только одностороннее, ложное, временное; но въ нихъ была и истина—вѣчная, всеобщечеловѣческая: она не можетъ умереть, она поступаетъ въ майоратъ старшимъ рода человѣческаго. Вѣчные элементы классическіе и романтическіе безъ всякихъ насильственныхъ средствъ живы; они принадлежатъ двумъ истиннымъ и необходимымъ

моментамъ развитія духа человѣческаго во времени; они составляютъ двѣ фазы, два возрѣнія разнолѣтнія и относительно-истинныя. Каждый изъ насъ, сознательно или безсознательно, классикъ или романтикъ, по крайней мѣрѣ былъ тѣмъ или другимъ. Юношество, время первой любви, невѣдѣнія жизни, располагаютъ къ романтизму; романтизмъ благодѣтеленъ въ это время: онъ очищаетъ, облагораживаетъ душу, выжигаетъ изъ нея животность и грубыя желанія; душа моется, расправляетъ крылья въ этомъ морѣ свѣтлыхъ и непорочныхъ мечтаній, въ этихъ возношеніяхъ себя въ міръ горній, поправшій въ себѣ случайное, временное, ежедневность. Люди, одаренные свѣтлымъ умомъ болѣе, нежели чувствительнымъ сердцемъ—классики по внутреннему строенію духа, такъ какъ люди созерцательные, нѣжные, томные болѣе нежели мыслящіе—скорѣе романтики нежели классики. Но отъ этого до существованія исключительныхъ школъ—безконечное разстояніе. Шиллеръ и Гёте представляютъ великій образъ, какъ должны быть приемлемы романтическіе и классическіе элементы въ нашемъ вѣкѣ. Конечно, Шиллеръ болѣе Гёте имѣлъ симпатіи къ романтическому; но главная его симпатія была къ современности, и послѣднія, самыя зрѣлыя его произведенія чисто *гуманическія* (если допустите это названіе), а не романтическія. И развѣ для Шиллера было что нибудь чуждое въ классическомъ мірѣ—для него, переводившаго Расина, Софокла, Виргилія? А для Гёте развѣ было что нибудь недоступное въ глубочайшихъ тайникахъ романтизма? Въ этихъ гигантахъ борющіяся и противоположныя направленія соединились огнемъ генія—въ возрѣніе изумляющей полноты. Но люди партій остались при своемъ. Человѣчество вошло въ такую эпоху совершеннолѣтія, что просто смѣшно сдѣ-

далось притязаніе обратить его въ классицизмъ или романтизмъ. И между тѣмъ, мы были свидѣтелями, какъ послѣ Наполеона явилась сильная школа нео-романтизма. Явленіе это не было лишено причинъ достаточныхъ, чтобъ узаконить его. Направленіе германской науки и германскаго искусства становилось болѣе и болѣе всеобщимъ, космополитическимъ. Всеобщность эта покупалась цѣною жизненности. Вялая народность германцевъ не напоминала о себѣ до наполеоновской эпохи: — тутъ Германія воспрянула, одушевленная національными чувствами; всемірныя пѣсни Гёте худо согласовались съ огнемъ, горѣвшимъ въ крови. Что сдѣлалъ патриотизмъ въ Германіи, то совершила апатія во Франціи, и ихъ руками растворились обѣ половинки дверей романтизму. Удушающее чувство равнодушія и сомнѣнія и пылкое чувство народной гордости располагали особенно душу къ искусству полному вѣры и національныхъ сочувствій. Но такъ какъ чувства, вызвавшія нео-романтизмъ, были чисто-временныя, то судьбу его можно было легко предвидѣть, — стояло взглянуть въ характеръ XIX вѣка, чтобъ понять невозможность продолжительнаго очарованія романтизмомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, самобытный характеръ XIX вѣка обозначился съ первыхъ лѣтъ его. Онъ начался полнымъ развитіемъ наполеоновской эпохи; его встрѣтили пѣснопѣнія Гёте и Шиллера, могучая мысль Канта и Фихте. Полный памяти о событіяхъ десяти послѣднихъ лѣтъ, полный предчувствій и вопросовъ, онъ не могъ шутить какъ его предшественникъ. Шиллеръ въ колыбельной пѣсни ему напоминалъ трагическую судьбу его.

Das Jahrhundert ist in Sturm geschieden,  
Und das neue öffnet sich mit Mord.

Окаменѣлыя зданія вѣковъ рушились ; усомнились въ прочности былого, въ дѣйствительности и незыблемости существующаго, глядя на поля Іены, Ваграма. Въ парижскомъ *Монитерѣ*, было однажды объявлено, что Германскій Союзъ пересталъ существовать. Гёте узналъ объ этомъ изъ французской газеты. Сколько скептическихъ мыслей, сколько критики навѣвали развалины храминъ, считавшихся вѣчными ! И неужели весь этотъ геше-тэпаге имѣлъ цѣлью — возвратить къ романтизму ? Нѣтъ !—Люди мысли присутствовали при великой драмѣ, переходя изъ одной эры въ другую ; не даромъ они важно разошлись съ глубокой и торжественной думой : плодъ этой думы развился на деревѣ всего прошедшаго мышленія. Первое имя, загремѣвшее въ Европѣ, произносимое возлѣ имени Наполеона, было имя великаго мыслителя. Въ эпоху судорожнаго боя началъ, кровавой распри, дикаго расторженія, вдохновенный мыслитель провозгласилъ основою философіи примиреніе противоположностей ; онъ не отталкивалъ враждующихъ : онъ въ борьбѣ ихъ постигнулъ процессъ жизни и развитія. Онъ въ борьбѣ видѣлъ высшее тождество, снимающее борьбу. Мысль эта, заключавшая въ себѣ глубокій смыслъ нашей эпохи, едва пришла въ сознаніе и высказалась поэтомъ-мыслителемъ, какъ уже развилась въ стройной, строгой, наукообразной формѣ спекулятивнымъ, діалектическимъ мыслителемъ. Въ маѣ мѣсяцѣ 1812 года, въ то время, какъ у Наполеона въ Дрезденѣ толпились короли и вѣнценосцы, печаталась въ какой-то нюрнбергской типографіи *Логика Гегеля* ; на нее не обратили вниманія, потому что всѣ читали тогда же напечатанное „Объявленіе о второй польской войнѣ.“ Но она прозябала. Въ этихъ нѣсколькихъ печатныхъ листахъ, писанныхъ труднымъ языкомъ и назначенныхъ, кажется,

исключительно для школы, лежалъ плодъ всего прошедшаго мышленія, сѣмя огромнаго, могучаго дуба. Условія для его развитія не могли не найтись, стояло понять и развернуть скобки — какъ говорятъ математики — и древо познанія и жизни развертывалось съ зелеными шумящими листьями, съ прохладною тѣнью, съ плодами сочными и питательными. То, что носилось въ изящныхъ образахъ шиллеровыхъ драмъ, что прорывалось сквозь пѣснопѣнія Гёте, было понято, обличалось. Истина, будто изъ какого-то чувства цѣломудренности и стыда, задернулась мантией схоластики и держалась въ одной отвлеченной сферѣ науки; но мантия эта, изношенная и протертая еще въ средніе вѣка, не можетъ нынче прикрывать; истина лучезарна: ей достаточно одной щели, чтобъ освѣтить цѣлое поле. Лучшіе умы сочувствовали новой наукѣ; но большинство не понимало ея, и псевдоромантизмъ, развиваясь, въ то же самое время заманивалъ въ ряды свои юношей и дилеттантовъ. Старикъ Гёте скорбѣлъ, глядя на отклонившееся поколѣніе. Онъ видѣлъ, какъ въ немъ цѣнять не то, что достойно, какъ въ немъ понимаютъ не то, что онъ говоритъ. Гёте былъ по превосходству реалистъ, какъ Наполеонъ, какъ вся наша эпоха; романтики не имѣютъ органа понимать реальное. Байронъ осыпалъ ругательствами мнимыхъ товарищей. Но большинство было въ пользу романтизма: въ украшеніяхъ, въ одеждахъ воскресъ вкусъ среднихъ вѣковъ, столь діаметрально-противоположный положительному характеру нашей современности и ея требованіямъ. Рукава женскаго платья, прическа мужчинъ— все подверглось романтическому вліянію. Такъ какъ у классиковъ трагедія была не трагедія, если въ ней не было греческихъ или римскихъ героевъ, такъ какъ классики безпрестанно воспѣвали дрянное фалернское вино,

### III.

#### ДИЛЕТТАНТЫ И ЦЕХЪ УЧЕНЫХЪ

Такихъ... welche alle Töne einer Musik mit durchgehört haben, an deren Sinn aber das Eine, die *Harmonie dieser Töne* nicht gekommen ist... какъ сказалъ Гегель. (Gesch. der Phil.).

Во всѣ времена долгой жизни человѣчества замѣтны два противоположныя движенія; развитіе одного обусловливаетъ возникновеніе другаго, съ тѣмъ вмѣстѣ борьбу и разрушеніе перваго. Въ какую обитель исторической жизни мы ни всмотримся—увидимъ этотъ процессъ, и притомъ повторяющійся рядомъ метасихозъ. Вслѣдствіе одного начала, лица, имѣющія какую нибудь общую связь между собою, стремятся отойти въ сторону, стать въ исключительное положеніе, захватить монополию. Вслѣдствіе другаго начала, массы стремятся поглотить выгородившихъ себя, взять себѣ плодъ ихъ труда, растворить ихъ въ себѣ, уничтожить монополию. Въ каждой странѣ, въ каждой эпохѣ, въ каждой области борьба монополіи и массъ выражается иначе, но цехи и касты непрерывно образуются, массы непрерывно ихъ подрываютъ, и, что всего страннѣе, масса, судившая вчера цехъ, сегодня сама оказывается цехомъ, и завтра масса степенью общѣе поглотитъ и побьетъ ее въ свою очередь. Эта полярность одна изъ явленій жизненнаго развитія человѣчества, явленіе въ родѣ пульса, съ той разницей, что съ каждымъ біеніемъ пульса че-



ловѣчество дѣлаетъ шагъ впередъ. Отвлеченная мысль осуществляется въ цехѣ, группа людей, собравшихся около нея, во имя ея,—необходимый организмъ ея развитія; но какъ скоро она достигла своей возмужалости въ цехѣ, цехъ дѣлается ей вреденъ, ей надобнодохнуть воздухомъ и взглянуть на свѣтъ, какъ зародышу послѣ девяти-мѣсячнаго прозябанія въ матери; ей надобна среда болѣе широкая; между тѣмъ, и люди касты, столь полезныя своей мысли при начальномъ развитіи ея, теряютъ свое значеніе, застываютъ, останавливаются, не идутъ впередъ, ревниво отталкиваютъ новое, боятся упустить руно свое, хотятъ для себя, за собою удерживать мысль. Это невозможно. Натура мысли лучезарна, всеобща; она жаждетъ обобщенія, она вырывается во всѣ щели, утекаетъ между пальцами. Истинное осуществленіе мысли не въ кастѣ, а въ человѣчествѣ; она не можетъ ограничиться тѣснымъ кругомъ цеха; мысль не знаетъ супружеской вѣрности — ея объятія всѣмъ; она только для того не существуетъ, кто хочетъ эгоистически владѣть ею. Цехъ падаетъ по мѣрѣ того, какъ массы постигаютъ мысль и симпатизируютъ съ нею; жалѣть нечего — онъ сдѣлалъ свое. Цѣль отторженія непременно единеніе, общеніе. Люди выходятъ изъ дому, чтобъ возвратиться съ новыми пріобрѣтеніями; навсегда домъ оставляютъ одни бродяги. Таковъ путь касты. Можно предположить, что *pour la bonne bouche* цехъ человѣчества обниметъ всѣ прочіе. Это еще не скоро. Пока — человѣкъ готовъ принять всякое званіе, но къ званію человека не привыкъ.

Современная наука начинаетъ входить въ ту пору зрѣлости, въ которой обнаруженіе, отданіе себя всѣмъ становится потребностью. Ей скучно и тѣсно въ аудиторияхъ и конференц-залахъ; она рвется на волю, она

хочетъ имѣть дѣйствительный голосъ въ дѣйствительныхъ областяхъ жизни. Не смотря на такое направленіе, наука остается при одномъ желаніи и не можетъ войти живымъ элементомъ въ стремительный потокъ практическихъ сферъ, пока она въ рукахъ касты ученыхъ ; одни люди жизни могутъ внѣдрить ее въ жизнь. Великое дѣло началось ; она идетъ тихо ; наука дорабатываетъ кое-что въ области отвлеченностей, столь же необходимой для науки, какъ и выходъ изъ нея. Для массъ наука должна родиться не ребенкомъ, а въ полномъ вооруженіи, какъ Паллада. Прежде, нежели она предложитъ плодъ свой, она должна совершить въ себѣ и сознать, что совершила все, къ чему была призвана въ своей сферѣ : она близка къ этому. Но люди смотрятъ доселѣ на науку съ недоверіемъ, и недоверіе это прекрасно ; вѣрное, но темное чувство убѣждаетъ ихъ, что въ ней должно быть разрѣшеніе величайшихъ вопросовъ, а между тѣмъ передъ ихъ глазами ученые по большей части занимаются мелочами, пустыми диспутами, вопросами, лишенными жизни, и отворачиваются отъ общечеловѣческихъ интересовъ ; предчувствуютъ, что наука общее достояніе всѣхъ, и между тѣмъ видятъ, что къ ней приступа нѣтъ, что она говоритъ страннымъ и труднопонятнымъ языкомъ. Люди отворачиваются отъ науки, такъ какъ ученые отъ людей. Вина, конечно, не въ наукѣ и не въ людяхъ, а между ними. Лучъ науки, чтобъ достигнуть обыкновенныхъ людей, долженъ пройти сквозь такіе густые туманы и болотистыя испаренія, что достигаетъ ихъ подкрашенный, непохожій самъ на себя,—а по немъ-то и судятъ. Первый шагъ къ освобожденію науки есть сознаніе препятствій, обличеніе ложныхъ друзей, воображающихъ, что ее доселѣ можно пеленать схоластическимъ свивальникомъ

и что она, живая, будетъ лежать какъ египетская мумія. Туманная среда, окружающая науку, вся наполнена ея друзьями; но эти друзья ея опаснѣйшіе враги. Они живутъ какъ совы подъ кровомъ храма Паллады и выдаютъ себя за хозяевъ въ то время, какъ они работники или праздношатающіеся. Они заслужили всѣ нареканія, всѣ упреки, дѣлаемые наукѣ. Поверхностный дилеттантизмъ и ремесленническая спеціальность ученыхъ ех officio — два берега науки, удерживающіе этотъ Нилъ отъ плодоноснаго разлива. О дилеттантизмѣ мы недавно говорили но считаемъ не вовсе излишнимъ упомянуть объ немъ здѣсь, какъ о совершеннѣйшей противоположности спеціализму. Противоположность объясняетъ иногда лучше сходства.

Дилеттантизмъ — любовь къ наукѣ, сопряженная съ совершеннымъ отсутствіемъ пониманья ея; онъ расплывается въ своей любви по морю вѣдѣнія и не можетъ сосредоточиться; онъ доволенъ тѣмъ, что любитъ и не достигаетъ ничего, не печется ни о чемъ, ни даже о взаимной любви; это платоническая, романтическая страсть къ наукѣ, такая любовь къ ней, отъ которой дѣтей не бываетъ. Дилеттанты съ восторгомъ говорятъ о слабости и высотѣ науки, пренебрегаютъ иными рѣчами, предоставляя ихъ толпѣ, но смертельно боятся вопросовъ и измѣннически продаютъ науку, какъ только ихъ начнутъ тѣснить логикой. Дилеттанты — это люди предисловія, заглавнаго листа, — люди, ходящіе около горшка въ то время, какъ другіе ѣдятъ. Жарновикъ училъ, помнится, англійскаго короля играть на скрипкѣ. Король былъ дилеттантъ, т. е. любилъ музыку и не умѣлъ играть. Однажды онъ спросилъ Жарновика, къ какому разряду скрипачей онъ его относитъ — „ко второму,“ отвѣчалъ артистъ. „Кого же вы еще причисляете

къ этому разряду? “ — „Многихъ, государь; я вообще дѣлю родъ человѣческій относительно скрипичной игры на три разряда: первый, самый большой, люди неумѣющіе играть на скрипкѣ; второй, также довольно многочисленный, люди — не то, чтобъ умѣющіе играть, но любящіе безпрестанно играть на скрипкѣ; третій очень бѣденъ: къ нему причисляются нѣсколько человѣкъ, знающихъ музыку и иногда прекрасно играющихъ на скрипкѣ. Ваше величество, конечно, ужъ перешли изъ перваго разряда во второй.“ Не знаю, былъ ли доволенъ этимъ отвѣтомъ король, но лучше о дилеттантизмѣ ничего нельзя сказать, и Жарновикъ превосходно замѣтилъ, что именно второй разрядъ *безпрерывно* играетъ; у дилеттантовъ дѣлается болѣзнь, помѣшательство отъ избытка любовной страсти. Дилеттантизмъ дѣло не новое. Неронъ былъ дилеттантъ музыки, Генрихъ VIII — дилеттантъ теологій. Дилеттанты принимаютъ наружный видъ своей эпохи. Въ XVIII вѣкѣ, они были веселы, шумѣли и назывались *esprits forts*; въ XIX вѣкѣ, дилеттантъ имѣетъ грустную и неразгаданную думу; онъ любитъ науку, но *знаетъ* ея коварность; онъ немного мистикъ и читаетъ Шведенборга, но также немного скептикъ и заглядываетъ въ Байрона; онъ часто говоритъ съ Гамлетомъ: „нѣтъ, другъ Гораціо, есть много вещей, которыхъ не понимаютъ ученые“ — а про себя думаетъ, что понимаетъ все на свѣтѣ. Наконецъ дилеттантъ безвреднѣйшій и бесполезнѣйшій изъ смертныхъ; онъ вротко проводитъ жизнь свою въ бесѣдахъ съ мудрецами всѣхъ вѣковъ, пренебрегая матеріальными занятіями; о чемъ они бесѣдуютъ, кто ихъ знаетъ! Самимъ дилеттантамъ это еще не ясно — но какъ-то хорошо въ своемъ полумракѣ.

Каста ученыхъ (*die Fachgelehrten*), ученыхъ по званію,

по диплому, по чувству собственного достоинства, составляет совершенную противоположность дилеттантовъ. Главнѣйшій недостатокъ этой касты состоитъ въ томъ, что она каста; второй недостатокъ—спеціализмъ, въ которомъ обыкновенно затеряны ученые. Чтобъ разомъ выразить отношеніе касты ученыхъ къ наукѣ, вспомнимъ, что она развилась болѣе нежели гдѣ нибудь въ Китаѣ. Китай считается многими очень благоденствующимъ патріархальнымъ царствомъ; это можетъ быть; ученыхъ тамъ бездна; преимущества ученыхъ въ службѣ у нихъ споконъ вѣка — но науки слѣда нѣтъ... „Да у нихъ своя наука!“ И противъ этого не будемъ спорить; но мы говоримъ о наукѣ, человечеству принадлежащей, а не Китаю, не Японіи и другимъ ученымъ государствамъ. У насъ мальчишекъ отдають въ *науку* къ кузнецамъ, столярамъ: думать надобно, что и у нихъ есть *своя наука*. Впрочемъ, и для *истинной науки* былъ возрастъ, въ который каста ученыхъ какъ *каста* была необходима, въ періодъ неразвитости, когда наука была отринута, ея права непризнаны, она сама подчинена авторитетамъ. Но это время прошло. Такъ у касты ученыхъ, у людей знанія въ среднихъ вѣкахъ, даже до XVII столѣтія, окруженныхъ грубыми и дикими понятіями, хранилось и святое наслѣдіе древняго міра, и воспоминаніе прошедшихъ дѣяній, и мысль эпохи; они въ тиши работали, боясь гоненій, преслѣдованій, — и слава послѣ озарила скрытый трудъ ихъ. Ученые хранили тогда науку какъ тайну и говорили объ ней языкомъ недоступнымъ толпѣ, намѣренно скрывая свою мысль, боясь грубаго непониманья. Тогда было доблестно принадлежать къ левитамъ науки; тогда званіе ученаго чаще вело на костеръ, нежели въ академію. И они шли, вдохновленные истиной. Іордано Бруно былъ

ученый, и Галилей былъ ученый. Тогда ученые, какъ сословіе, были своевременны; тогда въ аудиторіяхъ обсуживались величайшіе вопросы того вѣка; кругъ занятій ихъ былъ пространенъ, и ученые озарялись первые восходящими лучами разума, какъ нагорные дубы — гордые и мощные. Съ тѣхъ поръ все перемѣнилось; науки никто не гонитъ, общественное сознаніе доросло до уваженія къ наукѣ, до желанія ея, и справедливо стало протестовать противъ монополіи ученыхъ; но ревнивая каста хочетъ удержать свѣтъ за собою, окружаетъ науку лѣсомъ схоластики, варварской терминологіи, тяжелымъ и отталкивающимъ языкомъ. Такъ огородники сажаютъ около грядъ своихъ колючее растеніе — чтобъ дерзкій, намѣревающийся перелѣзть, сперва десять разъ уколся и изорвалъ платье въ клочки. Все тщетно! Время аристократіи знанія миновало. Изобрѣтеніе книгопечатанія, безъ всѣхъ остальныхъ содѣйствовавшихъ причинъ, должно было нанести рѣшительный ударъ спрятанности вѣдѣнія, приобщая къ нему всѣхъ желающихъ. Наконецъ, послѣдняя возможность удержать науку въ цехѣ была основана на разработываніи чисто теоретическихъ сторонъ, не вездѣ недоступныхъ профанамъ. Но современная наука, сверхъ теоретическихъ отвлеченностей, имѣетъ иныя притязанія; она, будто забывая свое достоинство, хочетъ съ своего трона сойти въ жизнь. Ученымъ ее не удержатъ; это не подвержено сомнѣнію.

Каста ученыхъ нашего времени образовалась послѣ реформаціи и всего болѣе въ мірѣ реформаціонномъ. Объ ученыхъ корпораціяхъ въ среднихъ вѣкахъ и въ католическомъ мірѣ мы упомянули; ихъ не надо смѣшивать съ новой кастой ученыхъ, выращенной въ Германіи въ послѣдніе вѣка. Правда, старая каста ученыхъ

налагала на умы ярмо своего авторитета, но не надобно забывать, во первых, состояніе умовъ того времени, во вторыхъ, что и ихъ шея была стерта отъ ярма, тяжело лежавшаго на ней. Во всемъ реформаціонномъ образованіи была какая-то недодѣлка; не доставало геройства идти до послѣдняго слѣдствія, не доставало геройства логики: часто ставили громогласно начало и робко отрекались отъ естественныхъ послѣдствій; часто разрушали зданіе и берегли мусоръ и битый кирпичъ; часто не умѣли ни благочестиво уважить существующее, ни смѣло отречься отъ него. Мысль реформаціи пришла въ дѣйствіе какъ-то преждевременно, и оттого она отстала и была обойдена. Каста ученыхъ, образовавшаяся въ мірѣ реформаціонномъ, никогда не имѣла силы ни составить точно замкнутую въ себѣ твердую и вѣдающую свои предѣлы корпорацію, ни распуститься въ массы. Она никогда не имѣла энергіи ни пристать къ положительному порядку дѣлъ, ни стать противъ него; оттого на нее со всѣхъ сторонъ стали смотрѣть косо, какъ на что-то постороннее; оттого она сама стала убѣгать живыхъ вопросовъ и сосредоточиваться на мертвыхъ. Нить, связующая касту съ обществомъ, должна была ослабнуть, а прямымъ слѣдствіемъ этого — взаимное непониманье, взаимное равнодушіе. Какое-то поэтическое провидѣніе указало на слово *гуманіора*, — слово прекрасное, пророческое; но въ гуманіорахъ ученыхъ не было ничего человѣческаго. Слово это было отнесено исключительно къ филологіи, какъ будто тутъ участвовала иронія, какъ будто они понимали, что древній міръ человѣчественнѣе ихъ. Педантизмъ, распаденье съ жизнью, ничтожныя занятія, типъ которыхъ меледа — какой-то призрачный трудъ, трудъ занимающій, а въ сущности пустой; далѣе, искусственныя построенія, неприлагаемыя

слой, рѣзко отдѣляющій ихъ отъ прочихъ людей. Жизнь, медленно и скучно процвѣтавшая за стѣнами академій, не манила къ себѣ; она въ своемъ филистерствѣ была столько же невыносимо скучна, какъ ученость въ своемъ. Не смотря на это распадѣніе съ жизнью, ученые, памятуя, какой могучій голосъ имѣли университеты и доктора въ средніе вѣка, когда къ нимъ относились съ вопросами глубочайшей важности, захотѣли вершать безапелляціоннымъ судомъ всѣ сціентифическіе и художественные споры; они, подрывшіе во имя всеобщаго права изслѣдованія касту католическихъ духовныхъ пастырей, показывали поползновеніе составить свой цехъ пастырей свѣтскихъ. Не удалось имъ, лишеннымъ, съ одной стороны, энергіи католическихъ пропагандистовъ, съ другой—невѣжества массъ. Новая каста людопасовъ не состоялась; пасти людей стало труднѣе; люди смотрятъ на ученыхъ дѣлъ мастеровъ, какъ на равныхъ, какъ на людей, да еще какъ на людей, не дошедшихъ до полной жизни, а пробавляющихся одной обителью изъ многихъ. Наука открытъ столъ для всѣхъ и каждому, лишь бы былъ голодъ, лишь бы потребность манны небесной развила. Стремленіе къ истинѣ, къ знанію, не исключаетъ никакимъ образомъ частнаго употребленія жизни; можно равно быть при этомъ химикомъ, медикомъ, артистомъ, купцомъ. Никакъ не можно думать, чтобъ спеціально-ученый имѣлъ большія права на истину; онъ имѣетъ только большія притязанія на нее. Отчего человѣку, проводящему жизнь въ монотонномъ и одностороннемъ занятіи какимъ нибудь исключительнымъ предметомъ, имѣть болѣе ясный взглядъ, болѣе глубокую мысль, нежели другому, искусившемуся самыми событіями, встрѣтившемуся въ тысячѣ разныхъ столкновеніяхъ съ людьми? Напротивъ, цеховой ученый



внѣ своего предмета за что ни прійметсѣ, прійметсѣ лѣвой рукой. Онѣ не нуженѣ во всякомѣ живомѣ вопросѣ. Онѣ всѣхѣ менѣе подозрѣваетѣ великую важность науки; онѣ еѣ не знаетѣ изѣ за своего частнаго предмета, онѣ свой предметѣ считаетѣ наукой. Ученые, въ крайнемѣ развитіи своемѣ, заняли въ обществѣ мѣсто втораго желудка животныхѣ, жующихѣ жвачку; въ него никогда не попадаетѣ свѣжая пища, — одна пережеванная, такая, которую жуютѣ изѣ удовольствіѣ жевать. Массы дѣйствуютѣ, проливаютѣ кровь и потѣ — а ученые являются послѣ разсуждать о происшествіи. Поэты, художники творятѣ, массы восхищаются ихѣ твореніѣми, — ученые пишутѣ коментаріи, грамматическіе и всяческіе разборы. Все это имѣетѣ свою пользу; но несправедливость въ томѣ, что они себя считаютѣ по праву головою выше насѣ, жрецами Паллады, еѣ любовниками, хуже — мужьями еѣ. Съ другой стороны, было бы еще страннѣе, еслибѣ мы сказали, что ученые не могутѣ знать истины, что они внѣ еѣ. Духѣ, стремящій чело-вѣка къ истинѣ, не исключаетѣ никого. Не всѣ ученые принадлежатѣ къ *цеховымѣ* ученымѣ; многіе *истинно-ученые* дѣлаются, подавляя въ себѣ школьность, *образованными* \*) людьми, выходятѣ изѣ цеха въ чело-вѣчество. *Безнадежные* цеховые, это рѣшительные и отчаянные спеціалисты, и схоластики, — тѣ, на которыхѣ намекалъ Жан-Поль, говоря: „скоро поваренное искусство разовьется до того, что жарящій форели не будетѣ умѣть жарить карпа.“ Вотѣ эти-то повара карповѣ и форелей составляютѣ массу ученой касты, въ которой творятся

\*) Разумѣется, слово *образованный* принято въ истинномѣ смыслѣ его, а не въ томѣ, въ которомѣ его употребляетѣ, напри-мѣръ, жена городничаго въ „Ревизорѣ.“

всякаго рода лексиконы, таблицы, наблюденія и все то, что требует долготерпѣнія и душу мертву. Ихъ въ людей развить трудно; они крайность односторонняго направленія учености; мало того, что они умрутъ въ своей односторонности: они бревнами лежатъ на дорогѣ всякаго великаго усовершенія, — не потому, чтобъ не хотѣли улучшенія науки, а потому что они только то усовершеніе признаютъ, которое вытекло съ соблюденіемъ ихъ ритуала и формы, или которое они сами обрабатывали. У нихъ метода одна — анатомическая: для того, чтобъ понять организмъ, они дѣлаютъ аутопсію. Кто убилъ ученіе Лейбница и далъ ему труповой видъ школьности, какъ не ученые прозекторы? Кто изъ живаго, всеобъемлющаго ученія Гегеля стремился сдѣлать схоластическій, безжизненный, страшный скелетъ? — берлинскіе профессора.

Греція, умѣвшая развивать индивидуальности до какой-то художественной оконченности и высоко-человѣческой полноты, мало знала въ цвѣтущія времена свои ученыхъ въ нашемъ смыслѣ; ея мыслители, ея историки, ея поэты были прежде всего граждане, люди жизни, люди общественнаго совѣта, площади, военнаго стана: оттого это гармонически уравновѣшенное, прекрасное своимъ аккордомъ, многостороннее развитіе великихъ личностей ихъ науки и искусства — Сократа, Платона, Эсхила, Ксенофонта и другихъ. А наши ученые? Сколько профессоровъ въ Германіи спокойно читали свой схоластической бредъ во время наполеоновской драмы и спокойно справлялись на картѣ, гдѣ Ауэрштетъ, Ваграмъ, съ тѣмъ любознательнымъ бездушіемъ, съ которымъ на другой картѣ отмѣчали они путь Одиссея, читая Гомера! Одинъ Фихте, вдохновенный и глубокій, громко сказалъ, что отечество въ опасности, и бросилъ

на время внигу. А Гёте... прочтите его переписку того времени! Конечно, Гёте недосыгаемо выше школьной односторонности: мы доселѣ стоимъ передъ его грозной и величественной тѣнью съ глубокимъ удивленіемъ, съ тѣмъ удивленіемъ, съ которымъ останавливаемся передъ лувзорскимъ обелискомъ—великимъ памятникомъ какой-то иной эпохи, великой, но прошлой\*), не нашей! Ученый\*\*) до такой степени разобщился съ современностью, до такой степени завялъ, вымеръ съ трехъ сторонъ, что надобно почти не человѣческія усилія, чтобъ ему войти живымъ звѣномъ въ живую цѣпь. Образованный человѣкъ не считаетъ ничего человѣческаго чуждымъ себѣ: онъ сочувствуетъ всему окружающему; для ученаго — наоборотъ: ему все человѣческое чуждо, кромѣ избраннаго имъ предмета, какъ бы этотъ предметъ самъ въ себѣ ни былъ ограниченъ. Образованный человѣкъ мыслить по свободному побужденію, по благородству человѣческой природы, и мысль его открыта, свободна: ученый мыслить по обязанности, по возложенному на себя обѣту, и оттого въ его мысли есть что-то ремесленническое, и она всегда подъ-авторитетна. Ученый имѣетъ часть и въ ней; онъ долженъ быть уменъ: образованный человѣкъ не имѣетъ право быть глупымъ ни въ чемъ. Образованный человѣкъ можетъ знать и не знать по латинѣ, ученый долженъ знать по латинѣ...

\*) Не помню въ какой-то, недавно вышедшей въ Германіи брошюрѣ было сказано: „Въ 1832 году, въ томъ замѣчательномъ году, когда умеръ послѣдній Могиканинъ нашей великой литературы.“ — Да!

\*\*) Считаю необходимымъ еще разъ сказать, что дѣло идетъ единственно и исключительно о *цеховыхъ ученыхъ*, и что все сказанное только справедливо въ антитетическомъ смыслѣ; *истинный* ученый всегда будетъ просто человѣкъ — и человечество всегда съ уваженіемъ поклонится ему.

Не смѣйте надъ этимъ замѣчаніемъ: я и здѣсь вижу слѣдъ окостенѣлаго духа васты. Есть великія поэмы, великія творенія, имѣющія всемірное значеніе,—вѣчныя пѣсни, завѣщааемыя изъ вѣка въ вѣкъ; нѣтъ сколько нибудь образованнаго человѣка, который бы не зналъ ихъ, не читалъ ихъ, не прожилъ ихъ: цеховой ученый навѣрное не читалъ ихъ, если онѣ не относятся прямо къ его предмету. На что химику „Гамлетъ“? На что физики „Дон-Хуанъ“? Есть еще болѣе странное явленіе, особенно часто встрѣчающееся между германскими учеными: нѣкоторые изъ нихъ все читали и все читаютъ, —но понимаютъ только по одной своей части; во всѣхъ же другихъ они изумляютъ сочетаніемъ огромныхъ свѣдѣній съ всесовершеннѣйшею тупостью, напоминающею иногда наивность ребяческаго возраста: „они прослушали всѣ звуки, но гармоніи не слышали,“ какъ сказано въ эпиграфѣ. Степень цеховой учености опредѣляется рѣшительно памятью и трудолюбіемъ: кто помнитъ наибольшій запасъ вовсе ненужныхъ свѣдѣній объ одномъ предметѣ, у кого въ груди не бьется сердце, не кипятъ страсти, требующія не книжнаго удовлетворенія, а подѣйствительнѣе; кто имѣлъ терпѣніе лѣтъ двадцать твердить частности и случайности, относящіяся къ одному предмету—тотъ и ученѣе. Безъ сомнѣнія, господинъ, котораго привозили къ князю Потемкину, и который зналъ на память мѣсяцесловъ, былъ ученый—и еще болѣе, самъ изобрѣлъ свою науку. Ученые трудятся, пишутъ только для ученыхъ; для общества, для массъ пишутъ образованные люди; большая часть писателей, произведшихъ огромное вліяніе, потрясавшихъ, двигавшихъ массы, не принадлежатъ къ ученымъ:—Байронъ, Вальтеръ-Скотъ, Вольтеръ, Руссо. Если же изъ среды ученыхъ какой нибудь гигантъ пробьется и вырвется

въ жизнь, они отрекаются отъ него, какъ отъ блуднаго сына, какъ отъ ренегата. Копернику не могли простить геніальность, надъ Коломбомъ смѣялись, Гегеля обвиняли въ невѣжествѣ. Ученые пишутъ съ ужаснымъ трудомъ; одинъ трудъ только тягостнѣе и есть: это чтеніе ихъ *dostes écrits* \*); впрочемъ, такого труда никто и не предпринимаетъ; ученныя общества, академіи, библіотеки покупаютъ ихъ фоліанты; иногда нуждающіеся въ нихъ справляются,—но никогда никто не читаетъ ихъ отъ доски до доски. Собраніе ученыхъ какойнибудь академіи было бы похоже на нашу роговую музыку, гдѣ каждый музыкантъ всю жизнь дудитъ одну и ту же ноту, еслибъ у нихъ былъ капельмейстеръ и *ensemble* (а въ *ensemble* и состоитъ наука). Они похожи на роговыхъ музыкантовъ, спорящихъ между собою каждый о превосходствѣ своей ноты и дудящій, для доказательства, во всю силу легкихъ. Имъ въ голову не приходитъ, что музыка будетъ только тогда, когда всѣ звуки поглотятся, уничтожатся въ одной ихъ объемлющей гармоніи.

Различіе ученыхъ съ дилеттантами весьма ярко. Дилеттанты любятъ науку — но не занимаются ею; они разсѣваются по лазури, носящейся надъ наукой, которая точно такъ же ничего, какъ лазурь земной атмосферы. Для ученыхъ наука — барщина, на которой они призваны обработать указанную полосу; занимаясь кочками, мелочами, они рѣшительно не имѣютъ досуга бросить взглядъ на все поле. Дилеттанты смотрятъ въ телескопъ: оттого видятъ только тѣ предметы, которые по меньшей мѣрѣ далеки, какъ луна отъ земли,—

\*) Гегель, говоря гдѣ-то объ гигантскомъ трудѣ читать какую-то ученую нѣмецкую книгу, присовокупилъ, что ее вѣрно было легче писать.

а земнаго и близкаго ничего не видятъ. Ученые смотрятъ въ микроскопъ, и потому не могутъ видѣть ничего большаго; для того, чтобъ быть ими замѣченнымъ, надобно быть незамѣтнымъ глазу человѣческому; для нихъ существуетъ не кристальный ручей — а капля, наполненная гомеопатическими гадами. Дилеттанты любятъ наукой, такъ какъ мы, любуемся Сатурномъ, на благородной дистанціи, и ограничиваясь знаніемъ, что онъ свѣтится и что на немъ обручъ. Ученые такъ близко подошли къ храму науки, что не видятъ храма и ничего не видятъ кромѣ кирпича, къ которому пришелся ихъ носъ. Дилеттанты—туристы въ областяхъ науки и, какъ вообще туристы, знаютъ о странахъ, въ которыхъ они были, общія замѣчанія, да всякій вздоръ, газетную клевету, свѣтскія сплетни, придворныя интриги. Ученые — фабричные работники и, какъ вообще работники, лишены умственной развязности, что не мѣшаетъ имъ быть отличными мастерами своего дѣла, внѣ котораго они никуда негодны. Каждый дилеттантъ занимается всѣмъ *scibile*, да еще, сверхъ того, тѣмъ, чего знать нельзя, т. е. мистицизмомъ, магнетизмомъ, фізіогномикой, гомеопатіей, гидропатіей и пр. Ученый, наоборотъ, посвящаетъ себя одной главѣ, отдѣльной вѣтви какойнибудь спеціальной науки и, кромѣ ея, ничего не знаетъ и знать не хочетъ. Такія занятія имѣютъ иногда свою пользу, доставляя факты для истинной науки. Отъ дилеттантовъ, само собою разумѣется, никому и ничему нѣтъ пользы. Многіе думаютъ, что самоотверженіе, съ которымъ ученые обрекаютъ себя на кабинетную жизнь, на скучную работу, однообразную и утомительную, для пользы своей науки, заслуживаетъ великой благодарности со стороны общества. Мнѣ кажется, награда всякому труду въ самомъ трудѣ, въ дѣятельности. Но, не поды-

маясь въ эту сферу, расскажу одинъ старый анекдотъ.

Какой-то добрый французъ сдѣлалъ модель парижскаго квартала изъ воска, съ удивительною отчетливостію. Окончивъ долголѣтній трудъ свой, онъ поднесъ его конвенту единой и нераздѣльной республики. Конвентъ, какъ извѣстно, былъ права крутаго и оригинальнаго. Сначала онъ промолчалъ: ему и безъ восковыхъ кварталиковъ было довольно дѣла — образовать нѣсколько армій, прокормить голодныхъ парижанъ, оборониться отъ коалицій..... Наконецъ онъ добрался до модели и рѣшилъ „гражданина такого-то, котораго произведенія нельзя не признать оконченно-выполненнымъ, посадить на шесть мѣсяцевъ въ тюрьму за то, что онъ занимался бесполезнымъ дѣломъ, когда отечество было въ опасности.“ Съ одной стороны, конвентъ правъ; но вся бѣда конвента состояла въ томъ, что онъ во всѣхъ дѣлахъ смотрѣлъ съ одной стороны, да и то не съ самой пріятной. Ему не пришло въ голову, что человѣкъ, который *могъ* съ охотой заниматься годы цѣлые лѣпленіемъ изъ воска, и притомъ такіе годы, — *не могъ* никуда быть иначе употребленъ. Мнѣ кажется, подобныхъ людей не слѣдуетъ ни наказывать, ни награждать. Специалисты науки находятся въ этомъ положеніи: имъ ни брани, ни похвалы; ихъ занятія, безъ сомнѣнія, не хуже, да и конечно не лучше всѣхъ будничныхъ занятій человѣческихъ. Странная несправедливость состоитъ въ томъ, что ученыхъ считаютъ выше простыхъ гражданъ, освобождаютъ отъ всякихъ общественныхъ тягостей потому что они ученые, — а они рады сидѣть въ халатѣ и предоставлять другимъ всѣ заботы и труды. За то, что человѣкъ имѣетъ мономанію къ камнямъ или къ медалямъ, къ раковинамъ или къ греческому языку, за это его ставятъ въ исключительное положеніе — нѣтъ доста-

точной причины. Между тѣмъ, избалованные обществомъ ученые дошли было до троглодитовски дикаго состоянія. И теперь, всякій знаетъ, что нѣтъ ни одного дѣла, которое можно поручить ученому: это вѣчный недоросль между людьми; онъ только не смѣшонъ въ своей лабораторіи, музеумѣ. Ученый теряетъ даже первый признакъ, отличающій человѣка отъ животнаго—общественность: онъ конфузится, боится людей; онъ отвыкъ отъ живаго слова; онъ трепещетъ передъ опасностью; онъ не умѣетъ одѣться; въ немъ что-то жалкое и дикое. Ученый—это Готтентотъ съ другой стороны, такъ какъ Хлестаковъ былъ генералъ съ другой стороны. Таково клеймо, которымъ отмѣчаетъ Немезида людей, думающихъ выйти изъ человѣчества и не имѣющихъ на то права. А они требуютъ, чтобъ мы признали ихъ превосходство надъ нами; требуютъ какого-то спасибо отъ человѣчества, воображаютъ себя въ авангардѣ его! Никогда! Ученые—это чиновники, служащіе идеѣ, это бюрократія науки, ея писцы, столоничальники, регистраторы. Чиновники не принадлежатъ къ аристократіи, и ученые не могутъ считать себя въ передовой фалангѣ человѣчества, которая первая освѣщается восходящей идеей и первая побивается грозой. Въ этой фалангѣ можетъ быть и ученый, такъ какъ можетъ быть и воинъ, и артистъ, и женщина, и купецъ. Но они избираются не по званіямъ, а потому что на челѣ ихъ увидѣли слѣдъ божественной искры; они принадлежатъ не къ ученому сословію, а просто къ тому кругу образованныхъ людей, который развился до живаго уразумѣнія понятія человѣчества и современности. Этотъ кругъ, болѣе или менѣе просторный, смотря по степени просвѣщенія страны—есть живая, полная силъ среда, пышный цвѣтъ, въ который втекаютъ разными жилами всѣ



соки, трудно разработанные, и преобразуются въ пышный вѣнчикъ. Въ немъ настоящее, переходя въ будущее, развертывается во всей красѣ и благоуханіи для того, чтобъ насладиться настоящимъ; но предупредимъ недоразумѣніе — эта аристократія далеко незамкнута: она, какъ Ѡивы, имѣетъ сто широкихъ вратъ, вѣчно открытыхъ, вѣчно зовущихъ.

Каждый можетъ войти въ ворота—но труднѣе въ нихъ пройти ученому, нежели всякому другому. Ученому мѣшаетъ его дипломъ: дипломъ — чрезвычайное препятствіе развитію; дипломъ свидѣтельствуется, что дѣло кончено, *consumatum est*; носитель его совершилъ въ себѣ науку, знаетъ ее. Жан-Поль говоритъ въ Леванѣ: „Когда ребенокъ сказалъ неправду, скажите ему, что онъ сдѣлалъ дурно, скажите, что онъ *солгалъ*, но не называйте *луню*; онъ наконецъ повѣритъ, что онъ лгунъ.“ Это замѣчаніе очень идетъ сюда: получивъ дипломъ, человѣкъ въ самомъ дѣлѣ воображаетъ, что онъ знаетъ науку, въ то время, когда дипломъ имѣетъ собственно одно гражданское значеніе; но носитель его чувствуетъ себя отдѣленнымъ отъ рода человѣческаго: онъ на людей безъ диплома смотритъ какъ на профановъ. Дипломъ, точно іудейское обрѣзаніе, дѣлитъ людей на два человѣчества. Юноша, получившій дипломъ, или принимаетъ его за актъ освобожденія отъ школы, за подорожную въ жизнь,—и тогда дипломъ не сдѣлаетъ ни вреда, ни пользы; или онъ въ гордомъ сознаніи отдѣляется отъ людей и принимаетъ дипломъ за право гражданства въ республикѣ *litterarum*, и идетъ подвизаться на схоластическомъ форумѣ ея. Республика ученыхъ — худшая республика изъ всѣхъ когда нибудь бывшихъ, не исключая Парагвайской во время управленія ею *ученымъ докторомъ* Франціа. Юношу вступив-

шаго, встрѣчаютъ нравы и обычаи окостенѣлые и выросшіе поколѣніями; его вталкиваютъ въ споры безконечные и совершенно бесполезные; бѣдный истощаетъ свои силы, втягивается въ искусственную жизнь касты, и забываетъ мало по малу всѣ живые интересы, разстается съ людьми и съ современностью; съ тѣмъ вмѣстѣ начинаетъ чувствовать высоту жизни въ области схоластики, привыкаетъ говорить и писать напыщеннымъ и тяжелымъ языкомъ касты, считаетъ достойнымъ вниманія только тѣ событія, которыя случились за 800 лѣтъ и были отвергаемы по латинѣ и признаваемы по гречески. Но это еще не все: это медовый мѣсяцъ; вскорѣ имъ овладѣваетъ односторонняя исключительность (въ родѣ *idée fixe* у поврежденныхъ). Онъ предается спеціальности, дѣлается ремесленникомъ; наука теряетъ для него свою торжественность; для слуги нѣтъ великаго человѣка,—и цеховой ученый готовъ!

Но можетъ ли существовать наука безъ спеціальныхъ занятій? Развѣ энциклопедическая поверхностность, за все хватающаяся, не есть именно недостатокъ дилеттантизма? Конечно, не можетъ; но вотъ въ чемъ дѣло:

Наука — живой организмъ, которымъ развивается истина. Истинная метода одна: это собственно процессъ ея органической пластики; форма, система — предопредѣлены въ самой сущности ея понятія и развиваются по мѣрѣ стеченія условій и возможностей осуществленія ихъ. Полная система есть расчлененіе и развитіе *души* науки до того, чтобъ душа стала тѣломъ и тѣло стало душою. Единство ихъ одѣйствотворяется въ методѣ. Никакая сумма свѣдѣній не составитъ науки до тѣхъ поръ, пока сумма эта не обростетъ живымъ мясомъ, около одного живаго центра, то есть не дойдетъ до

пониманія себя тѣломъ его. Никакая блестящая всеобщность съ своей стороны не составитъ полного, наукообразнаго знанія, если, заключенная въ ледяную область отвлеченій, она не имѣетъ силы воплотиться, раскрыться изъ рода въ видъ, изъ всеобщаго въ *личное*, если необходимость индивидуализаціи, если переходъ въ міръ событій и дѣйствій не заключенъ во внутренней потребности ея, съ которой она не можетъ *совладѣть*. Все живое живо и истинно только какъ цѣлое, какъ внутреннее и внѣшнее, какъ всеобщее и единичное — сосуществующія. Жизнь связуетъ эти моменты; жизнь — процессъ ихъ вѣчнаго перехода другъ въ другъ. Одно-стороннее пониманіе науки разрушаетъ неразрывное — то есть, убиваетъ живое. Дилеттантизмъ и формализмъ держатся въ отвлеченной всеобщности: оттого у нихъ нѣтъ дѣйствительныхъ знаній, а есть только тѣни. Они легко расплываются, оттого, что кругомъ пустота; они для легкости ноши хотѣли отдѣлить жизнь — отъ живущаго; ноша стала, въ самомъ дѣлѣ, легка, потому что такое отвлеченіе — *ничего*. А это ничего есть любимая среда дилеттантовъ всѣхъ степеней; они въ немъ видятъ безпредѣльный океанъ и довольны просторомъ для мечтаній и фантазій. Но если очевидно нѣчто безумное въ мысли отдѣлить жизнь отъ живаго организма и между тѣмъ сохранить ее, то ошибка спеціализма, конечно, не лучше. Онъ всеобщаго знать не хочетъ, онъ до него никогда не поднимается; онъ за самобытность принимаетъ всякую дробность и частность, удерживая ихъ самобытность: спеціализмъ можетъ дойти до каталога, до всякихъ субсумацій, но никогда не дойдетъ до ихъ внутренняго смысла, до ихъ понятія — до истины наконецъ; потому что въ ней надобно погубить всѣ частности; нуть этотъ похожъ на опредѣленіе внутреннихъ

свойствъ человѣка по калошамъ и пуговицамъ. Все вниманіе спеціалиста обращено на частности; онъ съ каждымъ шагомъ болѣе и болѣе запутывается; частности дѣлаются дробнѣе, ничтожнѣе; дѣленіе не имѣетъ границъ; темный хаосъ случайностей стережетъ его возлѣ и увлекаетъ въ болотистую тину той *закраины* бытія, которую свѣтъ не объемлетъ: это *его* безконечное море въ противоположность дилеттантскому. Всеобщее, мысль, идея — начало, изъ котораго текутъ всѣ частности, единственная нить Аріадны, теряется у спеціалистовъ, упущена изъ вида за подробностями; они видятъ страшную опасность: факты, явленія, видоизмѣненія, случаи, давятъ со всѣхъ сторонъ; они чувствуютъ природный человѣку ужасъ заблудиться въ многообразіи всякой всячины, ничѣмъ не сшитой; они такъ положительны, что не могутъ утѣшаться, какъ дилеттанты, какимъ нибудь общимъ мѣстомъ, и въ отчаяніи, теряя единую, великую цѣль науки, ставятъ границей стремленія *Orientirung*. *Лишь бы найдтися, лишь бы не быть засыпану съ головой пескомъ фактовъ, сыплющихся отовсюду.* Желаніе найдтися наводитъ на искусственныя системы и теоріи, на искусственныя классификаціи и всякія построенія, о которыхъ *впередъ знаютъ*, что они не истинны. Такія теоріи трудны для изученія, потому что онѣ противоестественны, и онѣ-то составляютъ непреодолимыя укрѣпленія, за стѣнами которыхъ сидятъ ученые себѣ на умѣ. Эти теоріи — наросты, бѣлмы на наукѣ; ихъ должно въ свое время срѣзать, чтобъ раскрыть зрѣніе; но они составляютъ гордость и славу ученыхъ. Въ послѣднее время, не было извѣстнаго медика, физика, химика, который не выдумалъ бы своей теоріи: — Бруссе и Гэ-Люссакъ, Тенаръ и Распайль, и *tutti quanti*. Но чѣмъ добросовѣстнѣе

ученый, тѣмъ меньше онъ самъ можетъ удовлетвориться подобными теоріями: лишь только онъ принялъ *какую нибудь*, чтобъ скрѣпить связку фактовъ, онъ наталкивается на фактъ, очевидно неидущій въ мѣру; надобно для него сдѣлать отдѣлъ, новое правило, новую гипотезу, а эта новая гипотеза противорѣчитъ старой—и чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ. Ученый долженъ *по своей части* знать всѣ теоріи и при этомъ не забывать, что всѣ онѣ вздоръ (какъ оговариваются во всѣхъ французскихъ курсахъ физики и химіи). Посвящая время на полезныя изученія прошедшихъ ошибокъ, онъ не можетъ найти мгновений, чтобъ заняться *не по своей части*, еще менѣе, чтобъ подняться въ сферу истинной науки, обнимающей всѣ частныя предметы, какъ свои вѣтви. Впрочемъ, ученые не вѣрятъ въ нее; они на мыслителей посматриваютъ иронически улыбаясь, какъ Наполеонъ смотрѣлъ на идеологовъ. Они люди положительнаго опыта, наблюденія. А между тѣмъ, ни положительность, ни матеріализмъ не мѣшаютъ имъ быть по превосходству идеалистами. Искусственные методы, системы, субъективныя теоріи развѣ не крайность идеализма? Какъ бы человѣкъ ни считалъ себя занимающимся одними фактами, внутренняя необходимость ума увлекаетъ его въ сферу мысли, къ идеѣ, къ всеобщему; спеціалисты выигрываютъ упорнымъ непослушаніемъ только то, что, вмѣсто правильнаго пути поднятія, они блуждаютъ въ странной средѣ, которой дно — факты безъ связи, а верхъ — теоретическія мечтанія безъ связи. Поднимаясь по своему во всеобщее, они не хотятъ упустить ни одной частности, а въ той сферѣ не принимается ничего точимаго молю: одно вѣчное, родовое, необходимое призвано въ науку и освѣщено ею. Міръ фактической служитъ, безъ сомнѣнія, основой

науки; наука, опертая не на природѣ, не на фактахъ, есть именно туманная наука дилеттантовъ. Но съ другой стороны, факты *in cudo*, взятые во всей случайности бытія, несостоятельны противъ разума, свѣтлѣющаго въ наукѣ. Въ наукѣ природа возстановляется, освобожденная отъ власти случайности и внѣшнихъ вліяній, которая притѣсняетъ ее въ бытіи; въ наукѣ природа просвѣтлѣется въ чистотѣ своей логической необходимости; подавляя случайность, наука примиряетъ бытіе съ идеей, возстановляетъ естественное во всей чистотѣ, понимаетъ недостатокъ существованія (*des Daseins*) и поправляетъ его, какъ власть имущая. Природа, такъ сказать, жаждала своего освобожденія отъ узъ случайнаго бытія, и разумъ совершилъ это въ наукѣ. Люди отвлеченной метафизики должны опуститься изъ своего поднебесья именно въ *физику* (въ обширнѣйшемъ смыслѣ слова), и въ нее же должны подняться роющіеся въ землѣ спеціалисты. Въ наукѣ, принимаемой такимъ образомъ, нѣтъ ни теоретическихъ мечтаній, ни фактическихъ случайностей: въ ней — себя и природу созерцающій разумъ.

Главное, что дѣлаетъ науку *ученымъ* трудною и запутанною, это — метафизическія бредни и тьма тьмущая спеціальностей, на изученіе которыхъ посвящается цѣлая жизнь и схоластическій видъ которыхъ отталкиваетъ многихъ. Но въ истинной наукѣ необходимо улетучивается то и другое, и остается стройный организмъ разумный и оттого *просто понятный*. Наука достигаетъ теперь, передъ нашими глазами, до понятія себя въ истинномъ значеніи. Еслибъ не было такъ, и намъ не пришло бы въ голову говорить объ этомъ. Всегда и вѣчно будетъ техническая часть отдѣльныхъ отраслей науки, которая очень справедливо останется въ рукахъ

спеціалистовъ,—но не въ ней дѣло. Наука въ высшемъ смыслѣ своемъ сдѣлается доступна людямъ, и тогда только она можетъ потребовать голоса во всѣхъ дѣлахъ жизни. Нѣтъ мысли, которую нельзя было бы высказать просто и ясно, особенно въ ея діалектическомъ развитіи. Буало правъ:

Tout ce que l'on conçoit bien s'annonce clairement  
Et les mots pour le dire, arrive aisément.

Мы, улыбаясь, предвидимъ теперь смѣшное положеніе ученыхъ, когда они хорошенько поймутъ современную науку; ея истинные результаты до такой степени просты и ясны, что они будутъ скандализированы: „Какъ! неужели мы бились и мучились цѣлую жизнь, а ларчикъ такъ просто открывался“? Теперь еще они сколько нибудь могутъ уважать науку, потому что надобно имѣть нѣкоторую силу, чтобъ понять, какъ она проста и нѣкоторую сноровку, чтобъ узнавать ясную истину подъ плевою схоластическихъ выраженій, а они не догадываются объ ея простотѣ. Но если въ самомъ дѣлѣ истинная наука такъ проста, зачѣмъ же высшіе представители ея, напр. Гегель, говорили тоже труднымъ языкомъ? Гегель, не смотря на всю мощь и величіе своего генія, былъ тоже человѣкъ; онъ испыталъ паническій страхъ просто выговориться въ эпоху, выражавшуюся ломаннымъ языкомъ, такъ, какъ боялся идти до послѣдняго слѣдствія своихъ началъ; у него не достало геройства послѣдовательности, самоотверженія въ принятіи истины во всю ширину ея и чего бы она ни стоила. Величайшіе люди останавливались передъ очевиднымъ результатомъ своихъ началъ; иные, испугавшись, шли вспять, и, вмѣсто того, чтобъ искать ясности — затемняли себя. Гегель видѣлъ, что многимъ изъ

общепринятаго надобно пожертвовать: ему жаль было разить; но, съ другой стороны, онъ не могъ не высказать того, что былъ призванъ высказать. Гегель часто, выведя начало, боится признаться во всѣхъ слѣдствіяхъ его и ищетъ *не простою*, естественнаго, само собою вытекающаго результата, но еще, чтобъ онъ былъ въ ладу съ существующимъ; развитіе дѣлается сложнѣе, ясность затемняется. Присовокупимъ къ этому дурную привычку говорить языкомъ школы, которую онъ по неволѣ долженъ былъ пріобрѣсти, говоря всю жизнь съ нѣмецкими учеными. Но мощный геній его и тутъ прорывается во всемъ колоссальномъ своемъ величіи. Возлѣ запутанныхъ періодовъ, вдругъ одно слово, какъ молнія, освѣщаетъ безконечное пространство вокругъ, и душа ваша долго еще трепещетъ отъ громовыхъ раскатовъ этого слова и благоговѣетъ передъ высказавшимъ его. Нѣтъ укора отъ насъ великому мыслителю! Никто не можетъ стать на столько выше своего вѣка, чтобъ совершенно выйти изъ него, и если современное поколѣніе начинаетъ проще говорить и рука его смѣлѣе открываетъ послѣднія завѣсы Изиды, то это именно потому, что гегелева точка зрѣнія у него впередъ шла, была побѣждена для него. Человѣкъ настоящаго времени стоитъ на горѣ и разомъ обнимаетъ обширный видъ; но проложившему дорогу на гору видъ этотъ раскрывался мало по малу. Когда Гегель взошелъ первый, ширина вида его подавила; онъ сталъ искать своей горы: ее не было видно на вершинѣ; онъ испугался; она слишкомъ тѣсно связалась со всѣми испытаніями его, со всѣми воспоминаніями, со всѣми судьбами, которыя онъ пережилъ; онъ хотѣлъ сохранить ее. Юное поколѣніе, легко взнесшее на мощныхъ раменахъ геніальнаго мыслителя, не имѣетъ уже къ горѣ



ни той любви, ни того уваженія: для него она *прошедшее*.

Когда юное возмужаетъ, когда оно привыкнетъ къ высотѣ, оглядится, почувствуетъ себя тамъ дома, перестанетъ дивиться широкому, безконечному виду и своей волѣ,—словомъ, сживется съ вершиной горы, тогда его истина, его наука выскажется просто, всякому доступно. *И это будетъ!*

1842. Ноябрь.

#### IV.

### БУДДИЗМЪ ВЪ НАУКѢ

— Погубящій свою душу найдетъ ее.

— Вѣра безъ дѣлъ мертва.

Наука, сказали мы прежде, провозгласила всеобщее примиреніе въ сферѣ мышленія, и жаждавшіе примиренія раздвоились: одни отвергли примиреніе науки, не обсудивъ его, другіе приняли поверхностно и буквально; были и есть, само собою разумѣется, истинно понявшіе науку — они составляютъ македонскую фалангу ея, о которой мы не предположили себѣ говорить въ рядѣ этихъ статей. Потомъ, мы сдѣлали опытъ взглянуть на *непримиримыхъ* и видѣли, что по большей части имъ не позволяетъ больное и испорченное зрѣніе туда смотрѣть, куда слѣдуетъ, такъ видѣть какъ совершается, такъ понимать какъ сказано; личный недостатокъ въ органахъ зрѣнія переносится ими на зримое. Болѣзненность глаза не всегда свидѣтельствуетъ о слабости его;

иногда, съ нею вмѣстѣ соединяется чрезвычайная сила, но отклоненная отъ естественнаго отправленія своего. Теперь, обратимся къ *примиреннымъ*. Въ ихъ числѣ есть люди ненадежные, положившіе оружіе при первомъ выстрѣлѣ, принявшіе всѣ условія съ самоотверженіемъ, приводящимъ въ отчаяніе, съ подозрительною безпрекословностію. Мы ихъ назвали мухаммеданами въ наукѣ, но не оставимъ при нихъ этого названія, напоминающаго пеструю и яркія картины Халифата и Алгамбры; ихъ несравненно вѣрнѣе можно назвать буддистами въ наукѣ \*). Постараемся высказать нашу мысль о нихъ какъ можно яснѣе, безъ притязаній, простыми средствами разговорной рѣчи.

Наука не только провозгласила, но и сдержала слово; она дѣйствительно достигла примиренія *въ своей сферѣ*. Она явилась тѣмъ вѣчнымъ посредствомъ, которое сознаніемъ, мыслию снимаетъ противоположное, примиряетъ ихъ обличеніемъ ихъ единства, примиряетъ ихъ въ себѣ и собою, сознаніемъ себя правдой борющихся началъ. Требованіе было бы безумно, еслибъ вмѣнили ей въ обязанность совершить что нибудь внѣ своей сферы. Сфера науки—всеобщее, мысль, разумъ, какъ *самопознающій духъ*, и въ ней она исполнила главную часть своего призванія — за остальную можно поручиться. Она поняла, сознала, развила истину разума, какъ *предлежащей дѣйствительности*; она освободила мысль міра изъ событія міра, освободила все сущее отъ случайности,

\*) Буддисты принимаютъ существованіе за истинное зло, ибо все существующее—призракъ. Верховное бытіе для нихъ — пустота безконечнаго пространства. Переходя изъ степени въ степень, они достигаютъ высшаго конечнаго блаженства несуществованія, въ которомъ находятъ полную свободу (Клапротъ). Какое родственное сходство!

распустила все твердое и неподвижное, прозрачнымъ сдѣлала темное, свѣтъ внесла въ мракъ, раскрыла вѣчное во временномъ, безконечное въ конечномъ и признала ихъ необходимое сосуществованіе; наконецъ, она разрушила китайскую стѣну, дѣлившую безусловно, истину отъ человѣка, и на развалинахъ ея водрузила знамя самозаконности разума. Останавливая человѣка на простомъ событіи чувственной достовѣрности, начавъ съ нимъ личныя умствованія, она развиваетъ въ немъ родовую идею, всеобщій разумъ, освобожденный отъ личности. Она требуетъ съ самаго начала жертвоприношенія личностію, закланія сердца — это ея *conditio sine qua non*. И какъ бы это ужасно ни казалось, она права; у науки одна сфера всеобщаго, мысли. Разумъ не знаетъ личности *этой*; онъ знаетъ одну необходимость личностей вообще; разумъ, какъ высшая справедливость, нелицепріятенъ. Оглашенный наукой долженъ пожертвовать своей личностью, долженъ ее понять не истиннымъ, а случайнымъ, и, свергая ее, со всѣми частными убѣжденіями взойти въ храмъ науки. Этотъ искусь для однихъ слишкомъ труденъ, для другихъ слишкомъ легокъ. Мы видѣли, какъ дилеттантамъ наука недоступна, оттого, что между ими и наукой стоитъ ихъ личность; они ее удерживаютъ трепетной рукой и не подходятъ близко къ стремительному потоку ея, боясь, что быстрое движеніе волнъ унесетъ и утопитъ; а если и подходятъ, то забота самосохраненія не позволяетъ ничего видѣть. Такимъ людямъ, наука не можетъ раскрыться, оттого, что они ей не раскрываются. Наука требуетъ всего человѣка, безъ заднихъ мыслей, съ готовностью все отдать и въ награду получить тяжелый крестъ *трезваго знанія*. Человѣкъ, который ничему не можетъ распахнуть груди своей, жалокъ; ему не одна

наука затворяетъ свою храмину; онъ не можетъ быть ни глубоко-религіознымъ, ни истиннымъ художникомъ, ни доблестнымъ гражданиномъ; ему не встрѣтитъ ни глубокой симпатіи друга, ни пламеннаго взгляда взаимной любви. Любовь и дружба — взаимное эхо; онѣ даютъ столько, сколько берутъ. Въ противоположность этимъ купцамъ и эгоистамъ нравственнаго міра, есть моты и расточители, не ставящіе ни во что ни себя, ни свое достояніе; радостно бѣгутъ они къ самоуничтоженію во всеобщемъ и при первомъ словѣ бросаютъ и убѣжденія свои и свою личность, какъ черное бѣлье. Но невѣста, которой они искали, своенравна; она потому не хочетъ брать душу этихъ людей, что они легко отдаютъ ее и не требуютъ назадъ, — напротивъ, довольны, что отдѣлались отъ нея. Она права: хороша личность, которую бросаютъ въ окошко! Но какъ же быть? погуби свою личность, а тамъ удерживай свою личность — догомахія новой кабалистики!

Личность погибла въ наукѣ; но неимѣетъ ли личность, сверхъ призванія въ сферу всеобщаго, иного призванія, и если то призваніе лично, то оно не можетъ поглотиться наукой, именно потому, что она улетучиваетъ личное, обобщая его. Процессъ погубленія личности въ наукѣ есть процессъ становленія — въ сознательную, свободно-разумную личность изъ непосредственно-естественной; она приостановлена для того, чтобъ вновь родиться. Вѣдь и парабола погибла въ уравненіи параболы, и цифра погибла въ формулѣ. Алгебра — логика математики; алгоритмъ ея представляетъ всеобщіе законы, результатъ и самое движеніе въ родовомъ, вѣчномъ, безличномъ видѣ. Но парабола только *притаилась* въ уравненіи, не умерла въ немъ, такъ какъ и цифра въ формулѣ. Для полученія дѣй-

ствительно сущаго результата, буква замѣняется цифрой, формула получаетъ живую особность, уносится въ міръ событій, изъ котораго вышла, движется и оканчивается практическимъ результатомъ, не уничтожая съ своей стороны формулу. Выкладка исполнила ее практическимъ одѣйствовореніемъ, и по прежнему, спокойная, царить въ сферѣ всеобщаго. Примѣры изъ формальной науки всегда способствуютъ къ уразумѣнію, если только мы не будемъ забывать, что спекулативная наука *не токмо* формальная, что ея формула исчерпываетъ и самое содержаніе. И такъ, личность, разрѣшающаяся въ наукѣ, не безвозвратно погибла: ей надобно пройти чрезъ эту гибель, чтобъ убѣдиться въ невозможности ея. Личности надобно отречься отъ себя, для того, чтобъ сдѣлаться сосудомъ истины; забыть себя, чтобъ не стѣснять ея собою, принять истину со всѣми послѣдствіями и въ числѣ ихъ раскрыть непреложное право свое на возвращеніе самобытности. Умереть въ естественной непосредственности значитъ воскреснуть въ духѣ, а не погибнуть въ безконечномъ ничего, какъ погибаютъ буддисты. Эта побѣда надъ собою возможна и дѣйствительна, когда есть борьба; ростъ духа труденъ, какъ ростъ тѣла. То дѣлается нашимъ, что выстрадано, выработано; что даромъ свалилось, тому мы цѣны не знаемъ. Игроки бросаютъ деньги горстями. Стоило ли испытывать Авраама, еслибъ ему ничего не стоило убить Исаака? Здоровая, сильная личность не отдается наукѣ безъ боя; она даромъ не уступитъ шагу; ей ненавистно требованіе пожертвовать собою; но непреодолимая власть влечетъ ее къ истинѣ; съ каждымъ ударомъ человѣкъ чувствуетъ, что съ нимъ борется мощный, противъ котораго силъ не довлѣетъ: стенающая, отдаетъ онъ по клочку все свое, и сердце, и

душу. Такъ Одиссей, погибая въ волнахъ и цѣпляясь за скалы, прежде нежели спасся, орумѣялъ ихъ своею кровью и оставилъ на нихъ куски своего мяса. Побѣдитель безпощаденъ, требуетъ всего — и побѣжденный отдаетъ все; но побѣдитель въ самомъ дѣлѣ не возьметъ: на что ему человѣческое? человѣку нужно было отдать, а не ему взять. Формалистамъ, вѣчно находящимся въ мѣрѣ отвлеченномъ, уступка личностью ничего не значить, и потому они черезъ такую уступку ничего не пріобрѣтаютъ; они забываютъ жизнь и дѣятельность: лиризмъ и страстность ихъ удовлетворяются отвлеченнымъ пониманіемъ, оттого имъ не стоитъ ни труда, ни страданій пожертвовать личнымъ благомъ своимъ. Имъ убить Исаака ничего не стоитъ. Формалисты науку изучаютъ, какъ нѣчто внѣшнее; до нѣкоторой степени они могутъ усвоивать себѣ ея остовъ, ея выраженія, полагая, что они приняли въ себя ея животворящую душу. Науку надобно прожить, чтобъ не формально усвоить ее себѣ. Переломившій ногу полнѣе и тверже всякаго врача знаетъ, какая именно боль при переломѣ. Прострадать феноменологію духа, исходить горячею кровью сердца, горькими слезами очей, худѣть отъ скептицизма, жалѣть, любить многое, много любить и все отдать истинѣ, — такова лирическая поэма воспитанія въ науку. Наука дѣлается страшнымъ вампиромъ, духомъ, котораго нельзя прогнать никакимъ заклинаніемъ, потому что человѣкъ вызвалъ его изъ собственной груди и ему *некуда* скрыться. Тутъ надобно оставить пріятную мысль благоразумно заниматься въ извѣстный часъ дня бесѣдой съ философами для образованія ума и украшенія памяти. Вопросы страшные безотходны: куда ни отвернется несчастный, они передъ нимъ, писанные огненными буквами Даніила, и тянутъ куда-то въ глубь.

и силъ нѣтъ противостоятъ чарующей силѣ пронасти. которая влечетъ къ себѣ человѣка загадочной опасностью своей. Змѣя мечетъ банкъ; игра, холодно начинающаяся съ логическихъ общихъ мѣстъ, быстро развертывается въ отчаянное состязаніе; всѣ заповѣдныя мечты, святыя, нѣжныя упованія, Олимпъ и Андъ, надежда на будущее, довѣріе настоящему, благословеніе прошедшему, все послѣдовательно является на картѣ, и она, медленно вскрывая, безъ улыбки, безъ ироніи и участія, повторяетъ холодными устами: „убита.“ Что еще поставить? все проиграно; остается поставить себя; понтёръ ставитъ, и съ той минуты игра мѣняется. Горе тому, кто не доигрался до послѣдней талин, кто остановился на проигрышѣ: или онъ падаетъ подъ тяжестію мучительнаго сомнѣнія. снѣдаемый алканіемъ горячей вѣры, или прійметъ проигрышъ за выигрышъ и самодовольно примирится съ своимъ увѣчьемъ: первое — путь къ нравственному самоубійству, второе — къ бездушному атеизму. Личность, имѣвшая энергію себя поставить на карту, отдается наукѣ безусловно; но наука не можетъ уже поглотить такой личности, да и она сама по себѣ не можетъ уничтожиться во всеобщемъ — слишкомъ просторно. Погубящій душу *найдетъ ее*. Кто такъ дострадался до науки, тотъ усвоилъ ее себѣ не токмо какъ остовъ истины, но какъ живую истину, раскрывающуюся въ живомъ организмѣ своемъ; онъ дома въ ней, не дивится болѣе ни своей свободѣ, ни ея свѣту; но ему становится мало ея примиренія; ему мало блаженства спокойнаго созерцанія и видѣнія; ему хочется полноты упоенія и страданій жизни; ему хочется *дѣйствованія*, ибо одно дѣйствованіе можетъ вполне удовлетворить человѣка. Дѣйствованіе сама личность. Когда Данте вступилъ въ свѣтлую область, въ которой

нѣтъ ни плача, ни воздыханія; когда онъ увидѣлъ безплотныхъ жителей рая, ему стало стыдно тѣни, бросаемой его тѣломъ. Ему, земному, не товарищи были эти свѣтлые, эфирные, и онъ пошелъ опять въ нашу юдоль, опираясь на свой посохъ бездомнаго изгнанника; но теперь ужъ онъ не потеряетъ тропинки, не упадетъ середь дороги отъ усталости и изнеможенія. Онъ пережилъ свое становленіе, выстрадалъ его; онъ блуждалъ по жизни и прошелъ мученіями ада; онъ лишился чувствъ отъ вопля и стона и раскрывалъ мутный, испуганный взоръ, вымаливая каплю утѣшенія, вмѣсто котораго снова стоны, e nuovi tormenti, e nuovi tormentati. Но онъ *дошелъ* до Люцифера, и тогда поднялся черезъ свѣтлое чистилище въ сферу вѣчнаго блаженства безплотной жизни, узналъ, что есть міръ, въ которомъ человѣкъ счастливъ, отрѣшенный отъ земли,— и воротился въ жизнь и понесъ ее крестъ.

Буддисты науки, такъ или сякъ поднявшись въ сферу всеобщаго—изъ нея не выходятъ. Ихъ калачомъ не заманишь въ міръ дѣйствительности и жизни. Кто имъ велитъ промѣнять обширную храмину, въ которой дѣлать нечего, а почетно,—на нашу жизнь съ ея бушующими страстями, гдѣ надобно работать, а иногда погибнуть. Одни тѣла, имѣющія удѣльный вѣсъ, тяжеле воды и тонутъ; щепы и солома важно плаваютъ по поверхности. Формалисты нашли примиреніе въ наукѣ, но примиреніе ложное; они больше примирились, нежели наука могла примирить; они не поняли *какъ* совершенно примиреніе въ наукѣ; вошедши съ слабымъ зрѣніемъ, съ бѣдными желаніями, они были поражены свѣтомъ и богатствомъ удовлетворенія. Имъ понравилась наука такъ же неосновательно, какъ дилеттантамъ не понравилась. Они вообразили, что достаточно *знать* прими-



реніе, а одѣйствоворять его не нужно. Отступивъ отъ міра и разсматривая его съ отрицательной точки, имъ не захотѣлось снова взойти въ міръ; имъ показалось достаточно знать, что хина лечитъ отъ лихорадки, для того, чтобъ вылечиться; имъ не пришло въ голову, что для человѣка наука — моментъ, по обѣимъ сторонамъ котораго жизнь: съ одной стороны стремящаяся къ нему — естественно-непосредственная, съ другой вытекающая изъ него — сознательно-свободная; они не поняли, что наука сердце, въ которое втекаетъ темная венозная кровь не для того, чтобъ остаться въ немъ, а чтобъ, сочетавшись съ огненнымъ началомъ воздуха, разлиться алой артеріальной кровью. Формалисты подумали, что пріѣхали въ пристань, въ то время, какъ въ самомъ дѣлѣ имъ слѣдовало отчаливать; они сложили руки, узнавъ въ чемъ дѣло, т. е. когда послѣдовательность заставляла ихъ раскрыть руки. Для нихъ, знаніе заплатило за жизнь и имъ ея больше не нужно: они узнали, что наука цѣль самой себѣ и вообразили, что наука исключительная цѣль человѣка. Примиреніе науки — снова начатая борьба, достигающая примиренія въ практическихъ областяхъ; примиреніе науки въ мышленіи, но „человѣкъ не токмо мыслящее, но и дѣйствующее существо“ \*). Примиреніе науки всеобщее и отрицательное — оттого ей личность не нужна; положительное примиреніе можетъ только быть въ дѣянніи свободномъ, разумномъ, сознательномъ. Въ тѣхъ сферахъ, въ которыхъ личность сохранила необходимость проявленія ея въ дѣянніяхъ очевидца, въ религіи, на примѣръ, не одно

\*) Это сказалъ Гёте; Гегель въ Пропедевтикѣ (томъ XVIII, § 63) говоритъ „слово не есть еще *дѣяніе*, которое *мыше рѣчи*.“ И германцы стало понимали это.

возношеніе лицъ, но и нисхожденіе къ лицамъ, сохраненіе ихъ; въ ней вѣра признана мертвою безъ дѣлъ, любовь поставлена выше всего. Отвлеченная мысль есть непрерывное произношеніе смертнаго приговора всему временному, казнь неправаго, вѣтхаго во имя вѣчнаго и непреходящаго; оттого, наука ежеминутно отрицаетъ воображаемую незыблемость существующаго. Дѣяніе сознательной любви творчески создательно. Любовь есть всеобщее прощеніе, снисходительное, прижимающее къ груди своей самое временное за слѣдъ вѣчнаго отпечатлѣннаго на немъ. Но чистыя отвлеченія не имѣютъ возможности существовать, противоположное находитъ мѣсто, вкрадывается и развивается въ домъ врага своего; отрицаніе науки чревато съ перваго появленія положительнымъ. Эта скрытая положительность освобождается любовью, струится во всѣ стороны какъ теплотворъ, непрерывно стремясь, найти условія осуществленія и выхода изъ области всеобщаго отрицанія въ область свободнаго дѣянія; когда наука достигаетъ высшей точки, она естественно переходитъ самое себя. Въ наукѣ, мышленіе и бытіе примирены; но условія мира дѣланы мыслию—полный миръ въ дѣяніи. „Дѣяніе есть живое единство теоріи и практики“ сказалъ слишкомъ за двѣ тысячи лѣтъ величайшій мыслитель древняго міра \*). Въ дѣяніи, разумъ и сердце поглотились одѣйствованіемъ, исполнили въ мірѣ событій находившееся въ возможности. Мірозданіе, исторія не вѣчны ли дѣянія? Дѣяніе отвлеченнаго разума — мышленіе уничтожающее личность; человекъ безконеченъ въ немъ, но теряетъ себя; онъ вѣченъ въ мысли—но онъ не онъ; дѣяніе отвлеченнаго сердца, частный поступокъ, не имѣ-

\*) Аристотель.

ющій возможности раскрыться во всеобщее; въ сердцѣ .  
человѣкъ у себя—но преходящъ. Въ разумномъ, нрав-  
ственно-свободномъ и страстно-энергическомъ дѣяніи,  
человѣкъ достигаетъ дѣйствительности своей личности  
и увѣковѣчиваетъ себя въ мірѣ событій. Въ такомъ  
дѣяніи, человѣкъ вѣченъ во временности, безконеченъ  
въ конечности, представитель рода и самого себя, \*)  
живой и сознательный органъ своей эпохи.

Истина, высказанная нами, далека отъ того, чтобъ  
быть сознанною. Могуществениѣйшіе и величайшіе пред-  
ставители современнаго человѣчества поняли мысль и  
дѣяніе разнo и односторонно. Степенная, глубоко чув-  
ствующая и созерцающая Германія опредѣлила себѣ  
человѣка какъ мышленіе, науку признала цѣлью и нрав-  
ственную свободу поняла только какъ внутреннее на-  
чало. Она никогда не имѣла вполне развитаго смысла  
практической дѣятельности; обобщая каждый вопросъ,  
она выходила изъ жизни въ отвлеченія и оканчивала  
одностороннимъ разрѣшеніемъ. Саванарола, слѣдуя ин-  
стинкту жизни романскихъ народовъ, сдѣлался главою  
политической партіи \*\*). Германскіе реформаторы, уни-  
чтоживъ въ половинѣ Германіи католицизмъ, не высту-  
пили изъ области теологіи и схоластическихъ споровъ;  
фазы новой французской исторіи повторялись въ Гер-  
маніи въ области науки и отчасти искусства. Германи-

\*) Надъ этими выраженіями посмѣются наши люстихи; не будемъ  
такъ робки, пусть люстихи посмѣются, на то они люстихи. Смѣхъ  
для нихъ вознагражденіе непониманью; изъ человѣколюбія надобно  
имъ предоставить такой дешевый *реваншъ*.

\*\*) „Романскіе народы имѣютъ характеристику рѣзче германцевъ,  
они опредѣленные цѣли свои исполняютъ съ чрезвычайной твердо-  
стью, обдуманностью и ловкостью.“

*Philosophie der Geschichte.* p. 422. tome IX.

ческій міръ имѣетъ самъ въ себѣ и противоположное направленіе, также отвлеченное и одностороннее. Англія одарена величайшимъ смысломъ жизни и дѣятельности: но всякое дѣяніе ея есть частное; общечеловѣческое у Британца превращается въ національное; всеобъемлющій вопросъ сводится на мѣстный. Англія моремъ отдѣлена отъ человѣчества и, гордая своей замкнутостью, не раскрываетъ своей груди интересамъ материка; Британецъ никогда не отступится отъ своей личности; онъ знаетъ великую заслугу свою, то неприкосновенное величіе, тотъ нимбъ уваженія, которымъ онъ окружилъ именно идею личности. Заснувшіе народы Италіи и вновь выступающіе испанцы не заявили никакихъ правъ на поприще, о которомъ мы говоримъ. Остаются два народа, на которые невольно обращается взглядъ. Съ одной стороны, Франція—самымъ счастливымъ образомъ поставленная относительно европейскаго міра, сбѣгающагося въ ней, опираясь на край романизма, и соприкасающаяся со всѣми видами германизма отъ Англіи. Бельгіи до странъ, прилегающихъ Рейну; романо-германская сама, она какъ будто призвана примирить отвлеченную практичность средиземныхъ народовъ съ отвлеченной умозрительностью за-рейнской, поэтическую нѣгу солнечной Италіи съ индустріальною хлопотливостью туманнаго острова. Доселѣ, Франція и Германія не понимали другъ друга вполне; разное волновало ихъ, разное влекло ихъ, одни и тѣ же предметы выражались иными языками; весьма недавно, они узнали другъ друга: ихъ познакомилъ Наполеонъ и, послѣ взаимныхъ посѣщеній, когда улеглись страсти вмѣстѣ съ пороховымъ дымомъ, онѣ съ уваженіемъ склонились другъ передъ другомъ и признали другъ друга. Но истиннаго единенія нѣтъ. Наука Германія упорно не переплываетъ

Рейна; бѣглый умъ француза предупреждаетъ діалектическое развитіе, хватаетъ изъ середины какую нибудь мысль и торопится осуществить ее. Грядущему предлежитъ разрѣшить: на сколько Франція можетъ быть органомъ примиренія науки и жизни; впрочемъ, не надобно ошибаться, принимая слишкомъ рѣзко противоположность Франціи и Германіи; она часто совершенно вѣшняя. Франція своимъ путемъ дошла до заключеній очень близкихъ къ заключеніямъ науки германской, но не умѣетъ перенести ихъ на всеобщій языкъ науки; такъ какъ Германія не умѣетъ языкомъ жизни повторить логику. И сверхъ того, наука германская искони пользовалась Франціей. Не говоря о Декартѣ, вліяніе энциклопедистовъ было очень сильно; ей никогда не достигнуть бы своей зрѣлости безъ фактическаго обилія разработаннаго по всѣмъ отраслямъ во Франціи. Съ другой стороны, можетъ, тутъ раскроется великое призваніе бросить нашу сѣверную гривну въ хранилищницу человѣческаго разумѣнія; можетъ, мы, маложившіе въ быломъ, явимся представителями дѣйствительнаго единства науки и жизни, слова и дѣла. Въ исторіи, поздно приходящимъ не кости а сочные плоды. Въ самомъ дѣлѣ, въ нашемъ характерѣ есть нѣчто, соединяющее лучшую сторону французовъ съ лучшей стороною германцевъ. Мы несравненно способнѣе къ наукообразному мышленію, нежели французы и намъ рѣшительно невозможна мѣщански-филистерская жизнь нѣмцевъ; въ насъ есть что-то gentlemanlike, чего именно нѣтъ у нѣмцевъ, и на челѣ нашемъ проступаетъ слѣдъ величавой мысли, какъ-то не сосредоточивающейся на челѣ француза.

Но не будемъ забѣгать въ будущее и возвратимся. Философы Германіи какъ-то провидѣли, что дѣяніе а не наука, цѣль человѣка. Это была часто геніальная

пророческая непослѣдовательность, насильно врывающаяся въ безстрастныя и суровыя логическія построения. Самъ Гегель болѣе намекнулъ, нежели развилъ мысль о дѣяніи. Это дѣло не его эпохи, — дѣло эпохи имъ порожденной. Гегель, раскрывая области духа, говоритъ о искусствѣ, наукѣ, и забываетъ практическую дѣятельность, вплетенную во всѣ событія исторіи. Но рядъ мыслителей Германіи, замыкающійся Гегелемъ, не должно ставить на одну доску съ настоящими формалистами. Они не имѣли иныхъ требованій, кромѣ потребности вѣденія, но это было своевременно; они труженически разработали для человѣчества путь науки; для нихъ примиреніе въ наукѣ было наградой; они имѣли право, по историческому мѣсту своему, удовлетвориться во всеобщемъ; они были призваны свидѣтельствовать міру о совершившемся самопознаніи и указать путь къ нему: въ этомъ состояло *ихъ дѣяніе*. Мы совсѣмъ не въ томъ положеніи; для насъ жизнь въ отвлеченно-всеобщихъ сферахъ несвоевременность, личная охота. Всякая восходящая сфера имѣетъ притязаніе на исключительное господство и безусловное значеніе: вѣра въ него — главнѣйшее условіе успѣха, но дальнѣйшее развитіе во времени необходимо переходитъ мнимо-безусловную сферу и эта необходимость перехода гораздо съ большей справедливостью можетъ казаться безусловной. Гегель чрезвычайно-глубокомысленно сказалъ: „понять *то, что есть*—задача философіи, ибо *то, что есть*—разумъ. Какъ всякая личность *произведеніе своего времени*, такъ философія есть въ *мысляхъ схваченная эпоха*; нелѣпо предположить, что какая нибудь философія переходила свой современный міръ“ \*). Задача

\*) Philosophie des Rechts, Vorrede. Курсивомъ напечатанное, подчеркнуто въ текстѣ.

реформаціоннаго міра была понятъ, но понятіемъ не замыкается воля. Философы забыли о положительной дѣятельности. Бѣды въ этомъ не было. Практическія сферы вовсе не лишены языка; онѣ заявили свой голосъ, когда время пришло. Оно пришло быстро; человѣчество несется теперь какъ по желѣзной дорогѣ. Годы вѣка. Едва прошло десять лѣтъ послѣ смерти Гёте и Гегеля, величайшихъ представителей искусства и науки, какъ самый Шеллингъ, увлеченный новымъ направленіемъ, сталъ дѣлать совершенно иныя требованія, нежели съ которыми явился проповѣдывать науку въ началѣ XIX вѣка. Ренегатство Шеллинга во всякомъ случаѣ событіе важное и многозначительное. Шеллингъ болѣе обладаетъ поэтическимъ созерцаніемъ, чѣмъ діалектикой, и именно какъ Vates онъ испугался океана всеобщаго, готовившагося поглотить весь потокъ умственной дѣятельности; онъ пошелъ вспять, не сладивши съ послѣдствіями своихъ началъ, и вышелъ изъ современности, указывая на больное мѣсто. Во всей германской атмосферѣ, носятъ новые вопросы о жизни и наукѣ — это очевидный фактъ въ журналистикѣ, въ изящныхъ произведеніяхъ, въ книгахъ. Забытая въ наукѣ личность потребовала своихъ правъ, потребовала жизни, трепещущей страстями и удовлетворяющейся однимъ творческимъ, свободнымъ дѣяніемъ. Послѣ отрицанія, совершеннаго въ сферѣ мышленія, она захотѣла отрицаній въ другихъ сферахъ: необходимость личности обличилась. Человѣкъ требуетъ ее, а наука, взявшая все, признаетъ это право; она не удерживаетъ, она благословляетъ въ жизнь личную, въ жизнь свободного дѣянія во имя абсолютной безличности.

Да, наука есть царство безличности, успокоенное отъ страстей, почившее въ величайшемъ самопознаніи.

озаренное всепроникающимъ свѣтомъ разума — царство идеи. Не мертвое, не остывшее какъ трупъ, но покойное въ самомъ движеніи своемъ какъ океанъ. Въ наукѣ, сонмъ Олимпійцевъ, а не люди; *матери*, къ которымъ ходилъ Фаустъ. Въ наукѣ, истина облеченная не въ вещественное тѣло, а въ логическій организмъ, живая архитектурой діалектическаго развитія, а не эпопеей временнаго бытія; въ ней законъ — мысль исторгнутая, спасенная отъ бурь существованія, отъ возмущеній вѣшнихъ и случайныхъ; въ ней раздается симфонія сферъ небесныхъ и каждый звукъ ея имѣетъ въ себѣ вѣчность, потому что въ немъ была необходимость, потому что случайный стонъ временнаго не достигаетъ такъ высоко. Мы согласны съ формалистами, наука *выше* жизни, но въ этой высотѣ свидѣтельство ея односторонности; конкретно истинное не можетъ быть ни выше, ни ниже жизни, оно должно быть въ самомъ средоточіи ея, какъ сердце въ срединѣ организма. Отъ того, что наука выше жизни, ея область отвлеченна, *ея полнота не полна*. Живая цѣлостъ состоитъ не изъ всеобщаго, снявшаго частное, но изъ всеобщаго и частнаго взаимно другъ въ друга стремящихся и другъ отъ друга отторгающихся; ея нѣтъ ни въ какомъ моментѣ, ибо всѣ моменты ея; какъ бы ни казались самобытны и исчерпывающіи иныя опредѣленія, они таютъ отъ огня жизни и сливаются, теряя односторонность свою въ широкій, всепоглащающій потокъ... Разумъ сущій прояснилъ для себя въ наукѣ, свелъ свои счета съ прошедшимъ и настоящимъ, — но осуществиться будущему надобно не въ одной всеобщей сферѣ. Въ ней будущности собственно нѣтъ, потому что она предузнана, какъ неминуемое логическое послѣдствіе, но такое осуществленіе бѣдно своей отвлеченностью; мысль должна принять плоть,



сойти на торжищѣ жизни, раскрыться со всею роскошью и красотой временнаго бытія, безъ котораго нѣтъ животрепещущаго, страстнаго, увлекательнаго дѣянiя.

Warum bin ich vergänglich, o Zeus? so fragte die Schönheit.  
Macht ich doch, sagte der Gott, nur das Vergängliche schön.  
GÖTTE.

Наука не только сознала свою самозаконность, но себя сознала закономъ міра; переводя его въ мысль, она отеклась отъ него какъ отъ сущаго, улетучила его своимъ отрицаніемъ, противъ дыханія котораго ничто фактическое несостоятельно. Наука разрушаетъ въ области положительно-сущаго и созидаетъ въ области логики — таково ея призваніе. Но человѣкъ призванъ не въ одну логику — а еще въ міръ соціально-историческій, нравственно-свободный и положительно-дѣятельный; у него не одна способность отрѣшающагося пониманья, но и воля, которую можно назвать разумомъ положительнымъ, разумомъ творящимъ; человѣкъ не можетъ отказаться отъ участія въ человѣческомъ дѣянiи, совершающемся около него; онъ долженъ дѣйствовать въ своемъ мѣстѣ, въ своемъ времени — въ этомъ его всемірное призваніе, это его *conditio sine qua non*. Личность, выходящая изъ науки, не принадлежитъ болѣе ни частной жизни исключительно, ни исключительно всеобщимъ сферамъ; въ ней сочетались частное и общее въ единичности гражданского лица. Примирившись въ наукѣ — онъ жаждетъ примиренія въ жизни; но для этого надобно творчески одѣйствоворить нравственную волю во всѣхъ практическихъ сферахъ.

Вина буддистовъ состоитъ въ томъ, что они не чувствуютъ потребности этого выхода въ жизнь — дѣйстви-

тельнаго осуществленія идеи. Они примиреніе науки принимаютъ за *всяческое* примиреніе; не за поводъ къ дѣйствованію, а за совершенное, замкнутое удовлетвореніе. А тамъ хоть трава не рости за переплетомъ книги. Они все снесутъ за пустоту всеобщности. Буддисты индійскіе стремятся *цѣлью бытія* купить свободу въ Буддѣ. Будда для нихъ именно отвлеченная безконечность, ничего. Наука покорила человѣку міръ, больше — покорила исторію не для того, чтобъ онъ могъ отдыхать. Всеобщность, удерживаемая въ своей отвлеченности, всегда ведетъ къ сонному уничтоженію дѣятельности, таковъ индійскій квіэтизмъ. Гранитный міръ событій, подвергаясь огненной струѣ отрицанія, не имѣетъ силы противостоятъ и низвергается растопленной каскадой въ океанъ науки. Но человѣкъ долженъ переплыть океанъ для того, чтобъ снова начать дѣйствованіе въ иномъ свѣтѣ, въ обѣтованной Атлантидѣ. Начать не инстинктомъ, не по виѣшнимъ наталкиваніямъ, не съ скорбнымъ метаньемъ во всѣ стороны, не съ темнымъ предчувствіемъ, а съ полной нравственной свободой. Человѣкъ не можетъ примириться, пока все окружающее не приведено въ согласіе съ нимъ. Формалисты довольствуются тѣмъ, что выплыли въ море — качаются на поверхности его, не плывутъ ни куда и оканчиваютъ тѣмъ, что обхватываются льдомъ, не замѣчая того; наружно для нихъ тѣ же стремящіяся прозрачныя волны — но въ самомъ дѣлѣ это мертвый ледъ, укравшій очертанія движенія, живая струна замерла сталактитомъ, все окоченѣло. Формалисты сами приняли характеръ льда и нанесли ужасный вредъ наукѣ, говоря ея языкомъ и высказывая безжалостные приговоры свои, отъ которыхъ вѣетъ полярной стужей; весь блескъ ихъ рѣчи — блескъ льда, водяной, мертвой,

по которому лучъ солнца скользитъ, но не грѣтъ, который скорѣе уничтожится, нежели пріиметъ теплоту. Слушавшіе содрогнулись, замѣтивъ отсутствіе любви у большой части берлинскихъ и иныхъ корифеевъ формализма, этихъ *таммудистовъ* новой науки. Взявъ однѣ буквы, одни слова, они ими заглушили всякое состраданіе, всякое теплое сочувствіе. Они намѣренно, съ усиліями поднялись на точку равнодушія ко всему человѣческому, считая ее за истинную высоту: имъ не всегда надобно вѣрить, что они безъ сердца — они часто прикидываются такими (новаго рода *carlatio benevolentiae*). Формальныя разрѣшенія принимаются ими всегда и вездѣ за дѣйствительныя. Имъ казалось, что личность дурная привычка, отъ которой пора отстать; они проповѣдывали примиреніе со всей темной стороной современной жизни, называя все случайное, ежедневное, отжившее, словомъ все, что ни встрѣтится на улицѣ, *дѣйствительнымъ* и слѣдственно имѣющимъ право на признаніе; такъ поняли они великую мысль, „что все дѣйствительное разумно“; они всякій благородный порывъ клеймили названіемъ *Schönseeligkeit*, не усвоивъ себѣ смысла, въ которомъ слово это употреблено ихъ учителемъ \*). Если присовокупимъ къ этимъ результатамъ напыщенный и нелѣпый языкъ, надменность ограниченности, то отдадимъ справедливость вѣрному такту общества, смотрѣвшаго съ недовѣріемъ на этихъ фигляровъ науки. Гегель гдѣ только могъ просилъ, умолялъ опасаться формализма \*\*), доказывалъ, что самое истин-

\*) „Есть болѣе полный миръ съ дѣйствительностію, доставляемый познаніемъ ея, нежели отчаянное сознаніе, что временное дурно или неудовлетворительно, но что съ нимъ слѣдуетъ примириться, потому что оно лучше не можетъ быть.“ *Philosophie des Rechts*.

\*\*) Напримѣръ, во всемъ предисловіи въ *Феноменологіи*.

ное опредѣленіе, взятое въ его завыченности, буквальности, доведеть до бѣдъ, бранился наконецъ — ничего не помогало. Они его-то фразы и свинтили, его-то и поняли буквально. Они не могутъ привыкнуть къ вѣчному движенію истины, не могутъ разъ на всегда признать, что всякое положеніе отрицается въ пользу высшаго, и что только въ преемственной послѣдовательности этихъ положеній, бореній и снятій проторгается живая истина, что это ея змѣняющія шкуры, изъ которыхъ она выходитъ свободнѣе и свободнѣе. Они (не смотря на то, что толкуютъ о чемъ-то подобномъ) не могутъ привыкнуть, что въ развитіи науки нѣ на что опереться, что одно спасеніе въ быстромъ, стремительномъ движеніи. Они цѣпляются за каждый моментъ, какъ за истину; какое нибудь одностороннее опредѣленіе принимаютъ за всѣ опредѣленія предмета, имъ надобно сентенціи, готовныя правила, пробравшись до станціи они — смѣшно-довѣрчивые — полагаютъ всякій разъ, что достигли абсолютной цѣли и располагаются отдыхать. Они строго держатся текста — и оттого не могутъ усвоить себѣ его. Мало понимать то, что сказано, что написано; надобно понимать то, что свѣтитъ въ глазахъ, что вѣетъ между строкъ, надобно такъ усвоить себѣ книгу, чтобъ выйти изъ нея. Такъ понимаетъ *живущій* науку; пониманье есть обличеніе однородности, которая предсуществуетъ. Наука живому передается жизненно, формалисту — формально. Посмотрите на Фауста и его фамулуса: Фаусту наука жизненный вопросъ „быть или не быть“; онъ можетъ глубоко падать, унывать, впадать въ ошибки, искать всякихъ наслажденій, но его натура глубоко проникаетъ за кору внѣшности, его ложь имѣетъ болѣе истины въ себѣ нежели плоская, непогрѣшительная правда Вагнера. Трудное Фаусту лег-

жо Вагнеру. Вагнеръ удивляется какъ Фаустъ не понимаетъ простыхъ вещей. Надо имѣть много ума, чтобъ не понять инаго. Вагнера наука не мучить, напротивъ утѣшаетъ, успокоиваетъ, отраду въ скорби подаетъ. Онъ покой свой купилъ на мѣдные гроши, оттого, что онъ не беспокоился собственно никогда. Гдѣ онъ видѣлъ единство, примиреніе, разрѣшеніе и улыбался, тамъ Фаустъ видѣлъ расторженіе, ненависть, усложнившійся вопросъ — и страдалъ.

Каждый занимающійся *проходитъ* черезъ формализмъ, это одинъ изъ моментовъ становленія; но имѣющій живую душу проходитъ, а формалистъ остается; для одного формализмъ ступень, для другаго цѣль. Такъ природа, достигая совершенія своего въ человѣкѣ, останавливается на каждой попыткѣ, увѣковѣчивая ее родомъ, вѣчно свидѣтельствующимъ о пройденномъ моментѣ, который для него высшая, единая форма бытія. Но ни природа, ни наука не могли удовлетвориться, не дойдя до послѣднихъ слѣдствій, заключенныхъ въ ихъ понятіи. Природа перешла себя въ человѣкѣ, или наступила себѣ на грудь. Наука нынче представляетъ то же зрѣлище: она достигла высшаго призванія своего; она явилась солнцемъ всеосвѣщающимъ, разумомъ факта и слѣдственно оправданіемъ его; но она не остановилась, не сѣла отдыхать на тронѣ своего величія; она перешла свою высшую точку и указываетъ путь изъ себя въ жизнь практическую, сознаваясь, что въ ней не весь духъ человѣческій исчерпанъ, хотя и весь понятъ. Она этимъ погруженіемъ въ жизнь не потеряетъ своего трона; однажды побѣжденное въ этихъ сферахъ—побѣждено на вѣки; но и человѣкъ не теряетъ въ ней остальныхъ обителей жизни. Правовѣрные буддисты больше самой науки за науку, они рѣ-

пились умереть, защищая единоедержавное владычество ея надъ жизнью. „Наука есть наука и единый путь ея абстракція“ это стихъ ихъ Корана. Они на все отвѣчаютъ громкими словами и вмѣсто того, чтобъ наполнить въ самомъ дѣлѣ пропасти, дѣлящія сферы отвлеченныя отъ дѣйствительныхъ, противорѣчія въ жизни и мышленіи прикрываютъ ихъ легкими тваницами искусственной діалектической *фигуры*. Растягивать все сущее на одръ формализма не трудно для тѣхъ, кто не внемлетъ никакому протесту со стороны сущаго. Профаны дивятся иногда какъ самые странные факты, чрезвычайныя явленія легко покоряются у формалистовъ общимъ законамъ, дивятся — а между тѣмъ чувствуютъ, что при этомъ сдѣланъ какой-то фокусъ — изумительный, но непріятный для того, кто ищетъ добросовѣстнаго и дѣльнаго отвѣта. Формалистовъ, съ грѣхомъ пополамъ, можно оправдать только тѣмъ, что они себя первыхъ обманываютъ своими фокусами. Вольтеръ рассказываетъ, какъ докторъ увѣрялъ зрячаго, что онъ слѣпъ, доказывая ему, что неразумный фактъ его зрѣнія нисколько не противорѣчитъ его выводу, и что онъ все таки принимаетъ его за слѣпаго. Такъ новые буддисты разговаривали съ Германцами до тѣхъ поръ, пока, не смотря на всю тихую и добрую натуру свою, иѣмцы догадались въ чемъ дѣло. А дѣло въ томъ, что факты имъ и не покоряются вовсе. Они, какъ китайскій императоръ, считаютъ себя владѣтелями всего земнаго шара, что однакожь не мѣшаетъ всему земному шару за исключеніемъ Китая, вовсе не зависѣть отъ него.

Дилеттанты, находящіеся внѣ науки, могутъ иногда образумиться и въ самомъ дѣлѣ заняться наукой, но крайней мѣрѣ могутъ *оставаться въ подозрѣніи*, что съ

ними случится такой переворотъ. Формалистовъ въ этомъ никакъ заподозрить нельзя, они удовлетворились, покойны, дальше идти не могутъ; они не знаютъ и не могутъ себѣ представить, что есть дальше. Неизлѣчимо отчаянное положеніе ихъ состоитъ въ этомъ чрезвычайномъ довольствѣ; они совсѣмъ примирились; ихъ взглядъ выражаетъ спокойствіе, немного стеклянное, но невозмущаемое изнутри; имъ осталось поживать и наслаждаться, прочее все сдѣлано или сдѣлается само собою. Имъ удивительно, о чемъ люди хлопчуть, когда все объяснено, сознано и человѣчество достигло *абсолютной* формы бытія\*)—что доказано ясно тѣмъ, что современная философія есть абсолютная философія, а наука всегда является тождественною эпохѣ — но какъ ея результатъ, т. е. по совершеніи въ бытіи. Для нихъ такое доказательство неопровержимо. Фактами ихъ не смутить — они пренебрегаютъ ими. Спросите ихъ, отчего при этой абсолютной формѣ бытія въ Манчестерѣ и Бирмингемѣ работники мрутъ съ голоду или прокармливаются на столько, на сколько нужно, чтобъ они не потеряли силъ. Они скажутъ, что это случайность. Спросите ихъ, какъ они слово абсолютное привязываютъ къ развивающимся событіямъ, къ сферамъ, которыя своимъ движеніемъ впередъ доказываютъ свою неабсолютность. „Да такъ сказано въ такомъ-то и такомъ то параграфѣ.“ Для нихъ и это доказательство, а въ какомъ смыслѣ принято слово въ этихъ параграфахъ — объ этомъ нѣчего и хлопотать. Раскрыть глаза формалистовъ трудно; они рѣшительно, какъ буддисты,

\*) Это не выдумка, а сказано въ байергоферовой „Исторіи Философіи. (Die Idee und Geschichte der Philosophie, von Bayerhoffer. Leipzig. 1838. Последняя глава).

мертвое уничтоженіе въ безконечномъ считаютъ свободой и цѣлью—и чѣмъ выше поднимаются въ морозныя сферы отвлеченій, отрываясь отъ всего живаго, тѣмъ покойнѣе себя чувствуютъ. Такъ эгоисты доставляютъ себѣ своего рода спокойное счастіе, заглушая всѣ человѣческія чувства, удаляя отъ себя все непріятное, огорчительное. Но для эгоизма, какъ для формализма, надобно родиться. Всякій можетъ отвернуться отъ картины страданій, но не всякій перестаетъ стонать отъ этого. Гегель (подъ фирмою котораго идутъ всѣ нелѣпости формалистовъ нашего времени, такъ какъ подъ фирмой Фарина продается одеколонъ, дѣлаемый на всѣхъ точкахъ нашей планеты) вотъ какъ говоритъ о формализмѣ:\*) „Нынѣ главный трудъ состоитъ не въ томъ, чтобъ очистить отъ чувственной непосредственности лицо и развить его въ мыслящую сущность, но болѣе въ противоположномъ, въ одѣйствовореніи всеобщаго чрезъ снятіе отвердѣлыхъ, опредѣленныхъ мыслей. Но гораздо труднѣе сдѣлать текучими твердыя мысли, нежели чувственную вещественность.....“ Формализмъ принимаетъ отвлеченную всеобщность за безусловное; онъ увѣряетъ, что быть не удовлетвореннымъ ею, доказываетъ неспособность подняться на безусловную точку зрѣнія и держаться на высотѣ ея. Онъ все приписываетъ всеобщей идеѣ въ ея недѣйствительной формѣ и принимаетъ за спекулативность бросанье и низверженье всего въ пропасть этой страшной пустоты. Разсматриваніе чего либо сущаго въ безусловномъ сводится на то, что въ немъ все одинаково, и безусловное дѣлается такимъ образомъ ночью, въ которой всѣ коровы черныя. Если нѣкогда людямъ показалось возмутительно принять без-

\*) Phenomenologie. Vorrede.



условное за субстанцію, то долею основа этого отворачивания лежала въ инстинктуальномъ прозрѣніи, что самопознание потеряно, а не сохранено въ субстанціи; обратное воззрѣніе, останавливающее мышленіе, какъ мышленіе, всеобщее какъ таковое, есть опять безразличная, неподвижная субстанціальность. Даже, если мышленіе соединяетъ бытіе субстанціи съ собою и непосредственное воззрѣніе (*das Anschauen*) постигаетъ, какъ мышленіе, то и тутъ все зависитъ отъ того, не впадаетъ ли это умозрѣніе въ лѣнивое однообразіе, и не представится ли дѣйствительность не дѣйствительнымъ образомъ. Въ Философіи Права Гегель говоритъ: „между самопознаниемъ и дѣйствительностію всего чаще становится отвлеченность, не освободившаяся въ понятіе.“ Читая эти и подобныя мѣста, съ изумленіемъ спрашиваешь, какъ добрые люди всю жизнь читаютъ Гегеля и не понимаютъ. Человѣкъ читаетъ книгу, но понимаетъ собственно то, что въ его головѣ. Это зналъ тотъ китайскій императоръ, который учившись у миссіонера математикѣ, послѣ всякаго урока благодарилъ, что онъ *напомнилъ* ему забытыя истины, которыя онъ не могъ не знать, будучи *rag maître* всезнающимъ сыномъ неба. Въ самомъ дѣлѣ такъ. Читая Гегеля, только то понимаютъ, что онъ напоминаетъ, то, что неразвито предсуществовало чтенію. Дѣло книги собственно акушерское дѣло — способствовать, облегчить рожденіе, но что родится, за это акушеръ не отвѣчаетъ. Не надобно, впрочемъ, думать, чтобъ Гегель самъ не впадалъ много разъ въ *нѣмецкую* болѣзнь, состоящую въ признаніи вѣдѣнія послѣдней цѣлью всемірной исторіи. Онъ это гдѣ-то прямо сказалъ\*). Мы говорили въ третьей статьѣ о

\*) Помнится въ „Исторіи Философіи.“

томъ, что Гегель часто непослѣдователенъ своимъ началамъ. Никто не можетъ стать выше своего времени. Въ немъ наука имѣла величайшаго представителя; доведя ее до крайней точки—онъ нанесъ ея могуществу какъ исключительному, можетъ нехотя, сильный ударъ, ибо каждый шагъ впередъ долженствовалъ быть шагомъ въ практическія сферы. Ему лично довѣло знаніе и потому онъ не сдѣлалъ этого шага. Наука была для германо-реформаціоннаго міра то, что искусство для эллинскаго. Но ни искусство, ни наука въ своей исключительности не могли служить полнымъ успокоеніемъ и отвѣтомъ на всѣ требованія. Искусство представило, наука поняла. Новый вѣкъ требуетъ совершить нечто въ дѣйствительномъ мірѣ событій. Геніальная натура Гегеля непрерывно порывала путы, накладываемыя духомъ времени, воспитаніемъ, привычкой, образомъ жизни, званіемъ профессора. Посмотрите, какъ торжественно развертывается у него философія права; не фразу, не выраженіе намѣрены мы указать, а внутреннюю настоящую мысль, душу книги. Области отвлеченнаго права разрѣшаются, снимаются міромъ нравственности, царствомъ нормъ, правомъ просвѣтленнымъ для себя. Но Гегель этимъ не оканчиваетъ, а устремляется съ высоты идеи права въ потокъ всемірной исторіи, въ океанъ исторіи. Наука права совершается, вѣнчается, выходитъ изъ себя. Процессъ развитія личности тотъ же самый. Мутныя индивидуальности, вырабатываясь изъ естественной непосредственности, туманомъ поднимаются въ сферу всеобщаго и просвѣтленныя солнцемъ идеи разрѣшаются въ безконечной лазури всеобщаго; но они не уничтожаются въ ней, принявъ въ себя всеобщее, они низвергаются благодатнымъ дождемъ, чистыми кристалльными каплями на прежнюю землю. Все

величіе возвращенной личности состоитъ въ томъ, что она сохранила оба міра, что она родъ и недѣлимое вмѣстѣ, что она *стала* тѣмъ, чѣмъ родилась или лучше, къ чему родилась—сознательною связью обоихъ міровъ; что она постигла свою всеобщность и сохранила единичность. Развитая такимъ образомъ личность, самое вѣдѣніе принимаетъ за непосредственность *высшаго порядка*, а не за совершеніе судебъ. Возвращеніе есть діалектическое движеніе столь же необходимое, какъ восхожденіе. Пребываніе во всеобщемъ—покой, то есть смерть; жизнь идеи есть „вакхическое опьянѣніе, въ которое все увлечено, непрерывное возникновеніе и уничтоженіе никогда не останавливающееся и спокойное только въ этомъ движеніи.“ Еще разъ, всеобщее не есть полная истина, а одна фаза ея, въ которой частное распустилось, а процессъ перехода уже совершился. Всеобщее представляетъ довременный или послѣвременный покой, но идея не можетъ пребывать въ покоѣ, она сама собою выходитъ изъ области всеобщаго въ жизнь.

Полное . ігіо, согласное и величественное, звучитъ только во всемірной исторіи, только въ ней живетъ идея полнотою жизни—въ ея отвлеченности, стремящіяся къ полнотѣ, алкающія другъ друга. Непосредственность и мысль, два отрицанія, разрѣшающіяся въ дѣяніи исторіи. Единое для того расторгнулось въ противоположное, чтобъ соединиться въ исторіи. Природа и логика сняты и осуществлены ею. Въ природѣ все частно, индивидуально, врозь суще, едва обнято вещественною связью; въ природѣ идея существуетъ тѣлесно, безсознательно, подчиненная закону необходимости и влеченіямъ темнымъ, не снятымъ свободнымъ разумѣніемъ. Въ наукѣ, совсѣмъ напротивъ; идея существуетъ

въ логическомъ организмѣ, все частное заморено, все проникнуто свѣтомъ сознанія, *скрытая мысль*, волнуемая и приводящая въ движеніе природу, освобождаясь отъ физическаго бытія развитіемъ его, становится *открытой* мыслию науки. Какъ бы полна ни была наука, ея полнота отвлеченна, ея положеніе относительно природы отрицательно; она это знала со временъ Декарта, ясно противопоставившаго мышленіе факту, духъ—природѣ. Природа и наука, два выгнутыя зеркала, вѣчно отражающія другъ друга; фокусъ, точку пересѣченія и сосредоточенности между оконченными мірами природы и логики, составляетъ личность человѣка. Природа, собираясь на каждой точкѣ, углубляясь болѣе и болѣе, оканчивается человѣческимъ я; въ немъ она достигла своей цѣли. Личность человѣка, противопоставляя себя природѣ, борясь съ естественною непосредственностью, развертываетъ въ себѣ родовое, вѣчное, всеобщее, разумъ. Совершеніе этого развитія—цѣль науки. Вся прошедшая жизнь человѣчества, сознательно и безсознательно, имѣла идеаломъ стремленіе достигнуть разумнаго самопознанія и поднятія воли человѣческой къ волѣ божественной; во всѣ времена, человѣчество стремилось къ нравственно-благому, свободному дѣянію. Такого дѣянія въ исторіи не было и не могло быть. Ему должна была предшествовать наука; безъ вѣдѣнія, безъ полнаго сознанія нѣтъ истинно-свободнаго дѣянія; но полнаго сознанія въ прошедшей жизни человѣческой не было. Наука, приводя къ нему, оправдываетъ исторію и съ тѣмъ вмѣстѣ отрекается отъ нея; истинное дѣяніе не требуетъ для своего оправданія предъидущаго событія, исторія для него почва, непосредственность; все предшествующее необходимо въ генезическомъ смыслѣ, но самобытность и самоозаконеніе грядущее столь-

ко же будетъ имѣть въ себѣ, какъ въ исторіи. Грядущее отнесется къ былому, какъ совершеннолѣтній сынъ къ отцу; для того, чтобъ родиться, для того, чтобъ сдѣлаться человѣкомъ, ему нуженъ воспитатель, ему нуженъ отецъ; но ставши человѣкомъ, связь съ отцомъ мѣняется — дѣлается выше, полнѣе любовью, свободнѣе. Лессингъ называлъ развитіе человѣчества воспитаніемъ — выраженіе невѣрное, если взять его безусловно, но въ извѣстныхъ предѣлахъ оно удачно. Въ самомъ дѣлѣ, человѣчество доселѣ имѣетъ ясные признаки несовершенности; оно мало по малу воспитывается въ сознаніе. Единство этой педагогіи теряется для не глубокаго взгляда за пышностію и многообразіемъ, за роскошью творчества, за преизбыткомъ формъ и силъ, по видимому, не нужныхъ и противоборствующихъ. Но таковъ инстинктуальный путь развитія естественнаго, безсознательнаго къ сознанію, къ себяобладанію; обратимся къ природѣ: не ясная для себя, мучимая и томимая этой неясностью, стремясь къ цѣли ей неизвѣстной—но которая, съ тѣмъ вмѣстѣ, есть причина ея волненія—она тысячью формами домогается до сознанія, одѣйствоворяетъ всѣ возможности, бросается во всѣ стороны, толкается во всѣ ворота, творя безчисленныя варіаціи на одну тему. Въ этомъ поэзія жизни, въ этомъ свидѣтельство внутренняго богатства. Каждая степень развитія въ природѣ есть вмѣстѣ и цѣль, относительная истина; она звено въ цѣпи, но кольцо для себя. Влекомая непонятной, великой тоской, природа возвышается отъ формы въ форму; но переходя въ высшее, она упорно держится въ прежней формѣ и развиваетъ ее до послѣдней крайности, какъ будто все спасеніе въ этой формѣ. И въ самомъ дѣлѣ, достигнутая форма великая побѣда, торжество и радость; она всякій разъ высшее,

*что есть*. Природа выступаетъ изъ нея во всѣ стороны \*). Оттого такъ тщетно искали вытянуть всѣ произведенія ея въ мертвую прямолинейность; у ней нѣтъ правильной табели о рангахъ. Произведенія природы не составляютъ одну лѣстницу; нѣтъ — они представляютъ лѣстницу и то, что идетъ по лѣстницѣ; каждая ступень вмѣстѣ и средство, и цѣль, и причина. *Idemque rerum naturæ opus et rerum ipsa natura*, какъ сказалъ Плиній. Исторія человѣчества продолженіе исторіи природы; многообразіе, разнородность, встрѣчаемыя въ исторіи, поразительны: область стала шире, вопросъ выше, средства богаче, задняя мысль яснѣе — какъ же не усложниться путямъ? Развѣтіе съ каждымъ шагомъ становится глубже и съ тѣмъ вмѣстѣ сложнѣе; всего проще камень, спокойно отдыхающій на начальныхъ ступеняхъ. Гдѣ начинается сознаніе, тамъ начинается нравственная свобода; каждая личность одѣйствуетъ *по-своему* призваніе, оставляя печать своей индивидуальности на событіяхъ. Народы — эти колоссальныя дѣйствующія лица всемірной драмы — исполняютъ дѣло всего человѣчества, какъ *свое дѣло*, придавая тѣмъ художническую оконченность и жизненную полноту дѣяніямъ. Народы представляли бы нѣчто жалкое, еслибъ они свою жизнь считали только одной ступенью неизвѣстному будущему; они были бы похожи на носильщиковъ, которымъ одна тяжесть ноши и трудъ пути а руно несомое другимъ. Природа не поступаетъ такъ съ своими 'безсознательными дѣтьми' — какъ мы замѣтили; тѣмъ болѣе въ мірѣ сознанія не можетъ быть степени, которая не имѣла бы собственнаго удовлетворенія. Но духъ человѣчества, нося

\*) Великая мысль Бюффона: « *La nature ne fait jamais un pas qui ne soit en tout sens.* »

въ глубинѣ своей непреложную цѣль, вѣчное домогательство полного развитія, не могъ успокоиться ни въ одной изъ бывшихъ формъ; въ этомъ тайна его трансценденціи, его перехватывающей личности (*übergreifende Subjectivität*). Не забудемъ однако, что каждая изъ бывшихъ формъ имѣла содержаніемъ его, и не было духу иной формы, какъ той, за грани которой онъ перешелъ, только потому, что онъ доросъ до нея, былъ ею и переросъ ее. Исторія дѣянія духа, такъ сказать, личность его, ибо „онъ есть то, что дѣлаетъ“ \*)—стремленіе безусловнаго примиренія, осуществленіе всего, что есть за душою, освобожденіе отъ естественныхъ и искусственныхъ путъ. Каждый шагъ въ исторіи, поглощая и осуществляя *весь* духъ своего времени, имѣетъ свою полноту — однимъ словомъ — личность кипящую жизнію. Народы, ощущая призваніе выступить на всемірно-историческое поприще, услышавъ гласъ, возвѣщавшій, что часъ ихъ насталъ, проникались огнемъ вдохновенія, оживали двойною жизнію, являли силы, которыя никто не смѣлъ бы предполагать въ нихъ, и которыя они сами не подозревали; степи и лѣса обстроивались весями, науки и искусства расцвѣтали, гигантскіе труды совершались для того, чтобъ приготовить караван-сарай грядущей идеѣ, а она — величественный потокъ — текла далѣе и далѣе, захватывая болѣе и болѣе пространства. Но эти караван-сарайи не внѣшнія гостинницы идеи, а ея плоть, безъ которой она не могла бы осуществиться, — чрево матери, принявшее прошедшее для будущаго, но и живое своею жизнію; каждая фаза историческаго развитія имѣла сама въ себѣ цѣль и, слѣдственно, награду и удовлетвореніе. Для греческаго міра, его призваніе было

\*) Philosophie des Rechts.

безусловно; за предѣлами своего міра, онъ ничего не видалъ и не могъ видѣть, ибо тогда *не было* еще будущаго. Будущее возможность, а не дѣйствительность: его собственно нѣтъ. Идеаль для всякой эпохи — она сама, очищенная отъ случайности, преобразенное созерцаніе настоящаго. Разумѣется, чѣмъ всеобъемлемѣе и полнѣе настоящее, тѣмъ всемірнѣе и истиннѣе его идеаль. Такова наша эпоха. Народы, глядя на совершеніе судебъ человѣчества, не знали аккорда, связывавшаго ихъ звуки въ единую симфонію; Августинъ на развалинахъ древняго міра возвѣстилъ высокую мысль о веси Господней, къ построенію которой идетъ человѣчество, и указалъ вдали торжественную субботу успокоенія. Это было поэтико-религіозное начало философіи исторіи; оно очевидно лежало въ христіанствѣ, но долго не понимали его; не болѣе, какъ вѣкъ тому назадъ, человѣчество подумало и въ самомъ дѣлѣ стало спрашивать отчета въ своей жизни, провидя, что оно не даромъ идетъ, и что біографія его имѣетъ глубокій и единый всесвязывающій смыслъ. Этимъ совершеннолѣтнимъ вопросомъ, оно указало, что воспитаніе окончивается. Наука взялась отвѣчать на него; едва она высказала отвѣтъ, явилась у людей потребность выхода изъ науки—второй признакъ совершеннолѣтія. Но для того, чтобъ своими руками растворить двери, наука должна совершить во всей полнотѣ свое призваніе; пока хоть одна твердая точка остается непокоренною самопознаніемъ—внѣшнее будетъ противодѣйствовать. Число неподвижныхъ звѣздъ становится менѣе и менѣе, но онѣ еще есть. Воспитаніе предполагаетъ внѣ сущую, готовую истину; съ того мгновенія, какъ человѣкъ пойметъ истину, она будетъ у него въ груди, и тогда дѣло воспитанія исчерпано—дѣло сознательнаго дѣянія начнется.



Изъ вратъ храма науки, человѣчество выйдетъ съ гордымъ и поднятымъ челомъ, вдохновенное сознаніемъ : *omnia sua secum portans* — на творческое созданіе веси Божіей. Примиреніе науки вѣдѣніемъ сняло противорѣчія. Примиреніе въ жизни сниметъ ихъ блаженствомъ \*). Примиреніе въ жизни, есть плодъ другаго древа эдемскаго, его надобно было заслужить Адаму въ кровавомъ потѣ, въ тяжкихъ трудахъ — и онъ заслужилъ его.

Но какъ будетъ это? Какъ именно принадлежитъ будущему. Мы можемъ предузнавать будущее, потому что мы посылки, на которыхъ оснуется его силлогизмъ — но только общимъ, отвлеченнымъ образомъ. Когда настанетъ время, молнія событій раздеретъ тучи, сожжетъ препятствія и будущее, какъ Паллада, родится въ полномъ вооруженіи. Но вѣра въ будущее наше благороднѣйшее право, наше неотъемлемое благо; вѣруя въ него, мы полны любви къ настоящему.

И эта вѣра въ будущее спасетъ насъ въ тяжкія минуты отъ отчаянія; и эта любовь къ настоящему будетъ жива благими дѣяніями.

23 марта, 1843.

\*) При этомъ невольно вспомнилась великая мысль Спинозы: « *Beatitudo non est virtutis præmium, sed ipsa virtus.* »





СОЧИНЕНІЯ .

А. И. ГЕРЦЕНА

ТОМЪ II

**Издатели напоминаютъ, что, имѣя  
полное право собственности на сочи-  
ненія покойнаго А. И. ГЕРЦЕНА, они  
будутъ преслѣдовать, на основаніи  
существующихъ законовъ и тракта-  
товъ, всякія перепечатыванія сочине-  
ній, вошедшихъ или имѣющихъ войти  
въ настоящее „Полное Собраніе.“**

# **РАННІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ**

**(1834—1840)**

1

1

1

1



## ЗНАМЕНИТЫЕ СОВРЕМЕННОИИ\*)

# ГОФФМАННЪ

*Родился 24 января 1776.*

*Умеръ 25 июня 1822.*

(Н. П. О—у.)

### I.

. . . . Die Künstler und die Räuber, das  
Ist eine Art der Leuten. Beide meiden  
Den breiten staubigen Weg des Alltagslebens;  
Drehen|schläger. CORREGGIO.

Всякой Божій день являлся поздно вечеромъ какой-то человѣкъ въ одинъ винный погребъ въ Берлинѣ; пилъ одну бутылку за другой и сидѣлъ до разсвѣта. Но не воображайте обыкновеннаго пьяницу; нѣтъ! чѣмъ болѣе онъ пилъ, тѣмъ выше парила его фантазія, тѣмъ ярче, тѣмъ пламеннѣе изливался юморъ на все окружающее, тѣмъ обильнѣе вспыхивали остроты. Его странности, постоянство посѣщеній, его литературная и музыкальная слава привлекали цѣлый кругъ обожателей

\*) *Телескопъ XXXIII*

въ питейный домъ, и когда иностранецъ прѣѣжалъ въ Берлинъ, его вели къ Люттеру и Вегнеру, показывали непремѣннаго члена, и говорили : вотъ нашъ сумасбродный Гоффманнъ. Посмотримъ на эту жизнь, оканчивающуюся питейнымъ домомъ. Жизнь сочинителя есть драгоценный комментарий къ его сочиненіямъ, но не жизнь германскаго автора : для нихъ злой Гейне выдумалъ алгебраическую формулу : „родился отъ бѣдныхъ родителей, учился теологін, но почувствовалъ другое призваніе, тщательно занимался древними языками, писалъ, былъ бѣденъ, жилъ уроками и передъ смертью получилъ мѣсто въ такой-то гимназіи или въ такомъ-то университетѣ.“ Но „есть люди, подобные деньгамъ, на которыхъ чеканятся одно и тоже изображеніе ; другіе похожи на медали выбиваемыя для частнаго случая“ ; \*) и къ послѣднимъ-то принадлежалъ ссававшій эти слова Гоффманнъ. Его жизнь нисколько не была похожа на прозѣбеніе, она самая странная, самая разнообразная изъ всѣхъ его повѣстей ; или лучше въ ней-то зародышъ всѣхъ его фантастическихъ сочиненій.

Одинокѣ воспитывался Гоффманнъ въ чинномъ, чопорномъ домѣ своего дяди. Странное вліяніе на душу младенческую дѣлаетъ одиночество ; оно навсегда кладетъ зародышъ какой-то робости и самонадѣянности, дикости и любви, а болѣе всего мечтательности. Посмотрите на такого ребенка : блѣдный, тонкій, едва живой, онъ такъ похожъ на растеніе выросшее въ парникѣ, такъ нѣжно, такъ застѣнчиво, такъ близко жметъ къ отцу, такъ краснѣетъ отъ каждаго слова и при каждомъ словѣ такъ сосредоточенъ самъ въ себѣ, что если онъ только не лишенъ способностей, то изъ него необходимо

\* Гоффманн's Lebensansichten des Rater Murr.



выйдетъ человѣкъ, непринлежащій толпѣ; ибо онъ не въ ней воспитанъ ибо онъ не былъ въ передѣлѣ у толпы какого-нибудь пансіона, которая бы научила его завидовать чужимъ успѣхамъ, унизила бы его чувства, развратила бы его воображеніе. Вотъ такое-то дитя былъ Гоффманнъ.\*) Главная отличительная черта подобнымъ образомъ воспитанныхъ дѣтей состоитъ въ томъ, что они, будучи окружены взрослыми людьми, рано зрѣютъ чувствами и умомъ, для того чтобъ никогда не созрѣть вполнѣ; теряютъ прежде времени почти все дѣтское, для того чтобъ послѣ на всю жизнь остаться дѣтьми. Ребенокъ Гоффманнъ, большой человѣкъ, мечтатель, страстный другъ Гиппеля и рѣшительный музыкантъ; но онъ скверно учится, и это слѣдствіе воспитанія, въ которомъ человѣкъ долженъ развиваться самъ изъ себя: надо непременно побывать въ публичномъ заведеніи, чтобъ получить утиную способность пожирать равнымъ образомъ десять разныхъ наукъ, не любя ни которой, изъ одного благороднаго соревнованія. Гоффманнъ находилъ скучнымъ Цицерона и не читалъ его; призваніе его было чисто художническое; не форумъ, консерваторія была ему нужна. Въ томъ же домѣ, гдѣ воспитывался Гоффманнъ, жила сумасшедшая женщина, пророчившая въ изступленія высокую судьбу своему сыну, Захарію Вернеру! Какія странныя впечатлѣнія должна была она сдѣлать на младенческую душу сосѣда!

Гоффманна юношу отправили въ университетъ *um die Rechte zu studiren*, назначая его на юридическое поприще. Но для него тягостенъ университетъ съ своими Пандектами и Брандербургскимъ Правомъ, съ своей латинью

\*) И онъ очень хорошо зналъ огромное вліяніе своего воспитанія между четырьмя стѣнами, какъ видно изъ писемъ его къ Гиппелю.

и профессорами; его пламенная душа начинает развиваться, его фантазія жаждет восторговъ, жизни; а что можетъ быть наиболѣе удалено отъ всего 'фантастическаго, всего живаго, какъ не школьныя занятія!

Da wird der Geist noch wohl dressirt,  
In Spanische Stiefeln eingeschnürt\*.

Онъ становится мраченъ, ибо начинаетъ разглядывать дѣйствительный міръ во всей его прозѣ, во всѣхъ его мелочахъ; это простуда отъ міра реальнаго, это холодъ и ужасъ навѣваемый дыханіемъ людей на грудь чистаго юноши. И тутъ-то рождается въ немъ потребность сорваться съ пути битаго, обыкновеннаго, пыльнаго, которую мы равно видимъ во всѣхъ истинныхъ художникахъ. Онъ все что вамъ угодно, живописецъ, музыкантъ, поэтъ... только ради - Бога не юристъ — не будничнѣйшій, всеневный человѣкъ. И эта борьба между симпатіею и необходимостію заставляетъ его дѣлать пресмѣшныя вещи. Получивъ хорошее мѣсто въ Позенѣ, знаете ли чѣмъ онъ дебютировалъ? карриатурами на всѣхъ своихъ начальниковъ; тѣ отвѣчали на нихъ доносомъ, и Гоффманнъ не успѣлъ привыкнуть къ Позену, какъ его отставили. Спустя нѣсколько времени, мы видимъ его важнымъ совѣтникомъ правленія въ Варшавѣ. Но онъ не перемѣнился; это все тотъ же музыкантъ: хлопочетъ, трудится, собираетъ деньги, чтобъ завести филармоническую залу; успѣлъ, и Regierungsrath Hoffmann, въ засаленной курткѣ, цѣлые дни на стропилахъ разрисовываетъ плафонъ залы; окончивъ, онъ же является капельмейстеромъ, бьетъ тактъ, дирижируетъ, сочиняетъ такъ усердно, что нисколько не замѣчаетъ, что вся Европа

\* Göthe, Faust. I. 26.

въ крови и огнѣ. Между-тѣмъ война, видя его невнимательность, рѣшается сама посѣтить его въ Варшавѣ; онъ бы и тутъ ее не замѣтилъ, но надо было на время прекратить концерты. Гоффманнъ въ горѣ; но черезъ нѣсколько дней пишетъ къ Гитцигу, что концерты снова продолжаются, что онъ побранился съ Наполеоновымъ капельмейстеромъ; „что-жъ касается до политическихъ обстоятельствъ, онѣ меня не очень занимаютъ... искусство, вотъ моя покровительница, моя защитница, моя святая, которой я весь преданъ“!... Должно-ли послѣ того удивляться, что Шлегель и Вильменъ розно понимаютъ литературу, что одинъ далъ ей самобытный полетъ, чтобъ не заставить ее дѣлать скучный покой своей родины, а другой приковалъ ее къ обществу, чтобы ускорить развитіе литературы, сообщивъ ей быстрое движеніе гражданственности. Шлегель и Вильменъ, это Германія и Франція: Германія мирно живущая въ кабинетахъ и библіотекахъ, и Франція толпящаяся въ кофейныхъ и Пале-Ройялѣ; Германія внимательно перечитывающая свои книги, и Франція два раза въ день пожирающая журналы. Гоффманнъ, занятый до того концертами, что не замѣтилъ приближенія Наполеона, есть типъ прошедшаго, сверхъ-земнаго направленія литературы Германской. По большой части сочинители, жившіе до 1813 года, воображали, что все земное слишкомъ низко для нихъ, и жили въ облакахъ; но это имъ не прошло даромъ. Теперь, когда Германія проснулась при громѣ Лейпцигской битвы, явилось новое поколѣніе, болѣе земное, болѣе національное. Теперь Гейне бичуетъ своимъ ядовитымъ перомъ направо и налево старое поколѣніе, которое разобщило себя съ родиной, прошлую эпоху, которая такъ колоссально, такъ величественно окончилась въ Веймарѣ 22 марта 1832 года. Впрочемъ

Гёте страшно причислять въ этому направленію: Гёте былъ слишкомъ высокъ чтобъ имѣть какое-либо направленіе, слишкомъ высокъ чтобъ участвовать въ этихъ гомеопатическихъ переворотахъ... Какъ бы то ни было, Гоффманнъ самъ очень чувствовалъ и очень хорошо представилъ односторонность германскихъ ученыхъ окопавшихъ себя валомъ отъ всего человѣчества, въ превосходной повѣсти своей „*Datura Tastuosa*“. Но обратимся къ его жизни.

Принужденный оставить Варшаву и свою *собственно-ручную* залу, онъ отправился въ Берлинъ съ шестью луйдорами, которые у него на дорогѣ украли; пристроился какъ-то въ Бамбергскому театру; и съ того-то времени (1809) собственно начинается литературное его поприще: тогда написалъ онъ дивный разборъ Бетховена и Крейсlera. Впрочемъ, это еще не тотъ Крейслеръ, изъ жизни котораго макулатурные листы попались въ когти знаменитому Коту Мурру, а начальное образованіе, основа этого лица, которому Гоффманнъ подарилъ всѣ свои свойства, который нѣсколько разъ является въ разныхъ его сочиненіяхъ и который занималъ его до самой кончины. Вскорѣ узнала его вся Германія, и Гоффманнъ является формальнымъ литераторомъ. Этому дивиться не чего: Германія страна писанія и чтенія. „Что бы мы ни дѣлали одной рукой, въ другой непременно книга, говоритъ Менцель. Германія нарочно для себя изобрѣла книгопечатаніе, и безъ устали все печатаетъ и все читаетъ“.\*) Въ то же время Гоффманнъ пишетъ музыкальныя произведенія, даетъ уроки, рисуешь, снимаетъ портреты, и *par dessus le marché* острить, просить чтобъ ему платили не только за уро-

\* Die deutsche Litteratur, von W. Menzel.

ви, но и за пріятное препровожденіе времени; сверхъ всего того онъ при театрѣ компонистъ, декораторъ, архитекторъ и капельмейстеръ. Впрочемъ финансовыя его обстоятелства все не блестящи: 26 ноября 1810 г. въ дневникѣ его написана печальная фраза: „*den alten Rod verkauft um nur essen zu können*\*“. Эта пестрая жизнь служить доказательствомъ, что безпорядочная фантазія Гоффманна не могла удовлетворяться *нѣмецкой болзною*—литературой. Ему надобно было дѣятельности живой, дѣятельности въ самомъ дѣлѣ; и вы можете прочесть въ его журналѣ того времени, какъ онъ страстно былъ влюбленъ въ свою ученицу — „онъ женатый человѣкъ!“ (какъ будто женатымъ людямъ отрѣзывается всякая возможность любить!)

Съ 1814 года настаетъ послѣдняя эпоха жизни Гоффманна, обильная сочиненіями и дурачествами. Онъ поселился въ Берлинѣ, въ этомъ первомъ городѣ Брандербургскаго курфиршества, который сдѣлался первымъ городомъ Германіи, *sauf le respect que je dois Вѣнѣ* съ ея аристократической улыбкой, готическими нравами и церковью Св. Стефана. Берлинъ не Бамбергъ, Берлинъ живетъ жизнію, ежели не полной, то свѣжей, юной; онъ увлекъ, завертѣлъ Гоффманна, и Гоффманнъ попалъ въ аристократическій кругъ, въ черномъ фракѣ, въ башмакахъ, читаетъ статьи, слушаетъ пѣнье, аккомпанируетъ. Но аристократы скучны; сначала ихъ тонъ, ихъ пышность, ихъ освѣщенные залы нравятся; но все одно и тожъ надоѣсть до нельзя. Гоффманъ бросилъ аристократовъ, и съ паркета, изъ душныхъ залъ бѣжалъ все внизъ, внизъ, и остановился въ питейномъ домѣ. „Отъ восьми до десяти,“ пишетъ онъ, „сиджу я съ до-

\*) Проданъ старый сертукъ, чтобъ ѣсть.

брыми людъми и пью чай съ ромомъ; отъ десяти до двѣнадцати также съ добрыми людъми, и пью ромъ съ чаемъ.“ Но это еще не конецъ; послѣ двѣнадцати онъ отправляется въ винный погребъ, сохраняя въ питьѣ тоже *crescendo*. Тутъ-то странныя, уродливыя, мрачныя, смѣшныя, ужасныя тѣни наполняли Гоффманна, и онъ въ состояніи сильнѣйшаго раздраженія схватывалъ перо и писалъ свои судорожныя, сумасшедшія повѣсти. Въ это время онъ сочинилъ ужасно много, и наконецъ торжественно заключилъ свою карьеру автобіографіей Кота Мурра. Въ Котѣ и Крейслерѣ Гоффманнъ описывалъ самъ себя; но впрочемъ, у него въ самомъ дѣлѣ былъ котъ, котораго называли Мурромъ и въ котораго онъ имѣлъ какую-то мистическую вѣру. Странно, что Гоффманнъ совершенно здоровый говаривалъ, что онъ не переживетъ Мурра, и дѣйствительно умеръ вскорѣ послѣ смерти кота. Страдая мучительную болѣзнію (*tabes dorsalis*), онъ былъ все тотъ же, фантазія не охладѣла. Лишившись ногъ и рукъ, онъ находилъ, что это прекрасное состояніе; его сажали противъ угольнаго окна, и онъ нѣсколько часовъ сидѣлъ, смотря на рынокъ и придумывая, за чѣмъ кто идетъ,\*) а когда ему прижигали каленымъ желѣзомъ спину, воображалъ себя товаромъ, который клеймятъ по приказу таможеннаго пристава! Теперь, доведши его жизнь до похоронъ, обратимся къ его сочиненіямъ.

\* *Meines Betters Edfenster.*

## II.

Wie heißt des Sängers Vaterland?  
... das Land der Eichen,  
Das freie Land, das Deutsche Land,  
So hieß mein Vaterland!  
Rötger.

Въ Англіи скучно жить: вѣчный парламентъ съ своими готическими затѣями, вѣчныя новости изъ Остъ-Индіи, вѣчный голодъ въ Ирландіи, вѣчная сырая погода, вѣчный запахъ каменнаго угля, и вѣчныя обвиненія во всемъ этомъ перваго министра. Вотъ, чтобъ этой скукѣ помочь, и вздумалъ одинъ англійскій сирѣ-тори, ужасный болтунъ, рассказывать старыя преданія своей Шотландіи, такъ мило, что слушая его совсѣмъ переносишься въ блаженной памяти феодальныя вѣка. Въ послѣднее время сомнѣвались въ исторической вѣрности его картинъ: въ чемъ не сомнѣвались въ послѣднее время? Не могу рѣшить, справедливо-ли это сомнѣніе; но знаю, что одинъ великій историкъ\*) совѣтуетъ изучать исторію Англіи въ романахъ Валтеръ-Скотта. По моему, въ Валтеръ-Скоттѣ другой недостатокъ: онъ аристократъ, а общій недостатокъ аристократическихъ росказней есть какая-то апатія. Онъ иногда походитъ на секретаря уголовной палаты, который съ величайшимъ хладнокровіемъ докладываетъ самыя нехладнокровныя происшествія; вездѣ въ романѣ его видите лор-

\*) *Lettres sur l'histoire de la France, par Aug. Thierry.*

да-тори съ аристократической улыбкой, важно повѣствующаго. Его дѣло описывать; и какъ онъ описывая природу не углубляется въ растительную фізіологію и геологическія изслѣдованія, такъ поступаетъ онъ и съ человѣкомъ: его психологія слаба и все вниманіе сосредоточено на той поверхности души, которая столь похожа на поверхность геода, покрытаго землею корою, по которой нельзя судить о кристаллахъ, въ его внутренности находящихся. Не ищите у Валтеръ-Скотта поэтическаго провидѣнія характера великаго человѣка, но ищите у него этихъ дивныхъ созданій пламенной фантазіи, этихъ *schwafende Gestalten*, которые на вѣки остаются въ памяти: Фауста, Гамлета, Миньоны, Клода-Фролло; ищите сказа, и вы найдете прелестный, изящный. У Валтеръ-Скотта есть двойникъ, такъ какъ у Гоффманнова Медардуса: это Куперъ, это его *alter ego* — романистъ Соединенныхъ Штатовъ, этого *alter ego* Англіи. Американское повтореніе Валтеръ-Скотта совершенно ему подобно; иногда оно интереснѣе своего прототипа, ибо иногда Америка интереснѣе Шотландіи. Если романы Валтеръ-Скотта историческіе, то Куперовы надобно назвать статистическими; ибо Америка страна безъ исторіи, безъ аристократическаго происхожденія, страна рагвеніе, имѣющая одну статистику. Направленіе Валтеръ-Скотта было господствующее въ началѣ нашего вѣка; но оно никогда не должно было выходить изъ Англіи, ибо оно несообразно съ духомъ другихъ европейскихъ народовъ.

Во Франціи, въ концѣ прошлаго столѣтія, некогда было писать и читать романы; тамъ занимались эпопеею. Но когда она успокоилась въ объятіяхъ Бурбоновъ, тогда ей былъ полной досугъ писать всякую всячину. Знаете-ли вы, что за состояніе называется *сно-*



*хмѣль*, это состояніе, когда въ головѣ пусто, въ груди пусто, и между тѣмъ насилу подымается голова и дышать тяжело? Точно въ такомъ положеніи была Франція послѣ 1815 года; это было пробужденіе въ своей горнищѣ, послѣ шумной вакханаліи, послѣ банка и дуэля. Тогда должна была развиться эта огромная потребность *far niente*, которая нисколько не похожа на квіетизмъ Востока, квіетизмъ основанный на мистической вѣрѣ въ себя; ибо на днѣ души было разочарованіе, раскаяніе. Начали было писать романы по подобію Валтера-Скотта; не удались. Юная Франція стольже мало могла симпатизировать съ Валтеръ-Скоттомъ, сколько съ Велингтономъ и со всѣмъ торизмомъ. И вотъ французы замѣнили это направленіе другимъ, болѣе глубокимъ; и тутъ-то явились эти анатомическія разъятія души человѣческой, тутъ-то стали раскрывать всѣ смердящія раны тѣла общественнаго, и романы сдѣлались психологическими разсужденіями.\*) Но не воображайте, чтобъ этотъ родъ родился во Франціи; нѣтъ! психологія дѣла въ Германіи: французы перенесли его къ себѣ цѣликомъ, прибавивъ свое разочарованіе и свой слогъ.

Психологическое направленіе романа несравненно прежде явилось въ Германіи; но не въ такой судорожной формѣ, не съ такимъ страшнымъ опытомъ въ задаткѣ, какъ у за-рейнскихъ сосѣдей. Нѣмца не скоро разшевелишь: привыкнувшій съ юности къ огню Шиллера, къ глубинѣ Гёте, онъ никогда не могъ высоко цѣнить чуть теплую прозу Валтеръ-Скотта\*\*;) ему надобно бурю

\*) Бальзакъ, Сю, Ж. - Жансенъ, А. де Виньи.

\*\*) Когда Гитцигъ далъ Гоффманну читать Валтеръ-Скотта, онъ возвратилъ не читавши; на-оборотъ Валтеръ-Скоттъ въ Гоффманнѣ находилъ только сумасшедшаго!

и громъ, чтобъ восхищаться природою, ему надобно, чтобъ революція выплеснула Наполеона съ легіонами Республики, для того чтобъ оставить отеческій кровъ, закрыть книгу и подумать о себѣ. Сообразно духу народному, на нѣмецкихъ романахъ лежитъ особая печать глубины фантазіи и чувствъ. Однажды романъ и драма приняли было ложное направленіе, затерялись въ скучныхъ подробностяхъ всѣхъ пошлостей частной жизни обыкновенныхъ людей и, будучи еще пошлѣе самой жизни, впади въ приторную, паточную сентиментальность: это Лафонтенъ, Иффландъ, Коцебу. Ихъ читаютъ теперь *die Stubenmädchen* по субботамъ, набирая оттуда цѣлый арсеналъ нѣжностей для воскресенья. Но это отклоненіе романа было обильно вознаграждено прелестными сочиненіями таинственнаго Жанъ-Поля, наивнаго Новалиса, готическаго Тика. Гёте, этотъ Зевсъ искусства, поэтъ Буонаротти, Наполеонъ литературы, бросилъ Германіи своего „Вертера,“ пѣснь чистую, высокую, пламенную, пѣснь любви, начинающуюся съ самаго тихаго *adagio* и кончающуюся бѣшенымъ крикомъ смерти, раздирающимъ душу *addio!* За „Вертеромъ“ поетъ Гёте другую дивную пѣснь, пѣснь юности, въ которой все дышитъ свѣжимъ дыханіемъ юноши, гдѣ всѣ предметы видны сквозь призму юности, эти вырванные сцены, рапсодіи безъ соотношенія внѣшняго, тѣсно связанныя общей жизнію и поэзіей. И что за созданія наполняютъ его „Вильгельма Мейстера!“ Миньона, баядерка, едва умѣющая говорить, изломанная для гаерства, мечтающая о странѣ лимонныхъ деревьевъ и померанца, о ея свѣтломъ небѣ, о ея тепломъ дыханіи: Миньона, чистая, непорочная какъ голубь; и съ другой стороны сладострастная, огненная Филена, роскошная какъ страна юга, пламенная, бѣшенная какъ юношеская вакханалія, Филена, ненавидящая днев-

ной свѣтъ и вполнѣ живущая при тайномъ, неопредѣленномъ мерцаніи лампы, пылая въ объятіяхъ ея; и тутъ же величественный барельефъ старца, лишеннаго зрѣнія, арфиста, которому хлѣбъ былъ горекъ и кого слезы струились въ тиши ночной!

### III.

*Die Kunst ist meine Beschützerin, meine Heilige.*  
Hoffmann's Brief an Eigig, 1812.

Въ началѣ нынѣшняго вѣка явился въ нѣмецкой литературѣ писатель самобытный, Теодоръ Амедей Гоффманнъ: покоренный необузданной фантазіи, съ душою сильной и глубокой, художникъ въ полномъ значеніи слова, онъ смѣлымъ перомъ чертилъ какія-то тѣни, какіе-то призраки, то страшные, то смѣшные, но всегда изысканные; и эти-то неопредѣленные, набросанные тѣни — его повѣсти. Обыкновенный, скучный порядокъ вещей слишкомъ тѣснилъ Гоффманна; онъ пренебрегъ жалкимъ пластическимъ правдоподобіемъ. Его фантазія предѣловъ не знаетъ; онъ пишетъ въ горячкѣ, блѣдный отъ страха, трепещущій передъ своими вымыслами, съ всклокоченными волосами; онъ самъ отъ чистаго сердца вѣритъ во все, и въ „песочнаго человѣка,“ и въ колдовство, и въ привидѣнія, и этой-то вѣрою подчиняетъ читателя своему авторитету, поражаетъ его воображеніе и на долго оставляетъ слѣды. Три элемента жизни человѣческой служатъ основою бѣльшей части сочиненій Гоффманна, и эти же элементы составляютъ душу самаго автора: внутренняя жизнь артиста, дивныя пси-

хическія явленія, и дѣйствія сверхъ-естественныя. Все это съ одной стороны погружено въ черныя волны мистицизма, съ другой растворено юморомъ живымъ, острымъ, жгучимъ. Юморъ Гоффманна весьма отличенъ, и отъ страшнаго, разрушающаго юмора Байрона, подобнаго смѣху ангела, низвергающагося въ преисподнюю, и отъ ядовитой, адской, змѣиной насмѣшки Вольтера, этой улыбки самодовольствія, съ сжатыми губами. У него юморъ артиста, падающаго вдругъ изъ своего Эльдорадо на землю, артиста, который среди мечтаній замѣчаетъ, что его Галатея кусокъ камня, артиста, у котораго, въ минуту восторга, жена проситъ денегъ дѣтямъ на башмаки. Этимъ-то юморомъ растворилъ Гоффманнъ всѣ свои сочиненія и безпрестанно перебѣгаетъ отъ самаго пылкаго пафоса къ самой злой ироніи. Этотъ юморъ натураленъ Гоффманну; ибо онъ больше всего художникъ истинный, совершенный. Посмотрите на его статьи объ музыкѣ; назову двѣ: „разборъ Бетховена“ и „разборъ Донъ-Жуана“.\*) Тамъ вы увидите, что для него звуки, увидите, какъ они одеваются въ формы, оставаясь безтѣлесными.

„Музыка есть искусство наиболѣе *романтическое*, ибо характеръ ея безконечность. Лира Орфея растворила врата Орка. Музыка открываетъ человѣку невѣдомое царство, новый міръ, не имѣющій ничего общаго съ міромъ чувственнымъ, въ которомъ пропадаютъ всѣ опредѣленные чувства, оставляя мѣсто невыразимому страстному увлеченію.

„Въ сочиненіяхъ Гайдна выражается дѣтская, свѣтлая душа. Его симфоніи ведутъ насъ на необозримые, зеленые луга, въ пестрыя толпы счастливыхъ людей. Мель-

\* Phantasiestücke in Callotsmanier.

каютъ юноши и дѣвы; смѣющіеся дѣти прячутся за деревья и за розовые кусты, бросаются цвѣтами. Жизнь исполненная любви, блаженства, жизнь до грѣхопаденія, вѣчно юная; нѣтъ страданья, нѣтъ мученій, одно томное, сладкое стремленіе къ милому образу, несущемуся въ блескѣ вечерней зари; онъ и не приближается и не улетаетъ, и пока не исчезнетъ, не настанетъ ночь.

„Въ глубины царства духовъ ведетъ Моцартъ. Страхъ объемлетъ насъ, но безъ мученія; это предчувствіе безконечнаго. Любовь и нѣга дышатъ въ прелестныхъ голосахъ существъ неземныхъ; ночь настаетъ при яркомъ пурпурномъ свѣтѣ, и съ невыразимымъ восторгомъ стремимся мы за призраками, которые зовутъ насъ въ свои ряды, летая въ облакахъ.

„Музыка Бетховена раскрываетъ намъ царство безконечнаго и необъятнаго. Огненные лучи мелькаютъ въ этомъ царствѣ ночи, и мы видимъ тѣни великановъ, которые все болѣе и болѣе приближаются, окружаютъ насъ, подавляютъ, уничтожаютъ; но не уничтожаютъ безконечной страсти, въ которую переливается всякій восторгъ, въ которомъ сплавлена любовь, надежда, удовольствіе, и въ которой тогда мы только продолжаемъ жить.

„Гайднъ беретъ человѣческое въ жизни романтически; онъ соизмѣримѣе, понятнѣе для толпы.

„Моцартъ беретъ сверхъ-естественное, чудесное, обитающее во внутренности нашего духа.

„Музыка Бетховена дѣйствуетъ страхомъ, ужасомъ, изступленіемъ, болью, и раскрываетъ именно то безконечное влеченіе, которое составляетъ собственно сущность романтизма. Посему-то онъ компонистъ чисто романтическій; и не оттого-ли происходитъ плохой успѣхъ его въ вокальной музыкѣ, уничтожающей сло-

вами этотъ характеръ неопредѣленности и безконечности?..“

Не правда-ли, въ этомъ небольшомъ отрывкѣ видна непомѣрная глубина артистическаго чувства! Какъ полны, многозначущи нѣсколько словъ, мелькомъ брошенные о романтизмѣ!

Хотите-ли вы знать, что такое душа художника, на сколько она отдѣлена отъ души обыкновеннаго человека, души съ запахомъ земли, души, въ которой запчкано божественное начало? Хотите-ли взойти во внутренность ея, въ этотъ храмъ идеала, къ которому рвется художникъ и котораго никогда во всей чистотѣ не можетъ исторгнуть изъ души своей? Хотите-ли видѣть, какъ бурны его страсти, слѣдовать за нимъ въ буйную вакханалію и въ объятія дѣвы? Читайте Гоффманновы повѣсти: онѣ вамъ представятъ самое полное развитіе жизни художника во всѣхъ фазахъ ея. Возьмемъ его Глюкка, напримѣръ: развѣ это не типъ художника, кто бы онъ ни былъ — Буонаротти или Бетховенъ, Дантъ или Шиллеръ? Послушайте, вотъ Глюккъ рассказываетъ о минутахъ восторга и вдохновенія:

„Можетъ быть полузабытая тема какой нибудь пѣсни, которую мы поемъ на другой манеръ, есть первая мысль намъ принадлежащая, зародышъ великана, который все пожретъ около себя и все превратитъ въ свою кровь, въ свое тѣло! Путь широкій, на немъ толпится народъ, и всѣ кричатъ: мы посвященные! мы достигли цѣли! Черезъ врата изъ слоновой кости входятъ въ царство видѣній, малое число замѣчаютъ эти врата, еще меньшее проходятъ въ нихъ! Здѣсь все страшно: безумные образы летаютъ тамъ и сямъ, и эти образы имѣютъ свои характеры болѣе или менѣе опредѣленные. Все вертится, кружится; многіе засыпаютъ, и та-

ють, уничтожаются въ своемъ снѣ, и нѣтъ тѣни отъ нихъ, тѣни, которая бы сказала имъ о дивномъ свѣтѣ, которымъ озарено это царство. Нѣкоторые проснувшись идутъ далѣе и достигаютъ истины. Высокое мгновѣніе! минута соприкосновенія съ вѣчнымъ невыразимымъ! Посмотрите на солнце: это троезвучіе (Dreiflang), изъ котораго сыплются аккорды подобно звѣздамъ и обвиваютъ васъ нитями свѣта.

„Когда я былъ въ томъ дивномъ царствѣ, меня терзали и страхъ и боль! Это было ночью; я боялся безобразныхъ чудовищъ, которыя то повергали меня на дно океана, то подымали на воздухъ. Впезапно лучи свѣта прорѣяли въ мракъ, эти лучи были звуки, освѣтившіе меня какой-то ясностью, исполненной нѣги. Я проснулся: большое, свѣтлое око было обращено на органы, и доколѣ оно было обращено, лилися тоны изъ него, мерцали, сливались въ прелестныхъ аккордахъ, недоступныхъ прежде для меня. Волны мелодій неслись; я погрузился въ этотъ потопъ, уже тонулъ въ немъ, какъ око обратилось на меня, и я остался на поверхности волнъ. Снова мракъ, и явились два гиганта въ блестящихъ доспѣхахъ: основной тонъ (Grund-Ton) и квинта! Они устремились на меня, увлекли. Но око улыбалось: я знаю, что твою грудь наполняетъ страстью; придетъ вроткій, нѣжный юноша — терца; онъ приобщится къ великанамъ, ты услышишь его сладкій голосъ, и мои мелодіи будутъ твоими.“

Возьмемъ Крейсlera, капельмейстера Іогана Крейсlera, котораго нѣмецкій принцъ Ириней называлъ Мг Ягѳел: этотъ Мг Ягѳелъ есть лучшее произведеніе Гоффманна, самое стройное, исполненное высокой поэзіи. Тутъ болѣе нежели гдѣ либо Гоффманнъ высказалъ все, что могъ, чѣмъ душа его была такъ полна о любимомъ

предметъ своемъ, о музыкѣ. Крейслеръ, пламенный художникъ, съ дѣтскихъ лѣтъ мучимый внутреннимъ огнемъ творчества, живущій въ звукахъ, дышащій ими, и между тѣмъ неугомонный, гордый, бросающій направо и налево презрительные взгляды. Ему придалъ Гоффманнъ свой собственный характеръ, или лучше въ немъ описалъ онъ самого себя, и быстрые, внезапные перемены Крейсlera отъ высокихъ ощущеній къ сардоническому смѣху придаютъ ему какую-то неуловимую физиономію. И этотъ Крейслеръ поставленъ между двумя существами дивнаго изящества. Одна дочь Сѣвера, дочь туманной Германіи, что-то томное, неопредѣленное, таинственное, неразгаданное—Гедвига. Другая дышетъ югомъ, Италіей—пѣснь Россини, пѣснь пламенная, яркая, влюбленная—Юлія. А тутъ для тѣни прицнъ Ириней, предобрѣйшій God save the King. Но въ Крейсlerѣ еще не вся жизнь художника исчерпана. Глубже понимала ее мрачная фантазія Гоффманна. Она сошла въ тѣ заповѣдныя изгибы страстей, которые ведутъ къ преступленіямъ; и вотъ его „Jesuiten-Kirche“. Художникъ живетъ только идеаломъ, любовью къ нему, онъ не дома на землѣ, не между своими съ людьми; для него вся земля огромная собачья пещера, въ которой онъ задыхается. Художникъ въ пылу мечтанья создалъ идеалъ, хранилъ его, лелѣялъ; его идеалъ святъ, чистъ, высокъ, небесенъ: и вдругъ онъ нашелъ его въ женщинѣ, и это женщина матеріальная, и ѣстъ и пьетъ, словомъ, женщина изъ костей и мяса, земная жена его! Идеалъ затмился, унизился; порывы творчества исчезли; виновата жена, и онъ убійца ея! Но и тутъ, въ самомъ преступленіи, Гоффманнъ умѣлъ столько разлить изящнаго въ своемъ живописцѣ; и тутъ можно отыскать опять божественное начало художника, такъ что вы не



можете ненавидѣть его. Во многихъ другихъ повѣстяхъ представлены прочіе элементы жизни художника; мы не станемъ разбирать ихъ.

Два другіе элемента его повѣстей, явленія психическія и чудесное, по большей части переплетены между собою. Но здѣсь надо сдѣлать яркое раздѣленіе. Однѣ повѣсти дышатъ чѣмъ-то мрачнымъ, глубокимъ, таинственнымъ; другія, шалости необузданной фантазіи, писанныя въ чадѣ вакханалій. Сперва нѣсколько словъ о первыхъ.

Идіосинкрасія, судорожно обвиняющая всю жизнь человека около какой-нибудь мысли, сумасшествіе ниспровергающее полюсы умственной жизни, магнетизмъ, чародѣйная сила мощно подчиняющая одного человека волѣ другаго — открываетъ огромное поприще пламенной фантазіи Гоффманна. Но тутъ еще не все: есть люди, одаренные какой-то невѣдомою силой, заставляющей трепетать передъ ними. Не случилось ли вамъ когда встрѣчать взоръ незнакомца, взоръ удушливый и страшный, отъ котораго вы съ ужасомъ должны отворотиться, и доселѣ помните его? Не случилось-ли встрѣтить цѣлаго человека, похожаго на этотъ взоръ, человека съ блѣднымъ лицомъ, съ тусклыми глазами, съ судорожной улыбкой, который васъ отталкиваетъ, и въ то же время привлекаетъ? Вотъ въ эти-то темныя, недоступныя области психическихъ дѣйствій, не побоялся спуститься Гоффманнъ, и вышелъ — смѣло скажу — торжествующимъ. Это ужъ не Жюль-Жанена натянутыя, вытянутыя, раскрашенныя повѣсти — дѣти страннаго соединенія философіи XVIII вѣка съ германскою поэзіей; нѣтъ! это волчья долина „Фрейшюца“ со всѣми ея ужасами, съ заколдованными пулями, съ блѣднымъ мерцающимъ свѣтомъ, съ неистовою музыкой, съ дья-

вольскимъ аккомпаниментомъ, съ запахомъ ада. Въ этихъ повѣстяхъ вы уже разстаетесь съ обыкновенными людьми, то есть съ людьми, которые во время ѣдятъ, во время спятъ, во время умираютъ, проводя жизнь въ добромъ здоровьи, съ людьми, которые по донесенію Парижской Академіи имѣютъ столь счастливую комплексію, что *не могутъ быть магнетизированы*. Нѣтъ, тутъ являются другіе люди, люди съ душою сильной, обманомъ заключенною въ эту тюрьму,\*) съ ея маленькимъ свѣтомъ, съ ея цѣпами, съ ея сырмъ воздухомъ. Такая душа не-дома въ тѣлѣ, она безпрестанно ломаетъ его и кончитъ тѣмъ, что сломаетъ самое-себя; она-то дѣлается необыкновеннымъ человѣкомъ: великимъ мужемъ, великимъ злодѣемъ, сумасшедшимъ — это все равно. У такихъ людей своя жизнь, свои законы. Это кометы, пренебрегающія однообразнымъ эллипсисомъ планетныхъ орбитъ, не боясь раздробиться на пути своемъ. Для того чтобъ ихъ узнать, рассмотрите у Гоффманна ихъ странныя, исковерканныя черты, ихъ огромныя отклоненія отъ обычнаго прозябенія людей. Вообразите себѣ несчастнаго юношу, котораго разстроенная фантазія облекла въ какой-то страшный образъ дѣтскую сказку о „песочномъ человѣкѣ,“ и этотъ „песочной человѣкъ“ преслѣдуетъ его вездѣ, и въ отеческомъ домѣ, и въ университетѣ, и ночью, и днемъ, то въ видѣ алхимика, то въ видѣ итальянскаго кіарлатано. Вообразите послѣднюю минуту его изступленія, когда онъ съ неистовымъ восторгомъ бросаетъ свою невѣсту съ колокольни и съ безумнымъ хохотомъ кричитъ : „Feueruriel

\* Du weißt daß der Leib ein Kerker ist,  
Die Seele hat man hinein betrogen.

Goethe, W.-D. Diwan Safi-Nameh.

dreß' dich! Teuerster dreß' dich!" У Гоффманна цѣлый рядъ этихъ страшныхъ людей: „Der unheimliche Gast" \*, „Der Magnetiseur". Наконецъ, онъ собралъ всѣ отдѣльные лучи этого направленія и слилъ ихъ въ одинъ адскій, сѣрный огонь: это „Die Elixire des Teufels", монахъ Медардусъ. Гоффманну мало было одной жизни, онъ взялъ четыре поколѣнія, послѣдовавшія другъ отъ друга злодѣйства, и собралъ ихъ всѣ на главѣ Медардуса. Гоффманну мало было одной жизни: онъ представилъ цѣлую семью, рожденную въ гнусныхъ кровосмѣшеніяхъ, и поразилъ ее слѣпымъ мечемъ рока, который вручилъ Медардусу. Этотъ рокъ влечетъ Медардуса отъ преступленія къ преступленію, и никому нѣтъ пощады; у этого рока чистая кровь Авреліи въ свою очередь брызнула на алтарь Божій, какъ кровь невинной жертвы искупленія. Гоффманну все еще было мало: онъ раздвоилъ, разсѣкъ самаго Медардуса на-двое; и какъ страшень его двойникъ, съ своей всклокоченной бородою, съ своимъ изодранымъ рубищемъ, съ своимъ окровавленнымъ лицомъ: верхъ ужаса! Я трепеталъ всѣми членами, читая, какъ лже-Медардусъ гнался въ лѣсу за настоящимъ; мнѣ казалось, я слышалъ его пронзительный, скрипящій какъ ржавое желѣзо голосъ, которымъ онъ звалъ его на бой съ безумнымъ хохотомъ. Этотъ двойникъ Медардуса, братъ его, котораго Медардусъ не знаетъ; онъ сошелъ съ ума на мысли, что онъ Медардусъ, и вотъ онъ преслѣдуетъ Медардуса, который, терзаясь угрызеніями совѣсти, думаетъ, что его существо раздвоилось! — Какая смѣлость фантазіи, и посмотрите, какъ выдержалъ Гоффманнъ всѣ сцены ихъ встрѣчъ, какъ онъ переплелъ эти двѣ жизни, такъ

\*) „Недобрый Гость," перевод. въ *Телеск.* 1836, кн. 1 и 2.

что онѣ и въ самомъ дѣлѣ не совсѣмъ розныя! — Это самое сильное произведеніе его фантазіи!

Перейдемъ теперь къ шалостямъ, дурачествамъ его сильнаго воображенія.

Опомнилась — глядитъ Татьяна....  
И что же видитъ.... за столомъ  
Сидятъ чудовища кругомъ :  
Одинъ въ рогахъ, съ собачьей мордой,  
Другой съ пѣтушьей головой,  
Здѣсь вѣдьма съ козьей бородой,  
Тутъ шевелится хоботъ гордый,  
Тамъ карла съ хвостикомъ, а вотъ  
Полу-журавль и полу-котъ...

Кому не случалось видать подобныхъ сновъ? Хотители ихъ видѣть на-яву? Вотъ вамъ „Meister Floh“, Принцесса Брамбилла, Цинноберъ, Золотой Горшокъ...“ Это все сны, одинъ безсвязнѣе другаго. Тутъ нѣтъ ни мыслей, ни завязокъ, ни развязокъ, но занимательность ужасная. Сны вообще занимательны, а то кто бы велѣлъ человѣку спать ежедневно? Да и какъ не быть имъ занимательнымъ? живи до ста лѣтъ, никогда не встрѣтится ничего мудренѣе. Тутъ вы познакомитесь съ принцемъ, который сдѣлался изъ пѣявки; иногда задумается, вспомнить жизнь былую, и вытянется до потолка и съежится въ кулакъ. Тутъ увидите принцессу, которая спитъ въ вѣнчикѣ прекраснаго цвѣтка, мила до крайности; но что проку: oculis non manibus..... и вотъ ее увеличиваютъ въ микроскопъ, и дѣлаютъ изъ ней препорядочную барышню. Но пуще всего прошу васъ ненавидѣть Циннобера: онъ, право, злодѣй, мой личный врагъ, и еслибы онъ не утонулъ въ рукомойникѣ, я убилъ бы его. Вообразите: уродъ въ нѣсколько вершковъ, съ тремя рыжими волосами на головѣ, попалъ въ фаворъ къ колдунѣ; и что-же? Что кто ни

сдѣлай хорошаго *Hein Zinnober gepannt* получаетъ похвалу. Однажды кто-то даетъ концертъ на контръ-басѣ, а публика аплодируетъ, благодаритъ Циннобера. Взойдите въ это положеніе: вообразите, что вы Даль-Онно, что вы всякой постъ съ 1700 года ѣздите въ Москву съ контр-басомъ, и вдругъ вмѣсто васъ хвалятъ Циннобера, а можетъ быть — я не отвѣчаю за него — что всего хуже, ему отдадутъ и деньги за билеты. О horrible! О horrible! Право, я съ робостью узналъ, что Алоизій чернокнижникъ вступилъ съ нимъ въ бой. Алоизій человекъ хорошій, живетъ аристократомъ, строусъ въ ливреѣ швейцаромъ, двѣ лягушки у воротъ дворниками, жукъ ѣздитъ за каретой. За то рекомендую вамъ Ансельма; онъ женатъ на зеленой змѣѣ съ голубыми глазами, нужды нѣтъ: съ чужими женами не надобно знакомиться; но онъ васъ познакомитъ съ своимъ свекромъ архиваріусомъ Линдгорстомъ: чудакъ преестественный, былъ когда-то саламандромъ, въ юности напроказилъ, его прямо изъ Индіи, за нѣсколько тысячъ лѣтъ тому назадъ, въ наказаніе и сослали архиваріусомъ въ Дрезденъ. Гоффманнъ самъ былъ у него въ гостяхъ; онъ ему далъ санскритскую грамоту и стаканъ ямайскаго рома, да вдругъ снялъ сапоги, раздѣлся, и давай купаться въ стаканѣ. Вѣдь я говорилъ вамъ, что чудакъ. Словомъ вообразите себѣ отдѣльныя сцены Гётевой „Вальпургиснахтъ“: это вѣрный образъ, типъ Гоффманновыхъ сказокъ. Еще къ вамъ просьба—забылъ было совсѣмъ—сходите поклониться праху Кота Мурра. Во-первыхъ, былъ онъ человекъ ученый, не смотря на то, не былъ никогда человекомъ; но я увѣренъ, что со временемъ ясно докажутъ, что прилагательное „ученый“ уничтожаетъ существительное „человекъ.“ Далѣе, этотъ котъ самъ Гоффманнъ, котораго, я надѣюсь, вы



любите, хоть *par courtoisie* ко мнѣ. Сходите же, какъ будете въ той сторонѣ, къ нему на могилу.

Теперь, слегка начертавши характеръ Гоффманна, мы окончимъ. Можетъ быть, на досугѣ поговоримъ и о другихъ прозаикахъ Германіи. Въ заключеніе скажу, что Гоффманнъ превосходно переведенъ Леве-Веймаромъ на французскій языкъ и былъ принятъ въ Парижѣ съ восторгомъ. *Когда-нибудь* и у насъ его переведутъ съ французскаго.

1834, апрѣля 12.



## РѢЧЬ

*Сказанная при открытіи Вятской Публичной  
Библіотеки*

6 ДЕКАБРЯ 1837 ГОДА

---

Милостивые Государи!

Съ тѣхъ поръ, какъ Россія въ лицѣ Великаго Петра совѣщалась съ Лейбницомъ о своемъ просвѣщеніи, съ тѣхъ поръ, какъ она царю передала дѣло своего воспитанія; — правительство подобно солнцу ниспослало лучи свѣта, тому великому народу, которому только не доставало просвѣщенія, чтобъ сдѣлаться первымъ народомъ въ мірѣ. Оно продолжало жизнь Петра выполненіемъ его мысли, постоянно, неутомимо, прививая Россіи науку. Цари какъ Великій Петръ стали впереди своего народа и повели его къ образованію. Ими были заведены академіи и университеты, ими были призваны люди знаменитые на ученомъ поприщѣ; а они намъ передали европейскую науку и мы вступили во владѣніе ея, не дѣлая тѣхъ жертвъ, которыхъ она стоила нашимъ сосѣдямъ; они намъ передали изобрѣтенія, найденныя по тернистому пути, который сами прокладывали, а мы ими воспользовались и пошли далѣе; они передали прошедшее Европы, а мы отворили безконечный ипподромъ въ будущемъ. Свѣтъ распространяется бы-

стро, потребность вѣдѣнія обнаружилась рѣшительно во всѣхъ частяхъ этой вселенной, называемой Россія. Чтобъ удовлетворить ей, учебныхъ заведеній оказалось недостаточно; аудиторія открыта для нѣкоторыхъ избранныхъ, массамъ надобно другое. Сфинксы, охраняющіе Храмъ Наукъ, не каждого пропускаютъ и не каждый имѣетъ средство войти въ него. Для того, чтобъ просвѣщеніе сдѣлать народнымъ, надобно было избрать болѣе общее средство и размѣнять, такъ сказать, на мелкія деньги. И вотъ нашъ великій царь предупреждаетъ потребность народную заведеніемъ Публичныхъ Библіотекъ въ губернскихъ городахъ. Публичная Библіотека—это открытый столъ идей, за который приглашенъ каждый, за которымъ каждый найдетъ ту пищу, которую ищетъ; это запасной магазинъ, куда одни положили свои мысли и открытія, а другіе берутъ ихъ вростъ. Въ той странѣ, гдѣ просвѣщеніе считается необходимымъ, какъ хлѣбъ насущный,—въ Германіи, это средство давно уже извѣстно: тамъ нѣтъ маленькаго городка, гдѣ бы не было Библіотеки для чтенія; тамъ всѣ читаютъ: работникъ, положивъ молотъ, беретъ книгу, торговка ожидаетъ покупателя съ книгою въ рукѣ, и послѣ этаго обратите вниманіе ваше на образованность народа германскаго и Вы увидите пользу чтенія. Это-то вліяніе вмѣстѣ съ положительной пользой распространенія открытій, поселило великую мысль учредить Публичныя Библіотеки на всѣхъ мѣстахъ, гдѣ связываются узлы гражданской жизни нашей обширной родины. Августѣйшимъ утвержденіемъ своимъ, государь императоръ далъ жизнь этой мысли и въ большей части значительныхъ городовъ Имперіи открыты Библіотеки. Пожертвованія ваши, милостивые государи, доказываютъ, что здѣшнее общество оправдало попеченія пра-



вительства. Нѣтъ мѣста сомнѣнію, что святое начинаніе наше благословится Богомъ.

Теперь позвольте мнѣ, милостивые государи, обратиться исключительно къ будущимъ читателямъ; не новое хочу я имъ сказать, а повторить извѣстныя всѣмъ вамъ мысли о томъ, что такое книга.

Отецъ передаетъ сыну опытъ, пріобрѣтенный дорогими трудами, какъ даръ для того, чтобъ избавить его отъ труда уже совершеннаго. Точно такъ поступали цѣлыя племена, такъ составились на Востокѣ эти преданія, имѣющія силу закона, одно поколѣніе передавало свой опытъ другому, это другое, уходя, прибавляло къ нему результатъ своей жизни, и вотъ составила система правилъ, истинъ, замѣчаній, на которую новое поколѣніе опирается какъ на предыдущій фактъ и который хранитъ твердо въ душѣ своей, какъ драгоцѣнное отцовское наслѣдіе. Этотъ предыдущій фактъ, этотъ-то опытъ написанный и брошенный въ употребленіе *есть книга*. Книга, это духовное завѣщаніе одного поколѣнія другому, совѣтъ умирающаго старца юношѣ, начинающему жить, приказъ передаваемый часовымъ отправляющимся на отдыхъ, часовому заступающему его мѣсто. Вся жизнь человѣчества послѣдовательно осѣдала въ книгѣ: племена, люди, государства исчезали; а книга оставалась. Она росла вмѣстѣ съ человѣчествомъ, въ нее кристаллизовались всѣ ученія, потрясавшія умы, и всѣ страсти, потрясавшія сердца; въ нее записана та огромная исповѣдь бурной жизни человѣчества, та огромная Аутографія, которая называется Всемирной Исторіей. Но въ книгѣ не одно прошедшее, она составляетъ документъ, по которому мы вводимся во владѣніе настоящаго, во владѣніе всей суммы истинъ и усилій, найденныхъ страданіями, облитыхъ иногда кровавымъ

потомъ; она программа будущаго. И такъ будемъ уважать *книгу*! Это мысль человѣка, получившая относительную самобытность, это слѣдъ, который онъ оставилъ при переходѣ въ другую жизнь.

Было время когда и букву и книгу хранили тайной, именно потому, что массы не умѣли оцѣнить того, что онѣ выражали. Жрецы Египта, желая пламенно высказать свою Теодицею, исписали всѣ храмы, всѣ обелиски, но исписали іероглифами, для того, чтобъ одни избранные могли понимать ихъ. Левиты хранили въ Святой Скиніи, Небомъ вдохновенныя книги Моисея. Настали другія времена. Христіанство научило людей уважать Слово человѣческое, народы сбѣгались слушать учителей и съ благоговѣніемъ читали писанія Св. Отцовъ и Легенды. Слово было оцѣнено, а между тѣмъ мысль окрѣпла, Наука двинулась впередъ, ей стало тѣсно въ школѣ, народы почувствовали жажду познаній, не доставало токмо средствъ распространять мысль быстро, мгновенно, подобно лучамъ свѣта. Германія подарила роду человѣческому книгопечатаніе и мысль написанная разнеслась во всѣ четыре конца міра и отзывалась тысячу разъ повторенная въ тысячи сердцахъ.

Вспомнивъ это, не грустно ли будетъ думать, что праздность можетъ инаго заставить приходить сюда, вялой рукой оборачивать страницы, какъ будто книга назначена токмо для препровожденія времени. Нѣтъ, будемъ съ почтеніемъ входить въ этотъ Храмъ мысли, утомленные заботами вседневной жизни; придемъ сюда отдохнуть душою и укрѣпленные на новый трудъ всякій разъ благословимъ нынѣшній день, столь близкій русскому сердцу, столь торжественный и съ памятью котораго соединяется *день рожденія* нашей Библіотеки.



# ЖУРНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

(1841—1845)

1. The first part of the document is a list of names and titles.

2.

3.

4.

5.

## ПИСЬМА ОВЪ ИЗУЧЕНІИ ПРИРОДЫ

---

Природа — баядера, являющаяся передъ очами духа. Онъ упрекаетъ ее въ безстыдствъ, съ которыми она обнажаетъ себя и отдается очамъ зрителей; но, выказавъ себя, она удаляется, потому что ее видѣли, и зритель удаляется — потому что видѣлъ ее.

COLEBROOK. *Sank-hia, Philos. of the Hindous.*

... Doch der Götter Jüngling hebet  
Aus der Flamme sich empor,  
Und in seinen Armen schwebet  
Die Geliebte mit hervor.

G ö t t e. Bayadere.

---

### ПИСЬМО ПЕРВОЕ

#### Эмпирія и Идеализмъ

Слава Церерѣ, Помонѣ и ихъ родственникамъ! я наконецъ не съ вами, любезные друзья! — я одинъ въ деревнѣ. Мнѣ смертельно хотѣлось отдохнуть поодаль отъ всѣхъ.... Нельзя сказать, чтобъ почтенныя особы, которыхъ я сейчасъ славословилъ, очень изубытчились для моего приѣма: дождь льетъ день и ночь, вѣтеръ рветъ ставни, шагу нельзя сдѣлать изъ комнаты, и,

странное дѣло! при всемъ этомъ, я ожилъ, поправился, веселѣе вздохнулъ—нашелъ то, за чѣмъ ѣхалъ. Выйдешь подъ-вечеръ на балконъ, ничто не мѣшаетъ взгляду; вдохнешь въ себя влажно-живой, насыщенный дыханіемъ лѣса и луговъ воздухъ, прислушаешься къ дубравному шуму—и на душѣ легче, благороднѣе, свѣтлѣе; какая-то благочестивая тишина кругомъ успокоиваетъ, примиряетъ... Вотъ такъ и кажется, что годы бы не выѣхалъ отсюда... Предвижу, что моя идиллическая выходка вамъ не понравится: „человѣкъ не долженъ жить особнякомъ, это — эгоизмъ, бѣгство; это — битыя фразы безумнаго Женевца, который считалъ современную ему городскую жизнь искусственною, какъ будто формы міра историческаго не такъ же естественны, какъ формы физическаго міра.“ Во-первыхъ, что касается до побѣга, позорно бѣжать воину во время войны; а когда благоденственно царитъ прочный міръ, отъ-чего не пожить въ отпуску? Во-вторыхъ, что касается до Руссо, я не могу безусловно принять за вранье того, что онъ говоритъ объ искусственности въ жизни современнаго ему общества: искусственнымъ кажется неловкое, натянутое, обветшалое. Руссо понялъ, что міръ его окружавшій, не ладенъ; но нетерпѣливый, негодующій и оскорбленный, онъ не понялъ, что храмينا устарѣвшей цивилизаціи о двухъ дверяхъ. Боясь задохнуться, онъ бросился въ тѣ двери, въ которыя входятъ, и изнемогъ, борясь съ потокомъ, стремившимся прямо противъ него. Онъ не сообразилъ, что возстановленіе первобытной дикости болѣе искусственно, нежели выжившая изъ ума цивилизація. Мнѣ, въ самомъ дѣлѣ, кажется, что нашъ образъ жизни, особенно въ большихъ городахъ—въ Лондонѣ, или Берлинѣ, все-равно, не очень естественъ; вѣроятно, онъ во многомъ

измѣнится,—человѣчество не давало подписки жить всегда какъ теперь; у развивающейся жизни ничего нѣтъ завѣтнаго. Знаю я, что формы историческаго міра такъ же естественны, какъ формы міра физическаго! Но знаете ли вы, что въ самой природѣ, въ этомъ вѣчномъ настоящемъ безъ раскаянія и надежды, живое, развиваясь, безпрестанно отрекается отъ миновавшей формы, обличаетъ неестественнымъ тотъ организмъ, который вчера вполне удовлетворялъ? Вспомните превращеніе насѣкомыхъ, вѣчный примѣръ бабочки и куколки. Когда настоящее оперто *только* на прошедшее, оно дурно оперто. Петръ Великій торжественно доказалъ, что прошедшее, выражаемое цѣлой страной, несостоятельно противъ воли одного человѣка, дѣйствующаго во имя настоящаго и будущаго. Юридическая иронія многолѣтней давности не признается жизнью; совсѣмъ на-противъ, давность съ точки зрѣнія природы даетъ только одно право, право смерти.

Видите ли, я въ ударѣ резонёрствовать? Это дѣйствіе деревенскаго *farniente*. Но Богъ съ ней, съ городской жизнью! я и не думалъ объ ней говорить; лучше, благо есть время, начну нѣкогда обѣщанныя письма о современномъ состояніи естествовѣдѣнія.

Помните ли вы наши безконечные споры студенческой эпохи, въ которыхъ обыкновенно съ двухъ отвлеченныхъ точекъ зрѣнія мы стремились понять явленіе жизни и не могли никогда дойти не только до дѣльнаго результата, но даже до того, чтобъ вполне понять другъ друга? Такъ относятся къ природѣ философія съ своей стороны—и естествовѣдѣніе съ своей, обѣ съ страннымъ притязаніемъ на обладаніе если не всею истиною, то единственно истиннымъ путемъ къ ней. Одна прорицала тайны съ какой-то недослагаемой вы-

соты, другое смиренно покорялось опыту и не шло далѣе; другъ къ другу онѣ питали ненависть; онѣ выросли въ взаимномъ недовѣріи; много предразсудковъ укоренилось съ той и другой стороны; столько горькихъ словъ пало, что, при всемъ желаніи, онѣ не могутъ примириться до сихъ поръ. Философія и естествовѣдѣніе отстрачиваютъ другъ друга тѣнями и привидѣніями, наводящими, въ самомъ дѣлѣ, страхъ и уныніе. Давно ли философія перестала увѣрять, что она какими-то заклинаніями можетъ вызвать сущность, отрѣшенную отъ бытія? всеобщее, существующее безъ частнаго? безконечное, предшествующее конечному? и проч. Положительныя науки имѣютъ свои маленькія привидѣнья: это силы, отвлеченныя отъ дѣйствій, свойства, принятыя за самый предметъ, и вообще разные кумиры, сотворенные изъ всякаго понятія, которое еще не понято: *exempli gratia* — жизненная сила, эфиръ, теплотворъ, электрическая матерія и проч. Все было сдѣлано, чтобъ не понять другъ друга, и они вполнѣ достигли этого. Между тѣмъ, стало уясняться, что философія безъ естествовѣдѣнія такъ же невозможна, какъ естествовѣдѣніе безъ философіи. Для того, чтобъ убѣдиться въ послѣднемъ, взглянемъ на современное состояніе физическихъ наукъ. Оно представляется самымъ блестящимъ; о чемъ едва смѣли мечтать въ концѣ прошлаго столѣтія, то совершенно, или совершается передъ нашими глазами. Органическая химія, геологія, палеонтологія, сравнительная анатомія распустились въ нашъ вѣкъ изъ небольшихъ почекъ въ огромныя вѣтви, принесли плоды, превзошедшія самыя смѣлыя надежды. Міръ прошедшій, покорный мощному голосу науки, поднимается изъ могилы свидѣтельствовать о переворотахъ, сопровождавшихъ развитіе поверхности земнаго



шара; почва, на которой мы живемъ, эта надгробная доска жизни миновавшей, становится какъ бы прозрачною; каменные склепы раскрылись; внутренности скалъ не спасли хранимаго ими. Мало того, что полуистлѣвшіе, полуокаменѣлые остовы обрастаютъ снова плотью, палеонтологія стремится\*) раскрыть законъ соотношенія между геологическими эпохами и полнымъ органическимъ населеніемъ ихъ. Тогда все нѣкогда-живое воскреснетъ въ человѣческомъ разумѣніи, все исторгнется отъ печальной участи безслѣднаго забвенія, и то, чего кость истлѣла, чего феноменальное бытіе совершенно изгладилось, возстановится въ свѣтлой обители науки, въ этой обители успокоенія и увѣковѣченія временнаго. Съ другой стороны, наука открыла за видимымъ предѣломъ цѣлыя міры невидимыхъ подробностей; ей раскрылся тотъ *monde des détails*, о возможности котораго генераль Бонапарте мечталъ, бесѣдуя въ Каирѣ съ Монжемъ и Жоффруа Сент-Илеромъ\*\*). Естествоиспытатель, вооруженный микроскопомъ, преслѣдуетъ жизнь до послѣдняго предѣла, слѣдитъ за ея закулисной работою. Физиологъ на этомъ порогѣ жизни встрѣтился съ химикомъ, вопросъ о жизни сталъ опредѣленнѣе, лучше поставленъ, химія заставила смотрѣть не на однѣ формы и ихъ видоизмѣненія; она въ лабораторіи научила допрашивать органическія тѣла о ихъ тайнахъ. Сверхъ теоретическихъ успѣховъ, успѣхи физическихъ наукъ имѣютъ громкія доказательства внѣ кабинетовъ и академій; онѣ окружили, вмѣстѣ съ механикой, каждый шагъ нашей жизни открытіями и удобствами. Онѣ, машинами, призваніемъ въ дѣло силъ брошенныхъ и

\*) Вспомните труды Агассиса надъ ископаемыми рыбами и труды Орбиньи надъ слизняками и другими началами.

\*\*) *Notions de Philos. naturelle* par Geoffroy St-Hilaire. Paris. 1838.

теряющихся, упрощеніемъ сложныхъ и трудныхъ производствъ, указаніемъ возможности тратить не *болѣе* усилій, какъ сколько нужно для достиженія цѣли, — участвуютъ въ разрѣшеніи важнѣйшаго общественнаго вопроса: онѣ подаютъ средства отрѣзать руки человѣческія отъ непрерывной тяжелой работы.

Казалось бы, послѣ этого, естествовѣдѣнію остается торжествовать свои побѣды, и въ справедливомъ сознаніи великаго совершеннаго трудиться, спокойно ожидая будущихъ успѣховъ; на дѣлѣ не совсѣмъ такъ. Внимательный взглядъ безъ большаго напряженія увидитъ во всѣхъ областяхъ естествовѣдѣнія какую-то неловкость; имъ *чего-то* не достаетъ, чего-то, незамѣняемаго обиліемъ фактовъ; въ истинахъ, ими раскрытыхъ, есть недомолвка. Каждая отрасль естественныхъ наукъ приводитъ постоянно въ тяжелому сознанію, что есть нѣчто неуловимое, непонятное въ природѣ; что онѣ, не смотря на многостороннее изученіе своего предмета, узнали его *почти, но не совсѣмъ*, и именно въ этомъ, недостающемъ чѣмъ-то, постоянно ускользающемъ, предвидится та отгадка, которая должна превратиться въ мысль и, слѣдственно, усвоить человѣку непокорную чуждость природы. Сознаніе сказаннаго вералось въ самое изложеніе естественныхъ наукъ; вы часто встрѣтите среди удачъ и открытій грустную жалобу; увеличеніе знаній, не имѣющее никакихъ предѣловъ, обусловливаемое извнѣ случайными открытіями, счастливыми опытами, иногда не столько радуетъ, сколько тѣснить умъ. Пребывающая и по-неволѣ признанная чуждость предмета, упорно не поддающаяся, сердитъ человѣка и вмѣстѣ съ тѣмъ влечетъ его къ себѣ на непрерывную борьбу, на покореніе, котораго онъ сдѣлать не въ состояніи и оставить не можетъ. Это голосъ вопі-

ющаго разума, не умѣющаго останавливаться на полдорогѣ,—голосъ самой nature гегим, стремящейся вполне просвѣтлѣть въ мышленіи человѣческомъ. Вѣроятно вы замѣчали, съ какою поспѣшностью естествоиспытатели предупреждаютъ о предѣлахъ своего возрѣнія, какъ-бы страшась услышать вопросы, на которые они отвѣчать не могутъ; но такого рода границы несостоятельны; поставленныя личной волей, онѣ столько же внѣшніи предмету, сколько заборъ, поставленный правомъ собственности, чуждъ полю, на которомъ стоитъ. Цеховые натуралисты громко и смѣло говорятъ, что имъ дѣлать до самыхъ естественныхъ и законныхъ требованій разума, что человѣкъ не долженъ заниматься тѣмъ, чего нельзя разрѣшить.\*) Большой частію смѣлость эта подозрительна: она проистекаетъ или отъ ограниченности, или отъ лѣни; у иныхъ, однако, она имѣетъ высшее начало для нихъ—это ложныя утѣшенія, которыми человѣкъ хочетъ отвести свои собственные глаза отъ зла, считаемаго неисправимымъ. По несчастію, вопросамъ такого рода нельзя навязать каменьевъ на шею — бросить ихъ въ воду и потомъ забыть о нихъ; они, какъ упрекъ совѣсти, какъ тѣнь Банко, мѣшаютъ наслаждаться пиромъ опытовъ, открытій, сознаніемъ истинныхъ и прекрасныхъ заслугъ, напоминая, что нѣтъ полного успѣха, что предметъ не побѣжденъ.... Въ самомъ дѣлѣ, неужели можно успокоиться на предположеніи невозможности знанія? Тутъ человѣку науки остановиться и забыть такъ же не подѣ-силу, какъ скупому стяжателю знать о кладѣ, зарытомъ на его дворѣ, и не искать его. Ни одинъ изъ великихъ естествоиспы-

\*) Кому нельзя? когда? почему? гдѣ критеріумъ? — Наполеонъ считалъ пароходы невозможностію...

тателей не могъ спокойно пренебрегать этой неполнотой своей науки; таинственное *ignotum* мучило ихъ; они относили къ одному недостатку фактическихъ свѣдѣній неуловимость его. Мы думаемъ, что сверхъ этого недостатка имъ мѣшаетъ всего болѣе робкое и безсознательное употребленіе логическихъ формъ. Естествоиспытатели никакъ не хотятъ разобрать отношеніе знанія къ предмету, мышленія къ бытію, человѣка къ природѣ; они подъ мышленіемъ разумѣютъ способность разлагать данное явленіе и потомъ сличать, наводить, располагать въ порядкѣ найденное и данное для нихъ; критеріумъ истины—вовсе не разумъ, а одна чувственная достовѣрность, въ которую они вѣрятъ; имъ мышленіе представляется дѣйствіемъ чисто личнымъ, совершенно внѣшнимъ предмету. Они пренебрегаютъ формою, методою, потому что знаютъ ихъ по схоластическимъ опредѣленіямъ. Они до того боятся систематики ученія, что даже матеріализма не хотятъ, *какъ ученія*; имъ бы хотѣлось относиться къ своему предмету совершенно эмпирически, страдательно, наблюдая его; само собою разумѣется, что для мыслящаго существа это такъ же невозможно, какъ организму принимать пищу, не преворая ея. Ихъ мнимый эмпиризмъ все же приводитъ къ мышленію, но къ мышленію, въ которомъ метода произвольна и лична. Странное дѣло! каждый фізіологъ очень хорошо знаетъ важность формы и ея развитія, знаетъ, что содержаніе только при извѣстной формѣ оживаетъ стройнымъ организмомъ,—и ни одному не пришло въ голову, что метода въ наукѣ вовсе не ѣсть дѣло личнаго вкуса, или какого нибудь внѣшняго удобства, что она, сверхъ своихъ формальныхъ значеній, есть самое развитіе содержанія, эмбриологія истины, если хотите.

Этотъ странный силлогизмъ естественныхъ наукъ не прошелъ имъ даромъ. Идеалисты непрерывно ругали эмпириковъ, топтали ихъ ученіе своими безтѣлесными ногами — и не подвинули вопроса ни на одинъ шагъ впередъ. Идеализмъ — собственно для естествовѣдѣнія ничего не сдѣлалъ... Позвольте обговориться! Онъ разработалъ, онъ приготовилъ безконечную форму для безконечнаго содержанія фактической науки; но она еще не воспользовалась ею: это дѣло будущаго... мы на сію минуту говоримъ, если не о совершенно-прошедшемъ, то о проходящемъ моментѣ. Идеализмъ всегда имѣлъ въ себѣ нѣчто невыносимо-дерзкое: человѣкъ, увѣрившійся въ томъ, что природа вздоръ, что все временное не заслуживаетъ его вниманія, дѣлается гордъ, беспощаденъ въ своей односторонности и совершенно-недоступенъ истинѣ. Идеализмъ высокомерно думалъ, что ему стоитъ сказать какую-нибудь презрительную фразу объ эмпиріи — и она разсѣется, какъ прахъ; вышнія натуры метафизиковъ ошиблись: они не поняли, что въ основѣ эмпиріи положено широкое начало, которое трудно пошатнуть идеализмомъ. Эмпирики поняли, что *существованіе предмета не шутка*; что *взаимодѣйствіе чувствъ и предмета не есть обманъ*; что предметы, насъ окружающіе, не могутъ не быть истинными, потому уже, что они существуютъ; они обернулись съ довѣріемъ къ тому, *что есть*, вмѣсто отыскиванія *того, что должно быть*, но чего, странная вещь, нигдѣ нѣтъ! Они приняли міръ и чувства съ дѣтской простотою и звали людей сойти съ туманныхъ облаковъ, гдѣ метафизики возились съ схоластическими бреднями; они звали ихъ въ настоящее и дѣйствительное; они вспомнили, что у человѣка есть пять чувствъ, на которыхъ основано начальное отношеніе его къ природѣ, и выразили сво-

имъ воззрѣніемъ первые моменты чувственного созерцанія — необходимаго, единственно-истиннаго предшественника мысли. Безъ эмпиріи нѣтъ науки, такъ-какъ нѣтъ ея и въ одностороннемъ эмпиризмѣ. Опытъ и умозрѣніе — двѣ необходимыя, истинныя, дѣйствительныя степени одного и того же знанія; спекуляція — больше ничего, какъ высшая, развитая эмпирія; взятая въ противоположности исключительно и отвлеченно, онѣ такъ же не приведутъ къ дѣлу, какъ анализъ безъ синтеза, или синтезъ безъ анализа. Правильно развиваясь, эмпирія непременно должна перейти въ спекуляцію, и только то умозрѣніе не будетъ пустымъ идеализмомъ, которое основано на опытѣ. Опытъ есть хронологически-первое въ дѣлѣ знанія, но онъ имѣетъ свои предѣлы, далѣе которыхъ онъ или сбивается съ дороги, или переходитъ въ умозрѣніе. Это два магдебургскія полушарія, которыя ищутъ другъ друга и которыхъ, послѣ встрѣчи, лошадьми не разорвешь. Не смотря на то, что правда сказаннаго нами довольно-проста, она далека отъ того, чтобъ быть познаною; антагонизмъ между эмпиріей и спекуляціей, между естествовѣдѣніемъ и философіей продолжается. Чтобъ понять это, надобно вспомнить время, когда естествовѣдѣніе отторглось отъ философій: то было въ торжественную и великую эпоху возрожденія наукъ, когда поюнѣвшій человѣкъ снова почувствовалъ горячую кровь въ жилахъ и началъ своею мыслию обсуживать и изучать все, окружавшее его; съ негодованіемъ взглянули тогда всѣ положительные, практическіе умы на схоластику; они, какъ всегда бываетъ при переворотахъ, забыли всѣ ея заслуги, и помнили одинъ тяжкій яремъ, который она накладывала на мысль, — помнили какъ она, уничиженная, покорная, подавторитетная, занималась пустыми, формальными интереса-

ми — и съ ненавистію отвергли ее. Возстаніе противъ Аристотеля было началомъ самобытности новаго мышленія. Не надобно забывать, что Аристотель среднихъ вѣковъ не былъ настоящій Аристотель, а переложенный на католическіе нравы; это былъ Аристотель съ тоизурой. Отъ него, канонизированнаго язычника, равно отреклись Декартъ и Бэконъ. Посмотрите, съ какимъ запальчивымъ пренебреженіемъ химики XVIII вѣка говорятъ о школьныхъ метафизикахъ и какъ радостно провозглашаютъ права опыта, наблюденій, эмпириі, какъ они ничего знать не хотятъ внѣ чувственной достовѣрности, какъ они трепещатъ всего, напоминающаго схоластическія кандалы. Имъ стало легко и привольно, потому-что они стали на землю, на которой человѣку суждено стоять; у нихъ была отыскана точка внѣшней опоры, точка отправленія; они ревниво ее отстаивали и пошли своей дорогой, дорогой трудной, песчаной; они не боялись труда — непреложная реальность ихъ занятій увлекала ихъ; природа, неистощимо-богатая явленіями, довѣла надолго жадному любознанію; но, само собою разумѣется, натуралисты должны были неминуемо прійти къ предѣламъ своего воззрѣнія, потому-что ихъ воззрѣнія были узки, и въ-самомъ-дѣлѣ пришли къ нимъ; но страхъ схоластики превозмогъ, они не выступаютъ изъ круга, добровольно ими самими замкнутаго. Философіи было легче дойти до истинныхъ и дѣйствительныхъ основаній логики, нежели поправить свою репутацію. Впрочемъ, это возстановленіе репутаціи она вполне можетъ сдѣлать только въ наше время, — закваска схоластическая только теперь начинаетъ выдыхаться изъ нея. Идеализмъ не что иное, какъ *схоластика протестантскаго міра*. Онъ никогда не уступалъ въ односторонности эмпириі; онъ никогда не хо-

тѣлъ понять ее, и когда понялъ по-неволѣ, съ важно-  
стью протянулъ ей руку, прощаль ее, диктоваль усло-  
вія мира — въ то время, какъ эмпирія вовсе не думала  
у него просить помилованія. Нѣтъ ни малѣйшаго сом-  
нѣнія, что умозрѣніе и эмпирія равно виноваты во вза-  
имномъ непониманіи, и дѣло теперь вовсе не въ томъ,  
чтобъ оправдать одну сторону на-счетъ другой, но въ  
томъ, чтобъ, объяснивъ, какъ они попали въ борьбу  
извѣстной притчи Мененія Агриппы, показать, что это  
фактъ прошедшій, принадлежащій гробу и исторіи, что  
продолжать эту борьбу обѣимъ сторонамъ вредно и не-  
лѣпо. И философія, и естествовѣдѣніе выросли изъ вре-  
меннаго антагонизма своего, имѣють всѣ средства въ  
рукахъ понять, откуда онъ вышелъ и въ чемъ состо-  
яла его историческая необходимость — одно только уна-  
слѣдованное чувство вражды можетъ поддерживать об-  
ветшалыя и жалкія взаимныя обвиненія. Имъ надобно  
*объясниться* во что бы то ни стало, понять разъ навсег-  
да свое отношеніе, и освободиться отъ антагонизма:  
всякая исключительность тягостна; она не даетъ мѣста  
свободному развитію. Но для этого объясненія необхо-  
димо, чтобъ философія оставила свои грубыя притяза-  
нія на безусловную власть и на всегдашнюю непогрѣ-  
шительность. Ей, по праву, дѣйствительно принадлежитъ  
центральное мѣсто въ наукѣ, которымъ она вполне мо-  
жетъ воспользоваться, когда перестанетъ требовать его,  
когда откровенно побѣдитъ въ себѣ дуализмъ, идеализмъ,  
метафизическую отвлеченность, когда ея совершеннолѣт-  
ній языкъ отучится отъ робости передъ словами, отъ тре-  
пета передъ умозаключеніемъ; ея власть будетъ признана  
тогда болѣе, нежели признана она будетъ дѣйствительно;  
иначе, объявляй себя сколько хочешь абсолютной, никто  
не повѣритъ, и частныя науки останутся при своихъ фе-



деральныхъ понятіяхъ.\*) Философія развиваетъ природу и сознаніе а priori, и въ этомъ ея творческая власть; но природа и исторія тѣмъ и велики, что онѣ не нуждаются въ этомъ а priori: онѣ сами представляютъ живой организмъ, развивающій логику а posteriori. Что тутъ за мѣстничество? Наука одна; двухъ наукъ нѣтъ, какъ нѣтъ двухъ вселенныхъ; споконъ-вѣка сравнивали науки съ вѣтвящимся деревомъ — сходство чрезвычайно-вѣрное; каждая вѣтвь дерева, даже каждая почка имѣетъ свою относительную самобытность; ихъ можно принять за особые растенія; но совокупность ихъ принадлежитъ одному цѣлому, живому *растенію этихъ растеній* — дереву; отнимите вѣтви — останется мертвый пенъ, отнимите стволъ — вѣтви распадутся. Всѣ отрасли вѣдѣнія имѣютъ самобытность, замкнутость, но въ нихъ непременно вошло нѣчто данное, впередъ-идущее, не ими узаконенное; онѣ собственно органы, принадлежащіе одному существу; отдѣлите органъ отъ организма, и онъ перестанетъ быть проводникомъ жизни, сдѣлается мертвою вещью: и организмъ, въ свою очередь лишенный органовъ, сдѣлается искаженнымъ трупомъ, кучею частицъ. Жизнь есть сохраняющееся единство много-различія, единство цѣлаго и частей; когда нарушена связь между ними, когда единство, связующее и хранящее, нарушено, тогда каждая точка начинаетъ свой процессъ; смерть и гніеніе трупа — полное освобожденіе частей. Еще сравненіе. Частныя науки составляютъ планетный міръ, имѣющій средоточіе, къ которому онѣ отнесены и отъ котораго получаетъ свѣтъ; но, го-

\*) Въ исторіи все *относительно* абсолютно; безотносительно-абсолютное — логическое отвлеченіе, которое за пределами логики тотчасъ дѣлается относительнымъ.

воря такъ, мы не забудемъ, что свѣтъ дѣло двухъ моментовъ, а не одного; безъ планетъ не было бы солнца. Вотъ этого-то органическаго соотношенія между фактическими науками и философіей нѣтъ въ сознаніи нѣкоторыхъ эпохъ, и тогда философія погрязаетъ въ абстракціяхъ, а положительныя науки теряются въ безднѣ фактовъ. Такая ограниченность рано или поздно должна найти выходъ: эмпирія перестанетъ бояться мысли, мысль въ свою очередь не будетъ пятиться отъ неподвижной чуждости міра явленій; тогда только вполнѣ побѣдится внѣ-сущій предметъ, ибо ни отвлеченная метафизика, ни частныя науки не могутъ съ нимъ совладѣть: одна спекулятивная философія, выращенная на эмпирії—страшный горнъ, передъ огнемъ котораго ничто не устоитъ. Частныя науки конечны, онѣ ограничены двумя впередъидущими: предметомъ, твердо стоящимъ внѣ наблюдателя, и личностію наблюдателя, прямо-противоположною предмету. Философія снимаетъ логикой личность и предметъ, но снимая, она сохраняетъ ихъ. Философія есть единство частныхъ наукъ; онѣ втекаютъ въ нее, онѣ ея питаніе; новому времени принадлежитъ воззрѣніе, считающее философію отдѣльною отъ наукъ; это послѣднее убійственное произведеніе дуализма; это одинъ изъ самыхъ глубокихъ разрѣзовъ его скальпеля. Въ древнемъ мірѣ, беззаконной борьбы между философіей и частными науками вовсе не было; она вышла рука-объ-руку изъ Іоніи и достигла своей апоѳеозы въ Аристотелѣ.\*) Дуализмъ, составлявшій славу схоластики, носилъ въ себѣ необходимымъ послѣдствіемъ расторженіе на отвлеченный идеализмъ и отвле-

\*) Сократъ смотрѣлъ на физическія науки какъ-то въ родъ нашихъ филологовъ; но это была временная размолвка.

ченную эмпирію ; онъ проводилъ свой безпощадный ножъ между самымъ неразрывнѣйшимъ, между родомъ и недѣлимымъ, между жизнію и живымъ, между мышленіемъ и тѣми, которые мыслятъ ; и у него по той и другой сторонѣ ничего не оставалось, или, хуже, оставались призраки, принимаемые за дѣйствительность, философія, не опертая на частныхъ наукахъ, на эмпиріи, — призракъ, метафизика, идеализмъ. Эмпирія, довлѣющая себѣ внѣ философіи, — сборникъ, лексиконъ, инвентарій — или, если это не такъ, она невѣрна себѣ. Мы сейчасъ увидимъ это.

Фактъ, бросающійся съ перваго взгляда въ физическихъ наукахъ, состоитъ въ томъ, что естествоиспытатели только говорятъ, что они не выходятъ изъ эмпиріи ; а въ сущности они почти никогда не остаются въ ней ; они выходятъ изъ предѣловъ опытнаго вѣдѣнія, не давая себѣ отчета, что дѣлаютъ ; безсознательно идти въ дѣлѣ наукъ невозможно, не сбившись съ дороги ; для того, чтобъ дѣйствительно перейти предѣлы какого-либо логическаго момента, надобно, по крайней мѣрѣ, понять, въ чемъ именно ограниченность исчерпанной формы : ничто въ свѣтѣ не путаетъ такъ понятій, какъ безсознательный выходъ изъ одного момента въ другой. Пока естествовѣдѣніе въ самомъ дѣлѣ остается въ предѣлахъ эмпиріи, оно превосходно дагерротипируетъ природу, оно переводитъ сущее, частное, феноменальное на всеобщій языкъ ; это подробный и необходимый кадастръ недвижимаго имѣнія науки, это матеріаль, способный на дальнѣйшее развитіе, которое, однако, можетъ очень долго не быть : оставаться въ предѣлахъ такой эмпиріи въ самомъ дѣлѣ трудно, почти невозможно ; на это надобно бездну воздержности, бездну самоотверженія, геніальность Кювье, или тупость

имѣютъ силы зачерпнуть его такъ, какъ онъ есть, разсудокъ, какъ гальваническій снарядъ, или вовсе не дѣйствуетъ, или дѣйствуетъ разлагая на двѣ противоположности,—который бы результатъ его ни взяли. Онъ одностороненъ, онъ — составная часть. Въ эту туманную среду разсудочнаго движенія поднимаются эмпирики и не идутъ дальше, — между-тѣмъ, эта среда истинна только какъ переходъ, какъ путь, цѣль котораго — быть пройденнымъ; еслибъ поняли смыслъ разсудочной науки, тогда призрачная преграда между опытомъ и умозрѣніемъ уничтожилась бы сама собою; теперь же эмпирія на философію и философія на эмпирію смотрятъ именно сквозь эту среду и видятъ другъ друга съ искаженными чертами: эмпирія, встрѣчая усѣченную, недѣйствительную разсудочную истину, думаетъ, что это вина самаго мышленія; философія ее же принимаетъ за результатъ опытнаго вѣдѣнія. Остановиться на рефлексіи — хуже, нежели остановиться на эмпиріи: все нелѣпое, все смѣшное, что вы встрѣтите въ физическихъ наукахъ, происходитъ именно отъ внѣшнихъ размышленій и объяснительныхъ теорій.\*)

\*) Предоставляю себѣ впоследствии показать нѣсколько разительныхъ примѣровъ теоретическихъ нелѣпостей наукъ положительных; теперь укажу вамъ только на всѣ существующіе курсы физики Біо, Ламе, Ге-Люссака, Депре, Пулье, и пр., и пр. Химія занимается больше дѣломъ; ея предметъ конкретнѣе, эмпиричнѣе; но физика отвлеченнѣе по своимъ вопросамъ, и потому она представляетъ торжество гипотетическихъ объяснительныхъ теорій (т. е. такихъ, о которыхъ знаютъ, что онѣ вздоръ). Съ самаго начала въ физикѣ гибнетъ эмпирическій предметъ; являются одни общія свойства, матерія, силы, потомъ вводятся какіе-то внѣшніе агенты; электричество, магнетизмъ и проч., даже бѣдную теплоту попробовали олицетворить — въ теплотворъ; греческій антропоморфизмъ природы — только сухой, неизящный. А теорія свѣта? Двѣ противоположныя теоріи свѣта, обѣ опровергаемыя, обѣ признанныя, потому что есть явленія, которыя объ-

Натуралисты, дошедшіе до разсудочнаго движенія, воображаютъ, что анализъ, аналогія и наконецъ наведеніе, какъ дальнѣйшее развитіе обоихъ,—единственныя средства узнать предметъ, оставляя его неприкосновеннымъ какъ онъ былъ; а этого-то именно и не нужно и невозможно. Во-первыхъ, анализъ не оставляетъ камня на камнѣ въ данномъ предметѣ и кончитъ всякій разътѣмъ, что сведетъ данное эмпиріей на отвлеченныя всеобщности; онъ правъ: онъ дѣлаетъ свое дѣло; не правы употребляющіе его безъ отчета о его дѣйствіи и останавливающіеся на немъ. Во-вторыхъ, желаніе оставить предметъ, какъ онъ есть, и понять его, не разрѣшая въ мысль, не только иллогизмъ, но просто нелѣпость: частный предметъ, явленіе, остается неприкосновеннымъ, если человѣкъ, не думая о немъ, смотритъ на него, когда онъ къ нему равнодушенъ; если

ясняются по одной, а другія по другой! И какъ его не опредѣляютъ: и жидкостью, и силой, и невѣсомымъ! Почему онъ жидкость, когда невѣсомой,—да такая легкая жидкость? отчего же гранить не считать претяжелой жидкостью? и что за жалкое опредѣленіе невѣсомости!—свѣтъ сверхъ того и не пахучее? *Сила*—тоже не лучше! Почему не сказать: свѣтъ — *дѣйствіе*? На силу все можно свести, какъ на достаточную причину явленія. Отчего звука никто не называетъ ни жидкостью, ни силой (хотя Гассенди и толковалъ объ атомахъ звука)? Отчего никто не называетъ очертанія тѣла невѣсомой формой его? На это возразятъ, что форма присуща тѣлу, звукъ — сотрясеніе воздуха. А развѣ кто нибудь видѣлъ все общество *imponderabilium* янъ тѣлъ, такъ самихъ по себѣ? — „Да это все одни временныя опредѣленія для того, чтобъ какъ нибудь не растеряться; мы сами этимъ теоріямъ не придаемъ важности.“ Очень хорошо; но вѣдь когда нибудь надобно же и серьезно заняться смысломъ явленій; нельзя все шутить; принимая для практической пользы неосновательныя гипотезы, наконецъ совершенно собьемся съ толку. Эта метода дѣлаетъ страшный вредъ учащимся, давая имъ *слова* вмѣсто понятій, убивая въ нихъ вопросъ ложнымъ удовлетвореніемъ. „Что есть электричество“? — „Невѣсомая жидкость.“ Не правда ли, что лучше было бы, еслибъ ученикъ отвѣчалъ: „не знаю“?..

онъ его назоветъ, то уже онъ не оставилъ его въ сферѣ частныхъ, а поднялъ во всеобщее. Какъ же понять смыслъ явленія, не вовлекая его въ логическій процессъ (не прибавляя ничего отъ себя, какъ обыкновенно выражаются)? Логическій процессъ есть единственное всеобщее средство человѣческаго пониманія; природа не заключаетъ въ себѣ всего смысла своего, — въ этомъ ея отличительный характеръ; именно мышленіе и дополняетъ, развиваетъ его; природа только существованіе, и отдѣляется, такъ сказать, отъ себя въ сознаніи человѣческомъ, для того, чтобъ понять свое бытіе: мышленіе дѣлаетъ не чуждую добавку, а продолжаетъ необходимое развитіе, безъ котораго вселенная не полна, — то самое развитіе, которое начинается со стихійной борьбы, съ химическаго сродства, и оканчивается самопознающимъ мозгомъ человѣческой головы. Хотятъ умъ сдѣлать страдательнымъ пріемникомъ, особаго рода зеркаломъ, которое отражало бы данное, не измѣняя его, то есть, во всей его случайности, не усвоивая тупо, безсмысленно; а данное, сущее во времени и пространствѣ, хотятъ сдѣлать дѣятельнымъ началомъ, — это прямо противоположно естественному порядку. Оттого оно, въ самомъ дѣлѣ, никогда и не удается: воображая ходить на головѣ, ходятъ на ногахъ. Объяснять внѣшнимъ образомъ предметъ — значитъ сознаваться, что нельзя его понять; объяснять предметъ подобіемъ — средство иногда полезное, но большей частію бѣдное: никто не прибѣгаетъ къ аналогіи, если можетъ ясно и просто высказать свою мысль. Не даромъ французы говорятъ: *comparaison n'est pas raison*. Въ самомъ дѣлѣ, строго-логически, ни предмету, ни его понятію дѣлать нѣтъ, похожи ли они на что нибудь, или нѣтъ; изъ того, что двѣ вещи похожи другъ на друга извѣстными

сторонами, нѣтъ еще достаточнаго права заключать о сходствѣ неизвѣстныхъ сторонъ. Въ какія грубыя ошибки, на примѣръ, впадала геологія, желая обобщать факты, выведенные изученіемъ Альпійскихъ Горъ, къ другимъ полосамъ ! Когда извѣстенъ общій законъ, то вы ищите его въ частномъ случаѣ не по одной аналогіи съ другими явленіями, но по логической необходимости. Часто аналогія вытѣсняетъ одно эмпирическое представленіе другимъ ; это по-просту называется отводить глаза. Вы ждете, на примѣръ, объясненія, какимъ образомъ общее чувствилище передаетъ нерву, нервъ мышцамъ движеніе вашей души, а вамъ вмѣсто понятія подсовываютъ образъ музыканта, натянутыхъ струнъ, передающихъ фантазію художника ; простой вопросъ усложняется ; это подобное можно опять свести на что нибудь подобное, и первоначальный предметъ совершенно затеряется въ сходствѣ : это та самая метода, по которой человѣскій портретъ рядомъ подобныхъ копій сводится на изображеніе фрукта. Сюда же принадлежатъ насильно стѣсняемыя представленія, будто бы для вящей понятности : „Если мы представимъ себѣ, что лучъ свѣта состоитъ изъ безконечно-малыхъ шариковъ ээира, касающихся другъ друга....“ Зачѣмъ же я стану себѣ представлять, что свѣтъ солнца падаетъ на меня такъ, какъ дѣти яйца катаютъ, когда я увѣренъ, что это не такъ ? Въ физическихъ наукахъ принято за обыкновеніе допускать подобнаго рода гипотезы, то есть, условную ложь для объясненія ; но ложь не остается внѣ объясненія (иначе она была бы вовсе ненужна), а проникаетъ въ него, и вмѣсто истины получается странная смѣсь изъ эмпирической правды съ логической ложью ; эта ложь рано или поздно обличается и по справедливости заставляетъ сомнѣваться въ истинѣ, спаянной съ нею :

химія и физика принимаютъ атомы, — лѣтъ двадцать тому назадъ атомы составляли основаніе всѣхъ химическихъ изслѣдованій. Принимая ихъ, васъ предупреждаютъ обыкновенно на первой страницѣ, что естествоиспытателямъ собственно дѣла нѣтъ, въ самомъ ли дѣлѣ тѣла состоятъ изъ крупинокъ чрезвычайно-недѣлимыхъ, невидимыхъ, но имѣющихъ свойства, объемъ и вѣсъ, или нѣтъ, — что ихъ принимаютъ такъ для удобства. Такимъ лѣнивымъ приниманіемъ они сами уронили свою теорію; они виноваты въ томъ, что прошедшая философія нападала на атомизмъ съ злымъ ожесточеніемъ; она разсматривала его въ томъ бѣдномъ видѣ, въ которомъ атомизмъ излагался въ введеніяхъ къ курсамъ физики и химіи. Древніе атомисты вовсе не шутили атомами; отправляясь отъ точки зрѣнія, хотя односторонней, но необходимой въ общемъ развитіи, стройно и послѣдовательно, дошли до атомизма; атомъ былъ ими противопоставленъ элеатическому воззрѣнію, распускавшему въ отвлеченіяхъ все сущее; въ атомахъ они видѣли повсюдную средоточность вещества, безконечную индивидуализацію его, *для себя бытіе*, такъ сказать, *каждой точки*. Это одинъ изъ самыхъ вѣрныхъ, существенныхъ моментовъ пониманія природы: въ ея понятіи необходимо лежитъ эта рассыпчатость и цѣлость каждой части, такъ же, какъ непрерывность и единство; само собою разумѣется, что атомизмъ не исчерпываетъ понятія природы (и въ этомъ онъ похожъ на динамизмъ); въ немъ пропадаетъ всеобщее единство; въ динамизмѣ части стираются и гибнутъ; задача въ томъ, чтобъ всѣ эти, для себя сущія искры слить въ одно пламя, не лишая ихъ относительной самобытности. Динамизмъ и атомизмъ явились, при входѣ въ нашу эру, торжественно, громадно, во всепоглащающей сущ-



ности Спинозы и въ монадологіи Лейбница. Это двѣ величавыя грани, это два геркулесова столба возродившейся мысли, воздвигнутые не для того, чтобъ дальше нельзя было идти, а для того, чтобъ нельзя было возвратиться назадъ. Мы будемъ имѣть случай поговорить въ слѣдующихъ письмахъ о монадологіи, объ атомахъ Гассенди,—но вы ужь изъ этого видите, что атомизмъ для мыслителей не былъ шуткой, что атомы представляли для нихъ мысль, истину; атомизмъ составлялъ убѣжденіе, вѣрованіе Левкиппа, Демокрита и др. Физики же съ перваго слова согласны, что ихъ теорія, можетъ быть, вздоръ, но вздоръ облегчительный. А почему же они предають атомы и соглашаются, что можетъ быть вещество не изъ атомовъ? На томъ же прекрасномъ основаніи лѣни и равнодушія, на которомъ принимаютъ всякаго рода предположенія! Если откровенно выразиться, то это можно назвать цинизмомъ въ наукѣ. Пулье говоритъ: „можетъ быть вулканы выбросятъ когда нибудь такія тѣла, у которыхъ атомы будутъ видимы.“ Какое же понятіе послѣ этого сопрягаетъ Пулье съ словомъ „атомъ“? А между тѣмъ, рядомъ съ ними покровительница и благодѣтельница физики — математика такъ логически, такъ ясно показываетъ сознательное, раціональное пониманіе подобныхъ отвлеченій. Математика говоритъ, что линія—бесконечное количество точекъ, въ извѣстномъ порядкѣ расположенныхъ; она принимаетъ возможность бесконечной дѣлимости пространства; но она понимаетъ то, что говоритъ, она понимаетъ не *дѣйствительность*, а *отвлеченную возможность* дѣлимости; еще болѣе, она вмѣстѣ съ тѣмъ понимаетъ и непремѣнное протяженіе, и то, что дѣйствительная форма есть форма стереометрическая; она съ мыслию беретъ точку, линію, площадь и въ сознанныхъ

ею предѣлахъ. Оттого ни одинъ математикъ не ждетъ аэролита, у котораго точки были бы замѣтны, или у котораго бы поверхность отваливалась отъ тѣла. Отъ того математикъ никогда не станетъ дѣлать опытовъ *безконечнаго дѣленія*, не станетъ ни драть слюды, ни капать чернилъ въ бочку воды и послѣ пугать дѣтей расчетомъ, какая доля чернилъ въ одной этой каплѣ воды. Онъ знаетъ, еслибъ безконечная дѣлимость была *фактически-возможною*, то она не была бы *безконечною*. Безъ всякаго сомнѣнія, математика ушла несравненно дальше въ мышленіи противъ физики; одна теорія безконечно-малыхъ доказываетъ это; она не могла стереть съ себя близость съ логикой, не смотря на всѣ старанія; впрочемъ, не надобно забывать (такъ какъ это дѣлаютъ математики), что она, отъ Пифагора начиная, была преимущественно развиваема философами; Декартъ, Лейбницъ, даже Кантъ оживили ее, и, конечно, Лейбницъ не случайно дошелъ отъ монадологіи до дифференціаловъ... Но возвратимся къ нашему предмету.

Натуралисты готовы дѣлать опыты, трудиться, путешествовать, подвергать жизнь свою опасности, но не хотятъ дать себѣ труда подумать, поразсудить о своей наукѣ. Мы уже видѣли причину этой мыслебоязни; отвлеченность философіи и всегдашняя готовность перейти въ схоластическій мистицизмъ или въ пустую метафизику, ея мнимая замкнутость въ себѣ, ея довольство, ненуждающееся ни природой, ни опытомъ, ни исторіей, должно было оттолкнуть людей, посвятившихъ себя естествовѣдѣнію. Но такъ какъ всякая односторонность вмѣстѣ съ плодами производитъ и плевелы, то и естественныя науки должны были поплатиться за узкость своего воззрѣнія, не смотря на то, что оно было втѣснено узкостію противоположной стороны. Бо-

язнь ввѣрится мышленію и невозможность знать безъ мышленія—отразилась въ ихъ теоріяхъ; онѣ личны, шатки, неудовлетворительны; каждое новое открытіе грозитъ разрушить ихъ; онѣ не могутъ развиваться, а замѣняются новыми. Принимая всякую теорію за личное дѣло, внѣшнее предмету, за удобное размѣщеніе частныхъ, натуралисты отворяютъ дверь убійственному скептицизму, а иногда и поразительнымъ нелѣпостямъ. Явленіе гомеопатіи, наримѣръ, само по себѣ неудивительно: во всѣ времена и во всѣхъ отрасляхъ вѣдѣнія были странныя попытки новыхъ ученій, въ которыхъ непремѣнно гнѣздится маленькая истина въ огромной лжи; еще неудивительно, что дамамъ и парадоксальнымъ умамъ понравилось лечить зернышками: они потому и повѣрили въ гомеопатію, что она совершенно невѣроятна. Но какъ объяснить расколъ, овладѣвшій, лѣтъ десять тому назадъ, учеными врачами? Гомеопатическія лечебницы устраивались, издавались журналы, въ каталогахъ книгъ была особая рубрика *Homeopatische Arzneikunde*? Причина одна: медицина, какъ и всѣ естественныя науки, при всемъ богатствѣ матеріаловъ наблюденій, дойдетъ до того конца развитія, котораго жаждетъ человѣкъ, какъ животворнаго начала истины и которое одно можетъ удовлетворить его. Естествоиспытатели и медики ссылаются всегда на то, что имъ еще не до теоріи, что у нихъ еще не всѣ факты собраны, не всѣ опыты сдѣланы, и т. д. Можетъ быть, собранные матеріалы въ самомъ дѣлѣ недостаточны, даже навѣрное такъ; но не говоря о томъ, что фактовъ безконечное множество, и что сколько ихъ ни собирай, до конца все не дойдешь, это не мѣшаетъ поставить надлежащимъ образомъ вопросъ, развитъ дѣйствительныя требованія, истинныя понятія объ отноше-

ніи мышленія къ бытію\*). Нарощеніе фактовъ и углубленіе въ смыслъ нисколько не противорѣчатъ другъ другу. Все живое, развиваясь, растетъ по двумъ направленіямъ: оно увеличивается въ объемѣ и въ то же время сосредоточивается; развитіе наружу есть развитіе внутрь: дитя растетъ тѣломъ и умнѣетъ; оба развитія необходимы другъ для друга и подавляютъ другъ друга только при одностороннемъ перевѣсѣ. Наука — живой организмъ, посредствомъ котораго отдѣляющаяся въ человѣкѣ сущность вещей развивается до совершеннаго самопознанія; у нея тѣ же два роста; наращеніе извнѣ наблюденіями, фактами, опытами — это ея питаніе, безъ котораго она не могла бы жить; но внѣшнее приобрѣтеніе должно *переработаться* внутреннимъ началомъ, которое одно даетъ жизнь и смыслъ кристаллизующейся массѣ свѣдѣній. Приращеніе фактическое, подобно осаждающемуся раствору, непрерывно растетъ, тихо по песчинкѣ набираетъ слои, не теряетъ ничего попавшаго прежде, всегда готово принять новое, не дѣлая, впрочемъ, для него ничего болѣе приѣма; это развитіе безконечнаго успѣха, движеніе прямолинейное, безпредѣльное, апатическое, утоляющее и усиливающее жажду въ одно и то же время, потому что за рядами подробностей открываются новые ряды, и т. д.; *только* этимъ путемъ нельзя достигнуть полнаго и истиннаго знанія, — а это есть исключительный путь фактическихъ наукъ. Разумъ, дѣйствуя нормально, развиваетъ самопознаніе; обогащаясь свѣдѣніями, онъ открываетъ въ себѣ то

\*) Хотя Александръ Македонскій и посылалъ Аристотелю всякихъ животныхъ, но онъ навѣрное зналъ ихъ меньше, нежели Ла-Маркъ, что ему не помѣшало раздѣлить животныхъ на Schorophogъ и Natchorhoga, а это совпадаетъ съ Vertebrata и Avertebrata Ла-Марка.

идеальное средоточіе, къ которому все отнесено, ту безконечную форму, которая все пріобрѣтенное употребить на пластическое самовыполненіе, ту животворную монаду, которая своей мощью огибаетъ около себя прямолинейный и безконечный путь безцѣльнаго эмпирическаго развитія и даетъ ему мѣту не внѣ, а внутри себя; тамъ, и только тамъ открывается человѣку истина сущаго, и эта истина — онъ самъ, какъ разумъ, какъ развивающееся мышленіе, въ которое со всѣхъ сторонъ втекаютъ эмпирическія свѣдѣнія для того, чтобъ найти свое начало и свое послѣднее слово. Этотъ разумъ, эта сущая истина, это развивающееся самопознаніе, — назовите его философіей, логикой, наукой, или просто человѣческимъ мышленіемъ, спекулативной эмпиріей, или какъ хотите, — непрерывно превращаетъ данное эмпирическое въ ясную, свѣтлую мысль, усвоиваетъ себѣ все сущее, раскрывая идею его. У человѣка для пониманія нѣтъ иныхъ категорій, кромѣ категорій разума; частныя науки, враждуя противъ логики, дерутся ея орудіями, даже переносятъ ошибки формальной логики къ себѣ\*).

Странное положеніе естественныхъ наукъ относительно мышленія долго продолжиться не можетъ: онѣ до того богатѣютъ фактами, что нѣхотя взглядъ ихъ дѣлается яснѣе и яснѣе. Онѣ неминуемо должны наконецъ будутъ откровенно и не шутя рѣшить вопросъ объ отношеніи мышленія къ бытію, естествовѣдѣнія къ философіи и громко высказать возможность или невозмож-

\*) Такъ отвлеченныя силы, причины, поляризація, оттолкновеніе и притяженіе, — все это въ физику перешло изъ логики, изъ математики, и, разумѣется, взятое безъ критики, безъ связи, утратило настоящій смыслъ свой.

ность вѣдѣнія истины, признать, что голова человѣка такъ устроена, что ей *только мерещится* истина, *кажется* такою, что она не можетъ вполне знать или знаетъ только субъективно ; что, слѣдственно, знаніе человѣческое—какое-то родовое безуміе, и тогда съ секретомъ эмпириковъ должно сложить руки и, хладнокровно улыбаясь, сказать : „какой вздоръ все это“ ! или понять все отталкивающее такого взгляда, понять, что разумѣніе человѣка не внѣ природы, а есть разумѣніе природы о себѣ, что его разумъ есть разумъ въ самомъ дѣлѣ единый, истинный, такъ какъ все въ природѣ истинно и дѣйствительно въ разныхъ степеняхъ, и что наконецъ законы мышленія—сознанные законы бытія, что, слѣдственно, мысль нисколько не тѣснитъ бытія, а освобождаетъ его ; что человѣкъ не потому раскрываетъ во всемъ свой разумъ, что онъ уменъ и вноситъ свой умъ всюду, а напротивъ, уменъ оттого, что все умно ; сознавъ это, придется отбросить нелѣпый антагонизмъ съ философіей. Мы сказали, что фактическія науки имѣли полное право отворачиваться отъ прежней философій ; но эта односторонняя фаза, которой историческій смыслъ весьма важенъ, если не совсѣмъ миновала, то явно „агонизируетъ.“ Философія, неумѣвшая признать и понять эмпирію, хуже того—умѣвшая обойтись безъ нея, была холодна, какъ ледъ, безчеловѣчно строга ; законы, открытые ею, были такъ широки, что все частное выпадало изъ нихъ ; она не могла выпутаться изъ дуализма, и наконецъ пришла къ своему выходу : сама пошла на встрѣчу эмпиріи, а реализмъ смиренно сходитъ со сцены, въ видѣ романтическаго идеализма—явленія жалкаго, бѣднаго, безжизненнаго, питающагося чужою кровью. Эта школа—послѣдняя представительница реформаціонной схоластики ; она

тщетно рвется къ чему-то иному, недосягаемому, несуществующему, къ прекраснымъ дѣвамъ безъ тѣла, къ горячимъ объятіямъ безъ рукъ, къ чувствамъ безъ груди... и о ней скоро скажутъ, какъ о безумной Козлова :

Ждала, ждала,  
Не дождалась и умерла !

Мыслители и натуралисты начинаютъ понимать, что имъ другъ безъ друга нѣтъ выхода. Они часто, не зная того, встрѣчаются въ главныхъ основаніяхъ своихъ, останавливаются на тѣхъ же вопросахъ : что же мѣшаетъ имъ вполне объясниться ? лѣнь, готовые понятія, предразсудки, идущіе изъ рода въ родъ и равно сильные съ обѣихъ сторонъ. Предразсудки — великая цѣпь, удерживающая человѣка въ опредѣленномъ, ограниченномъ кружку окостенѣлыхъ понятій ; ухо въ немъ привыкло, глазъ присмотрѣлся, и нелѣпость, пользуясь правами давности, становится обще-принятою истиной. Стоитъ ли разбирать ее ? покойнѣе безъ думы, безъ обсуживанія, повторять унаслѣдованныя сужденія, можетъ быть, въ свое время относительно справедливыя, но пережившія свою истину. Цеховые ученые и философы приобрѣтаютъ извѣстный кругъ понятій, извѣстную рутину, изъ которой не могутъ выйти. Учениками еще принимаютъ они на вѣру основныя начала и никогда не думаютъ болѣе объ нихъ ; они увѣрены, что покончили съ ними, что это азбука, на которую смѣшно и не нужно обращать вниманія. Изъ поколѣнія въ поколѣніе передаются схоластическія опредѣленія, раздѣленія, термины и сбиваютъ чистый и прямой смыслъ начинающаго, закрывая ему надолго, часто навсегда возможность отдѣлаться отъ нихъ. Не думайте, что одни ограниченные умы платятъ дань предразсудкамъ

своей васты, — совсѣмъ нѣтъ! Когда Гёте открылъ, описалъ, нарисовалъ человѣческую междучелюстную кость, знаменитый Камперъ сказалъ ему: „все это прекрасно, но вѣдь os intermaxillare не существуетъ въ человѣческой челюсти.“ Разсказывая это, Гёте не вытерпѣлъ, чтобъ не присовокупить\*): „Можетъ быть, назовутъ юношеской заносчивостію, когда непосвященный ученикъ осмѣливается противорѣчить записному мастеру своего дѣла и старается доказать, что онъ вопреки ему правъ; но многолѣтніе опыты научили меня иначе понимать. Вѣчно повторяемая фразы костенѣютъ въ умѣ, наконецъ дѣлаются неподвижными убѣжденіями, и органы воззрѣнія становятся тупы.... Бывали примѣры, что отличные люди въ своемъ ремеслѣ (Handwerk) иной разъ сворачивали нѣсколько съ торной колеи, но главной дороги они никогда не покидаютъ; они боятся новыхъ путей; имъ все-таки кажется вѣрнѣе держаться стараго.“ „Свѣжій человѣкъ“ говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ „не закупленъ; его здоровый глазъ сразу можетъ увидѣть то, чего приглядѣвшійся не видитъ болѣе. Сверхъ этого подчиненія себя привычкѣ и давнопріятому, натуралистовъ останавливаетъ, задерживаетъ странное понятіе о личномъ правѣ въ наукѣ: они истину изобрѣтаютъ такъ, какъ снаряды. Жоффруа Сент-Илеръ, геніальный человѣкъ, безъ всякаго сомнѣнія, чувствовалъ яснѣе другихъ потребность опереть естествовѣдѣніе на болѣе твердыхъ основаніяхъ; онъ добирался до строяющей идеи, до всеобщаго типа, до единства въ многоразличіи естественныхъ произведеній, и проч. Но, замѣтьте, онъ все это хотѣлъ сдѣлать помимо родоваго мышленія человѣчества; онъ воображалъ,

\*) Gôthe's Werke T. xxxvi, zur Osteologie etc.



что онъ самъ лично выдумаетъ все это, требовалъ привилегіи на открытіе. Подобно ему, каждый мыслящій естествоиспытатель придумываетъ отъ себя начало, беретъ въ основу нѣсколько мыслей, ему особенно нравящихся, проводитъ ихъ черезъ всю книгу — и теорія готова. Совершенная отрѣзанность естествовѣдѣнія и философіи часто заставляетъ цѣлые годы трудиться для того, чтобъ приблизительно открыть законъ, давно извѣстный въ другой сферѣ, разрѣшить сомнѣніе, давно разрѣшенное: трудъ и усиліе тратятся для того, чтобъ во второй разъ открыть Америку, для того, чтобъ проложить тропинку — тамъ, гдѣ есть желѣзная дорога. Вотъ плодъ раздробленія наукъ, этого феодализма, оканывающаго каждую полосу земли валомъ и чеканящаго свою монету за нимъ. Философъ знать не хочетъ факты, кичится невѣдѣніемъ практическихъ интересовъ и какъ только начнетъ изъ своихъ всеобщихъ законовъ снисходить къ частности, т. е. къ дѣйствительности — теряется; эмпирикъ — наоборотъ.

Однакоже, съ начала нашего вѣка начало раздаваться слово *примиреніе*; оно раздавалось не даромъ: туманъ начинаетъ падать. Разсказъ главныхъ событій этого замиренія будетъ предметомъ будущихъ писемъ; теперь только нѣсколько словъ вообще.

Къ концу XVIII вѣка, въ тиши кабинетовъ, въ головахъ мыслителей готовился такой же грозный и сильный переворотъ, какъ въ мірѣ политическомъ. Состояніе умовъ было страшно; все кругомъ рушилось — общественный бытъ, понятія о добрѣ и злѣ, довѣріе къ природѣ, къ человѣку, къ вѣрѣ, и, вмѣсто утѣшенія, критическая философія и скептическій эмпиризмъ. Два невѣрія, два скептицизма — и развалины кругомъ. Критическая философія нанесла страшный ударъ идеа-

лизму; сколько ни боролся противъ него эмпиризмъ, идеализмъ устоялъ; но вышелъ человекъ изъ среды его и тяжелымъ ударомъ поставилъ его на краю гроба. Великъ былъ этотъ человекъ въ своей безпощадной, неподкупной логикѣ; распадѣніе его съ догматизмомъ было глубоко, обдуманно; онъ искалъ одной истины и не останавливался ни передъ чѣмъ; онъ поставилъ эти страшные каудинскіе фурулы, называемые антиноміями, и хладнокровно прогналъ подъ нихъ святѣйшія достоянія мысли человѣческой. Вполнѣ воскреснуть идеализму послѣ Канта было невозможно, развѣ въ какихъ нибудь частныхъ, абнормальныхъ явленіяхъ; все склонилось передъ геніальной мощью его. Но возрѣніе это тяжело; была сильна стонческая грудь Фихте, но и та не могла его вынести; невозможность безусловнаго знанія валаа непереходимую грань между человекомъ и истиной. Отъ такого возрѣнія можно сойти съ ума, впасть въ отчаяніе. Гердеръ, Якоби старались спасти отъ кантовскаго вораблекрушенія идеи имъ милыя и дорогія — но чувство дурной оплотъ въ логическомъ бою; наконецъ наплась адамантовая грудь, спокойно и безшумно противопоставившая критической философій свой глубокий реализмъ — это былъ Гёте. Онъ былъ одаренъ въ высшей степени прямымъ взглядомъ на вещи; онъ зналъ это и на все *смотрѣлъ самъ*; онъ не былъ школьный философъ, цеховой ученый — онъ былъ мыслящій художникъ; въ немъ первомъ возстановилось дѣйствительно-истинное отношеніе человека къ міру, его окружающему; онъ собою далъ естествоиспытателямъ великій примѣръ. Безъ всякихъ дальнихъ приготовленій, онъ сразу бросается *in medias res*; тутъ онъ эмпирикъ, наблюдатель; но смотрите, какъ растетъ, развивается изъ его наглядки понятіе даннаго предмета, какъ оно раз-

вертывается, опертое на свое бытіе, и какъ въ концѣ раскрыта мысль всеобъемлющая, глубокая. Прочитайте его „*Metamorphose der Pflanzen*,“ прочитайте его остеологическія статьи, и вы разомъ увидите, что такое реальное, истинное пониманіе природы, что такое спекулативная эмпирія. Для него мысль и природа — *aus einem Guss* „*Oben die Geister und unten der Stein*,“ для него природа — жизнь, та же жизнь, которая въ немъ, и потому она ему понятна, и болѣе того: она звучна въ немъ и сама повѣствуетъ намъ свою тайну. Вслѣдъ за нимъ, изъ среды отвлеченной науки раздался голосъ, опредѣлявшій истину единствомъ бытія и мышленія; онъ обращалъ философію къ природѣ, какъ къ необходимому дополненію, какъ къ своему зеркалу. Торжественно было зрѣлище возвращающагося на землю человѣчества въ лицѣ передовыхъ людей своихъ — въ лицѣ поэта-мыслителя и мыслителя-поэта, склонявшихъ на родную грудь общей матери. Это было разомъ возвращеніе блуднаго сына и спасеніе метафизика изъ ямы.

Шеллингъ, какъ *Виргилій Данту*, только указалъ дорогу, но такъ указываетъ и такимъ перстомъ — одинъ геній. Шеллингъ принадлежитъ къ тѣмъ великимъ и художественнымъ натурамъ, которыя непосредственно, инстинктуально, вдохновенно овладѣваютъ истиной. Въ немъ всегда что-то было родное *Платону* и *Якову Бёму*. Этотъ процессъ вѣдѣнія — тайна генія, а не науки; тайны этой онъ передать не можетъ, такъ какъ художникъ не можетъ передать акта творчества; но вдохновенный языкъ его вызываетъ къ истинѣ и къ пониманію, основываясь на предсуществующемъ сочувствіи человѣка къ истинѣ. Шеллингъ — *valet* науки. Гёте признавалъ себя такимъ, какимъ онъ былъ; онъ въ письмахъ къ

Шиллеру говорить, что у него нѣтъ никакой способности наукообразно развить свои мысли; онъ учитъ на дѣлѣ, онъ до высочайшей степени практиченъ, онъ умѣетъ спускаться въ подробности, не теряя общаго. Шеллингъ, напротивъ, считалъ себя по превосходству философскою, спекулативною натурою, и потому живое свое сочувствіе и предвѣдѣніе старался заморить схоластическою формою; онъ побѣдилъ въ себѣ идеализмъ не на дѣлѣ, а только на словахъ. Его непрактическая, нереальная натура всего яснѣе видна изъ того, что онъ, занимаясь по преимуществу философіей природы, никогда не занялся положительнымъ изученіемъ какой либо отрасли естественныхъ наукъ. Его эрудиція огромна, но онъ знаетъ энциклопедію естествовѣдѣнія,—онъ геніальный дилеттантъ. Гёте, напримѣръ, специалистъ, когда это нужно; ученикъ въ анатомическомъ театрѣ, наблюдатель, рисовальщикъ: онъ работалъ, дѣлалъ опыты, изучалъ практически цѣлые годы остеологию; онъ зналъ, что безъ спеціальности общая теорія все будетъ отзываться идеализмомъ; что собственный взглядъ въ естествовѣдѣніи то же, что чтеніе источниковъ въ исторіи; оттого онъ вдругъ, внезапно открываетъ цѣлый міръ, совершенно новую сторону своего предмета. Эмпирики никогда не отрекались отъ Гёте; всѣ великія мысли его приняты ими, оцѣнены\*); а Шеллинга, протягивавшаго имъ руку философіи, они не поняли и не признали. Натуралисты, послѣдователи Шеллинга, взяли формальную сторону его ученія; духъ, вѣющій въ его

\*) Напримѣръ, его мысль о томъ, что черепъ есть развитіе позвонковъ; его превращеніе частей растенія, о *intermaxillare* и сотни замѣтокъ остеологическихъ. См. у Жоффруа Сент-Илера, Декандоля, и проч.

писаніяхъ, не былъ ими схваченъ; они не умѣли раздуть искры глубокаго созерцанія, разсѣянныя у него вездѣ, въ свѣтлую струю пламени. Нѣтъ, они соорудили изъ его воззрѣнія какое-то странное зданіе метафизико-сентиментальное; схоластическая сухость сочеталась у нихъ съ чисто-нѣмецкой гемютлихвейтъ. Не то, чтобъ они наукообразно или систематически изложили по началамъ Шеллинга философію природы: они взяли двѣ-три общія формулы сухія и отвлеченныя, и на нихъ прикидывали всѣ явленія, всю вселенную. Эти формулы, точно мѣра въ рекрутскихъ присутствіяхъ: кто бы ни взошелъ въ нее, выйдетъ солдатомъ. Даже тѣ изъ натурфилософовъ, которые принесли много пользы фактической части своей науки, не избѣгли ни формализма, ни сентиментальности. Возьмите, напримѣръ, Каруса: онъ сдѣлалъ бездну пользы фізіологіи, но что онъ пишетъ въ своихъ общихъ взглядахъ, въ введеніяхъ? что за разглагольствованіе, что за мысли! Жалѣешь, что дѣльный человѣкъ такъ компрометируется. Выше ихъ всѣхъ стоитъ Окенъ; но и его нельзя совершенно изъять. Въ природѣ Окена неловко и тѣсно и, сверхъ того не менѣе догматизма какъ у другихъ; видна широкая и многообъемлющая мысль; но въ томъ-то и вина Окена, что она видна, какъ мысль: природа какъ будто употреблена имъ для того, чтобъ подтвердить ее. Естественовѣдѣніе Окена явилось съ нѣмецкимъ притязаніемъ на безусловное значеніе, на оконченную архитектонику. Вспомните замѣчаніе, сдѣланное нами выше, что идеализмъ дѣлается недоступенъ ничему, кромѣ своей *idée fixe*; онъ не уважаетъ на столько фактической міръ, чтобъ покоряться его возраженіямъ.

Не помню, гдѣ и когда я читалъ какую-то статью Эдгара Кинѣ о нѣмецкой философіи; статья не очень

важная, но въ ней было премилое сравненіе нѣмецкой философіи съ французской революціею. Кантъ—Мирабо, Фихте—Робеспьеръ, а Шеллингъ—Наполеонъ; вообще, это сравненіе не чуждо нѣкоторой вѣрности; я самъ готовъ сравнить Шеллинга съ Наполеономъ, только обратно Эдгару Кинѣ. Ни имперія Наполеона, ни философія Шеллинга устоять не могли—и по одной причинѣ: ни то ни другое не было вполне организовано и не имѣло въ себѣ твердости, ни отрѣзаться отъ прошлыхъ односторонностей, ни идти до крайняго послѣдствія. Наполеонъ и Шеллингъ явились міру, провозглашая примиреніе противоположностей и снятія ихъ новымъ порядкомъ вещей. Во имя этого новаго порядка вещей, признали Бонапарте императоромъ; пушечный дымъ не помѣшалъ, наконецъ, разглядѣть, что Наполеонъ остался въ душѣ человѣкомъ прошедшаго. Историческій маскарадъ à la Charlemagne въ которомъ Наполеонъ одѣлся очень не въ лицу, окруженный своими герцогами-солдатами, — была *intermedia buffa*, за которой слѣдовало Ватерлоо съ настоящимъ герцогомъ во главѣ. Шеллингъ въ своей области поступалъ такъ, какъ Наполеонъ: онъ обѣщалъ примиреніе мышленія и бытія; но, провозгласивъ примиреніе противоположныхъ направленій въ высшемъ единствѣ, остался идеалистомъ въ то время, какъ Окенъ учреждалъ шеллинговское управленіе надъ всей природой и „Изида“ — монитёръ натурфилософіи, громко возвѣщала свои побѣды. Шеллингъ одѣвался въ Якова Бёма и начиналъ задумывать реакцію самому себѣ, для того, между прочимъ, чтобъ не сознаться, что онъ обойденъ. Шеллингъ вышелъ вверхъ-ногами поставленный Бёмъ, такъ какъ Наполеонъ вверхъ-ногами поставленный Карлъ Великій. Это худшее, что можетъ быть, потому что чрезвычайно

смѣшно. Яковъ Бёмъ, полный мистическаго созерцанія выходитъ во всѣ стороны къ глубокому философскому воззрѣнію, и если его языкъ труденъ и заключенъ въ схоластико-мистической терминологіи, тѣмъ удивительнѣе геніальность его, что онъ умѣлъ этимъ неловкимъ языкомъ высказать великое содержаніе своей мысли; живъ въ началѣ XVI столѣтія, онъ имѣлъ твердость не останавливаться на буквѣ, имѣлъ мужество принимать консеквенціи страшныя для боязливой совѣсти того вѣка; мистицизмъ не только не подавлялъ его мощнаго разума, но окрылялъ его. Шеллингъ, совсѣмъ напротивъ, сдѣлалъ опытъ отъ глубокаго наукообразнаго воззрѣнія спуститься къ мистическому сомнамбулизму, мысль задѣлать въ іероглифъ. Слѣдствіе этого было очень печальное: люди истинно-религіозные и люди не религіозные отреклись отъ него и уступили ему маленькую [Эльбу въ Берлинскомъ Университетѣ. Окенъ остался одинъ съ „Изидой.“ Неудачная борьба съ естествоиспытателями, ихъ непріятная манера возражать фактами, сдѣлали его капризнымъ, ожесточили. Онъ неохотно говоритъ съ иностранцами о своей системѣ; онъ пережилъ эпоху полной славы ея, и развѣ втиши готовить что нибудь.... надобно надѣяться, по крайней мѣрѣ, что онъ не попробуетъ писать зоологію стихами, какъ было придумалъ Шеллингъ для своей теоріи. Всѣ успѣхи въ естествовѣдѣніи совершались внѣ натурфилософіи. Эмпирики не довѣряли ей, боялись ея труднаго языка, ея общихъ взглядовъ, ея практическаго настроенія, ея восторженной сентиментальности. Кювье предостерегалъ Парижскую Академію Наукъ отъ зарейнскихъ теорій; Кузенъ еще радикальнѣе предостерегалъ своими лекціями отъ распространенія во Франціи идеализма. Впрочемъ, французы одарены такимъ вѣрнымъ

взглядомъ на вещи, что ихъ нельзя сбить съ толку. Они скоро поймутъ германскую науку. Будьте увѣрены, не тупость французовъ причиною, что германская наука не переплывала Рейна.

Первый примѣръ наукообразнаго изложенія естествовѣдѣнія представляетъ гегелева энциклопедія. Его строгое, твердо-проведенное воззрѣніе почти-современно Шеллингу (онъ читалъ въ первый разъ философію природы — въ 1804 году, въ Іенѣ); имъ замыкается блестящій рядъ мыслителей, начавшійся Декартомъ и Спинозою. Гегель показалъ предѣлъ, далѣе котораго германская наука не пойдетъ; въ его ученіи явнымъ образомъ содержится выходъ не токмо изъ него, но вообще изъ дуализма и метафизики. Это было послѣднее, самое мощное усиліе чистаго мышленія, до того вѣрное истинѣ и полное реализма, что, вопреки себѣ, оно безпрестанно и вездѣ перегибалось въ дѣйствительное мышленіе, Строгія очертанія, гранитныя ступени энциклопедіи не стѣсняютъ содержанія, такъ, какъ бортъ корабля не мѣшаетъ взору погружаться въ безконечность моря. Правда, логика у Гегеля хранитъ свое притязаніе на неприкосновенную власть надъ другими сферами, на единую, всему-довлѣющую полноту; онъ какъ-будто забываетъ, что логика потому именно не жизненная полнота, что она ее побѣдила въ себѣ, что она *отвлеклась* отъ временнаго: она отвлеченна, потому что въ нее вошло одно вѣчное, она отвлеченна — потому что абсолютна, она знаніе бытія — но не бытіе: она выше его — и въ этомъ ея односторонность. Еслибъ природѣ достаточно было знать, — какъ подъ-часъ вырывается у Гегеля, — то, дойдя до самопознанія, она сняла бы свое бытіе, пренебрегла бы имъ; но ей бытіе такъ же дорого, какъ знаніе: она любитъ жить, а жить



можно только въ вавхическомъ круженіи временнаго; въ сферѣ всеобщаго шумъ и плескъ жизни умолкъ; геній чловѣчества колеблется между этими противоположностями; онъ, какъ Харонъ, безпрестанно перевозитъ изъ временной юдоли въ вѣчную, эта переправа, это колебаніе—исторія, и въ ней собственно все дѣло, а совсѣмъ не въ томъ, чтобъ переѣхать на ту сторону и жить въ отвлеченныхъ и всеобщихъ областяхъ чистаго мышленія. Не только самъ Гегель понималъ это, но Лейбницъ, полтора вѣка назадъ, говорилъ, что монада безвременнаго, конечнаго бытія расплывается въ безконечность при полной невозможности опредѣлиться, удержатъ себя; Гегель всею логикою достигаетъ до раскрытія, что безусловное есть подтвержденіе единства бытія и мышленія. Но какъ дойдетъ до дѣла, тотъ же Гегель, какъ и Лейбницъ, приносить все временное, все сущее на жертву мысли и духу; идеализмъ, въ которомъ онъ былъ воспитанъ, который онъ всосалъ съ молокомъ, срываетъ его въ односторонность, казенную имъ-самимъ,—и онъ старается подавить духомъ, логикою — природу; всякое частное произведеніе ея готовъ считать призракомъ, на всякое явленіе смотритъ свысока.

Гегель начинаетъ съ отвлеченныхъ сферъ для того, чтобъ дойти до конкретныхъ; но отвлеченныя сферы предполагаютъ конкретное, отъ котораго онѣ отвлечены. Онъ развиваетъ безусловную идею и, развивъ ее до самопознанія, заставляетъ ее раскрыться временнымъ бытіемъ; но оно уже сдѣлалось ненужнымъ, ибо помимо его совершенъ тотъ подвигъ, къ которому временное назначалось. Онъ раскрылъ, что природа, что жизнь развивается по законамъ логики; онъ фаза въ фазу прослѣдилъ этотъ параллелизмъ — и это ужъ не

шеллинговы общія замѣчанія, рапсодическія, несвязанныя, а цѣлая система стройная, глубокомысленная, рѣзанная на мѣди, гдѣ въ каждомъ ударѣ отпечатлѣлась гигантская сила. Но Гегель хотѣлъ природу и исторію, какъ *прикладную логику*, — а не логику, какъ отвлеченную разумность природы и исторіи. Вотъ причины, почему эмпирическая наука осталась такъ же хладнокровно-глуха къ энциклопедіи Гегеля, какъ къ диссертациямъ Шеллинга. Нельзя отрицать глубокаго смысла и вѣрнаго взгляда этихъ жалкихъ эмпириковъ, надъ которыми такъ заносчиво издѣвался идеализмъ. Эмпирія была открытой протестаціей, громкимъ возраженіемъ противъ идеализма—такою она и осталась; что ни дѣлалъ идеализмъ, — эмпирія отражала его. Она не уступила шагу\*). Когда Шеллингъ проповѣдовалъ свою философію, большая часть философовъ думала, что время сочетанія науки мышленія съ положительными науками настало: — эмпирики молчали. Философія Гегеля совершила это примиреніе въ логикѣ, приняла его въ основу и развила черезъ всѣ обители духа и природы, покоряя ихъ логикѣ — эмпиризмъ продолжалъ молчать. Онъ видѣлъ, что прародительскій грѣхъ схоластики не совершенно стертъ еще. Безъ сомнѣнія, Гегель поставилъ мышленіе на той высотѣ, что нѣтъ возможности послѣ него сдѣлать шагъ, не оставивъ совершенно за собою идеализма;—но шагъ этотъ не сдѣланъ, и эмпиризмъ хладнокровно ждетъ его; за то, если дождется, посмотрите, какая новая жизнь разольется по всѣмъ

\*) Нужно ли повторять, что эмпиризмъ въ крайностяхъ своихъ нелѣпъ, что его ползанье на-четверенькахъ такъ же смѣшно, какъ нетопырьи полеты идеализма: одна крайность вызываетъ всегда такую же крайность съ противоположной стороны.

отвлеченнымъ сферамъ человѣческаго вѣдѣнія! Эмпиризмъ, какъ слонъ, тихо ступаетъ впередъ, за то уже ступить хорошо.

Смѣшно винить не только Гегеля, но и Шеллинга, что они, сдѣлавъ такъ много, не сдѣлали еще больше: это была бы историческая неблагодарность. Однако нельзя же не сознаться, что какъ Шеллингъ не дошелъ ни до одного вѣрнаго послѣдствія своего воззрѣнія, такъ Гегель не дошелъ до всѣхъ откровенныхъ и прямыхъ результатовъ своихъ началъ; *impliciter* въ немъ всѣ они предсуществуютъ — все, сдѣланное послѣ Гегеля, состоитъ только въ развитіи того, что не развито у него. Гегель понималъ дѣйствительное отношеніе мышленія къ бытію; но понимать не значитъ вполне отречься отъ стараго: оно остается въ нравахъ, въ языкѣ, въ привычкѣ; — путями отвлеченій онъ понялъ свою отвлеченность и удовлетворился этимъ пониманіемъ. Никто изъ рожденных въ плѣну египетскомъ не вошелъ въ обѣтованную землю, потому что въ ихъ крови оставалось нѣчто невольническое: Гегель своимъ геніемъ, мощью своей мысли, подавлялъ египетскій элементъ, и онъ остался у него больше дурною привычкою; Шеллингъ же былъ подавленъ имъ. Гёте не подавлялъ и не былъ подавленъ!

Но пора заключить мое длинное посланіе.

Признаюсь откровенно, что принимаясь писать къ вамъ, я не сообразилъ всей трудности вопроса, всей бѣдности силъ и знаній, всей отвѣтственности приняться за него. Начавъ, я увидѣлъ ясно, что не въ состояніи исполнить задуманнаго; однако не бросаю пера. Если я не могу сдѣлать то, что хотѣлъ, — буду доволенъ тѣмъ, если съумѣю возбудить любопытство узнать ясно

и въ связи то, о чемъ разскажу рапсодически и бѣдно. Польза отъ такого рода Vorstudien, какъ эти письма, только приуготовительная; она знакомитъ общимъ образомъ съ главными вопросами современной науки, устраняя ложныя и невѣрныя мнѣнія, обветшалые предразсудки, и дѣлаетъ доступнѣе науку. Наука кажется трудною не потому, чтобъ она была, въ самомъ дѣлѣ, трудна, а потому, что иначе не дойдешь до ея простоты, какъ пробившись сквозь тьму-темъ готовыхъ понятій, мѣшающихъ прямо видѣть. Пусть входящіе впередъ знаютъ, что весь арсеналъ ржавыхъ и негодныхъ орудій, доставшихся намъ по наслѣдству отъ схоластики, негоденъ, что надобно пожертвовать внѣ науки составленными воззрѣніями, что не отбросивъ всѣ *полу-лжи*, которыми для понятности облачаютъ *полу-истины*, нельзя войти въ науку, нельзя дойти до цѣлой истины.

Что касается до главныхъ основаній, они не мои — они принадлежатъ современному воззрѣнію на науку и тѣмъ сильнымъ органамъ, которыми оно оглашается. Мое только изложеніе и добрая воля. Одинъ принцъ, эмигрантъ, раздавая, помнится въ Митавѣ, табакерки и перстни, присланные ему императрицей Екатериной, присовокуплялъ: „De ma part ce n'est que le mouvement du bras et la bonne volonté“ — я повторяю вамъ его слова\*).

\*) Можетъ быть не вовсе излишнимъ будетъ обратить вниманіе читателей, что слова: „идеализмъ,“ „метафизика,“ „отвлеченіе,“ „теорія“ принимаемы были въ томъ крайнемъ значеніи, гдѣ они ложны, исключительны. Если эти слова принять въ смыслъ болѣе общемъ, взятомъ не изъ историческаго опредѣленія; если имъ подсунуть опредѣленія идеальныя, выйдетъ не то; но я прошу тогда вспомнить, что я ихъ не въ томъ смыслѣ принимаю; для меня эти слова — лозунги, знамена односторонняго направленія, указывающія сразу больное мѣсто. Разумѣется, Аристотель не въ этомъ смыслѣ употреблялъ слово „метафизика“; всякаго человека, рассматривающаго природу, не какъ

## ПИСЬМО ВТОРОЕ

### Наука и природа, — феноменологія мышленія

Начнемъ *ab ovo*. На это есть причины очень-достаточныя; позвольте указать ихъ. Для того, чтобъ понять, съ какимъ логическимъ моментомъ развитія науки встрѣчается естествовѣдѣніе въ современности — недостаточно упомянуть коротко нѣсколько положеній самыхъ рѣзкихъ, самыхъ крайнихъ, нѣсколько началъ, до которыхъ выработалась современная наука, нѣсколько выводовъ, въ которыхъ она сосредоточилась. Ничто не сдѣлано и не дѣлаетъ болѣе вреда философіи, какъ выкраденные результаты безъ связи, формально принимаемые, лишенные смысла и повторяемые съ произвольнымъ толкованіемъ. Слова не до такой степени вбираютъ въ себя все содержаніе мысли, весь ходъ достиженія, чтобъ въ сжатомъ состояніи конечнаго вывода

съзвѣстной припасъ, а какъ нѣчто познаваемое, можно назвать метафизикомъ, такъ какъ всякаго мыслящаго — идеалистомъ. Я счелъ обязанностію сказать, въ какихъ предѣлахъ приняты мною эти слова. Если они не нравятся, пусть читатель замѣнитъ ихъ другими — *le fond de la chose* остается тоже, а мнѣ только въ немъ и дѣло. Еще одно замѣчаніе: гегелево воззрѣніе не принято и не извѣстно въ положительныхъ наукахъ; о методѣ его едва знаютъ во Франціи, но тѣмъ не менѣе гегелизмъ имѣлъ большое вліяніе на естествовѣдѣніе, — вліяніе, котораго источникъ натуралисты не могутъ узнать, но которое очевидно и въ Либихѣ, и въ Бурдахѣ, и въ Распайлѣ, и во многихъ другихъ, хотя большая часть ихъ отречется навѣрное отъ сказаннаго нами. Они сами не знаютъ, какъ приняли въ себя изъ окружающей среды то направленіе, въ которомъ ведутъ науку. Постараюсь въ одномъ изъ послѣдующихъ писемъ доказать сказанное здѣсь.

навязывать каждому истинный и вѣрный смыслъ свой; до него надобно дойти; процессъ развитія снять, скрыть въ конечномъ выводѣ; въ немъ высказывается только, въ чемъ главное дѣло; это своего рода заглавіе, поставленное въ концѣ: оно въ своемъ отчужденіи отъ цѣлаго организма бесполезно или вредно. Что пользы человѣку пезнающему алгебры, въ уравненіи какойнибудь линіи, не смотря на то, что въ этомъ уравненіи все есть: и ея законъ, и построеніе, и всѣ возможные случаи; но они есть только для того, кто знаетъ, какъ вообще составляются уравненія,—словомъ, для человѣка, которому скрытый въ формулѣ путь извѣстенъ, которому каждый знакъ напоминаетъ извѣстный порядокъ понятій: въ общей формулѣ заключена вся истина; но общая формула не есть та органика, въ которой истина свободно разрывается; совсѣмъ напротивъ, она сжимается въ ней, сосредоточивается. Зерно представляетъ такого рода сосредоточеніе растенія; никто зерна не принимаетъ за растеніе, никто не садится подъ тѣнь дубоваго жолудя, хотя онъ содержитъ въ себѣ болѣе, нежели цѣлый дубъ—рядъ прошедшихъ дубовъ, да рядъ будущихъ. Есть случай, въ которомъ можно допустить употребленіе результатовъ безъ поясненія ихъ смысла, именно, когда предшествуетъ достовѣрность, что подъ одними и тѣми же словами разумѣются одни и тѣ же понятія, что есть общепринятое, впередъ-идущее, которое связуетъ говорящаго и слушающаго; въ переходныя эпохи такую достовѣрность можно имѣть только говоря съ близкими друзьями. Всего чаще говорящій во имя науки, мечтаетъ, что весь процессъ, который для него явно скрывается за формальнымъ выраженіемъ, извѣстенъ слушающему, и идетъ далѣе, въ то время, какъ у cadaго идутъ впередъ или лич-

ныя мнѣнія, или повѣрья, и высказанное слово будить въ немъ не умственную самодѣятельность, а именно эти косые и обветшалые предрасудки. По-этому, прошу не сѣтовать за то, что начинаю съ опредѣленія науки, и съ общаго обзора ея развитія.

Дѣло науки—возведеніе всего сущаго въ мысль. Мышленіе стремится понять, усвоить внѣ-сущій предметъ и съ перваго приступа начинаетъ отрицать то, что его дѣлаетъ внѣшнимъ, другимъ, противоположнымъ мысли, то есть, отрицаетъ непосредственность предмета, обобщаетъ его и имѣетъ уже съ нимъ дѣло, какъ съ всеобщимъ: такимъ оно старается его понять. Понять предметъ—значить раскрыть необходимость его содержанія, оправдать его бытіе, его развитіе; понятое необходимымъ и разумнымъ не есть чуждое намъ: оно сдѣлалось ясною мыслью предмета; мысль сознанная и понятая принадлежитъ намъ и сознается нами, потому что она разумна и человѣкъ разуменъ — а разумъ одинъ\*). Неразумное непонятно для насъ, но его и понимать не стѣдуетъ труда: оно необходимо оказывается несущественнымъ, неистиннымъ; оно обнаруживается

\*) *Нѣсколько разумовъ* такое безсмысліе, которое человѣческое воображеніе не только понять, но и представить не можетъ. Если мы пріймемъ, напр., два разума, то истинное для одного будетъ ложью для другаго — иначе они не разные; съ тѣмъ вмѣстѣ, оба разума имѣютъ право считать каждый свою истину истиной, и это право признано нами въ признаніи двухъ разумовъ; если мы скажемъ, что одинъ только понимаетъ истину, тогда другой разумъ будетъ безуміе, а не разумъ. Два различные разума, обладающіе различными истинами, напоминаютъ тѣ унизительные случаи, когда двое присягаютъ, одинъ противоположно другому. Разное пониманіе предмета не значитъ, что разумъ разные, а во-первыхъ, что люди разные, и во-вторыхъ, что въ разныхъ степеняхъ развитія разума, истина опредѣляется различно, съ разныхъ сторонъ однимъ и тѣмъ же разумомъ.

такимъ (говоря школьнымъ языкомъ), чего доказать нельзя, ибо доказательство только и состоитъ въ раскрытіи необходимости предмета, указывающей на разумность его; что разумно, то признано человекомъ; другого критеріума человекъ не ищетъ; оправданіе разумомъ—послѣдняя безапелляціонная инстанція. Само собою разумѣется, что мысль предмета не есть исключительно личное достоинствѣ мыслящаго: не онъ вдумалъ ее въ дѣйствительность, она имъ только сознана; она предсуществовала, какъ скрытый разумъ, въ непосредственномъ бытіи предмета, какъ его во времени и пространствѣ *обличенное* право существованія, какъ надѣлъ, фактически-исполненный законъ, свидѣтельствующій о своемъ неразрывномъ единствѣ съ бытіемъ. Мышленіе освобождаетъ существующую во времени и пространствѣ мысль въ болѣе-соотвѣтствующую ей среду сознанія; оно, такъ сказать, будитъ ее отъ усыпленія, въ которое она *еще* погружена, облеченная плотью, существуя однимъ бытіемъ; мысль предмета освобождается не въ немъ: она освобождается безтѣлесною, обобщенною, побѣдившею частность своего явленія, въ сферѣ сознанія, разума, всеобщаго. Предметное существованіе мысли, воскреснувшей въ области разума и самопознанія, продолжается по прежнему во времени и пространствѣ; мысль получила двойную жизнь: одна—ея прежнее существованіе частное, положительное, опредѣленное бытіемъ; другая—всеобщая, опредѣленная сознаніемъ и отрицаніемъ себя какъ частнаго. Сначала, предметъ совершенно внѣ мышленія; личная умственная дѣятельность человека приступаетъ къ нему, испытывая въ чемъ его истина, въ чемъ его разумъ; по мѣрѣ того, какъ мысль отрѣшаетъ его (и себя) отъ всего частнаго, случайнаго, углубляется въ его разумъ,—она



находить, что это и ея разумъ; отыскивая истину его, она находитъ себя этой истиной; чѣмъ болѣе мысль развивается, тѣмъ независимѣе, самобытнѣе становится она и отъ лица мыслителя и отъ предмета; она связуетъ ихъ, снимаетъ ихъ различіе высшимъ единствомъ, опирается на нихъ, и свободная, самобытная, самозаконная царитъ надъ ними, сочетая въ себѣ два односторонніе момента свои въ гармоническое цѣлое\*). Весь процессъ развитія мысли предмета мышленіемъ рода человѣческаго, отъ грубаго и непримиреннаго противорѣчія, въ которомъ встрѣчаются лицо и предметъ, до снятія противорѣчія сознаніемъ высшаго единства, въ которомъ они являются необходимыми другъ для друга сторонами — весь этотъ рядъ формъ, освобождающихъ истину, заключенную въ двухъ исключительныхъ крайностяхъ (лица и предмета), отъ взаимнаго ограниченія раскрытіемъ и сознаніемъ единства ихъ въ разумѣ, въ идеѣ — составляетъ организмъ науки.

Многіе принимаютъ науку за нѣчто внѣшнее предмету, за дѣло произвола и вымысла людскаго, на чемъ они основываютъ недѣйствительность знанія, даже невозможность его. Конечно, наука не въ вещественномъ бытіи предмета и, конечно, она свободное дѣяніе мысли и именно мысли человѣческой; но изъ этого не слѣдуетъ, что она произвольное созданіе случайныхъ личностей, внѣшнее предмету, въ какомъ случаѣ она была бы, какъ мы сказали, родовымъ безуміемъ. Ограниченная категорія внѣ бытія не прилагивается къ мысли; она ей несущественна, мысль не имѣетъ замкнутой, непреходимой опредѣленности *тамъ или тутъ*, для нея

\*) То есть существованіе, какъ одно *по себѣ бытіе*, и сознаніе, какъ одно *для себя бытіе*.

нѣтъ *alibi*; если же хотятъ употребить эту категорію, то надобно обернуть выраженіе и сказать, что непосредственный предметъ внѣ мысли, внѣ ея, потому что онъ составляетъ собственно ея внѣшность; природа не только внѣшность для насъ,—она сама по себѣ *только* внѣшность; ея мысль сознательная, пришедшая въ себя — не въ ней, а въ *другомъ* (т. е. въ человѣкѣ); напротивъ, родовое значеніе человѣка — быть истиною *себя и другаго* (т. е. природы); сознание есть самопознание; оно начинается съ познанія себя какъ другаго, и достигаетъ познанія себя какъ себя, — сознание вовсе не постороннее для природы, а высшая степень ея развитія, переходъ отъ положительнаго, нераздѣльнаго существованія во времени и пространствѣ, черезъ отрицательное, расторгенное опредѣленіе человѣка въ противоположность природѣ къ раскрытію ихъ истиннаго единства. Откуда и какъ могло бы явиться сознание внѣшнее природѣ и, слѣдственно, чуждое предмету? Человѣкъ не внѣ природы и только относительно противоположенъ ей, а не въ самомъ дѣлѣ; если бы природа дѣйствительно противорѣчила разуму, все матеріальное было бы нелѣпо, нецѣлеобразно. Мы привыкли человѣческій міръ отдѣлять каменной стѣною отъ міра природы—это несправедливо; въ дѣйствительности вообще нѣтъ никакихъ строго - проведенныхъ межей и граней, къ великой горести всѣхъ систематиковъ; но въ этомъ случаѣ, сверхъ того, опускаютъ изъ вида, что человѣкъ имѣетъ свое міровое призваніе въ той же самой природѣ, доканчиваетъ ее возведеніемъ въ мысль; они противоположны, такъ какъ полюсы магнита, или, лучше, какъ цвѣтокъ противоположенъ стеблю, какъ юноша ребенку. Все то, что неразвито, чего не достаетъ природѣ, то есть, то развивается въ человѣкѣ: на

чемъ же можетъ основаться дѣйствительная противоположность ихъ? это былъ бы бой неравный и невозможный. Природа не имѣетъ силы надъ мыслию, а мысль есть сила человѣка; природа, какъ греческая статуя; вся внутренняя мощь ея, вся мысль ея—ея наружность: все, что она могла собою выразить, выразила, предоставляя человѣку обнаружить то, чего она не могла; она относится къ нему, какъ необходимое предшествующее, какъ предположеніе (*Voraussetzung*); человѣкъ относится къ ней какъ необходимое послѣдующее, какъ заключеніе (*Schluss*). Жизнь природы—безпрерывное развитіе, развитіе отвлеченнаго простаго, неполнаго, стихійнаго—въ конкретное полное, сложное, развитіе зародыша расчлененіемъ всего заключающагося въ его понятіи, и всегдашнее домогательство вести это развитіе до возможно-полнаго соотвѣтствія формы содержанію—это діалектика физическаго міра. Всѣ стремленія и усилія природы завершаются человѣкомъ; къ нему они стремятся, въ него впадаютъ они, какъ въ океанъ. Что можетъ быть смѣлѣе предположенія, что послѣдній выводъ, вѣнчающій все развитіе природы—человѣческое сознаніе—въ разногласіи съ нею? Все въ мірѣ стройно, согласно, цѣлеобразно—одна мысль наша сама по себѣ, какая-то блуждающая комета, ни къ чему не-отнесенная, болѣзнь мозга!

Для того, чтобъ мышленіе представилось чѣмъ-то неестественнымъ, совершенно-внѣшнимъ предмету, частнымъ и личнымъ достояніемъ человѣка—его надобно отторгнуть отъ его родословной. Можно ли понять связь и значеніе чего бы то ни было, когда мы произвольно возьмемъ крайнія звѣнья? Можно ли понять соотношеніе камня и птицы? Слѣдя шагъ за шагомъ, легко сбиться съ дороги; если же взять на-удачу два

момента и противопоставить ихъ для раскрытія ихъ связи—выйдетъ трудная, неблагодарная и почти-неразрѣшимая задача: въ родѣ этого разсматриваютъ природу и ея связь съ человѣкомъ, съ мышленіемъ. Обыкновенно, приступая къ природѣ, ее свинчиваютъ въ ея матеріальности, ей говорятъ, какъ нѣкогда Іисусъ Навинъ сказалъ солнцу: „стой! будь мертвымъ субстратомъ, пока я разберу тебя“; но природу остановить нельзя: она процессъ, она теченіе, переливъ, движеніе, она уйдетъ между пальцами, она въ чревѣ женщины сдѣлается человѣкомъ и прососетъ вашу плотину прежде, нежели вы успѣете найти возможнымъ переходъ отъ нея къ міру человѣческому:

Ewig natürlich bewegende Kraft  
Göttlich gesetzlich entbindet und schafft,  
Trennendes Leben, im Leben Verein,  
Oben die Geister und unten der Stein.

Если вы на одно мгновеніе остановили природу, какъ нѣчто мертвое,—вы не токмо не дойдете до возможности мышленія, но не дойдете до возможности наливчатыхъ животныхъ, до возможности поростовъ и мховъ; смотрите на нее какъ она есть, а она есть въ движеніи; дайте ей просторъ, смотрите на ея біографію, на исторію ея развитія — тогда только раскроется она въ связи. Исторія мышленія—продолженіе исторіи природы: ни человѣчества, ни природы нельзя понять мимо историческаго развитія. Различіе этихъ исторій состоитъ въ томъ, что природа ничего не помнитъ, что для нея былого нѣтъ, а человѣкъ носитъ въ себѣ все бывшее свое: отъ-того человѣкъ представляетъ не только себя какъ частнаго, но и какъ родоваго. Исторія связуетъ природу съ логикой: безъ нея они распадаются; разумъ природы только въ ея существованіи, — существованіе логики только въ разумѣ; ни природа, ни логика не

страдаютъ, не раздираются сомнѣніями; ихъ не волну-  
етъ никакое противорѣчіе; одна не дошла до нихъ,  
другая сняла ихъ въ себѣ: въ этомъ ихъ противопо-  
ложная неполнота. Исторія — эпопея восхожденія отъ  
одной къ другой, полная страсти, драмы; въ ней не-  
посредственное дѣлается сознательнымъ, и вѣчная мысль  
низвергается въ временное бытіе; носители ея — не  
всеобщія категоріи, не отвлеченныя нормы, какъ въ  
логикѣ, и не безотвѣтные рабы, какъ естественныя  
произведенія, а личности, воплотившія въ себя эти  
вѣчныя нормы и борющіяся противъ судьбы, спокойно  
парищей надъ природой. Историческое мышленіе — ро-  
довая дѣятельность человѣка, живая и истинная на-  
ука, то всемірное мышленіе, которое само перешло всю  
морфологию природы и, мало-по-малу, поднялось къ со-  
знанію своей самозаконности: во всякую эпоху осажда-  
ется правильными кристаллами знаніе ея, мысль ея въ  
видѣ отвлеченной теоріи, независимой и безусловной:  
это формальная наука; она всякій разъ считаетъ себя  
завершеніемъ вѣдѣнія человѣческаго, но она предста-  
вляетъ отчетъ, выводъ мышленія данной эпохи — она  
себя только считаетъ абсолютной, а абсолютно то дви-  
женіе, которое въ то же время увлекаетъ историче-  
ское сознаніе далѣе и далѣе. Логическое развитіе идеи  
идетъ тѣми же фазами, какъ развитіе природы и исто-  
ріи; оно, какъ аберація звѣздъ на небѣ, повторяетъ  
движеніе земной планеты.

Изъ этого вы видите, что въ сущности все равно,  
разсказать ли логическій процессъ самопознанія, или  
историческій. Мы выберемъ послѣдній. Строгій, свѣт-  
лый, примиренный съ собою шагъ логики менѣе сочув-  
ствующъ съ нами; исторія — вдохновенная борьба, тор-  
жественное шествіе изъ египетскаго плѣненія въ обѣ-

тованную землю; въ логикѣ побѣда извѣстна, она знаетъ свою власть, свою неотразимость, — въ исторіи нѣтъ, и отъ-того ликующій гимнъ радости раздается, когда предъ грядущимъ человѣчествомъ разступается Черное Море, и оно же топить ветхое и неправое притязаніе фараона. Логика—разумнѣе, исторія—человѣчественнѣе. Ничего не можетъ быть ошибочнѣе, какъ отбрасывать прошедшее, служившее для достиженія настоящаго, будто это развитіе — внѣшняя подмостка, лишенная всякаго внутренняго достоинства. Тогда исторія была бы оскорбительна, вѣчное закланіе живаго въ пользу будущаго; настоящее духа человѣческаго обнимаетъ и хранитъ все прошедшее, оно не прошло для него, а развилося въ него; бывшее не утратилось въ настоящемъ, не замѣнилось имъ—а исполнилось въ немъ; проходитъ одно ложное, призрачное, несущественное; оно собственно никогда и не имѣло дѣйствительнаго бытія, оно мертворожденное, — для истиннаго смерти нѣтъ. Не даромъ духъ человѣческій поэты сравниваютъ съ моремъ: онъ въ глубинѣ своей бережетъ всѣ богатства, однажды упавшія въ него; одно слабое, непереносящее ѣдкости соленой волны его — распускается безслѣдно.

Итакъ, для того, чтобъ понять современное состояніе мысли—вѣрнѣйшій путь вспомнить, какъ человѣчество дошло до него, вспомнить всю морфологію мышленія—отъ непосредственнаго, безсознательнаго мира съ природой, предшествовавшаго мышленію, до раскрывающейся возможности полнаго и сознательнаго мира съ собою. Съ самаго начала, намъ придется возстановить тѣ шаги, которыхъ слѣдъ почти утратился, ибо человѣчество не умѣетъ беречь того, что дѣлало безъ мысли: истиннѣе всего остается у него въ памяти,

какъ смутный сонъ дѣтства! Не думайте, что я васъ хочу угостить геснеровскимъ Авелемъ или дикимъ человекомъ энциклопедистовъ — мое намѣреніе гораздо проще: я хочу опредѣлить необходимую точку отправленія историческаго сознанія.

Внѣ человека существуетъ до безконечности много-различное множество частныхъ, смутно переплетенныхъ между собою; внѣшняя зависимость ихъ, намекающая на внутреннее единство, ихъ опредѣленное взаимодействие почти теряется отъ случайностей разбрасывающихъ, сбрасывающихъ, хранящихъ и уничтожающихъ эту „кучу частей, идущихъ въ безконечность,“ по превосходному выраженію Лейбница. Онѣ носятъ въ себѣ характеръ независимой самобытности отъ человека; онѣ были, когда его не было; имъ нѣтъ до него дѣла, когда онѣ явился; онѣ безъ конца, безъ предѣловъ; онѣ безпрестанно и вездѣ возникаютъ, появляются, пропадаютъ. Съ точки зрѣнія разсудка, этотъ вихрь, круговоротъ, беспорядокъ, эта непокорность окружающей среды, должны бы ужасомъ и уныніемъ исполнить человека, подавить его и поселить отчаяніе въ душѣ; но человекъ при первой встрѣчѣ съ природой, смотрѣлъ на нее съ простотою ребенка: онъ ничего не понималъ отчетливо, онъ *не отступалъ* еще отъ міра жизни, въ которомъ очутился, негачія мысли не просыпалась въ немъ, и отъ-того онъ чувствовалъ себя дома и взглядъ его поднятаго чела не могъ быть пораженъ ничѣмъ окружающимъ. Животное имѣетъ это эмпирическое довѣріе, но оно на немъ и останавливается; человекъ тотчасъ начинаетъ обнаруживать, что ему мало этого довѣрія, что онъ чувствуетъ себя властью надъ окружающимъ міромъ. Этимъ частностями, врозь-сущимъ, чего-то не достаетъ: онѣ распадаются, преходящи, безслѣдны; че-

ловѣкъ даетъ имъ средоточіе, и это средоточіе онъ самъ; *словомъ* своимъ исторгаетъ онъ ихъ изъ круговорота, въ которомъ онѣ мелькаютъ и гибнутъ; именемъ даетъ онъ имъ свое признаніе, возрождаетъ въ себѣ, удваиваетъ и сразу вводитъ въ сферу всеобщаго. Мы такъ привыкли къ слову, что забываемъ величіе этого торжественнаго акта вступленія чловѣка на царство вселенной. Природа безъ чловѣка, именующаго ее, — что-то нѣмое, неконченное, неудачное, *avorté*; чловѣкъ благословилъ ее существовать для кого нибудь, возсоздалъ ее, далъ ей гласность. Не даромъ Платонъ такъ восторженно выразился объ очахъ чловѣка, устремленнаго на твердь небесную, и нашелъ ихъ прекраснѣе самой тверди. И звѣрь видитъ, и звѣрь издаетъ звуки, и то и другое — великія побѣды жизни; но чловѣкъ смотритъ и говоритъ, и когда онъ смотритъ и говоритъ — неустроенная куча частныхъ перестаетъ быть громадой случайностей, а обнаруживается гармоническимъ цѣлымъ, организмомъ, имѣющимъ единство. Замѣчательно, что и въ этотъ періодъ естественнаго согласія съ природой, когда еще разсудокъ не отсѣкъ чловѣка мечомъ отрицанія отъ почвы, на которой онъ выросъ — онъ не признавалъ самобытности частныхъ явленій, онъ вездѣ распоряжался какъ хозяинъ, онъ считалъ возможнымъ усвоить себѣ все окружающее и заставить исполнять свои цѣли, онъ вещь считалъ своимъ рабомъ, органомъ, внѣ его тѣла находящимся, собственностью. Мы можемъ втѣснить нашу волю только тому, что своей воли не имѣетъ, или въ чемъ мы отрицаемъ волю; поставить свою цѣль другому, значить его цѣль не считать существовующею, или себя считать его цѣлью.

Чловѣкъ такъ мало признавалъ права природы, что безъ малѣйшихъ упрековъ совѣсти уничтожалъ то, что



ему мѣшало, пользовался чѣмъ хотѣлъ; онъ, подобно Геслеру, заставлявшему самихъ швейцарцевъ строить для себя Цвинг-Ури, обуздывалъ силы природы, противопоставляя одну другой. Природа не только не ужасала человѣка своей величиною и безконечностью, на которыя онъ не обращалъ никакого вниманія, предоставляя въ-послѣдствіи риторамъ всѣхъ вѣковъ стращать себя и другихъ міріадами міровъ и всѣми количественными безмѣрностями, — но даже бѣдствіями, которыя она невольно обрушивала на голову людей: мы нигдѣ не видимъ, чтобъ онъ склонился передъ тупою и внѣшней силою міра; совсѣмъ напротивъ, онъ отворачивается отъ его стихійнаго неустройства и съ молитвою, колѣнопреклоненный, одушевленный горячею вѣрою, обращается къ Божеству. Какъ бы грубо человѣкъ ни представлялъ себѣ верховное начало, божественный духъ — онъ непременно видитъ въ немъ истину, премудрость, разумъ, справедливость, царящіе и побѣждающіе матеріальную сторону существованія. Вѣра въ міродержавство Провидѣнія устраняетъ возможность вѣрить въ неустройство и случайность.

Долго остаться въ начальномъ согласіи съ природою, съ міромъ феноменальнымъ человѣкъ не могъ; онъ носилъ въ себѣ зародышъ, который, развиваясь, долженъ былъ, какъ химическая реакція, разложить его дѣтски-гармоническое существованіе съ природою; природа, какъ внѣшній міръ, не могла быть для него цѣлью: въ каждомъ религіозномъ порывѣ, человѣкъ стремился выйти отъ феноменальнаго міра къ міру, царящему надъ всѣми явленіями. Животное никогда не распадается съ природою: это послѣднее невозмущаемое сочетаніе развитія жизни индивидуальной съ общей жизнію природы; двойственная натура человѣка именно

въ томъ, что онъ, сверхъ своего положительнаго бытія, не можетъ не стать отрицательно къ бытію; онъ распадается не только съ внѣшней природой, но даже съ самимъ собою; эта расторженность мучить его; это мученье гонить его впередъ. Бываютъ минуты слабости и изнуренія, когда тоска и что-то страшное въ этомъ противорѣчій съ природой—подавляютъ человѣка, и онъ, вмѣсто того, чтобъ идти по святымъ указаніямъ перста истины, садится усталый на полдорогѣ,тираетъ кровавый потъ и ставитъ золотого тельца—близкую мету, но ложную. Онъ обманываетъ себя—темно самъ чувствуетъ это; но, какъ бѣшенный Отелло, онъ, снѣдаемый жаждой истины, умоляетъ солгать ему. Чтобъ убѣжать отъ чего-то непокойнаго, страшнаго въ разъединеніи съ физическимъ міромъ, человѣкъ готовъ погрузиться въ грубѣйшій фетишизмъ, лишь-бы найти всеобщую сферу, съ которою сочетать свою индивидуальную жизнь—только не быть чуждымъ въ мірѣ и оставленнымъ на себя. Такъ всякаго рода отдѣльность и эгоизмъ противны всемірному порядку.

Какъ только человѣкъ распался съ природою, у него должна была явиться потребность *знанія*, потребность втораго усвоенія и покоренія внѣшности. Разумѣется, нельзя себѣ представить, чтобъ теоретическая потребность вѣдѣнія отчетливо явилась уму людей; нѣтъ, они и до нея дошли естественнымъ *тактомъ*. Темное сочувствіе и чисто-практическое отношеніе—недостаточны мыслящей натурѣ человѣка; онъ какъ растеніе, куда его ни посади, все обернется къ свѣту и потянется къ нему; но онъ тѣмъ не похожъ на растеніе, что оно тянется и никогда не можетъ достигнуть до желанной цѣли, потому что солнце внѣ его—а разумъ человѣка, освѣщающій его,—внутри, и ему собственно не тянуться

надобно, а сосредоточиться. Сначала человекъ не подозреваетъ этого, и если разумность его приводитъ возможность истины, то онъ далекъ отъ сознанія путей; онъ не свободенъ для пониманія; густыя тучи животной непосредственности еще не разсѣялись, фантастическіе образы сверкаютъ въ нихъ — но не свѣтомъ: путь до сознанія длиненъ; чтобъ дойти до него, человекъ долженъ отречься отъ себя, какъ частности, и понять себя родомъ. Ему надобно сдѣлать съ собою то, что онъ словомъ своимъ совершилъ надъ природой, т. е. обобщить себя. Мало того, что человекъ идетъ далѣе животныхъ, понимая самобытную замкнутость своего я; я есть подтвержденіе, сознаніе своего тождества съ собою, снятіе души и тѣла, какъ противоположныхъ, единствомъ личности — на этомъ остановиться нельзя: надобно понять высшее единство рода съ собою. Это единство начинается поглощеніемъ лица, какъ частности, и испуганный человекъ стремится, напутствуемый ложнымъ чувствомъ самоохраненія, удержать себя, и истинною ставить свое лицо; подтверждая только свое тождество съ собою, человекъ непремѣнно распадается со всей вселенной, со всѣмъ тѣмъ, что онъ чувствуетъ непринлежащимъ своему я. Это неминуемое, мучительное послѣдствіе логическаго эгоизма. И съ него собственно начинается логическое движеніе, стремящееся выйти изъ скорбнаго распаденья; оно возвращаетъ человека изъ этой антиноміи къ гармоніи — но уже не тѣмъ, какимъ онъ вышелъ. Человекъ начинаетъ съ непосредственнаго признанія единства бытія съ *воззрѣніемъ* и оканчиваетъ вѣдѣніемъ единства бытія и мышленіемъ. Распаденіе человека съ природой, какъ вбиваемый клинъ, разбиваетъ мало по малу все на противоположныя части, даже самую душу человека — это *divida et*

іmpрегa логики — путь къ истинному и вѣчному сочетанію раздвоеннаго.

Мы видѣли, что человѣкъ все встрѣченное имъ, все данное чувственной достовѣрностью, опытомъ—отвлекъ отъ переходимости, отъ ускользающей односторонности своимъ словомъ. Человѣкъ называетъ только всеобщее — частность единичную, случайную, *эту* онъ не можетъ назвать: для нея онъ долженъ употребить нисшее средство — указать пальцемъ. Предметъ знанія съ самаго начала, такимъ образомъ, отрѣшенъ отъ непосредственнаго бытія и сохраняетъ свою вѣсущность относительно мышленія уже какъ обобщенный. Этотъ обобщенный предметъ составляетъ непосредственность *вторую* порядка; человѣкъ понимаетъ чуждость его и стремится распустить возродившійся предметъ, вѣщенный ему опытомъ; онъ хочетъ узнать его, совлечь съ него вторую непосредственность и равно не сомнѣвается ни въ его чуждости, ни въ своей возможности понять его какъ онъ есть. Когда явилась потребность *узнать* предметъ, то очевидно, что разумѣніе уже считало его чуждымъ себѣ: это предположеніе незнанія; на чемъ же основывается достовѣрность знанія, возможность его, когда предметъ совершенно намъ чуждъ? Это два предположенія несовмѣстныя, по крайней мѣрѣ не обуславливающія другъ друга. Вы можете назвать даже иллогизмомъ эту врожденную вѣру въ возможность истиннаго вѣдѣнія, идущаго рядомъ съ вѣрою въ чуждость природы; но не забудьте, что въ этомъ иллогизмѣ лежалъ протестъ противъ отчужденія природы, свидѣтельство, что оно не въ самомъ дѣлѣ такъ, залогъ будущаго примиренія. Исторія философіи — повѣсть, какъ этотъ иллогизмъ разрѣшился въ высшей истинѣ. При началѣ логическаго процесса, пред-

метъ остается страдательнымъ и выступаетъ лицо, трудящееся надъ нимъ, посредствующее его бытіе съ своимъ умомъ, озабоченное удержать предметъ какимъ онъ есть, не вовлекая его въ процессъ знанія ; но конкретный, живой предметъ его уже оставилъ, у него передъ глазами отвлеченія, тѣла, а не живыя существа, онъ старается мало по малу придать все недостающее абстракціями, но онѣ долго остаются такими, непрерывно указывая ему своими недостатками дальнѣйшій путь. Этотъ путь намъ легко уже прослѣдить въ исторіи философіи.

Стоитъ ли говорить что нибудь въ опроверженіе плоскаго и нелѣпаго мнѣнія о безсвязности и шаткости философскихъ системъ, изъ которыхъ одна вытѣсняетъ другую, всѣ всѣмъ противорѣчатъ, и каждая зависитъ отъ личнаго производа? — Нѣтъ. У кого глаза такъ слабы, что за наружной формой явленія они не могутъ разглядѣть просвѣчивающее внутренне содержаніе, не могутъ разглядѣть за видимымъ многообразіемъ—невидимое единство, тому, что ни говори, исторія науки будетъ казаться сбродомъ мнѣній разныхъ мудрецовъ, разсуждающихъ каждый на свой салтыкъ о разныхъ поучительныхъ и наставительныхъ предметахъ и имѣвшихъ скверную привычку непременно противорѣчить учителю и браниться съ предшественниками : это атомизмъ, материализмъ въ исторіи ; съ этой точки зрѣнія не одно развитіе науки, а вся всемірная исторія кажется дѣломъ личныхъ выдумокъ и страннаго сплетенія случайностей —взглядъ анти-религіозный, принадлежавшій нѣкоторымъ изъ скептиковъ и недоученой толпѣ. Все сущее во времени имѣетъ случайную, произвольную закраину, выпадающую за предѣлы необходимаго развитія, не вытекающую изъ понятія предмета, а изъ обстоятельствъ,

при которыхъ оно одѣйстворяется; только эту закраину, эту перехватывающую случайность и умѣютъ разглядѣть нѣкоторые люди, и рады, что во вселенной такой же безпорядокъ, какъ въ ихъ головѣ. Ни одинъ маятникъ не удовлетворяетъ общей формулѣ, которая выражаетъ законъ его размаховъ, ибо въ формулу не вводится случайный вѣсъ пластинки, на которой онъ виситъ, ни случайное треніе; ни одинъ механикъ, однако, не усомнился въ истинѣ общаго закона, снявшаго въ себѣ случайныя возмущенія и представляющаго вѣчную норму размаховъ. Развитие науки во времени сходно съ практическимъ маятникомъ—оптомъ оно совершаетъ нормальный законъ (который здѣсь во всей алгебранческой всеобщности дается логикой), но въ частностяхъ вездѣ видны видоизмѣненія временныя и случайныя. Часовщикъ-механикъ можетъ съ своей точки зрѣнія, не забывая о треніи, имѣть въ виду общій законъ, а часовщикъ-работникъ только и видитъ беззаконное отступленіе частныхъ маятниковъ. Разумѣется, что историческое развитие философій не могло имѣть ни строгой хронологической послѣдовательности, ни сознанія, что каждое вновь являющееся воззрѣніе—дальнѣйшее развитие прежняго. Нѣтъ, тутъ было широкое мѣсто свободѣ духа, даже свободѣ личностей, увлеченныхъ страстями; каждое воззрѣніе являлось съ притязаніемъ на безусловную, конечную истину—оно отчасти и было такъ въ отношеніи къ данному времени; для него не было высшей истины, какъ та, до которой онъ достигъ; еслибъ мыслители не считали своего понятія безусловнымъ, они не могли бы остановиться на немъ, а искали бы иное; наконецъ, не надобно забывать, что всѣ системы подразумѣвали, провидѣли гораздо болѣе, нежели высказали; неловкій языкъ ихъ измѣнялъ имъ. Сверхъ ска-

заннаго, каждый дѣйствительный шагъ въ развитіи окруженъ частными отклоненіями; богатство силъ, броженіе ихъ, индивидуальности, многообразіе стремленій проростають, такъ сказать, во всѣ стороны; одинъ избранный стебель влечетъ соки далѣе и выше — но современное сосуществованіе другихъ бросается въ глаза. Искать въ исторіи и въ природѣ того внѣшняго и внутренняго порядка, который вырабатываетъ себѣ чистое мышленіе въ своемъ собственномъ элементѣ, гдѣ внѣшность не препятствуетъ, куда случайность не восходитъ, куда самая личность не принята, гдѣ нѣчему возмутить стройнаго развитія — значитъ вовсе не знать характера исторіи и природы. Съ такой точки зрѣнія, разные возрасты одного лица могутъ быть приняты за разныхъ людей. Посмотрите, съ какимъ разнообразіемъ, съ какою разметанностію во всѣ стороны животное царство восходитъ по единому первообразу, въ которомъ исчезаетъ его многообразіе; посмотрите, какъ каждый разъ, едва достигнувъ какой нибудь формы, родъ рассыпается во всѣ стороны едва-исчислимыми варьяціями на основную тѣму, иные виды забѣгаютъ, другіе отлетаютъ, третьи составляютъ переходы и промежуточные звѣнья, и весь этотъ беспорядокъ не скрываетъ внутренняго своего единства для Гёте, для Жоффруа Сент-Илера: онъ только непонятенъ для неопытнаго и поверхностнаго взгляда.

Впрочемъ, даже и поверхностный взглядъ въ развитіи мышленія найдетъ собственно одинъ рѣзкій и трудно понятный переломъ: мы говоримъ о переходѣ древней философіи въ новую; ихъ сочлененіе схоластикой, ихъ необходимое соотношеніе не бросается въ глаза, — въ этомъ сознаться надобно; но если мы допустимъ (чего вовсе не было), что тутъ было обратное шествіе, можно

ли отрицать, что вся древняя философія — одно замкнутое, художественное произведение цѣлости и стройности поразительной? можно ли отрицать, что, въ своемъ отношеніи, философія новѣйшихъ временъ, рожденная изъ расторженной и двуначальной жизни среднихъ вѣковъ и повторившая въ себѣ эту расторженность при самомъ появленіи своемъ (Декартъ и Бэконъ), правильно устремилась на развитіе до послѣдней крайности обоихъ началъ, и, дойдя до конечнаго слова ихъ, до грубѣйшаго матеріализма и отвлеченнѣйшаго идеализма — прямо и величественно пошла на снятіе двуначалія высшимъ единствомъ? Древняя философія пала оттого, что рѣзко и глубоко она никогда не распадалась съ міромъ, оттого, что она не извѣдала всей сладости и всей горечи отрицанія, не знала всей мощи духа человѣческаго, сосредоточеннаго въ себѣ, въ одномъ себѣ. Новая философія, съ своей стороны, была лишена того реальнаго, жизненнаго, слитно-обнимающаго форму и содержаніе античнаго характера; она теперь начинаетъ пріобрѣтать его — и въ этомъ сближеніи ихъ раскрывается на самомъ дѣлѣ ихъ единство, оно обличается въ самой недостаточности ихъ другъ безъ друга. *Одна* истина занимала всѣ философіи, во всѣ времена; ее видѣли съ разныхъ сторонъ, выражали розно, и каждое созерцаніе сдѣлалось школой, системой. Истина, проходя рядомъ одностороннихъ опредѣленій, многосторонно опредѣляется, выражается яснѣе и яснѣе; при каждомъ столкновеніи двухъ воззрѣній, отпадаетъ плева за плевою, скрывающія ее. Фантазія, образы, представленія, которыми старается человѣкъ выразить свою заповѣдную мысль — улетучиваются, и мысль мало по малу находитъ тотъ глаголъ, который ей принадлежитъ. Нѣтъ философской системы, которая имѣла бы началомъ чи-



стую ложь или нелѣпость ; начало каждой — дѣйстви-  
тельный моментъ истины, сама безусловная истина, но  
обусловленная, ограниченная одностороннимъ опредѣ-  
леніемъ, не исчерпывающимъ ея. Когда вамъ предста-  
вляется система, имѣвшая корни и развитіе, имѣвшая  
свою школу съ нелѣпостію въ основаніи — будьте на-  
столько полны благочестія и уваженія къ разуму, чтобъ,  
прежде осужденія, посмотрѣть не на формальное выра-  
женіе, а на смыслъ, въ которомъ сама школа прини-  
маетъ свое начало, и вы непременно найдете — одно-  
стороннюю истину, а не совершенную ложь. Оттого  
каждый моментъ развитія науки, проходя, какъ одно-  
сторонній и временной, непременно оставляетъ и вѣчное  
наслѣдіе. Частное, одностороннее волнуется и умираетъ  
у подножія науки, испуская въ нее вѣчный духъ свой,  
вдыхая въ нее свою истину. Призваніе мышленія въ томъ  
и состоитъ, чтобъ развивать вѣчное изъ временнаго !

Въ слѣдующемъ письмѣ поговоримъ о Греціи. Эпи-  
графомъ къ греческому мышленію прекрасно служить  
извѣстное изрѣченіе Протагора : „Человѣкъ — мѣрило  
всѣмъ вещамъ : въ немъ опредѣленіе, почему сущее  
существуетъ и не-сущее не существуетъ.“

Село Покровское. — Августъ 1844 г.

### ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

#### Греческая философія

Востокъ не имѣлъ науки ; онъ жилъ фантазіей и  
никогда не устанавливался на столько, чтобъ привести  
въ ясность свою мысль, тѣмъ менѣе развилъ ее научно-  
образно ; онъ такъ расплывался въ безконечную ширь,  
что не могъ дойти до какого нибудь самоопредѣленія.

Востокъ блеститъ ярко, особенно издали; но человѣкъ тонетъ и пропадаетъ въ этомъ блескѣ. Азія — страна дисгармоніи, противорѣчій; она нигдѣ, ни въ чемъ не знаетъ мѣры, — а мѣра есть главное условіе согласнаго развитія. Жизнь восточныхъ народовъ проходила или въ броженіи страшныхъ переворотовъ, или въ косномъ покоѣ однообразнаго повторенія. Восточный человѣкъ не понималъ своего достоинства; оттого онъ былъ или въ прахѣ валяющійся рабъ, или необузданный деспотъ; такъ и мысль его была или слишкомъ скромна, или слишкомъ высокомерна; она — то перехватывала за предѣлы себя и природы; то, отрекаясь отъ человѣческаго достоинства, погружалась въ животность. Религіозная и гностическая жизнь азіатцевъ полна безпокойнымъ метаньемъ и мертвой тишиною; она колоссальна и ничтожна, бросаетъ взгляды поразительной глубины и ребяческой тупости. Отношеніе личности къ предмету провидится, но неопредѣленно; содержаніе восточной мысли состоитъ изъ представленій, образовъ, аллегорій, изъ самаго щепетильнаго раціонализма (какъ у Китайцевъ) и самой громадной поэзіи, въ которой фантазія не знаетъ никакихъ предѣловъ (какъ у Индійцевъ). Истинной формы Востокъ никогда не умѣлъ дать своей мысли и не могъ, потому что онъ никогда не уразумѣвалъ содержанія, а только различными образами мечталъ о немъ. Объ естествовѣдѣніи и думать нечего: его взглядъ на природу приводилъ къ грубѣйшему пантеизму, или къ совершеннѣйшему презрѣнію природы. Среди хаоса иносказаній, мифовъ, чудовищныхъ фантазій, блестятъ по временамъ яркія мысли, захватывающія душу, и образы чуднаго изящества; они искупаютъ многое и надолго держатъ душу подъ своими чарами. Къ числу ихъ принадлежитъ превосходное мѣсто, из-

бранное нами эпиграфом\*). Его приводит Колебрукъ изъ индусскихъ философскихъ книгъ. Что можетъ быть граціознѣе этого образа пестрой, страстной баядеры, отдающей очамъ зрителя? Она невольно напоминаетъ иную баядеру, пляшущую и увлекающую Магадеви. Стихи, выписанные нами изъ Гёте, будто замыкаютъ первый образъ; но индійское возрѣніе до этого не дошло бы: оно остановилось въ своемъ мнѣіи, на томъ, что опредѣленное, сущее только назначено *миновать*; оно не увлекло ни Магадеви, ни брамина какого нибудь, — баядера показалась и ушла; у Гёте, она исторгнута во всей блестящей красотѣ своей отъ гибели: въ вѣчной мысли есть мѣсто и временному—

Und in seinen Armen schwebet  
Die Geliebte mit hervor!

Первый свободный шагъ въ элементъ мышленія совершился, когда человѣкъ сталъ на благородную европейскую почву, когда онъ выдвинулся изъ Азіи: Іонія — начало Греціи и конецъ Азіи. Лишь только люди устроились на этой новой землѣ, какъ начали порывать пеленки, связывавшія ихъ на Востокъ; мысль стала сосредоточиваться изъ фантастической распущенности, искать выхода изъ смутнаго стремленія самоопредѣленіемъ, самообузданіемъ. Въ Греціи человѣкъ ограничивается для того, чтобъ развить всю безграничность своего духа, дѣлается опредѣленнымъ для того, чтобъ выйти изъ неопредѣленнаго состоянія дремоты, въ которое повергаетъ человѣка безхарактерная многосторонность. Вступая въ міръ Греціи, мы чувствуемъ, что на насъ вѣетъ роднымъ воздухомъ — это Западъ, это

\*) Въ началѣ всѣхъ писемъ.

Европа. Греки первые начали протрезвляться отъ азійскаго опьянѣнія и первые ясно посмотрѣли на жизнь, нашлись въ ней; они совершенно дома на землѣ — покойны, свѣтлы, люди. Въ „Иліадѣ“, въ „Одиссеѣ“ мы можемъ узнать знакомое, родственное, а не въ „Магабгаратѣ“, не въ „Саконталѣ.“ Мнѣ всякій разъ становится тяжело и неловко, когда читаю восточныя поэмы: это не та среда, въ которой свободно дышетъ человѣкъ; она слишкомъ просторна и въ то же время слишкомъ узка; ихъ поэмы—давящія сновидѣнія, послѣ которыхъ человѣкъ просыпается, задыхаясь въ лихорадочномъ состояніи, и все еще ему кажется, что онъ ходитъ по косому полу, около котораго вертятся стѣны и мелькаютъ чудовищныя образы, не несущіе ничего утѣшительнаго, ничего роднаго. Чудовищныя фантазіи восточныхъ произведеній были такъ же противны грекамъ, какъ чудовищныя размѣры какихъ нибудь мемноновъ въ семьдесятъ метровъ ростомъ; греки никогда не смѣшивали высокаго съ огромнымъ, изящнаго съ подавляющимъ; греки вездѣ побѣждали отвлеченную категорію количества—на поляхъ мараѳонскихъ, въ статуяхъ Праксителя, въ герояхъ поэмъ и въ свѣтлыхъ образахъ Олимпійцевъ. Они постигли, что тайна изящнаго—въ высокой соразмѣрности формы и содержанія внутренняго и внѣшняго; они поняли, что въ природѣ все развитое блеститъ не огромностію чрева, а, совсѣмъ напротивъ, сосредоточивается до крайне-необходимаго соотвѣтствія наружнаго внутреннему; гдѣ наружное слишкомъ велико—внутреннее бѣдно: моря, горы, степи велики, а конь, олень, голубь, райская птичка малы. Мысль высокой, музыкальной, ограниченной, и именпо потому безконечной, соразмѣрности—чуть ли не главная мысль Греціи, руководившая ее во всемъ; она-то

проявилась въ томъ изящномъ созвучіи всѣхъ сторонъ аѳинской жизни, которое поражаетъ насъ своею художественною прелестью. Идея красоты была для грековъ безусловною идеею; она снимала въ самомъ дѣлѣ противоположность духа и тѣла, формы и содержанія; изсѣкая свои статуи, грекъ всякій разъ изсѣкалъ примирительное сочетаніе тѣхъ началъ, которыя необузданно поддавались распаленной фантазіи на Востокѣ.. Міръ греческій, въ извѣстномъ очертаніи, изъ котораго онъ не могъ выйти, не перейдя себя, былъ чрезвычайно полонъ; у него въ жизни была какая-то *слитность*, то неуловимое сочетаніе частей, та гармонія ихъ, предъ которыми мы склоняемся, созерцая прекрасную женщину; до этой слитности, до этой виртуозности въ жизни, наукъ, учрежденіяхъ новый міръ не дошелъ: это тайна, которую онъ не умѣлъ похитить изъ греческихъ саркофаговъ. Есть люди, которымъ греческая жизнь кажется, именно по соразмѣрности своей, по родству съ природой, по юношеской ясности, плоскою и неудовлетворительною; они пожимаютъ плечами, говоря о веселомъ Олимпѣ и его разгульныхъ жителяхъ; они презираютъ грековъ за то, что греки наслаждались жизнію въ то время, когда надобно было мѣть и мучить себя мнимыми страданіями; они не могутъ забыть, что греки равно поклонялись свѣтлому челу красавицы и циническому поступку гражданина, тѣлесной ловкости атлета и діалектикѣ софиста: они ставятъ гораздо выше ихъ мрачныхъ египтянъ, даже персовъ; объ Индіи и говорить нечего: съ шлегелевой легкой руки, лѣтъ двадцать не знали границъ индопочитанію. Это ничего не доказываетъ; вы можете еще такихъ людей найти, которымъ вообще все здоровое противно,—такія искаженные организаціи, которыя только неестественное на-

слажденеіе считаютъ за истинное; это дѣло психической патологіи. Для насъ, напротивъ, все величіе греческой жизни—въ ея простотѣ, скрывающей глубокое пониманіе жизни; она спокойно у нихъ течетъ между двумя крайностями—между погруженіемъ въ чувственную непосредственность, въ которой теряется личность, и потерю дѣйствительности во всеобщихъ отвлеченіяхъ. Воззрѣніе грековъ намъ кажется матеріальнымъ въ сравненіи съ схоластическимъ дуализмомъ и съ трансцендентальнымъ идеализмомъ нѣмцевъ; въ сущности его скорѣе должно назвать реализмомъ (въ широкомъ смыслѣ слова), и этотъ реализмъ у нихъ является прежде всѣхъ мудрецовъ и ученій. Вѣра въ предопредѣленіе, въ судьбу есть вѣра эмпириі, реализма; она основана на безусловномъ признаніи дѣйствительности міра, природы, жизни: „то, что есть, не случайно; оно предопредѣлено, оно неминуемо, оно должно быть.“ Такая вѣра въ судьбу есть, съ тѣмъ вмѣстѣ, вѣра въ событіе, въ *разумъ внѣшняго*. Мысль (легко освободившаяся отъ мѣховъ политеизма) съ первыхъ шаговъ должна была дойти до созерцанія судьбы закономъ животворящимъ, началомъ (нусъ) всего сущаго; а на этомъ началѣ легко воздвигалась вся великая наука ихъ. Мышленіе грековъ, никогда недоходившее до послѣдней крайности распадѣнія съ природой или существующимъ, до непримимаго противорѣчія безусловнаго съ условнымъ, не имѣло за то въ себѣ ничего судорожнаго; оно не считало своего дѣла святотатственнымъ обличеніемъ тайны, преступнымъ попытаниемъ заповѣднаго, чернокнижіемъ, нечистой связью съ темной силою; напротивъ, оно походило на ясный взглядъ проснувагося человѣка, который радостно приводитъ въ сознаніе окружающій міръ и съ перваго шага понимаетъ, что онъ для того

и призванъ, чтобъ понять и возвести въ мысль; интересъ его безкорыстенъ, чистъ, и потому онъ смѣлъ, гордъ; онъ не трепещетъ, какъ адептъ среднихъ вѣковъ — этотъ тать, подсматривающій тайну природы; самыя цѣли ихъ розны: одинъ хочетъ знать, хочетъ истины; другой власти надъ естествомъ; для одного, природа имѣетъ объективное значеніе, а другой только того и добивается, чтобъ передѣлать ее, чтобъ изъ камня было золото, чтобъ земля была прозрачна. Разумѣется, въ этомъ себялюбивомъ притязаніи видно свое величіе эпохи, и въ уродливой формѣ средневѣковой алхиміи есть сторона, по которой адептъ выше грека. Духъ не сталъ еще самъ предметомъ для грека; онъ еще не довлѣлъ себѣ безъ природы и, стало быть, онъ ее не ставилъ, а принималъ ее, какъ роковое событіе; ключъ къ истинѣ не лежалъ внутри человѣка; этимъ-то ключомъ и считалъ себя алхимикъ. Грекъ не могъ отдѣлаться отъ внѣшней необходимости; онъ нашелъ средство быть нравственно-свободнымъ, признавая ее; этого мало: надобно было самую судьбу превратить въ свободу, надобно было все побѣдить разуму; надобно было выстрадать эту побѣду; но греки не умѣли страдать; они принимали легко самые тяжелые вопросы. Неоплатоники поняли это и пошли по иному пути; то, чего не доставало греческому воззрѣнію, сдѣлалось началомъ и точкою отправленія,—но ужъ было поздно. Съ неоплатониковъ начался идеализмъ, какъ господствующее направленіе, какъ единое истинное мышленіе; мысль стала иначе, утратила дѣйствительность и реализмъ истинно-греческой философіи. Соединеніе этихъ сторонъ, быть можетъ, важнѣйшая задача грядущей науки\*).

\*) Излагая главные моменты греческой философіи, я слѣдовалъ

Начало знанія есть сознательное противоположеніе себя предмету и стремленіе снять эту противоположность мыслию. Іонійская философія представляет намъ въ богатомъ и широкомъ развитіи этотъ моментъ. Пробужденное сознаніе останавливается предъ природой и ищетъ подчинить ея многообразіе единству, чему ни-будь всеобщему, царящему надъ частнымъ. Это первая потребность человѣка, когда онъ просыпается отъ неопредѣленныхъ сновидѣній чувственно-непосредственнаго воззрѣнія, когда онъ перестаетъ удовлетворяться фантазіями и, недовольный, жаждетъ не образовъ, а пониманія; но этого всеобщаго единства человѣкъ не ищетъ сначала ни въ себѣ, ни въ духовномъ элементѣ вообще, а въ самомъ предметѣ, и притомъ какъ сущаго, — онъ еще такъ привыкъ къ непосредственности, что не можетъ разомъ оторваться отъ нея. Предметъ его знанія также непосредственный, данный эмпиріей — природа. Для того, чтобъ себя поставить предметомъ, надобно много прожить мыслию, надобно, между прочимъ, усомниться въ полной дѣйствительности природы. Практически, безсознательно человѣкъ поступалъ, какъ властимущій надъ окружающимъ міромъ или, лучше, надъ

„Лекціямъ Гегеля объ исторіи древней философіи.“ Въ мѣста, цитованныя мною изъ Платона, Аристотеля, взяты отсюда. Исторія древней философіи у него отдѣлана до высокаго художественнаго совершенства; кажется, нельзя того же сказать объ его исторіи новой философіи: она бѣдна и мѣстами одностороння, даже пристрастна (напр., какъ мало оцѣненъ подвигъ Канта!) Знакомые съ германской философіей увидятъ въ самомъ изложеніи древней философіи нѣкоторыя довольно важныя отступленія отъ „Лекцій объ исторіи философіи.“ Я во многихъ случаяхъ не хотѣлъ повторять чисто абстрактныхъ и пропитанныхъ идеализмомъ мнѣній германскаго философа, тѣмъ болѣе, что въ этихъ случаяхъ онъ былъ невѣренъ себѣ и платилъ дань своему вѣку.



окружающими его частностями, — отрицалъ ихъ само-  
бытность; но теоретически, общимъ образомъ, созна-  
тельно онъ не совершилъ еще этого шага. Напротивъ,  
у человѣка есть врожденная вѣра въ эмпиризмъ и въ  
природу, такъ какъ врожденная вѣра въ мысль; отда-  
ваясь этой вѣрѣ въ физическій міръ, человѣкъ въ немъ  
ищетъ „начала всѣхъ вещей,“ т. е. единства, изъ ко-  
торого все проистекаетъ, въ которому все стремится,  
— всеобщее, обнимающее всѣ частности. Откуда было  
Іонійцамъ взять такую дерзость, чтобъ обратиться къ  
груди своей и въ ней искать этого начала? Вспомните,  
что едва Гёте чрезъ тысячелѣтіе осмѣлился сдѣлать  
вопросъ: „зерно природы не лежитъ ли въ сердцѣ че-  
ловѣка?“ — и его не поняли современники! Іонійцы съ  
отроческою простотою въ самой природѣ искали *начала*;  
они его искали какъ сущее между существующимъ,  
какъ высшую вещественность, составляющую основу про-  
чихъ вещей; ихъ непривыкнувшій къ отвлеченіямъ умъ  
не могъ иначе удовлетворяться, какъ естественною ви-  
димостью начала. Ни знаніе, ни мышленіе никогда не  
начинаются съ полной истины, — она ихъ цѣль; мышле-  
ніе было бы ненужно, еслибъ были готовыя истины, —  
ихъ нѣтъ; но развитіе истины составляетъ ея орга-  
низмъ, безъ котораго она недѣйствительна. Мышленіемъ  
истина развивается изъ бѣднаго, отвлеченнаго, одно-  
сторонняго опредѣленія до самаго полнаго, конкрет-  
наго, многосторонняго, достигая этой полноты рядомъ  
самоопредѣленій, непрерывно углубляющихся въ ра-  
зумъ предмета. Первое, начальное опредѣленіе, самое  
внѣшнее, самое неразвитое — зерно, возможность, тѣсная  
сосредоточенность, въ которой потеряны различія; но  
съ каждымъ шагомъ дальнѣйшаго самоопредѣленія, исти-  
на находитъ болѣе и болѣе органовъ для своего иде-

альнаго бытія: такъ разумъ въ новорожденномъ становится дѣйствительностью только тогда, когда органы младенца достаточно разовьются, окрѣпнутъ, возмужаютъ, когда его мозгъ сдѣлается способенъ вынести разумъ. Но гдѣ же въ природѣ, въ этомъ непрерывномъ круговоротѣ измѣненій, въ которомъ двухъ разъ не встрѣтимъ однѣ и тѣ же черты, гдѣ въ ней найдти всеобщее начало, по крайней мѣрѣ такую сторону ея, которая всего ближе выражала бы мысль единства и покоя въ безпокойномъ многоразличіи физическаго міра? Ничего не могло быть естественнѣе, какъ принятіе *воды* за это начало: она не имѣетъ опредѣленной, стоячей формы; она вездѣ, гдѣ есть жизнь; она вѣчное движеніе и вѣчное спокойствіе —

Wasser umfängt  
Ruhig das All!

Безъ сомнѣнія, Өалесъ, признавая началомъ всему воду, видѣлъ въ ней болѣе, нежели *эту* воду, текущую въ ручьяхъ. Для него, вода не только вещество, отличное отъ другихъ веществъ земли, воздуха, но вообще текучій растворъ, въ которомъ все распускается, изъ котораго все образуется; въ водѣ осядаетъ твердое, изъ нея испаряется легкое; для Өалеса она, вѣроятно, была и образъ мысли, въ которой снято и хранится все сущее: только въ этомъ значеніи—широкомъ, полномъ мысли, эмпирическая вода, какъ начало, получаетъ истинно-философскій смыслъ. Вода Өалеса, — существующая стихія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, мысль, представляетъ первое мерцаніе и просвѣчиваніе идеи сквозь грубую физическую кору, отъ которой она еще не освободилась. Это дѣтское провидѣніе единства бытія и мышленія, это фетишизмъ въ сверѣ логики и фетишизмъ превосходный. Вода—спокойная, глубокая среда,

вѣчно дѣятельная раздвоеніемъ (сгущаясь, испаряясь), —вѣрнѣйшій образъ понятія, расторгающагося на противоположныя опредѣленія и служащаго связью имъ. Само собою разумѣется, что вода не соотвѣтствуетъ тому понятію всеобщей сущности, которое съ нею сопрягалъ Өалесъ; но здѣсь не такъ важно истинное понятіе воды, какъ именно *ею* понятіе о водѣ: изъ *ею* понятія о водѣ мы узнаемъ его понятіе о началѣ. Во время неразвитости мышленія, методы, языка, подъ односторонними опредѣленіями кроется несравненно-болѣе, нежели сколько лежитъ въ строгомъ прозаическомъ смыслѣ высказанныхъ словъ. Мы часто будемъ видѣть, какъ изъ-за неловкаго выраженія проглядываетъ глубокое созерцаніе, и потому весьма важно усвоить себѣ смыслъ, въ которомъ сама система понимала свои начала. Сказать просто: Өалесъ считаетъ всему началомъ воду, а Пифагоръ число, не заботясь о томъ, что для одного представляла вода, а для другаго число, значитъ выдать ихъ за полусумасшедшихъ или за ту-поумныхъ. Выраженіе „глоссологія“ измѣняетъ имъ; они *болѣе* мысли хотятъ втѣснить въ образъ, ими избранный, нежели онъ можетъ впитать въ себя; но отъ этого нельзя отрицать или пренебрегать тою стороною ихъ мысли, которая, если не нашла достодолжнаго выраженія, то навѣрное оставила мощный слѣдъ. Такъ въ животныхъ низшей организаціи замѣчаемъ мы указанія, намеки, такъ сказать, на тѣ части и органы, которые вполнѣ развиваются только въ высшихъ животныхъ; ненужная, по-видимому, неразвитость есть непереложное условіе будущаго совершенства. Каждая школа подъ своимъ началомъ разумѣла болѣе формально-высказаннаго, и потому считала свое начало безусловнымъ, себя въ обладаніи всею истиною — и была

отчасти права; напротивъ, слѣдующее за ней воззрѣніе видитъ обыкновенно только формально-высказанное и стремится снять односторонность, изъясляющую притязаніе на всеобщность, какой нибудь новой односторонностью съ тѣмъ же притязаніемъ; завязывается беспощадная борьба, и нападающій тупо не догадывается, что въ самомъ дѣлѣ проходящій моментъ обладалъ истиною, но въ несоотвѣтственной формѣ; недостатки же формы замѣнялъ живымъ духомъ своимъ. Съ своей стороны, проходящій моментъ также мало понимаетъ, что выталкивающій его имѣетъ права на то во имя той стороны истины, которою онъ обладаетъ. Эмпирическимъ носителемъ іонійской мысли о единствѣ не была одна вода; она такъ рѣзко индивидуальна, что не можетъ удовлетворять всѣмъ требованіямъ всеобщаго начала. Воздухъ, какъ по превосходству безвидный, разрѣженный, былъ также принимаемъ нѣкоторыми изъ Іонійцевъ за начало. Наконецъ, они сдѣлали попытку со-всѣмъ оторваться отъ естественной сущности и перейти въ сферу тѣхъ отвлеченій, которыя составляютъ пропилеи логики; они отрицали прямо конечное въ пользу безконечной основы въ родѣ матеріи, вещества нынѣшнихъ физиковъ; безконечное Анаксимандра было именно вещество, лишенное всякаго качественного опредѣленія: таковъ былъ первый, полудѣтскій, но твердый шагъ науки. Расходящіяся гометрическія представленія приводятся къ единству, единство это ищется въ природѣ, самобытность частнаго не признается состоятельной предъ всеобщимъ началомъ, какъ бы это начало ни было опредѣлено: такое подчиненіе единству и всеобщему—настоящій элементъ мышленія. Немного дальновидности надобно было имѣть, чтобъ понять, что противъ этого единства политеизмъ не устоитъ. Судь-

ба Олимпа была рѣшена въ ту минуту, какъ Thalès обратился къ природѣ; отыскивая въ ней истину, онъ, какъ и другіе Іонійцы, выразилъ свое воззрѣніе независимо отъ языческихъ представленій. Жрецы поздно выдумали наказывать Анаксагора и Сократа; въ элементѣ, въ которомъ двигались Іонійцы, лежалъ зародышъ смерти элевзинскихъ и всѣхъ языческихъ таинствъ. Кто упрекнетъ Іонійцевъ въ томъ, что они, принимая за начало эмпирическую стихію, показали недостаточное понятіе объ элементѣ мысли, — будетъ правъ; но, съ другой стороны, пусть онъ оцѣнитъ чисто реальный греческій тактъ, заставившій ихъ искать свое начало въ самой природѣ, а не внѣ ея, искать безконечное въ конечномъ, мысль въ бытіи, вѣчное во временномъ. Почва наукообразная была пріобрѣтена ими, *сущее начало* не могло на ней удержаться; но она была способна къ развитію; это была начальная ступень: ступившему на нее открывалась цѣлая лѣстница.

Прежде, нежели мышленіе перешло отъ чувственныхъ и сущихъ опредѣленій безусловнаго къ опредѣленіямъ отвлеченно-логическимъ, оно естественнымъ образомъ должно было попытаться выразить безусловное промежуточнымъ моментомъ, найти истину между крайностями сущаго и отвлеченнаго. Эта готовность осуществить всякую возможность принадлежитъ безпощадному и вѣчно дѣятельному характеру жизни, какъ въ историческомъ мірѣ, такъ и въ физическомъ; органическое развитіе вещества не оставляетъ втунѣ ни одной возможности, не призывавъ ее къ жизни. Между чувственными опредѣленіями и опредѣленіями чисто логическими, Пифагоръ нашелъ нѣчто постоянное, связующее ихъ, принадлежащее имъ обоимъ, не чувственное и не мысль—число. Смѣлость и, слѣдственно, крѣпость мы-

сли пифагорейской очевидна; все сущее, принимаемое обыкновенно за действительность, опрокинуто, и на мѣсто эмпирическаго существованія поднято и признано за истину нѣчто невещественное, мыслимое, но при томъ далеко не субъективное, а такъ сказать, мыслимое, снимаемое съ вещественнаго. „Пифагорейцы“ говоритъ Аристотель: „принимали устройство вселенной за согласную систему чиселъ и ихъ отношеній.“ Они исторгли *постоянное отношеніе* изъ вѣчной переменности феноменальнаго бытія, и оно въ самомъ дѣлѣ царить надъ всѣмъ сущимъ. Математическое міросозерцаніе, основанное пифагорейцами и получившее богатое развитіе въ новѣйшія времена, потому и сохранилось черезъ всѣ вѣка, что въ немъ есть сторона глубоко-истинная; математика стоитъ между логикой и эмпиріей, въ ней уже признана объективность мысли и логичность событія; ея враждебное отношеніе къ философіи формально не имѣетъ никакого основанія. Само собою разумѣется, что отношеніе предметовъ, моментовъ, фазъ, гармоническіе законы, ихъ связующіе, ряды, которыми они развиваются, не исчерпываютъ *всего* содержанія ни природы, ни мысли. Пифагорейцы не замѣчали, что подъ числомъ разумѣли несравненно-болѣе, нежели сколько лежало въ понятіи числа; они не замѣчали, что въ числѣ остается нѣчто мертвое, безстрастное, пренебрегающее конкретнымъ содержаніемъ, равнодушная мѣра. Для нихъ порядокъ, согласіе, гармоническое числовое сочетаніе удовлетворяли всѣмъ требованіямъ, но удовлетворяли потому, что они собственно не останавливались на чисто-математическихъ опредѣленіяхъ; геніальность учителя и пламенная фантазія учениковъ привносили всю полноту содержанія, недостававшего началамъ. Это иллогическое дополненіе

мы постоянно будемъ встрѣчать во всей греческой философіи; это, такъ сказать, перехватывающая субъективность генія грековъ, а съ другой стороны—неспособность ихъ къ чистымъ отвлеченіямъ. На этой неотрѣшимости грековъ отъ реализма и на провидѣніи истины болѣе, нежели на сознаніи, основана полнота распадѣнія личности съ природой въ древнемъ мірѣ. Число, оставленное само на себя, не могло удержаться на той высотѣ, на которую его поставили пифагорейцы: „оно не носило въ себѣ начала самодвиженія,“ какъ замѣтилъ Аристотель. Но для нихъ единица была не только арифметическая единица, первый членъ, ключъ, рядъ, мѣра,—для нихъ она была, вмѣстѣ съ тѣмъ, безусловнымъ единствомъ, могуществомъ и возможностью самораздвоенія, животворящей монадой, гермафродитомъ, въ себѣ хранящимъ свое раздвоеніе и не теряющимъ своего единства при развитіи въ многообразіе. Они были такъ проникнуты порядкомъ, согласіемъ, гармоніею, числовымъ сочетаніемъ, вездѣсущимъ ритмомъ, что для нихъ вселенная представлялась статико-музыкальнымъ цѣлымъ. И кто откажетъ въ величіи ихъ представленію десяти небесныхъ сферъ, расположенныхъ по строгому порядку, не только въ извѣстномъ отношеніи къ величинѣ и скорости, но и въ музыкальномъ отношеніи; ринутые въ свое вѣчное движеніе, обтекая орбиты свои, они издають согласные звуки, сливающиміся въ одинъ величественный, вселенскій хоралъ. По-видимому, удаленное отъ всего поэтическаго, воззрѣніе математики очень близко ко всему фантастическому и мистическому. Безумнѣйшіе мистики всѣхъ вѣковъ опирались на Пифагора и создавали свою науку чиселъ; въ математическомъ воззрѣніи есть что-то сумрачно-величавое, аскетическое, плотоумерщвляющее: оно-то, вмѣ-

сто реальныхъ страстей, и располагаетъ фантазію къ астрологіи, кабалистикѣ, и проч.

Еще шагъ мысли по этому пути обобщенія — и она должна была порвать послѣднія путы и явиться въ своей области, то есть оторваться не токмо отъ чувственного, отъ числоваго, но и вообще отъ всякаго дѣйствительнаго опредѣленія, — пожертвовать полнотою многоразличія отвлеченному единству всеобщаго. Такой шагъ, съ одной стороны, освобождаетъ мысль отъ всего, ограничивающаго ее, съ другой — ведетъ къ величайшимъ отвлеченностямъ, въ которыхъ все пропадаетъ, въ которыхъ потому и свободно, что пусто. Отрѣшати предметъ отъ односторонности реальныхъ опредѣленій, значитъ, съ тѣмъ вмѣстѣ, дѣлать его неопредѣленнымъ: чѣмъ общѣе сфера, тѣмъ она кажется ближе къ истинѣ, тѣмъ болѣе устранено усложняющихъ односторонностей: на самомъ дѣлѣ не такъ; сдирая плевую за плевой, человекъ думаетъ дойти до зерна, а между тѣмъ, снявъ послѣднюю, онъ видитъ, что предметъ совсѣмъ исчезъ; у него ничего не остается, кромѣ сознанія, что это не ничего, а результатъ снятія опредѣленій. Очевидно, что такимъ путемъ до истины не дойдешь. По несчастію, этой очевидности не хотѣли видѣть; напротивъ, обобщая категоріи, очищая предметъ отъ всѣхъ его опредѣленій, качественныхъ и количественныхъ, съ торжествомъ останавливаются на отвлеченнѣйшемъ признаніи тождества его съ собою, и *призракъ* чистаго бытія принимаютъ за истину дѣйствительно-сущаго; чистое бытіе становится въ родѣ духа, улетѣвшаго изъ усопшаго и витающаго надъ трупомъ, безъ силы его оживить. Для логическаго процесса, для феноменологическаго движенія мысли не можетъ быть лучшаго предположенія, лучшей точки отправленія, какъ чистое бытіе, —



начало не можетъ быть ни опредѣленнымъ, ни имѣющимъ посредства : чистое бытіе именно неопредѣленная непосредственность, — наконецъ, въ началѣ не можетъ быть дѣйствительной истины, а одна возможность ея. Дайте какое хотите опредѣленіе, какое хотите развитіе чистому бытію, — оно сдѣлается бытіемъ опредѣленнымъ, дѣйствительнымъ, и измѣнитъ характеру начала, возможности. Чистое бытіе — пропасть, въ которой потонули всѣ опредѣленія дѣйствительнаго бытія (а между тѣмъ, они-то одни и существуютъ), не что иное, какъ логическая абстракція, такъ какъ точка, линія — математическія абстракціи ; въ началѣ логическаго процесса, оно столько же бытіе, сколько небытіе. Но не надобно думать, что бытіе опредѣленное возникаетъ въ самомъ дѣлѣ изъ чистаго бытія, — развѣ изъ понятія рода возникаетъ существующій индивидъ ? мысль начинается съ этихъ абстракцій, и движеніе ея необходимо обличаетъ отвлеченность ихъ и отказывается отъ нихъ всѣмъ дальнѣйшимъ движеніемъ. Мысль въ началѣ логическаго процесса — именно способность отвлеченнаго обобщенія ; конечное и опредѣленное достигаетъ въ мысли безконечности, неопредѣленной сначала, но опредѣляющейя цѣлымъ рядомъ формъ, которыя, наконецъ, получаютъ полную опредѣлительность и такимъ образомъ замыкаютъ безконечное и конечное сознательнымъ единствомъ.

Чистое бытіе было принято за истину, за безусловное элеатиками ; они абстракцію чистаго бытія приняли за дѣйствительность, *болѣе дѣйствительную*, нежели бытіе *опредѣленное*, за верховное единство, царящее надъ многообразіемъ. Такое логическое, холодное, отвлеченное единство безотрадно ; въ немъ гибнетъ всякое различіе, всякое движеніе ; это вѣчный покой, нѣмая безгранич-

ность, штиль на морѣ, летаргическій сонъ, наконецъ смерть, небытіе. Въ самомъ дѣлѣ, элеатики отрицали всякое движеніе, не признавали истины многообразія—это индійскій квіэтизмъ въ философіи. Бытіе свидѣтельствуешь только о томъ, что *оно есть*; меньше, бѣдиѣ ничего нельзя сказать о предметѣ, какъ то, что онъ есть,—это повтореніе слова „омъ! омъ!“ браминомъ, достигшимъ желанной близости къ Вишну, ставшимъ на краю пропасти, къ которой онъ стремился, чтобъ освободиться отъ своей индивидуальности. Бытію, для того только, чтобъ быть, нѣтъ нужды въ движеніи; для дѣятельности надобно, чтобъ бытію чего нибудь не доставало, чтобъ оно стремилось къ чему нибудь, боролось съ чѣмъ нибудь, чего нибудь достигало бы. Но то, къ чему можетъ бытіе стремиться, было бы внѣ его,—стало быть, его не было бы. Элеатики очень последовательно отрицали движеніе и небытіе. „Бытіе,“ говорилъ Парменидъ: „есть, а небытія вовсе нѣтъ.“ Вѣрные реальному такту грековъ, элеатики не смѣли идти до послѣдняго логическаго вывода; ихъ языкъ не повернулся бы признаться, что чистое бытіе тождественно небытію; какой-то инстинктъ шепталъ имъ, что какъ хочешь абстрагируй, но субстрата, но вещества не уничтожишь, что бытіе самобѣднѣйшее его свойство, но за то и самонеотъемлемѣйшее, что его на самомъ дѣлѣ уничтожить нельзя, *некуда дѣтъ*; отвернуться только можно отъ него, или не узнать его въ видоизмѣненіяхъ. Въ XVIII столѣтіи, на эту мысль неизмѣняемости вещественнаго бытія—попалъ знаменитый Лавуазье. „Вѣсь вещества,“ сказалъ онъ: „не можетъ никогда утратиться, количество матеріи постоянно; отвлекаясь отъ качественныхъ измѣненій, мы остаемся при неизмѣнномъ вѣсѣ.“ На этой элеатико-левкиповской мысли основыва-

ясь, онъ взялъ химическіе вѣсы въ руки, — и вы знаете великіе результаты, до которыхъ онъ и его послѣдователи достигли. Долго удержаться на страшной всеобщности чистаго бытія мысль человѣческая не могла. Успокоившись въ отвлеченномъ просторѣ чистаго бытія, нельзя не понять наконецъ, что этотъ просторъ — совершеннѣйшее безразличіе, безразличіе, сходное съ предположеніемъ силы расширительной, дѣйствующей на свободѣ въ шеллинговомъ построеніи физическаго міра: она до того расширяется, не встрѣчая препятствія, что ея нѣтъ; тутъ ужъ поздно ее спасти силой сжимающей. Но дѣло въ томъ, что чистое бытіе, такъ же, какъ и безусловное расширение, вовсе недѣйствительны; это координаты, употребляемые геометромъ для опредѣленія точки, — координаты, нужные ему, а не точкѣ; проще: чистое бытіе — подмостка, по которой отвлеченное мышленіе поднимается къ конкретному. Не только небытія вовсе нѣтъ, но и чистаго бытія вовсе нѣтъ, — а есть бытіе, опредѣляющееся, совершающееся въ вѣчно дѣятельномъ процессѣ, котораго отвлеченные и противоположные моменты (бытіе и небытіе), врознь, другъ безъ друга, существуютъ только въ феноменологій сознанія, а не въ мірѣ эмпирико-дѣйствительномъ; эти моменты, отвлеченные отъ процесса, связующаго ихъ, разъяты, — призрачны, невозможны и истинны только какъ переходныя ступени логическаго движенія; въ существованіи своемъ, напротивъ, они дѣйствительны, и потому нерасторгаемо-присущи другъ другу. Бытіе дѣйствительное не есть мертвая косность, а непрерывное возникновеніе, борьба бытія и небытія, непрерывное стремленіе къ опредѣленности съ одной стороны и такое же стремленіе отречься отъ всякой задерживающей положительности. Геніальное: „все те-

четъ!“ произнеслось Гераклитомъ, — и расплавленный кристаллъ элеатическаго бытія устремился вѣчнымъ потокомъ. Гераклитъ подчинилъ и бытіе и небытіе — переменѣ, движенію: *все течетъ!* ничто не остается неподвижно, одинаково; все—быстро ли, тихо ли—движется, видоизмѣняясь, превращаясь, колеблясь между бытіемъ и небытіемъ. „Предметы,“ говоритъ Гераклитъ: „похожи на стремящійся потокъ; два раза нельзя наступить въ одну и ту же воду“\*). Для него безусловное — самый процессъ восхожденія естественнаго многообразія къ единству; для него дѣйствительное — не страдательная покорность отвлеченной вещественности, не субстратъ движенія, не бытіе движимаго, а то, что *необходимо* движетъ его, то, что его измѣняетъ. Бытіе у Гераклита имѣетъ само въ себѣ свое отрицаніе, оно неотъемлемо, присуще ему; это его демоническое начало, сопровождающее его всегда и вездѣ, непрерывно противодѣйствующее ему, снимающее сотворенное имъ, мѣшающее уснуть, окрѣпнуть въ неподвижности. Бытіе живо движеніемъ; съ одной стороны, жизнь есть ничто иное, какъ движеніе непрерывное, неостанавливающееся, дѣятельная борьба и, если хотите, дѣятельное примиреніе бытія съ небытіемъ, и чѣмъ упорнѣе, злѣе эта борьба, тѣмъ ближе они другъ къ другу, тѣмъ выше жизнь, развиваемая ими; борьба эта вѣчно у конца и вѣчно у начала, — непрерывное взаимодействіе, изъ котораго они выйти не могутъ. Это — бѣличье колесо жизни. Животный организмъ представляетъ постоянную борьбу съ смертію, которая всякій разъ восторже-

\*) „Тѣла,“ говоритъ Лейбницъ: „только кажутся постоянными; они похожи на потокъ, ежеминутно приносящій новую воду, — на тезеевъ корабль, который Аѳиняне безпрестанно чинили.“

ствуешь; но торжество это опять въ пользу опредѣленнаго бытія, а не небытія. Многоначальныя ткани, изъ которыхъ составлено живое тѣло, безпрестанно разлагаются на двуначальныя (т. е. на неорудныя, минеральныя), и безпрестанно вновь образуются; голодъ возобновляетъ требованія свои, потому что непрерывно утрачивается матеріалъ; дыханіе поддерживаетъ жизнь и сожигаетъ организмъ; организмъ непрерывно вырабатываетъ сожигаемое. Не кормите животнаго—у него кровь и мозгъ сгорятъ... Чѣмъ болѣе развита жизнь, чѣмъ въ высшую сферу перешла она, тѣмъ отчаяннѣе борьба бытія и небытія, тѣмъ ближе они другъ къ другу. Камень гораздо прочнѣе звѣря; въ немъ бытіе преобладаетъ надъ небытіемъ, онъ мало нуждается въ средѣ, его окружающей, онъ безъ большихъ усилій, извнѣ на него дѣйствующихъ, не измѣнитъ ни формы, ни состава, онъ почти не носитъ въ себѣ самомъ причину своего разложенія—и оттого онъ упоренъ; малѣйшее прикосновеніе къ мозгу животнаго въ этой сложной, рыхлой, нетвердѣющей массѣ, повергаетъ его мертвымъ; малѣйшее неравновѣсіе въ сложномъ химизмѣ крови—и животное страдаетъ, по своему нормальному состоянію, мучится и умираетъ, если не можетъ побѣдить, то есть возстановить норму. Страдательное, тяжелое бытіе тѣснить своей грубой опредѣленностью жизнь: жизнь камня—постоянный обморокъ; она тамъ свободнѣе, гдѣ ближе къ небытію; она слаба въ высшихъ проявленіяхъ, она тратитъ, такъ сказать, вещественность на достиженіе той высоты, на которой бытіе и небытіе примиряются, подчиняются высшему единству. Все прекрасное нѣжно, едва существуетъ; это цвѣты, умирающіе отъ холоднаго вѣтра въ то время, какъ суровый стебель крѣпнетъ отъ него, но за то онъ и не благо-

у́хаетъ и не имѣетъ пестрыхъ лепестковъ ; мгновенія блаженства едва мелькаютъ, — но въ нихъ заключается цѣлая вѣчность... Возникновеніе, дѣятельный процессъ самоопредѣленія, его противоположные моменты (бытіе и небытіе), утрачиваютъ въ немъ свою мертвую косность,<sup>4</sup> принадлежащую отвлеченному мышленію, а не дѣйствительному ; какъ смерть не ведетъ къ чистому небытію, такъ и возникновеніе не берется изъ чистаго небытія, — возникаетъ бытіе опредѣленное изъ бытія опредѣленнаго, которое становится субстратомъ въ отношеніи къ высшему моменту. Возникнувшее не кичится тѣмъ, что *оно есть* : это слишкомъ бѣдно, это подразумевается ; оно не выставляетъ истинной своей своего тождества съ собою, свое бытіе, а напротивъ, раскрываетъ себя процессомъ, низводящимъ свое бытіе на значеніе момента. Гераклитъ понялъ, что истина есть именно существованіе двухъ противоположныхъ моментовъ ; онъ понялъ, что они сами по себѣ не истинны и невозможны, что въ нихъ истинно одно стремленіе тотчасъ перейти въ противоположное. Для него, жившаго за 500 лѣтъ до Р. Х., мысль эта была такъ ясна, что онъ не могъ въ существованіи, въ бытіи видѣть что нибудь постоянное, кромѣ того начала, которое переходитъ въ многообразіе и, съ другой стороны, стремится изъ многообразія къ единству ; онъ понялъ это, не смотря на то, что движеніе собственно было для него событіе неотразимое, событіе роковое ; признавая его, онъ покорялся необходимости, отъ которой ключа у него не было. Отчего же *ученые* мужи нашего времени такъ удивились, такъ тупо не поняли, когда мысль Гераклита явилась не какъ геніальная догадка, а какъ послѣднее слово методы, проведенной строго, отчетливо, наукообразно ? Выраженіе что ли крутое и

отвлеченное: „бытіе есть небытіе“ -- поразило? или, можетъ быть, ихъ близость въ возникновеніи напугала? Но выраженіе, вырѣзанное изъ живаго развитія, понять нельзя, особенно когда не хотятъ ни знать путей, ни сосредоточить на немъ всего вниманія. Безъ вниманія все неясно, — ни логики не поймешь, ни въ вистъ не выучишься играть. Практически мы именно гераклитовски смотримъ на вещи; только во всеобщей сферѣ мышленія не можемъ понять того, что дѣлаемъ. Не споконъ ли вѣка признавали люди, что не мертвая косность сущаго предмета, не его тождество съ собою — полная истина его? Во всемъ живомъ, наприм., развѣ мы видимъ что нибудь, кромѣ процесса вѣчнаго преобразованія, живущаго, по-видимому, въ одной переменѣ? Кости — самое твердое бытіе организма, а мы ихъ даже живыми не считаемъ.

Мы замѣтили, что элеатики, принявъ за основаніе чистое бытіе, не имѣли смѣлости признаться, что оно тождественно небытію. Такъ и Гераклитъ, поставившій истиною сущаго начало движущее (сущность), не дошелъ до уничтоженія бытія въ силѣ, въ причинѣ движенія, въ субстанціи. Греки не распадались такъ глубоко съ эмпирическимъ воззрѣніемъ: когда ихъ мысль приходитъ къ крайнимъ абстракціямъ, тотчасъ являются у нихъ изящные образы, фантастическія представленія, поддерживающія ихъ на берегу пропасти. Такъ у Гераклита, вмѣсто послѣднихъ безжалостныхъ выводовъ субстанціальнаго отношенія, вы встрѣчаете *время* и *оно* наглядными представителями процесса движенія. Въ самомъ дѣлѣ, время — образъ безусловнаго возникновенія; сущность его состоитъ только въ томъ, чтобъ быть и вмѣстѣ съ тѣмъ не быть; во времени не прошедшее и будущее, а настоящее дѣйствительно; но оно

существуетъ только для того, чтобъ не существовать, оно тотчасъ прошло, оно сейчасъ наступить,—оно есть въ этомъ движеніи, какъ единство двухъ противоположныхъ моментовъ. Огонь въ природѣ соотвѣтствуетъ также превосходно его мысли: огонь сожигаетъ противоположное собою, безусловное безпокойство, безусловное распушеніе существующаго, переходимость другаго и самого себя. Гераклитъ вездѣ видитъ огонь; для него вода—потухшій огонь, земля—окрѣпнувшая вода; но земля снова распускается въ моряхъ, испаряется ими въ воздухъ, гдѣ воспламеняется и творитъ воду. Итакъ, вся природа—метаморфоза огня. Самыя звѣзды для Гераклита не однажды-конченныя мертвыя массы: „вода испаряется и осаждается темнымъ процессомъ и свѣтлымъ; темный даетъ землю, свѣтлый поднимается въ воздухъ, загорается въ солнечной атмосферѣ и производитъ метеоры, планеты и звѣзды“; и такъ, онѣ возникаютъ слѣдствіемъ того же живаго взаимодействія, движенія, „все расторгается внутреннею враждою и стремленіемъ къ высшему единству дружбы и гармоніи.“ „Вселенная—вѣчно живой огонь, душа ея—пламень, загорающійся и тухнущій по своему закону.“ Итакъ, мало того, что онъ понялъ природу процессомъ: онъ понялъ ее самодѣятельнымъ процессомъ. Однако, изъ этого движенія ничего не исторгается, нѣтъ единства, которое ставилось бы временнымъ круженіемъ и обличалось бы результатомъ его и его началомъ. Начало движенія у Гераклита—роковая, тягостная необходимость, выдерживающая себя въ многоразличіи, неизвѣстно для чего втѣсняющая себя, какъ неотразимая сила, какъ событіе, но не какъ свободная, сознательная цѣль. Цѣли движенію вообще Гераклитъ не далъ; его движеніе конкретнѣе элеатическаго бытія, но оно аб-



страктно ; оно громко требуетъ цѣли, постояннаго. Прежде, нежели мы скажемъ, какое начало и какую цѣль движенію далъ Анаксагоръ, мы должны показать другой выходъ изъ чистаго бытія, прямо противоположный Гераклиту, по крайней мѣрѣ по формальному выраженію: ибо, съ общей точки зрѣнія, атомизмъ, о которомъ мы говоримъ, представляетъ только дополняющій моментъ, необходимый и неминуемый динамизму, Атомизмъ и динамизмъ повторяютъ полярную борьбу бытія и небытія на болѣе опредѣленномъ и сжатомъ полѣ. Главная мысль атомизма состоитъ въ отрицаніи чистаго бытія въ пользу бытія опредѣленнаго ; здѣсь не отвлеченное бытіе принимается за истину частныхъ, а частность, сама въ себѣ замкнутая, за истину бытія: это возвращеніе изъ сферы отвлеченной въ сферу конкретную, возвращеніе къ дѣйствительному, эмпирическому, существующему. Дѣйствительнымъ признается единичность, неотдающаяся на распушеніе въ абстрактныхъ категоріяхъ, протестующая противъ элеатическаго чистаго бытія во имя автономіи опредѣленнаго бытія ; частное существуетъ для себя и само есть подтвержденіе своей качественной и количественной дѣйствительности. Левкиппъ и Демокритъ положили начало этому ученію ; съ тѣхъ поръ оно шло постоянно по параллельной линіи съ главнымъ потокомъ науки, никогда не сближаясь съ нимъ\*); оно твердо оперлось на вѣрное, хотя одностороннее пониманіе природы, и принесло большую пользу естествовѣдѣнію. Атомизмъ, основанный на признаніи частности, противопоставляетъ неоспоримую недѣлимость, личность, такъ сказать, каждой существующей точки единству бытія и движенія, объемлющему

\*) Развѣ только въ монадологіи Лейбница ?

ихъ. Въ мысли все обобщается, въ природѣ все молекулярно, даже то, что намъ кажется совершенно немѣющимъ частей и различія. Движеніе Гераклита покорено необходимости, т. е. фатализму; атомъ имѣетъ цѣль самъ въ себѣ, въ своемъ существованіи; онъ существуетъ для себя и достигаетъ своей сосредоточенности; атоанизмъ выражаетъ повсюдный эгоизмъ природы; для него одно стремленіе существуетъ и истинно — это стремленіе природы къ индивидуализаціи; она представляется ему безусловной разсыпчатостію, какъ она и есть; но онъ не видитъ, что высшая, сосредоточеннѣйшая личность (человѣкъ) и есть, не смотря на атоанизмъ свой, всеобщая, родовая личность, что ея эгоизмъ, ея сосредоточенность есть вмѣстѣ съ тѣмъ и лучезарная любовь. Идеализмъ съ своей стороны не видитъ, что родъ, всеобщее, идея, дѣйствительно не могутъ быть безъ индивида, атома; пока идеализмъ не пойметъ этого, атоанизмъ не сдастся ему; пока тотъ или другой будутъ хотѣть исключительнаго признанія, до тѣхъ поръ они останутся въ борьбѣ. Динамизмъ и атоанизмъ принадлежатъ къ тѣмъ безвыходнымъ антиноміямъ не вполне развитой науки, которыя намъ встрѣчаются на каждомъ шагѣ. Очевидно, что истина съ той и съ другой стороны; очевидно даже, что противоположныя воззрѣнія почти одно и то же говорятъ, — у однихъ только истина поставлена на головѣ, а у другихъ на ногахъ; противорѣчіе выходитъ видимо непримиримое, а между тѣмъ, такъ и тянетъ изъ одного момента въ другой; но истину, какъ единство односторонностей, какъ снятіе противорѣчія, не любятъ умы, хвастающіеся ясностію. Конечно, односторонность проще: чѣмъ бѣднѣйшую сторону предмета мы возьмемъ, тѣмъ она очевиднѣе, яснѣе, и вмѣстѣ съ тѣмъ ненуж-

нѣе и бесполезнѣе, что можетъ быть очевиднѣе формулы  $A=A$ , и что можетъ быть пошлѣе? Возьмите простѣйшую формулу уравненія первой степени съ однимъ неизвѣстнымъ, — она будетъ гораздо сложнѣе, но за то въ ней заключается мысль, средство опредѣленія искомага. Принимать ту или другую сторону въ антиноміяхъ совершенно ни на чемъ не основано; природа на каждомъ шагу учитъ насъ понимать противоположное въ сочетаніи; развѣ у ней безконечное отдѣлено отъ конечнаго, вѣчное отъ временнаго, единство отъ разнообразія? Строгое требованіе „того или другаго“ очень похоже на требованіе: „кошелекъ или жизнь“! Храбрый человѣкъ смѣло отвѣтитъ: „ни того, ни другаго, потому что нѣтъ необходимости для вашего каприза жертвовать тѣмъ или другимъ.“ Возвращаясь къ Левкипу, замѣтимъ, что для него атомъ не былъ безразличною, мертвою точкой: онъ принималъ полярность недѣлимаго и пустоты (опять бытіе и небытіе) и взаимодействие атомовъ; тутъ онъ и его послѣдователи теряются во внѣшнихъ объясненіяхъ, принимаютъ случайность, соединявшую и расторгавшую атомы, — случайность дѣлается какой-то сокровенной силой, неудовлетворяющей требованіямъ ума.

Анаксагоръ поставилъ началомъ мысль. Разумъ, всеобщее дѣлается сущностью, дѣятельнымъ двигателемъ; *нусъ* — та дѣятельность, которая въ несовершенствѣ и безсознательно является природою, и которая во всей чистотѣ раскрывается въ сознаніи, въ мышленіи. Въ природѣ *нусъ* воплощается частностями, сущими во времени и пространствѣ; въ сознаніи онъ достигаетъ своей всеобщности и вѣчности. Анаксагоръ — „первый трезвый мыслитель“ — по выраженію Аристотеля, если не прямо высказалъ, что вселенная есть умъ, одѣйстви-

творяющійся вѣчнымъ процессомъ, то онъ понялъ его самодвижущейся душою. Цѣль движенія: „исполнить все благое, заключенное въ душѣ.“ Замѣтимъ, такая цѣль не есть что либо постороннее мысли; мы привыкли обыкновенно ставить цѣль съ одной стороны, а достигающаго съ другой; но цѣль, взятая во всеобщности, сама заключена въ достигающемъ, имъ одѣйствовывается,—существованіе предмета находится подъ вліяніемъ его цѣлесообразности: то исполнилось, что было; то развивается, что содержится. Живое сохраняется потому, что оно само по себѣ цѣль; оно и не знаетъ о своихъ цѣляхъ, оно имѣетъ земныя стремленія и желанія; эти желанія его — твердыя цѣлесообразныя опредѣленія; какъ бы животное ни относилось къ окружающей средѣ,—результатомъ ихъ столкновенія и взаимодействія будетъ животный организмъ: оно только себя производитъ. Въ цѣлесообразномъ движеніи результатъ есть начало, исполненіе предшествующаго. Такимъ началомъ принялъ Анаксагоръ разумъ, законъ, и его положилъ въ основу бытію и движенію. Хотя онъ и не развилъ всего спекулятивнаго содержанія своего начала, но тѣмъ не менѣе шагъ, сдѣланный имъ для развитія мышленія, необъятенъ; его нусъ, заключающій въ возможности все благое, умъ, самосохраняющійся въ своемъ развитіи, имѣющій *въ себѣ мѣру* (опредѣленіе); торжественно воцаряется надъ бытіемъ и управляетъ движеніемъ. У Іонійцевъ мы видѣли безусловнымъ началомъ сущее—эмпирическое бытіе, поставленное абсолютнымъ; потомъ оно опредѣлилось, какъ чистое бытіе, отвлеченное отъ сущаго, не эмпирическое, не реальное, а логическое, отвлеченное; далѣе, оно представляется, какъ движеніе, какъ полярный процессъ. Но такое движеніе могло быть безвыходнымъ круговоротомъ, без-

цѣльнымъ движеніемъ и болѣе ничего, безотраднымъ рядомъ возникновеній, перемѣнъ, перемѣнъ этихъ перемѣнъ, — и такъ въ безконечность. Анаксогоръ, ставя началомъ всеобщее, умъ внутри самаго существованія, бытія, движенія, находитъ міродержавную цѣль, какъ скрытую мысль всемірнаго процесса. Эта скрытая мысль бытія — та закваска, то начало броженія, движенія, безпокойства, возмущающаго и волнующаго бытіе для того, чтобъ сдѣлаться *открытою* мыслию. Въ сознаніи, мы опять встрѣчаемъ демоническое начало, присущее косной вещественности, которое дѣлается уже не демоническимъ, а разумнымъ, и это разумное обличается истиною, совершеніемъ бытія, небытія, движенія, возникновенія. Не надобно думать, что чрезъ это пожертвовано бытіе, и что наука нерешла въ сознаніе, какъ въ противоположный ему элементъ, — тогда всеобщее потеряло бы свое спекулятивное значеніе, сдѣлалось бы сухою абстракціею; такого рода идеалистическая односторонность принадлежитъ болѣе новой философіи, нежели древней. Гераклитъ и Анаксагоръ коснулись того предѣла, далѣе котораго греческая мысль не шла; они бѣдно и неполно усвоили мысли ту почву, тѣ основанія, на которыхъ гиганты греческой науки возростили свое воззрѣніе. Почва осталась; движеніе Гераклита и нусъ Анаксагора не исчерпали всего содержанія; но отъ нихъ не отречется Аристотель; совсѣмъ напротивъ, они у него пойдутъ краеугольными камнями колоссальнаго зданія, воздвигнутаго имъ. Нельзя не замѣтить строго-логической стройности историческаго мышленія у грековъ, у этихъ избранныхъ дѣтей человечества. Элеатическое воззрѣніе неминуемо вело къ гераклитову движенію; его движеніе также неминуемо вело къ разумной субстанціи, къ цѣли; оно ставило вопросъ — и

Анаксагоръ не замедлилъ дать отвѣтъ; вотъ это-то преемственное развитіе, идущее отъ одного самоопредѣленія истины къ другому въ органической связи и живомъ сочлененіи, называютъ безпорядочнымъ и произвольнымъ замѣненіемъ одного философскаго воззрѣнія другимъ!

Когда мысль человѣческая достигла до этой степени сознанія и силы, когда она окрѣпла въ ней, узнала свою несокрушимую мощь, открылось въ греческомъ мірѣ зрѣлище блестящее, увлекательное, торжество юношескаго упоенія въ наукѣ. Я говорю объ оклеветанныхъ и непонятныхъ софистахъ. Софисты — пышные, великолѣпные цвѣты богатаго греческаго духа, выразили собою періодъ юношеской самонадѣянности и удалства; вы въ нихъ видите человѣка, только что освободившагося изъ подъ опеки и неполучившаго еще опредѣленнаго назначенія; онъ предается всѣмъ сердцемъ чувству своей воли, своего совершеннолѣтія, и въ этомъ увлеченіи свидѣтельствуетъ, что онъ еще несовершеннолѣтній; юноша созналъ ужасную власть, находящуюся въ его распоряженіяхъ, ничто не связываетъ его гордаго сознанія, онъ играетъ своимъ достоинствомъ, всѣмъ на свѣтѣ, т. е. всѣмъ важнымъ для обыкновеннаго собственника, и въ то время, какъ тотъ нечально качаетъ головой, глядя на его расточительность, юноша презрительно смотритъ на него, держащагося за свои точимыя молью богатства; онъ понял шаткость и несостоятельность всего окружающаго; онъ опирается на одно — на свою мысль; это его копье, его щитъ: таковы софисты. Что за роскошь въ ихъ діалектикѣ! что за безпощадность! что за развязность! какая симпатія со всѣмъ человѣческимъ! Что за мастерское владѣніе мыслию и формальной логикой!

Ихъ безконечные споры—эти безкровные турниры, гдѣ столько же граціи, сколько силы, были молодеческимъ гарцованьемъ на строгой аренѣ философіи; это удалая юность науки, ея майское утро. Сократъ и Платонъ были врагами софистовъ по праву; они, *съ ихъ точки зрѣнія*, отrekliсь отъ нихъ и повели мысль къ болѣе глубокому сознанію. Но порицатели софистовъ, изъ вѣка въ вѣкъ повторяющіе плоскія обвиненія, свидѣлствуютъ только свою ограниченность и сухой прозаизмъ своего разсудка; они стоятъ на той узенькой точкѣ зрѣнія жанлисовской, не очень *нравственной* морали, которую такъ любили добрые аббаты-деисты начала прошлаго вѣка, — тѣ самые, которые безпощадно журили Александра Великаго за пристрастіе къ горячительнымъ напиткамъ, и Юлія Цезаря—за пристрастіе къ властолюбивымъ мечтамъ. Съ этой точки зрѣнія, ни софистовъ, ни Александра Македонскаго оправдать нельзя,—но зачѣмъ же не предоставить ея исключительно исправительнымъ судамъ, занимающимся мелкими проступками и уличными беспорядками? зачѣмъ ее употреблять при обсуживаніи всемирно-историческихъ событій?.. Вмѣсто того, чтобъ останавливаться на опроверженіи обветшалыхъ и жалкихъ мнѣній, представимъ себѣ лучше эпоху появленія софистовъ въ Греціи.

Сущее оказалось нестрашнымъ для мысли; оно уже двинулось и потекло по волѣ какой-то необъяснимой необходимости; раскрывается, что эта необходимость (цѣль ли, причина ли — все равно) — разумъ. Яркая мысль эта брошена отвлеченно, безъ содержанія, какъ безконечная форма, какъ личная догадка; но между тѣмъ, за разумомъ признана власть безмѣрная. Все сущее, отдѣльное, частное для Анаксагора — моментъ; въ его нусѣ теряется все опредѣленное, его сущность

—сама негация, какъ и быть должно; бытіе отразилось въ себѣ, отреклось отъ видоизмѣняющейся внѣшности и остановилось на сущности, какъ на истинѣ; сущность же опредѣлилась мыслью, и, слѣдственно, ей принадлежитъ безусловная власть отрицанія, власть развѣдающей кислоты, которая все разложитъ, со всѣмъ соединится, чтобъ все улетучить; словомъ, мысль сознала себя могуществомъ, предъ которымъ исчезаетъ всякая состоятельность, не ею поставленная. Все твердое въ бытіи, въ понятіяхъ, въ правахъ, въ законахъ, въ повѣрьяхъ — все начинаетъ колебаться и измѣнять себѣ: все, до чего касается горячая струя вѣющей мысли, обличается шаткимъ и несамобытнымъ, и мысль, какъ геній смерти, какъ ангелъ истребленія, весело губитъ и ликуетъ на развалинахъ, не давъ себѣ времени подумать, чѣмъ ихъ замѣнить. Это-то раздолье негации, эту-то мысль, сокрушающую твердое, казнящую мнимое, выразили собою софисты. У нихъ была страшная откровенность и страшная многосторонность; они популярны, ринуты въ жизнь, не чужды всѣхъ вопросовъ площади и науки; они ораторы, политическіе люди, народные учителя, метафизики; ихъ умъ былъ гибокъ и ловокъ, ихъ языкъ неустрашимъ и дерзокъ. Оттого смѣло и открыто высказали они то, что греки тайкомъ дѣлали въ практической жизни, тайкомъ даже отъ себя, боясь изслѣдовать — хорошо или нѣтъ такъ поступать и не имѣя силы не поступать противно положительному закону. Софистовъ обвинили въ безнравственности, потому что они дали гласность сокрытому во тьмѣ, потому что они высказали семейную тайну греческой жизни. Въ практическихъ сферахъ, въ своихъ дѣйствіяхъ, человѣкъ рѣдко такъ отвлеченъ, какъ въ образѣ мыслей, — тутъ онъ безсознательно многостороненъ, ибо



онъ весь тутъ. Грекъ временемъ Перикла не могъ привольно жить въ тѣхъ нормахъ жизни, которыя ему были завѣщаны, какъ святое преданіе предковъ, какъ неизмѣнный бытъ для него; завѣщанная жизнь эта была, въ самомъ дѣлѣ, прелестна въ „Иліадѣ“, въ софокловыхъ трагедіяхъ, — но они ее переросли и головой и грудью; они чувствовали это, но по какому-то тайному соглашенію не признавались въ этомъ: нарушая всякій день завѣщанный бытъ, они готовы были камнями побить того дерзновеннаго, который сказалъ бы слово противъ него, который назвалъ бы ихъ поступокъ и призналъ бы его не преступленіемъ. Это одна изъ тѣхъ притворныхъ двуличностей, которыя человѣкъ дѣлаетъ безпрестанно, воображая, что это очень нравственно. Грекъ, признавая святость преданія на словахъ, освобождался отъ исполненія обязанностей на каждомъ шагу, но онъ дѣлалъ это какъ преступникъ, какъ возмущившійся рабъ, украдкой. Вся вина софистовъ, и впоследствии Сократа, состояла въ томъ, что они подняли въ сферу всеобщаго сознанія то, что каждый представлялъ себѣ, какъ частный случай и отступленіе, что они мыслию подтвердили фактъ нравственной свободы, что они трусость передъ гомерическимъ преданіемъ признали трусостью; они смѣло направили свою мысль противъ всего существовавшаго и все подвергли разбору; ими наука, съ той высоты, на которую достигла, оборотилась вдругъ назадъ ко всей ходячей суммѣ истинъ, принимаемыхъ и передаваемыхъ общественнымъ мнѣніемъ; случилось то, чего можно было ожидать; язычество и все древне-эллинское воззрѣніе не вынесли ея медузина взгляда: они сгорѣли отъ него; не громкій олимпійскій смѣхъ раздавался тогда, а звонкій смѣхъ человека, упоеннаго побѣдой; на первую минуту, софи-

сты, можетъ быть, и увлеклись суетно сознаніемъ этой страшной мощи разума; они забылись за своей веселой сатурналіей, они тѣшились своей мощью, — это былъ моментъ поэтическаго наслажденія мышленіемъ; въ избыткѣ силъ они метали искры во всѣ стороны и радостно видѣли всю несостоятельность положительнаго, и не было препонъ ихъ игрѣ. Не будемъ сѣтовать на нихъ; скоро явится трагическое лицо въ исторіи разума и иное призванье мысли; онъ\*) обуздаетъ нравственнымъ началомъ разгульную мысль и обречетъ себя на великую жертву для великой побѣды... Софисты приготовили къ этому моменту своихъ согражданъ; они бросили свѣтъ мысли на всѣ отношенія людскія; ими наука открыто перешла въ жизнь, они научили человѣка во всемъ опираться на одного себя, все относить къ себѣ, себя понимать самобытною точкою, около которой крутится, въ вихрѣ видоизмѣненій, все на свѣтѣ. Но во имя чего считать себя этимъ средоточіемъ? вопросъ существенный и неминуемый; этого вопроса, прямо текущаго изъ ихъ началъ, софисты не рѣшили, т. е. не рѣшили тѣ софисты, которыхъ угодно исторіи такъ называть; ибо его-то и задалъ себѣ великій софистъ—Сократъ, стоявшій на одной точкѣ съ ними, но ушедшій далѣе, нежели всѣ они, объемомъ мысли и величіемъ характера. Это не юноша въ разгулѣ: это мужъ, остановившійся и ищущій опоры на всю жизнь, —мужъ твердаго шага и удивительной мощи. Сократъ нанесъ существующему порядку въ Греціи тяжелѣйшій ударъ, нежели всѣ софисты; онъ дальше пошелъ, нежели они, и потому-то онъ и былъ ихъ врагомъ. Софисты—блестящая жиронда, а Сократъ—монтаньяръ,

\*) Сократъ.

но монтаньяръ нравственный и чистый; софисты имѣли бездну личнаго, разсудочнаго въ своемъ воззрѣніи; у нихъ мысль не нашла еще себѣ твердой опоры (какъ всегда въ рефлексіи); они испытывали, такъ сказать, формальную власть мысли, они брались все доказывать, все оправдывать; это ничего не значитъ: въ самомъ дурномъ поступкѣ есть возможность найти одну хорошую сторону—но это недостаточно для оправданія и наводитъ только на то, что чисто-отвлеченныхъ поступковъ такъ же не бываетъ, какъ чисто-одностороннихъ событій. Истинно-твердая основа лежитъ въ томъ объективномъ началѣ мышленія, которая софистамъ до Сократа не раскрывалась. Сократъ засталъ логическое развитіе на сознаніи несостоятельности внѣшняго противъ мысли и на признаніи человѣка (какъ мыслящей личности) истиною. Но человѣкъ, какъ частная индивидуальность, гибнетъ, увлекая съ собою мысль; Сократъ спасъ мысль и ея объективное значеніе отъ личнаго и, слѣдственно, случайнаго элемента. Онъ высказалъ сущностью не частное я, а всеобщее, какъ благое, въ себѣ почившее сознаніе, независимое отъ сущей дѣйствительности. Мысль Сократа точно такъ же ѣдка и точно такъ же разлагаетъ, какъ мысль Протагора, связавшаго, что человѣкъ есть мѣрило всему, что въ немъ опредѣленіе, почему сущее существуетъ и несущее не существуетъ; но Сократъ сознаетъ въ общемъ движеніи и покойное начало; это начало, сущность вѣчно хранящаяся и опредѣляющаяся цѣлію—есть *истинное и благое*. Это благое, эта существенная цѣль не существуетъ, какъ нѣчто готовое; человѣкъ долженъ создать себѣ свое вѣчное и непреходящее содержаніе, долженъ развить его сознаніемъ, для того, чтобъ быть свободному въ немъ; и такъ, истина объективнаго раз-

визается у Сократа мышлениемъ. Это чинноположеніе безконечной субъективности человѣка и совершенной свободы самопознанія — тотъ великій камень, который Сократъ положилъ при закладкѣ великаго зданія, доселѣ недостроеннаго; камень этотъ вмѣстѣ съ тѣмъ пограничный столбъ: одна половина его уже лежитъ не на эллинской почвѣ, принадлежитъ уже не древнему міру.

У Сократа нѣтъ системы, а есть метода; это какой-то живой, вѣчно дѣятельный органъ мышленія человѣческаго; его метода состоитъ въ развитіи самомышленія; съ какой стороны ни попался бы ему предметъ, онъ, начиная со всей односторонности общаго мѣста, дойдетъ до многостороннѣйшей истины и нигдѣ не теряетъ своихъ основныхъ мыслей, которыя проводитъ по всѣмъ областямъ, практическимъ и теоретическимъ. Человѣкъ долженъ изъ себя развить, въ себѣ найти, понять то, что составляетъ его назначеніе, его цѣль, конечную цѣль міра, онъ долженъ собою дойти до истины — вотъ мета, къ которой Сократъ достигаетъ во всемъ. При этомъ по дорогѣ само собою обличается, что по мѣрѣ того, какъ мышленіе достигаетъ внутренней объективности, случайное, личное гибнетъ и теряется; истина дѣлается вѣчно-чиннополагаемымъ мышлениемъ. Всѣ его разговоры — непрерывная борьба съ существующимъ; онъ возсталъ противъ святохранимыхъ аѳинскихъ преданій во имя другаго святаго права — права вѣчной нравственности, аутономіи мышленія; онъ научилъ опасаться готовыхъ мнѣній, истинъ, полагаемыхъ за извѣстное, о которыхъ и не говорятъ, какъ о давнознаемомъ, и на которыя каждый смотритъ по своему, воображая, что его мнѣніе и есть всеобщее; онъ осмѣлился поставить истину выше Аѳинъ, разумъ выше

узкой національности; онъ относительно Аѳинъ сталъ такъ, какъ Петръ I относительно Руси. Торжественнѣйшая сторона Сократа — онъ самъ, его величавое, трагическое лицо, его практическая дѣятельность, его смерть; онъ типъ и представитель той слитности въ древней жизни, о которой мы упоминали нѣсколько разъ, — человѣкъ, живущій безпрестанно въ общественномъ разговорѣ, художникъ, воинъ, судья, участникъ во всѣхъ теоретическихъ и практическихъ вопросахъ своего вѣка и вездѣ ясный, равный себѣ, вездѣ жаждущій блага и все покоряющій разуму, т. е. все освобождающій въ нравственномъ сознаніи. . . . .

. . . . . Тогда наука черпалась изъ жизни и тотчасъ погружалась въ нее. Дѣятельность философа въ Греціи не ограничивалась школой, въ стѣнахъ которой могутъ цѣлыя вѣка длиться споры, прежде нежели кто-нибудь услышитъ ихъ за стѣною — тамъ философъ былъ по превосходству учитель народа, совѣтодатель его: Эмпедоклу и Гераклиту предлагали корону; Зенонъ погибъ въ геройской борьбѣ; уваженіе къ Пифагору доходило до поклоненія; Перикль ходилъ по площади аѳинской съ своей женою, вымаливая прощеніе Анаксагору; Филиппъ Македонскій благословлялъ судьбу, что сынъ его родился во время Аристотеля; Платона Аѳиняне называли божественнымъ. Философы древняго міра тогда стали отходить отъ дѣлъ площади, когда съ скорбнымъ взглядомъ разглядѣли смертельную болѣзнь, пожиравшую древній порядокъ вещей. И потому Сократъ былъ столько же государственное лицо, сколько мыслитель, и судился какъ гражданинъ, имѣвшій огромное вліяніе и отрицавшій неприкосновенную основу аѳинской жизни, на основаніи

права изслѣдованія; въ этомъ вся трагическая судьба Сократа (и онъ самъ ее понималъ превосходно, какъ доказываютъ его разговоры въ тюрьмѣ, изъ которой онъ *не хотѣлъ бѣжать*), что онъ вмѣстѣ праведникъ въ глазахъ человечества и преступникъ въ глазахъ Аѳинъ. Изъ этого противорѣчія, столь рѣзкаго и громкаго, ясно виднѣется, что греческая жизнь начинала тогда разлагаться подъ бременемъ своей односторонности, національное не было уже современно, если судъ народный могъ быть прямо противоположенъ суду разума. Оттого то Сократъ и вышелъ противъ Аѳинъ, оттого то и спасти нельзя было ихъ казню его; напротивъ, ею признали его побѣду. Аѳиняне вскорѣ сами увидѣли это; слѣпые гонители всегда догадываются на другой день казни, что она вредна.

Переворотъ, сдѣланный Сократомъ въ мышленіи, состоялъ именно въ томъ, что мысль стала сама по себѣ предметомъ; съ него начинается сознаніе, что истина не есть сущность *такъ какъ она есть сама по себѣ, а такъ какъ она въ сознаніи*; истина есть *узнанная сущность*. Обратите все вниманіе ваше на это : *c'est le mot de l'enigme* всей философіи. Мысль послѣ Сократа болѣе сосредоточивается, углубляется въ себя для того, чтобъ сознательно развить единство себя и своего предмета, природа перестаетъ быть *независимой* отъ мысли. Такъ далеко, впрочемъ, взглядъ самого Сократа не простирался; одна изъ односторонностей его, особенно бросающихся въ глаза въ эллинскомъ мірѣ, состояла въ превебреженіи во всему внѣ философіи и особенно въ естествовѣдѣніи. Сократъ повторялъ часто, а за нимъ выраженіе это обратилось въ пословицу, что все его знаніе состоитъ въ томъ, что онъ ничего не знаетъ — и былъ правъ : мощной діалектикой онъ распустилъ

все достояніе преемственно - образовавшихся мнѣній, слывшихъ за знаніе,—это отрицательное освобожденіе мысли отъ сущаго содержанія, а еще не истинное содержаніе ея; онъ узналъ въ сознаніи и мысли живую форму истины, но она не имѣла еще у него дѣйствительнаго наполненія. Прошедшее было имъ побѣждено, но на свѣжей могилѣ его не успѣло развиться новое, хотя колыбель его и была готова. Отъ этого-то и непонятное появленіе *демона* у Сократа; онъ является, вызываемый неполнотою его воззрѣнія; при дѣйствительной полнотѣ содержанія, демона было бы ненужно —ему не было бы мѣста\*).

Односторонность Сократа не восполнилась его первыми послѣдователями; не мегарскую школу, не кире-наиковъ звала его великая тѣнь: она вызывала изящный, свѣтлый образъ Платона,—и онъ явился, наконецъ, совершителемъ сократовыхъ начинаній.

Сократъ, провозглашая право самосознательнаго разума, понималъ его сущностію и цѣлію самосознающей воли; Платонъ съ самаго начала полагаетъ мысль сущностію вселенной и стремится покорить ей все сущее, можетъ быть, болѣе, чѣмъ нужно... Я сказалъ выше, что камень, положенный Сократомъ, выходилъ одной стороною изъ древняго міра: еще болѣе должно разумѣть

\*) Аристотель съ удивительною проницательностію указалъ на абстрактность Сократа: „Сократъ лучше Пифагора говоритъ о добродѣтели, но не правъ; онъ считаетъ добродѣтель знаніемъ. Всякое знаніе имѣетъ логосъ (разумное основаніе), логосъ же только въ мышленіи; онъ всѣ добродѣтели полагаетъ въ вѣдѣніи и снимаетъ *алогическую сторону души*: именно — страстность, чувства, характеръ; добродѣтель не есть наука; Сократъ сдѣлалъ изъ добродѣтели логосъ; мы же говоримъ: она съ логосомъ! Она не вѣдѣніе, но и не можетъ быть безъ вѣдѣнія.“ Аристотель опредѣлилъ добродѣтель „единствомъ разума съ неразумностію.“

это о платоновомъ воззрѣніи; въ немъ является впервые то, что мы называемъ *романтическимъ* элементомъ; онъ былъ поэтъ-идеалистъ, въ немъ видна та струя, которая, при извѣстныхъ условіяхъ, неминуемо должна была развиться въ неоплатонизмъ александрійскій. Платонъ считалъ духовный міръ науки единственно-истиннымъ, въ противоположность призрачному міру сущаго; міръ этотъ раскрывается человѣку мышленіемъ, которое рядомъ *воспоминаній* будитъ и развиваетъ истину, уснувшую и забытую въ душѣ, преданной тѣлесному бытію; однажды приведенный въ сознаніе, проснувшійся идеальный міръ оказывается истиною міра реального, его совершеніемъ, и пребываетъ въ величавомъ покоѣ, отрѣшившись отъ суеты временнаго бытія и сохраняя его въ себѣ снятымъ; такъ родъ—истина недѣлимыхъ, всеобщее—истина частнаго, такъ идея—истина вселенной. Платонъ находитъ временное, тѣлесное бытіе *преградой* безусловному знанію; говоря это, онъ, кажется, забываетъ, что, съ тѣмъ вмѣстѣ, оно есть и неминуемое условіе бытія и знанія. Но не подумайте, что этотъ романтическій элементъ или, лучше выразиться, элементъ, имѣющій въ себѣ нѣчто романтическое,—есть исчерпывающее опредѣленіе платоновой мысли,—далеко нѣтъ! вспомните лучше, что древніе называли его творцомъ діалектики: вотъ гдѣ его сила и мощь, вотъ чѣмъ дошелъ онъ до глубокомысленной спекуляціи своей, которая во всемъ сохранила долю идеализма, какъ печать его личности и личности возникавшей эпохи, но не стѣснила имъ мощной, свободной мысли. Платона многіе сравниваютъ съ Шеллингомъ: мы сами это сдѣлали въ первомъ письмѣ,—и точно, поэтическая мысль Платона, любившая облекаться въ роскошныя ризы аллегорій и мифовъ, имѣетъ наибольшее сродства въ новомъ мірѣ



съ шеллинговымъ поэтическимъ привидѣніемъ истины и его страстнымъ придыханіемъ къ ней; но у Платона передъ нимъ необъятный шагъ: это его изумительная, всепокоряющая діалектика, еще болѣе сознаніе полное, отчетливое діалектической методы и вообще логическаго движенія. Шеллингъ готовое содержаніе своей мысли излагаетъ въ схоластической формѣ,—Платонъ въ разговорахъ своихъ діалектикой достигаетъ до истины: у него истина неотъемлема отъ методы. Онъ самъ превосходно изложилъ въ своей книгѣ „О Республикѣ“ развитіе знанія: начальная степень, или точка отправленія логическаго движенія составляетъ у него непосредственное возрѣніе, чувственная сознательность, переходящая въ чувственное представленіе, въ то, что называется *мнѣніемъ*; вторая степень знанія между мнѣніемъ и наукой—это сфера разсуждающаго познаванія, разсудка, рефлексіи, достиженіе общихъ и отвлеченныхъ началъ, принятіе ипотезъ, произвольныхъ объясненій (въ этомъ моментѣ находятся всѣ физическія и вообще положительныя науки въ наше время); отсюда начинается [собственно наукообразное знаніе; но тутъ оно еще не можетъ быть достигнуто: разсудочныя науки *никогда не достигаютъ* діалектической ясности, ибо — говоритъ Платонъ—онѣ идутъ отъ ипотезъ и не восходятъ въ своемъ разсматриваніи до безусловнаго начала, но разсуждаютъ, основываясь на предположеніяхъ: у нихъ, кажется, мысль не въ предметѣ ихъ, а то бы ихъ предметы сами были мысли. Способъ геометріи и близкихъ ей наукъ называетъ онъ разсудочнымъ и полагаетъ, что разсужденіе находится между разумнымъ и чувственнымъ созерцаніемъ. Наконецъ, третья степень у него — мышленіе само въ себѣ, понимающее мышленіе; оно принимаетъ предположенія не за начало,

а за точку отправленія, отъ которыхъ идутъ пути къ началу, неимѣющему никакихъ предположеній. Платонъ эту степень называетъ діалектикой. Въ обыкновенномъ сознаніи нашемъ, непосредственно дѣйствительнымъ считается данное чувственнымъ созерцаніемъ и разсудочныя опредѣленія этого даннаго; Платонъ вездѣ, во всѣхъ разговорахъ стремится раскрыть недѣйствительность и несущественность одного чувственного и разсудочнаго, несостоятельность ихъ противъ умозрительнаго и идеальнаго. Въ этихъ борьбахъ вы видите, что огонь негацин обращался и въ его жилахъ, что наслѣдіе софистовъ оставалось и въ его душѣ, и не только оставалось, а выросло въ гигантскую силу; но характеръ его генія не былъ отвлеченно-разрушающій, — совсѣмъ напротивъ, примиряющій. Онъ исторгаетъ изъ преходящаго—непреходящее, изъ частнаго—всеобщее, изъ недѣлимыхъ—родъ, не для того только, чтобъ, указавъ дѣйствительность и истину всеобщаго надъ частнымъ, разбить его ими и уничтожить индивидуальное, сущее, частное: нѣтъ, онъ исторгаетъ родовое для того, чтобъ спасти его отъ круговорота временнаго существованія, еще болѣе, сдѣлать то, чего природа не можетъ сдѣлать безъ мысли человѣческой—примирить ихъ. Здѣсь Платонъ—спекулятивный философъ, а не романтикъ. Всеобщее, родовое, схваченное въ мысли, Платонъ называетъ идеей; достигая до нея, онъ стремится ей дать опредѣленіе, и здѣсь его діалектика дѣлается примирительницей, въ самой себѣ снимаетъ противорѣчія, указывая ея. Опредѣленность идеи состоитъ въ томъ, что единое остается самимъ собою въ многообразіи; чувственное, многообразное, конечное, относительно-существующее для другихъ не есть истинное: оно—неразрѣшенное противорѣчіе, разрѣшающееся только въ

идеѣ; но идея не внѣ предмета: она то, что стремится къ себяопредѣленію различіями, и то, что пребываетъ свободнымъ и единымъ въ этомъ различіи. „Трудное и истинное,“ говоритъ Платонъ: „состоитъ въ томъ, чтобъ показать въ другомъ то же самое и въ томъ же самомъ — другое, и притомъ такъ, чтобъ оно въ отношеніи къ другому было то же самое.“ Великая мысль! А подумайте, какими свистками толпа приняла бы мыслителя, который явился бы въ наше время съ такою странною рѣчью для обыкновеннаго сознанія.... Уваженіе, хранящееся изъ вѣка въ вѣкъ къ древнимъ философамъ, основано на томъ, что ихъ никто не читаетъ; еслибъ добрые люди когда нибудь ихъ развернули, они убѣдились бы, что Платонъ и Аристотель точно такіе же были поврежденные, какъ Спиноза и Гегель, говорили темнымъ языкомъ и притомъ нелѣпости. Большинство нашего времени (я разумѣю сознающихъ себя грамотѣями) такъ отвыкло или такъ не привыкло къ опредѣленіямъ мысли, что оно, только безсознательно употребляя ихъ — не возмущается. Насъ не удивляетъ, напримѣръ, что человѣкъ въ фізіологическомъ отношеніи недѣлимое, цѣлостъ, атомъ, а въ анатомическомъ — многочисленная куча самыхъ разнообразныхъ частей; что тѣло наше — вмѣстѣ и наше я и наше другое; никого не удивляетъ процессъ возникновенія, непрерывно совершающійся около насъ, эта глухая борьба бытія съ небытіемъ, безъ которой было бы одно безразличіе; никого не удивляетъ эта вѣчность мимолетнаго, которою мы окружены. Назовите то, что добрые люди видятъ и чувствуютъ ежедневно, словами, — они не поймутъ васъ и никогда не узнаютъ въ вашихъ словахъ близкихъ знакомыхъ. Я увѣренъ, что многіе были бы глубоко скандализированы, узнавъ

последніе выводы, до которыхъ Платонъ вездѣ пробивается, вооруженный своей безпощадной діалектикой и своимъ гениемъ, глубоко-раскрывающимъ сокровенную истину. Для Платона безусловное то, что разомъ конечно и бесконечно, мощное, полное силы и духа, то, что *можетъ вынести въ себѣ* противоположное; тѣло (само по себѣ) гибнетъ, встрѣчая противодѣйствіе, но духъ можетъ сдержатъ всякое противорѣчіе; онъ живетъ въ немъ, онъ безъ него отвлеченъ; одно бесконечное, само по себѣ, (и это прямо высказалъ Платонъ) ниже ограниченнаго и конечнаго, потому что оно неопредѣлено. Конечное имѣетъ цѣль и мѣру, а бесконечно-отвлеченное бытіе, опредѣленное—не есть *только* внѣшнее, но именно единое въ многообразіи; оно одно дѣйствительно, и, приходя въ сознаніе, оно возвышается надъ конечнымъ и даетъ среду вѣчнаго успокоенія и созерцанія, далѣе котораго платонова мысль не идетъ, или изъ котораго она не хочетъ выйти. Въ этомъ последнемъ словѣ Платона, въ этомъ царствѣ почившей и себя созерцающей идеи—все прекрасное и все одностороннее его возрѣнія. Онъ и въ историческомъ отношеніи къ своимъ предшественникамъ представляетъ свѣтлое и покойное море, въ которое всѣ они влекутъ воды свои; онъ исполняетъ, такъ сказать, ихъ судьбу, успокоиваетъ ихъ въ обширныхъ объятіяхъ своихъ. Парменидъ, Гераклитъ, Пифагоръ, Анаксагоръ, софисты, Сократъ равно нашли мѣсто въ платоновой мысли, и между тѣмъ его мысль была *ею* мысль. Рѣки потерялись въ морѣ, хотя онѣ въ немъ и хотя его не было бы безъ нихъ. Но, продолжимъ сравненіе: море это бесконечно широко, берега исчезаютъ—въ этомъ-то вся бѣда; вода и воздухъ—такія стихіи, въ которыхъ для человѣка чего-то недостаетъ: онъ любитъ землю, разно-

образіе жизни, а не стихійную безконечность, которая поражаетъ, долго поражаетъ,—но при которой остаться нельзя. Въ этой ширинѣ, теряющей берега, сила Платона, но онъ успокоился въ блаженствѣ созерцанія и думалъ забыть ихъ... Думалъ! А фантастическіе образы и представленія, втѣсняющіеся въ душу его, врывающіеся въ его діалектику, выказывающіе страстныя черты свои въ покойныхъ волнахъ чистаго мышленія—зачѣмъ они? Какая діалектическая необходимость въ нихъ? Не по логической необходимости всплывали они въ душѣ Платона, такъ какъ не по ней являлся демонъ Сократа; они являлись въ замѣну утраченнаго временнаго, они носили тотъ ликъ красоты, котораго не имѣетъ отвлеченная мысль и который дорогъ человѣку; они ими нарушили величавое спокойствіе чистаго мышленія, и Платонъ радовался этому нарушенію—такъ, какъ облака веселятъ мореходца, прерывая спокойную и вѣчно нѣмую лазурь.

Воззрѣніе Платона на природу было больше поэтико-созерцательное, нежели спекулятивно - наукообразное. Онъ начинаетъ съ представленій (въ „Тимеѣ“); деміургъ приводитъ въ порядокъ и устройство хаотическое вещество, онъ оживляетъ его, даетъ ему міровую душу: „желая сдѣлать міръ подобнымъ себѣ, деміургъ въ средоточіи міра постановилъ, душу міра проникнувшую всюду“\*). Вселенная для Платона—единое, одушевлен-

\*) Кстати упомянуть здѣсь о богопознаніи древняго міра: это слабѣйшая сторона его философіи; не даромъ нео-платоники бросили всѣ прежніе вопросы и занялись преимущественно теодицеей. Языческій міръ былъ въ этомъ отношеніи чрезвычайно непослѣдователенъ; при представленіяхъ политеизма мыслящему человѣку остановиться было невозможно; нельзя было, въ самомъ дѣлѣ, удовлетвориться Олимпомъ и добрыми греками, жившими на немъ. Ксенофанъ элеатикъ говоритъ:

ное и умное животное, „животное это одно; еслибъ ихъ было два или нѣсколько, то они имѣли бы между собою соотношеніе, были бы части и составили бы опять одно.“ Первоначальными стихіями Платонъ принимаетъ огонь и землю: „между ними (какъ совершенными противоположностями) должна быть связь, ихъ соединяющая, но изящнѣйшая изъ всѣхъ связей — та, которая себя и то, что ею соединяется, связуетъ въ одно высшее единство (какъ напримѣръ, умозаключеніе).“ Вы видите, что эта высокая мысль о связи заключаетъ въ себѣ уже возможность развиться въ понятіе, въ идею, въ субъективности. Эта мысль Платона (какъ и многія другія его мысли и мысли его сподвижниковъ) до нашего времени повторялась бесплодно и не была, кажется, никѣмъ оцѣнена. Физическій міръ имѣетъ своими крайними опредѣленіями твердое и живое (землю и огонь): „твердому нужны двѣ среды, ибо оно имѣетъ не только ширину, но и глубину: потому демиургъ постановилъ

„еслибъ быки и львы имѣли руки, они непременно валяли бы своихъ боговъ, такъ какъ мы, бравъ образецъ съ себя.“ Но отставъ отъ традиціонныхъ представленій, греки не могли сладить философскаго пониманія съ религіознымъ, ни разомъ пожертвовать язычествомъ; они могли жить, оставаясь при неопредѣленномъ, шаткомъ, колеблющемся принятіи язычества суррогатомъ мысли; отъ-того ни нусъ, ни душа міра, ни демиургъ, ни самая энтелехія Аристотеля не удовлетворяютъ ихъ вполне. У нихъ религія является всякій разъ случайно, *deus ex machina*; они вдругъ дѣлаютъ скачокъ отъ чистаго мышленія въ религіозное представленіе, оставляя ихъ во всемъ непримиримомъ противорѣчіи. Тутъ одинъ изъ предѣловъ греческаго воззрѣнія; не ждите полнаго отрыва отъ божественнаго отъ язычника: признаетъ ли онъ, отвергаетъ ли, — онъ въ обоихъ случаяхъ неправъ. Цидерону приходило въ голову мысль формально примирить древнюю религію съ философией; интересы его были и не религіозные и не философскіе, — онъ былъ государственный человѣкъ, и для общественной пользы писалъ прозаическіе трактаты *de natura deorum*, и безъ всякой пользы излагалъ въ диалогическомъ переводѣ великую науку грековъ.

между землею и огнемъ воздухъ и воду, и притомъ такъ, что огонь относится къ воздуху такъ, какъ воздухъ къ водѣ, а вода къ землѣ.“ Эта двойственность среды даетъ Платону основнымъ числомъ всего естественнаго *четыре*,—то самое число, которое у пифагорейцевъ считалось дѣйствительно-полнымъ. Разумное заключеніе, силлогизмъ, имѣетъ въ себѣ три момента, именно потому, что среда, расходящаяся въ природѣ, сливается въ разумномъ единствѣ; примирительная среда въ природѣ двойственна; она представляетъ противорѣчіе такъ, какъ оно есть въ природѣ, непримиреннымъ. „Вселенная шарообразна; элементы, ее составляющіе, даны ей богами въ такой соразмѣрности, что она никогда не можетъ выйти изъ своего равновѣсія. Сфероидальность ея заключаетъ въ себѣ всѣ формы; она гладка, ибо ничѣмъ не выходитъ изъ себя, не имѣетъ *отличія отъ другаго*.“ Имѣть внѣшнее различіе — характеръ конечнаго: внѣшность не для себя, а для другаго предмета, — вселенная же всѣ предметы; такъ въ идеѣ есть опредѣлительность, разчлененіе, ограниченіе и инобытіе; но вмѣстѣ съ тѣмъ, все это въ ней распущено, снято единствомъ, и потому остается такимъ различіемъ, которое не выходитъ изъ себя. „Богъ сочеталъ взятое отъ сущности вѣчно-тождественной съ собою, недѣлимой со взятымъ отъ сущности тѣлесной и дѣлимой; въ этомъ сочетаніи соединилась природа себѣ тождественная съ *другимъ*, съ природой себя-различной и это сочетаніе — живую душу поставилъ онъ соединяющей средою жежду расторгеннымъ.“ Обратите вниманіе на выраженіе Платона: съ *другимъ*; онъ не называетъ, чему оно другое, и въ этомъ-то глубокой спекулативный смыслъ его выраженія; это другое не по сравненію, а *само по себѣ*. Эти три сущности

обнялъ онъ еще высшимъ единствомъ, въ которомъ онѣ сохранили свое различіе, пребывая тождественными въ идеѣ. Царство идеи стоитъ въ своей вѣчности недосигаемымъ идеаломъ стремящемуся міру; оно имѣетъ образъ или отпечатокъ свой въ мірѣ конечномъ и отданномъ времени; но этотъ исторгающійся чрезъ временное къ вѣчности міръ въ свою очередь имѣетъ, въ противоположность себѣ, еще другой, которому переходимость и измѣняемость—сущность. И такъ, вѣчный міръ, поставленный во времени, осуществляется двумя формами въ мірѣ примиренія съ собою и въ мірѣ блуждающаго себя-различія. Мы имѣемъ изъ всего этого три опредѣленные момента: во-первыхъ, аморфизмъ, безвидность, готовая принять всякій видъ, вещество, матерія, среда воспринимающая, питающая, всеобщая кормилица, собою выкармливающая питомца для самобытнаго бытія; ею одѣйствовворяется форма, она сама переходитъ въ нее,—это страдательная матерія, всему дающая состоятельность. При ея помощи возникаютъ явленія внѣшняго бытія, единичности, въ которыхъ двойство непримиримо; но то, что проявляется, не есть уже чисто-матеріальное, а всеобщее, идеальное... Разсматривая природу, Платонъ не смѣшиваетъ въ ней двухъ началъ: „необходимаго и божественнаго,“ соподчиненнаго и царящаго, основаннаго на взаимодействіи и на себѣ самомъ; безъ необходимаго нельзя подняться къ божественному—въ этомъ его видимое значеніе,—но автономія божественнаго въ немъ самомъ. Такъ онъ и въ человѣкѣ различаетъ принадлежащее (божественное) его бессмертной душѣ отъ принадлежащаго его смертной душѣ (необходимое); всѣ страсти принадлежатъ душѣ смертной, и для того „чтобъ она не возмутила ими душу божественную, Богъ отдѣлилъ ее вней отъ без-



смертной души, этимъ дѣлителемъ груди и головы. Сердцу онъ приобщилъ легкія, безкровныя, мягкія, чтобъ облегчить его, когда оно обнимается пламенемъ ярости; легкія ноздреваты какъ губка, такъ устроены, чтобъ вбирать въ себя воздухъ и влагу и охлаждать ими жгучій зной сердца. Распространяясь далѣе объ устройствѣ тѣла, Платонъ говоритъ о печени\*): „неразумная сторона души — разума не слушаетъ, для того создана печень, воспринимающая нисходящую силу разума и отражающая, подобно зеркалу, вмѣсто первообразовъ призраки и страшныя тѣни; цѣль этихъ видѣній та, чтобъ неразумную сторону человѣка сдѣлать чрезъ посредство сна соучастницей вѣдѣнія. Подобно сему боги дали душѣ возможность волхвованія и прорицаній; что волхвованіе и предсказываніе дано именно неразумной сторонѣ души, ясно видно изъ того, что ни одинъ человѣкъ, обладающій совершенно умомъ, не предсказываетъ, а дѣлаютъ это люди или въ состояніи сна, или когда болѣзнями и восторженностію человѣкъ выводится изъ обыкновеннаго состоянія. При прорицаніяхъ надобенъ сознательный умъ другаго, чтобъ понять высказанное; ибо бредящій не понимаетъ своего бреда. Прежніе мыслители справедливо говорили, что дѣяніе и сознаніе принадлежатъ только разсуждающему человѣку.“ Я не могъ удержаться, чтобъ не выписать этого мѣста. Какой глубокой тактъ истины руководилъ мысль древнихъ философовъ! вы видите здѣсь, что Платонъ ясно и отчетливо понималъ, что нормальное со-

\*) Древніе придавали печени довольно-странное фізіологическое значеніе: они ее считали источникомъ сновъ, вѣроятно, основываясь на изобиліи крови въ этомъ органѣ. Здѣсь дѣло идетъ вовсе не о мнѣніи Платона о печени, а о томъ, что онъ говорилъ по ея поводу.

стояніе тѣлесно и духовно здороваго человѣка несравненно выше, нежели всякое аномальное, каталептическое, магнетическое сознаніе. Въ наше время вы встрѣтите множество людей, придающихъ себѣ видъ глубокомыслія и притомъ убѣжденныхъ, что ясновидѣніе выше, чище, духовнѣе простаго и обыкновеннаго обладанія своими умственными способностями, такъ какъ найдете мудрецовъ, считающихъ высшей истиной то, чего словами выразить нельзя, что, слѣдовательно, до того лично, случайно, что утрачивается при обобщеніи словомъ.

Воззрѣніе Платона на природу не можетъ, впрочемъ, быть общимъ представителемъ древняго воззрѣнія на естествовѣдѣніе; его стремленіе къ покоящейся идеѣ, въ которой временное потухло, романическая струна, звучавшая въ его душѣ, его близость къ Сократу—все это вмѣстѣ препятствовало ему остановиться долго на природѣ. По этому, опредѣливъ самымъ общимъ образомъ моментъ, выраженный Платономъ, мы перейдемъ къ послѣднему и полнѣйшему представителю эллинской науки.

Аристотель — въ высшемъ смыслѣ слова эмпирикъ; онъ все беретъ изъ подлежащей, окружающей его среды, беретъ какъ частное, беретъ такъ, какъ оно есть; но однажды взятое изъ опыта не ускользаетъ изъ мощной десницы его, взятое имъ не сохранить своей самобытности, какъ противорѣчіе мысли; онъ не оставляетъ предмета до тѣхъ поръ, пока не выпытаетъ всѣ его опредѣленія, пока сокровенная сущность его не раскроется свѣтлой, ясной мыслию, а посему эмпирикъ Аристотель съ тѣмъ вмѣстѣ въ высочайшей степени спекулятивный мыслитель. Гегель замѣтилъ, что эмпирическое, взятое въ своемъ синтезѣ, есть само спекулятивное понятіе: вотъ до этого пониманья и добивается

современная наука. Но понятіе не прежде раскрывается, какъ перейдя весь путь мысли, и Аристотель всѣ предметы, подвергавшіеся страшной разлагательной силѣ его, прогналъ по немъ, или, говоря языкомъ старой химіи, сублимировалъ ихъ въ мысль. Аристотель начинаетъ съ эмпирическаго даннаго, съ неотразимаго фактическаго событія — это его точка отправленія; не причина, а начало (*initium*), первое, предшествующее, и, какъ первое, — оно у него необходимо, неминуемо; это эмпирическое онъ увлекаетъ въ процессъ мышленія, расплавляетъ его огнемъ своего анализа и возводитъ съ собою на вершину самосознанія; для него нѣтъ косныхъ опредѣленій, нѣтъ ничего неподвижнаго, твердаго, почившаго, нѣтъ мертвыхъ философемъ; онъ бѣжитъ покоя, а не жаждетъ его, — въ этомъ-то и состоитъ его шагъ впередъ отъ Платона. Идея не могла навсегда остаться лазурью, успокоившейся отъ тревоженій временнаго, созерцаніемъ, находящимъ свое блаженство въ отсутствіи или нѣмотѣ всего частнаго. Не смотря на свой квіэтическій характеръ, у Платона, она въ сущности готова была раскрыться дальнѣйшими самоопредѣленіями, — но еще покоилась: Аристотель ринулъ ее въ дѣятельный процессъ, и все твердое, или казавшееся твердымъ, увлеклось міровымъ движеніемъ, ожило, снова возвратилось къ временному, не утративъ вѣчнаго. Идея *по себѣ*, въ своей всеобщности, еще не дѣйствительна, она *только* всеобщность, предположеніе дѣйствительности, заключеніе ея, если хотите, — но не сама дѣйствительность. Идея, исторгнувшаяся изъ круговорота дѣятельности, помимо его, представляетъ нѣчто недостаточное, косное и лѣнивое: одна дѣятельность даетъ полную жизнь; но она не легко уловима, понимать всеобщее отвлеченнымъ несравненно легче,

движеніе сложно само по себѣ, оно раздвоено, распадается на два противоположные момента, оно понятно одному сильному, быстрому вниманію, его надобно ловить на-лету; отвлеченное покойно, покорно разсудку, оно не торопится, какъ все мертвое; Гамлетъ справедливо увѣрялъ короля, что нѣкуда торопиться къ труну Полонія, что онъ подождетъ; мертвая абстракція существуетъ только въ умѣ человѣка; самодвиженія въ ней нѣтъ (если мы отдѣлимъ отъ нея неумолкаемую діалектическую потребность ума выйти изъ абстракціи).

Аристотель ищетъ истину предмета въ его цѣли; по цѣли стремятся онъ опредѣлить причину; цѣль предполагаетъ движеніе; цѣлеобразное движеніе—развитіе, развитіе—осуществленіе себя наисовершеннѣйшимъ образомъ, „одѣйствованіе благаго на сколько можно.“ „Всякая вещь и вся природа имѣетъ цѣлью благо.“ Эта цѣль—дѣятельное начало, логосъ, безпокойщій всеобщую почву (субстанціальность); оно пробуждаетъ ее къ стремленію, оно достигаетъ ею и въ ней совершенія себя, оно ринулось съ ней вмѣстѣ въ движеніе, но владѣетъ имъ для того, чтобъ спасти всеобщее въ потокѣ переменъ; такое движеніе—не просто видоизмѣненіе, а дѣятельность; дѣятельность—тоже непрерывная переменна, но сохраняющаяся въ ней; въ простой переменѣ ничего не сохраняется; тамъ нечего беречь. Движеніе, переменна, дѣятельность предполагаютъ поприще, страдательность, на которой онѣ совершаются; этотъ субстратъ—косное, отвлеченное вещество; все сущее непремѣнно одною стороною вещественно; но вещество само по себѣ—только возможность, расположеніе, страдательная, отвлеченная, всеобщая готовность; оно даетъ дѣятельности опредѣленную возможность,

практическую состоятельность; вещество—условіе, *conditio sine qua* поп развитія. Отсюда два аристотелевскіе момента: *динамія* и *энергія*, возможность и дѣйствительность, субстратъ и форма, сливающіяся въ томъ высшемъ единствѣ, гдѣ цѣль есть съ тѣмъ вмѣстѣ и осуществленіе (*энтелехія*). Динамія и энергія — тезисъ и антитезисъ процесса дѣйствительности; онѣ неразрывны, онѣ только истинны въ своемъ существованіи; другъ безъ друга онѣ абстрактны (нельзя довольно часто повторять этого; грубѣйшія ошибки происходятъ именно отъ удерживанія въ несвойственномъ разъединеніи матеріи и формы); вещество безъ формы, косное, отвлеченное отъ дѣятельности—не истина, а логическій моментъ, одна сторона истины; форма съ своей стороны невозможна безъ вещества; нѣтъ дѣйствительности безъ возможности—иначе она была бы чистѣйшій *pop sens*. Въ дѣйствительности они всегда неразрывны, ихъ нѣтъ врознь, процессъ жизни состоитъ изъ взаимодействія ихъ и изъ ихъ присущности:—вотъ въ этомъ-то дѣятельномъ, стремящемся къ самосовершенію процессѣ и старается Аристотель уловить идею во всемъ ея разгарѣ. Идея Платона, какъ-бы совершившаяся, окончившая въ себѣ отрицаніе, примиренная, пребываетъ въ величавомъ покоѣ; Платонъ собственно держится сущности, но сущность сама по себѣ, отвлеченная отъ бытія, не есть еще ни дѣйствительность, ни дѣятельность: она точно такъ же влечетъ къ проявленію, какъ проявленіе къ сущности. У Аристотеля сущность неразрывна съ бытіемъ: оттого она и не покойна; у него идея, несовершившаяся въ отвлеченной безусловности, а такъ, какъ она совершается въ природѣ, въ исторіи, т. е. въ дѣйствительности. Послѣдуемъ за его развитіемъ. Полное и истинное единство дѣятельности и

возможности—въ идеѣ; въ низшихъ сферахъ онѣ разъединены, противоположны и только стремятся къ своему примиренію. Все осязаемое представляетъ конечную сущность, въ которой вещество и образъ раздѣлены, внѣшніи другъ другу—въ этомъ весь смыслъ конечнаго и вся ограниченность его; здѣсь сущность подавлена дѣятельностью, сноситъ ее, но не становится ею: она переходитъ изъ одной формы въ другую и постояннымъ остается одно вещество—почва перемѣнъ, страдательное долготерпѣніе; опредѣленность и форма находятся въ отрицательномъ отношеніи къ веществу, моменты распадаются, и нѣтъ мѣста полной гармоніи въ этомъ чувственномъ сочетаніи. Когда же дѣятельность содержитъ въ себѣ то, что должно быть, имѣетъ *въ себѣ* цѣль стремленія, тогда движеніе становится дѣяніемъ—энергія является какъ умъ; вещество дѣлается субъектомъ, живымъ носителемъ перемѣнъ; форма становится сочетаніемъ и единствомъ двухъ крайностей: матеріи и мысли, всеобщаго страдательнаго и всеобщаго дѣятельнаго. Въ чувственной сущности дѣятельное начало еще отдѣлено отъ вещества, нусъ побѣждаетъ эту отдѣльность, но ему (уму) нужно вещество, онъ предполагаетъ его, иначе, у него нѣтъ земли подъ ногами; умъ или нусъ здѣсь—понятіе животворящее и разчленяющееся въ своемъ воплощеніи. (Аристотель называетъ нусъ въ этомъ моментѣ душою, логосомъ, самодвижущимся и самостоящимся.) Наконецъ, полное, совершеннѣйшее развитіе—слитіе динаміи, энергіи и энтелехіи: въ немъ все примирено, возможность вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣйствительность, неподвижность—вѣчное движеніе, вѣчная непреходимость временнаго, разумъ самосознающій, *actus purus*! Можетъ быть, замѣтите вы,—Аристотель ставитъ всему началомъ *страдательное*

вещество. Нѣтъ! Ибо страдательное вещество — призракъ, отвлеченіе, имѣющее только маску дѣйствительнаго, матеріальнаго; могъ ли взять началомъ такой спекулятивный геній, какъ Аристотель, неисполненную возможность, школьную абстракцію. Вотъ что онъ говоритъ: „многое возможное не достигаетъ дѣйствительности, стало быть, возможное — начало (*πρῶτον*); но если принять началомъ одну возможность, то надобно допустить случай не одѣйствовотворенія ея, вслѣдствіе котораго могло ничего не быть.“ Такая спекулятивная нелѣпость опровергала вполнѣ, въ глазахъ его реализма, нелѣпое предположеніе. Далѣе онъ говоритъ; „Нѣтъ, не съ одного хаоса, не съ ночи, продолжавшейся безконечное время, какъ объясняютъ наши жрецы-теологи, начало всего; откуда взялось бы что нибудь, еслибъ въ самой дѣйствительности не было причины? Энергія есть высшее и первое (вспомните, какъ прекрасно Августинъ дѣлитъ хронологическое первенство и первенство достоинства, *prioritas dignitatis*). Вещественность страдательна; чистая дѣятельность предупреждаетъ возможность, не по времени, а по сущности.“ Цѣлесообразность выставляетъ, обличаетъ это первенство.

Вѣрный себѣ, Аристотель начинаетъ физику съ движенія и его моментовъ (пространство и время) и переходитъ отъ всеобщаго къ обособленіямъ и частностямъ вещественнаго міра, не теряя нигдѣ изъ вида главную мысль—живаго теченія, процесса. Мало того, что онъ природу схватываетъ, какъ жизнь — въ этомъ основа его естествовѣдѣнія,—но эту жизнь принимаетъ за единую, имѣющую цѣль въ себѣ, тождественную съ собою; движеніемъ она не въ другое переходитъ, но развиваетъ перемѣны изъ своего содержанія, пребывая въ нихъ и сохраняя себя. „Все находится во взаимномъ соотно-

шеніи; плавающее, летающее, прозябающее, — все это не чуждо другъ другу; они сами представляютъ свои отношенія, сводящіяся къ одному единству.“ Систематическаго порядка въ аристотелевой физикѣ нѣтъ: онъ выводитъ одну сторону предмета за другою, одно опредѣленіе за другимъ, безъ внутренней необходимости, развивая каждое до спекулятивнаго понятія, но не связуя ихъ. У него одна связь — та, которая въ самой природѣ—жизнь и движеніе; но для науки этого мало: жизнь еще не вся полнота самосознательной идеи.

Приступая къ идеѣ природы, Аристотель сначала рассматриваетъ природу, какъ причину, для чего нибудь дѣйствующую, имѣющую цѣлесообразное стремленіе,—потомъ уже переходитъ къ необходимости и ея отношеніямъ. Обыкновенно дѣлаютъ наоборотъ: обращаются сначала къ необходимому и существеннымъ считаютъ не то, что опредѣлено цѣлью, а что вышло изъ внѣшней необходимости; долгое время все пониманіе природы сводили на одно раскрытіе необходимости. Аристотель начинаетъ съ идеальнаго момента природы; для него цѣль — „внутренняя опредѣленность самаго предмета.“ „Въ ней заключена дѣятельность природы, ея самосохраненіе, постоянное, непрерывное, и, слѣдовательно, зависящее не отъ случая и удачи.“ Цѣль равно ставитъ предъидущее и послѣдующее, причину и произведеніе; сообразно ей всѣ частныя дѣйствія отнесены къ единству, такъ что производимое есть именно природа вещи. „Нѣчто становится, какимъ оно предсуществовало.“ „Кто принимаетъ случайное образованіе, тотъ снимаетъ природу, ибо начало ея состоитъ въ томъ, что она себя приводитъ въ движеніе; природа есть то, что достигаетъ своей цѣли.“ Природа вещи — всеобщее, само съ собою тождественное, кото-



рое само себя, такъ сказать, отталкиваетъ, т. е. осуществляетъ; но то, что осуществляется, что возникаетъ — то было въ основѣ: это цѣль, родъ, предсуществовавшіе, какъ возможность. Отъ цѣли переходитъ Аристотель къ средѣ, къ средству: „Ласточка,“ говоритъ онъ: „вьетъ гнѣздо, паукъ плететъ паутину, дерево вырастаетъ въ землю—въ нихъ самихъ находится причина такого дѣйствованія.“ Инстинктъ заставляетъ ихъ искать сочетанія среды съ самосохраненіемъ; средство — не что иное, какъ особенное представленіе цѣли, жизнь—цѣль самой себѣ, она достигаетъ, воспроизводитъ и хранитъ вызванный организмъ свой. Растеніе, животное становится *такимъ*, потому что оно въ водѣ или на воздухѣ—тутъ кругъ. Эта способность видоизмѣняться, принадлежащая живому,—не просто случайность и слѣдствіе одной внѣшней среды: она возбуждается внѣшнимъ условіемъ, но одѣйствотворяется настолько, на сколько соотвѣтствуетъ внутреннему понятію животнаго. „Иногда природа не достигаетъ того, чего хочетъ; ея ошибки—уроды; но ошибаться можетъ тотъ, кто дѣлаетъ съ цѣлью.“ Природа имѣетъ при себѣ свои средства и эти средства — сама цѣль; она похожа на человѣка, который самъ себя лечитъ.“ Говоря о необходимости, Аристотель превосходно побѣждаетъ мысль внѣшней необходимости въ развитіи природы слѣдующимъ примѣромъ: „Можно предположить, что домъ необходимо возникъ, потому что тяжелѣйшія части его внизу, а легкія вверху, такъ что, слѣдуя своей природѣ, фундаментъ опустился ниже земли, а сверхъ земли улеглись бревна... конечно, и это отношеніе было въ расчетѣ, однако не вслѣдствіе его воздвигнули домъ. Такъ и во всемъ, для чего нибудь существуетъ: оно, т. е. существующее, не безъ того,

что необходимо его природѣ, но и не потому. Такая необходимость относится къ предмету, какъ вещественность вообще; въ матеріи необходимость, а въ основѣ —цѣль, и то и другое начало, но цѣль —высшее.“ Она двигающее, которому необходимое —необходимо, но она не покоряется ему, а совсѣмъ напротивъ, держитъ его въ своей власти, не даетъ ему вырваться изъ цѣлесообразности и удерживаетъ внѣшнюю силу необходимости.

Я оставляю прекрасные выводы Аристотеля пространства и времени единственно изъ боязни, что они вамъ покажутся слишкомъ абстрактными, и перейду къ его психологіи (которую, впрочемъ, можно назвать и фізіологіей). Не думайте, что тутъ пойдетъ собственно метафизика души, что онъ, какъ схоластики, поставитъ передъ собой душу и пресерьезно начнетъ разбирать, что она за вещь такая, простая или сложная, духовная или вещественная, — нѣтъ, такими абстрактными игрушками спекулятивный духъ Аристотеля не могъ заниматься: его психологія рассматриваетъ дѣятельность въ живомъ организмѣ —не болѣе. Съ самаго приступа онъ проводитъ яркую черту между своимъ возрѣніемъ и дуализмомъ метафизики; онъ говоритъ, что душу рассматриваютъ, какъ отдѣляемое отъ тѣла въ мышленіи съ логической стороны ея, и какъ нераздѣльное съ тѣломъ въ чувствахъ —фізіологически, и тотчасъ присовокупляетъ, въ видѣ объясненія: „Съ одной стороны гнѣвъ, наримѣръ, рассматривается, какъ порывъ и кипѣніе крови, съ другой стороны —какъ желаніе справедливаго вознагражденія: это похоже на то, еслибъ одинъ домъ рассматривать со стороны представляемой имъ защиты отъ дождя и вѣтра, другой, со стороны матеріала, изъ котораго онъ построенъ, одинъ

со стороны формы, другой — со стороны вещества и необходимости.“ Душа есть энергія перехода изъ возможности въ дѣйствительность, сущность органическаго тѣла, его *εἶδος*, чрезъ посредство котораго она по возможности становится тѣломъ одушевленнымъ; душа достигаетъ формы, наиболѣе соотвѣтствующей себѣ: для того она и дѣятельна. „Нельзя спрашивать,“ говоритъ Аристотель, „тѣло и душа одно ли, или разное, такъ какъ нельзя спросить: воскъ и его форма одно ли.“ Совсѣмъ не въ томъ интересъ отношенія души къ тѣлу, что они тождественны или нѣтъ; главный вопросъ, по Аристотелю, состоитъ въ томъ, *тождественна ли дѣятельность съ органомъ*. Вещественная сторона представляетъ только возможность, не реальность души; субстанція глаза — видѣніе: лишите его способности зрѣнія, — вещество можетъ остаться то же, но смыслъ утраченъ; глазъ, его составныя части, актъ видѣнія принадлежатъ единой цѣлости, и въ ней полная истина ихъ, а не врознь: такъ душа и тѣло составляютъ живую неразрывность. Душу Аристотель опредѣляетъ трояко: какъ питающуюся, какъ чувствующую и какъ разумную, соотвѣтственно тремъ главнѣйшимъ функціямъ души и имъ соотвѣтствующимъ царствамъ жизни: растительному, животному и человѣческому; въ человѣкѣ соединяется растительная и животная натура въ высшемъ единствѣ. Переходя къ взаимному отношенію трехъ душъ, Аристотель говоритъ: „растительная и чувственная душа находятся въ мыслящей, питающаяся душа составляетъ природу растений; растительная душа — первая степень дѣятельности, находится и въ чувствующей душѣ, но такъ, какъ возможность ея.“ Она въ ней непосредственное по себѣ бытіе; всеобщее, существенное не ей принадлежитъ, но безъ нея быть не

можетъ ; она изъ подлежащаго дѣлается сказуемымъ, изъ высшей дѣятельности нисходитъ на значеніе субстрата, носителя. То же отношеніе животнорастительной души къ мыслящей : высшее бытіе животного нисходитъ въ мыслящемъ существѣ *въ одно изъ его естественныхъ опредѣленій*, въ его всеобщую возможность, но то и другое покорено ею для себя бытіемъ (т. е. энтелехіей). Какая изумительная вѣрность и какая глубина въ этомъ взглядѣ на природу ! Аристотель не только далеко оставилъ за собою грековъ, но и почти всѣхъ новыхъ философовъ. Послѣдуемъ за нимъ далѣе въ разборъ функцій души.

„Чувствованіе—вообще возможность, но эта возможность съ тѣмъ вмѣстѣ дѣятельность. Первая переменная чувствующаго происходитъ отъ производящаго впечатлѣніе ; но когда оно произведено, тогда мы обладаемъ впечатлѣніемъ, какъ знаніемъ,“ и въ этой страдательной сторонѣ чувствованія, возбуждаемой внѣшнимъ, находитъ Аристотель его различіе съ сознаніемъ. Причина этого различія состоитъ въ томъ, что чувствующая дѣятельность имѣетъ предметомъ частное, а знаніе—всеобщее, которое само нѣкоторымъ образомъ составляетъ сущность души. Оттого всякій можетъ думать, когда хочетъ, и мышленіе свободно ; чувствовать же—не въ волѣ человѣка : для чувствованія необходимъ производитель. Чувство въ возможности—то, что ощущаемое въ дѣйствительности ; оно страдательно, пока не приведетъ себя въ уровень съ впечатлѣніемъ ; но, выстрадавъ, оно готово и дѣлается тождественно по ощущаемому. „*Какъ сущіе*, звукъ и слухъ разны, но въ основѣ своей они одинаковы“ ; дѣятельность слуха—ихъ единство, чувствованіе есть форма ихъ тождественности, снятіе противоположности предмета и органа ;

чувство воспринимаетъ ощущаемыя формы безъ матеріи : такъ воскъ принимаетъ печать, захватывая не металлъ, а только его форму. Это сравненіе Аристотеля подало поводъ къ безконечнымъ толкамъ о душѣ, какъ о пустомъ пространствѣ (*tabula rasa*) наполняемомъ одними внѣшними впечатлѣніями; но такъ далеко сказанное сравненіе нейдетъ; воскъ въ самомъ дѣлѣ отъ печати ничего не принимаетъ; выдавленная форма, какъ внѣшнее очертаніе его, нисколько ему не существенно; въ душѣ, напротивъ, форма принимается самой сущностью ея, претворяется ею, такъ что душа представляетъ живую и усвоенную себѣ совокупность всего ощущаемаго. Приниманіе души дѣятельно; принявъ, она снимаетъ страдательность, освобождается отъ нея\*); реф-

\*) Здѣсь по неволѣ вспоминается споръ, долго тянувшійся между идеалистами и эмпириками о началѣ вѣдѣнія. Одни началомъ ставили сознаніе, другіе — опытъ. Спорили, писали томы и были очевидно неправы, потому что обѣ стороны принимали отвлеченіе за истину. Лейбницъ, своими гениальными „*nisi intellectus*,“ указалъ на разрѣшеніе спора; но его не поняли, находили, что это діалектическая уловка, искаженіе вопроса, и требовали лаконически то или другое: первенство опыта, или сознанія, *la bougie ou la vie*! Теперь этотъ вопросъ никого не занимаетъ; очевидность истины съ той и другой стороны и невозможность удержаться въ одномъ опредѣленіи, не перейдя въ другое, прямо ведетъ къ заключенію, что истина состоитъ въ единствѣ односторонностей, не исчерпывающихъ ея вразъ, необходимыхъ другъ для друга. И чего добивались спорившіе? для чего имъ хотѣлось утвердить ничтожное хронологическое первенство за опытомъ, или за сознаніемъ? Вѣроятно, они думали на этомъ первенствѣ основать майоратъ, не замѣчая, что въ чью бы пользу ни разрѣшили вопроса, — побѣда досталась бы противникамъ. Если начало знанія — опытъ, то знаніе дѣйствительное должно доказать, что предположеніе, предупреждающее его, не есть знаніе, что отъ него должно отречься, потому что оно не знаніе; начало, въ самомъ дѣлѣ, тотъ моментъ знанія, въ которомъ оно равно незнанію, — одна возможность знанія, снимаемая развитіемъ. Знаніе равно невозможно безъ опыта и безъ смысла. Если феноменально опытъ предшествуетъ сознанію, то это не

лексія сознанія снова поставляетъ различіе ; но различіе, имѣющее оба момента внутри сознанія, ощущаемое въ отношеніи къ мышленію, представляетъ его непосредственность, его вещественную, матеріальную часть, безъ которой оно невозможно, внѣшнюю искру, возжигающую мышленіе ; однажды вызванная мысль остановиться не можетъ, она не можетъ относиться къ своему предмету бездѣятельно, ибо она только и есть дѣятельность ; предметъ мысли самъ является въ формѣ мысли, лишенной объективности ощущаемаго, и оба термина движенія въ ней самой. Для мысли нѣтъ другаго бытія, какъ дѣятельное для себя бытіе, *она вовсе не имѣетъ по себѣ бытія*, ея по себѣ бытіе, матеріальное существованіе, есть именно *ея другое*. „Разумъ во всемъ у себя, онъ все мыслить ; но онъ не имѣетъ дѣйствительности безъ мышленія, онъ ничего прежде, нежели мыслить,“ онъ живъ въ дѣятельности. „Разумъ — книга съ бѣлыми листами, на которыхъ, въ самомъ дѣлѣ, ничею не написано.“ Этого примѣра такъ же не поняли, какъ примѣра о воскѣ ; дѣятельность тутъ принадлежитъ самой книгѣ, а внѣшнее только поводъ ; разумѣется, разумъ — бѣлый листъ прежде мышленія ; разумъ — динамія всего мыслимаго, но онъ ничего безъ мышленія ; мыслить же опять онъ самъ, — внѣшность не умѣетъ писать на бѣломъ листѣ, она будитъ только писаря. „Разумъ страдателенъ,“ говоритъ Аристотель, „въ чув-

больше значить, какъ то, что онъ служитъ внѣшнимъ условіемъ для обличенія предсуществующаго ему разумѣнія, которое осталось бы одною возможностью, невозбужденное опытомъ. Подобныя абстракціи, удерживаемыя въ противорѣчащей полярности, ведутъ къ антиноміямъ, въ которыхъ бесконечно повторяется противорѣчіе, съ монотонностью, приводящей въ отчаяніе, и указующей на какую-то неладность въ самомъ вопросѣ. Въ этихъ антиноміяхъ непрерывно вращается разсудочная наука. Мы съ ними еще разъ встрѣтимся.

ствѣ и въ представленіи, но въ этомъ по себѣ бытіи его, онъ еще не развитъ; нусъ себя думаетъ чрезъ воспріятіе мыслимаго, это мыслимое становится, съ тѣмъ вмѣстѣ, возбуждающее (касающееся), оно создается въ то время, какъ *касается*. Разумъ — дѣятельность; то движется, то дѣятельно, что ищетъ, что проситъ; цѣль, искомое, напротивъ, пребываютъ въ покоѣ, но въ мышленіи предметъ самъ мыслимый, самъ произведеніе мышленія, къ себѣ стремится, оттого онъ безконеченъ и свободенъ, и тождествененъ съ своею дѣятельностью, оттого онъ не имѣетъ другой дѣйствительности, кромѣ для себя бытія.“ Если мы нусъ возьмемъ за способность внѣшняго знанія, а не за дѣятельность, и мышленіе подчинимъ результатамъ такого знанія, то мышленіе будетъ хуже того, чего достигаетъ,—бѣдною и скучною воспроизводящею способностью. Свой разборъ мышленія Аристотель заключаетъ слѣдующими, чисто эллинскими словами: „Въ системѣ міра намъ данъ короткій срокъ пребыванія—жизнь; даръ этотъ прекрасенъ и высокъ. Бодрствованіе, чувствованіе, мышленіе —высшія блага, исполненныя наслажденія. Мышленіе, имѣющее предметомъ себя, претворило предметъ въ себя, такъ что мышленіе и мыслимое сливаются, и предметъ становится ея дѣятельностью и энергіей. Такое мышленіе — верхъ блаженства и радость въ жизни доблестнѣйшее занятіе человѣка.“ Энергію мышленія онъ ставитъ выше мыслимаго; для него живое мышленіе — высшее состояніе великаго процесса всемірной жизни. Вотъ вамъ грекъ во всей мощи и красѣ своего развитія! Это послѣднее торжественное слово *пластическаго* мышленія древнихъ; это рубежъ, далѣе котораго эллинскій міръ не могъ идти, оставаясь самимъ собою.

Осень, 1844 г.

## ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

### Послѣдняя эпоха древней науки

Воззрѣніе Аристотеля не достигло такой наукообразной формы, которая бы, находя все въ себѣ и въ методѣ, поставила бы его независимо отъ самого Аристотеля; оно не достигло той зрѣлой самобытности, чтобъ совсѣмъ оторваться отъ лица, и, слѣдственно, не могло перейти во всей полнотѣ къ его преемникамъ, — перейти, какъ такое наслѣдіе, которое стояло бы только развивать и вести стройно впередъ. Въ наукѣ Аристотеля, какъ въ царствѣ ученика его, Александра Македонскаго, единство животворящее, средоточіе, къ которому все относилось, — не было полной принадлежностью ни науки, ни царства; имъ не доставало всего того, что въ нихъ приносила геніальность исполина мысли и исполина воли. Возможность имперіи Александра лежала въ современныхъ ему обстоятельствахъ, но дѣйствительность ея была въ немъ; со смертію его она распалась; послѣдствія ея были вѣрны и обстоятельствамъ и лицу, но царство, какъ органическое цѣлое, какъ соціальная индивидуальность, не могло удержаться. Также точно ученіе Платона и его предшественниковъ представляло Аристотелю возможность подняться на ту высоту, на которую его возвелъ его геній; но геніальность дѣло личное; нельзя требовать, чтобъ каждый перипатетикъ, наприм., имѣлъ бы такой талантъ, который поднялъ бы его на тотъ пьедесталъ, на которомъ стоялъ Аристотель, потому что онъ былъ геній. Слѣдствіемъ всего этого было формальное, подавтори-



тетное изученіе самого Аристотеля, вмѣсто усвоенія духа животворящаго его науку. Ученики его тогда только могли бы понять, усвоить себѣ воззрѣніе Аристотеля, когда бы они такъ стали на его почвѣ, чтобъ вовсе не заботились о его словахъ, а вели бы далѣе самое дѣло; но для этого надобно было, чтобъ доля, принадлежавшая геніальной личности, перешла въ безличность методы, т. е. людямъ надобно было прожить еще двѣ тысячи лѣтъ. Въ наше время, подвигъ Гегеля состоитъ именно въ томъ, что онъ науку такъ воплотилъ въ методу, что стоитъ понять его методу, чтобъ почти вовсе забыть его личность, которая часто безъ всякой нужды выказываетъ свою германскую фізіономію и профессорскій мундиръ Берлинскаго Университета, не замѣчая противорѣчія такого рода личныхъ выходовъ съ средою, въ которой это дѣлается. Но это появленіе личныхъ мнѣній у Гегеля до такой степени неважно и неумѣстно, что никто (изъ порядочныхъ людей) не останавливается передъ ними, а его же методою бьютъ на голову тѣ выводы, въ которыхъ онъ является не органомъ науки, а человѣкомъ, не умѣющимъ освободиться отъ паутины ничтожныхъ и временныхъ отношеній; изъ его началъ смѣло идутъ противъ его непоследовательности — съ твердымъ сознаніемъ, что идутъ *за нею*, а не *противъ нею*. Чѣмъ болѣе вліяніе лица, чѣмъ болѣе вырѣзывается печать индивидуальности частной, тѣмъ труднѣе разобрать въ ней черты родовой индивидуальности, а наука-то и есть родовое мышленіе; потому она и принадлежитъ каждому, что она не принадлежитъ никому.

Эѳирное начало, тонкое вѣяніе духа глубокаго и полнаго живымъ пониманьемъ, носившееся надъ твореніями Аристотеля, тотчасъ низверглось, попавшись въ

холодильникъ разсудочнаго пониманія его послѣдователей. Слова его повторялись съ грамматическою вѣрностью,—но это была маска, снятая съ мертваго, представившая каждую черту, каждую морщину трупа и утратившая теплыя, колеблющіяся формы жизни. Аристотель не могъ привить свою философію такъ въ кровь своихъ современниковъ, чтобъ сдѣлать ее ихъ плотью и кровью; ни его послѣдователи не были готовы на это, ни его метода: онъ изъ простой эмпиріи поднимаетъ предметъ свой до многосторонней спекуляціи и истощивъ его, идетъ за другимъ; онъ, какъ рыболовъ, безпрестанно погружаетъ голову въ воду, чтобъ исторгнуть оттуда что нибудь, вывести на свѣжій воздухъ и усвоить себѣ; совокупность этихъ усвоеній даетъ тѣло его наукъ, но средство этого претворенія — опять его личность, добавляющая своей мощью недостатокъ метода, ибо *открытая* метода его просто формальная логика; скрытое начало, связующее всѣ творенія Аристотеля, если и просвѣчивается, то, навѣрное можно сказать, нигдѣ не выражено въ наукообразной формѣ; — оттого-то ближайшіе послѣдователи, усвоивъ себѣ то, что передавалось наукообразно, утратили все, что принадлежало орлиному взгляду генія. Неполнота или недостатокъ великаго мыслителя обличаются не въ немъ, а въ послѣдователяхъ, потому что они держатся въ неотступной и строгой вѣрности буквальному смыслу словъ, тогда какъ геніальная натура, по внутреннему устройству души своей, переходитъ во всѣ стороны за формальные предѣлы, хотя бы они были поставлены ея собственной рукой; это перехватываніе за предѣлы односторонности, даже современности, и составляетъ яркое величіе генія. Аристотель, такъ же, какъ и Платонъ, потускли въ философскихъ школахъ, слѣдовавшихъ за

ними; они остаются какими-то осѣняющими свѣше тѣ-  
нями, недосягаемыми, высокими, отъ которыхъ всѣ ве-  
дутъ свое начало, къ которымъ всѣ хотятъ прикрѣ-  
питься, но которыхъ никто не понимаетъ въ самомъ  
дѣлѣ. Послѣ многихъ вѣтвящихся школъ академиче-  
скихъ и перипатетическихъ, не сдѣлавшихъ ничего важ-  
наго, является неоплатонизмъ наслѣдникомъ всей древ-  
ней мысли, исполненіемъ Платона и Аристотеля. Нео-  
платонизмомъ перешла древняя мысль въ новый міръ,  
—но это было болѣе переселеніе душъ, нежели разви-  
тіе: мы увидимъ это сейчасъ. Какъ лицо, какъ самъ  
онъ, Аристотель былъ схороненъ подъ развалинами  
древняго міра до тѣхъ поръ, пока Аравитянинъ не  
воскресилъ его и не привелъ въ Европу, погрязавшую  
во мракѣ невѣжества, — средневѣковой міръ, съ какой-  
то любовью накладывавшій на себя всякія цѣпи, съ  
подобострастіемъ склонился подъ авторитетъ рѣшитель-  
но непонятаго Аристотеля. При всемъ этомъ, *doctores*  
*segraphici et angelici*, унижаясь передъ Аристотелемъ,  
сдѣлали изъ него схоластическаго, скучнаго, іезуитиче-  
скаго патера-формалиста. И бѣдный стагиритъ долженъ  
былъ раздѣлить всю ненависть воскреснувшей мысли,  
съ лютеровскимъ яримъ гнѣвомъ возставшей противъ  
схоластики и романтическихъ оковъ\*). Собственно отъ

\*) Предупреждая возраженіе какого нибудь филолога, считаемъ нужнымъ замѣтить, что мы разумѣемъ судьбы Аристотеля на западѣ. Въ Восточной Имперіи, вѣроятно, до самыхъ турковъ, водились люди, читавшіе древнихъ философовъ, въ томъ числѣ Аристотеля, и смотрѣвшіе на него съ своей точки зрѣнія, — исторіи науки, собственно, до этого дѣла нѣтъ; исторія вообще не обязана заниматься всѣмъ, что дѣлаютъ люди и что они вездѣ дѣлаютъ. Все, что выпадаетъ изъ общаго русла или не втекаетъ въ него, что замираетъ въ стоячести, или, усталое, падаетъ на полдорогѣ, что случайно, частно, — тогда только имѣетъ право на историческое значеніе, когда оно не безслѣдно; въ

Аристотеля до „великаго возстановленія“ наукъ въ XVI столѣтїи (*instauratio magna*), наукообразнаго движенія не было, не смотря на то, что человѣчество въ этотъ промежутокъ сдѣлало колоссальные шаги, которые привели его къ новому міру мышленія и дѣянія. Для нашей цѣли, мы, ничего не теряя, могли бы перешагнуть отъ Аристотеля къ Бэкону,—но позвольте самымъ сжатымъ образомъ сказать нѣсколько словъ объ этомъ времени, промежуточномъ между эллинской наукой, окончившейся Аристотелемъ, и новой, начавшейся съ Бэкона и Декарта и возмужавшей въ лицѣ Спинозы.

Наука грековъ, вступая въ послѣднюю фазу свою, ищетъ *очевиднаго*, одно очевидное принимаетъ за истину. Требованія ея становятся яснѣе и, съ тѣмъ вмѣстѣ, проще; она цѣлью своихъ изысканій ставитъ внѣшній *критеріумъ* истины, ищетъ его въ личномъ мышленіи: —конечно, критеріумъ только и можно найти въ мышленіи, но въ мышленіи, освобожденномъ отъ личнаго характера. Отъискиваніе критеріума, т. е. повѣркѣ, съ разсудочной точки зрѣнія—неразрѣшимая задача; умъ, отрѣшившійся отъ предмета и опредѣлившій себя отрицательно, можетъ понять истину, какъ свой законъ,

противномъ случаѣ, исторія забываетъ — и въ этомъ великое милосердіе ея! Исторія Китая, обыкновенно, преподается короче, нежели исторія каждого города Италїи: неужели вы думаете, причина этому пристрастіе, даль или близость? Въ такомъ случаѣ, Плутархъ до высочайшей степени пристрастный человѣкъ, почему онъ писалъ біографіи Перикла, Алкивіада и проч., а не каждого аѳинскаго гражданина? или почему въ своихъ біографіяхъ онъ не рассказываетъ, какъ у его героев рѣзались зубы, какъ ихъ отнимали отъ груди, или какъ въ болѣзненномъ и старческомъ бреду они капризничали, охали и проч.? Исторія, какъ Французская Академія, никому сама не предлагаетъ мѣста въ себѣ, а разбираетъ права тѣхъ, которые сами стучались въ дверь ея.

но никогда не пойметъ этого закона истинною предмета. И именно, въ этомъ отчужденномъ, сосредоточенномъ въ себѣ состояніи мысли, когда у ней теряется земля подъ ногами и чувствуется какая-то пустота внутри, возникаетъ потребность строгаго догматизма, мышленіе хочетъ въ немъ окопаться, укрѣпиться противъ всякаго нападенія, не зная, что худшій врагъ уже въ груди ея. Да и какъ было не искать людямъ неприкосновенной твердыни внутри себя и въ теоретическомъ мірѣ, когда все окружающее начало ломиться и оказываться ложнымъ или дряхлымъ. Свѣтлая эпоха греческой жизни приходила тогда въ концу; година, исполненная тяжкихъ страданій и униженій, наставала для Греціи; побѣдители востока не имѣли силы защищаться противъ суроваго запада. Въ жизни греческой такъ тѣсно соединялись всѣ элементы, что ни искусство, ни наука не могли, не измѣнившись, пережить гражданское устройство; для ихъ науки нужны были Аѳины, Аѳины, вѣрующіе въ себя... ну, просто, нужна была юношеская беззаботность, позволяющая предаваться мысли,—а могла ли она остаться около того времени, какъ послѣдній царь македонскій съ поникнувшимъ челомъ шелъ по римскимъ улицамъ, прикованный въ торжественной колесницѣ побѣдителя? Когда это случилось, разлагающій ядъ давно разъѣдалъ Элладу; ни въ науку, ни въ государство, ни въ людей не было вѣры; объ Олимпѣ и говорить нечего — его не отвергали изъ какой-то учтивости, да стращали имъ толпу. Вотъ въ это время, а не во время софистовъ, въ самомъ дѣлѣ, явилось безобразное зрѣлище раторовъ-діалектиковъ, говорившихъ и проповѣдывавшихъ безъ всякихъ убѣжденій: это было какое-то холодное адвокатство въ наукѣ, двуличное и коварное, мгновенное и пустое; едва изрѣдка

появлялись искры, напоминавшія острый, поэтический, легкій и глубокий афинскій умъ. Явленіе это болѣе принадлежитъ общественной жизни, нежели наукѣ, оно было —отраженіемъ гражданскаго растлѣнія въ сферѣ мышленія. Но въ той же самой сферѣ явилось и самое энергическое противодѣйствіе общественной безнравственности—стоицизмъ. Ученіе стоиковъ по преимуществу нравственное; оно прямо идетъ къ вопросамъ жизненнымъ, стремится дать совѣтъ, укрѣпить грудь противъ ударовъ судьбы, возбудить гордое сознаніе долга и заставить всѣмъ жертвовать ему,—что другое могли проповѣдывать люди мысли, передъ глазами которыхъ разыгрывался послѣдній замыкающій актъ трагедіи, гдѣ гибнулъ цѣлый міръ и изъ-за видимыхъ развалинъ этого міра трудно было разсмотрѣть будущее, тихо и незамѣтно водворявшееся, передъ этимъ страшнымъ зрѣлищемъ агоніи, исполненной старческаго, безсильнаго разврата, истощенія, гадкой въ своемъ циническомъ раболѣпнѣ?—философу оставалось скрестить руки на груди и мужественно стать протестомъ, своимъ неучастіемъ заклеймить общество, громко обличить его позоръ, и когда нѣтъ надежды спасти его, употребить всѣ силы, чтобъ спасти *нѣсколько* *лицъ*, оторвать ихъ отъ зараженной среды и пробудить нравственное чувство въ ихъ груди. Стоики обрекли себя на это. Но такое ученіе печально, угрюмо, „не жертвуетъ граціямъ,“—оно учитъ умирать, учитъ цѣною головы подтверждать истину, быть непреклонно-твердымъ въ несчастіяхъ, побуждать страданія, пренебрегать наслажденіями:—все это добродѣтели, но добродѣтели человѣка въ несчастномъ положеніи; все это слишкомъ мрачно, чтобъ быть нормальнымъ. Рука стойка, всегда готовая прервать нить собственной жизни, была без-

страшно-жестка: она до всего касалась перстами грубыми,—и нѣжное, едва уловимое благоуханіе, въ которомъ, какъ въ своей атмосферѣ, является все аѳинское,—исчезаетъ отъ ихъ прикосновенія, или не существуетъ для него. Римскій духъ, практическій, опредѣленный, рѣзкій и холодный, началъ тогда проникать всюду, началъ становиться всемірнымъ, господствующимъ дыханіемъ; на римской почвѣ стойки развились вполне; въ Греціи они были болѣе теоретики; здѣсь они отворяли себѣ жилы и приготовляли въ собственномъ саду костры; въ нихъ именно преобладалъ римскій элементъ: умы сухо-энергическіе и озлобленные, груди твердыя, но наболѣвшія, люди практическіе, но чрезвычайно односторонніе и формальные,—правила ихъ просты, чисты,—но въ своей абстрактной чистотѣ онѣ, какъ кислородъ, не составляютъ здоровой среды дыханія именно потому, что нѣтъ примѣси, которая бы смягчала рѣзкую чистоту. Нравоученія стоиковъ имѣли цѣлью образовать *мудраго*; они вѣрили только въ возможность добродѣтели частнаго лица; они искали развитъ нравственное только въ лицѣ мудраго, а не въ республикѣ, какъ Платонъ; они первые высказали колоссальную мысль, что мудрый не связанъ внѣшнимъ закономъ, ибо онъ въ себѣ носитъ живой источникъ закона и не повиненъ давать отчетъ кому либо, кромѣ своей совѣсти — мысль глубокая и многозначительная, но такая, которая высказывается только въ тѣ эпохи, когда мыслящіе люди разглядываютъ обличившуюся во всемъ безобразіи лжи несоотвѣтственность существующаго порядка съ сознаніемъ; такая мысль есть полнѣйшее отрицаніе положительнаго права; между тѣмъ, освобождая такимъ образомъ мудраго, стойки излагали свою нравственность сентенціями, т. е. готовыми статьями своего кодекса. Сентенціи въ

философіи нравственности безобразны; онѣ унижаютъ человѣка, выражая верховное недовѣріе къ нему, считая его несовершеннѣйшимъ, или глупымъ; сверхъ того, онѣ бесполезны, потому что всегда слишкомъ общи, никогда не могутъ обнять всѣхъ обстоятельствъ, видоизмѣняющихся въ данномъ случаѣ, а внѣ данныхъ случается—онѣ не нужны; наконецъ, сентенція—мертвая буква; она не даетъ выхода изъ себя для исключительныхъ обстоятельствъ, и когда являются эти обстоятельства, — сила вещей отбрасываетъ отвлеченное правило, ломаетъ его, какъ раму, неимѣющую мощи сдерживать содержаніе. Человѣкъ нравственный долженъ носить въ себѣ глубокое сознаніе, какъ слѣдуетъ поступить во всякомъ случаѣ, и вовсе не какъ рядъ сентенцій, а какъ всеобщую идею, изъ которой всегда можно вывести данный случай; онъ импровизируетъ свое поведеніе. Но стойки—формалисты и недовѣрчивые, съ юридической точки зрѣнія смотрѣли на нравственный вопросъ и составляли моральныя сентенціи; ихъ ученіе стремилось явнымъ образомъ окрѣпить, оцѣпенѣть въ окончанной догматикѣ.

И въ то же самое время, какъ мрачный, аскетическій стоицизмъ съ своими самоубійствами и суровыми правилами овладѣлъ умами, распространялось съ такой же быстротою другое ученіе, явно противоположное стоицизму (по выраженію): эпикуреизмъ—последняя попытка, чисто греческая, свѣтло и отчасти дешево примирить мысль съ жизнью, себя съ окружающимъ. „Цѣль жизни, ея истина—сознательное, проникнутое мыслию наслажденіе собою, блаженство; въ немъ добро, въ немъ прекрасное, къ нему должно стремиться, снимая все мѣшающее, какъ зло.“ Итакъ блаженство—вотъ критеріумъ Эпикура. Ничто не можетъ быть нелѣпѣе, какъ



нѣчные рассказы добрыхъ людей о томъ, что Эпикуръ проповѣдывалъ цѣлью жизни грубое и животное удовлетвореніе страстей: это такъ же ограничено и плоско, какъ воображать, что Гераклитъ только плакалъ, а Демокритъ—только хохоталъ, что софисты были шарлатаны и мошенники... Все это принадлежитъ особому воззрѣнію на философію, очень похожему на то воззрѣніе, которымъ изъ передней разсматриваютъ балъ. Блаженство, безъ всякаго сомнѣнія, цѣль жизни: все живое и сознающее имѣетъ неотъемлемое право на наслажденіе жизнію; но вопросъ: въ чемъ состоитъ блаженство человѣка? Для звѣря оно—въ сытости и въ слѣдованіи естественнымъ побужденіямъ; для звѣря-человѣка точно также; но не надобно забывать, что человѣкъ-звѣрь не въ нормальномъ состояніи: это такое же уродство, какъ человѣкъ, который бы отрекся отъ всего физическаго, какъ отъ недостойнаго себя; для человѣка нѣтъ блаженства въ безнравственности: въ нравственности и добродѣтели только и достигаетъ онъ высшаго блаженства: потому-то человѣку и совершенно естественно любить добродѣтель, любить нравственность. Моралистамъ хочется непременно понуждать человѣка къ добру, заставлятъ его поступать нравственно, такъ какъ врачъ заставляетъ принимать отвратительную горечь; они въ томъ-то и находятъ достоинство, чтобъ человѣкъ *нехотя* исполнялъ обязанности; имъ не приходитъ въ голову, что если эти обязанности истинны и нравственны, то каковъ же тотъ человѣкъ, которому исполненіе ихъ противно? не приходитъ въ голову требованіе—примирить сердце и разумъ такъ, чтобъ человѣкъ исполненіе дѣйствительнаго долга не считалъ за тяжкую ношу, а находилъ въ немъ наслажденіе, какъ въ образѣ дѣйствія, наиболѣе есте-

ственномъ ему и признанномъ его разумомъ. Если добродѣтель только понудительная обязанность, внѣшнее велѣніе, то ее нельзя любить; можно ей жертвовать, можно покориться ей—но не болѣе; можно, наконецъ, быть по расчету добродѣтельнымъ, ожидая возмездія: здѣсь опять цѣль—блаженство, но ниже, корыстиже понятое; возмездіе соприсносущно самой добродѣтели, нравственное дѣяніе есть уже награда совершившаяся, блаженство само по себѣ. Иначе мы впадемъ въ то сомнѣніе, которое такъ мило выражено Шиллеромъ:

GEWISSENSCRUPEL.

Gerne dien' ich den Freunden, doch thu' ich es leider mit Neigung,  
Und so wurmt es mir oft, dass ich nicht tugendhaft bin.

ENTSCHEIDUNG.

Da ist kein anderer Rath, du musst suchen, sie zu verachten,  
Und mit Abscheu alsdann thun, wie die Pflicht dir gebeut (").

Тотъ, кто находитъ въ добродѣтели наслажденіе, можетъ сказать, какъ Эпикуръ: „должно предпочитать разумное несчастіе безумному счастью,“ — и это очень просто, потому что безумное счастье—нелѣпость для человѣка: для того, чтобъ имъ наслаждаться, онъ долженъ отречься отъ верховной сущности своей—разума. Всякій безнравственный поступокъ, сдѣланный сознательно, отрицаетъ разумъ, оскорбляетъ его, угрызеніе совѣсти напоминаетъ человѣку, что онъ поступилъ какъ рабъ, какъ животное, и нѣтъ блаженства при этомъ укоряющемъ голосѣ. Стоицизмъ больше формально про-

\*) Сомнѣніе.

Охотно служу я друзьямъ моимъ, но по несчастью мнѣ это пріятно: меня часто упрекаетъ совѣсть въ безнравственности за это.

Рѣшеніе.

Дѣлать тутъ нечего, старайся ихъ ненавидѣть, и дѣлай съ отвращеніемъ то, что тебѣ повелѣваетъ долгъ.

тивоположенъ эпикурензму, нежели въ самомъ дѣлѣ; развѣ онъ не потому хотѣлъ быть самоотверженнымъ, что въ самоотверженіи видѣлъ болѣе человѣческое удовлетвореніе, нежели въ слабодушномъ потворствѣ и распушенности характера; стоицизмъ выразилъ только свое воззрѣніе иначе, освѣтилъ его съ противоположной стороны; вызванный, какъ реакція, какъ протестъ, онъ круто и аскетически принялся исправлять нравы, онъ былъ похожъ на строгій и суровый католицизмъ, явившійся послѣ Лютера. Эпикуреизмъ, совсѣмъ напротивъ, вѣрный греческому генію, понималъ роскошно, человѣчественно-просто вопросъ стоицизма и не разсѣкъ души человѣческой на страшную противоположность долга и влеченія, натравливая ихъ другъ на друга, а стремился ихъ примирить въ блаженствѣ, удовлетворяющемъ и долгу и страстямъ; для него исполненіе долга неразрывно съ наслажденіемъ, то есть, естественно и разумно. Состояніе нравственного дуализма противорѣчитъ значенію самопознающаго существа,—нелѣпость, похожая на то, еслибъ звѣрь, чувствуя потребность насыщенія, раздиралъ собственную грудь; простая, органическая цѣлесообразность громко вопіетъ противъ стоическаго унынія, скрежета зубовъ; такой аскетизмъ и гоненіе всего естественнаго ведетъ прямо къ оригеновскимъ поправкамъ физическаго. Замѣтьте, что чистота нравовъ эпикуровыхъ учениковъ вошла въ пословицу, и она очень понятна: человѣку, признающему свои права на наслажденіе, легко понимать права наслажденій надъ собою; ему не страшны страсти; онѣ не врагами, не ночными татами пробираются въ его сердце: онъ знакомъ съ ними и знаетъ ихъ мѣсто. Тотъ, кто дѣлаетъ цѣлью одно обузданіе страстей, тотъ даетъ страстямъ силу и высоту, которыхъ онѣ не имѣ-

ютъ вовсе, — онъ ихъ ставитъ соперникомъ разуму. Страсти крѣпнутъ и растутъ именно оттого, что имъ придаютъ огромную важность. Лукрецій говоритъ, что иногда надобно уступать потребности наслажденія для того, чтобъ она не безпрестанно насъ занимала. Эпикуръ, столь противоположный стоикамъ, послѣдними словами своего ученія сталъ рядомъ съ ними: „свобода отъ боязни и желаній,“ говоритъ онъ, „есть высшее блаженство.“ При этомъ, замѣтите, обѣ школы даютъ личности человѣка несравненно важнѣйшее значеніе, нежели всѣ предшествовавшія имъ философскія ученія, — это преддверіе признанія безконечности человѣческаго духа, которое должно было развиться въ новомъ мірѣ. Вы можете мнѣ возразить, что эпикуреизмъ, однако, способствовалъ къ распространенію чувственности и матеріализма въ Римѣ. Да. Но въ какую эпоху? въ ту, въ корую Римъ былъ развращенъ до обоготворенія Клавдіевъ, Калигулы, и проч. Люди искали забыться, отвернуться отъ гражданскаго міра, отъ предчувствій и воспоминаній и толковали эпикуреизмъ по своему.

Эпикуреизмъ имѣлъ большое вліяніе на естествовѣдѣніе; Эпикуръ былъ атомистъ и эмпирикъ — почти такъ же, какъ естествоиспытатели прошлаго вѣка и отчасти нашего. Не смотря на большую смѣлость его, онъ такъ же не выдержалъ своего воззрѣнія до конца, какъ всѣ греки, какъ самые стоики, которые, ставъ въ противоположность съ вѣрованіями языческаго міра, принимали какой-то фатализмъ и какія-то мистическія вліянія. Эпикуръ принимаетъ нелѣпость случайнаго соединенія атомовъ, какъ причину возникновенія сущаго, и прекрасно говоритъ о высшемъ существѣ, „которому ничего не недостаетъ, неразрушимомъ, непреходящемъ и котораго надобно чтить не по внѣшнимъ причинамъ, а

потому, что оно по сущности своей достойно," и проч. Это свидѣтельствоваало бы только, что онъ чувствовалъ предѣлы своего возрѣнія, онъ провидѣлъ верховное начало, царящее надъ физическимъ многообразіемъ; но сверхъ этого онъ толкуетъ о какихъ-то соподчиненныхъ богахъ, типахъ, служащихъ вѣчными идеалами людямъ. Какъ онъ мирилъ съ этимъ сонмомъ боговъ случайность возникновенія — непонятно, да вѣроятно онъ и самъ не понималъ какъ. Философы-деисты XVIII вѣка, вообще натуралисты, на всякомъ шагу представляютъ примѣры всесовершеннѣйшей противоположности своихъ физическихъ теорій съ какими-то попытками *d'une religion raisonnée, naturelle, philosophique*. Не смотря на эту непослѣдовательность, вліяніе эпикуреизма было значительно. Эпикурейцы принимали фактъ и опытъ не только за точку отправленія, но и за непреложный критеріумъ. Они были эмпирики и шли къ истинѣ инымъ путемъ: обыкновенно мыслители только одной ногой упирался въ фактъ и тотчасъ переходили къ всеобщему и отвлеченному, низводя потомъ логическое многообразіе,—эпикурейцы оставались при эмпирическомъ; этотъ путь въ односторонности своей не можетъ выпутаться изъ эмпиріи и дойти до всеобъемлющихъ синтетическихъ мыслей, но онъ имѣетъ въ себѣ такую неотразимость, такую непреложную очевидность и осязаемость, что тотчасъ дѣлается доступенъ, популяренъ, практиченъ. Не смотря на типы и идеалы, эпикуреизмъ былъ послѣдній ударъ на смерть язычеству. Стоицизмъ могъ перейти въ мистицизмъ,—платонизмъ въ самомъ дѣлѣ перешелъ въ него. Аристотеля можно было перетолковать,—эпикуреизма ни подъ какимъ видомъ: онъ простъ, положителенъ. Вотъ за что и бранили его такъ злобно; онъ вовсе не былъ ни

развратнѣе, ни богоотступнѣе всѣхъ прочихъ философскихъ ученій въ Греціи; да и что намъ за дѣло заступаться за языческую правовѣрность? всѣ философы очень подозрительны со стороны политеизма, хотя въ нихъ во всѣхъ, и въ Эпикурѣ точно также, есть остатки его. Проклятая положительность и опытный путь—вотъ что озлобило людей въ родѣ Цицерона.

Противъ догматизма эпикурейскаго и стоическаго вскорѣ повѣялъ ѣдкій воздухъ скептицизма,—и послѣднія мысли древней философіи, становившіяся старчески упрямыми въ своей догматикѣ, рушились передъ его мощью и разсѣялись въ вечернемъ туманѣ, павшемъ на греко-римскій міръ. Скептицизмъ, естественное послѣдствіе догматизма: догматизмъ вызываетъ его на себя; скептицизмъ—реакція. Философскій догматизмъ, какъ все косное, твердое, успокоившееся въ довольствѣ собою,—противенъ вѣчнодѣятельной, стремящейся натурѣ человѣка; догматизмъ въ наукѣ не прогрессивенъ; совсѣмъ напротивъ, онъ заставляетъ живое мышленіе осѣсть каменной корой около своихъ началъ; онъ похожъ на твердое тѣло, бросаемое въ растворъ для того, чтобъ заставить кристаллы низвергнуться на него;—но мышленіе человѣческое вовсе не хочетъ кристаллизироваться, оно бѣжитъ косности и покоя, оно видитъ въ догматическомъ успокоеніи отдыхъ, усталъ, наконецъ ограниченность; въ самомъ дѣлѣ, догматизмъ необходимо имѣетъ *готовое абсолютное*, впередъ идущее, и удерживаемое въ односторонности какого нибудь логическаго опредѣленія; онъ удовлетворяется своимъ постоянствомъ, онъ не вовлекаетъ началъ своихъ въ движеніе, напротивъ, это неподвижный центръ, около котораго онъ ходитъ по цѣпи. Какъ только мысль начинаетъ разглядывать эту гранитную неподвижность,—

духъ человѣческій, этотъ *actus purus*, это движеніе по превосходству, возмущается и устремляетъ всѣ усилія свои, чтобъ смыть, разбить этотъ подводный камень, оскорбляющій ее,—и не было еще примѣра, чтобъ упорно стоящій въ наукѣ догматизмъ вынесъ такой напоръ. Скептицизмъ, какъ мы сказали,—противодѣйствіе, вызываемое полузаконной догматикой философіи; онъ самъ по себѣ невозможенъ тамъ, гдѣ невозможны твердыя мысли, принятіе на авторитетъ, стремленіе сдѣлать изъ науки, вмѣсто текущаго живаго мышленія, сухія нормы въ родѣ XII таблицъ. Но до тѣхъ поръ, пока наука не пойметъ себя именно этимъ живымъ, текучимъ сознаніемъ и мышленіемъ рода человѣческаго, которое, какъ Протей, облекается во всѣ формы, но не остается ни при одной,—до тѣхъ поръ, пока въ науку будутъ врываться готовыя истины, которыхъ принятіе ничѣмъ не оправдано, которыя взяты съ улицы, а не изъ разума, не только врываться, но и находить мѣсто и право гражданства въ ней,—до тѣхъ поръ, время отъ времени, злой и рѣзкій скептицизмъ будетъ поднимать свою голову Севста-Эмпирика, или Юма, и убивать своей ироніей, своей негацией *всю науку*, за то, что она *не вся наука*. Сомнѣніе—вѣчно припаянный элементъ ко всѣмъ моментамъ развивающагося наукообразнаго мышленія,—мы его встрѣчаемъ вмѣстѣ съ наукой въ Греціи, и послѣдовательно будемъ встрѣчаться съ нимъ при всякой попыткѣ философскаго догматизма; онъ провожаетъ науку черезъ всѣ вѣка.

Характеръ скептицизма, которымъ заключилось мышленіе древняго міра, весьма замѣчателенъ; направленный противъ догматизма въ его двухъ формахъ, онъ совершилъ *de facto* то, чего домогался догматизмъ: онъ отрѣшилъ личность отъ всего сущаго, освободилъ ее

отъ всего положительнаго и такимъ образомъ отрицательно призналъ безконечное ея достоинство. Скептицизмъ освободилъ разумъ отъ древней науки, которая воспитала его; но это освобожденіе отнюдь не было гармоническое, сознательное провозглашеніе его правъ, его автономіи: это было освобожденіе реакціонное, освобожденіе 93 года, освобожденіе отъ древняго міра, расчищавшее мѣсто міру грядущему. Скептицизмъ отпавился отъ самаго страшнаго сознанія, какое только можетъ посѣтить человѣческую душу; онъ не только сомнѣвался въ возможности знать истину, но просто и не сомнѣвался въ невозможности знать ее; онъ былъ увѣренъ, что бытіе и мышленіе равно не имѣютъ по-вѣренія, что это несоизмѣримыя данныя, можетъ быть, даже мнимыя. Въмѣсто критеріума онъ поставилъ *кажется*, и, горько улыбаясь, успокоился на немъ; однажды убѣдившись въ неспособности разума подняться до истины, скептики не хотѣли и пытаться, а только доказывали, что попытки другихъ нелѣпы. Но не вѣрьте этому равнодушію: это то отчаянное равнодушіе безпомощности, съ которымъ вы смотрите на тѣло усопшаго друга; вы должны примириться съ тѣмъ, что его нѣтъ; что хочешь, дѣлай — не поможешь; скрѣпивъ сердце, вы идете къ своимъ дѣламъ. Какъ ни храбрись Секстъ-Эмпирикъ\*), человѣку не легко примириться съ

\*) Секстъ-Эмпирикъ жилъ во II вѣкѣ послѣ Р. Х. Человѣкъ ума необъятнаго, но чисто отрицательнаго, онъ не только все отрицалъ, но еще хуже, онъ принималъ все; въ его діалектикѣ есть какая-то пропія, повергающая въ отчаяніе; онъ отвергаетъ каузальность, напр., но потомъ говоритъ: стало быть, есть достаточная причина отвергать причину какъ причину — но если такъ, то и причина отвергать каузальность несостоятельна. Онъ, какъ Кантъ, выставилъ ряды антиномій — и всѣ ихъ оставилъ антиноміями. Последнимъ словомъ своимъ онъ сказалъ: „Тогда только тревожность духа успокоится и водво-



невѣріемъ въ себя, съ достовѣрностью неабсолютности своего разума; самый смѣхъ скептиковъ, иронія ихъ, показываютъ, что на душѣ ихъ не такъ-то было легко. Не все смѣются отъ веселья.

Противъ скептицизма древній міръ рѣшительно не имѣлъ орудія, потому что скептицизмъ былъ вѣрнѣе себѣ, нежели всѣ философскія системы древняго міра. Одинъ скептицизмъ не запятналъ себя въ древнемъ мірѣ безхарактернымъ и легкомысленнымъ потворствомъ язычеству; онъ не отворялъ съ такою легкостью дверей своихъ всякаго рода представленіямъ, которыя на время облегчаютъ неразрѣшимый вопросъ и пускаютъ нездоровые соки во весь организмъ. Дѣйствительная наука могла бы снять скептицизмъ, отречься отъ самаго отрицанія; для нея скептицизмъ—моментъ: но древняя наука не имѣла этой силы; она чувствовала грѣхи свои и не смѣла прямо выступить противъ скептицизма, уличавшаго ее въ несостоятельности. Онъ освободилъ разумъ отъ нея и повергъ его въ какую-то пустоту, въ которой вовсе не было содержанія: все поглотилось разверзшеюся пропастью отрицательнаго мышленія. Скептицизмъ раскрывалъ безконечную субъективность безъ всякой объективности. Вѣрный себѣ, онъ не высказалъ своего послѣдняго слова — и хорошо сдѣлалъ: его бы не поняли. Скептики искали успокоенія въ своей собственной личности; сомнѣваясь во вселенной, сомнѣваясь въ разумѣ, въ истинѣ, они указывали каждому, какъ на послѣднее убѣжище, какъ на якорь спасенія — на свою личность; но не прямо ли это вело къ положенію самопознанія, какъ сущности? не пока-

рится счастливая жизнь, когда бѣгущему отъ зла или стремящемуся къ добру укажутъ, что нѣтъ ни добра, ни зла.“ Послѣ такихъ словъ, міръ, который привелъ къ нимъ, долженъ пересоздаться.

зываетъ ли это, что въ концѣ древняго міра духъ человѣческій, утративъ довѣріе къ міру, къ праву, къ политеизму, къ наукѣ, провидѣлъ, что въ одномъ углубленіи въ себя можно найти замѣну всѣмъ утратамъ? Это пророческое предсознаніе безконечнаго достоинства человѣка, едва мерцающее въ скептицизмѣ, явившемся убить пластическую, художественную науку Греціи, далеко перехватывало за предѣлы тогдашняго состоянія мысли. Человѣку надобно было почти двумя тысячелѣтіями приготовиться, чтобъ вынести сознаніе своего величія и достоинства.

Послѣ горячешнаго и безумнаго времени первыхъ цезарей, настало для Рима время нѣсколько спокойное; старикъ, вставшій съ одра смерти, почувствовалъ, что онъ въ болѣзни не только не утратилъ всѣхъ силъ, а приобрѣлъ новыя: онъ не замѣчалъ, что это послѣднее упрямство жизни, напряженіе, за которымъ неминуемо слѣдуетъ гробъ. Все пришло въ порядокъ, и жизнь имперіи развертывалась величаво, могущественно; прокладывая свои каменные дороги и воздвигая вѣчные дворцы, она могла еще плѣнить поддѣльной красотой своей Гиббона. Правда, что-то предчувствовалось, какой-то лихорадочный трепетъ время отъ времени пробѣгалъ по членамъ всей имперіи; на границахъ собирались какія-то дикія, долговолосыя и бѣлокурыя толпы; рабы смотрѣли на своихъ господъ съ большей ненавистью, нежели на этихъ варваровъ; люди, одаренные зоркими глазами, видѣли неотразимость грозы — но такихъ людей бываетъ немного. Оффициально, Римъ стоялъ сильно и тяготѣлъ надъ всѣмъ древнимъ міромъ; оффициально, онъ былъ еще *вѣчный городъ*; тупое довѣріе къ незыблемости существующаго порядка еще владѣло большинствомъ умовъ. Весь древній міръ со-

брался въ Римъ, какъ въ одинъ узелъ, въ одинъ царящій органъ: оттого именно Римъ и утрачиваетъ свою особность и дѣлается представителемъ не себя, а цѣлой вселенной; всѣ жизненныя силы покоренныхъ имъ народовъ текли въ него; онъ какъ бы для того совлекалъ ихъ, чтобъ можно было, по извѣстному поэтическому выраженію Калигулы — однимъ ударомъ снести голову древнему міру. Суровый Римъ могъ покорить вселенную, приладить свой умъ къ чужой мысли, свою душу къ чужому искусству,—но продолжать греческой жизни не могъ; въ его душѣ какъ-то печально сочталась отвлеченность и практическій смыслъ, въ его душѣ была безконечная мощь и вмѣстѣ съ нею пустота, ничѣмъ ненаполняемая — ни побѣдами, ни юридической казуистикой, ни утонченной нѣгой, ни развратомъ тираніи и кровавыхъ зрѣлищъ. Жизнь Греціи не перешла въ Италію. *Des Lebens May blüht einmal und nicht wider!*

Въ противоположность граждански политическому центру въ Римѣ, въ Александріи сосредоточились полнѣйшіе и послѣдніе представители древней мысли; тамъ матеріально, здѣсь интеллектуально собирались дружины древняго міра подъ ветхія свои знамена — не для того, чтобъ побѣдить, а для того, чтобъ склонить ихъ наконецъ передъ новымъ знаменіемъ. Вопросъ, поглотившій всѣ вопросы въ неоплатонизмѣ, состоялъ въ опредѣленіи отношеній частнаго къ всеобщему, міра явленій къ началу являющемуся, человека къ Богу.

Вы видѣли изъ прошлаго письма, что греческая мысль, какъ только становилась лицомъ къ лицу съ этимъ вопросомъ, оказывалась несостоятельною; какъ только она поднималась на эту высоту, у ней всякій разъ кружилось въ головѣ, и она начинала бредить и поддаваться языческимъ представленіямъ. Неоплатонизмъ

серьезнѣе и шире взялся за эти вопросы: онъ принялъ въ себя много юдаическаго, вообще восточнаго, и сочеталъ эти элементы, неизвѣстные греческой наукѣ, съ глубокимъ изученіемъ Пифагора, Платона и Аристотеля; онъ съ самаго начала почти не стоитъ на языческой почвѣ, не смотря на то, что высшій представитель его, Проклъ, съ упрямствомъ удерживаетъ греческое многобожіе. Политеизмъ обоготворялъ, оличалъ разныя силы природы, давалъ имъ образъ человѣческій, и этимъ образомъ давалъ характеръ той естественной силы, которой живымъ представителемъ являлся образъ. Неоплатоники отвлеченные моменты логическаго процесса, моменты міроваго развитія представляли фазами безусловнаго духа, безтѣлеснаго, соприсносущаго міру, замкнутаго въ себѣ; они понимали его „живымъ въ движеніи вещества,“ по превосходному державинскому выраженію. Грубо понятый неоплатонизъ — своего рода язычество, своего рода антропоморфизмъ, но не художественный, а мистическій; они собственно не хотятъ кумира, но принявъ іероглифическій языкъ, они такъ затемняютъ смыслъ своей рѣчи, что трудно догадаться, что у нихъ символъ, и что представляемое, — тѣмъ болѣе трудно, что они всѣми силами стараются показать свою преданность язычеству, и понимая разныя отвлеченныя истины подъ именами боговъ и богинь, сбиваютъ съ толку\*); неоплатоники дѣлали опыты рационально оправдать язычество, наукой доказать абсолютность его — и, разумѣется, только нанесли новый ударъ древней религіи; если ужъ однажды замѣшаны были разумъ и наука въ дѣло фантастическихъ пред-

\*) У Прокла это всего яснѣе; онъ былъ посвященъ во всѣ таинства и удивлялъ жрецовъ своими теологическими тонкостями.

ставленій, то можно было ждать, что они обличать ихъ недѣйствительность. Философія что бы ни принялась оправдывать, оправдываетъ только разумъ, т. е. себя. Точка отправленія Прокла—восторженная созерцательность; человѣкъ жизни, настроеніемъ духа долженъ готовить себя къ восторженности, возводящей его на высоту созерцательности, которой только возможно вѣдѣніе безусловнаго. Безусловное, какъ оно есть само по себѣ, отвлеченное отъ условнаго, знать нельзя; оно въ себѣ остающееся, отвлеченное единство,—но оно дѣлается понятнымъ, обнаруживаясь, происходя, развиваясь. Но развитіе единого не есть необузданное себяистрачиваніе, теряющееся въ арифметической безконечности, нѣтъ—оно, развиваясь, остается самимъ собою. Взаимодѣйствіе этой полярности, предѣлъ, мѣра—перегибъ къ средоточію. Отсюда Проклъ выводитъ свои три момента: *Единство, Безконечность, Мѣра*. Нельзя не замѣтить, что при всей силѣ и высотѣ этого воззрѣнія, оно отправляется не отъ логическаго предшествующаго, а отъ непосредственнаго вѣдѣнія, даннаго восторженностью; его мысль вѣрна, но метода не наукообразна, не оправдана. Религія идетъ отъ безусловной истины: ей не нужно такого оправданія, но неоплатоники хотѣли науки—и какъ наука, ихъ воззрѣніе, при всей высотѣ своей, не совсѣмъ состоятельно.

Неоплатонизмъ всѣми сторонами души своей, всѣми симпатіями, положеніемъ мысли относительно временнаго, выходитъ изъ древней мысли и вступаетъ въ міръ христіанскій; но, не смотря на это, неоплатоники не хотѣли принять христіанства: они мечтали новое вино налить въ старые мѣха. Неоплатонизмъ—отчаянный опытъ древняго разума спастись своими средства-

ми, опытъ величественный, но неудачный. Неужели неоплатоническимъ отвлеченнымъ, труднымъ, запутаннымъ языкомъ, ихъ философскимъ эклектизмомъ, ихъ теургическою гностикой и любовью къ сверхъестественному можно было остановить паденіе Рима, остановить эпикурензмъ, остановить скептицизмъ, и наконецъ, неужели ихъ языкомъ можно было говорить съ народомъ? Неоплатонизмъ блѣднѣетъ передъ христіанствомъ, какъ все отвлеченное блѣднѣетъ передъ полнымъ жизнью. Во всѣхъ этихъ ученіяхъ вѣетъ грядущее, но во всѣхъ чего-то не достаетъ,—того властнаго глагола, той молвіи, которая сплавляетъ изъ отрывчатыхъ и полувисказанныхъ начинаній единое цѣлое. У неоплатониковъ—почти какъ у нынѣшнихъ мечтателей социалистовъ—пробиваются великія слова: примиреніе, обновленіе, *πληρωματις*, *αποκαταστασις*, *παις* *τω* *υ*. Но они остаются отвлеченными, неудобопонятными, такъ какъ ихъ теодицея; неоплатонизмъ былъ для ученыхъ, для немногихъ. „У насъ (т. е. у христіанъ) дѣти теперь,“ говоритъ Тертуліанъ: „больше знаютъ о Богѣ, нежели ваши мудрецы“. Бороться съ христіанствомъ было безумно; но гордая философія, точно такъ же, какъ гордый Римъ, не обратила сначала вниманія на это. Странное дѣло: Римъ какъ будто утратилъ, въ гнусную эпоху лыхихъ цезарей, весь свой умъ и впадалъ въ жалкое старчество людей, которые дѣлаются ничтожными и суетными на краю могилы; проповѣдываніе Евангелія уже раздавалось на площадяхъ его, а римская аристократія и умники съ улыбкой смотрѣли на бѣдную ересь назарейскую и писали подлые панегирики, пошлые мадригалы, не замѣчая, что рабы, бѣдняки, всѣ труждающіеся и обремененные, слушали новую вѣсть пскупленія. Тацитъ не понялъ сначала и Плиній не понялъ потомъ, что

совершалось передъ ихъ глазами. Неоплатоники видѣли такъ же, какъ стопки и скептики, странное состояніе гражданскаго порядка и нравственнаго быта, но увлеченные созерцательностью, они не могли съ отчаянія удариться въ невѣріе, въ чувственность; несостоятельность міра положительнаго привела ихъ къ презрѣнію всего временнаго, естественнаго, къ отысканію другаго міра внутри себя—независимаго и безусловнаго; этотъ міръ, при глубокомъ и страстномъ вниканіи въ него, велъ къ признанію одного отвлеченнаго и духовнаго за истину\*); но это духовное было и шире и выше понято ими, нежели всей предшествующей мыслию; одно оно исполняло то, къ чему они стремились, одно христіанство соотвѣтствовало неоплатонизму; а между тѣмъ, неоплатоники не только были язычниками по привычкѣ, или потому что, родившись язычниками, изъ ложнаго стыда хотѣли остаться ими, — нѣтъ, они въ самомъ дѣлѣ воображали, что миѳы язычества лучшая плоть для истины. Люди, склонные все матеріальное считать призракомъ, въ самомъ началѣ сдѣлали такую грубую ошибку, что потомъ имъ легко было принимать послѣдствія, вовсе нейдущія изъ ихъ началъ, и мириться со всѣмъ тѣмъ, съ чѣмъ не хотѣли мириться. Но что же мѣшало имъ отречься отъ стараго, умершаго воззрѣнія? То, что это вовсе не такъ легко, какъ кажется.

\*) Вотъ что говоритъ Порфирій о своемъ учителѣ: „Плотинъ намъ казался существомъ высшимъ, онъ стыдился своего тѣла, не любилъ говорить ни о своей семьѣ, ни о родителяхъ, ни объ отчизнѣ. Никогда не позволялъ онъ, чтобъ его тѣло было повторено живописцемъ или ваятелемъ; когда Аврелій просилъ его позволенія срисовать его, онъ отвѣтилъ ему: Не довольно ли, что мы принуждены таскать съ собою тѣло, въ которомъ заключены природою, неужели намъ еще оставлять изображеніе тюрьмы, какъ будто видъ ея имѣетъ въ себѣ что либо величественное?“ Это чисто-романтическое направленіе!

Побѣжденное и старое не тотчасъ сходитъ въ могилу; долговѣчность и упорность отходящаго основаны на внутренней хранительной силѣ всего сущаго: еѹ защищается до-нельзя все однажды призванное къ жизни; всемірная экономія не позволяетъ ничему сущему сойти въ могилу прежде истощенія всѣхъ силъ. Консервативность въ историческомъ мірѣ такъ же вѣрна жизни, какъ вѣчное движеніе и обновленіе; въ ней громко высказывается мощное одобреніе существующаго, признаніе его правъ; стремленіе впередъ, напротивъ, выражаетъ неудовлетворительность существующаго, исканіе формы, болѣе соотвѣтствующей новой степени развитія разума; оно ничѣмъ не довольно, негодуетъ; ему тѣсно въ существующемъ порядкѣ; а историческое движеніе тѣмъ временемъ идетъ діагонально, повинуясь обѣимъ силамъ, противопоставляя ихъ другъ другу, и тѣмъ самымъ спасаясь отъ односторонности. Воспоминаніе и надежда, *status quo* и прогрессъ—антиномія исторіи, два ея берега—*status quo* основанъ на фактическомъ признаніи, что каждая осуществившаяся форма—дѣйствительный сосудъ жизни, побѣда одержанная, истина, доказанная непреложно бытіемъ; онъ основанъ на вѣрной мысли, что человѣчество въ каждый историческій моментъ обладаетъ всею полнотою жизни, что ему нѣчего ждать будущаго, чтобъ пользоваться своими правами. Консервативное направленіе будить въ душѣ святыя воспоминанія, близкія и родныя, зоветъ возвратиться въ родительскій домъ, гдѣ такъ юно, такъ беззаботно текла жпзнъ, забывая, что домъ этотъ сдѣлался тѣсенъ и полуразвалился; оно отправляется отъ золотого вѣка. Совершенствованіе идетъ къ золотому вѣку, протестуетъ противъ признанія опредѣленнаго за безусловное; видитъ въ истинѣ благо и сущаго истину



относительную, неимѣющую права на вѣчное существованіе, и свидѣтельствующую о своей ограниченности именно своей преходимостью; оно хранитъ также въ себѣ бывшее, но не хочетъ его сдѣлать мѣтой его мечты—въ будущемъ, въ святомъ упованіи. Міръ языческій, исключительно національный, непосредственный, былъ всегда подъ обаятельной властію воспоминанія; христіанство поставило надежду въ число краеугольныхъ добродѣтелей. Хотя надежда всякій разъ побѣдитъ воспоминаніе, тѣмъ не менѣе борьба ихъ бываетъ зла и продолжительна. Старое страшно, защищается, и это понятно; какъ жизни не держаться ревниво за достигнутыя формы? Она новыхъ еще не знаетъ, она сама эти формы; сознать себя прошедшимъ — самоотверженіе, почти невозможное живому: это самоубійство Катона. Отходящій порядокъ вещей обладаетъ полнымъ развитіемъ, всестороннимъ приложеніемъ, прочными корнями въ сердцахъ; юное, напротивъ, только возникаетъ; оно сначала является всеобщимъ и отвлеченнымъ, оно бѣдно и наго; а старое богато и сильно. Новое надобно созидать въ потѣ лица, а старое само продолжаетъ существовать и твердо держится на костыляхъ привычки. Новое надобно изслѣдовать; оно требуетъ внутренней работы, пожертвованій; старое принимается безъ анализа, оно готово — великое право въ глазахъ людей; на новое смотрятъ съ недоувѣріемъ, потому что черты его юны; а въ дряхлыхъ чертахъ стараго такъ привыкли, что онѣ кажутся вѣчными. Сила, чары воспоминанія могутъ иногда пересилить увлеченія манящей надежды; хотятъ прошедшаго во что бы то ни стало, въ немъ видятъ будущее. Таковъ, напримѣръ, Юліанъ-Отступникъ. Въ его время, вопросъ о бытіи и не-бытіи древняго міра уже страшно постановился; не

знать его было нельзя. Три возможные рѣшенія представлялись: язычество, т. е. былое, воспоминаніе; отчаяніе, т. е. скептицизмъ—ни былого, ни будущаго, и наконецъ, принятіе христіанства и съ тѣмъ вмѣстѣ выходъ въ новый грядущій міръ, съ оставленіемъ мертвымъ хоронить мертвыхъ. Юліанъ былъ горячій мечтатель, человѣкъ съ энергической душой, сначала безъ дѣла весь отданный греческой наукѣ, потомъ въ дальней Лютеціи занятый рѣшеніемъ тяжкаго вопроса о современности, — онъ рѣшилъ его въ пользу прошедшаго. Замѣтимъ, между прочимъ, что ни средоточіе неоплатонизма, ни Юліанъ, не жили въ Византіи: они могли мечтать о миновавшихъ нравахъ, о восстановленіи древняго порядка дѣлъ внѣ новой столицы, внѣ города, которымъ Константинъ отрекся отъ язычества и отъ неразрывнаго съ язычествомъ быта древней столицы. Теоретически казалось возможнымъ не только воскресить былое, но, воскрешая, просвѣтлить его. Юліанъ былъ человѣкъ нравовъ строгихъ и высокихъ доблестей. Въ лицѣ его древній міръ очистился, просіялъ, какъ будто сознательно приготавлиаясь къ честной и безпостыдной кончинѣ. Воля его была тверда, благородна, умъ геніальный. Все тщетно! Воскресить прошедшее было просто невозможно. Мало зрѣлищъ болѣе торжественныхъ и успокоительныхъ, какъ безсиліе такихъ гигантовъ, какъ Юліанъ, противъ духа времени; по ихъ силѣ и по безсилію дѣйствія, можно легко измѣрить всю несостоятельность несхороненнаго прошедшаго противъ нарождающагося будущаго. Конечно, воспоминанія Аѳинъ и Рима, грустныя и упрекающія, являлись на опустѣвшихъ стѣнахъ и мощно звали къ себѣ; конечно, жаль было прекрасный міръ, уходившій въ гробъ—намъ вчуже жаль его до слезъ, но что же

дѣлать противъ совершившагося событія? Его смерть была трагическій фактъ, котораго не принять нельзя было людямъ, присутствовавшимъ при похоронахъ. Не споримъ, своего рода мрачная поэзія окружаетъ людей прошедшаго; есть что-то трогательное въ ихъ погребальной процессіи, идущей вспять, въ ихъ вѣчно неудачныхъ попыткахъ воскресить покойника. Вспомните о евреяхъ, ожидающихъ до сего дня возстановленія царства израильскаго, борющихся до сихъ поръ противъ христіанства... Что можетъ быть печальнѣе положенія еврея въ Европѣ—этого человѣка, отрицающаго всю широкую жизнь около себя на основаніи неподвижныхъ преданій! груди его некому распахнуться, потому что все сочувствовавшее съ нимъ умерло, вѣка тому назадъ; онъ съ ненавистью и съ завистью смотритъ на все европейское, зная, что не имѣетъ законнаго права ни на какой плодъ этой жизни и въ то же время не умѣетъ обойтись безъ удобства европеизма... Всякій рѣзкій переворотъ долго послѣ себя оставляетъ представителей враждующихъ сторонъ. Вы найдете жидовскую неподвижность и въ Сенъ-Жерменскомъ Предмѣстьи, въ нашихъ старыхъ и новыхъ раскольникахъ... Неоплатоники были въ томъ же самомъ положеніи; они, какъ мы сказали, всѣмъ слоємъ своего ума, всѣмъ ученіемъ своимъ вышли изъ древняго міра и натягивали какое-то близкое сродство съ нимъ, котораго вовсе не было въ ихъ душѣ; они своего рода раціонализмомъ дошли до аллегорическаго оправданія язычества, и вообразили, что они вѣрятъ въ него. Они хотѣли какимъ-то философски-литературнымъ образомъ воскресить умершій порядокъ вещей. Они обманывали себя болѣе, нежели другихъ. Они въ прошедшемъ видѣли собственно будущій идеалъ, но облеченный въ ризы прошедшаго.

Еслибъ, въ самомъ дѣлѣ, давно прошедшій быть могъ воскреснуть на мигъ, во время полного разгара неоплатонизма, поклонники его содрогнулись бы передъ нимъ, не потому, что онъ былъ дурень въ свое время, а потому что *его* время уже миновало; потому что онъ представлялъ вовсе не ту среду, которая была нужна для современнаго человѣка, — что сдѣлали бы Цроклъ и Плотинъ въ суровомъ времени пуническихъ войнъ? Но тѣмъ не менѣе люди, предавшіеся былому, глубоко страдают; они столько же вышли изъ окружающаго, какъ и тѣ, которые живутъ въ одномъ будущемъ. Страданія эти необходимо сопровождаютъ всякій переворотъ: послѣднее время передъ вступленіемъ въ новую фазу жизни тягостно, невыносимо для всякаго мыслящаго; всѣ вопросы становятся скорбны, люди готовы принять самыя нелѣпыя разрѣшенія, лишь бы успокоиться; фанатическія вѣрованія идутъ рядомъ съ холоднымъ невѣріемъ, безумныя надежды объ-руку съ отчаяніемъ, предчувствіе томить, хочется событій, а по видимому ничего не совершается\*)... Это — глухая, подземная работа, пробивающаяся на свѣтъ, мучительная беременность, время тягости и страданій; оно похоже на переходъ по степи, безотрадный, изнуряющій — ни тѣни для отдыха, ни источника для оживленія; плоды, взятые съ собою, гнилы, плоды встрѣчающіеся кислы. Бѣдныя промежуточные поколѣнія — они поги-

\*) Посмотрите, какія страшныя слова вырываются иногда у Плинія, у Лукана, у Сенеки. Вы въ нихъ найдете и апотеозу самоубійству, и горькіе упреки жизни, и желаніе смерти, да какой смерти — „смерти съ упованіемъ уничтоженія“! — „Смерть единственное вознагражденіе за несчастіе рожденія, и что намъ въ ней, если она ведетъ къ бессмертію? Лишенные счастья не родятся, неужели мы лишены счастья уничтожиться?“ (Hist. Nat.) Это говоритъ Плиній. Какая усталъ пала на душу людей этихъ, какое отчаяніе придавило ихъ!

бають на полу-дорогѣ обыкновенно, изнуряясь лихорадочнымъ состояніемъ; поколѣнія выморочныя, непринадлежащія ни къ тому, ни къ другому міру — они несутъ всю тягость зла прошедшаго и отлучены отъ всѣхъ благъ будущаго. Новый міръ забудетъ ихъ, какъ забываетъ радостный путникъ, пріѣхавшій въ свою семью, верблюда, который несъ все достояніе его и палъ на пути. Счастливы тѣ, которые закрыли глаза, видя хоть издали деревья обѣтованнаго края; большая часть умираетъ или въ безумномъ бреду, или устремляя глаза на давящее небо и лежа на жесткомъ, каменомъ пескѣ... Древній міръ, въ послѣдніе вѣка своей жизни, испыталъ всю горечь этой чаши; круче и сильнѣе переворота въ исторіи не было; спасти могло одно христіанство; а оно такъ рѣзко становилось въ противоположность съ міромъ языческимъ, ниспровергая всѣ прежнія вѣрованія, убѣжденія его, что трудно было людямъ разомъ оторваться отъ прошедшаго. Надобно было переродиться, по словамъ Евангелія, отказаться отъ всей суммы нажитыхъ истинъ и правилъ, — это чрезвычайно трудно; практическая, обыденная мудрость несравненно глубже пускаетъ корни, нежели само положительное законодательство. А между тѣмъ, новый міръ только и могъ начаться съ такого разрыва; неоплатоники были реформаторы, они хотѣли побѣлѣть да подновить новое зданіе; они хотѣли, не жертвуя старымъ, воспользоваться новымъ — и имъ не удалось. „Кто отца своего любитъ болѣе меня, тотъ недостойнъ меня.“ Древняя мысль сначала аристократически не знала христіанства; когда же она поняла его, — испуганная, вступила съ нимъ въ борьбу; она истощала всѣ средства, чтобъ безуспѣшно противоудѣйствовать ему: она была умна, но безсильна и несовременна.

Пять столѣтій выдержала она себя; наконецъ, въ 529 году, Юстиніанъ изгналъ всѣхъ языческихъ философовъ изъ предѣловъ имперіи и закрылъ послѣднюю неоплатоническую школу; семь послѣднихъ представителей древней науки бѣжали въ Персію; Персъ Хозрой выпросилъ имъ позволеніе возвратиться на родину, и они потерялись безвѣстными скитальцами, они не нашли уже аудиторій своихъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ, распространился страшный моръ; казалось, физическіе элементы, самъ шаръ земной участвуютъ въ послѣднемъ актѣ этой трагедіи; люди умирали сотнями, города пустѣли, судорожно и болѣзненно сжималось сердце оставшихся, — въ этихъ судорогахъ умиралъ древній міръ. Императоръ Левъ Исавръ попробовалъ уничтожить его духовное завѣщаніе: онъ сжегъ огромную бібліотеку въ Византіи и запретилъ преподавать въ школахъ что либо, кромѣ религіи.

Новый міръ, торжественно и глубокознаменательно встрѣтившійся съ старымъ Римомъ въ лицѣ апостола Павла, представшаго передъ цезаремъ Нерономъ — побѣдилъ.

---

Вы можете меня упрекнуть, что, обѣщая писать объ изученіи природы, я доселѣ всего менѣе говорилъ о естествовѣдѣніи, — но упрекъ вашъ врядъ ли будетъ справедливъ. Цѣль моихъ писемъ вовсе не та, чтобъ знакомить васъ съ фактической частью естественныхъ наукъ; мнѣ хотѣлось одного: по мѣрѣ возможности показать, что антагонизмъ между философіей и естествовѣдѣніемъ становится со всякимъ днемъ нелѣпѣе

и невозможнѣе; что онъ держится на взаимномъ непониманіи, что эмпірія такъ же истинна и дѣйствительна, какъ идеализмъ, что спекуляція есть ихъ единство, ихъ соединеніе. Для достиженія предположенной цѣли мнѣ казалось\*) необходимымъ раскрыть, откуда развился антагонизмъ естествовѣдѣнія съ философіей, а это само собою вело къ опредѣленію науки вообще и къ историческому очерку ея. Въ логикѣ, наука выходитъ готовой, какъ вооруженная Паллада изъ головы Юпитера; ей не достаетъ рожденія и ребячества; въ исторіи она вырастаетъ изъ едва замѣтнаго зародыша. Не зная эмбриологіи науки, не зная судебъ ея, трудно понять ея современное состояніе; логическое развитіе не передаетъ съ тою жизненностью и очевидностью положенія науки, какъ исторія. Логика на все смотритъ съ точки зрѣнія вѣчности—оттого все относительное и историческое теряется въ ней. Логика, раскрывая нелѣпость, думаетъ, что она спяла ее; исторія знаетъ, какими крѣпкими корнями нелѣпость приростаетъ къ землѣ—и она одна можетъ ясно раскрыть состояніе современной борьбы.

Но упрекъ былъ бы и съ другой стороны несправедливъ; мы говорили только о древнемъ мірѣ, а въ древнемъ мірѣ все наукообразное развитіе сосредоточивалось въ философін. Въ строгомъ смыслѣ слова, древній міръ не имѣлъ науки о природѣ; въ немъ было благородное стремленіе все узнать, объяснить явленія, понять окружающее; Плиній говоритъ, что незнаніе природы—гнусная неблагодарность; но древніе естествоиспытатели чаще всего ограничивались этимъ благороднымъ стремленіемъ и поверхностными теоріями. Древній міръ

\*) См. начало втораго письма.

не умѣлъ наблюдать, не умѣлъ пытаться явленія и ихъ допрашивать; оттого естествовѣдѣніе его состояло изъ общихъ взглядовъ вѣрности поразительной и изъ частныхъ фактовъ большею частью отрывочныхъ и худо обслѣдованныхъ\*); для него наука была дилетантизмомъ, художественной потребностью, а не жгучей жаждой истины; оттого Плинію, какъ и Лукрецію, довлѣетъ сочувствіе съ природой и поэтическое созерцаніе ея. *Historia Naturalis* Плинія даетъ примѣры на каждомъ шагу; начнетъ ли онъ описывать небо — онъ останавливается съ итальянскимъ пристрастіемъ къ солнцу и называетъ его божествомъ *всевидящимъ и всеслышающимъ*, божествомъ всеоживляющимъ, божествомъ, удаляющимъ грустные помыслы; обратится ли онъ къ землѣ — опять вдохновеніе (и нѣсколько реторики): онъ ее называетъ матерью кроткой, милосердой, которая кормитъ насъ, даетъ защиту, опору, и послѣ смерти скрываетъ въ своихъ нѣдрахъ бранные остатки. „Воздухъ реветъ бурей и сгущается въ тучи, вода льется дождями, цѣплетъ градомъ, несется потоками, а земля — *at hæc benigna mitis, indulgens usuique mortalium semper ancilla, quæ coacta general!* Она на всѣ наши нужды имѣетъ отвѣтъ; она произвела даже ядовитыя растенія для того, чтобъ человѣкъ, наскучившій жизнью, могъ легко прекратить ее, не бросаясь со скалъ“ (*Historia Naturalis* Lib. II, LXIII).

Не изучать природу, а наслаждаться поэтическимъ пониманіемъ ея — вотъ чего хотѣлось древнимъ. Впрочемъ, обращаясь назадъ, мы встрѣчаемъ, какъ великое

\*) Одна отрасль естествовѣдѣнія, тѣсно связанная съ математикой и заставлявшая по неволѣ наблюдать — астрономія, развила въ наиболѣе наукообразную форму при Ипархѣ и Птоломеяхъ, — оттого „*Алмагеста*“ и устояла до самаго Коперника.



исключеніе, того же колоссальнаго чловѣка, который по всему великій представитель древняго міра — Аристотеля. Его общій взглядъ на природу мы знаемъ; но онъ великъ и какъ наблюдатель,—онъ оставилъ превосходныя монографіи. Извѣстно, что Александръ Македонскій на походахъ своихъ не забывалъ высылать цѣлыя отряды воиновъ на ловлю звѣрей и отправлялъ ихъ къ Аристотелю: такимъ образомъ онъ первый занимался сравнительной анатоміей; онъ помышлялъ уже о стройномъ рядѣ развитія животнаго царства; его раздѣленіе, какъ мы имѣли случай замѣтить, осталось до сихъ поръ. Взглядъ Аристотеля въ естествовѣдѣніи, какъ и вездѣ, спекулятивенъ и до чрезвычайности реаленъ; принимая природу за процессъ, за дѣятельность одѣйствующую возможность, заключенную въ ней Аристотель равно далекъ отъ идеальности Платона и отъ матеріализма Эпикура, хотя въ немъ есть оба эти элемента. Въ послѣдователяхъ его, особенно занимавшихся естествовѣдѣніемъ, начинаетъ замѣтно преобладать матеріализмъ; такъ, напримѣръ, *Стратонъ* стремился все сущее объяснить одними физическими средствами; онъ отвергалъ всякую за-природную причину; цѣлесообразность мірозданія казалась ему вымысломъ или, по крайней мѣрѣ, предположеніемъ, не имѣющимъ доказательствъ. Всѣ явленія и ихъ связь принималъ онъ за слѣдствіе случайнаго взаимодѣйствія основныхъ свойствъ природы, заключенныхъ въ вѣчной матеріи. Міръ чувствованій — точно также проявленіе естественной силы, особымъ образомъ опредѣленной въ организмъ, котораго вещественные элементы сочетались первоначально безъ цѣли, а потомъ воспользовались представившимися условіями, чтобъ развиться до возможнаго предѣла; достигнувъ его, организмъ не разви-

вается, а повторяетъ себя для сохраненія рода\*). Самыми полными представителями этого воззрѣнія, сдѣлавшагося подѣ концѣ общимъ воззрѣніемъ древнихъ натуралистовъ, могутъ быть Лукрецій и Плиній-Младшій. Греческая мысль сдѣлалась въ нѣкоторыхъ областяхъ общѣе и яснѣе, перейдя на римскую почву. Лукрецій, въ началѣ своей знаменитой поэмы «De rerum natura», говоритъ съ той же проницательностью о темнотѣ греческихъ философовъ, съ какой нынѣ говорятъ французы о германской наукѣ. Въ самомъ дѣлѣ, Лукрецій ясенъ и увлекателенъ; въ немъ эпикурейское воззрѣніе созрѣло, согрѣтое огненной кровью поэта, и пышно расцвѣло. Съ перваго взгляда кажется страннымъ сочетаніе поэзіи съ эпикурейскимъ матеріализмомъ; но вспомнимъ, что этому человѣку съ горячимъ сердцемъ и съ реальными страстями предстоялъ выборъ между падающимъ язычествомъ, темнымъ аскетизмомъ неоплатониковъ и свободнымъ взглядомъ тогдашняго матеріализма. Сказки мифологіи граціозны и милы, особенно для насъ, знающихъ, что это сказки; во время Лукреція онѣ становились противны; противодѣйствіе язычеству было въ модѣ, въ хорошемъ тонѣ; напрасно Цицеронъ краснорѣчиво хотѣлъ талейрановски пройти между философией и язычествомъ, примирить ихъ внѣшнимъ образомъ и сочетать въ насильственный и невозможный бракъ; Юлій Цезарь въ засѣданіи сената открыто сказалъ, что не вѣритъ въ безсмертіе души, а потомъ Сенека повторилъ это со сцены. Извѣстно, какъ строгъ былъ въ отношеніи къ мѣнѣямъ, древній греко-римскій міръ, особенно во время Лукреція; спустя полвѣка послѣ

\*) Buhle. Geschichte der Phil. seit der Wiederherstellung der Wissenschaften. 1800. T. I.

него, цезари догадались, что имъ надобно поддерживать всею властью своею язычество. Калигула въ томъ же сенатѣ рассказывалъ о таинственныхъ видѣніяхъ и былъ горячій поклонникъ кумировъ; о rendez-vous, назначенныхъ ему луною, и проч.; Еліогабалъ еще болѣе. Лукрецій начинаетъ à la Hegel съ бытія и небытія, какъ съ дѣятельныхъ началъ взаимодействующихъ и сосуществующихъ; эти логическія абстракціи выражены у него языкомъ атомистовъ: атомы и пустота — вотъ полюсы, вотъ крайности, стремящіяся къ равновѣсію. Атомы несутся въ безконечной пустотѣ, встрѣчаются, летятъ вмѣстѣ, проникаютъ другъ въ друга, сочетаются въ тѣла въ то время, какъ другіе теряются въ неизмѣримой пустотѣ\*). Возникаютъ цѣлые міры тамъ, гдѣ встрѣчаются условія возникновенія, и гибнутъ міры тамъ, гдѣ эти условія нарушены; но эта гибель и это возникновеніе относятся только къ частямъ; совокупность же всего сущаго, все обнимая въ себѣ, вѣчна и безконечна: „стрѣла пущенная можетъ летѣть цѣлые вѣка и все такъ же быть далекою отъ конца вселенной, какъ въ первую минуту, когда она пущена“; вселенная живетъ въ этихъ видоизмѣненіяхъ, это ея жизнь, ея развитіе, которыя и составляютъ ея цѣль. Милое физическое невѣжество иногда невольно срываетъ улыбку, когда читаешь Лукреція, котораго доля лжи и истины уже очевидна изъ сказаннаго; но чаще онъ увлекаетъ пламенемъ, струящимся черезъ всю поэму; такого сочувствія съ жизнію отъ Лукреція до Гёте вы не встрѣ-

\*) Кстати замѣтить здѣсь, что древніе были самые плохіе химики (въ теоретическомъ смыслѣ); однако они предвидѣли и догадывались о химическомъ сродствѣ; они понимали, что извѣстныя вещества съ одними соединяются, имѣютъ къ нимъ симпатію, съ другими нѣтъ (гомеомерія).

тите. Да и только въ древнемъ мірѣ могла прійти въ голову и такъ исполниться мысль—изложить космологію и физику въ поэмѣ, стихами! Это потому, что они именно съ пластической стороны смотрѣли на все, тѣмъ болѣе на природу. Любовь къ жизни, любовь къ наслажденію и мудрая мѣра въ нихъ, пренебреженіе смерти\*) и какой-то братски-родственной взглядъ на все живое, вотъ философія Лукреція. Онъ бросился въ физику, потому что язычество съ своимъ фатумомъ и съ своими олимпійцами подозрительнаго поведенія не удовлетворяли; онъ торжественно въ каждой пѣсни провозглашаетъ, что Эпикуръ величайшій изъ грековъ, что съ него началась нравственность, нравственность сознательная, человѣческая, которой мѣшали всякія привидѣнія языческой религіи\*\*); что съ тѣхъ поръ нравственность имѣетъ мѣрило въ самомъ человѣкѣ, и проч. Ставъ на эту точку, гонимый своимъ огненнымъ сердцемъ, разумѣется, онъ пошелъ до всякихъ крайностей, но по дорогѣ встрѣтилъ и высказалъ бездну прекраснаго. Одно изъ лучшихъ мѣстъ въ его поэмѣ—это его геогонія; онъ рассказываетъ развитіе планеты отъ стихійной борьбы до того уравновѣшеннаго состоянія, когда показались растенія; потомъ заставляетъ особенно разившіяся растенія скучать своей привязанностью къ землѣ и оторваться отъ стебля; это животное—и наконецъ человѣкъ, родившійся прямо изъ земли на стеблѣ. Хотя все это нѣсколько смѣшно, но поэтичнѣе мудрено себѣ представить переходъ отъ растеній къ жи-

\*) Лукрецій, между прочимъ, въ утѣшеніе умирающихъ, говоритъ, что всѣ мертвые—ровесники, ибо для нихъ нѣтъ времени.

\*\*) Вспомните краснорѣчивыя страницы августиновой *de Civitate Dei* и его обличенія всей суетности и непослѣдовательности языческой религіи, всей уродливости ея нравственности.

вотнымъ, какъ представляя цвѣтокъ, оторвавшійся отъ стебля и полетѣвшій бабочкой; замѣтьте, что Лукрецій при этомъ упоминаетъ, что необходимыя условія возникновенія органической жизни — теплота и влага. Отвергая безсмертіе души, онъ принимаетъ какую-то эфирную душу, которая такъ легка и жидка, что какъ вылетитъ, такъ и пропадетъ въ безконечной пустотѣ; составныя части ея бываютъ разны: такъ у льва душа захватила въ себя огню, а у оленя холоднаго вѣтра! Теперь земной шаръ старѣется, и оттого онъ утратилъ способность производить новые роды, а только поддерживаетъ прежніе. Онъ произвелъ ихъ въ свою юность, когда внутри его кипѣли въ преизбыткѣ силы; тогда даже являлись уродливыя существа, которымъ впоследствии природа отказала въ правѣ на жизнь (и такъ Лукрецій предполагалъ ископаемыя животныя?).

*Historia Naturalis* Плинія, — энциклопедія, задуманная и выполненная колоссально, представляетъ общій сводъ знаній космологическихъ, физическихъ, географическихъ и проч. Это сочиненіе показало бы рубежъ, далѣе котораго знаніе природы не шло въ римскомъ мірѣ, еслибъ слѣдомъ за нимъ не явился Галенъ; но Галенъ занимался исключительно медициной, и потому его открытія, сверхъ собственно-патологическихъ, всѣ относятся къ физиологій и анатоміи; о нервной системѣ до Галена имѣли очень сбивчивое понятіе, называли часто нервами связки, сухія жилы; наконецъ и въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ узнавали ихъ, имъ приписывали невѣрно и смутно ихъ отправленія. Галенъ первый показалъ, что нервы идутъ изъ мозга, что въ нихъ и въ мозгу вся причина сочувствованія, что нервъ заставляетъ по волѣ сжиматься мышцы, и слѣдовательно есть органъ, управляющій движеніемъ. Онъ доказалъ это тѣмъ, что мыш-

цы лишаются свойствъ движенія, если перерѣзать управляющій нервъ, и именно лишаются ниже перерѣза, т. е. въ части, разобщенной съ мозгомъ. Съ тѣхъ поръ стали душу, т. е. ея мѣсто искать исключительно въ головномъ мозгу\*). Воззрѣніе Плинія вообще идетъ изъ тѣхъ же началъ, какъ воззрѣніе Лукреція, но онъ богаче свѣдѣніями и болѣе послѣдователенъ своему взгляду; его взглядъ опредѣленъ исчерпывающимъ образомъ имъ самимъ. „Вселенная,“ говоритъ онъ, „вмѣстѣ съ небомъ, покрывающимъ ее со всѣхъ сторонъ, представляется вѣчнымъ, безпредѣльнымъ существомъ, непроншедшимъ, непереходящимъ. Изслѣдованіе того, что внѣ вселенной, людямъ бесполезно, да, и сверхъ того, оно неудобопонятно для ума человѣческаго; вселенная свята, вѣчна, неизмѣрима, вся во всемъ, сама все. Она конечна и похожа на безконечное, правильна во всѣхъ явленіяхъ своихъ и похожа на лишенную правильности (необходима и повидимому случайна); она все обнимаетъ видимое на свѣтѣ и во тьмѣ скрытое; она произведеніе сущности вещей и въ то же время сама сущность вещей.“ Не надобно однако думать, что Плиній очень глубокомысленно понималъ то, что высказалось такъ поэтически. Онъ далеко отстаетъ отъ Аристотеля, — мысль потеряла свою свѣжесть и ясность, она слишкомъ облеклась въ реторическія формы, была слишкомъ

\*) Галенъ первый замѣтилъ, что артеріи наполнены кровью, а не воздухомъ; при разсѣченіи труповъ, разумѣется, артеріи всякой разъ представлялись пустыми и до Галена полагали, что въ нихъ обращается воздухъ. Между прочимъ, Галенъ говоритъ: еслибъ людямъ удалось узнать составъ воздуха, объяснилась бы животная теплота: „*жизнь поддерживается тѣмъ же, чѣмъ жизнь.*“ Это предвѣдѣніе кислорода! Въ XVI вѣкѣ Цизалпинъ вздумалъ доказывать, что центръ нервной системы въ сердцѣ, а Цизалпинъ былъ очень и очень ученый докторъ. Вотъ каковы были средніе вѣка для естествовѣдѣнія!

внѣшня. Плиній, наприм., не могъ уразумѣть намека пифагорейцевъ и Аристотеля о тяготѣніи, а говоритъ, что легкія тѣла стремятся вверхъ, тяжелыя внизъ, мѣшають другъ другу и на взаимномъ противодѣйствіи остаются въ равновѣсіи: такъ земной шаръ не падаетъ оттого, что атмосфера его поддерживааетъ. Какъ могъ обширный умъ его удовлетвориться такими жалкими объясненіями—это столько же непонятно, какъ разные анекдоты, приводимые имъ, среди дѣльныхъ зоологическихъ описаній, наприм., о рыбѣ *ehineis*, которая останавливаетъ корабли дѣйствіемъ своихъ мышцъ, объ андрогинахъ, переходящихъ изъ пола въ полъ, о женщинахъ, родившихъ слона, объ астомахъ, питающихся воздухомъ. Древніе съ дѣтской довѣрчивостью вѣрили и опыту и преданію, принимая фактическій міръ за такую же дѣйствительность, какъ міръ мысли, какъ міръ традиціонный, и ставя легенды въ число фактовъ. Въ самомъ дѣлѣ, единство бытія и мышленія, факта и понятія, составляло непосредственное вѣрованіе ихъ, мѣшавшее рефлексіи и анализу, не позволявшее возникнуть истинной наукѣ и совершенно свойственное артистическому дилеттантизму; оттого-то они такъ часто путають эмпирію съ діалектикой, опытъ съ преданіемъ, ставя ихъ на одну доску, переходя произвольно отъ одного къ другому.

Декабрь, 1844 г.

## ПИСЬМО ПЯТОЕ

### Схоластика

Греко-римская жизнь, дряхлѣя, отрицала, мало по малу, то тотъ основной элементъ свой, то другой; но все это были полумѣры, событія болѣе, нежели убѣж-

денія, или убѣжденія, непереходившія въ событія. Философія съ Сократа, и даже до него, стремилась снять односторонность эллинскаго воззрѣнія и во многомъ отрицала его,—но отрицала внутри извѣстнаго круга, за предѣлы котораго, не смотря на всю жизненность свою она рѣдко переходила. Историческія событія вводили обычаи прямо противоположныя религіознымъ нормамъ древней жизни; но они прививались тайкомъ и безсознательно; напр., обоготвореніе цезарей фактически снимало язычество, перенося боговъ совсѣмъ на иную почву; статуя представляла мистическое сочетаніе камня съ самой всеобщей человѣческой или божественной сущностью; поклоненіе Клавдію или Нерону смѣшивало божественное съ существующимъ человѣкомъ—это своего рода атензмъ. Основы гражданскаго устройства древнихъ республикъ считались едиными истинными, и были поруганы какой-то нелѣпой пародіей на нихъ во время имперіи. Всѣ эти отрицанія, вы видите, недобросовѣстны, лукавы, отрывочны. Образованные люди видѣли нелѣпость язычества, были вольнодумцы и кощуны,—но язычество оставалось, какъ оффиціальная религія, и на улицѣ они поклонялись тому, надъ чѣмъ ругались дома, потому что чернь стояла за него; иначе и быть не могло: у ней только и оставалось. Ни у кого не было храбрости открыто, громогласно отрицать основанія древней жизни,—да и во имя чего могла возникнуть такая высокая дерзость? Внутри римской жизни могло явиться мрачное, печальное отрицаніе Секста-Эмпирика, глумливое, злое Лукіана, холодно-образованное Плинія, или, наконецъ, отрицаніе разврата и безучастія, того душевнаго холода и чувственнаго огня, которому нѣтъ дѣла до религіознаго и гражданскаго порядка, но который плачетъ объ умершей Муренѣ и рукоплещетъ умирающему



гладіатору, поднося къ губамъ изображеніе *божественнаю*, т. е. царствующаго на сію минуту цезаря. Отрицанія обновляющаго, созидающаго, не было въ римской жизни, или оно было только въ возможности принять христіанство.

Христіанство является совершенно противоположнымъ древнему порядку вещей; это не то половинное и безсильное отрицаніе, о которыхи мы говорили\*), а отрицаніе, полное мощи, надежды, откровенное, беспощадное

\*) Сравните *созидающее* разрушеніе блаженнаго Августина съ *esprits forts* древняго міра, или съ ихъ отчаяннымъ скрежетомъ зубовъ. Плиній, наприм., говоритъ, что единственное утѣшеніе людямъ состоитъ въ томъ, что боги также не всемогущи, не могутъ себя сдѣлать смертными, людей безсмертными, ни того, чтобъ прошедшее не было, или, чтобъ два раза десять не было двадцать. Онъ съ горькимъ упрекомъ замѣчаетъ, что люди, не довольствуясь Олимпомъ и не имѣя силъ отречься отъ него, выдумали себѣ новыя цѣпи, склонились передъ отвлеченными страшилищами — передъ *смучаемъ* и *счастіемъ*, и трепещутъ безумно передъ собственными вымыслами. Лукіанъ—Вольтеръ той эпохи. Возьмите, напримѣръ, его *трагическаго Юпитера*, это комедія-buffa на Олимпѣ. Онъ представляетъ Юпитера, растерявшагося отъ спора эпикурейца, отвергающаго боговъ, съ стоикомъ; не зная, что дѣлать, Юпитеръ собираетъ совѣтъ. Начинается споръ, кому гдѣ сидѣть. Юпитеръ приказываетъ сперва усадить золотыхъ боговъ, потомъ мраморныхъ, и притомъ сперва праксителевой работы, потомъ другихъ мастеровъ. Нептунъ тутъ же объявляетъ, что онъ не сядетъ ниже какого нибудь египетскаго урода изъ золота съ собачьей мордой. Велѣно быть безъ чиновъ. Вдругъ съ топотомъ и трескомъ переваливается колоссъ родосскій и говоритъ, что онъ хотя и мѣдный, но мѣди въ него пошло больше, нежели золота въ инаго золотаго бога. Пока они вздорятъ и пока Юпитеръ собираетъ нелѣпыя мнѣнія, между которыми отличается мнѣніе олимпійскаго Скалозуба—Геркулеса, который проситъ позволенія покачать колонны портика, подъ которыми идетъ споръ, эпикуреецъ побѣждаетъ стоика—и Олимпъ въ дуракахъ. Можно было потрясти язычество, особенно въ извѣстномъ кругу людей, такими ѣдкими насмѣшками — но такое отрицаніе оставляло пустоту въ душѣ. И потомъ, порицая язычество, тѣ же люди видѣли въ социализмѣ древняго міра идеалъ; они хотѣли сохранить Римъ и Грецію съ ихъ гражданскимъ устройствомъ, одностороннимъ и тѣсно связаннымъ съ религіей.

и увѣренное въ себѣ. Возьмите „De Civitate Dei“ Августина и полемическія сочиненія первыхъ христіанскихъ писателей—вотъ какъ надобно отрекаться отъ стараго и ветхаго; но такъ можно отрекаться, имѣя новое, имѣя святую вѣру. Добродѣтели языческаго міра—блестящіе пороки въ глазахъ христіанина; въ статуѣ, передъ красотой которой склонялся грекъ, онъ видитъ чувственную наготу; онъ отказывается отъ прекраснаго греческаго храма и помѣщаетъ алтарь свой въ базиликѣ, лишь бы не служить богу истинному въ тѣхъ стѣнахъ, въ которыхъ служили богамъ ложнымъ. Вмѣсто гордости—христіанинъ смиряется; вмѣсто стяжанія, онъ обрекаетъ себя добровольной нищетѣ; вмѣсто упоеній чувственностью—онъ наслаждается лишеніями\*). Христіанство было прямымъ, рѣзкимъ антитезисомъ тезису древняго міра. Многіе воображаютъ, что послѣднія три столѣтія такъ же отдѣлены отъ среднихъ вѣковъ, какъ средніе вѣка отъ древняго міра,—это несправедливо: вѣка реформаціи и образованности представляютъ послѣднюю фазу развитія католицизма и феодальности; можетъ быть, они во многомъ перешли кругъ, котораго очертаніе сдѣлано было изъ Ватикана,—но тѣмъ не менѣе они представляютъ органическое продолженіе предъидущаго; всѣ основы соціализма западно-европейскаго остались неприкосновенными, христіанство осталось нравственной основой жизни; новое понятіе о правѣ выросло на той же почвѣ римскаго, каноническаго и варварскаго права; различіе его состояло не въ различіи основаній—а въ иномъ (часто произвольномъ) толкованіи ихъ, болѣе сообразномъ съ

\*) Выраженіе, принадлежащее Григорію-Назіанзину въ письмѣ къ Василю Великому: „Помнишь ли,“ говоритъ онъ: „какъ мы наслаждались лишеніями и постомъ?“

новой степенью образованности. Ни Лютеръ, ни Вольтеръ не провели огненной черты между былымъ и новымъ, какъ Августинъ; у нихъ такая черта не имѣла бы смысла, точно такъ, какъ у Сократа, у Платона, переходившихъ во многомъ циклъ аѳинской жизни, но принадлежавшихъ къ ней. Противоположность христіанскаго воззрѣнія съ древнимъ требовала не *передѣлки*, а пересозданія. Древній міръ—чувственный, художественный, все принимавшій съ легкостью и съ юношескою улыбкою, вездѣ пробивался къ мысли, и нигдѣ не могъ отрѣшиться отъ непосредственности, нигдѣ не умѣлъ идти до крайнихъ выводовъ. Его наука была поэма, его художество было религіей, его понятіе о человѣкѣ не раздѣлялось съ понятіемъ гражданина, его республика поддерживалась страшно задавленной каріатидой невольничества, его нравственность состояла изъ юридическихъ обязанностей\*), онъ уважалъ въ согражданинѣ монополію, привилегію, а не человѣческую личность его. Юношескій міръ этотъ былъ увлекательно прекрасенъ и съ тѣмъ вмѣстѣ непростительно легкомысленъ; философствуя, онъ отталкивалъ важнѣйшіе вопросы, потому что они не такъ легко разрѣшались, или удовлетворялся легкими рѣшеніями ихъ; утопая въ роскоши и наслажденіяхъ, онъ не думалъ о темномъ подвалѣ, въ которомъ стонутъ въ колодкахъ рабы, возвратившіеся съ поля. Вдругъ прелестныя декорациі, ограничивавшія горизонтъ древняго міра, исчезли,—открылась безконечная даль, которой и не подозревалъ міръ гармонической соразмѣрности; основы

\*) Если нѣкоторые мыслители стояли выше общественнаго мнѣнія о нравственности, то это только значитъ, что они уже перешли предѣлы древняго воззрѣнія. Въ этомъ отношеніи, можетъ быть, Сенека всѣхъ выше: потому-то онъ и стоитъ на самомъ краю древняго міра.

его показались мелки въ этомъ безбрежїи, а лицо человека, потерянное въ гражданскихъ отношенїяхъ древняго міра, выросло до какой-то недосягаемой высоты, искупленное Словомъ Божїимъ. Неносредственныя и гражданскія опредѣленїя оказались второстепенными; личность христїанина стала выше сборной личности города; ей раскрылось все безконечное достоинство ея — Евангелїе торжественно огласило права человека, и люди впервые слышали, *что они такое*. Какъ было не переимѣниться всему! Древняя любовь къ отечеству, высокая и прекрасная, но ограниченная и несправедливая, замѣняется любовью къ ближнему, узкая національность единствомъ въ вѣрѣ; Римъ съ гордостью удостоивалъ избранныхъ правомъ своего гражданства, — христїанство предлагало всѣмъ крещенїе водою. Древнїй міръ вѣрилъ безотчетно въ природу, въ ея дѣйствительность, принималъ ее какъ фактъ, принималъ потому, что видѣлъ своими глазами; для него природа была все, за ея предѣлами ничего; онъ видѣлъ во временномъ естественномъ вѣчное и духовное, онъ видѣлъ въ красотѣ высшее выраженїе высшаго, никогда не могъ оторваться отъ природы — и оттого никогда не зналъ ея. Новый міръ именно въ матеріальную природу, въ явленїя и не вѣрилъ; онъ отвергалъ дѣйствительность преходящаго, вѣрилъ событїю духовному, принималъ красоту за низшее выраженїе высшаго, не былъ пластиченъ, чувствовалъ свой разрывъ съ природой и стремился къ духовному примиренїю съ ней въ мышленїи, въ искупленїи природы въ себѣ. Древнїй міръ жилъ въ настоящемъ, вспоминалъ часто бывшее, но о будущемъ не думалъ; а если и являлась страшная мысль рока, преслѣдовавшая его безпрестанно, то это для того, чтобъ толкнуть человека къ наслажденїямъ, совѣтомъ

въ родѣ non curiamo l'incerto domani застольной пѣсни изъ „Лукреціи“; оттого — этотъ упонительный, чувственный bien être въ жизни, эта роскошь въ наслажденіяхъ, эта страстная нѣга, доходящая до поэтической увлекательности и до отвратительной животности, въ сравненіи съ которой нашъ комфортъ жалокъ и нашъ развратъ смѣшонъ; для древняго міра какъ будто не было жизни за гробомъ; Ахиллъ сказалъ Улиссу въ преисподней, что онъ пошелъ бы въ рабы, лишь бы на землю; мысль о смерти иногда страшила ихъ, мысль о будущей жизни почти вовсе не занимала никого. Вѣра въ безсмертіе сдѣлалась, напротивъ, одной изъ краеугольныхъ основъ христіанства; признавая вѣчность свою и преходимость естественнаго, человѣкъ совсѣмъ иначе взглянулъ на все окружающее его. „Два града сдѣлали двѣ любви: земной градъ любовь къ себѣ до пренебреженія Богомъ; градъ небесный — любовь къ Богу до пренебреженія собою“ (De Civ. Dei).

Въ то время, какъ проповѣдованіе Евангелія измѣняло внутренняго человѣка, дряхлое устройство государственное оставалось въ явномъ противорѣчій съ догматами религіи. Христіане приняли римское государство и римское право; побѣжденный и отходящій міръ нашелъ средство проникнуть въ станъ побѣдителей. Восточная Имперія, принявъ во всей чистотѣ евангельское ученіе, осталась при той формѣ цезарскаго управленія, которое Діоклеціанъ — злѣйшій гонитель христіанства — развилъ до нелѣпости. Въ Западной Имперіи, съ своей стороны, явился новый элементъ, также не христіанскій, элементъ тевтонизма, народнаго духа дикихъ полчищъ, страшныхъ въ невинной кровожадности своей, въ своей скитающейся неутомимости, въ своемъ дружинномъ братствѣ и любви къ необузданной

волѣ. Надобно было усмирить, укротить дикарей; надобно было сломить ихъ желѣзную и задорную волю волей еще болѣе желѣзной и настойчивой. Эту великую задачу задали себѣ первосвященники римскіе; разрѣшая ее, они утратили свой характеръ чуждости всему мірскому; католицизмъ сорвалъ германца съ его почвы и пересадилъ на другую, но самъ, между тѣмъ, пустилъ корни въ землю, которую стремился вытолкнуть изъ подъ ногъ мірянъ; желая управлять жизнью, онъ долженъ былъ сдѣлаться практическимъ, печься о многѣ; отвергая эти заботы, онъ принялъ ихъ. Началась безпрерывная борьба духовнаго порядка со свѣтскимъ; католицизмъ мало по малу побѣждалъ, побѣждалъ для того, чтобъ наконецъ спокойно насладиться плодомъ своихъ трудовъ въ лицѣ, наприм., Льва X, который больше похожъ на доблестнаго цезаря, нежели на наѣстника св. Петра. Въ эту борьбу послѣдовательно вовлеклись всѣ стороны тогдашней жизни; самыя странныя противорѣчія безпрестанно встрѣчаются въ одной и той же груди. Эта борьба Гвельфовъ и Гибелиновъ, повторявшаяся въ разныхъ видахъ, похожа на бой змѣи съ человѣкомъ, представленный Дантомъ, — бой, въ которомъ то человѣкъ дѣлается змѣей, то змѣя человѣкомъ; въ этой борьбѣ одного нѣтъ — эгоизма и холода, все увлечено, несется, крутится, и во всемъ элементъ безконечности и элементъ безумія. Научный интересъ того времени сосредоточивался въ схоластикѣ. Схоластика — неловкій, жесткій и сухой амфибій — замѣняла истинную науку до самыхъ временъ негодующаго безпокойства и освобожденія теоретической дѣятельности въ XVI вѣкѣ. Отношеніе свое къ истинѣ и къ предмету схоластика опредѣляла странно, чисто формально и совершенно несамостоятельно. Не думайте,

чтобъ схоластика была вообще христiанской мудростью, —нѣтъ, ее ищите въ отцахъ церкви первыхъ вѣковъ, особенно восточныхъ. Схоластика была и не вполнѣ религіозна и не вполнѣ наукообразна; отъ шаткости въ вѣрѣ, она искала силлогизмы, отъ шаткости въ логикѣ —она искала вѣрованiя; она предавала свой догматъ самому щепетильному умствованiю, и предавала умствованiе самому буквальному приниманiю догмата. Она одного боялась, какъ огня: самобытности мысли; ей лишь бы чувствовать помочи Аристотеля, или другаго признаннаго руководителя. О естествовѣдѣнiи не можетъ быть и рѣчи: схоластика такъ презирала природу, что не могла заниматься ею; природа страшно противорѣчила ихъ дуализму; природа не брала участiя въ безконечныхъ спорахъ схоластиковъ: какого же она могла ожидать участiя отъ нихъ, убѣжденныхъ, что высшая мудрость только и существуетъ въ ихъ опредѣленiяхъ, раздѣленiяхъ и проч.? Вообще они считали природу подлой рабой, готовой исполнять своевольную прихоть человѣка, потворствовать всѣмъ нечистымъ побужденiямъ, отрывать отъ высшей жизни, и въ то же время они боялись ея тайнаго, демоническаго влiянiя, увѣренные, что вся вселенная находится въ личнѣхъ отношенiяхъ съ каждымъ человѣкомъ —непрiязненныхъ или мирволящихъ. Ясно, что, вмѣсто естествовѣдѣнiя, явились астрологiя, алхимiя, чародѣйство. Съ ограниченной точки зрѣнiя схоластическаго дуализма, значенiе всего естественнаго опредѣлялось превратно; все хорошее отнимали у природы и ставили внѣ ея, хотя никто и не спрашивалъ, гдѣ собственно ея предѣлы; все естественное, физическое покрывали завѣсой, стыдились тѣла, —въ немъ видѣли распутную наложницу духа и скорбѣли объ этой связи. Люди того времени предста-

вляли себѣ внутри земнаго шара Люцифера, жующаго Іуду и Брута, къ которымъ тяготитъ все тяжелое міра вещественнаго и все злое міра нравственнаго. Они хотѣли попрутъ ногами, уничтожить временное, хотѣли не знать его; дуализмъ схоластики не имѣетъ въ себѣ ничего всѣхскорбящаго, примиряющаго, исполненнаго любви — хотя говоритъ объ ней очень много; это апотеоза отвлеченнаго, формальнаго мышленія, апотеоза личности эгоистической, сознавшей достоинство свое, но недостойной еще понять его, не правомъ пренебреженія природою, а правомъ освобожденія себя и природы въ дѣйствительномъ, вселюбящемъ мышленіи. Схоластики не уразумѣли на столько христіанства, чтобъ понять искупленіе *не отрицаніемъ конечнаго, а спасеніемъ его*. Христіанство снимаетъ собственно дуализмъ — суровое возрѣніе католическихъ теологовъ не могло постигнуть этого\*). Замѣтьте, это одна изъ существеннѣйшихъ ошибокъ западнаго возрѣнія, вызвавшая впоследствии только сильное противодѣйствіе. Оно придало среднимъ вѣкамъ ихъ угрюмый, натянутый, темный характеръ. Міръ схоластическій печаленъ; это міръ искусства, міръ уничтоженія всего непосредственнаго, міръ скучнаго формализма и мертвеннаго взгляда на жизнь, мысль перестала быть „доблестною потребностью,“ какъ называлъ ее Аристотель; она мучитъ, терзаетъ средняго невѣковаго человѣка; она сознала всю мощь раздвоенія и прошла между сердцемъ и умомъ, между подлжащимъ и сказуемымъ, между духомъ и матеріей, желала все торжество предоставить внутреннему и имъ посрамить все внѣшнее. Единство бытія и мышленія шло

\*) Апостолъ Павелъ къ Коринѳянамъ говоритъ: „Вся тварь ждетъ искупленія.“ Этого не хотѣли понять схоластики.



такъ же впередъ у древнихъ, какъ ихъ противорѣчіе у схоластиковъ; иначе не возникли бы и знаменитые споры номиналистовъ и реалистовъ. Примѣръ какогонибудь Рожера Бэкона, не презирающаго опыта; какогонибудь Раймунда Луллія, бросающагося между тысячью фантастическими и поэтическими затѣями на химию, ничего не доказываетъ; такія отрывочныя явленія не имѣютъ связи со всѣмъ окружающимъ; разсудочный, сухой спиритуализмъ, буквальные толкованія, логическія уловки, діалектическія дерзости и раболѣпіе передъ авторитетомъ — таковъ характеръ схоластики до реформаціи, до XVI вѣка. Въ концѣ этого вѣка, погибъ Петръ Рамусъ за то, что смѣлъ возстать противъ Аристотеля; Джордано Бруно и Ванини были казнены за ихъ ученныя убѣжденія, — одинъ въ 1600, другой въ 1619 году. Какая же дѣйствительная наука могла развиваться въ этой душной и узкой атмосферѣ? Одна формалистика — блѣдный плющъ, выросшій на тюремной оградѣ, прозябала въ ней; ея томный, лунный свѣтъ былъ безъ теплоты и самобытности, ея вопросы\*) были такъ далеки отъ жизни и такъ мелочны, что ревнивая цензура папская выносила ее. Ученныя занятія, въ это время, получили характеръ чисто книжный, котораго они въ древнемъ мірѣ не имѣли; кто хотѣлъ знать, развертывалъ книгу, отъ жизни же и отъ природы отворачивался. Схоластики искали истину позади себя, они хотѣли ей *выучиться*, они думали, что она цѣликомъ написана — и, разумѣется, не двигались впередъ. Характеръ этотъ частію перешелъ въ кровь нѣмецкихъ ученыхъ.

\*) Предметы споровъ у схоластиковъ иногда поразительны; напр.: „Адамъ въ первобытномъ состояніи зналъ ли *Lieber sententiagum* Петра Ломбардскаго, или нѣтъ?“

Наконецъ, послѣ тысячелѣтняго безпокойнаго сна, человѣчество собрало новыя силы на новый подвигъ мысли; въ XV вѣкѣ, пробуждаются нныя требованія, тянеть утреннимъ воздухомъ. Настала эпоха передѣлыванія. Вниманіе людей обращалось болѣе и болѣе на реальные предметы, на морскія путешествія, совершенныя тогда, на новую часть земнаго шара, на странную и отчасти обидную для схоластиковъ мысль Коперника, на то тихое, незамѣтное открытіе, сдѣланное въ душевой мастерской, передъ горномъ, за станкомъ литейщика, о которомъ алхимикъ Клодъ Фролло сказалъ смиренному аббату beati Martini: „сесі иега селъ“; но оно убило не зодчество, а темноту. Въ Италіи всего ранѣе раздались новыя требованія: мечтатель Ріензи вспомнилъ древній Римъ и хотѣлъ возстановить его; ему рукоплескалъ Петрарка — возстановитель классическаго искусства и поэтъ на *вумарномъ* нарѣчій. Греки наѣзжали изъ Византіи и привозили съ собою руно, скоронное у нихъ въ продолженіи десяти вѣковъ. Другъ Козьмы Медичи, Марзилій Фицинъ, превосходно переводилъ Платона, Прокла и Плотина. Самое изученіе Аристотеля получило новый характеръ; доселѣ, Аристотель былъ какимъ-то подавляющимъ гнетомъ, его изучали формально, механически, по уродливымъ переводамъ; теперь взяли подлинникъ. Правда, умы были до того развращены схоластикой, что ничего не умѣли понимать просто; чувственное возрѣніе на предметы было притуплено, ясное сознаніе казалось пошлымъ, а пошлая логомахія безъ содержанія, опертая на авторитеты, была принимаема за истину; чѣмъ узорчатѣе, щеголеватѣе, непонятнѣе были формы, тѣмъ выше ставили писателя. Тома вздорныхъ коментаріевъ писались объ Аристотелѣ; таланты, энергіи, цѣлыя жизни тра-

тились на самую бесполезнѣйшую логомахію; но, между тѣмъ, горизонтъ расширялся; собственное изученіе древнихъ писателей понѣволѣ заносило мысли свѣжія и живыя; вліяніе ихъ было неизмѣримо. Слабая, непривычная къ самомышленію, лѣнивая и формальная способность средневѣковыхъ умовъ не могла сама собою отрѣшиться отъ безжизненной формалистики своей; у нея не было человѣческаго языка, на которомъ можно было бы говорить дѣло; наконецъ, ей было стыдно говорить *о дѣлѣ*, потому что она считала его вздоромъ. Вдругъ найдена чужая рѣчь, готовая, стройная, выражавшая превосходно то, чего схоластическіе доктора и не умѣли и не смѣли высказать; мало этого — чужая рѣчь опиралась на славныя имена. Чувствующие свое несовершеннолѣтіе нашли новые авторитеты и возстали противъ старыхъ. Все заговорило цитатами изъ Виргилія, Цицерона, а отъ Аристотеля, напротивъ, стали отрекаться. Патрицій представилъ, въ половинѣ XVI вѣка, папѣ Григорію XIV сочиненіе, въ которомъ обращалъ его вниманіе на противорѣчіе аристотелевскаго ученія съ церковью; этого противорѣчія не замѣтили лѣтъ пятьсотъ къ ряду добрые схоластики и доказывали догматы Аристотелемъ, Аристотеля — догматами. Наконецъ, въ одномъ изъ древнѣйшихъ средоточій схоластики и чуть ли не въ самомъ главномъ, въ Парижѣ, явился Гуссъ перипатетизма — Пьеръ la Ramée, и объявилъ, что онъ противъ всѣхъ готовъ защищать тезисъ: „Все ученіе Аристотеля ложно“. Крикъ негодованія раздался между учеными, онъ дошелъ до дворца Франциска I; король назначилъ надъ нимъ судъ, для того, чтобъ *осудить* его. Рамусъ защищался, какъ левъ, но пощады не было; его прогнали, обвинили, и онъ послѣ этого пошелъ скитаться по всей Европѣ, изго-

няемый и преслѣдуемый, бравясь, переѣзжая съ мѣста на мѣсто. Пятьдесятъ лѣтъ боролся этотъ человѣкъ съ Аристотелемъ, и наконецъ погибъ въ борьбѣ. Онъ проповѣдовалъ противъ стагирита, точно такъ же, какъ гугеноты проповѣдовали противъ папы. Сходство его съ протестантами очень велико; онъ былъ прозачнѣе, можетъ быть, пошлѣе, плоче своихъ враговъ, плоче многихъ комментаторовъ Аристотеля (Помпонація, на-прим.), но у него были практическія и своевременныя требованія; онъ гнушался формализмомъ и словопре-ніемъ; ему хотѣлось приложенія, пользы; онъ былъ ниже Аристотеля, такъ какъ многіе протестанты ниже католическаго воззрѣнія; но онъ боролся съ Аристоте-лемъ схоластики такъ, какъ протестанты съ католи-цизмомъ XVI вѣка. Около того же времени, является торжественная и непрерывающаяся процессія людей мощныхъ и сильныхъ, приготовившихъ пропилеи новой наукѣ; во главѣ ихъ (не по времени, а по мощи) Джор-дано Бруно, потомъ Ванини, Карданъ, Кампанелла, Тилезій, Парацельсъ\*) и др. Главный характеръ этихъ великихъ дѣятелей состоитъ въ живомъ, вѣрномъ чув-ствѣ тѣсноты, неудовлетворительности въ замкнутомъ кругѣ современной имъ науки, во всепоглощающемъ стремленіи къ истинѣ, въ какомъ-то дарѣ провидѣнія ея.

Время возстанія противъ схоластики исполнено дра-матическаго интереса. Читая біографіи, развертывая писанія энергическихъ людей, рвавшихъ цѣпи, которыя опутывали науку, вы увидите разомъ двойную борьбу, въ которую они были вовлечены. Одна совершается въ ихъ душѣ — борьба психическая, трудная, волнующая

\*) Первый профессоръ химіи отъ сотворенія міра.

ихъ непрерывно, придающая многимъ изъ нихъ эксцентрическій, почти судорожный видъ. Другая борьба наружная, оканчивающаяся на кострѣ, въ темницѣ; ибо схоластика, уstraшенная нападками, спряталась за инквизицію, смертными приговорами возражала на смѣлые тезисы противниковъ, и вырывая ихъ языкъ клещами палача, заставляла умолкать. Многихъ удивляетъ шаткая непослѣдовательность ихъ и мужественная воля, неполнота, такъ сказать, ихъ мысли, и полнота самоотверженія; но развѣ можно сразу отдѣлаться отъ историческихъ предразсудковъ? Не отъ непониманія зависитъ эта шаткость. Истина всегда бываетъ проще нелѣпости, но умъ человѣка вовсе не одна возможность пониманія, не *tabula rasa*: онъ засоренъ со дня рожденія историческими предразсудками, повѣрьями и проч.; ему трудно возстановить нормальное отношеніе свое къ простому пониманію, особенно въ то время, о которомъ идетъ рѣчь. Что удивительнаго, что Парацельсъ вѣрилъ въ алхимию, Карданъ называлъ себя магомъ\*)? Имъ трудно было вырвать изъ груди мнѣнія, освященные вѣками, трудно было примирить ихъ съ восходящимъ свѣтомъ сознанія. Они, впрочемъ, и не сдѣлали этого. Они были такъ восторженны, что не могли порядкомъ установиться; это эпоха первой любви, упоенія, незнающаго мѣры, эпоха новости поражающей; не ищите у нихъ строгой, наукообразной формы; ими только открыта почва науки, ими только освобождена мысль, содержаніе ея понято больше сердцемъ и фантазіей, нежели разумомъ. Вѣка должны были пройти прежде, нежели наука могла развить методой тѣ истины, кото-

\*) Даже Бэконъ Веруламскій не могъ совершенно отдѣлаться отъ астрологій и магіи.

рия Джордано Бруно высказалъ восторженно, пророчески, вдохновенно. Это принятіе въ кровь и плоть своихъ убѣжденій придадо имъ ихъ личную мощь, поддержало ихъ въ борьбѣ внѣшней: гонимые, скитальцы изъ страны въ страну, окруженные опасностями—они не зарыли изъ благоразумнаго страха истины, о которой были призваны свидѣтельствовать; они высказывали ее вездѣ; гдѣ не могли высказывать прямо,—одѣвали ее въ маскарадное платье, облекали аллегоріями, прятали подъ условными знаками, прикрывали тонкимъ флёромъ, который для зоркаго, для желающаго, ничего не скрывалъ, но скрывалъ отъ врага: любовь догадливѣе и проницательнѣе ненависти. Иногда они это дѣлали, чтобъ не испугать робкія души современниковъ; иногда, чтобъ не тотчасъ попасть на костеръ. Легко, въ наше время, человѣку развивать свое убѣжденіе, когда онъ только и думаетъ о болѣе ясной формѣ изложенія;—въ ту эпоху это было невозможно. Коперникъ скрывалъ свое открытіе авторитетами, взятыми изъ древнихъ философовъ, и можетъ быть, одно это спасло его лично отъ гоненій, впослѣдствіи обрушившихся на Галилея и на всѣхъ послѣдователей его. Надобно было хитрить... „Хитрость“, говоритъ одинъ мыслитель: „женственность воли, иронія дикой силы.“ Махіавелли зналъ кой-что объ этой хитрости. Все вмѣстѣ придавало тогдашнимъ дѣятелямъ характеръ трепетнаго безпокойства и волненія. Они не были въ полномъ миру ни съ собою, ни съ окружающимъ. Истинно спокоенъ или человѣкъ, принадлежащій зоологін, или тотъ, кто, однажды кончивъ съ собою, видитъ согласіе своихъ внутреннихъ убѣжденій съ наружнымъ міромъ. Они были безпокойны, потому что окружающій ихъ порядокъ становился пошлымъ и нелѣпымъ, а внутренній былъ потрясенъ; раз-

глядѣвъ то и другое, они не могли скрыть своего распада, не могли не быть безпокойными: — такимъ людямъ, какъ Бруно, не дается великій талантъ счастливо и спокойно жить въ средѣ, прямо противоположной ихъ убѣжденіямъ.

Для живаго примѣра одушевленнаго, юношескаго мышленія этой эпохи, передамъ вамъ нѣсколько главныхъ мыслей Джордано Бруно, который, безъ сомнѣнія, оставляетъ далеко за собою всѣхъ товарищей своихъ\*). Главная цѣль Бруно — развить и понять жизнь, какъ единое, всемірное, безконечное начало и исполненіе всего сущаго, понять вселенную, какъ эту единую жизнь, понять самое единство это безконечнымъ единствомъ разума и бытія, единствомъ, побѣдоносно проторгающимся черезъ ряды многообразія. Вотъ краеугольные камни всего ученія Бруно, прямо противоположнаго дуализму схоластики. Такъ какъ жизнь одна, умъ одинъ, и одно единство ихъ связуетъ, слѣдовательно, заключаетъ Бруно, если мы возьмемъ умъ въ цѣлости всѣхъ его моментовъ, мы все сущее подведемъ подъ него; не есть ли это прямое предвѣдѣніе логической философіи нашего времени? „Природа,“ говоритъ онъ, „внутри своихъ предѣловъ можетъ все сдѣлать изъ всего, а умъ можетъ все узнать изъ всего“; природу и умъ онъ понимаетъ двумя моментами одного развитія. „Одна и та же матерія проходитъ всѣми формами: то, что было зерномъ, дѣлается травой, колосомъ, хлѣбомъ, питательнымъ сокомъ, зародышемъ, человѣкомъ, трупомъ, зем-

\*) Самое подробное изложеніе Бруно, со множествомъ выписокъ, у Буле въ „Gesch. der neuern Philosophie“, II Band, отъ 703 до 856. Въ геттингенской бібліотекѣ Буле нашелъ много неизвѣстныхъ сочиненій Бруно и ими пользовался.

лею... но есть нѣчто, остающееся самимъ собою отъ этого развитія,—матерія; *она безусловна*, ея проявленія условны; матерія *все*, потому что она ничего въ особенностях; дѣятельная возможность формы присуща ей; она развивается жизнію до своего перегиба въ умъ; въ природѣ слѣдъ идеи (*vestigium*); за ея физическимъ бытіемъ (*postnaturalia*) начинается понятіе, тѣнь идеи (*umbra*). Ни произведенія природы, отдѣльно взятая, ни понятія, никогда не достигаютъ полноты. Такъ, наприм., каждый человѣкъ въ каждую минуту все то, что онъ можетъ быть въ эту минуту, но не все то, что онъ вообще можетъ быть по своей сущности... Вселенная же, напротивъ, дѣйствительно все, что можетъ быть на самомъ дѣлѣ и разомъ, ибо она обнимаетъ всю вещественность вмѣстѣ съ вѣчными и неизмѣнными формами ея измѣняющихся произведеній; въ этомъ состоитъ ея великое единство, себѣ равенство. Во вселенной вездѣ средоточіе; въ ней средоточіе и окружность не раздѣлены, такъ, какъ наибольшее не отдѣлено отъ наименьшаго — на всякомъ мѣстѣ владычество Божіе. Но,“ прибавляетъ Бруно, „недостаточно для истины понять единство только какъ точку соединенія различій: надобно такъ понять его, чтобъ умѣть снова вывести и всѣ противорѣчія.“ Представьте себѣ, какъ должны были раскрыться рты докторовъ *sublissimorum, dialecticorum*, когда они слышали эту глубокую, вдохновенную рѣчь! Прибавлю еще выписку, чтобъ показать, какой поразительно вѣрный взглядъ имѣлъ онъ о злѣ. „Между *тѣнями идеи* нѣтъ дѣйствительнаго противорѣчія; одно понятіе соединяетъ прекрасное и уродливое, доброе и злое. Несовершенное, злое не имѣютъ собственной идеи, на которой бы они покоились, по которой бы опредѣлялись (какъ по своему идеалу); между тѣмъ, все дѣйствительное предпо-



лагають идею и понятіе; но въ томъ и дѣло, что понятіе злаго въ другомъ (въ противоположномъ); своего понятія у зла нѣтъ; напротивъ, понятіе, отъ котораго оно зависитъ, отрицаетъ дѣйствительность его, такъ какъ и въ самомъ дѣлѣ зло представляетъ какое-то существующее небытіе, нѣчто отрицательное (*non ens in ente, vel, ut apertius dicam, defectus in effecto*).» Гегель, мнѣ кажется, не отдалъ всей справедливости Бруно, не потому ли уже, что Шеллингъ поставилъ его такъ высоко? Послѣднее очень понятно. Бруно—живая, прекрасная связь между неоплатонизмомъ, котораго вліяніе на немъ весьма замѣтно, и натурфилософіей Шеллинга, на которую онъ, въ свою очередь, имѣлъ большое вліяніе. Гегель не хотѣлъ узнать въ Бруно человѣка новаго міра такъ, какъ не хотѣлъ видѣть въ Бемѣ человѣка средневѣковаго; или, можетъ быть, въ груди величайшаго германскаго мыслителя лежала народная связь съ *theosopho teutonico*, а романская горячая и реальная кровь итальянца не была ему такъ родственна. Бемъ—великій человѣкъ; но это не мѣшаетъ Джордано Бруно стоять подлѣ него, потому что и онъ великій человѣкъ\*). Оставляя Италію, замѣтимъ, что романскому племени былъ предоставленъ блестящій починъ новой науки. Но собственно въ *новой* философіи оно мало участвовало, какъ будто оно истощило всю умозрительную способность свою на это начало,—оно, такъ богатое способностями на все другое? Какъ будто *новая* фидософія, философія реформаціи, дуализмъ, выше схоластическаго, но все же дуализма, обманула ожида-

\*) Мы не минуемъ Бема, хотя, надобно сказать, въ исторіи науки онъ мало имѣлъ вліянія; его наукообразно поняли только въ нашемъ вѣкѣ.

нія живой и реальной мысли романской, которая уже въ концѣ XVI столѣтія стояла выше дуализма. Если это такъ, мысль романская можетъ явиться завершительницею начатаго?

Въ это время возбужденности, энергіи, люди со всѣхъ сторонъ протестовали противъ средневѣковой жизни, вездѣ отрекались отъ нея, во всемъ требовали переменъ: церковь римская оканчивала борьбу съ лютеранизмомъ страдательнымъ принятіемъ протестантовъ за совершенное событіе; схоластика рѣшительно видѣла несостоятельность свою противъ напора новыхъ идей, т. е. идей древняго міра. Наука, искусство, литература — все перемѣнилось на античный ладъ, такъ какъ готическая церковь снова уступила мѣсто греческому периптеру и римской ротондѣ. Классическое возрѣніе заставило людей ясно смотрѣть на вещи; латинскій языкъ Рима приучилъ къ мужественной рѣчи, къ энергическому обороту; до этого времени, употреблялась латинь школы, блѣдная, искаженная, неловкая и потерявшая свою душу, такъ сказать; древніе писатели очеловѣчили неестественныхъ людей средневѣковыхъ. разбудили ихъ отъ эгоизма романтической сосредоточенности и психическихъ раздраженій. Помните, какъ Гёте рассказываетъ въ „Римскихъ Элегіяхъ“ вліяніе итальянскаго неба на него, выросшаго въ сѣренькомъ климатѣ Германіи,—таково было дѣйствіе классической литературы на ученыхъ XVI столѣтія. Въ сторону пошлые споры схоластическіе! воскликнулъ средневѣковый человѣкъ: дайте упиться одами Горація, дайте подышать подъ этимъ свѣтлымъ лазоревымъ небомъ, насмотрѣться на роскошныя деревья, подъ тѣнью которыхъ и кубки съ сокомъ виноградныхъ гроздій дозволены, и страстныя объятія любви перестаютъ быть преступле-

ніемъ! Humanitas, humaniora\*) раздавалось со всѣхъ сторонъ, и человѣкъ чувствовалъ, что въ этихъ словахъ, взятыхъ отъ земли, звучитъ vivere memento, идущее на замѣну memento mori, что ими онъ новыми узами соединяется съ природой; humanitas, напоминало не то, что люди сдѣлаются землею, а то, что они вышли изъ земли, и имъ было радостно найти ее подъ ногами, стоять на ней; католическая строгость и германская народная наклонность къ грустной мечтѣ приготовили къ этому крутому перегибу! Конечно, если мы пристально всмотримся въ дѣйствительную жизнь среднихъ вѣковъ, то увидимъ, что она болѣе наружно покорялась велѣніямъ Ватикана и романтическому настроенію; жизнь вездѣ восполняла полутайкомъ недостаточныя и узкія основанія средневѣковаго быта, довольствуясь періодическими раскаяніями, наружными формами, и потомъ, для большаго удобства, покупкою индульгенцій. Тѣмъ не менѣе тогдашняя жизнь была сумрачна, натянута; сосѣдъ скрывалъ отъ сосѣда подъ условными формами и простую мысль и мелькнувшее чувство; онъ стыдился ихъ, онъ боялся ихъ. Романтизмъ имѣлъ въ себѣ много задушевнаго, трогательнаго, но мало свѣтлаго, простаго, откровеннаго; конечно, человѣкъ и тогда предавался радости, наслажденіямъ,—но онъ это дѣлалъ съ тѣмъ чувствомъ, съ которымъ мусульманинъ пьетъ вино; онъ дѣлалъ уступку, отъ которой самъ отрекался; уступая сердцу, онъ былъ униженъ, потому что не могъ противостоятъ влеченію, котораго не признавалъ справедливымъ. Грудь человѣческая, изъ которой невозможно было изгнать реальныхъ потребностей, тяжело подымалась, рвалась къ жизни болѣе ровной;

\*) Homo отъ humus.

всегдашняя натянутость такъ же надоѣла человѣку, какъ всегдашнее вооруженіе рыцарю; хотѣлось мира внутренняго,—этого романтизмъ дать не могъ: онъ весь основанъ на несогласіи, на противорѣчіяхъ; его любовь—платонизмъ и ревность; его надежда—въ могилѣ; безвыходная тоска—основа его внутренней жизни; вся его поэзія—въ этой роющей тоскѣ, вѣчно сосредоточенной на своей личности, вѣчно растрavляющей мнимыя раны, изъ которыхъ текутъ слезы, а не кровь; въ этихъ мученіяхъ вся нѣга эгоистическаго романтика, добродушно считающаго себя самоотверженнымъ мученикомъ; искомый миръ, искомый покой представляли на первый случай искусство древняго міра, его философія. Къ суровому готическому воззрѣнію начали прививаться мягкіе, человѣческіе элементы древней цивилизаціи; романтикъ сталъ догадываться, что первое условіе наслажденія—забыть себя; онъ сталъ на колѣни передъ художественными произведеніями древняго міра; онъ научился поклоняться изящному безкорыстно; мысль греко-римская воскресена для него въ блестящихъ ризахъ; въ тысячелѣтнемъ гробѣ успѣло предаться тлѣнію то, что должно было истлѣть; очищенная, вѣчно юная, какъ Ахиллъ, вѣчно страстная, какъ Афродита, явилась она людямъ—и люди, всегда готовые увлечься, оскорбительно забыли романтическое искусство, отворачивались отъ его дѣвственныхъ красотъ и стыдливой закутанности. Поклоненіе древнему искусству—не временная прихоть; оно ему подобаетъ; это единственное право, оставшееся за нимъ на вѣчную жизнь; это его истина, которая преѣйти не можетъ; это безсмертіе Греціи и Рима;—но и готическое искусство имѣло свою истину, которую уничтожить нельзя было; въ эпоху противодѣйствія некогда дѣлать такой разборъ.

Европа приняла древнюю образованность, такъ, какъ Россія, во время Петра I, приняла въ свою очередь образованность европейскую. Нельзя не замѣтить, впрочемъ, что классическое образованіе, распространившееся по всей Европѣ, было образованіемъ аристократическимъ; оно принадлежало *неопредѣленному*, но тѣмъ не менѣе дѣйствительному сословію образованныхъ людей *propre sic dictum*. легистамъ, духовнымъ, ученымъ, рыцарямъ,—по мѣрѣ того, какъ они изъ вооруженной аристократіи переходили въ придворную; наконецъ, всѣмъ матеріально обеспеченнымъ и празднымъ. Крестьяне, городская чернь, т. е. бѣдные мѣщане, работники, пролетаріи, не только не участвовали въ этой перемѣнѣ, но рѣзче и глубже распались съ искусственно-образованною средою, нежели прежде. Новые языки, вошедшіе около того же времени въ употребленіе, не сблизили ихъ; на *вульгарныхъ* нарѣчіяхъ писались и говорились латинскія и греческія мысли, такъ, какъ въ среднихъ вѣкахъ по-латинѣ говорились конечно вовсе не римскія вещи. Массы отъ этого переворота пали въ грубѣйшее невѣжество; прежде, для нихъ были трубадуры, легенды; проповѣдники говорили для нихъ, монахи посѣщали ихъ, была между высшимъ образованіемъ и ими связь: теперь все талантливое, образованное захватило элементы, чуждые народу, ничего не говорящіе его сердцу; и замѣьте при этомъ, что новая цивилизація не успѣла такъ переработаться въ сущность принявшихъ ее, чтобъ позволить имъ свободно, т. е. по своему выражаться. Поэты, воспѣвая греческихъ боговъ и римскихъ героевъ, цѣликомъ брали свои восторги у Виргилія; прозаики писали и говорили цинцероновски,—печальная и безучастная толпа не слушала ихъ: она лишилась своихъ пѣвцовъ съ сказками и

сагами, потрясавшими такъ сильно сердца ея знакомыми звуками и родными образами. Это распадѣніе съ массами, выращенное не на феодальныхъ предразсудкахъ, а вышедшее полусознательно изъ самой образованности, усложнило, запутало развитіе истинной гражданственности въ Европѣ. Аристократія образованности, знанія несравненно оскорбительнѣе аристократіи крови: она не основана на непосредственности, на темной вѣрѣ, а на сознательномъ превосходствѣ, на гордомъ пренебреженіи массъ; искусственная образованность, которая шла на замѣну феодальному готизму, была надменна и смотрѣла свысока; вы можете найти эту надменность во всѣхъ ея представителяхъ, въ Вольтерѣ и Боленброкѣ, точно такъ, какъ въ доктринерахъ революціи 30 года, и въ берлинскихъ катедральныхъ философахъ. Но геній Европы не потерялся отъ этого раздвоенія, не сталъ ходить съ понурою головою, оплакивая бывшее и приходя въ отчаяніе, что не умѣетъ переварить въ себѣ совершившагося событія. Мало ли временнаго зла проходить рядомъ съ вѣчнымъ благомъ, даже въ частной жизни одного семейства, не только въ сложной многоначальной жизни цѣлаго народа; зло—несчастное, но иногда необходимое условіе добра—проходить; добро остается; сильная натура перерабатываетъ въ себѣ зло, борется съ нимъ, побѣждаетъ; сильная натура умѣетъ выпутаться изъ затруднительныхъ обстоятельствъ, умѣетъ похоронить милое себѣ и, оставаясь вѣрною ему, идти на новое дѣйствованіе и на новые труды; а слабыя натуры теряются въ своемъ плачѣ объ утратѣ, хотятъ невозможнаго, хотятъ прошедшаго, не умѣютъ найдтись въ дѣйствительности и, какъ этрурійскіе жрецы, поютъ однѣ похоронныя пѣсни, не имѣя смѣсла разглядѣть новой жизни и брачныхъ гимновъ ея.

Если классическое образованіе миновало массы и отрѣзало отъ нихъ высшія сословія, то, напротивъ, реформація съ своими расколами не миновала ихъ. Мистицизмъ и ученія, возбужденныя протестантизмомъ, его таинственная простота, явившаяся замѣнить величественный ритуалъ католицизма, его догматическіе вопросы дотронулись до совѣсти cadaго человѣка. Даже британская натура забыла свое практическое настроеніе и бросилась въ лабиринтъ теологическихъ тонкостей; про Германію и говорить нечего. Слѣдствія этихъ споровъ, распрей, были сообразны духу народному: для Англіи — Кромвель, Пенсильванія; для Германіи — Яковъ Бемъ; скажемъ о немъ нѣсколько словъ.

Самопознаніе раскрывается не въ одной наукѣ; логическая форма — послѣдняя, завершающая, далѣе которой собственно вѣдѣніе не идетъ. Наука не только не исключительный органъ самопознанія, но она весьма долго неудобный, неготовый органъ для него; конечно, наука въ абсолютномъ смыслѣ, вѣчная органика истины; но пора согласиться, что въ дѣйствительности, т. е. во времени, въ исторіи все обусловлено, и что только объ исторической наукѣ и можетъ идти рѣчь, когда говорится о дѣйствительномъ развитіи. Въ логикѣ все совершенно *sub specie æternitatis*; потому-то временное и не нашло еще въ ней своего тождества съ вѣчнымъ. Пока разумъ и истина раздвоены, пока форма и содержаніе противопоставлены другъ другу, до тѣхъ поръ наука не въ состояніи вывести полную истину самопознанія или полное самопознаніе истины — что все равно. Человѣкъ сознаетъ себя, пока разрабатывается высшая форма болѣе и болѣе въ другихъ сферахъ дѣятельности, путями опытности, событій и своего взаимодѣйствія съ внѣшнимъ міромъ, путями восторженнаго поэти-

ческаго предвѣдѣнія. Сначала, самопознаніе человѣка — *его инстинктъ*, несознательная разумность животнаго, темныя, непреодолимыя влеченія, удовлетвореніе которыхъ, успокоивая животную сторону, возбуждаетъ сторону человѣческую; возникающій разумъ развертываетъ свое содержаніе въ два направленія; въ практической области онъ является какъ слагающееся общинное житіе, какъ житейская мудрость поведенія, дѣйствованія, какъ многосторонняя связь трудовъ, работъ съ окружающею средою, какъ развитіе нравственной воли; мысль, вырабатывающаяся въ этихъ сферахъ, имѣетъ всю полноту и жизненность конкретнаго и всю неуловимость его въ отвлеченную форму; все практическое является частнымъ, условнымъ, единовременнымъ удовлетвореніемъ физической или нравственной потребности; высокій смыслъ ея творческой совокупности теряется отъ стука молотовъ, отъ пыли, отъ раздробленности; между тѣмъ, какъ только челоуѣкъ отеръ потъ послѣ тяжкаго труда устройства, у него явилось уже требованіе на иное удовлетвореніе, его ужъ что-то беспокоитъ, и дѣтскій разумъ его, нераздѣльный съ чувствами, непонимающій всѣхъ средствъ своихъ, начинаетъ облекать природу и мысли въ пеструю, яркую одежду дѣтскаго воображенія. Необузданныя сначала фантазіи, уравнившиаясь, принимаютъ стройный и изящный видъ художественнаго произведенія; въ художественномъ произведеніи дѣйствительно сочеталось содержаніе съ содержимымъ; въ немъ мысль непосредственна и непосредственность одухотворена; въ статуѣ челоуѣкъ видитъ внѣ себя примиреніе, которое онъ ищетъ, поклоняется ему и называетъ его Аполлономъ или Палладой; но это ненадолго; безпокойная мысль разѣдаетъ художественное произведеніе, подчиняетъ



себѣ форму, низводитъ ее на степень символики, а сама восходитъ на высоту вдохновеннаго, таинственнаго созерцанія; самопознаніе находитъ въ этой символикѣ образъ; глаголь, облегчающій ему уразумѣніе невыразимой, но носящейся въ сознаніи истины; здѣсь образъ не есть уже живое и единственное тѣло идеи, какъ въ художественномъ произведеніи; символическій образъ готовъ, передавъ вамъ смыслъ свой, послуживъ сосудомъ истины, исчезнуть, распуститься въ свѣтѣ самосознающей мысли; этотъ мерцающій полупрозрачный образъ отражаетъ человѣку его черты, но черты преображенныя, просвѣтленныя; человѣкъ узнаетъ себя въ нихъ, и боится узнать себя. Символика — языкъ, вдохновенный іероглифъ мистическаго самопознанія. Языкъ Пифагора и Прокла, языкъ Якова Бема, принимаемые ими образы всегда могутъ быть понимаемы разно: они, какъ зеркало, разуму отражаютъ разумъ, а чувственности — чувственность; легкіе и одухотворенные іероглифы въ грубыхъ рукахъ чувственныхъ мистиковъ, возвращающихся къ матеріализму изувѣрствомъ — дѣлаются дивящими призраками; духъ, ихъ одушевлявшій, религіозная мысль ихъ отлетаетъ, кружевное покрывало, едва колебавшееся между человѣкомъ и истиной — превращается въ сырой, могильный саванъ, и яркая мысль, свѣтившаяся въ очахъ вдохновеннаго созерцанія, замѣняется мрачно безумнымъ взглядомъ мага и каббалиста. Я считалъ необходимымъ напомнить вамъ все это, приближаясь къ странному лицу Якова Бема. Его вдохновенное, мистическое созерцаніе, истекавшее изъ святаго источника, привело его къ возрѣнію такой необъятной ширины, о которой наука его времени не смѣла мечтать, — къ такимъ истинамъ, которыя человечество узнало вчера, а Бемъ жилъ слишкомъ двѣ-

сти лѣтъ тому назадъ. И то же высокое ученіе Бема, облакаясь въ странныя мистическія и алхимическія одежды, дало основу самымъ эксцентрическимъ, самымъ безумнымъ отклоненіямъ отъ простосердечнаго принятія истины: шведенборгіанцы, Экартсгаузенъ, Штилингъ и ихъ послѣдователи, Гоэнло и нынѣшніе германскіе духовидцы, заклинатели, прокаженные, испорченные, всѣ эти кликуши разныхъ нечитаемыхъ журналовъ и разныхъ сумасшедшихъ домовъ большую долю своего мракобѣсія почерпнули изъ Якова Бема.

Полнаго очерка бемова ученіе я не имѣю возможности передать вамъ; мы ограничимся нѣсколькими чертами; впрочемъ, *ex pugue leonem!*

Языкъ Бема темень, безграмотенъ; но его рѣзкая и оригинальная рѣчь — полна сильной, огненной поэзіи. Вотъ основныя мысли его философіи природы: „Все возникаетъ отъ *да* и *нѣтъ*. *Да*, взятое помимо отрицанія, помимо *нѣтъ*, — вѣчный покой, все и ничего, вѣчное молчаніе, свобода отъ всякаго мученія, и слѣдственно отъ всякой радости, безразличіе, невозмущаемая тишина. Но *да* и не можетъ существовать безъ *нѣтъ*; оно необходимо присуще его выходу изъ безразличія. *Нѣтъ*, само по себѣ ничего, а ничего — стремленіе къ чему нибудь (*eine Sucht nach Etwas*). *Да* и *нѣтъ* — не разное, но различенное; безъ различенія не было бы ни образа, ни сознанія, жизнь была бы вѣчнымъ безстрастнымъ, равнодушнымъ истеченіемъ; желаніе предполагаетъ, что чего либо *нѣтъ*, къ чему мы стремимся. *Нѣтъ* останавливаетъ безконечную лучезарность положительнаго и на точкѣ ихъ встрѣчи закипаетъ жизнь; это перегибъ, удерживающій безконечное развитіе для конечной опредѣленности. Единство, выступая въ многообразіе, непременно расчленяется и, развиваясь въ

этомъ расчлененіи, возвращается сознаніемъ къ новому духовному единству... Свѣта не было бы, еслибъ не было тьмы, или еслибъ онъ и былъ, то безпрепятственно разсѣваясь, что освѣщаль бы онъ? Но свѣтъ самъ собою ставитъ тьму, тоска безразличности стремится къ различенію; на этомъ основана вѣчная потребность *быть чѣмъ нибудь* (Etwasseinwollen); въ этой потребности раздвоенія проявляется я (т. е. субъективность) природы... Открывая собою божественную и вѣчную волю, природа — произведеніе тихой вѣчности; она образуетъ, производитъ и расчленяетъ для того, чтобъ радостно сознавать себя... что сознаніе выражаетъ словомъ, то образуетъ природа въ свойства. Первое свойство вѣчной природы (Бемъ отдѣляетъ вѣчныя свойства отъ временнаго проявленія ихъ; первыя онъ называетъ вѣчной природою, вторыя физической природой) — безусловное *желаніе* сдѣлаться чѣмъ нибудь; второе — *противодѣйствіе*, останавливающее желаніе, перегибъ, причина страданій и жизни; третье — *чувствительность*, самосознаніе свойствъ; четвертое — *огонь*, блескъ, до котораго поднялось естественное и мучительное разрушеніе предъидущихъ свойствъ; пятое — *любовь*; шестое — *звукъ*, гласность и пониманіе свойствъ между собою; седьмое — *сущность*, какъ носящая личность, какъ субъектъ шести предъидущихъ свойствъ, какъ ихъ душа... Все въ природѣ открываетъ себя; природа всему даетъ языкъ; самоочертаніе — глаголь, которымъ вещь проявляетъ свое внутреннее. Быть только внутреннимъ невыносимо; внутреннее стремится быть наружнымъ. Вся природа звучитъ о своихъ свойствахъ и показываетъ себя... Въ сосредоточенной жизни природы открывается *сущность* (какъ мысль человѣка), а въ желаніи (человѣка) лежитъ стремленіе одѣйствоваться

(по Бему, обнаружиться природой). Наружная природа образуется изъ шести вѣчныхъ свойствъ ; въ седьмомъ она успокоивается, какъ въ субботѣ своей... Вода, воздухъ ближе къ безразличному единству, какъ все мягкое, лишенное рѣзкости ; напротивъ, твердая тѣла выше своею сложностью расчлененіями, снятыми уже въ нихъ. По видимому міру, по солнцу, звѣздамъ, элементамъ, тварямъ можно опредѣлить ихъ причину ; ибо ни одна вещь не имѣетъ основы индѣ, а основа и причина ея необходимо тамъ, гдѣ она возникла. Истинная причина всему, послѣдняя основа—божественный духъ вездѣ сущій... Онъ не далекъ, онъ близокъ, умѣй только видѣть его," говоритъ восторженный Бемъ : „человѣкъ тупой, скажу я невѣрующему, — если ты думаешь, что нѣтъ въ тѣбѣ самомъ божественнаго, то ты не образъ и не подобіе Божіе ; если ты разрозненъ съ нимъ, то какъ ты сдѣлаешься однимъ изъ сыновъ его?“

Изъ того же начала необходимаго расчлененія стремится Бемъ вывести зло и все дурное. Зло онъ принимаетъ за одно изъ условій феноменальнаго бытія ; начало его общее съ добромъ, качество есть уже зло, какъ ограниченность, какъ эгоистическое отторженіе отъ единства, какъ обособленіе и исключеніе всѣхъ другихъ свойствъ. Латинское слово *qualitas* Бемъ поэтически (хотя нельзя сказать, что тутъ поэзія заодно съ грамматикой) производитъ отъ нѣмецкихъ словъ *Qual* — мученіе и *Quellen* — истекать, качество мучиться (*die Qualität quält sich ab*) ; чтобъ освободиться во всеобщемъ единствѣ, оно чувствуетъ недостатокъ, потому что оно *ничто* физическое, алчное все усвоить себѣ, себялюбивое ; но это отчужденіе побѣждается просвѣтленіемъ, и то, что было страданіемъ во тьмѣ, расцвѣтаетъ наслажденіемъ въ свѣтѣ ; все, что было страхомъ, ужасомъ, трепетомъ,

станетъ врикомъ радости, звономъ и пѣніемъ... Зло—необходимый моментъ въ жизни и необходимо переходимый... безъ зла все было бы такъ же безцвѣтно, какъ безцвѣтенъ былъ бы человѣкъ, лишенный страстей; страсть, становясь самобытною,—зло, но она же источникъ энергіи, огненный двигатель... Доброта, не имѣющая въ себѣ зла, эгоистическаго начала,—пустая сонная доброта. Зло врагъ самого себя, начало безпокойства, непрерывно стремящееся къ успокоенію, т. е. къ снятію самого себя...”

Довольно съ васъ. Если вы желаете подъ этими странными словами понять широкія мысли, отовсюду просвѣчивающія у Бема, вы ихъ увидите даже въ бѣдныхъ выпискахъ, сдѣланныхъ мною. Если же его слова вамъ (какъ прежде васъ многимъ) покажутся бредомъ,—я не берусь васъ разувѣрить...

Основанія реформаціоннаго воззрѣнія столько же способствовали наукообразному развитію мышленія, сколько феодализмъ мѣшалъ ему; пытливое изслѣдованіе получило законное право: вглядываясь пристально въ споры того времени и манеру ихъ, чувствуешь отраду и грусть; вы видите, что мысль побѣждаетъ, что ей даютъ вездѣ мѣсто, что она признана, но съ тѣмъ вмѣстѣ видите, что она суха, холодна, формальна, что она убила бы жизнь, еслибъ жизнь можно было убить. Въ наукѣ, побѣда надъ средневѣковымъ воззрѣніемъ не была такъ торжественна, такъ полна, какъ въ области искусства: Рафаэль, Тиціанъ, Корреджіо сдѣлали невозможнымъ дуализмъ въ эстетикѣ; въ наукѣ, католическій идеализмъ, называвшійся схоластикой, былъ побѣжденъ протестантской схоластикой, называемой идеализмомъ. Какъ художественность составляетъ управляющій характеръ греческой эпохи, такъ точно отвлеченное мышленіе

является главной чертой эпохи реформаціонной, дуализмъ школьный и до чрезвычайности прозаической; съ развитіемъ его жизнь мелѣетъ, становится безцвѣтнѣе\*). Въ лѣтописяхъ этой науки, мы не будемъ болѣе встрѣчать ни величественно пластическія личности гражданъ-мудрецовъ древняго міра, ни строгія, мрачныя лица средневѣковыхъ докторовъ, ни энергическія, огненные черты людей переворота въ XVI столѣтіи. Философы, какъ люди, стираются болѣе и болѣе; ихъ отвлеченныя занятія, ихъ ученые интересы дѣлаютъ ихъ чуждыми жизни; послѣ Бруно философія имѣетъ одну великую біографію del gran Ebreo науки (Спинозы)\*\*). Гегель довольно странно объясняетъ это; онъ говоритъ, что въ новое время гражданское достигло того разумнаго совершенства, при которомъ индивидуальностямъ нѣчего болѣе заботиться о внѣшнемъ, и каждому указано свое мѣсто. Внутреннее и внѣшнее, думаетъ онъ, стоятъ самобытно и такъ, что внѣшній порядокъ идетъ самъ собою и человѣкъ можетъ не думая о немъ учредить свой внутренній міръ самъ собой. Я думаю, несомнѣнно легко доказать это германской исторіей отъ вестфальскаго мира до нашего вѣка; но какъ бы то ни было, Гегель высказалъ совершенно нѣмецкую мысль—*non vitia hominis* \*\*\*)!..

\*) Странное дѣло: въ протестантизмѣ, какъ и въ дѣлѣ науки, романскіе народы являются только на заглавномъ листѣ съ своимъ Брешианскимъ Арнольдомъ и Жироламомъ Саванаролой, съ своими гугенотами... потомъ они предоставляютъ міру германическому собрать первые плоды, какъ будто выжидая чего либо.

\*\*) Развѣ прибавить Лейбница и Фихта?

\*\*\*) *Gesch. der Phil. Th. III, p. 276 и 277.* Всего лучше доказываетъ эту мысль длинная біографія Гегеля, написанная Розенкранцомъ и вышедшая съ годъ тому назадъ; въ ней есть высокаго интереса отрывки изъ гегелевыхъ бумагъ и почти безъ всякаго интереса жизнеописа-

## ПИСЬМО ШЕСТОЕ

### Декартъ и Вѣконъ

Hier können wir sagen sind wir zu Hause, und können wie die Schiffer nach langer Umherfahrt auf der ungestümen See „Land!“ rufen\*). Такъ привѣтствуетъ Гегель Декарта. „Съ Декарта,“ продолжаетъ онъ, „начинается *настоящее отвлеченное мышленіе*; вотъ начала, изъ которыхъ разовьется *чистое умозрѣніе* — новая наука — наша наука.“

И мы скажемъ: берегъ — но въ противоположномъ смыслѣ; для Гегеля это берегъ, къ которому приплываетъ мысль, какъ къ спокойной гавани своей, къ гавани, съ которой начинается ея царство. Мы, напротивъ, видимъ въ *новой философіи* берегъ, на которомъ мы стоимъ, готовые покинуть его при первомъ попутномъ вѣтрѣ, готовые сказать спасибо за гостепріимство и, оттолкнувъ его, плыть къ инымъ пристанямъ. Судьба *новой философіи* совершенно сходна съ судьбою всего реформаціоннаго: ничего стараго не оставлено въ покоѣ, ничего новаго съ основанія не воздвигнуто; на сооруженіе новыхъ зданій шелъ старый кирпичъ, и они вышли не новыя и не старыя; все реформаціонное сдѣлало огромные шаги впередъ; все было необходимо и все остановилось на полдорогѣ. Странно было бы, если

ніе. Нѣмецкая жизнь безъ событій, съ переменною каеєдръ, mit Spaagbüchsen für die Kinder, Geburts-Feiertagen, etc.

\*) Теперь мы можемъ сказать, что мы дома; подобно мореплавателямъ, долго носившимся по бурному морю, мы можемъ воскликнуть „земля!“ (Gesch. der Phil. Т. III. стр. 328, и еще тамъ же, стр. 275).

бы наука этой эпохи начинаній совершила одна свое дѣло. Наука не имѣетъ силы отрѣшаться отъ прочихъ элементовъ исторической эпохи; напротивъ, она есть сознательная, развитая мысль своего времени; она дѣлитъ судьбы всего окружающаго. Она, съ своей стороны, громко протестуя противъ схоластики, всосала въ свои жилы схоластику. Чистое мышленіе — схоластика новой науки, такъ, какъ чистый протестантизмъ есть возрожденный католицизмъ. Феодализмъ пережилъ реформацію; онъ проникъ во всѣ явленія новой жизни европейской; духъ его внѣдрился въ ополчавшихся противъ него; правда, онъ измѣнился, еще болѣе правда, что рядомъ съ нимъ возрастаетъ нѣчто дѣйствительно новое и мощное; но это новое, въ ожиданіи совершеннолѣтія, находится подъ опекой феодализма, живаго, не смотря ни на реформацію Лютера, ни на реформацію послѣднихъ годовъ прошлаго вѣка. Да и какъ ему быть не живымъ? Съ чѣмъ онъ боролся до сихъ поръ? Вспомните,—съ незрѣлыми начинаніями, съ неразвитыми всеобщностями, съ частными нападками, съ поправками, дѣлаемыми внутри его собственныхъ предѣловъ. Феодализмъ грубый, прямой, замѣнился феодализмомъ раціональнымъ, смягченнымъ; феодализмъ, вѣровавшій въ себя — феодализмомъ, защищающимъ себя, феодализмъ крови — феодализмомъ денегъ. Схоластика занимаетъ мѣсто феодализма науки: могла ли она послѣ этого быть вполне наукой, берегомъ? можно ли ждать, что человѣкъ въ ней будетъ дома? — Нѣтъ!

Дуализмъ схоластическій не погибъ, а только оставилъ обветшалый мистико-кабалистическій нарядъ и явился чистымъ мышленіемъ, идеализмомъ, логическими абстракціями: тутъ великій прогрессъ, этимъ путемъ,



т. е. возводя дуализмъ во всеобщую сферу мысли, философія поставила его на лезвіе ножа, привела прямо къ выходу изъ него. Новая наука начинается съ той задачи, на которой остановилась древняя наука, съ той точки, такъ сказать, на которую древній міръ возвелъ мышленіе. Она подняла задачу древняго міра, но не рѣшила ея; она привела только къ рѣшенію ея — и остановилась, чувствуя, можетъ быть, что рѣшеніе это будетъ съ тѣмъ вмѣстѣ ея смертный приговоръ, т. е., что она изъ существующихъ дѣятельныхъ властей перейдетъ въ исторію. Гегель поступилъ, можетъ быть, откровеннѣе, нежели хотѣлъ; можетъ быть, радостныя слова „берегъ,“ „дома“ у него вырвались невольно; этимъ восклицаніемъ онъ неразрывно сочеталъ свою судьбу съ реформаціонной наукой. Впрочемъ, стоять на одномъ берегу съ Спинозой не стыдно!

Все сказанное нами никакъ не должно закрыть всю величину переворота въ мышленіи и весь прогрессъ, пріобрѣтенный наукой чрезъ него. Со времени Декарта, наука не теряетъ своей почвы; она твердо стоитъ на самопознающемъ мышленіи, на самозаконности разума.

Философія древняя и новая философія составляютъ два великія основанія будущей науки; обѣ онѣ неполны, обѣ носили въ себѣ элементы не научные, обѣ были великими пріуготовительными моментами, безъ которыхъ, дѣйствительно полная наука не могла бы развиться,—обѣ прошли. Вы помните, древняя философія всегда имѣла въ себѣ одинъ элементъ непосредственности, фактъ, событіе, упавшее, какъ аэролитъ, и принимаемое за истину по чувству, по довѣрію къ жизни, къ міру. Такъ она принимала самое единство бытія и мышленія; она была права въ сущности дѣла, но не права въ образѣ принятія: это было вѣрованіе, ин-

стинктъ, тактъ истины—если хотите, но не сознательная мысль. Такой непосредственный элементъ прямо противоположенъ понятію науки. Средневѣковое воззрѣніе было противодѣйствіемъ противъ непосредственности; но это его не спасло отъ того же недостатка: оно отрѣзало послѣднюю нить пуповины, прикрѣпившей человѣка къ природѣ, и человѣкъ, совершенно обращенный внутрь міра рефлексіи, въ немъ одномъ искалъ рѣшенія вопросовъ; но этотъ міръ духовный былъ чисто личный, онъ не имѣлъ предмета. „Дѣйствительность существа,“ превосходно замѣтилъ Джордано Бруно, „обусловлена дѣйствительнымъ предметомъ.“ Предметъ средневѣковаго человѣка былъ онъ самъ, какъ отвлеченная сущность; отрицать непосредственность такъ же мало наукообразно, какъ принимать ее безъ мысли. Умъ, сосредоточенный въ себѣ, занимаясь только собою, „впалъ въ сухую, жалкую схоластику и плелъ изъ себя паутину очень тонкую и узорчатую, но совершенно ненужную,“ какъ говоритъ Бэконъ. Довѣріе человѣка къ уму привело схоластику къ признанію дѣйствительнымъ всякой логически построенной нелѣпости, и такъ какъ у нихъ содержанія не было, то они его брали изъ фантазіи, изъ психологической непосредственности, опираясь на него точно такъ, какъ импиріе опирается на опытъ. Итакъ, съ одной стороны, тяжелый камень, съ другой — ужасная пустота населенная призраками. Люди переворота увидѣли невозможность дойти до чего либо схоластикой, и возненавидѣли ее; но отрицаніе схоластики не есть еще чиноположеніе новой науки; поэтическое привидѣніе Джордано Бруно—такъ же мало наука, какъ дерзкія отрицанія Ванини. Первая необходимая задача, юпрось, отъ котораго мыслящей головѣ нельзя было отвернуть-

ся, состоялъ въ разрѣшеніи мышленіемъ отношенія самого мышленія къ бытію, къ предмету, къ истинѣ вообще. И дѣйствительно, съ этимъ вопросомъ на устахъ является новая наука въ міръ. Отецъ ея, безъ сомнѣнія, Декартъ. Значеніе Бэкона совсѣмъ иное: о немъ послѣ.

Декартъ долго занимался науками такъ, какъ онѣ преподавались въ его время; потомъ бросилъ книги: онѣ ему не разрѣшили ни одного сомнѣнія, не удовлетворили его ни въ чемъ. Онъ такъ же ясно, какъ Бэконъ, увидѣлъ, что старый корабль средневѣковой жизни тонетъ и разрушается, не спорилъ съ его лоцманами, какъ дѣлали его предшественники, а бросался въ море, чтобъ достигнуть новаго берега. И такъ же, какъ Бэконъ, онъ рѣшился *начать съ начала*, начать совершенно свободно въ средѣ мышленія. Много надобно было твердости, чтобъ дерзнуть и на этотъ разрывъ съ былымъ, и на это воздвиженіе новаго: Декартъ, мучимый неувѣренностью, а, можетъ быть, и совѣстью, съ посохомъ паломника въ рукѣ, ходилъ къ лореттской Божіей Матери просить ея помощи въ начатомъ трудѣ, и тамъ, распростертый передъ нею, молился примирить его сомнѣнія. Приступъ Декарта къ дѣлу—величайшая заслуга его; дѣйствительное и вѣчное начало наукообразнаго развитія онъ начинаетъ съ безусловнаго сомнѣнія—вовсе не для того, чтобъ все истинное отвергнуть, а для того, чтобъ все истинное оправдать, но оправдать, освободивъ себя. Когда онъ поднялся въ страшно изрѣженную среду, въ которую не впустилъ ничего впередъ идущаго, когда въ этомъ мракѣ, въ которомъ все исчезло, кромѣ его самого, онъ сосредоточился въ глубинѣ духа своего, сошелъ внутрь своего мышленія, повѣрялъ свое сознаніе,—у него вырвалось

изъ груди знаменитое подтвержденіе своего бытія: *cogito, ergo sum* (я мыслю, слѣдовательно существую). Отсюда неминуемо должно развиваться единство бытія и мышленія; мышленіе дѣлается аподиктическимъ доказательствомъ бытія; сознаніе сознаетъ себя неразрывнымъ съ бытіемъ, — оно невозможно безъ бытія. Вотъ программа всей будущей науки; вотъ первое слово воззрѣнія, котораго послѣднее слово скажетъ Спиноза; вотъ тема, которую наукообразно разовьетъ Гегель. *Nosce te ipsum* и *Cogito, ergo sum* — два знаменитые лозунга двухъ наукъ, древней и новой. Новая исполнила совѣтъ древней, и *Cogito, ergo sum* отвѣтъ на *Nosce te ipsum*. Мышленіе — дѣйствительное опредѣленіе моего я. Но всѣ силы Декарта были потрачены на этотъ силлогизмъ, кажется, такъ простой, и который даже совсѣмъ не силлогизмъ. Устрашенный величіемъ своего начала, глубиной своего разрыва съ былымъ и настоящимъ, онъ качается, хватается за ключья стараго; прошедшее проникаетъ въ его душу; въ немъ схоластика, уже ослабѣвающая, падающая, снова воскресаетъ сильною и преображенною. Онъ подобенъ квакерамъ, пріѣхавшимъ въ Пенсильванію и перевезшимъ въ груди своей чрезъ океанъ старый бытъ, который и развился въ новомъ государствѣ. Признавъ сущностью своей одно мышленіе, неразрывно связанное имъ съ бытіемъ, Декартъ растолкнулъ мышленіе и бытіе, онъ принялъ ихъ за двѣ разныя сущности (мышленіе и протяженіе). Вотъ и дуализмъ, вотъ и схоластика, возведенная въ логическую форму. Чувствуя неловкость, онъ бросается въ формальную логику. Для него доказательство раціональное (въ мышленіи) — полное право на дѣйствительность, на истину; а истина должна доказываться не однимъ мышленіемъ, а мышленіемъ и бытіемъ. Эрд-

манъ\*), добросовѣстный нѣмецкій ученый, совершенно справедливо замѣтилъ, что Декартъ не могъ миновать такого развитія, иначе онъ не жилъ бы въ то время, въ которое жилъ. Его дѣло было — поднять знамя протестантизма въ наукѣ, провозгласить новый путь, провозгласить мышленіе исчерпывающимъ опредѣленіемъ человѣка. Подвигъ, достаточный для одной личности! Отъ проницательности Декарта не ускользнуло, что мышленіе и бытіе совершенно распадаются у него, что нѣтъ моста отъ одного къ другому, что это равнодушныя, самодовлѣющія два; онъ понялъ и то, что доколѣ они останутся сущностями — помочь нѣчѣмъ, ибо сущность потому и сущность, что она сама себѣ довлѣетъ. Декартъ принимаетъ (но не выводитъ) высшее единство, связующее противопоставленные моменты; мышленіе и протяженіе въ отношеніи къ верховному существу представляютъ атрибуты его, его разныя проявленія. Какъ дошелъ онъ до этого единства? *Врожденными идеями*. Стало быть, его протестація противъ всякаго содержанія была неглубока! Психическая, неподлежащая логикѣ непосредственность проторгается, съ принятіемъ врожденныхъ идей, въ его науку. Декартъ, такимъ образомъ, сдѣлался въ одно и то же время величайшимъ и послѣднимъ оплотомъ схоластики; въ немъ схоластика преобразилась въ идеализмъ, въ трансцендентный дуализмъ, отъ котораго гораздо труднѣе было отдѣлаться, нежели отъ католической схоластики. Мы увидимъ живучесть схоластическаго элемента во всю эпоху новой философіи до сегодняшняго дня. Наука протестантизма могла только быть такая;

\*) ERDMANN. Versuch einer Geschichte der neuern Philosophie. 1840-42. 1 Th. Descartes.

если были иные требованія, иные симпатіи, болѣе дѣйствительныя — они не были наукообразны; она, начиная отъ Декарта, выработала методу, проложила дорогу, по которой изъ нея выйдутъ, дорогу, по которой она сама потому не проѣхала, что ей нѣчего было везти.

Декартъ, умъ чисто математическій и отвлеченный, исключительно механически разсматривалъ природу; что-то суровое и аскетическое мѣшало ему понимать все живое. Строгая, геометрическая діалектика его безпощадна; онъ былъ идеалистъ по внутреннему строенію души. Бытіе, матерію онъ понималъ какъ *протяженіе*. „Отъ всѣхъ другихъ свойствъ,“ говоритъ онъ: „матерію можно отвлечь, но не отъ протяженія: оно одно ей существенно.“ Качество уступило мѣсто болѣе внѣшнему опредѣленію предмета — количеству; для математики растворялись всѣ двери въ остествовѣдѣніе, все подчинялось механическимъ законамъ, и вселенная сдѣлалась снарядомъ движущагося протяженія\*). Надобно замѣтить, впрочемъ, что, въ началѣ XVII вѣка, интересъ естествовѣдательнаго мышленія былъ вообще поглощенъ астрономіей и механикой; величайшія открытія совершались тогда въ обѣихъ отрасляхъ; это немеханическое возрѣніе, начинающееся съ Галилея и достигнувшее полноты своей въ Ньютонѣ, почти ничего не принесло конкретнымъ отраслямъ естествовѣдѣнія; вліяніе его было благотворно (разумѣется, сверхъ астрономіи и механики) — только въ физикѣ. Декартовы понятія о природѣ, которыя, по закону возмездія, до того были идеалистически спиритуальны, что перегибались въ грубѣйшій механизмъ и матеріализмъ (что тогда же замѣтили особенно англійскіе и итальянскіе физики),

\*) Объ этомъ болѣе въ слѣдующемъ письмѣ.

почти не имѣли никакого вліянія на естественныя науки.

„Внимательно разсматривая“ говоритъ Декартъ: „мы увидимъ, что сущность вещества и тѣла состоитъ только въ томъ, что они имѣютъ протяженіе въ длину, ширину и глубину. Можетъ быть, тѣла не таковы, какъ намъ кажутся, можетъ, они обманываютъ наши чувства; но въ нихъ несомнѣнно истинно то, что я ясно, отчетливо понимаю и могу вывести умомъ; потому-то я признаюсь, что другой сущности тѣлесныхъ вещей, кромѣ геометрической величины, всячески дѣлимой, подвижной и способной имѣть форму, я не принимаю, и ничего не разсматриваю въ матеріи, кромѣ дѣлимости, очертанія и движенія. Изъ математическихъ законовъ, опредѣляющихъ неотъемлемыя свойства бытія, все физическое объясняется и выводится съ величайшей строгостію; не думаю, чтобъ физикѣ нужны были иныя основанія“. Въ матеріи, лишенной качествъ своихъ, понимаемой такимъ образомъ, нѣтъ внутренней силы; матерія Декарта — виртуальная пустота, нѣчто мертво-косное, — ему всегда надобно будетъ прибѣгать къ внѣшней силѣ. „Матерія во всей вселенной одна; всѣ переменныя формы имѣютъ свое основаніе въ движеніи. Движеніе есть дѣятельность, вслѣдствіе которой вещество изъ одного мѣста переходитъ въ другое: — перемѣщеніе частей тѣла относительно близъ лежащихъ. Движеніе и покой представляютъ разныя состоянія вещества: для движенія не болѣе силы надобно, какъ и для покоя. Надобно равно усиліе, чтобъ двинуть тѣло и чтобъ остановить его. Надобно усиліе для того, чтобъ остаться въ покой. Отдаленіе тѣла есть обоюдное дѣйствіе; оба тѣла дѣятельны — одно оставаясь на своемъ мѣстѣ, другое отдаляясь (сила инерціи). Движеніе зависитъ отъ двигаемаго, а не отъ движущаго; нельзя сообщить движе-

ніе одному тѣлу, не разрушивъ равновѣсія другихъ тѣлъ; отсюда цѣлая система движенія и сложность ихъ. Причина движенія — Богъ. За симъ идутъ общія механическія основанія динамики. Все сущее состоитъ изъ маленькихъ тѣлъ (*corpuscula*) и ихъ измѣненій въ величинѣ, мѣстѣ, сочетаніяхъ и переложеніяхъ. Жизнь органическая — одинъ ростъ, т. е. приращеніе чрезъ полученіе постороннихъ частицъ. Декартъ далъ физикамъ опасный примѣръ прибѣгать къ личнымъ гипотезамъ тамъ, гдѣ не достаетъ пониманья; такъ на примѣръ, движеніе небесныхъ тѣлъ онъ объяснялъ вихремъ, крутящимъ ихъ около солнца; стараясь математически вывести всѣ явленія планетной жизни, онъ дѣлаетъ гипотезы, въ которыхъ самъ не увѣренъ *quavis ipse nunquam sic orta esse*\*); принимая тѣло совершенно постороннимъ духу, Декартъ никогда не могъ возвыситься до понятія жизни; свои фізіологическія изысканія начинаетъ разсматриваніемъ тѣла „какъ будто духа въ немъ нѣтъ.“ Но что же это за живое тѣло? кто ему далъ право такъ разсматривать его? Отсюда совершенно естественно предположеніе его, что тѣло — статуя или машина, сдѣланная изъ земли. „Если часы имѣютъ способность идти, то нѣтъ ничего труднаго понять, что и человѣкъ двигается, будучи такъ устроенъ.“ За симъ анатомическій и фізіологическій разборъ тѣла, натянутый и наводящій какое-то уныніе. Декартъ, должно быть, самъ чувствовалъ, что всего не выведешь механически въ животномъ тѣлѣ, усердно занимался зоотоміей, но, какъ всѣ систематики, былъ глухъ къ голосу истины и гнулъ факты, какъ хотѣлъ;

\*) Впрочемъ, можетъ быть, такія фразы — официальная оговорка въ родѣ тѣхъ, которыя употреблялись Коперникомъ и даже Ньютономъ.



наприм., онъ объясняетъ врикъ собаки, какъ простую реакцію *этой машины* противъ дѣйствія палки. Еслибъ была машина, говоритъ онъ, устроенная внутри и снаружи, какъ обезьяна или другой звѣрь, то не было бы возможности понять различіе между ними. Одинъ чело-вѣкъ не машина, потому что онъ имѣетъ языкъ, разумъ — душу. Разумная душа хотя и тѣсно связана съ тѣломъ, но насильственно, ибо она совершенно ему противоположна. Хотя душа собственно соединена со всѣмъ тѣломъ, однако главное жилище ея въ мозгу, и именно въ *одной железкѣ* (Glandula Conarion), въ серединѣ большого мозга (между прочимъ потому, что остальныхъ частей въ мозгу по парѣ; слѣдовательно, недѣлимая душа въ нихъ не иначе могла бы быть, какъ преимущественно въ одной части предъ другою). Могъ ли бы этотъ пустой вопросъ возникнуть, еслибъ Декартъ сколько нибудь понималъ жизнь организма? Онъ органы животного считаетъ *только* механическимъ рядомъ, приводимымъ въ движеніе непонятной силой. Движеніе невозможно, если вещественность только нѣмое, недѣятельное, страдательное наполненіе пространства; но это совершенно ложно: вещество носить само въ себѣ отвращеніе отъ тупаго, безсмысленнаго, страдательнаго покоя; оно разѣдаетъ себя, такъ сказать *бродитъ*\*), и это броженіе, развиваясь изъ формы въ форму, само отрицаетъ свое протяженіе, стремится освободиться отъ него, — освобождается наконецъ въ сознаніи, сохраняя бытіе. Понятіе вещества не исчер-

\*) Современники Декарта замѣтили мертвенность его вещества. Генрихъ Морусъ писалъ ему письмо, въ которомъ называетъ вещество *темной жизнью*, *materia utique vitam esse quandam obscuram*, nec in sola extensione partium consistere, sed in aliquali semper actione. R. Des. Epist. I. Ep. 4. XX.

пывается протяженіемъ; протяженіе недѣятельное, не движимое взаимодействіемъ своимъ, — такое же отвлеченіе, какъ мышленіе безъ тѣла: это противоположные, крайніе моменты жизни.

Декарту было одно великое призваніе—*начать науку* и дать ей *начало*; онъ только для постановленія начала и могъ на минуту удержать напоръ схоластики и дуализма; какъ только онъ произнесъ свое *Cogito, ergo sum* — плотины были прорваны. Онъ началъ съ протестаціи противъ средневѣковой науки, но она была уже въ его жилахъ, — онъ далъ ей сильнѣйшую опору, онъ оправдалъ ее наукообразно. Но не всѣ требованія ума того времени выразились чисто наукообразно; мы видѣли это очень ясно по Бему. Во Франціи, наримѣръ, гораздо ранѣе Декарта образовалось особое, практически философское воззрѣніе на вещи, не наукообразное, не имѣющее произнесенной теоріи, не покоренное ни одному абстрактному ученію, ни чьему авторитету, — воззрѣніе свободное, основанное на жизни, на самомышленіи и на отчетѣ о прожитыхъ событіяхъ, отчасти на усвоеніи, на долгомъ, живомъ изученіи древнихъ писателей; воззрѣніе это стало просто и прямо смотрѣть на жизнь, изъ нея брало матеріалы и совѣтъ; оно казалось поверхностнымъ, потому что оно ясно, человѣчно и свѣтло. Германскіе историки отзываются о немъ съ пренебреженіемъ, съ *Vornehmthuerei*, можетъ быть, потому, что это воззрѣніе захватило отъ жизни ея неуловимость въ одну формулу; можетъ быть, потому, что оно говорило довольно понятнымъ языкомъ и часто занималось вопросами обыденной жизни. Воззрѣніе Монтеня, между тѣмъ, имѣло огромное вліяніе; впоследствии, оно развилось въ Вольтера и энциклопедистовъ; Монтень былъ въ нѣкоторомъ отношеніи предшествен-

никъ Бэкона,— а Бэконъ — геній этого воззрѣнія. Противоположность Бэкона съ Декартомъ рѣзка; у Декарта была метода, но не было дѣйствительнаго содержанія, кромѣ формальной способности мышленія; у Бэкона было эмпирическое содержаніе *in crudo*, но не было науки, т. е. оно не было вполне усвоено ему, именно потому что не пришло то время, въ которое дѣйствительно содержаніе могло быть такъ понято мышленіемъ, чтобъ развернуться въ наукообразной формѣ. Протестъ Декарта былъ сдѣланъ отъ теоріи, отъ чистаго мышленія; протестъ Бэкона—отъ того непокорнаго элемента жизни, который улыбаясь смотритъ на всѣ односторонности и идетъ своей дорогой. Результатъ средневѣковой жизни—этого міра ненавидящихъ исключительностей и насильственнаго расторженія—долженъ былъ явиться раздвоеннымъ, двуглавымъ. Каждая сторона, выходя изъ односторонняго и прямо противоположнаго опредѣленія идеи, была далека отъ пониманья, что для истины равно нужны оба опредѣленія; каждая шла отъ своихъ началъ: начало Декарта — отвлеченное мышленіе; онъ хочетъ науку а priori начало Бэкона — опытъ; для него истина только та, которая получена а posteriori. Вопросъ о мышленіи и бытіи Декартъ хочетъ рѣшить отвлеченно, трансцендентально, логически; Бэконъ—въ живыхъ областяхъ опыта и наблюденій. У обоихъ мысль совершенно освобождена въ началѣ; но одинъ не можетъ оторваться отъ абстракцій, а другой отъ природы: Декартъ все основываетъ на силлогизмѣ; принявъ за начало не силлогизмъ. Бэконъ не хочетъ силлогизмовъ, онъ хочетъ одного наведенія, какъ будто наведеніе не силлогизмъ. Одинъ все уничтожилъ, кромѣ мышленія, все отвергнулъ и съ одной вѣрою въ мысль шелъ на созданіе науки. Другой отправился отъ чувственной до-

стовѣрности, отъ вѣры въ фактъ, отъ довѣрія къ великому посредству между природой и умозрѣніемъ, то есть къ наблюденію. Одинъ потерялъ и землю и небо при самомъ началѣ; другой обѣими ногами стоялъ на землѣ, уцѣпился за явленіе, и по внѣшности, по жорѣ дошелъ до великихъ и многообъемлющихъ мыслей. Одинъ хочетъ физику подчинить математикѣ; другой математику называетъ служанкой физики. Одинъ видитъ въ матеріи только количественное опредѣленіе и думаетъ, что вещество можно отвлечь отъ качества; другой занимается однимъ качественнымъ опредѣленіемъ предмета, хотъ и зналъ мѣсто количественнаго опредѣленія. Оба, наконецъ, соединенные жгучей ненавистью къ схоластикѣ, не понимаютъ и бранятъ Аристотеля и всѣхъ древнихъ; они обернули умы современниковъ, обращенные назадъ, и указали имъ впередъ; схоластика достигала прошедшаго, Бэконъ заговорилъ о прогрессѣ и будущемъ; оба имѣли свои односторонности. Впрочемъ, Бэкона обвинить въ односторонности трудно. Бэконъ хотѣлъ, какъ онъ самъ говоритъ, науки дѣятельной, живой, науки о природѣ и изъ природы. Онъ хотѣлъ такой науки, которая была бы перегнана наблюденіемъ и обдумываніемъ изъ фактовъ во всеобщую мысль. Имѣя это въ предметѣ, онъ на все обращалъ взглядъ прямой и свѣтлый съ цѣлью—узнать, разобратъ, а не для того, чтобъ поймать въ силки систематики и затянуть узелъ. Онъ очень часто начинаетъ съ односторонности и достигаетъ результатовъ самыхъ многостороннихъ. Онъ чрезвычайно добросовѣстенъ, не дѣлаетъ изъ вопроса науки личнаго вопроса; онъ покоряется объективности истины; у него огромная ученость; онъ безпрестанно подъ вліяніемъ своей памяти; все предшествующее историческое развитіе ему присуще.

Ненавидя греческую науку и Аристотеля, онъ мастерски ссылается на нихъ и пользуется ими. Вовсе не поэтъ, онъ превосходно толкуетъ греческіе миѳы. Нельзя себѣ представить странное ощущеніе, когда, перечитывая или перелистывая средневѣковыхъ схоластиковъ, потомъ философовъ теоретической эманципаціи, вдругъ доходишь до Бэкона. Помните ли вы, наримѣръ, какъ въ эпоху мечтательной юности, когда теорія смѣняется теоріей, когда вѣра въ себя и друзей безгранична, когда въ мечтахъ перестраивается наука и міръ и когда восторженные рѣчи поддерживаютъ поэтическое опьяненіе,—вдругъ является откуда нибудь человѣкъ практическій, дѣйствительно знающій жизнь, знающій, что на отвлеченіяхъ далеко не уѣдешь, что перевороты въ наукѣ и въ исторіи дѣлаются не такъ-то легко? Помните ли вы, какъ сильно дѣйствовало появленіе такого человѣка, какъ сначала вы отталкивали скептическую и холодную мысль его, уstraшенные ею, а потомъ начинали краснѣть своихъ мечтаній, подчинялись пришельцу, ловили его слова, выдавали ему заповѣднѣйшія упованія за наторѣлый, изъ жизни выстроенный взглядъ его, который вамъ казался непогрѣшающимъ. Этотъ практическій пришлецъ—Бэконъ, и вѣроятно, случилось съ вами и то, что когда мало по малу вы найдете въ новомъ воззрѣніи, рассмотрите ближе, то вспомните и о своихъ мечтахъ; онѣ, конечно, мечты, но въ нѣкоторыхъ изъ нихъ была такая ширина, которую жаль отдать за практическую мудрость; все это повторяется, переходя отъ энергическихъ реформаторовъ къ спокойному Бэкону. Это не тревожная, не огненная натура Джордано, не бѣснующійся Карданъ, не эти скитальцы, томимые мыслию, бездомные бродяги, разносившіе съ собою по всѣмъ большимъ дорогамъ Европы восходящее

сознаніе и умственную дѣятельность, не эти гонимые труженики, падавшіе часто на полпути отъ внутренняго разлада и внѣшнихъ страданій — нѣтъ, это пишетъ человекъ спокойный, человекъ огромнаго ума и огромнаго опыта, канцлеръ, привыкнувшій къ государственнымъ дѣламъ, пэръ, не имѣющій занятія, потому что вычеркнутъ изъ списка пэровъ... Въ душѣ этого человека, послѣ разрушительнаго огня самолюбія, честолюбія, власти, почести, богатства, неудачъ, тюрьмы, униженій — все выгорѣло; но геніальный умъ остался, да осталось еще воображеніе на столько охлажденное, подвластное разуму, что оно смѣло призывалось имъ бросать пышные цвѣты поэтической рѣчи по царственному пути его ясной, широкой мысли. Въ сочиненіяхъ Бэкона, съ самаго начала поражаетъ необычайная смелость, дѣльность, практическая рѣзкость и удивительная многосторонность. Бэконъ изощрилъ свой умъ общественными дѣлами; онъ на людяхъ выучился мыслить. Декартъ прятался отъ людей то въ парижскія предмѣстья, то въ Голландію; ему люди мѣшали заниматься: оттого съ Декарта начинается чистое мышленіе, а съ Бэкона — физическія науки; идеализмъ Декарта остался при дуализмѣ; въ мышленіи Бэкона находилось демоническое начало, съ которымъ схоластика часу ужиться не могла. Бэконъ начинаетъ, такъ же, какъ и Декартъ, съ отрицанія существующей, готовой догматики, но у него это отрицаніе не *логическій маневръ*, а практическая поправка; отрицаніе Бэкона поставило человека, освободивъ его отъ схоластики, передъ природой; ея самозаконность онъ призналъ съ самаго начала; еще болѣе, онъ хотѣлъ ея *очевидной* объективности покорить своевольную мысль, поврежденную схоластическимъ высокоуміемъ (Декартъ, совсѣмъ напро-

тивъ, поставилъ природу *hors la loi* своимъ а priori). Бэконъ скромно указалъ на эмпирію какъ на начальную степень знанія, какъ на средство по явленію, по факту добратся до той всесвязующей сущности, изъ которой Декартъ стремился вывести явленія. Они работали другъ другу въ руки, и если ни они, ни ихъ послѣдователи не встрѣтились, то это не отъ внутренней непримиримости, а оттого, что ни идеализмъ, ни эмпирія не были развиты ни до истинной методы, ни до дѣйствительнаго содержанія. Лейбницъ называетъ картезіанизмъ „сѣнями истины“: мы можемъ по всей справедливости называть бэконовскую эмпирію — ея кладовою.

О богатствѣ и недостаткахъ этой кладовой мы поговоримъ въ слѣдующемъ письмѣ.\*)

Село Соколово. — Іюнь 1845 г.

## ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

### Бэконъ и его школа въ Англіи

Основная мысль Бэкона до того проста для насъ, что съ перваго взгляда мудрено понять всю ея важность. Мы не разъ имѣли случай замѣчать, что чѣмъ глубже проникаетъ наука въ дѣйствительность, тѣмъ простѣйшія истины открываются ею, — тутъ открываются ей такія истины, которыя *сами собою развиваются*; ихъ простота, какъ простота естественныхъ произведеній, понятна или безъискусственному, *прямому*

\*) Бэкона необходимо читать самому; у него вездѣ неожиданно, незначай встрѣчаете мысли поразительной вѣрности и ширины.

воззрѣнію человѣка, нераспадавшагося съ природой, или много трудившемуся разуму, который, въ награду за свой трудъ, освобождается отъ готовыхъ понятій, отъ предварительныхъ полунистинъ; человѣчество вырабатывается до простыхъ истинъ тысячелѣтіями, усиліями величайшихъ геніевъ; истины замысловатыя были во всякое время. Для того, чтобъ возвратиться къ простотѣ пониманья, надобно совершить весь феноменологическій процессъ и снова стать въ естественное отношеніе къ предмету. Практическая, обыденная истина кажется пошлою; все видимое нами *вблизи и часто* представляется незаслуживающимъ вниманія; намъ надобно далекое; *il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre*. Чѣмъ меньше знаетъ человѣкъ, тѣмъ больше презрѣнія къ обыкновенному, къ окружающему его. Разверните исторію всѣхъ наукъ — онѣ непременно начинаются не наблюденіями, а магіей, уродливыми, искаженными фактами, выраженными іероглифически, и оканчиваются тѣмъ, что обличаютъ сущностью этихъ тайнъ, этихъ мудреныхъ истинъ, истины самыя простыя, до того извѣстныя и обыкновенныя, что объ нихъ вначалѣ никто и думать не хотѣлъ. Въ наше время, еще не совсѣмъ искоренился предрасудокъ, заставляющій ожидать въ истинахъ науки чего-то необыкновеннаго, *недоступнаго толпѣ*, неприлагаемаго къ жалкой юдоли нашей жизни. До Бэкона такъ думали всѣ, и онъ смѣло возсталъ противъ этого. Дуализмъ, истощенный въ предшествовавшую эпоху, перешелъ въ какое-то тихое и безнадежное безуміе въ мірѣ протестантскомъ, — Бэконъ указалъ на пустоту кумировъ и идоловъ, которыми была биткомъ набита наука его времени, и требовалъ, чтобъ люди отреклись отъ нихъ, чтобъ они возвратились къ дѣтски простому отношенію, къ природѣ. Не



легко было возвратиться къ естественному пониманію умамъ, искаженнымъ схоластикой. Сжатый, подавленный умъ средневѣковыхъ мыслителей питалъ подъ скромной власяницей своей формалистики безумно гордое притязаніе на власть; не истинное, не святое право разума и нераздѣльная съ нимъ мощь мысли нравились имъ,— нѣтъ, они стремились къ покоренію естественныхъ явленій своевольному капризу, къ произвольному ниспроверженію законовъ природы. Люди отвлеченные, книжные, затворники, они не знали ни природы, ни жизни, и между тѣмъ, и природа и жизнь ихъ страшили чѣмъ то невѣдомымъ, полнымъ мощи, увлекающимъ; повидимому, они презирали и ту и другую, но это была одна изъ безчисленныхъ лжей того времени; они понимали, что не легко совладѣть съ природой—и со всѣмъ безграничнымъ властолюбіемъ скованнаго невольника стремились покорить ее своему духу. Благородный интересъ знанія превращался, въ ихъ душѣ, въ нечистое упоеніе своею властью, такъ какъ кроткое чувство любви въ душѣ Клода Фролло превращалось въ ядовитый порокъ. Посмотрите на алхимика передъ его горномъ,—на этого человѣка, окруженнаго магическими знаками и страшными снарядами: отчего эта блѣдность щекъ, этотъ судорожный видъ, это трепетное дыханіе? Оттого, что въ этомъ человѣкѣ не цѣломудренная любовь къ истинѣ, а сладострастное пытаніе, насиліе; оттого, что онъ *опластываетъ* золото, гомункула въ ретортѣ. Объективность предмета ничего не значила для высокомернаго эгоизма среднихъ вѣковъ; въ себѣ, въ сосредоточенной мысли, въ распаленной фантазіи находилъ человѣкъ весь предметъ, а природа, а событія призывались, какъ слуги, *помочь въ случаѣ нужды и выйти вонъ*. Реформація не могла исторгнуть людей изъ этого направленія; она

еще болѣе толкнула умы въ отвлеченныя сферы; она придала католической наукѣ, подчасъ страстной и энергической, какую-то холодную и мертвую обдуманность; протестантизмъ, вмѣсто сердца, развилъ свой томный и слезливый Gemüth. Самый эксцентрическій, самый уродливый мистицизмъ быстро распространялся въ Швеціи, Англіи и Германіи, рядомъ съ совершенно формальнымъ теологическимъ направленіемъ пуританизма, пресвитеріанизма, образцы которыхъ вы имѣете въ „Вудстокѣ“ и въ „Шотландскихъ Пуританахъ.“

Среди всего этого явился человекъ, который сказалъ своимъ современникамъ: „Посмотрите внизъ; посмотрите на эту природу, отъ которой вы силитесь улетѣть куда-то; сойдите съ башни, на которую взобрались и откуда ничего не видать; подойдите поближе къ міру явленій—изучите его: вы вѣдь не убѣжите изъ природы: она со всѣхъ сторонъ, и ваша мнимая власть надъ ней—самообольщеніе; природу можно покорить только съ собственными орудіями, а вы ихъ не знаете; обуздайте же избалованный легкой и безплодной логомахіей умъ вашъ на столько, чтобъ онъ занялся дѣломъ, чтобъ онъ призналъ несомнѣнное событіе васъ окружающей среды. чтобъ онъ склонился предъ повсюднымъ вліяніемъ природы—и начинайте, проникнутые уваженіемъ и любовью, трудъ добросовѣстный.“ Многіе, услышавъ слова эти, отложили бесполезное блужданіе по схоластическимъ топямъ словъ и дѣйствительно принялись за работу самоотверженно; съ легкой руки Бэкона началось движеніе въ физическихъ наукахъ, движеніе, развившееся потомъ до Ньютона, Линнея, Бюффона, Кювье... Другіе съ негодованіемъ слышали странную рѣчь веруламскаго лорда, и злоба ихъ была такъ сильна, что черезъ двѣсти лѣтъ графъ Местръ счелъ еще нужнымъ *уничтожить*

Бэкона и показать, что ненависть къ нему еще жива въ *любящихъ* сердцахъ обскурантовъ. Но въ чемъ же существенная мысль бэконова ученія?

До Бэкона, наука начиналась общими мѣстами; откуда брались эти общія мѣста—никто не зналъ: схоластическая наука думала, что Кай смертенъ, *потому*, что человѣкъ смертенъ. Бэконъ сталъ доказывать *совсѣмъ* напротивъ, что мы вправѣ сказать: человѣкъ смертенъ, потому что Кай смертенъ. Тутъ не перестановка словъ, а нѣчто побольше. Событіе, эмпирическое событіе, получило право первой посылки, логическое *anterioritatis*. Вы видите тутъ главный приѣмъ Бэкона: онъ состоитъ въ томъ, чтобъ идти отъ частнаго, отъ опыта, отъ наблюдаемаго событія къ обобщенію, взаимнымъ сличеніемъ между собою всего полученнаго сознаніемъ. Опытъ у Бэкона не есть страдательное восприниманіе внѣшняго во всей случайности его; напротивъ, онъ сознательное взаимодействіе мысли и внѣшняго, ихъ совокупная дѣятельность, при развитіи которой Бэконъ не дозволяетъ ни мысли забѣгать, дѣлая заключенія, на которыя она не имѣетъ еще права, ни опытамъ оставаться механической грудой свѣдѣній „непережженныхъ мыслию.“ Чѣмъ обширнѣе и богаче сумма наблюденій, тѣмъ незыблемѣе право раскрывать общія нормы наведеніемъ; но, раскрывая ихъ, недоувѣрчивый, осторожный Бэконъ требуетъ снова погруженія въ потокъ явленій, на поискъ или обобщающаго подтвержденія, или ограничивающаго опроверженія.

До Бэкона опытъ былъ случайностью; на немъ основывались даже меньше, чѣмъ на преданіи, не говоря уже объ умозрѣніи. Онъ возвелъ его и въ необходимый, начальный моментъ вѣдѣнія, и въ моментъ, сопутствующій потомъ всему развитію знанія,—въ моментъ,

предлагающій на каждомъ шагѣ повѣрку, останавливающій своей опредѣленной непреложностью, своей конкретной многосторонностью, склонность отвлеченнаго ума подниматься въ изрѣженную среду метафизическихъ всеобщностей. Бэконъ столько же вѣрилъ разуму, сколько природѣ, но онъ болѣе всего вѣрилъ, когда они заодно, потому что провидѣлъ ихъ единство. Онъ требовалъ, чтобъ разумъ выходилъ на дорогу, опираясь на опытъ, рука въ руку съ природой; чтобъ природа вела его, какъ своего питомца, до тѣхъ поръ, пока онъ въ состояніи вести ее къ полному просвѣтленію въ мысли.

Это было ново, чрезвычайно ново и чрезвычайно велико; это было воскресеніе реальной науки, *instauratio magna*. Бэконъ имѣлъ полное право дать это заглавіе своей книгѣ: его книгой началось великое возрожденіе науки. Хотя онъ и говоритъ: „мое твореніе принадлежитъ не столько моему духу, сколько духу времени,“ но честь и хвала тому первому, въ которомъ воплощается духъ времени и которымъ онъ передается; двойная хвала, если онъ сознаетъ себя только органомъ духа времени, а не личностью, стремящейся подавить собою современниковъ! Эта скромность не мѣшала, однакожь, Бэкону чувствовать мощь свою. Когда онъ началъ свой трудъ, наука, по всѣмъ отраслямъ ея, была въ самомъ жалкомъ положеніи; Бэконъ безбоязненно потребовалъ передъ свой судъ всю современную систему свѣдѣній, въ ея готическомъ нарядѣ — и осудилъ ее. Помнится, кто-то сравнилъ его съ полководцемъ, дѣлающимъ смотръ войскамъ; да, именно, это спокойный вождь, осматривающій передъ боемъ полки свои. Всѣ отрасли вѣдѣнія человѣческаго прошли мимо его, и онъ осмотрѣлъ каждую, каждой указалъ ея недостатки, каждой далъ совѣтъ, и все это съ той про-

стотой генія, которому такое самоуправство потому естественно, что онъ довлѣтъ своею мощью исполнить то, что хочетъ. Не думайте, что Бэконъ ограничился однимъ общимъ указаніемъ на опытъ и наведеніе; онъ развертываетъ свою методу до малѣйшихъ подробностей, учитъ примѣрами, толкуетъ, объясняетъ, повторяетъ свои слова, чтобъ только достигнуть ясности, и тутъ на каждомъ шагу вы поражены богатыми средствами этого ума, страшной по тому времени ученостью и совершенной противоположностью средневѣковой манерѣ. Даже въ веселомъ тонѣ его, въ улыбкѣ, которая иногда пробивается сквозь самую серьезную матерію, вы видите что-то наше, безъ ходуль, безъ докторской шапки, безъ натянутой важности схоластиковъ.

Метода Бэкона не болѣе, какъ личное (субъективное) и внѣшнее предмету средство пониманія. Онъ самъ разомъ выразилъ и глубоко практическій характеръ своего воззрѣнія и субъективность своей методы слѣдующими словами: „Достоинство хорошей методы состоитъ въ томъ, что она *уравниваетъ способности*; она вручаетъ всѣмъ средство легкое и вѣрное. Дѣлать кругъ отъ руки трудно, надобно навѣкъ и проч.; циркуль стираетъ различіе способностей и даетъ каждому возможность дѣлать кругъ самый правильный.“ Съ логической точки, это глубоко человѣческое воззрѣніе, конечно, не оправдано, но тѣмъ не менѣе его метода имѣетъ огромный, исторически объективный смыслъ; впрочемъ, и въ ней, какъ вообще въ реализмѣ, философскаго значенія все таки болѣе, чѣмъ высказано словами. Бэконъ приковалъ своей методой науку къ природѣ, такъ что философія и естествознаніе должны или вмѣстѣ стоять, или вмѣстѣ идти;

это было фактическое признаніе единства мысли и бытія. Эмпирія Бэкона проникнута, оживлена мыслию — это всего менѣе оцѣнили въ немъ. Не изъ ограниченности держится онъ одного опыта, а потому что онъ считаетъ его началомъ, первой ступенью, которую миновать нельзя; для него опытъ средство раскрытія „вѣчныхъ и неизмѣнныхъ формъ природы,“ а форму онъ опредѣляетъ всеобщимъ, родомъ, идеей, но не отвлеченной идеей, а какъ *fons emanationis*, какъ *patens patens*, какъ животворящее начало, исполняющееся частными опредѣленіями предмета, какъ источникъ, изъ котораго истекають его различія, его свойства, источникъ, нерасторгаемый съ самою вещью. Субъективный эмпиризмъ у Бэкона больше на словахъ, въ неловкости языка, въ реакціонномъ страхѣ сближенія съ схоластикой; но не надобно забывать, что такой человекъ не могъ не выработаться не только до того, что лежитъ въ его методѣ, но и до многого, чего строго вывести по его методѣ нельзя. Декартъ далеко выше Бэкона методою, и далеко ниже результатомъ, потому что Декартъ абстрактный человекъ. Конечно, на Бэкона падеть доля односторонности, въ которую впала большая часть его послѣдователей; но онъ самъ былъ далекъ отъ грубой эмпиріи. Вотъ его слова: „эмпирики непрерывно роются, ищутъ, и если найдутъ чего искали, выдумываютъ что нибудь новое и опять ищутъ; ихъ трудъ дробится, не обобщаясь; они ходятъ въ потемкахъ, ощупью: лучше было бы съ самаго начала входить съ зажженной свѣчей разума.“ „Въ естественныхъ наукахъ преобладаетъ желаніе дѣлать, находить различія, различія различій, и т. д. Этимъ путемъ невозможно изучать природу; аналогія, общія воззрѣнія, раскрывающія единство, — необходимы.“ „Есть умы.

болѣе способные наблюдать, дѣлать опыты, изучать частности, оттѣнки; другіе, напротивъ, стремятся проникнуть въ сокровеннѣйшія сходства, обобщить полученные понятія. Первые, теряясь въ частностяхъ, ничего не видятъ, кромѣ атомовъ; другіе, расплываясь во всеобщностяхъ, теряютъ все отдѣльное, замѣщая его призраками... ни атомы, ни отвлеченная матерія, лишенная всякаго опредѣленія, не дѣйствительны; дѣйствительны *тѣла, такъ, какъ они существуютъ 'въ природѣ*... Не надобно увлекаться ни въ ту, ни въ другую сторону; для того, чтобъ сознаніе углублялось и расширялось, надобно, чтобъ эти два воззрѣнія *преемственно переходили другъ въ друга*". Понимая это, Бэконъ устремлялъ, однако, всю умственную дѣятельность на опытъ, на изслѣдованія и наблюденія, потому что онъ считалъ опытъ началомъ науки, потому что онъ ясно видѣлъ губительное вліяніе силлогистической распушенности и метафизической неосновательности, при недостаткѣ фактическихъ свѣдѣній. Онъ очень хорошо понималъ, что собраніе и сличеніе однихъ опытовъ не есть наука, но онъ понималъ и то, что нѣтъ науки безъ фактическихъ свѣдѣній. „Мы торопимся“ говоритъ онъ „придать наукообразную форму бѣдной системѣ истинъ, узнанныхъ нами, и тѣмъ самымъ останавливаемъ ходъ открытій, приращеній. Молодые люди, сложившіеся и получившіе видъ совершеннолѣтія, перестаютъ расти. Пока наука составляетъ массу открываемыхъ свѣдѣній, все вниманіе обращено на новыя открытія.“ Онъ не хотѣлъ замкнутой цѣлости прежде полноты содержанія; онъ хотѣлъ лучше трудную работу, нежели незрѣлый плодъ. Метода Бэкона чрезвычайно скромна: она проникнута уваженіемъ къ предмету, она приступаетъ къ нему съ тѣмъ, чтобъ научиться, а не съ тѣмъ,

чтобъ вынудить изъ предмета насильственное оправданіе впередъ заготовленной мысли; она стремится все привести къ сознанію: „то, говоритъ Бэконъ: — что достойно существовать, — достойно быть знаемо.“ Онъ умѣлъ найти дѣйствительное и истинное даже тамъ, гдѣ мы обыкновенно видимъ суетную призрачность\*).


Геній Бэкона, положительный, чисто англійскій, не имѣлъ органа для схоластической метафизики; вопросы тогдашней философіи его вовсе не занимали. Онъ какъ Декартъ, началъ съ отрицанія, — но съ отрицанія практическаго; онъ отбросилъ старую догматику, потому что она была негодна; онъ возмутился противъ авторитетовъ, потому что они тѣснили самобытность ума. „Наше понятіе“ говоритъ онъ „о древнихъ авторитетахъ поверхностно; старѣе нѣтъ эпохи, какъ та, въ которой мы живемъ. Когда жили предки наши, міръ былъ моложе; они жили въ юномъ времени, мы зрѣлѣе ихъ. Совершеннолѣтній судить основательнѣе отрока.“ Подрывая авторитеты прошедшаго, Бэконъ указывалъ людямъ впередъ; тамъ, въ будущемъ, цѣною ихъ усилій должна раскрыться истина; онъ доказывалъ, что, обращиваясь назадъ, по совѣту схоластиковъ, ея не найдешь, что истина искомое, а не потерянное; отрицаніе авторитетовъ у него неразрывно съ вѣрою въ прогрессъ. Отринувъ безплодную догматику, онъ очутился лицомъ къ лицу съ природой и тотчасъ началъ изучать ее, изслѣдовать какъ фактъ, неподлежащій никакому сомнѣнію; отрицать природу ему и въ голову не приходило; для него отрицать природу было все равно, что отрицать свое собственное тѣло; въ такомъ отри-

\*) Напримѣръ, въ его „Новомъ Органонѣ“ нашли себѣ мѣсто не только гимнастика, но и косметика, даже теорія роскоши.



цаніи, для человѣка, какъ Бэконъ, — очевидное безуміе, безвыходный, тяжелый мракъ; Бэконъ знаетъ, наприм., что чувства обманчивы, но такое знаніе ведетъ его къ практической истинѣ дѣлать много опытовъ, многими лицами повѣрять другъ друга. Вѣра Бэкона въ разумъ и въ природу непоколебимы; онъ съ такимъ же отвращеніемъ говоритъ о скептицизмѣ, какъ объ метафизикѣ; это совершенно послѣдовательно въ немъ; ему надобны знанія, свѣдѣнія, а не мучительные стоны о безсиліи ума и неуловимости истины; ему надобно дѣятельное развитіе, ему надобна истина и ея практическое приложеніе, онъ считаетъ *ничтожною* философію, не ведущую къ дѣлу; для него знаніе и дѣяніе — двѣ стороны одной энергіи. Человѣкъ, такъ думающій, всего менѣе способенъ къ романтизму, къ мистицизму и къ схоластикѣ.

Теперь вы видите, что Бэконъ и Декартъ были въ наукѣ представителями двухъ враждебныхъ основаній средневѣковой жизни; въ нихъ и ими противорѣчіе дуализма выразилось самымъ яркимъ и рѣзкимъ образомъ. Оба направленія — идеализмъ и эмпирія, при послѣдователяхъ Декарта и Бэкона, до того доходили въ формальномъ противорѣчій, что, по діалектической необходимости, перегнбались другъ въ друга, и противоположная сторона, непосредственно заключенная въ одностороннемъ воззрѣніи, получала голосъ. Вы помните, что мысль человѣческая, при возрожденіи ея дѣятельности въ началѣ XVI вѣка, являлась совсѣмъ не такъ исключительно, что, напротивъ, она снимала восторженнымъ предугнаніемъ дуализмъ схоластическаго воззрѣнія. Таковъ былъ взглядъ Джордано Бруно и его послѣдователей: они видѣли во всей природѣ, во всей вселенной одну всеобщую жизнь; все казалось имъ



оживлено ею; былинка и планета, человекъ и трупъ—равно носители ея—и все она стремится къ сознательному единству мысли, свободно пребывая и повторяясь въ многообразіи сущаго. Но ни наука не имѣла силъ развить это воззрѣніе, ни умъ средневѣковой перейти отъ своихъ романтическихъ, мрачныхъ грезъ къ такому свѣтлому пониманію. То было пророческое указаніе, цѣль будущаго наукообразнаго развитія, явившаяся въ началѣ шествія; удержаться на этой высотѣ не было еще возможности. Въ исторіи часто бываютъ такіе примѣры; при самомъ началѣ переворота, идея его проявляется во всемъ блескѣ, но въ непереваемой всеобщности; вскорѣ, къ ужасу и отчаянію дѣятелей, это обличается, свѣтлая идея тускнѣетъ отъ обстоятельствъ, пропадаетъ, гибнетъ — и современники не понимаютъ, что она гибнетъ, какъ зерно,—для того, чтобъ потомъ, искусившись всѣми противорѣчіями и вооружившись всѣмъ, что могла дать среда, явиться побѣдоносною и торжествующею. Ни Бэконъ, ни Декартъ не могли остановиться на одномъ провидѣніи, какъ Бруно; они хотѣли бѣльшаго и сдѣлали бѣльшее; но основная идея Бруно выше ихъ идеи. Бэконъ не былъ противъ науки *людей предчувствія*: онъ самъ, какъ мы уже говорили, былъ полонъ предугадыванія; но англичанинъ, дѣлецъ — онъ хотѣлъ опростить вопросъ, сдѣлать его какъ можно болѣе положительнымъ; онъ намѣренно отворачивался отъ нѣкоторыхъ сторонъ, чтобъ хорошенько высмотрѣть одну—именно эмпирическую. Послѣдователи его доказали, что они лучше ничего не просятъ, какъ сидѣть въ односторонности. Не доставало только ученія прямо противоположнаго Бэкону, чтобъ старый вопросъ дуализма *переродился* въ новую борьбу, чтобъ отринутая жизнь, практическіе интересы, физическія событія

стали съ одной стороны, а разумъ, какъ сущность, какъ мышленіе и самопознаніе съ пренебреженіемъ къ бытію, съ вѣрою въ свои начала — съ другой. Это направление явилось, какъ вы знаете, въ Декартѣ. Единство мысли и жизни, начинавшее просвѣчивать со всею прелестью отрочества у Бруно, снова расторглось; дуализмъ нашелъ новый языкъ, но такой языкъ, который непременно велъ къ отчаяннѣйшей крайности идеализма и къ таковой же матеріализма, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ выходу изъ всякаго дуализма. Вопросъ дуализма рѣшался тутъ не въ жизни, не гвельфами и гибелинами, а въ теоретической сферѣ отвлеченнаго мышленія, — и къ этому средневѣковая мысль не могла не прійдти; иначе она не была бы вѣрна своему историческому происхожденію. Никогда въ древнемъ мірѣ мысль не приходила къ полному сознанію своей противоположности съ бытіемъ: въ новой наукѣ, она является въ зломъ междоусобіи: такой бой не могъ остаться безслѣденъ. Скажемъ просто — и это нисколько не будетъ преувеличено, — идеализмъ стремился уничтожить вещественное бытіе, принять его за мертвое, за призракъ, за ложь, за ничто, пожалуй, потому что быть одной случайностью сущности *весьма немною*. Идеализмъ видѣлъ и признавалъ одно всеобщее, родовое, сущность, разумъ человѣческій, отрѣшенный отъ всего человѣческаго; матеріализмъ, точно также односторонній, шелъ прямо на уничтоженіе всего невещественнаго, отрицалъ всеобщее, видѣлъ въ мысли отдѣленіе мозга, въ эмпиріи единый источникъ знанія, а истину признавалъ въ однѣхъ частностяхъ, въ однѣхъ вещахъ, осязаемыхъ и зримыхъ; для него былъ разумный человѣкъ, но не было ни разума, ни человѣчества. Словомъ, они были противоположны во всемъ, какъ правая и лѣвая рука;

и никто не догадывался, что та и другая идутъ изъ одной груди и необходимы для цѣлости организма. Логически, обѣ стороны дѣлали ошибки поразительныя, обѣ не умѣли сдѣлать и шага изъ своихъ началъ, не захвативъ чего либо изъ противоположнаго начала, — и по большей части дѣлали не то, чего хотѣли. Идеализмъ начинается съ *a priori*, онъ отвергаетъ опытъ, онъ хочетъ начать съ *Cogito ergo sum*, а на самомъ дѣлѣ начинается съ врожденныхъ идей, забывая, что врожденные идеи представляютъ эмпирическое событіе, которое они принимаютъ, а не выводятъ, и разрушаютъ такимъ образомъ *a priori*. Идеализмъ хочетъ всю дѣйствительность, весь разумъ предоставить духу, и признаетъ въ то же время матерію за имѣющую въ себѣ независимое и самобытное начало существованія, вслѣдствіе котораго протяженіе гордо становится рядомъ съ мышленіемъ, какъ чуждое ему; у идеализма всегда являются всеобщими, впередъ идущими идеями именно тѣ истины, которыя надобно вывести. Матеріализмъ имѣлъ у себя въ запасѣ точно такія же впередъ идущія истины, которыхъ вывести не могъ. Юмъ совершенно правъ, говоря, что матеріалисты *попытали* достовѣрности опыта. Матеріализмъ ставитъ непрерывно вопросъ: „знаніе наше истинно ли?“ — и отвѣчаетъ на него отвѣтомъ на совершенно другой вопросъ, — на вопросъ: „откуда мы получаемъ наши знанія?“ Онъ превосходно сдѣлалъ, что начиналъ всякій разъ съ феноменологіи знанія, — но онъ не оставался вѣренъ своему началу отчетливаго наблюденія; иначе онъ не могъ бы не видѣть, что мысль, истина, имѣетъ источникомъ дѣятельность разума, а не внѣшній предметъ, дѣятельность, возбуждаемую опытомъ — это совершенно справедливо, но самобытную и развивающуюся мысль по своимъ законамъ;

помимо ихъ, всеобщее не могло бы развиваться, ибо частное вовсе неспособно само собою обобщаться. Матеріалисты не поняли, что эмпирическое событіе, попадая въ сознаніе, столько же психическое событіе. Матеріализмъ хотѣлъ создать чисто *эмпирическую науку*, не понимая, что тутъ *contradictio in adjecto*, что опытъ и наблюденіе, страдательно принимаемые и приводимые въ порядокъ внѣшнимъ разсужденіемъ, даютъ дѣйствительный матеріалъ, но не даютъ формы, а наука есть именно форма самосознанія сущаго. Всѣ хлопоты матеріализма, всѣ его тонкіе анализы умственныхъ способностей, происхожденія языка и сдѣвленія идей, оканчиваются тѣмъ, что частныя явленія, событія — истинны и дѣйствительны; безспорно, что событія внѣшняго міра истинны, и неумѣніе признать этого со стороны идеализма — сильное доказательство его односторонности; внѣшній міръ (какъ мы сказали въ одномъ изъ прежнихъ писемъ) — „обличенное доказательство своей дѣйствительности“; онъ потому и существуетъ, что онъ истиненъ: это такъ же безспорно, какъ и то, что внутренній міръ (т. е. мышленіе), что *actus purus* разума тоже истиненъ и тоже дѣйствительное событіе; дѣло совсѣмъ не въ этомъ признаніи, а въ связи, въ переходѣ внѣшняго во внутреннее, въ пониманіи дѣйствительнаго единства ихъ; безъ этого мало поможетъ сознаніе, что предметъ истиненъ: человѣкъ не будетъ имѣть средствъ уловить его. Матеріализмъ со стороны сознанія, методы, стоитъ несравненно ниже идеализма. Еслибъ матеріализмъ былъ философски логиченъ, онъ перешелъ бы свои границы, пересталъ бы быть собою, а потому на видимой непослѣдовательности его воззрѣнія останавливаться нечего — мы ее впередъ должны предполагать. Онъ имѣлъ другое великое значеніе, чи-

*сто практическое*<sup>\*)</sup>), жизненное, прикладное; въ его рукахъ была вся масса свѣдѣній человѣческихъ, имъ она разработана, имъ обслѣдована, и онъ благородно употребилъ ее на улучшение матеріальнаго и общественнаго благосостоянія людей, на разсѣяніе предрасудковъ, на собираніе фактовъ. Нелѣпости его ученія проходятъ и пройдутъ, истинное и благое осталось и останется; этого забывать не надобно изъ-за логическихъ ошибокъ.

Мудрено, кажется, повѣрить,—а матеріализмъ и идеализмъ до нашего времени остаются при взаимномъ непониманіи. Очень хорошо знаю я, что нѣтъ брошюры, въ которой бы идеализмъ не говорилъ объ этомъ антагонизмѣ, какъ о прошедшемъ; что нѣтъ ни одного дѣльнаго эмпирика, который бы не сознался, что безъ всеобщаго взгляда, безъ умозрѣнія опыты не даютъ всей пользы,—но это вялое признаніе бѣдно и бесплодно<sup>\*\*)</sup>. Того ли можно было ожидать послѣ плодотворныхъ великихъ идей, брошенныхъ въ оборотъ великимъ Гёте, потомъ Шеллингомъ и Гегелемъ! Порядочные люди

\*) Было время, когда идеализмъ въ Германіи ставилъ себѣ въ достоинство свою *ненужность, непрактичность*, и презрительно отзывался объ утилитаризмѣ филантропическихъ и моральныхъ ученій шотландскихъ, англійскихъ и французскихъ мыслителей; въ то же время идеалисты проповѣдывали противъ фактическихъ наукъ, выдавая себя за натуры высшія, чуждыя міру практической дѣятельности. Имъ не приходило въ голову, что человѣкъ, считающій себя чуждымъ современности, непрактическій, по большей части не высшая натура, а пустой человѣкъ, мечтатель, романтикъ, жертва искусственной цивилизаціи. Греки не поняли бы этой мысли: такъ нелѣпа она. Мысль себя отчужденія отъ жизни могла выработаться только въ мрачныхъ и запертыхъ кабинетахъ книжныхъ ученыхъ и при томъ въ Германіи, которой общественная жизнь, послѣ вестфальскаго мира, была не изъ блестящихъ.

\*\*) Я исключаю нѣкоторыя попытки, сдѣланныя очень недавно въ Германіи и даже во Франціи.

нашего времени сознали необходимость сочетанія эмпириі съ спекуляціей, но на теоретической мысли этого сочетанія и остановились. Одна изъ отличительныхъ характеристикъ нашего вѣка состоитъ въ томъ, что мы *все знаемъ и ничего не дѣлаемъ*; на науку пенять нельзя: она, какъ мы имѣли случай замѣтить, отражаетъ очищенными, приводитъ въ сознаніе обобщенными тѣ элементы, которые находятся въ жизни, ее окружающей. Жанъ Поль Рихтеръ говоритъ, что въ его время, чтобъ примирить противоположности, брали долю свѣта и долю тьмы и мѣшали въ банѣ, — изъ этого выходили обыкновенно премилые *сумерки*. Это-то неопредѣленное *entre chien et loup* и нравится нерѣшительному и апатическому большинству современнаго міра. Но возвратимся къ Бэкону.

Вліяніе Бэкона было огромно; мнѣ кажется, что и Гегель не вполне оцѣнилъ его. Бэконъ, какъ Колумбъ, открылъ въ наукѣ новый міръ, именно тотъ, на которомъ люди стояли споконъ вѣка, но который забыли, занятые высшими интересами схоластики; онъ потрясъ слѣпую вѣру въ догматизмъ, онъ уронилъ въ глазахъ мыслящихъ людей старую метафизику. Послѣ него начинается непрерывное противодѣйствіе схоластическимъ трансцендентальнымъ теоріямъ, во всѣхъ областяхъ вѣдѣнія, со всѣхъ сторонъ; послѣ него начинается трудъ, неутомимая, самоотверженная работа наблюдений, изысканій добросовѣстныхъ, посильныхъ; являются ученые общества испытателей природы въ Лондонѣ, въ Парижѣ, въ разныхъ мѣстахъ Италіи; дѣятельность натуралистовъ усугубилась, сумма событій и фактовъ росла пропорціонально съ уничтоженіемъ метафизическихъ призраковъ — „этихъ словъ,“ какъ говоритъ Бэконъ, „безъ всякаго значенія, затемняющихъ

простой, пытающій взглядъ, представляя ему превратное пониманіе природы.“ Многообъемлемость Бэкона не могла перейти къ его послѣдователямъ; ихъ односторонность очень понятна: свѣтлые и дѣльные умы, долго жившіе въ праздности, получили дѣло, предметъ живой, многосторонній, совершенно новый и притомъ платившій за трудъ вовсе неожиданными открытіями, разливавшими свѣтъ на цѣлые ряды явленій; это не томное и сухое развитіе *hoscetatis* и *quiditatis*. выводимыхъ изъ за лѣса логическихъ стропилъ, уродливыхъ, ненужныхъ и перемѣшанныхъ съ цитатами, — нѣтъ, это что-то такое, въ чемъ бьется сердце, теплое при прикосновеніи руки; испытавъ магнитическую силу занятій по части естествовѣдѣнія и вообще практическими предметами, могли ли эти люди безъ ненависти говорить о метафизикѣ? всѣ они смолода были пытаемы перипатетическими экзерциціями, всѣ они изучали искаженнаго Аристотеля: могли ли они не отдаться вполне, несправедливо, односторонно естествовѣдѣнію? Впрочемъ, въ ихъ отрицаніи нѣтъ той ограниченности, которая явилась въ послѣдствіи, когда матеріализмъ самъ вздумалъ оставить роль инсургента и обзавестись своей метафизической управой, своей теоріей, съ притязаніемъ на философію, логику, объективную методу, то есть на все то, отсутствіе чего составляло его силу. Эта систематика матеріализма начинается гораздо позже, съ Локка; они во многомъ ошибались — но не впадали въ самую догматику. Первые послѣдователи Бэкона были не таковы; въ числѣ ихъ Гоббъ — человѣкъ страшный въ своей безбоязненной послѣдовательности; ученіе этого мыслителя, о которомъ Бэконъ говорилъ, что онъ его понимаетъ лучше всѣхъ современниковъ, мрачно и сурово; онъ все духовное поставилъ внѣ своей науки;



онъ отрицалъ всеобщее и видѣлъ одинъ непрерывный потокъ явленій и частныхъ,—потокъ въ себѣ начинающійся и въ себѣ оканчивающійся. Онъ въ закоснѣлой, свирѣпой мысли своей не нашелъ доказательствъ ничему божественному; печальный зритель страшныхъ переворотовъ, онъ понялъ только черную сторону событій; для него люди были врожденными врагами, изъ эгоистической пользы соединившіеся въ общества, и еслибъ ихъ не держала взаимная выгода, они бросились бы другъ на друга. На этомъ основаніи, его уста не дрогнули, съ мужествомъ цинизма, въ глаза своему отечеству, Англіи, высказать, что онъ въ одномъ деспотизмѣ находитъ условіе гражданскаго благоустройства. Гоббъ испугалъ своихъ современниковъ: его имя наводило ужасъ на нихъ. Не такимъ встрѣчается намъ южный матеріализмъ, въ странѣ, гдѣ нѣкогда жилъ Луврецій; онъ явился тамъ въ своемъ прежнемъ уборѣ: аббатъ Гассенди воскресилъ эпикуреизмъ и ученіе объ атомахъ; но его эпикуреизмъ былъ имъ приведенъ въ согласіе съ католической догматикой, и такъ хорошо, что іезуиты находили, что его *philosophia congruularis* несравненно согласнѣе съ ученіемъ римской церкви о таинствахъ, нежели картезіанизмъ. Атомы Гассенди очень просты: это тѣ же атомы, съ которыми мы встрѣтились у Демокрита, тѣ же *безконечно-малыя*, незримыя, *неуловимыя* и неуничтожаемыя частицы, служащія основой всѣмъ тѣламъ и всѣмъ явленіямъ; сочетаваясь, дѣйствуя другъ на друга, двигаясь и двигая, эти атомы производятъ всѣ многоразличныя физическія явленія, пребывая неизмѣнными. Нельзя не замѣтить, что Гассенди говоритъ очень положительно о несокрушимости вещества; мысль эта, сколько мнѣ извѣстно, попадаетъ впервые мелькомъ у Тилезія; она есть и у Бэ-

кона, но Гассенди превосходно выразилъ ее: „вещественное бытіе,“ говоритъ онъ, „имѣетъ великое право за собою; вся вселенная не можетъ уничтожить существующаго тѣла.“ Понятно, что рѣчь идетъ только о бытіи, а не о формѣ и качественномъ опредѣленіи. У Гассенди проглядываетъ замашка натуралистовъ позднѣйшихъ временъ ссылаться на ограниченность ума человѣческаго; онъ чувствуетъ самъ недостатокъ своихъ теорій—и оставляетъ ихъ, какъ были. Эти недостатки выкупаются у него (опять точно такъ же, какъ у натуралистовъ) умнымъ и дѣльнымъ изложеніемъ своихъ свѣдѣній о природѣ. Гассенди, такъ какъ потомъ Ньютона, не слѣдуетъ почти судить какъ философовъ: они великіе дѣятели науки, но не философы. Тутъ нѣтъ противорѣчій, если вы согласились, что дѣйствительное содержаніе вырабатывалось внѣ философской методы. Англичане, называющіе Ньютона великимъ философомъ, не знаютъ, что говорятъ. Назвавъ Ньютона, позвольте сказать объ немъ нѣсколько словъ. Его воззрѣніе на природу было чисто механическое. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, заключить, что онъ былъ картезіанецъ: онъ такъ мало имѣлъ симпатіи къ Декарту, что, прочитавъ 8 страницъ въ его сочиненіяхъ (по собственному признанію), онъ сложилъ книгу и больше никогда не раскрывалъ. Механическое воззрѣніе, впрочемъ, и помимо Декарта, царило тогда надъ умами. Страсть къ отвлеченнымъ теоріямъ была такъ сильна въ XVII вѣкѣ, что ни въ чемъ несогласавшіеся между собою послѣдователи Декарта и Бэкона встрѣтились на механическомъ построеніи природы, на желаніи привести всѣ законы ея въ математическія выраженія и съ тѣмъ вмѣстѣ подвергнуть ихъ математической методѣ. Ньютонъ продолжалъ дѣло, начатое Галлилеемъ. Галлилей

стоятъ совершенно на той же почвѣ, на которой впоследствии сталъ Ньютонъ; для Галлилея тѣло, вещество было нѣчто мертвое, дѣятельное одною косою, а сила—нѣчто иное, извнѣ приходящее. Математика необходимо должна входить во всѣ отрасли естествовѣдѣнія; количественныя опредѣленія чрезвычайно важны, почти всегда неразрывны съ качественными; измѣненіе однихъ связано съ измѣненіемъ другихъ; однѣ и тѣ же составныя части въ разныхъ пропорціяхъ даютъ все многообразіе органическихъ тканей, все многообразіе формъ неорудной и орудной кристаллизаціи. Ясное дѣло, что математика имѣетъ огромное мѣсто въ фізіологіи, не говоря уже о болѣе отвлеченныхъ наукахъ, какъ физика, или о исключительно количественныхъ, какъ астрономія и механика. Математика вноситъ въ естествовѣдѣніе логику а priori, ея эмпирія признаетъ разумъ; выразивъ простымъ языкомъ ея законы, ряды явленій раскрываютъ неподозрѣваемые соотношенія и послѣдствія, не сомнѣваясь въ дѣйствительности вывода. Все это такъ; но *одно* математическое воззрѣніе (какъ бы оно ни довлѣло себѣ) не можетъ обнять всего предмета естествовѣдѣнія; въ природѣ остается *нѣчто*, ей неподлежащее. Категорія количества—одно изъ существеннѣйшихъ качествъ всего сущаго, однако, она не исчерпываетъ всего качественного, и если держаться въ изученіи природы исключительно за нее, то дойдемъ до декартова опредѣленія животнаго гидравлично-огненной машиной, дѣйствующей рычагами и проч. Конечно, оконечности представляютъ рычаги и мышечная система представляетъ очень сложныя машины,—однакожь Декарту не удалось объяснить вліяніе воли, вліяніе мозга на управленіе частями машины чрезъ нервы. Понятіе живаго непременно заключаетъ въ себѣ механическія,

физическія и химическія опредѣленія, какъ тѣ низкія степени, которыя должны встопали быть побѣждены или сняты для того, чтобъ явился сложный процессъ жизни; но именно единство, ихъ снимающее, составляетъ новый элементъ, неподчиняющійся ни одному изъ предыдущихъ, а подчиняющій ихъ себѣ. Внутренняя присущая дѣятельность всего живаго организма и каждой клѣточки его доселѣ осталась неуловима для математики, для физики, для самой химіи, хотя форма ея дѣйствій и количественныя опредѣленія совершенно подлежатъ математикѣ, такъ какъ взаимное дѣйствіе составныхъ началъ подлежитъ физико-химическимъ законамъ. Употребленіе математики, сверхъ того, гдѣ она необходима,—тамъ, гдѣ ея не нужно, весьма важный признакъ; математика поднимаетъ человѣка въ сферу хотя формальную и отвлеченную, но чисто наукообразную: это полнѣйшее внѣшнее примиреніе мышленія и бытія. Математика—одностороннее развитіе логики, одинъ изъ видовъ ея, или само логическое движеніе разума въ моментъ количественныхъ опредѣленій; она сохранила ту же независимость отъ сущаго, ту же непреложность чисто умозрительнаго вывода; къ этому присовокупляется ея увлекательная ясность, которая, впрочемъ, находится въ прямомъ отношеніи съ односторонностію. Бэконъ, очень хорошо понимавшій важность математики въ естествовѣдѣніи, замѣтилъ въ свое время уже опасность подавить математикою другія стороны (онъ между прочимъ говоритъ, что особенное вниманіе ученыхъ къ количественнымъ опредѣленіямъ основано на ихъ легкости и поверхностности, но что, держась на однихъ ихъ, теряется внутреннее\*). Ньютонъ, совсѣмъ напротивъ,

\*) Бэконъ очень зло отзывался (*De Aug. Scientiarum*) объ астро-

предался исключительно механическому воззрѣнію; нельзя себѣ представить ума менѣе философскаго, какъ Ньютонъ: это былъ великій механикъ, гениальный математикъ—и вовсе не мыслитель. Теорія тяготѣнія, при всемъ величіи своей простоты, при обширной прилагательности, объемлемости,—не что иное, какъ *механическое представленіе* событія, представленіе, быть можетъ, вѣрное, но остающееся безъ логическаго оправданія, т. е., безъ полнаго пониманія, какъ предположеніе, сосредоточивающее на себѣ наиболѣе вѣроятія. Тѣламъ Ньютонъ приписываетъ свойства притяженія и отталкиванія; но въ понятіи тѣла, какъ его понималъ Ньютонъ, не видно необходимости этихъ полярныхъ проявленій; стало быть, это фактъ ипотетическій или наглядный—все равно, но не логическій; далѣе, путь небесныхъ тѣлъ таковъ, что механика должна его себѣ представить слѣдствіемъ двухъ силъ: одна изъ нихъ дѣлается понятною изъ предшествовавшаго предположенія, другая за то остается совершенно непонятна (сила, влекущая по тангенсу); эта сила (или толчекъ, производящій ее) не лежитъ ни въ понятіи тѣла, ни въ понятіи окружающей среды; она является *à la deus ex machina*, и такъ остается до сихъ поръ. И это не заботитъ строителей небесной механики; математика дѣлается обыкновенно равнодушна ко всѣмъ логическимъ требованіямъ, кромѣ своихъ собственныхъ. Нѣкогда Коперникъ, обдумывая гениальную мысль свою, имѣлъ въ виду дать болѣе

номіи: „Наука о тѣлахъ небесныхъ очень несовершенна; она приноситъ людямъ нѣчто въ родѣ той жертвы, которую однажды Прометей принесъ Юпитеру: онъ пожертвовалъ бычачью кожу, набитую соломой, вмѣсто быка; такъ и астрономія толкуетъ о числѣ, положеніи, движеніи, періодахъ небесныхъ тѣлъ... небесный сводъ для нихъ бычачья шкура; во внутренность явленій они не проникаютъ.“

легкій способъ вычислять планетные пути; теперь Ньютонъ говоритъ, что онъ предоставляетъ физикамъ рѣшить вопросъ о дѣйствительности предполагаемыхъ силъ, и выставляетъ на первый планъ удобство его теоріи для математическихъ выкладовъ.

Механическое разсматриваніе природы, не смотря на колоссальный успѣхъ ньютоновой теоріи, не могло удержаться; первый сильный протестъ противъ исключительно механическаго воззрѣнія раздался въ химическихъ лабораторіяхъ. Химія осталась вѣрнѣе настоящей бэконовской методѣ, нежели всѣ отрасли естественныхъ наукъ; эмпирія царила въ ней — это правда, но она оставалась почти во всемъ свободною отъ разсудочныхъ теорій и насильственныхъ притѣсненій предмета; химія добросовѣстно и самоотверженно склонялась передъ признанною ею объективностью вещества и его свойствъ.

Но протестъ болѣе мощный раздался съ другой стороны. Лейбницъ, тоже великій математикъ, но и великій мыслитель съ тѣмъ вмѣстѣ, поднялся противъ исключительнаго механико - матеріалистическаго воззрѣнія. Изложеніе главныхъ основаній его системы отведетъ насъ совсѣмъ въ другую сферу, а потому я попрошу позволенія окончить сперва повѣствованіе о бэконовской школѣ, довести ее до Юма, т. е. до Канта, и потомъ снова возвратиться къ Декарту и прослѣдить исторію идеализма до Канта же. Въ этой исторіи мы увидимъ только два лица, но какія! Мы увидимъ, до какой высоты можетъ дойти геніальная абстракція, до чего великое разумѣніе могло развить картезіанизмъ. Спиноза положилъ предѣлъ идеализму; чтобъ идти далѣе, надобно выйти изъ идеализма; оставаясь въ немъ, можно быть только комментаторомъ Спинозы, однимъ изъ нахлѣбниковъ его пышнаго стола. Опытъ шага вле-

редъ сдѣлалъ Лейбницъ; въ Лейбницѣ мы встрѣчаемъ перваго идеалиста, въ которомъ что-то близкое, родственное, современное намъ. Суровость среднихъ вѣковъ и протестантское натянутое безстрастіе отражаются еще яркими чертами и на угрюмомъ Декартѣ и на неприступно-гордомъ въ нравственной чистотѣ своей Спинозѣ, въ которомъ осталось много еврейской исключительности и много католическаго аскетизма. Лейбницъ человѣкъ почти совсѣмъ очистившійся отъ среднихъ вѣковъ: все знаетъ, все любитъ, всему сочувствуетъ, на все раскрытъ, со всѣми знакомъ въ Европѣ, со всѣми переписывается; въ немъ нѣтъ сацердотальной важности схоластиковъ; читая его, чувствуете, что наступаетъ день съ своими дѣйствительными заботами, при которомъ забудутся грезы и сновидѣнія; чувствуете, что полно глядѣть въ телескопъ—пора взять увеличительное стекло; полно толковать объ одной субстанціи, пора поговорить о многомъ множествѣ монадъ\*).

Село Соколово. — Іюнь, 1845.

\*) Мы необходимо должны пропустить явленія чрезвычайно замѣчательныя и нѣкоторыя сильныя личности, являвшіяся въ XVII столѣтіи, не въ главномъ руслѣ науки, а, такъ сказать, возлѣ. Сюда принадлежатъ англійскіе и французскіе мистики, протягивавшіе руку эмпириі и мирившіеся съ нею (въ родѣ того, какъ легитимисты мирятся съ радикалами) на общемъ признаніи безсилія разума; сюда принадлежитъ рядъ скептиковъ, сомнѣвавшихся, вмѣстѣ съ мистиками, несравненно болѣе въ разумѣ, нежели въ опытѣ (такъ сильна была реакція противъ схоластической догматики), и въ числѣ ихъ знаменитый Бэръ—защитникъ вѣротерпимости, признанной въ Россіи Великимъ Петромъ и гонимой во Франціи Великимъ Людовикомъ. Бэръ былъ одинъ изъ неутомимѣйшихъ дѣятелей XVII вѣка; онъ замѣшанъ во всѣ дѣла, причастенъ всѣмъ горячимъ вопросамъ и вездѣ гуманенъ и ѣдокъ, уклончивъ и дерзокъ; онъ дѣйствуетъ безъ имени и всѣмъ извѣстенъ: его гонятъ іезуиты — онъ отъ нихъ спасается въ Голландію; его гонятъ точно также протестанты, и отъ

## ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

### Реализмъ.

Индуктивная метода Бэкона приобрѣтала болѣе и болѣе послѣдователей. Открытія, слѣдовавшія другъ за другомъ съ поразительной быстротою, въ медицинѣ, физикѣ, химіи, вовлекали умы болѣе и болѣе въ область естествовѣдѣнія, наблюденій, изысканій. Увлеченные эмпиріей, легкимъ анализомъ событій и видимой ясностью выводовъ, послѣдователи Бэкона хотѣли опытъ и наведеніе сдѣлать не только источникомъ, но и вѣнцомъ всякаго знанія; они грубый, непретворенный матеріалъ, получаемый чрезъ непосредственное воззрѣніе, обобщаемый сравненіемъ и разлагаемый разсудочными категоріями, считали, если не за полнѣйшую истину, то за единственно возможную для человѣческаго разумѣнія. Воззрѣніе это долго оставалось мнѣніемъ, практикою, соглашеніемъ, болѣе подразумѣваемымъ, нежели высказаннымъ; долго не было въ немъ стремленіе выразиться систематически, ни притязанія явиться логикой и метафизикой; ужасъ отъ всего метафизическаго еще царилъ надъ умами; воспоминаніе о схоластическомъ идеализмѣ было свѣжо; все вниманіе ученыхъ продолжало сосредоточиваться на увеличеніи фактическихъ свѣдѣній, на знакомствѣ съ природой. Природа стала соперницею тому гордому духу, который въ средніе вѣка не удо-

нихъ бѣжать нѣкуда; католическій король Франціи его обогащаетъ преслѣдованіемъ его протестантскихъ брошюръ, и протестантскій король Англіи чуть не лишаетъ куска хлѣба... Все это виѣстѣ живо выражаетъ дѣятельный, кипящій и неустроенный XVII вѣкъ.



стоивалъ ее никакого вниманія ; роли перемѣнились : отъ ума требовали одной страдательной воспріемлемости ; самодѣятельность разума считали мечтою. Въ средніе вѣка, чтобъ сказать, что предметъ недѣйствителенъ, говорили : „это только грубая матерія“ ; теперь съ тою же цѣлью стали говорить : „это только мысль.“ Но когда переворотъ совершился, реализмъ бэконовской школы не удержался отъ искушенія систематизировать свое воззрѣніе,—искушеніе, впрочемъ, совершенно естественное и свойственное всякой умственной дѣятельности. Эмпирія захотѣла имѣть свою метафизику : Локкъ явился отвѣтомъ на эту потребность.

Человѣкъ долженъ (по Локку) начать обсуживаніе своего вѣдѣнія съ разбора орудій мышленія, съ разрѣшенія вопроса, способенъ ли умъ знать истину, на сколько и какими средствами ? Поверхностно рассуждая, кажется, что требованіе Локка справедливо, такъ какъ вообще всѣ разсудочныя требованія *на первый разъ* поразительно ясны ; но стоитъ нѣсколько присмотрѣться къ нимъ, чтобъ увидѣть несостоятельность ихъ. Локкъ и его послѣдователи не догадались, что задача ихъ представляетъ логическій кругъ. Юмъ, какъ человѣкъ несравненно болѣе даровитый, спрашивалъ : чѣмъ же человѣкъ сдѣлаетъ разборъ своего разума ? — Разумомъ. Да вѣдь онъ-то и подсудимый ; оправданное имъ можетъ быть ложнымъ, именно потому что оно имъ оправдано. Юмъ попалъ въ шляпку гвоздя, какъ говорятъ ; Юмомъ восхищались его современники, какъ острымъ скептикомъ, но глубины его отрицанья и великаго мѣста его въ развитіи новой философіи не постигли ; первый понявшій его былъ Кантъ, оцѣпенѣвшій отъ медузина взгляда юмовскаго воззрѣнія. Надобно (продолжаетъ Локкъ) *себя представить* человѣка такъ,

чтобъ у него еще не было ни одной мысли и посмотрѣть, какъ изъ взаимодействія его чувствъ и сознанія съ внѣшнимъ міромъ образуются *идеи* (подъ словомъ „идеи“ они разумѣли всякую всячину — понятіе, всеобщее, мысль, образъ, форму, даже впечатлѣніе): для этого возьмемъ ребенка, который еще не говоритъ, или человѣка въ естественномъ состояніи, и начнемъ наблюдать... а болѣе послѣдовательный Кондильякъ беретъ статую и даетъ ей обоняніе, потомъ слухъ... и такъ мало по малу доходитъ до законовъ мышленія въ *статуй*. Это называлось у нихъ наблюденіями, анализомъ, — и укоряющая тѣнь Бэкона не погрозила имъ пальцемъ съ своего кладбища! Все XVIII столѣтіе безпрестанно прибѣгало къ дикому человѣку, къ ребенку; Жанъ-Жакъ, желая описать будущаго человѣка, ничего не нашелъ лучше, какъ представить его самымъ прошедшимъ, доисторическимъ. Не говоря уже объ нюхающей вуль, ни ребенокъ, ни предполагаемый идіотъ, ни каннибалъ — не нормальные люди; все, что вы въ нихъ замѣтите, будетъ тѣмъ ложнѣе, чѣмъ лучше подмѣчено. Положимъ, что мы могли бы возстановить забытое и безсознательное развитіе начальныхъ дѣйствій ума, впервые возбужденнаго чувствами — что же изъ этого? Мы узнали бы историческую феноменологію сознанія, узнали бы фізіологическое взаимодействіе энергій чувствъ и энергій мышленія — больше ничего. Зоологія, ботаника, берутъ нормою экземпляры совершенно развившіеся; отчего же антропологія будетъ обращаться къ дикому человѣку? Оттого, что онъ ближе къ животному, т. е. дальше отъ человѣка? Человѣкъ не отошелъ, какъ думали мыслители XVIII вѣка, отъ своего естественнаго состоянія, *онъ идетъ къ нему*; дикое состояніе — для него самое неестественное; оттого, какъ

только являются условія выхода изъ него, онъ и выходитъ; чѣмъ глубже въ старину, тѣмъ ближе къ дикому состоянію, тѣмъ неестественнѣе человѣкъ — этого почти не приходило въ голову тогдашнимъ философамъ. Но что же за выводы изъ наблюденій надъ *предполагаемымъ нечеловѣкомъ*? Локкъ находитъ, что простыя идеи (отчетъ въ впечатлѣніяхъ, воспоминаніе о нихъ) передаются прямо въ *пустое мѣсто* разума; разумъ, принимая чувственныя воззрѣнія, страдателенъ, не прибавляетъ отъ себя ничего, а, такъ сказать, задерживаетъ ихъ въ себѣ; поэтому, простыя идеи имѣютъ за себя большую достовѣрность. Но вотъ что худо: вмѣстѣ съ полученіемъ простыхъ идей, люди изобрѣтаютъ знаки для нихъ; Локкъ, поймавъ человѣка на этомъ изобрѣтеніи, очень справедливо замѣчаетъ, что человѣкъ словомъ нарицаетъ не дѣйствительную вещь, а всеобщее собирательное понятіе, родъ, или какой бы ни было порядокъ. къ которому принадлежитъ вещь, слѣдовательно, нѣчто несуществующее. Тутъ разборъ Локка долженъ бы былъ окончиться: если слово выражаетъ не истину, то и разумъ не имѣетъ средствъ сознать ее, ибо слово представитель того, какъ понимаетъ разумъ. Правда, вы можете спросить: почему Локкъ узналъ, что изъ двухъ предметовъ — изъ частной вещи и всеобщаго слова, дѣйствительность, а слѣдственно и истина, принадлежитъ вещи, а не слову; вѣдь у него еще нѣтъ критеріума, онъ ищетъ его. Дѣло очень просто: онъ матеріалистъ, и потому вѣритъ въ вещь и въ чувственную достовѣрность; будь онъ идеалистъ, онъ точно съ тою же неосновательностью принялъ бы за истину слово и всеобщее; онъ не въ самомъ дѣлѣ ищетъ критеріумъ; онъ очень знаетъ, чего хочетъ — онъ только прикидывается добросовѣстнымъ пытате-

лемъ. Далѣе, всеобщее, названное словомъ, показываетъ отношеніе дѣйствительнаго предмета къ нашему разумѣнію; стало быть, не одни внѣшнія впечатлѣнія — источникъ знанія, но и самая дѣятельность мышленія. Локкъ не только признаетъ это, но исключительно предоставляетъ разуму право раскрытія отношеній между предметами; онъ признаетъ раскрытое разумомъ (сложныя идеи) *необходимымъ*, однако *не такъ (?)* достовернымъ, какъ простыя идеи. Вся разсудочная наука находится тутъ въ своемъ зародышѣ. Разумъ — пустое темное мѣсто, въ которое падаютъ образы внѣшнихъ предметовъ, возбуждая какую-то распорядительную, формальную дѣятельность въ немъ; чѣмъ онъ страдаетъ, тѣмъ ближе къ истинѣ; чѣмъ дѣятельнѣе, тѣмъ подозрительнѣе его правдивость. Вотъ вамъ и знаменитое «*nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu*», поставленное гордо рядомъ, или противъ «*cogito, ergo sum*»!

Что касается до самой феноменологіи Локка, то его „Опытъ“ есть нѣчто въ родѣ логической исповѣди разсудочнаго движенія; онъ рассказываетъ въ немъ явленія своего сознанія, въ предположеніи, что у каждаго человѣка возникаютъ идеи и развиваются одинаковымъ образомъ. Локкъ раскрываетъ, между прочимъ, что при правильномъ употребленіи умственной дѣятельности, сложныя понятія необходимо приводятъ къ идеямъ силы, *носителя свойствъ* (субстрата), наконецъ къ идеѣ сущности (субстанціи) нами познаваемыхъ проявленій (атттрибутовъ). Эти идеи существуютъ *не только въ нашемъ умѣ, но и на самомъ дѣлѣ*, хотя мы познаемъ чувствами одно видимое проявленіе ихъ. Замѣтьте это. Очевидно, что Локкъ изъ своихъ началъ не имѣлъ никакого права дѣлать заключенія въ пользу объектив-

ности понятій силы, сущности и проч. Онъ стремился всѣми средствами доказать, что сознаніе — *tabula rasa*, наполняемая образами впечатлѣній и *имѣющая свойство* образы эти сочетавать такъ, чтобъ *подобное различнымъ* составляло родовое понятіе; но идея сущности и субстрата не выходитъ ни изъ сочетанія, ни изъ переложенія эмпирическаго матеріала; стало быть, открывается новое свойство разумѣнія, да еще такое, которое имѣетъ, по признанію самого Локка, объективное значеніе. Какимъ ужасомъ исполнились бы послѣдователи Локка, еслибъ они узнали въ этомъ *свойствѣ* врожденные идеи идеализма, противъ которыхъ они такъ неутомимо воевали всю жизнь. Не всѣ идеалисты подъ врожденными идеями предполагали готовые сентенціи, привидѣніе, неотразимые бессмысленные факты, чуждые сознанію и втѣсненные ему, а неминуемыя формы, присущія дѣйствіямъ разума и притомъ такія формы, которыя сами — аподиктическое доказательство своей дѣйствительности: то есть, то, что говоритъ Локкъ о понятіи сущности. Матеріалисты, соглашавсь съ Локкомъ, пренаивно спорили противъ слова „*врожденные идеи*“ и доказывали не-врожденность ихъ тѣмъ, что онѣ *могутъ* не развиваться; — чтожъ изъ этого? органическій процессъ неминуемо долженъ развиться въ животномъ кровеносную систему, нервную и проч. по родовому, пожалуй, предсуществующему и осуществляющемуся понятію, но онъ *можетъ* и не развиваться; ему нужны для этого внѣшнія условія; не будь ихъ — не будетъ и организма, а совершится какой нибудь другой процессъ, до котораго нѣтъ дѣла органической нормѣ; если же соберутся условія, необходимыя для возникновенія организма, то неминуемо въ немъ разовьется кровеносная, нервная система по общему типу того

плана, порядка и рода, въ которому принадлежит организмъ, и въ обоихъ случаяхъ родовое понятіе останется истиннымъ, а если угодно. врожденнымъ, присущимъ, предсуществующимъ. Дѣло состоитъ въ томъ, что изъ этихъ формальныхъ противорѣчій, изъ этихъ непослѣдовательностей, выйти, стоя на локковой точкѣ зрѣнія, невозможно ; разумокъ (т. е. тотъ моментъ разума, которымъ эмпирическое содержаніе начинаетъ разлагаться на логическіе элементы свои) не имѣетъ въ себѣ средствъ разрѣшить противорѣчіе, самымъ имъ поставленное и условно истинное только въ отношеніи къ нему. Разумъ на этой разлагающей степени похожъ на химическій реактивъ : онъ можетъ разложить данное, но всякій разъ отдѣлать одну сторону, а съ другой соединиться ; таковъ споръ о врожденныхъ идеяхъ, о сущности и проч. ; во всѣхъ подобныхъ вопросахъ есть двѣ стороны ; на закраинахъ своихъ онѣ односторонни, противорѣчатъ другъ другу, на срединѣ онѣ сливаются ; взятая врозь — онѣ просто ложны и даютъ безвыходные ряды антиномій, въ которыхъ обѣ стороны неправы, пока существуютъ въ отвлеченной отдаленности, и могутъ быть истинными только при сознаніи единства. Но сознаніе этого единства выходитъ за предѣлы того момента мышленія, съ котораго намѣренно не сходятъ люди рефлексіи ; я говорю : намѣренно, — потому что надобно много трудиться и много пріобрѣсти упорной вѣрности, чтобъ не послѣдовать діалектическому влеченію, которое само собою выноситъ за предѣлы разсудочности. Умъ, свободный, отъ принятой и возложенной на себя системы, останавливаясь на одностороннихъ опредѣленіяхъ предмета, невольно стремится къ восполняющей сторонѣ его ; это начало біенія діалекческаго сердца ; повидимому, и это сердце только

колышется взадъ и впередъ, а на самомъ дѣлѣ это бѣненіе свидѣтельствуєтъ о живомъ, горячемъ потокѣ, текущемъ съ непрерывнымъ ритмомъ своимъ; и въ діалектическихъ переходахъ, съ каждымъ разомъ, съ каждымъ бѣненіемъ, мысль становится чище, живѣе. Возьмемъ для примѣра одностороннее воззрѣніе Локка на начало знаній и на сущность. Разумѣется, что опытъ возбуждаетъ сознаніе, но также разумѣется, что возбужденное сознаніе вовсе не имъ произведено, что опытъ одно условіе, толчокъ,—такой толчокъ, который никакъ не можетъ отвѣчать за послѣдствія, потому что они не въ его власти, потому что сознаніе не *tabula rasa*, а *albus rugus*, дѣятельность, не внѣшняя предмету, а совсѣмъ напротивъ, внутреннѣйшая внутренность его, такъ какъ вообще мысль и предметъ составляютъ не два разные предмета, а два момента чего-то единого. Пріймите незбылемо ту или другую сторону, и вы не выпутаетесь изъ противорѣчія. Безъ опыта нѣтъ сознанія, безъ сознанія нѣтъ опыта; ибо кто же свидѣтельствуєтъ о немъ? Полагаютъ, что сознаніе имѣетъ *свойство* противодѣйствовать, такимъ-то образомъ опыту, а между тѣмъ опытъ очевидно поводъ, *rgius*, безъ котораго это свойство не обличилось бы. Не рѣшались принять мышленіе за самобытную дѣятельность, для развитія которой необходимы опытъ и сознаніе, поводъ и *свойство*, хотѣли того или другаго и впадали въ бесплодное повтореніе. Въ этихъ таутологіяхъ, непрерывно повторяющихъ противоположное, есть нѣчто, до такой степени противное человѣку, ругающееся надъ нимъ, лишенное смысла, что человѣкъ, непобѣдившій въ себѣ разсудочной точки зрѣнія, для спасенія себя отъ нихъ отрекается отъ лучшаго достоянія своего—отъ вѣры въ разумъ. Юмъ имѣлъ это мужество отрицанія, это

геройское самоотверженіе, а Локкъ остановился на полдорогѣ; оттого-то Юмъ и стоитъ головою выше Локка; логическому уму легче отрицать, легче лишиться всего дорогаго, нежели остановиться, не выводя послѣдняго заключенія изъ началъ своихъ. Вопросъ о сущности и атрибутѣ или видимомъ существованіи сущности, приводитъ къ такой же антиноміи. Разумъ, всматриваясь въ бытіе, доходитъ вскорѣ, переходя рядомъ количественныхъ и качественныхъ опредѣленій, рядомъ отвлеченій, до понятія сущности, ставящей бытіе, вызывающей его возникнуть. Бытіе стремится отразиться въ себѣ, отрѣчься отъ видоизмѣняющейся внѣшности и раскрыть свою сущность, — въ противоположность, такъ сказать, своему наружному проявленію. Но какъ только умъ захочетъ понять основу, причину, внутреннюю силу бытія помимо бытія — онъ раскрываетъ, что сущность безъ своего проявленія такой же *pop sens*, какъ бытіе безъ сущности; — чего же она сущность? Дайте ей проявленіе, тогда вы снова воротитесь въ сферу атрибутовъ, бытія; восполняющій моментъ является, какъ недостающій звукъ, который невольно напрашивается, чтобъ завершить аккордъ. Но что же значитъ эта діалектическая необходимость, которая указала на сущность, когда человѣкъ хотѣлъ остановиться на бытіи, и указала на бытіе, когда онъ хотѣлъ остановиться на сущности? Это повидимому логическій кругъ, а на самомъ дѣлѣ логическая *круговая порука*; это противорѣчіе ясно выражаетъ, что нельзя останавливаться на бѣдныхъ категоріяхъ разсудочнаго анализа, что ни бытіе, ни сущность, отдѣльно взятая, не истинны. Разсудокъ, сказалъ я выше, похожъ на реакенцію; но еще ближе можно взять сравненіе: онъ похожъ на гальваническій снарядъ, который все разлагаетъ въ из-



вѣстномъ отношеніи на двѣ части, и который не иначе отдѣляетъ одну составную часть, какъ отдѣливъ къ другому полюсу другую. Антиномія не свидѣтельствуетъ своей ложности, — совсѣмъ напротивъ, она мѣшаетъ только несправедливому дѣйствию ума, не позволяя ему принимать отвлеченіе за цѣлое; она вызнваетъ противоположное у другаго полюса, какъ улику, и показываетъ одинаковую правомѣрность его. Діалектическое движеніе сначала оскорбляетъ мыслящаго человѣка, даже исполняетъ печалью и отчаяніемъ, — своими скучными рядами и неожиданнымъ возвращеніемъ къ началу; оно оскорбляетъ его, какъ видъ домашней крыши оскорбляетъ путника, потерявшаго дорогу, и который, скитаясь цѣлые часы, видитъ, что онъ воротился назадъ; но вслѣдъ за негодованіемъ должно явиться желаніе дать себѣ отчетъ, разобрать случившееся, а этотъ разборъ рано или поздно непременно приводитъ къ высшимъ областямъ мышленія.

Локкъ поступилъ не-логически, признавъ объективность сущности, и также нелогически рѣшилъ, что сущность знать нельзя, потому только, что она неотдѣлима отъ проявленій, — въ то время, какъ въ нихъ-то и можно узнать сущность; атрибуты — языкъ, которыми высказывается внутреннее (вспомните Я. Бэма). Локкъ поступилъ не-логически, признавъ разсужденіе за источникъ знанія, въ то время, какъ все возрѣніе его основано на томъ, что въ сознаніи ничего нѣтъ, кромѣ полученнаго изъ чувствъ. Онъ на каждомъ шагу бьетъ самого себя. Скажемъ просто: „Опытъ“ Локка не выдерживаетъ никакой критики; огромный успѣхъ его основанъ на одной своевременности; метафизика матеріализма не могла развиваться, призваніе бэконовой школы вовсе не было метафизическое; великое, сдѣлан-

ное ея, сдѣлано внѣ систематики; систематика ея только хороша, какъ реакція схоластики и идеализму, и пока она себя понимала реакціей, она была полезна; но по мѣрѣ того, какъ она изъ протестаціи переходила къ чиноположенію, къ теоріи—она дѣлалась несостоятельною. Логически все воззрѣніе Локка — ошибка, такая же вопіющая ошибка, какъ всѣ построенія практическихъ областей, шедшія отъ идеализма. Вообще, Локкъ въ дѣлѣ мышленія представляетъ здравый смыслъ, начинающій имѣть притязанія на догматику, разсудительное благоразуміе, равно удаленное отъ высокаго разума, какъ и отъ пошлой глупости; его метода въ философіи то, что *esprit de conduite* въ дѣлѣ нравственности; по ней равно трудно спотыкнуться и сойти съ битой дороги. Изложеніе Локка умно, ровно, свѣтло, полно практическихъ замѣтокъ; выводы его очевидны, потому что онъ говоритъ объ одномъ очевидномъ; онъ вездѣ стремится удержаться въ золотой серединѣ, воздерживается отъ крайностей; но еще мало бояться прямыхъ слѣдствій изъ своихъ началъ въ ту и другую сторону, чтобъ возвыситься до разумнаго примиренія ихъ обѣихъ. Послѣдовательнѣе его, но изъ тѣхъ же началъ, вышелъ Кондильякъ. Кондильякъ отвергнулъ мысль, что разсужденіе можетъ быть источникомъ знанія, ибо оно не только предполагаетъ ощущеніе, но и есть не что иное, какъ ощущеніе. Онъ самое сочетаніе идей не принималъ за свободное дѣйствіе ума, но за необходимый результатъ ощущеній,—такимъ образомъ всѣ духовные процессы были сведены на ощущенія; съ другой стороны, тотъ же Кондильякъ доказывалъ, что „тѣлесные органы чувствъ составляютъ случайное начало знанія, чувственнаго ощущенія“; впрочемъ, это ему ни въ чему не послужило. Логика Кондильяка, какъ

внѣшняя механика мышленія, не лишена достоинствъ, отчетлива, ясна, пріучаетъ къ своего рода строгости и осмотрительности,—но пороха не выдумаетъ по его методѣ: это метода искусственныхъ классификацій, описанія признаковъ и проч.

Матеріалисты-метафизики совсѣмъ не то писали, о чемъ хотѣли; они до внутренней стороны своего вопроса и не коснулись, а говорили только о внѣшнемъ процессѣ; его они изображали довольно вѣрно — и никто съ ними не спорить; но они думали, что это все, и ошиблись: теорія чувственного мышленія была своего рода механическая психологія, какъ воззрѣніе Ньютона механическая космологія. Притомъ, никакъ не надобно терять изъ вида, что локкова школа рассматривала мышленіе только какъ частную, отдѣльную, личную способность одного типическаго человѣка; разумъ, какъ родовое мышленіе, пребывающее и развертывающееся въ исторіи и наукѣ, не заслужилъ ихъ вниманія; оттого у всѣхъ у нихъ не достаетъ историческаго пониманія прошлыхъ моментовъ мышленія. Ничто не можетъ быть страннѣе, какъ ихъ разборы древнихъ философовъ; даже рядомъ съ ними или почти рядомъ стоявшихъ мыслителей они никакъ не могли понять. Кондильякъ, напр., писалъ подробный разборъ Мальбранша, Лейбница и Спинозы; видно, что онъ много ихъ читалъ, но видно, что онъ ни разу не отдавался имъ, что онъ непріязненно началъ и искалъ только противопоставлять свое сказанному ими. Такъ разбирать философскихъ писателей невозможно.\*). Вообще,

\*) Кстати, вѣроятно многимъ казалось страннымъ, отчего большая часть мыслителей XVII и XVIII вѣка, читая Платона и Аристотеля, рѣшительно не понимали единства внутреннего и внѣшняго (платоновой идеи, аристотелевой энтелехіи), которое довольно ясно

матеріалісти никакъ не могли понять об'єктивность разума и оттого, само собою разумѣется, они ложно опредѣляли не только историческое развитіе мышленія, но и вообще отношенія разума къ предмету, а съ тѣмъ вмѣстѣ и отношеніе человѣка въ природѣ. У нихъ бытіе и мышленіе или распадаются, или дѣйствуютъ другъ на друга внѣшнимъ образомъ. *Природа помимо мышленія — часть, а не цѣлое* — мышленіе такъ же естественно, какъ протяженіе, такъ же степень развитія, какъ механизмъ, химизмъ, органика — только высшая. Этой простой мысли не могли понять матеріалісты; они думали, что природа безъ человѣка полна, замкнута и довольна себѣ, что человѣкъ какой-то посторонній; конечно, отдѣльно взятые естественныя произведенія не имѣютъ никакой нужды въ человѣкѣ; но если вы возьмете ихъ въ связи, вы увидите, что въ нихъ все неполно, что все ихъ счастье именно въ томъ, что они не могутъ сознать этой неполноты; организмы животные, наприм., при всей цѣлости, замкнутости, конкретности, *отвлеченны*; они, сверхъ собственного значенія,

въ воззрѣніи того и другаго; неужели это просто ограниченность? — не думаю. Новый человѣкъ такъ распался съ природой, что не можетъ легко примириться съ нею; онъ сочетавалъ большій смыслъ съ этимъ распаденіемъ, нежели грекъ. Грекамъ легко было понимать неразрывность сущности и бытія по тому, что они не понимали во всю ширину ихъ противоположности. Напротивъ, средніе вѣка именно развили до послѣдней крайности этотъ разрывъ, и мысль не токмо удовлетворилась уже греческимъ примиреніемъ, но потеряла возможность понимать его. Грекъ предавался сочувствію къ истинѣ; новому человѣку надобны были анализъ и критика; онъ убилъ въ себѣ сочувствіе рефлексіей и недоверіемъ. Грекъ никогда не отдѣлялъ ни человѣка, ни мысли отъ природы; для него сосуществованіе ихъ было событіе, не то, чтобъ совершенно отчетливо понимаемое, но фактически очевидное; новая наука въ обоихъ проявленіяхъ своихъ (реализмъ и идеализмъ) разрушала эту гармонию.

намекають на какое-то развитіе, переходящее далѣе; они исполнены указаній на нѣчто болѣе полное и развитое; эти указанія стремятся къ человѣку; чтобъ доказать это, не нужно, пожалуй, философій, достаточно сравнительной анатоміи. Въ природѣ, разсматриваемой помимо человѣка, нѣтъ возможности сосредоточенія и углубленія въ себя, нѣтъ возможности сознанія, обобщенія себя въ логической формѣ,—потому нѣтъ помимо человѣка, что мы человѣкомъ именно называемъ это высшее развитіе. Никто не удивляется, что безъ глазъ не видать, потому что глазъ составляетъ единственное орудіе зрѣнія; мозгъ человѣка—орудіе сознанія природы. Природа, какъ вѣчное несовершеннolѣтіе, покорена закону необходимому, роковому, неясному для себя, именно по недостатку *этого* развитого себя, т. е. человѣка; въ человѣкѣ законъ проясняется, становится сознаваемой разумностью; нравственный міръ на столько свободенъ отъ внѣшней необходимости, на сколько совершеннolѣтенъ, т. е. сознателенъ. Но такъ какъ въ дѣйствительности сознаніе не отдѣлено отъ бытія, не другое, а напротивъ есть его совершеніе, цѣль его домогательствъ, объясненіе его неясности, его истина и оправданіе, то и міръ физическій, освобожденный въ нравственномъ и оправданный въ немъ, оправданъ въ своихъ глазахъ. Природа, понимаемая помимо сознанія,—туловище, недоросль, ребенокъ, не дошедшій до обладанія всѣми органами, потому что они не всѣ готовы. Человѣческое сознаніе безъ природы, безъ тѣла,—мысль, не имѣющая мозга, который бы думалъ ее, ни предмета, который бы возбудилъ ее. Естественность мысли, логичность и ихъ круговая порука природы, камень преткновенія для идеализма и для матеріализма,—только онъ попался имъ подъ ноги съ

разныхъ сторонъ\*). Шеллингъ засталъ борьбу разныхъ взглядовъ на разумъ и на природу въ ея высшемъ и крайнемъ выраженіи,—когда съ одной стороны не-я пало подъ ударами Фихте и власть разума провозгласилась въ какихъ-то безконечныхъ пространствахъ холода и пустоты; съ другой, французы отрицали все нечувственное и, какъ черепословы, стремились истолковать мысль бугорками и углубленіями, а не бугорки

\*) Позвольте мнѣ привести въ заключеніе сказаннаго о Локкѣ и его послѣдователяхъ слѣдующее мѣсто изъ элементарной анатоміи Генле, Генле — прозектора, вѣчно сидящаго за микроскопомъ и, слѣдовательно, не состоящаго въ подозрѣніи идеализма. Подробно разобравъ нервную дѣятельность и энергію органа мышленія, онъ говоритъ: „Разбирая сложныя дѣйствія нашего духа, можно ихъ свести на простыя понятія или категоріи; но желаніе эти категоріи вывести изъ чего либо внѣшняго, было бы столько же безумно, какъ звуками объяснять краски. Всѣ такого рода попытки ставятъ впередъ то, что должно объяснить: такъ поступала локкова школа, хотѣвшая вывести понятія изъ внѣшняго опыта. Положеніе: *nihil in intellectu, quod non ante fuerat in sensu* до такой степени ложно, что, фізіологически говоря, скорѣе можно утверждать, что ничего не можетъ перейти изъ чувствъ въ разумъ. Внѣшнее не можетъ даже произвести ощущеній, не предшествующихъ, какъ *возможность*; гдѣ же ему проникнуть въ органъ мышленія? внѣшнее развиваетъ только усиленное въ немъ. Во взаимодействіи съ внѣшнимъ міромъ энергія чувствъ обособляется (дѣлается спеціальною) соотвѣтствующими раздраженіями, которыя, развиваясь, замѣняютъ собою первоначальныя ощущенія. Органы чувствъ составляютъ соотвѣтствующее раздраженіе органу мышленія. Пораженію чувствъ соотвѣтствуютъ извѣстныя чувственныя понятія; степень ихъ развитія находится въ соотношеніи съ прочувствованнымъ, съ прожитымъ чувствами (*von den Erlebnissen der Sinne*). Мышленіе развитое относится къ первымъ дѣйствіямъ ума почти такъ же, какъ фантазія образованнаго глаза къ мерцанію и къ цвѣтнымъ пятнамъ. Возвратиться къ первоначальнымъ понятіямъ невозможно. Исторія развитія и образъ чувствованій воспитали намъ формы, которыми мы думаемъ, и проч. См. *Allgemeine Anatomie von Henle* p. 751—2; она составляетъ VI томъ превосходнаго изданія, въ которомъ современные германскіе врачи-натуралисты почтили память своего знаменитаго учителя, J. T. Sömmering v. Baue des menschlichen Körpers.

мыслию, и онъ первый высказалъ, хотя и не вполнѣ, высокое единство, о которомъ мы говорили. Но возвратимся къ Локку и его школѣ.

Локкъ былъ робокъ и болѣе добросовѣстенъ, нежели діалектикъ; онъ безъ логической необходимости съ своей точки зрѣнія отрекся отъ начала, изъ котораго пошелъ. Признаніемъ сущности за дѣйствительность онъ окончательно призналъ самозаконность разума, которая была уже отчасти признана въ принятіи разсужденія источникомъ сложныхъ идей; какъ скоро идея сущности получила право гражданства, то неминуемо отрывалась возможность — многообразіе сущаго привести къ единству; бытіе непосредственное находитъ въ сущности свое посредство, явленіе получаетъ причину, каузальность неразрывна съ понятіемъ сущности. Но такъ какъ Спинозъ (мы увидимъ это въ послѣдующихъ письмахъ\*), чтобъ примирить картезіанскій дуализмъ съ требованіями своей глубокой логической натуры, оставался одинъ выходъ — погубить дѣйствительность явленій въ пользу сущности, что составляло своего рода выходъ изъ дуализма, такъ точно матеріализму надобно было послѣднимъ словомъ своимъ принять не робкое и шаткое полупризнаніе сущности, а полное отрѣченіе отъ нея. Сущность — та нить, которой разумъ все сдерживаетъ: перерѣжьте ее — и все рассыплется, распадется, будутъ существовать одни частныя явленія, однѣ индивидуальности, мерцающія мгновенно и мгновенно тухнущія; всеобщій порядокъ разрушится, будутъ атомы, явленія, груды фактовъ случайности, — но не будетъ стройнаго всецѣлаго, космоса — и все это прекрасно: когда односторонность дойдетъ до такой крайности,

\*) Эти письма никогда не были написаны. *Прим. изд.*

тогда она всего ближе къ выходу изъ своей ограниченности. Нѣтъ сомнѣнiя, что первый генiальный материалистъ бэконо-локкова направленiя долженъ былъ дойти до этого или отречься отъ материализма — этотъ генiй былъ Давидъ Юмъ.

Юмъ принадлежитъ къ небольшому числу мыслителей, которые покончили съ собою, которые, взявъ начала, имѣли мужество идти до послѣдствiй, не блѣднѣя ни передъ чѣмъ и твердо принимая хорошее и худое, лишь бы остаться вѣрными точкѣ отправленiя и логическому пути. Такой человѣкъ можетъ наконецъ достигнуть успокоенiя, примириться въ вѣрности своихъ выводовъ съ своими началами; пошлыхъ людей, дошедшихъ до этой невозмущаемой тишины, много; но Юмъ былъ одаренъ необычайнымъ умомъ и необычайной диалектикой, — въ томъ-то и важность. Началъ своихъ Юмъ не избиралъ: онъ ихъ нашелъ готовыми въ современномъ ему мiрѣ, въ своемъ отечествѣ; онъ къ этимъ началамъ имѣлъ симпатiю, какъ человѣкъ практическiй, какъ англичанинъ; самый образъ жизни велъ его къ нимъ: Юмъ былъ дипломатъ, историкъ, а прежде купецъ, не смотря на аристократическое происхожденiе. Разумѣется, начала бэконовской методы были ближе къ душѣ его, нежели Спиноза и Лейбница; но взявъ начала, мощный мыслитель вывелъ неумолимыя послѣдствiя; онъ выставилъ то, до чего не смѣли касаться его предшественники; тамъ, гдѣ они виляли, уступали, тамъ Юмъ кротко и благородно, но съ невѣроятной твердостью, шелъ прямымъ путемъ. Онъ спокоенъ, потому что правъ; его совѣсть чиста, онъ добросовѣстно сдѣлалъ то, за что взялся. Видали ли вы портретъ Юма? — Его черты поражаютъ васъ своей невозмущаемой ясностью и кроткимъ покоемъ; весело



сидитъ онъ въ щегольскомъ французскомъ кафтанѣ; лицо его полно, глаза блестятъ умомъ, всѣ черты одушевлены, благородны, онъ нѣсколько улыбается. Смотри на него, дѣлается отрадно, вспоминается, что въ жизни есть много хорошаго. Обернитесь къ портретамъ другихъ философовъ, близкихъ къ нему по времени, — совсѣмъ не то. Въ сухо-моральномъ лицѣ Локка соединяется выраженіе англиканскаго проповѣдника, съ строгостью матеріалиста - законодателя; лицо Вольтера выражаетъ одну злую иронію; въ немъ знаменіе гениальнаго разума какъ-то сочеталось съ чертами орангутанга; Кантъ съ своей маленькой головкой и огромнымъ лбомъ дѣлаетъ тягостное впечатлѣніе; въ лицѣ его, напоминающемъ Робеспьера, есть что-то болѣзненное; оно говоритъ о непрерывной, тяжелой работѣ, потребляющей все тѣло; вы видите, что у него мозгъ всосалъ лицо, чтобъ довѣсть огромному труду мысли; Лейбницъ съ царственно величественнымъ лицомъ, какъ Гёте, говоритъ всѣми чертами: *procul estote!* А Юмъ зоветъ къ себѣ. Это не только человекъ мысли, но человекъ жизни. Таковъ онъ и былъ; онъ умѣлъ съ высокой нравственностью и съ высокимъ умомъ сочетать качества, привязывавшія къ нему всѣхъ людей, близко къ нему подходившихъ. Онъ былъ душою небольшой кучки друзей; въ ихъ числѣ былъ и великій Адамъ Смитъ и нѣкогда Ж. Ж. Руссо, бѣжавшій изъ веселаго товарищества, гонимый раздражительной хандрой своей. Юмъ остался вѣренъ себѣ до конца; онъ сдѣлалъ передъ смертью пиръ и весело разстался съ жизнью, сжимая замиравшей рукой своей дружескія руки, улыбаясь прощальному тосту ихъ. Это была цѣльная натура! Ни Локкъ, ни Кондильякъ не могли сладить своего реализма съ наукообразными требованіями. Юмъ съ

перваго взгляда понялъ, что съ этой точки зрѣнія всѣ метафизическія требованія, всякая догматика будутъ нелѣпостью, и высказалъ это прямо и не обинуясь. Мы видѣли выше, что онъ опровергъ возможность опредѣлять достовѣрность знанія критикою ума; онъ достовѣрность считаетъ инстинктомъ, неподлежащимъ собственно умозаключенію, *предъ-разсудкомъ*. Мы приводимъ въ сознаніе не самые предметы, а образы ихъ; эти образы мы считаемъ за дѣйствія внѣшнихъ предметовъ; доказательствъ на это нѣтъ, мы принимаемъ такое отношеніе впечатлѣній къ предметамъ до развитія обсуживанія: это впередъ идетъ, это дано инстинктомъ. Источникъ знанія — опытъ, впечатлѣнія; впечатлѣнія передаютъ намъ образы и вмѣстѣ съ тѣмъ *моральное убѣжденіе, вѣрованіе*, что они соотвѣтствуютъ предметамъ сущимъ, возбудившимъ ихъ въ нашемъ сознаніи; дѣйствіями ума вывести оправданіе инстинкта невозможно; у него на это нѣтъ средствъ: изъ этого никакъ не слѣдуетъ, чтобъ инстинктъ былъ не правъ, а слѣдуетъ, что у насъ умъ ограниченъ. Чувственные впечатлѣнія, образы, собираясь въ памяти, повторяясь и сочетаясь ею различнымъ образомъ, составляютъ то, что мы называемъ идеями; всѣ идеи, все мыслимое должно быть прочувствовано. Опуская то ту, то другую сторону матеріаловъ, данныхъ впечатлѣніями, сличая ихъ, мы отвлекаемъ общее имъ, беремъ ихъ соотношенія, и этимъ путемъ уравниній достигаемъ общихъ понятій; при этомъ обобщеніи, само собою разумѣется, впечатлѣнія теряютъ долю живости, силы и своего индивидуальнаго значенія. Вѣри въ свой инстинктъ, храня въ памяти ряды впечатлѣній, человекъ различныя обобщенія и слѣдствія своихъ сравненій приписываетъ предметамъ, не имѣя ни малѣйшаго права на то; опытъ

даетъ одни частныя явленія, ощущенія и ничего всеобщаго. Видя нѣсколько разъ подобное послѣдующее отъ подобнаго предъидущаго, человѣкъ *привыкаетъ* связывать эти представленія и подчинять одно другому, называя первое причиной или силой, а другое дѣйствіемъ; ни опытъ, ни умозрѣніе не оправдываютъ такого произвольнаго принятія. Опытъ даетъ преемственный порядокъ двухъ разныхъ явленій, слѣдующихъ во времени другъ за другомъ, не раскрывая инаго соотношенія между ними; умозаключеніе каузальности явнымъ образомъ не полно,—недостаетъ цѣлаго термина: В постоянно слѣдуетъ за А, слѣдственно, А причина В; заключеніе негодное, ибо я не вижу никакого соотношенія жежду двумя разными А и В, кромѣ разсказа, что сперва явилось А, а потомъ В, и это случилось нѣсколько разъ; принимая А за причину В, за дѣйствіе, мы теряемъ послѣднюю возможность ихъ сравнить, ибо сравнивать можно одноименное, тождественное по чему нибудь, а дѣйствіе и причина — до такой степени разнородныя понятія, что сравненіе здѣсь не имѣетъ мѣста. Дѣло въ томъ, что каузальность вовсе и не основана на умозаключеніи, или на прямомъ опытѣ, а на *привычкѣ*; человѣкъ привыкаетъ отъ подобныхъ причинъ ждать непременно подобныхъ дѣйствій; еслибъ эта неперемѣнность была разумна, то разумъ и въ первый разъ долженъ былъ ждать того же дѣйствія; но онъ его не ждалъ, а ждалъ во второй разъ, потому что началъ привыкать. То, что здѣсь говорится о каузальности, прилагается очень легко и къ понятіямъ необходимости и сущности. Опытъ не даетъ нигдѣ и ни въ чемъ никакихъ необходимыхъ соотношеній, а даетъ совокупное и современное сосуществованіе, многоразличія. Слово „сущность“ — собирательное имя многихъ

простыхъ идей, совмѣщаемыхъ въ одно ; мы никакого понятія не имѣемъ о сущности, кромѣ полученнаго изъ связи разныхъ явленій и свойствъ, схваченныхъ нами ; идеи, по видимому, чрезъ сое иненіе по сходству, совокупности, одновременности, каузальности, становятся вѣрѣе, общѣе ; но если вглядѣться, то всѣ эти обобщенія приводятъ къ повторенію одного и того же разными образами (дѣйствіе—раскрытая причина ; причина закрытая—необнаруженное дѣйствіе). Напримѣръ, человѣческое я, т. е. понятіе самости, представляется въ родѣ сущности всѣхъ явленій, составляющихъ жизнь человѣка ; въ основѣ понятія о нашемъ я, не лежитъ тоже ничего дѣйствительнаго. Понятіе я есть признаніе непрерывно продолжающейся самости, стало быть, и впечатлѣніе производящее его, должно быть непрерывно ; но такого впечатлѣнія нѣтъ : самость наша состоитъ изъ совокупности многихъ другъ за другомъ слѣдующихъ впечатлѣній ; мы придаемъ этой совокупности вымышленную связь, называемую я. Мысль эта возникаетъ отъ понятія непрерывности предмета съ одной стороны и отъ понятія послѣдовательности разныхъ предметовъ, другъ за другомъ находящихся въ соотношеніи ; чѣмъ болѣе мы замѣчаемъ характеръ постепенной послѣдовательности, тѣмъ менѣе можемъ мы ихъ отличать другъ отъ друга, и чтобъ скрыть противорѣчіе, основанное на удержаніи непрерывности и послѣдовательности, человѣкъ выдумываетъ субстанцію или самость своего я, *какъ невѣдомое нѣчто, сохраняющее тождество съ собою въ перемѣнѣ.*

Consomatum est ! Дѣло матеріализма, какъ логическаго момента, совершилось ; далѣе идти теоретически было невозможно. Вселенная распалась на бездну частныхъ явленій, наше я на бездну частныхъ ощущеній ; если

между явленіями и между ощущеніями раскрывается связь, то эта связь, во первыхъ, случайна, во вторыхъ, лишаетъ полноты и жизненности то, что связываетъ ; наконецъ, таутологически повторяетъ то же самое на другомъ языкѣ. Связь эта ни логической, ни эмпирической достовѣрности не имѣетъ ; ея критеріумъ — инстинктъ и привычка. Умъ опровергаетъ инстинктъ, но очевидность за него ; инстинктъ практически опровергаетъ умъ, хотя, съ своей стороны, доказательствъ ни на что не имѣетъ. Хотѣли одною чувственной достовѣрностью дойти до истины ; Юмъ привелъ къ истинѣ чувственной достовѣрности, остановившейся на рефлексіи, и что же случилось ? Дѣйствительность разума, мысли, сущности, каузальности, сознаніе своего я — исчезли ; Юмъ доказалъ, что этимъ путемъ — только до этихъ слѣдствій и можно дойти. Но можно ли по крайней мѣрѣ схватиться, какъ за послѣдній якорь спасенія, за инстинктъ, за вѣру въ впечатлѣніе ? Ни подъ какимъ видомъ. Вѣра въ дѣйствительность впечатлѣній — дѣло воображенія и отличается отъ прочихъ вымысловъ его только невольнымъ чувствомъ достовѣрности, основанной на большей живости впечатлѣній, происходящихъ болѣе отъ дѣйствительныхъ предметовъ, нежели отъ вымышленныхъ. Вѣра эта, прибавляетъ Юмъ, точно такъ же принадлежитъ звѣрямъ, какъ и человѣку ; она не подлежитъ никакому оправданію умомъ ! Что Декартъ сдѣлалъ въ области чистаго мышленія своей методой, то сдѣлалъ практически въ сферѣ разсудочной науки Юмъ. Онъ очистилъ входъ въ науку отъ всего даннаго, впередъ-идущаго ; онъ заставилъ матеріализмъ сознаться въ невозможности дѣйствительнаго мышленія съ его односторонней точки зрѣнія. Пустота, къ которой Юмъ привелъ, должна была сильно

потрясти людское сознание, а выйти изъ нея нельзя было ни методомъ тогдашняго идеализма, ни робкимъ локковымъ матеріализмомъ. Требовалось иное рѣшеніе: голосъ Юма вызвалъ Канта.

Но прежде, нежели мы займемся имъ и его предшественниками со стороны идеализма, взглянемъ, что дѣлала бэконова школа по ту сторону Па-де-Калё.

Реализмъ явнымъ образомъ перешелъ во Францію изъ Англіи; даже ироническій тонъ, легкая литературная одежда мысли, теорія себялюбивой полезности и дурная привычка кощунства—все это перешло изъ Англіи. Что же сдѣлали французы? За что въ памяти нашей слова реализмъ, матеріализмъ неразрывны съ именами французскихъ писателей XVIII вѣка? Если вы возьметесь за логическій остовъ, за теоретическую мысль въ ея всеобщности, — то увидите, что французы почти ничего не сдѣлали, да и не могли собственно ничего сдѣлать: съ точки зрѣнія реализма и эмпиріи одна метода — ее изложилъ Бэконъ; въ матеріализмѣ далѣе Гоббса идти нѣкуда, развѣ броситься въ скептицизмъ—но и тутъ все было исчерпано Юмомъ. Между тѣмъ, французы сдѣлали дѣйствительно очень много, и въ исторіи они не даромъ остались представителями науки XVIII столѣтія. Мы уже нѣсколько разъ имѣли случай замѣтить, что отвлеченная логическая схематика всего менѣе способна уловить не наукообразную по формѣ, но богатую по содержанію *философію* эмпиріи. Здѣсь это очевидно; если вы взглянете не на нѣсколько бѣдныхъ теоретическихъ мыслей, отъ которыхъ равно отправлялись англичане и французы, но на развитіе, которое эти мысли получали у англичанъ и французівъ—тогда увидите, что Франція несравненно болѣе совершила, нежели Англія. Британцамъ принадлежитъ только честь

почина. Энциклопедисты въ области науки сдѣлали точно то же изъ Локка, что бретонскій клубъ, во время революціи, сдѣлалъ изъ англійской теоріи конституціонной монархіи: они вывели такія послѣдствія, которыя или не приходили англичанамъ въ голову, или отъ которыхъ они отворачивались. Это совершенно сообразно національному характеру двухъ великихъ народовъ.

Всякій общій вопросъ дѣлаютъ Англичане мѣстнымъ, національнымъ; всякій мѣстный, частный вопросъ становится общечеловѣческимъ у французовъ. Какой бы перемѣны англичанинъ ни хотѣлъ, онъ хочетъ сохранить и бывшее, въ то время, какъ французъ прямо и открыто требуетъ новаго; доля души англичанина въ прошедшемъ: онъ человѣкъ по преимуществу историческій, онъ привыкъ съ дѣтства благоговѣть передъ бывшимъ своей родины, уважать ея законы, ея обычаи, ея повѣрья; и это очень понятно: прошедшее Англіи *достойно уваженія*; оно такъ величаво и стройно развивалось, оно такъ гордо становилось стражей человѣческаго достоинства еще во времена мрачнаго безправія — что нельзя британцу оторваться отъ святыхъ воспоминаній своихъ; это благочестіе къ прошедшему кладетъ узду на него. Англичанину кажется неделикатнымъ переходить нѣкоторые предѣлы, касаться нѣкоторыхъ вопросовъ, и онъ, до педантизма строгій читатель приличій — покоряется ихъ условнымъ законамъ. Баконъ, Локкъ, моралисты, политическіе экономы Англіи, парламентъ, пославшій Карла I на эшафотъ, Стафортъ, хотѣвшій нисповергнуть власть парламента, — всѣ стремятся прежде всего показать себя консерваторами, всѣ двигаются спиною впередъ и не хотятъ сознаться, что идутъ по новой и неразработанной почвѣ. Въ мысли островитянина есть всегда что-то ограниченное; она

опредѣленна, положительна, тверда, но съ тѣмъ вмѣстѣ видны берега, видны предѣлы. Англичанинъ перерываетъ нить своей мысли на томъ мѣстѣ, гдѣ она отклоняется отъ существующаго порядка, и порванная нить слабнетъ на всемъ протяженіи\*). Уваженія къ прошедшему, обуздывавшаго англичанина, не было у французовъ. Людовикъ XIV такъ же мало уважалъ прошедшее, какъ Мирабо; онъ открыто бросилъ перчатку преданію. Французы узнали свою исторію въ нашемъ вѣкѣ, — въ прошломъ они дѣлали свою исторію; но не знали, что они продолжаютъ, они только знали исторію Рима и Греціи—переложенную на французскіе нравы, разрушенную, натянутую. Въ то время, о которомъ мы говоримъ, французы хотѣли *все вывести изъ разума*: и гражданскій бытъ и нравственность,—хотѣли опереться на одно теоретическое сознаніе и пренебрегали завѣщаніемъ прошедшаго, потому что оно не согласовалось съ ихъ аргіогі, потому что оно мѣшало какимъ-то непосредственнымъ, готовымъ бытомъ, ихъ отвлеченной работѣ умозрительнаго, сознательнаго построенія, и французы не только не знали своего прошедшаго, но были врагами его. При такомъ отсутствіи всякой узды, при пламенно-энергическомъ характерѣ, при быстромъ

\*) Только Шекспиръ и Гоббсъ не подойдутъ сюда; поэтическое созерцаніе жизни, глубина пониманья ея дѣйствительно безпредѣльна у Шекспира; Гоббсъ былъ до чрезвычайности смѣлъ и konsekventъ, но объ немъ можно сказать то, что Мирабо сказалъ о Барнавѣ: „Твои глаза холодны, на тебѣ нѣтъ помазанія.“ Байронъ — Юмъ поэзія—принадлежитъ уже къ *другой* Англіи, къ той, которая, долго не переводя духа, именно съ года рожденія Байрона (1788), съ судорожнымъ вниманіемъ смотрѣла на революцію и какъ Гаррикъ одной частью лица улыбалась, а другою плакала, — къ той Англіи, которая, отправляя Белерофонъ, вскрикнула: „я побѣдила!“ и сама покраснѣла отъ такой побѣды.



соображеніи, при непрерывной дѣятельности ума, при дарѣ блестящаго, увлекательнаго изложенія — само собою разумѣется, они должны были далеко оставить за собою англичанъ.

Умозрительное движеніе, сильно возбужденное Декартомъ и его послѣдователями, потухало. Развиватели Декарта были не по характеру французамъ; они охотнѣе читали и лучше понимали Рабле и Монтаня, нежели Мальбранша. Самъ Вольтеръ упрекаетъ Лейбница въ томъ, что онъ *слишкомъ* глубокомысленъ. При такомъ слоѣ ума, ничего не могло быть естественнѣе и своевременнѣе, какъ распространеніе во Франціи англійской философіи въ началѣ XVIII вѣка. Развитие и опрощеніе Бэкона и Локка, развитие и опрощеніе *самой* популярной, правоучительной философіи англичанъ было сдѣлано во Франціи мастерскими руками; никогда такая огромная сумма всеобщихъ свѣдѣній не была приводима въ форму болѣе общедоступную; никакое философское ученіе не имѣло такого обширнаго круга примѣняемости, такого мощнаго практическаго вліянія; труды англичанъ совершенно затмились изложеніемъ французовъ. Франція воспользовалась всѣмъ засѣяннымъ въ Англіи: Англія имѣла Бэкона, Ньютона — Франція рассказала всему міру ихъ мысли; Англія предложила робкій матеріализмъ Локка — во Франціи онъ развился въ дерзость Ольбаха съ товарищами; Англія вѣка жила высокой юридической жизнію — французъ написалъ *De l'esprit des lois*; Англія вѣка жила въ гордомъ сознаніи, что нѣтъ полнѣе государственной формы какъ ея, а Франціи достаточно было двухъ лѣтъ *de la Constituante*, чтобъ обличить несообразности этой формы.

Когда Эльвецій издалъ свою извѣстную книгу *De l'esprit*, одна дама замѣтила: *c'est un homme qui a dit le se-*

cret de tout le monde. Можетъ быть, женщина, съ чрезвычайной вѣрностью опредѣлившая не только Эльвеція, но и всѣхъ французскихъ мыслителей XVIII столѣтія, говоря это, не вполне оцѣнила, что сказать то, о чемъ другіе молчатъ, несравненно труднѣе, нежели сказать то, о чемъ другимъ въ голову не приходило. Энциклопедисты дѣйствительно разболтали общую тайну, и за это ихъ обвинили въ безнравственности, а они собственно не были безнравственнѣе тогдашняго парижскаго общества,—они были только смѣлѣе его. Люди тогда начинаютъ имѣть *секреты*, когда нравственный бытъ ихъ распадается; они боятся замѣтить это распаденье и судорожною рукою держатся за формы — утративъ сущность; изношеннымъ рубищемъ прикрываютъ они раны, какъ будто раны заживутъ оттого, что ихъ не видать. Въ такія эпохи всего злѣе и ревностнѣе вступаются за обличенье тайнъ нравственнаго быта, и надобно имѣть большое мужество, чтобъ высказывать громко вещи, потихоньку извѣстныя каждому — за подобную дерзость былъ казненъ Сократъ. Гласность и обобщенье злѣйшіе враги безнравственности; порокъ кроется въ мракѣ, развратъ боится свѣта: для него темнота необходима, не только для скрытности, но для усиленія нечистыхъ упоеній, жаждущихъ запрещеннаго плода; порокъ, вызванный на свѣтъ, теряется; ему становится неловко при открытыхъ дверяхъ, и онъ или исчезаетъ, или очищается; та же самая гласность оправдываетъ многое, считавшееся порочнымъ по сбивчивымъ понятіямъ, по искаженнымъ преданіямъ — и радостно расширяетъ кругъ, скажемъ смѣло, самимъ страстямъ, когда онѣ не противорѣчатъ призванію нравственнаго существа. Философы XVIII столѣтія раскрыли двоедушіе и лицемеріе современнаго имъ міра; они

указали ложь въ жизни, противорѣчіе офіціальной морали съ частнымъ поведеніемъ. Общество толковало о строгихъ нравахъ, гнушалось всѣмъ чувственнымъ — и предавалось самому нечистому распутству: философы сказали во всеуслышаніе, что чувства имѣютъ свои права, но что одно чувственное не можетъ удовлетворить развитаго человѣка, что высшіе интересы жизни тоже имѣютъ свои права. Эгоизмъ доходилъ до безобразія въ обществѣ и скрывался подъ личиною самоотверженія, презрѣнія къ богатству: философы доказали, что эгоизмъ — одинъ изъ необходимыхъ элементовъ всего живаго, сознательнаго и, оправдывая его, раскрыли, что человѣческій эгоизмъ — не только чувство личной любви къ самому себѣ, но, сверхъ того, чувство любви къ роду, къ человѣчеству, къ ближнему\*).

Обличеніе всеобщей тайны и отрицаніе прежней морали шло быстро впередъ. При Людовикѣ XIV фенелонъ „Телемакъ“ считался страшной книгой. Регентъ издалъ ее на свой счетъ; въ началѣ своего поприща, Вольтеръ поражаетъ дерзостью; черезъ двадцать лѣтъ Гримъ пишетъ: „патріархъ нашъ отсталъ и упорно держится за дѣтскія вѣрованія свои.“ Вольтеръ и Руссо почти современники, а какое разстояніе дѣлитъ ихъ! Вольтеръ еще борется съ невѣжествомъ за цивилизацію, — Руссо клеймитъ уже позоромъ самую эту искусственную цивилизацію. Вольтеръ дворянинъ стараго вѣка, открывающій двери изъ раздушенной залы рококо въ новый вѣкъ; онъ въ галунахъ, онъ придворный, онъ разъ былъ на большомъ выходѣ, и когда Людовикъ XV

\*) Надобно видѣть, какъ живо, или увлекательно дѣлаетъ именно этотъ переходъ отъ эгоизма къ любви глубокомысленнѣйшій изъ всѣхъ энциклопедистовъ, Дидро, если не ошибаюсь въ своемъ „*Essai sur le mérite et la vertu*“.

проходилъ—церемоніймейстеръ назвалъ по имени Франсуа-Мари-Аруэта; по другую сторону двери стоитъ плебей Руссо, и въ немъ ничего ужъ нѣтъ du bon vieux temps. Ёдкія шутки Вольтера напоминаютъ герцога Сен-Симона и герцога Ришельё; остроуміе Руссо ничего не напоминаетъ, а предсказываетъ остроты Комитета Общественнаго Благосостоянія. Въ 1720 году вышли „Lettres Persanes“ Монтескьё, и Парижъ былъ до того *скандализованъ* смѣлостью этой книги, что регентъ, смѣявшійся отъ души надъ письмами Рики, Узбека, долженъ былъ уступить общественному мнѣнію, и для приличія немного потѣснить автора; лѣтъ черезъ пятьдесятъ, напечатана въ Лондонѣ „Système de la nature“ Ольбаха et Cie и не токмо не удивила никого, но общественное мнѣніе смѣялось надъ гоненіемъ подобныхъ книгъ. Впрочемъ, далѣе идти было нѣкуда. Эта книга—заключеніе французскаго матеріализма, это лапласовское „j'ai dit tout“! Послѣ этой книги можно было дѣлать частныя приложенія, можно было комментировать Système de la nature—par le Culte de la Raison; но далѣе идти въ дерзости отрицанія невозможно. Съ ограниченной точки зрѣнія разсудочной дѣятельности, при безбоязненномъ и послѣдовательномъ умѣ, непременно надобно было дойти до Юма или до Ольбаха, Грима, Дидро, т. е. до скептицизма, оставляющаго васъ темной ночью на краю пропасти, или до матеріализма, ничего не понимающаго, кромѣ вещества и тѣла, и именно потому не понимающаго ни вещества, ни тѣла въ ихъ дѣйствительномъ значеніи. Дойдя до этихъ предѣловъ, мышленіе человѣческое стало искать иныхъ путей, но ужъ не англичане, не французы нашли и расчистили ихъ, а германцы, приготовившіеся къ подвигу науки постомъ двухвѣковаго бездѣйствія,—германцы, сосре-

доточившіеся въ думѣ, оставившіе жизнь, потому что жизнь для нихъ въ XVII и XVIII столѣтіи была невыносима\*), германцы, хранившіе свято книги Спинозы и книги Лейбница и приученные къ страшному умственному напряженію вольфіанизмомъ.

Энциклопедисты были односторонни до нелѣпости, но они не были такъ плоско-поверхностны, какъ думали объ нихъ нѣмцы, судя по общедоступному языку ихъ. Въ сказкахъ повѣствуютъ о какомъ-то скороходѣ, который, чтобъ не слишкомъ быстро бѣгать, привязывалъ себѣ ядра къ ногамъ; привыкнувъ ходить съ ядрами, я полагаю, онъ очень неловко ходилъ безъ нихъ. Нѣмцы привыкли читать въ потѣ лица тяжелые философскіе трактаты. Когда имъ попадается въ руки книга, отъ которой не трещитъ лобъ, они думаютъ (или, правильнѣе, думали лѣтъ двадцать тому назадъ), что это пошлость.

Если вы сколько нибудь припоминаете развитіе науки, изложенное нами въ письмахъ, то вамъ ясна историческая необходимость Декарта и Бэкона; вы видѣли, что средневѣковой дуализмъ, переходя изъ бытоваго устройства въ сферу теоретическую, и переносъ въ нее двуначалье свое, пошелъ двумя путями — путемъ идеализма и путемъ реализма. Какъ скоро вы допустите необходимость Декарта и Бэкона, или, лучше, ихъ ученій — то вы должны будете ждать, что и то и другое направленіе разовьется до послѣдней крайности, до нелѣпости, если хотите. Крайность реализма выразили энциклопедисты; они такъ же дѣйствительно, такъ же вѣрно, такъ же полно представляютъ свою сторону духа человѣческаго, какъ идеалисты свою; и такъ же

\*) *Сопѣтну* почтять, напр., Шлоссера „Исторію XVIII столѣтія.“

какъ они обусловлены временемъ, послѣ котораго и тѣ и другіе должны потерять свои исключительныя притязанія и соединиться въ одно стройное пониманіе истины. Къ этому примиренію, повторяемъ, стремился Шеллингъ и всѣ послѣдователи его; ему-то обширныя основанія воздвигнулъ Гегель — остальное додѣлаетъ время. Языкъ двухъ противоположныхъ воззрѣній еще слишкомъ разенъ; не достаетъ взаимнаго уваженія, не достаетъ безпристрастія. Конечно, натуры сильныя становятся выше личныхъ мнѣній, или мнѣній своей партіи. Гегель, напр., началъ въ своей исторіи говорить о бэконовскомъ воззрѣніи и его школѣ свысока; но мало по малу, перелистывая сочиненія знаменитыхъ дѣятелей того времени, вживаясь въ нихъ, онъ воспламеняется, увлекается практическими мыслителями до того, что голосъ его дрожитъ отъ глубокаго одушевленія, рѣчь становится восторженна, какой-то трепетъ пробѣгаетъ по груди, и эти люди ограниченной мысли начинаютъ ему казаться чуть ли не крестовыми рыцарями, вдохновенно идущими за развернутымъ знаменемъ разума!... И Гегель съ горькой улыбкой обращается потомъ къ родному идеализму и говоритъ: „А въ Германіи въ это время возились съ лейбниц-вольфовскою философіей, съ ея опредѣленіями, аксіомами, доказательствами“ \*).

Село Соколово. — Сентябрь, 1845 г.

\*) „Geschichte der Philosophie“, Т. III, р. 529.



## РАЗСКАЗЫ О ВРЕМЕНАХЪ МЕРОВИНГСКИХЪ

( Предисловіе къ первому разсказу )

~~~~~

Извѣстность Огюстина Тьерри, столь справедливо заслуженная новымъ его взглядомъ на событія французской исторіи и увлекательнымъ разсказомъ самихъ событій, давно дошла до насъ; но на этомъ поверхностномъ знакомствѣ мы и остановились; ни одно сочиненіе Огюстина Тьерри не переведено еще на русскій языкъ. Положимъ, что его „Письма объ Исторіи Франціи,“ его „Десятилѣтніе историческіе труды“ для нашей публики слишкомъ спеціальны и отчасти лишены интереса, потому что обсуживаютъ и разрѣшаютъ вопросы, невозникавшіе въ ней и къ которымъ она равнодушна; но его „Завоеваніе Англіи Норманнами“ и „Разказы о Временахъ Меровингскихъ,“ изданныя въ прошломъ году,—великія, обширныя эпопеи, въ которыхъ событія и индивидуальности воссоздаются съ какой-то художественной рельефностью; въ которыхъ давнопрошедшіе вѣка выходятъ изъ могилы, стряхаютъ съ себя пыль и прахъ, обростаюť плотію и снова живутъ передъ вашими глазами; эти эпопеи имѣютъ интересъ всеобщій, какъ художественныя реставраціи Вальтера Скотта, какъ мрачныя портреты Тацита. Желая передать въ „Отечественныхъ Запискахъ“ нѣсколько разсказовъ о Меровингахъ, мы обращаемъ вниманіе читателей на *чисто повѣствователь-*

ный характеръ историческихъ сочиненій Огюстина Тьерри:—въ этомъ тайна его чрезвычайнаго успѣха, въ этомъ свидѣтельство его яснаго сознанія французскаго духа, и его симпатія съ нимъ; онъ остался вѣренъ ему, не смотря на общее увлеченіе молодой школы къ теоретическимъ мудрованіямъ въ исторіи, онъ писалъ *разказы*, а не философствованія по поводу исторіи, (какъ, напримѣръ, Мишлè). Истинная, единая философія, философія-наука не дается еще французамъ, и эклектизмъ Кузена — такъ же мало философія, какъ пространное опроверженіе его, написанное, можетъ быть, сильнѣйшей спекулативной головой, какая теперь есть на лицо во Франціи, Пьеромъ Леру\*). Гдѣ нѣтъ философіи какъ науки, тамъ не можетъ быть и твердой, послѣдовательной философіи исторіи, какъ бы ярки и блестящи ни были отдѣльныя мнѣнія, высказанныя тѣмъ или другимъ\*\*). Тьерри, повторяемъ, остался вѣренъ французскому духу: онъ *разсказываетъ* бывшее прошедшихъ вѣковъ, внося въ разсказъ свой всю живость и увлекательность француза и, не смотря на то, что каждая строка его повѣствованій твердо опирается на множествѣ цитатъ и ссылокъ, разказы его существуютъ самобытно и независимо отъ нихъ; всѣ матеріалы сплавились въ нѣчто органически живое, въ свободное художественное произведеніе въ мощномъ горнилѣ таланта, и нигдѣ не осталось „запаха лампы,“ не смотря на то, что много масла было сожжено имъ въ продолженіи двадцатилѣт-

\*) *Réfutation de l'éclectisme, où se trouve exposée la vraie définition de la philosophie etc.* par P. Leroux. 1859. Paris.

\*\*) Напримѣръ, множество чрезвычайно вѣрныхъ и глубокихъ мыслей у Бюше; въ статьяхъ „Новой Энциклопедіи,“ издаваемой Леру, въ прежнемъ *Revue Encyclopédique* и въ многихъ другихъ сочиненіяхъ.



нихъ глубочайшихъ изысканій и трудовъ. Для того, чтобъ оцѣнить всю прелесть его разсказа, поставьте рядомъ съ нимъ какогонибудь Капфига : онъ, въ сравненіи съ Тьерри, вамъ покажется несчастной каріатидой, раздавленной множествомъ матеріаловъ, актовъ ; жалкимъ труженикомъ, выписывающимъ тамъ и сямъ по страницѣ ; и какъ бы выписки его ни были занимательны сами въ себѣ, весь трудъ мертвъ, все вмѣстѣ — сухая компиляція. Не говоря уже о томъ, что одно глубочайшее изученіе своего предмета, жизнь въ немъ, могла сообщить разсказу Тьерри его одушевленіе и вѣрность, надобно припомнить, что для него изученіе исторіи имѣло современный, живой, общественный интересъ : онъ принялся за древнюю Францію, чтобъ уяснить себѣ тяжкіе вопросы о новой Франціи, въ которой онъ жилъ и для которой жилъ\*). Такое направленіе сообщило еще болѣе энергіи его труду, и въ самомъ направленіи этомъ онъ опять находится въ той области, гдѣ французъ дома и полонъ поэзіи. Но не думайте, чтобъ онъ внесъ какуюнибудь *aggrégée pensée*, какуюнибудь свою задушевную теорію въ свои изслѣдованія (какъ нѣкогда Буленвилье, Мабли и проч.), — для этого онъ слишкомъ ученъ, слишкомъ талантливъ, слишкомъ добросовѣстенъ.

Самая личность Тьерри занимательна. Страдалецъ науки, онъ потерялъ зрѣніе въ 1826 году отъ непрерывныхъ занятій ; рушились всѣ его предпріятія, всѣ замыслы ; горестъ начинала овладѣвать имъ, какъ вдругъ явился юный, тогда еще безвѣстный помощникъ, замѣнившій ему съ теплою симпатіей глаза и руку ; посред-

\*) См. въ *Dix ans d'études historiques*, par A. Thierry, предисловіе и въ особенности статьи, писанныя отъ 1819 до 1821 года.

ствомъ его слѣпецъ *помирися съ мракомъ*<sup>\*)</sup>; имя этого юноши впоследствии сдѣлалось довольно громко, и бѣдному Тьерри пришлось плакать на его могилѣ : то былъ извѣстный Арманъ Каррель. Когда историкъ возобновилъ свои занятія, болѣзненный организмъ его еще разъ объявилъ войну духу : совершенно больной и изнеможенный, онъ долженъ былъ оставить Парижъ ; но болѣзни не побѣдили его. Вотъ, что писалъ онъ въ мѣстечкѣ Везуль 10 ноября 1834 : „Если интересы науки считать на ряду съ великими національными интересами, то я далъ родинѣ все, что можетъ дать ей солдатъ, изувѣченный на полѣ битвы. Какова бы ни была участь моихъ трудовъ, примѣръ этотъ не долженъ погибнуть ; пусть онъ будетъ уликой противъ нравственнаго изнеможенія—этой язвы новаго поколѣнія ; пусть укажетъ онъ на прямую дорогу жизни кому нибудь изъ этихъ разслабленныхъ, жалующихся на недостатокъ вѣрованій, незнающихъ куда дѣться, гдѣ найти любовь и убѣжденія... Развѣ въ наукѣ нѣтъ убѣжища, пристани, надежды? Съ нею не такъ тягостно идутъ дурные дни, съ нею жизнь употреблена благородно... Слепой и страждущій безнадежно, я могу свидѣтельствовать, и моему свидѣтельству должно дать вѣру : есть въ мірѣ нѣчто драгоцѣннѣе матеріальныхъ наслажденій, богатства, самаго здоровья — *любовь къ наукѣ*.“ И эта благородная любовь на столько восторжествовала надъ мракомъ и недугами, что въ 1840 году вышли двѣ изящныя книжки „Разсказовъ о Временахъ Меровингскихъ“, которые Тьерри твердо намѣренъ продолжать. Единодушныя рукоплесканія цѣлой Франціи встрѣтили новый трудъ

<sup>\*)</sup> « J'avais fait amitié avec les ténèbres », говоритъ Тьерри. Какое умиленное, вроткое выраженіе ! (Dix Ans. Préface).

историка; Франція щедро наградила страждущаго инвалида науки — объ этомъ писали во всѣхъ газетахъ. Отрывки изъ „Разсказовъ“ были напечатаны въ его „Dix Ans“ и въ „Revue des Deux Mondes“ \*). На этотъ разъ мы предлагаемъ „первый разсказъ“ по исправленному и дополненному тексту вновь вышедшей книги. Сверхъ того, намъ казалось необходимымъ присоединить къ разсказу письмо Тьерри къ издателю «Revue des Deux Mondes,» чтобъ разомъ поставить читателя на ту точку зрѣнія относительно временъ меровингскихъ, съ которой всего правильнѣе долженъ освѣтиться рядъ слѣдующихъ картинъ. Вотъ это письмо\*\*):

„ М. Г. Съ давняго времени утвердилось и распространилось до пошлости мнѣніе, что нѣтъ періода въ нашей исторіи безплоднѣе и запутаннѣе періода меровингскаго. О немъ говорятъ на-скоро, сокращаютъ его, скользятъ по немъ безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти. Мнѣ кажется, въ этомъ пренебреженіи больше лѣни, нежели истины, и если отчасти справедливо, что исторія Меровинговъ запутана, во ужь вовсе несправедливо, что она безплодна. Напротивъ, это время исполнено происшествій рѣзкихъ, личностей выразительныхъ, случаевъ драматическихъ, такъ что затрудненіе собственно сводится на приведеніе въ порядокъ огромнаго количества матеріаловъ. Вторая половина шестаго столѣтія въ особенности богата интересами для современныхъ историковъ и читателей — потому ли, что то было время

\*) N° du 15 Décembre 1833 et du 15 Juillet 1834.

\*\*) N° du 15 Août 1833. Оно не перепечатано въ его «Récits» и не было въ томъ нужды, послѣ его пространной и прекрасной диссертациі «Considérations sur l'histoire de France», служащей какъ бы введеніемъ къ нимъ.

начальнаго смѣшенія между туземцами и побѣдителями, запечатлѣвшаго ее поэтическимъ характеромъ, или она такъ оживлена для насъ простосердечнымъ лѣтописцемъ своимъ, Георгіемъ-Флоренціемъ-Григоріемъ, извѣстнымъ подъ именемъ Григорія Турскаго. Въ самомъ дѣлѣ, надобно спуститься до временъ Фруасара, чтобъ найти повѣствователя, который могъ бы равняться ему въ искусствѣ драматически выводить людей на сцену. Въ его рассказахъ, иногда забавныхъ, иногда печальныхъ, но всегда истинныхъ и оживленныхъ, выставляются перепутанными и смѣшанными всѣ борьбы, всѣ противоположности племенъ, сословій, состояній, вызванныхъ въ Галлію франкскимъ завоеваніемъ. Это галерея картинъ и изваяній, въ безпорядкѣ расположенныхъ; это древнія народныя пѣснопѣнія, случайно собранныя вмѣстѣ, и слѣдующія другъ за другомъ безъ всякаго порядка; но изъ нихъ рука искусная можетъ образовать великую поэму. Григорій Турскій и его современники, однимъ словомъ, прекрасный предметъ для художественнаго и историческаго произведенія.

„Если я не осмѣливаюсь предпринять этого труда во всей его обширности, если вся поэма выше силъ моихъ, я могу по крайней мѣрѣ обѣщать вамъ нѣсколько эпизодовъ, нѣсколько отрывковъ, которые дадутъ истинное понятіе о странномъ смѣшеніи людей и фактовъ, наполняющемъ періодъ меровингскій. Мое дѣло будетъ—собрать разсѣянные, несвязанные между собою случаи и подробности и составить изъ нихъ массы повѣствованій. Быть королевскій, внутренняя жизнь ихъ дворцовъ, буйство вельможъ и насилія, междоусобныя войны и войны частныя, коварная мятежность Галло-Римлянъ и дикая необузданность варваровъ, духъ возмущенія и самоуправства, распространенный даже за стѣны жен-

скихъ монастырей—вотъ картины, которыя я хочу набросать по современнымъ памятникамъ и которыхъ совокупность должна возстановить Галлію шестаго вѣка. Я изучу до малѣйшихъ подробностей судьбу историческихъ лицъ, буду слѣдовать за ними черезъ всѣ фазы ихъ существованія и постараюсь дать реальность и жизнь тѣмъ, которые были наиболѣе оставлены въ тѣни новѣйшею исторіей. Наконецъ, надъ всѣми ими будутъ господствовать три индивидуальности, типически выражающія свой вѣкъ: Фредегонда, Еоній Муммоль и самъ Григорій Турскій; Фредегоода—идеаль первонаачальнаго варварства безъ всякаго сознанія добра и зла; Муммоль—образованный человѣкъ, который по доброй волѣ *развращается* въ варварство для того, чтобъ быть современнымъ; Григорій Турскій—человѣкъ прошедшаго но прошедшаго лучшаго, нежели тягостное настоящее, вѣрное эхо скорбныхъ звуковъ, исторгавшихся у благородныхъ сердець при видѣ гибнущей цивилизаціи!“



## ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ДРАМЫ

Сердце жертвуетъ родъ — лицу,  
разумъ лицо — роду. Человѣкъ безъ  
сердца — не имѣетъ своего очага;  
семейная жизнь зиждется на серд-  
цѣ; разумъ — *ges publica* человѣка.

*Изъ какой-то тѣмной книги.*

Отличительная черта нашей эпохи есть *grübeln*. Мы не хотимъ шага сдѣлать, не выразумѣвъ его, мы безпрестанно останавливаемся какъ Гамлетъ и думаемъ, думаемъ... Нѣкогда дѣйствовать; мы переживаемъ непрерывно прошедшее и настоящее, все случившееся съ нами и съ другими, — ищемъ оправданій, объясненій, доискиваемся мысли, истины. Все окружающее насъ подверглось пытующему взгляду критики. Это болѣзнь промежуточныхъ эпохъ. Встарь было не такъ: всѣ отношенія, близкія и дальнія, семейныя и общественныя были опредѣлены — справедливо ли, нѣтъ ли, — но опредѣлены. Оттого много думать было нѣчего: стояло сообразоваться съ положительнымъ закономъ, и совѣсть удовлетворялась. Все существующее казалось тогда натурально, какъ кровообращаніе, пищевареніе, которыхъ причина и развитіе спрятаны за спиною сознанія, но дѣйствуютъ своимъ порядкомъ, безъ того, чтобъ мы объ нихъ заботились, безъ того, чтобъ мы ихъ пони-

мали. На всѣ случаи были разрѣшенія; оставалось жить по писанному. А если и являлись когда сомнѣнія, ихъ легко было разрѣшить; стоило спросить папу, напрымѣръ, или обмакнуть руку въ кипятокъ—и истина открывалась. На всѣхъ перепутьяхъ жизни стояли тогда разныя неподвижныя тѣни, грозныя привидѣнія для указанія дороги, и люди покорно шли по ихъ указанію. Иногда спорили, почему указана та дорога, а не другая, но никому и въ голову не приходило, откуда взялись эти привидѣнія, и по какому праву распоряжаются они. Ихъ принимали за фактъ, имѣющій самъ въ себѣ узаконеніе и котораго признанное бытіе—непреложное ему доказательство. Ко всему привязывающійся, сварливый вѣкъ, уничтожая все, что попадалось подъ руку, добрался наконецъ до преданій предковъ, подточилъ ихъ основаніе, сжегъ огнемъ критики, преданія исчезли. Стало просторно; но просторъ даромъ не достается; мы узнали, что вся отвѣтственность, падавшая внѣ ихъ, падеть на насъ; самимъ пришлось смотрѣть за всѣми и занять мѣста привидѣній, которыя стали злѣе грызть совѣсть. Сдѣлалось тоскливо и страшно—пришлось проводить сквозь горнило сознанія статью за статью прежняго кодекса пока этого не сдѣлано, начали grübeln. Ясное, какъ дважды-два—четыре, нашимъ дѣдамъ, исполнилось мучительной трудности для насъ. Въ событіяхъ жизни, въ наукѣ, въ искусствѣ насъ преслѣдуютъ неразрѣшимые вопросы, и, вмѣсто того, чтобъ наслаждаться жизнью—мы мучимся. Подъ часъ, подобно Фаусту, мы готовы отказаться отъ духа, вызваннаго нами, чувствуя, что онъ не по груди и не по головѣ намъ. Но бѣда въ томъ, что духъ этотъ вызванъ не изъ ада, не съ планетъ, а изъ собственной груди человека, и ему нѣкуда исчезнуть. Куда бы человекъ ни от-

вернулся отъ этого духа, первое, что попадется на глаза, это онъ съ своими вопросами. Tu l'as voulu, Georges Dandin, tu l'as voulu !

Безотходный духъ критики овладѣлъ и театромъ; мы его приносимъ съ собою въ партеръ. Сочинитель пишетъ пьесу для того, чтобъ пояснить свое сомнѣніе,—и, вмѣсто того, чтобъ отдохнуть отъ дѣйствительной жизни, глядя на воспроизведенную искусствомъ, мы выходимъ изъ театра задавленные мыслями тяжелыми и неловкими. Это понятно. Театръ — высшая инстанція для рѣшенія жизненныхъ вопросовъ. Кто-то сказалъ, что сцена — представительная камера поэзи. Все тяготящее, занимающее извѣстную эпоху, само собою вносится на сцену и обсуживается страшной логикой событій и дѣйствій, развертывающихся и свертывающихся передъ глазами зрителей. Это обсуживаніе приводятъ къ заключеніямъ не отвлеченнымъ, но трепещущимъ жизни, неотразимымъ и многостороннимъ. Тутъ не лекція, не поученіе, поднимающее слушателей въ сферу отвлеченныхъ всеобщностей, въ безстрастную алгебру, мало относящуюся къ каждому, потому именно, что она относится ко всѣмъ. На сценѣ жизнь схвачена во всей ея полнотѣ, схвачена въ дѣйствительномъ осуществленіи лицами, на самомъ дѣлѣ, *flagrant délit* съ ея общечеловѣческими началами и частно-личными случайностями, съ ея ежедневною пошлостью и съ ея грязной, всепожирающей страстью, скрытой подъ пыльной плевою мелочей, какъ огонь подъ золой Везувія. Жизнь схвачена и, между тѣмъ, не остановлена; напротивъ, стремительное движеніе продолжается, увлекаетъ зрителя съ собой, и онъ съ прерывающимся дыханіемъ, боясь и надѣясь, несется вмѣстѣ съ развертывающимся событіемъ до крайнихъ слѣдствій его — и вдругъ оста-



ется одинъ. Лица исчезли, погибли; онъ переживаетъ ихъ жизнь, успѣлъ полюбить ихъ, взойдти въ ихъ интересы. Ударъ, разразившійся надъ ними рикошетомъ, былъ ударъ въ него. Такая страстная близость зрителя и сцены дѣлаетъ сильную, органическую связь между ними; по сценѣ можно судить о партерѣ, по партеру о сценѣ. Партеръ не чужой сценѣ: онъ въ родѣ хора греческой трагедіи; онъ не внѣ драмы, а обнимаетъ ее волнами жизни, атмосферой сочувствія, которая оживляетъ актёра; и сцена съ своей стороны, не чужая зрителю: она переноситъ его не дальше, какъ въ его собственное сердце. Сцена всегда современна зрителю, она всегда отражаетъ ту сторону жизни, которую хочетъ видѣть партеръ. Нынче она участвуетъ въ трюпоразъятіи жизненныхъ событій, стремится привести въ сознаніе всѣ проявленія жизни человѣческой и разбираетъ ихъ какъ мы, судорожной и трепетной рукой — потому что не видитъ, какъ мы, ни выхода, ни всего результата этихъ изслѣдованій. Она дѣлаетъ это относясь къ намъ, такъ какъ нѣкогда эсхилъ „Прометей“ относился къ внутренней жизни народа аѳинскаго, или „Свадьба Фигаро“ къ внутренней жизни Франціи передъ революціей. Мы умѣемъ восхищаться, понимать и „Прометея“ и „Свадьбу Фигаро,“ но мы понимаемъ (лучше ли, хуже ли — другой вопросъ), мы понимаемъ *иначе*, нежели рукоплескавшіе Аѳиняне, нежели рукоплескавшіе Парижане 1785 года, — и того тѣсно жизненнаго сочлененія нѣтъ болѣе. Французъ XIX вѣка оцѣнитъ и пойметъ Бомаршѣ, но „Фигаро“ не есть уже *необходимость* для него съ тѣхъ поръ, какъ его лицо воплотилось во множество лицъ палаты, а графъ Альмавива скончался въ бѣдности, отъ преждевременной дряхлости, обыкновенной спутницы слишкомъ разгуль-

ной юности. Самый воздухъ, окружающій его, не тотъ; густая, знойная атмосфера, пропитанная нѣгой, сладострастіемъ и тяжелая отъ предчувствія бури, такъ очистилась и разъяснилась отъ громовыхъ ударовъ кроваваго террора, что чахоточные боятся чрезвычайной изрѣженности ея. Въ Германіи, въ одно и то же время были принимаемы громомъ рукоплесканій Коцебу и Шиллеръ, потому что въ Германіи сентиментальность и шписбургерлихвейтъ, по странному стеченію обстоятельствъ, были корою, за которою шевелился мощный и здоровый зародышъ. Шиллеръ и Коцебу — полные и достойные представители: одинъ всего святаго человѣческаго, возникавшаго въ эту эпоху, другой всего грязнаго и отвратительнаго, загнивавшаго тогда же. У насъ даютъ все на свѣтѣ — оттого, что нашъ партеръ все на свѣтѣ. Мы не только въ физическомъ, но и въ нравственномъ отношеніи всеѣдны. Какъ послѣдніе пришельцы и наследники, мы перебираемъ унаслѣдованное изъ всѣхъ странъ и вѣковъ, смотримъ на это, какъ на чужое и постороннее, смотримъ не потому, чтобъ оно было нужно намъ или доставляло много удовольствія, а для того, чтобъ заявить наше право и не отставать отъ другихъ, — на томъ же основаніи, какъ нѣкогда мы ѣздили въ ассамблеи, не для удовольствія, а по наряду и по нуждѣ. *A force de forger* многое принялось — однимъ то, другимъ другое; никто ни съ кѣмъ не сговаривался, всякій молодецъ на свой образецъ: оттого потребности нашего партера съ одной стороны очень сложны, а съ другой стороны имъ очень легко удовлетворить. У насъ, въ одномъ ряду креселъ встрѣчаются полюсы человѣчества — отъ *небритой* бороды патриархальной, бороды *an sich*, до отрощенной бороды, сознательной, бороды *für sich*; а между двумя бородами

можно найти представителей главных моментов развития человечества, да еще нѣкоторыхъ оригинальныхъ, не достававшихъ человечеству. Каждый говоритъ своимъ языкомъ, каждый имѣетъ свои потребности. Счастливые Вавилоняне, мы начинаемъ съ того, чѣмъ они кончили свое столпотвореніе, то есть, не понимаемъ другъ друга; они таскали камни, и долго работая, дошли до того, что у насъ впередъ идетъ. Каждая пьеса имѣетъ свою публику; къ ней присоединяется постоянно балластъ, то есть, люди, которые послѣ 7 часовъ бываютъ въ театрѣ единственно потому, что они не внѣ театра бываютъ послѣ 7 часовъ. Разомъ для всей публики, у насъ, пьесъ не дается, развѣ за исключеніемъ „Горе отъ Ума“ и „Ревизора“; для бельэтажа—безъ *словъ*, но съ танцами и богатой постановкой; для райка—пьесы, въ которыхъ кто нибудь кого нибудь бьетъ; для статскихъ чиновниковъ—пьесы съ пушечной пальбой, превращеніями, нравственными сентенціями; для купцовъ тоже съ превращеніями, но и съ цыганскими плясками; другіе все смотрятъ, но особенно же любятъ водевили съ двусмысленными куплетами и танцы съ двусмысленными движеніями.

Все это безсвязно, такъ, какъ я рассказаль, пришло мнѣ въ голову при выходѣ изъ театра, когда я думаль о пьесѣ, которую видѣлъ; а содержаніе этой пьесы въ самыхъ короткихъ словахъ вотъ какое:

Драма самая простая; если вы не видали подобной у себя въ домѣ, то навѣрное могли видѣть у котораго нибудь изъ сосѣдей. Дѣвица 28 лѣтъ, по имени Генріэтта, болѣзненная и печальная, влюблена до безумія въ юношу 20 лѣтъ, а тотъ, беззаботный и веселый, живетъ себѣ не думая о ней, да сверхъ того, кажется, и ни о чемъ другомъ. Докторъ—другъ отца Генріэтты,

понявъ дѣло, захотѣлъ съ патологическимъ благоразуміемъ помочь и, само собою разумѣется, страшно повредилъ. Онъ торжественно и таинственно разсказалъ юношѣ о любви къ нему Генріэтты, требуя отъ него, чтобъ онъ уѣхалъ, скрылся. Вѣсть о любви сильно отозвалась въ сердцѣ юноши; сознаніе быть любимымъ и притомъ въ 20 лѣтъ, обняло огнемъ всю грудь его и съ той минуты онъ самъ ее любить. Она, никогда не смѣвшая питать надежды на взаимность, счастлива до высочайшей степени; мечта ея сбылась, осуществилась прекрасно и полно. Онъ проситъ ея руки и, не смотря на предостереженія доктора, или именно подстрекаемый имъ, женится. Проходитъ пять лѣтъ въ антрактѣ. Мы застаемъ нашу чету въ замкѣ. Люди богатые, они ведутъ пустую и праздную жизнь; дѣтей нѣтъ. Скоро открывается, что подъ этой праздностью кроются развѣдающія страсти. Онъ не любитъ больше Генріэтты, и страстно влюбленъ въ Полину. Молодой человѣкъ благороденъ и честенъ; онъ понимаетъ святость своихъ обязанностей и болѣе — онъ исполненъ безпредѣльнаго уваженія къ любящей, кроткой, доброй Генріеттѣ. Но онъ ея не любитъ — онъ любитъ другую, это фактъ его сердца: любить потому что любить, не любить потому что не любить; — логика чувствъ и страстей коротка. Сгнетенная страсть растетъ; онъ ей не даетъ шага; онъ уничтожается, разлагается въ этой борьбѣ, но борется. Жена догадалась, и они быстро влекутъ другъ друга къ гибели во имя любви. Генріетта въ отчаяніи: она ничего не имѣетъ внѣ мужа, ея жизнь только любовь къ нему; а онъ еще больше въ отчаяніи: онъ безчестенъ въ своихъ глазахъ, онъ влятвопреступникъ, онъ подлый обманщикъ — тутъ, притворяясь, что любить, тамъ, притворяясь, что не любить. Такое натя-

нудное положеніе долго не можетъ продолжаться. Генріэтта рѣшается выдать Полину за какого-то шута; та не хочетъ. Въ порывѣ ревности, Генріэтта упрекаетъ ее въ разрушеніи семейнаго счастья, въ любви къ ней мужа, въ ея любви къ нему. Молодая дѣвица, любившая въ тиши, не признаваясь себѣ, Эмиля, не подозревая его любви, этими словами вовлечена въ страшную борьбу страстей. Чувство ея названо; тайна ея обличена. Въ первомъ порывѣ отчаянія, она соглашается идти замужъ. Спрашиваютъ согласія Эмиля: Полина живетъ у нихъ въ домѣ и родственница. Онъ согласенъ. Долгъ побѣднлъ; но и Эмиль получилъ рану въ грудь, вся сила его истощена на эту побѣду. Онъ рѣшается — и это, можетъ, благоразумнѣйшая мысль во всю его жизнь — онъ рѣшается уѣхать... Даль, занятія разсѣютъ, отвлекутъ, исцѣлятъ; но жена, узнавъ это, намѣревается лишить себя жизни, отказывается ему имѣніе и исчезаетъ. Эмиль въ отчаяніи. Проходитъ годъ. Полина въ монастырѣ; вдовецъ ѣдетъ за ней, женится — и на обратномъ пути встрѣчается съ Генріэттой, которая вовсе не утонула, а жила съ убійственной грустью въ душѣ и съ злою чахоткой въ груди, у доктора; бѣдная женщина питала на днѣ оскорбленнаго, истерзаннаго сердца надежду, что Эмиль любитъ ее изъ сожалѣнія, а между тѣмъ, она не знала, что смерть ея была доказана трупомъ всплывшей женщины въ день ея побѣга. Эмиль, отыскивая въ маленькомъ городѣ врача, приходитъ къ доктору и застаётъ Генріэтту; она бросается къ нему; но онъ, окаменѣлый, полумертвый, потерянный, отвѣчаетъ на ея порывъ новостью о своемъ бракѣ. Слабой, едва живой Генріеттѣ нельзя было вынести такого удара. Глухо закашляла она и бросилась изъ комнаты. Онъ ринулся было за нею — дверь закрыта...

Страшная минута тишины, невыносимая минута бездѣйствія — онъ сломился подъ ея гнетомъ, онъ съ бѣшенствомъ и безуміемъ бросился на полъ, вырывая себѣ волосы и стеная. Дверь отворилась; докторъ вошелъ спокойный и величественно-коротко возвѣстивъ, что она умерла, прощая его и совѣтуя беречь Полину. И двоеженецъ, поверженный въ прахъ, остается съ страшными угрызеніями совѣсти, которыя, вѣроятно, проводятъ его черезъ всю жизнь. Вотъ и пьеса!

Когда опустился занавѣсъ, мнѣ было невыразимо тяжело. Точно я присутствовалъ при инквизиторской пыткѣ невинныхъ. Всѣ люди въ этой драмѣ — люди добрые, обыкновенные, даже честные и исполняющіе долгъ свой; а между тѣмъ, одинъ изъ нихъ казненъ смертью, двое другихъ — участіемъ въ этой казни. „Какъ вамъ нравится драма?“ спросилъ меня сосѣдъ, протирая очки... У меня есть примѣта не вступать въ разговоръ съ незнакомымъ въ публичномъ мѣстѣ; если онъ самъ его не начнетъ; мнѣ все кажется, что такой человекъ или большой говорунъ, или большой слушатель. А потому, вмѣсто отвѣта, я посмотрѣлъ на моего сосѣда, желая узнать что онъ, говорунъ или слушатель; но онъ такъ добродушно и такъ наивно и такъ щуря глаза протиралъ очки, что я преступилъ правило дипломатической гигіены и отвѣчалъ: — „Драма, кажется, обыкновенная, а между тѣмъ она глубоко задѣваетъ.“ — „Я даже было прослезился... стыдно признаться. Этакая славная женщина, идеаль“... продолжалъ человекъ вѣселъ подъ № 39: „и досталась же такому мерзавцу мужу!“

— Не лучше ли сказать — такому несчастному человеку?

— Какой онъ несчастный! Безхарактерный эгоистъ,

не умѣлъ ни отказаться во-время отъ нея, ни любить ее послѣ, ни побѣдить новой страсти. Неужели онъ правъ по вашему?

— По моему, отвѣчалъ я улыбаясь:—во первыхъ, всѣ они правы, а во вторыхъ, всѣ они виноваты, но вѣроятно не такъ, какъ вы полагаете.

— Очень хорошо, но... главный виновникъ?

— Да на что вамъ онъ? Главный виновникъ, какъ всегда, спрятался: онъ стоялъ за кулисами.

Въ это время въ № 39 подошелъ какой-то знакомый —и нашъ разговоръ кончился, но продолжался во мнѣ рядомъ грустныхъ Grübeleien.

...Ничѣмъ люди не оскорбляются такъ, какъ неотъисканіемъ виновныхъ; какой бы случай ни представился, люди считаютъ себя обиженными, если нѣ кого обвинить — и, слѣдственно, бранить, наказать. Обвинять гораздо легче, нежели понять. Понять событіе, преступленіе, несчастіе — чрезвычайно важно и совершенно противоположно рѣшительнымъ сентенціямъ строгихъ судей, понять значитъ, въ широкомъ смыслѣ слова, оправдать, возстановить: дѣло глубоко человѣческое, но трудное и не казистое. Оправдать падшаго то же, что поставить его на одну доску со мною. То ли дѣло съ высоты своего нравственного величія упрекать и позорить его, указывая на себя, хотя въ положеніи и нѣтъ никакого сходства, и проповѣдникъ по большей части—извѣстная мышь въ голандскомъ сырѣ! Оставляя эту суетность, спрашиваемъ, для чего намъ судить? Для суда и осужденія есть положительное законодательство, имѣющее на это болѣе права—силу, власть. Наше *партикулярное* дѣло — проникать мыслью въ событіе, освѣщать его не для того, чтобъ наказывать и награждать, не для того, чтобъ прощать,—тутъ столько же





новимся лучше съ горестью передъ лицами нашей драмы, пожалѣемъ объ нихъ, протянемъ имъ руку не осуждая, не браня; мы не члены уголовного суда; они довольно настрадались—поговоримъ объ нихъ съ участіемъ, а не съ укоромъ, будемъ на нихъ смотрѣть какъ на больныхъ, а не такъ, какъ на преступниковъ.

Герой нашей драмы—человѣкъ увлекающійся и безъ всякаго направленія; его жизнью управляетъ внѣшняя власть; онъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые ложатся спать, не зная, что завтра будутъ дѣлать, пойдутъ ли на охоту или будутъ читать, или играть въ карты. Онъ сначала любилъ свою жену откровенно,—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, и, какъ всѣ люди, не имѣющіе такъ сказать *задней мысли*, дающей тонъ всей ихъ жизни, онъ не могъ быть остановленъ ничѣмъ въ свѣтѣ передъ бракомъ. Когда люди такого рода получаютъ какое нибудь опредѣленное чувство, имъ становится хорошо; состояніе безцѣльнаго существованія тягостно... Мало по малу онъ охладѣлъ къ женѣ; къ этому многое способствовало: всегдашняя зависимость его отъ впечатлѣній, разница лѣтъ, насмѣшки; потомъ — бездѣтный бракъ всегда ближе къ тому, чтобъ распасться. Не смотря на охлажденіе мужа, жизнь ихъ могла бѣ идти довольно хорошо: форма безъ содержанія можетъ долго простоять въ покоѣ, но первый толчокъ — и она падетъ. Въ молодой душѣ Эмиля была бездна силъ неупотребленныхъ; ихъ нѣкуда было ему дѣть; у домашнего очага, въ пустой жизни, блага неупотребленные, праздныя силы всегда грозятъ бѣдой: онѣ бродятъ, требуютъ занятія, истова. Взоръ его, искавшій спасенія отъ скуки, встрѣтилъ живой, милый взоръ дѣвицы, только что вышедшей изъ дѣтской хризолиты. „Тутъ онъ долженъ былъ остановить себя!...“ Да неужели, вы думаете, онъ

полюбилъ ее намѣренно? Эти привязанности дѣлаются безсознательно; можетъ, мѣсяцы прошли прежде, нежели онъ догадался, отъ чего ему пріятно смотрѣть на ея улыбку, слушать ея пѣсню; а когда онъ узналъ, назвалъ свое чувство, страсть глубоко вкоренилась, и когда онъ хотѣлъ себя остановить, его бытіе раскололось на двое, гдѣ съ одной стороны долгъ и умъ, а съ другой, сердце, кипящее страстями; у него не достало силы найти выходъ. Онъ остался, какъ былъ, человѣкъ подчиненный сердцу, да сверхъ того, какъ слабый человѣкъ и въ страсти, не умѣлъ идти до крайнихъ послѣдствій, а остановился въ страшной и мучительной борьбѣ, не имѣя силы, ни сердца принести въ жертву долгу, ни долга принести въ жертву сердцу. Мы его видимъ во второмъ дѣйствіи съ потеряннымъ видомъ, жалкимъ до слезъ; онъ твердъ въ натянутой роли; но подземный хоръ дьяволовъ, какъ въ „Робертѣ,“ слышится глухо въ его груди, и эта страшная пѣсня раздается вопреки ему, — и чувствуется, что ему не подавить этого хора.

Генріэтта сама ускоряетъ взрывъ. Она точно также покорна одному сердцу, болѣе, можетъ, нежели Эмиль; по счастію ея сердце не въ разладѣ съ долгомъ; ея любовь къ мужу — безумная страсть; уязвленная, она обвивается гремучей змѣей около трехъ лицъ и должна или ихъ задушить, или погубить. Да не ненависть ли это?... Посмотрите, какъ все странно въ этой тѣсной сферѣ личныхъ отношеній. Кроткая, благородная, добрая женщина въ своекорыстномъ опьяненіи ревности жертвуетъ жизнію Полины, отдавая ее замужъ за какого-то урода. Дѣвица готова погубить себя, — юность всегда самоотверженна и безразсчетна, — готова предать себя позору брачнаго ложа безъ любви, какъ будто Эмиль отъ этого снова полюбитъ свою жену. Не знаю

цѣли, съ какой авторы\*) прибавили третье дѣйствіе, но оно до такой степени не нужно, до такой степени несправедливо (въ смыслѣ наказанья Эмиля), что превосходно вѣнчаетъ всю драму. Только въ этомъ мірѣ могутъ развиваться такія катастрофы, гдѣ внутренняя случайность чувствъ учреждаетъ жизнь вмѣстѣ съ внѣшней случайностью обстоятельствъ.

Виновныхъ тутъ нѣтъ въ томъ смыслѣ, въ которомъ хотятъ виноватыхъ (какъ сознательныхъ преступниковъ); есть одна вина, за которую ихъ нельзя отдать подъ судъ, но которая была причиною всѣхъ бѣдствій причиною скрытой, неизвѣстной имъ.

Нѣтъ ничего легче, послѣ сужденій обвиняющей толпы, какъ стоическимъ формализмомъ разрѣшать жизненные вопросы. Формализмъ, какъ всякая отвлеченность, беретъ одну сторону, и правъ съ этой стороны, а другихъ онъ знать не хочетъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, пытались, особенно въ Германіи, всѣ вопросы и всѣ сомнѣнія разрѣшать путемъ отвлеченнымъ, отрѣшая отъ вопроса усложняющія стороны его и дѣлая его, слѣдовательно, вовсе не тѣмъ вопросомъ, какимъ онъ есть; на широкихъ и крѣпкихъ основаніяхъ выросли тощія и бѣдные плоды, искусственно и насильственно вытянутые. Рѣшенія такого формализма безжизненны; онъ идетъ отъ умерщвленнаго данчаго къ мертвому послѣдствію; отъ его холоднаго дыханія все коченѣетъ, вытягивается въ угловатыя формы, въ которыхъ содержанію мочи нѣтъ тѣсно; въ немъ нѣтъ ни пощады, ни милосердія—одни категоріи и пренебреженія. Вездѣ, гдѣ гордый формализмъ касается жизни, онъ стремится рабски подчинить страсти сердца, всю естественную

\*) Arnould et Fournier.

сторону, всѣ личныя требованія—разуму, какъ бы чувствуя, что онъ не совладаетъ съ ними, пока онъ на волѣ. Тоскуя безпрестанно о тождествѣ противоположностей, о примиреніи ихъ въ высшемъ единствѣ, объ ихъ соприкосновенности и взаимной необходимости, формалисты только *на словахъ* принимаютъ тождество и примиреніе, а на дѣлѣ хотятъ подавить всю естественную сторону, хотятъ отбросить ее, какъ калоши, служившія только, чтобъ пройти по грязи. Кто-то прекрасно замѣтилъ, что природа для идеалистовъ, *развратившаяся идея* (so eine liederliche Idee). Все временное, частное, само собою приносится въ жертву идеѣ и всеобщему; это цѣль его; но хотятъ у него отнять и минутное владѣніе, единственное благо его; вмѣсто свободной жертвы, хотятъ вынудить насиліемъ рабское признаніе своей ничтожности; *не даютъ себѣ труда устремить сердце къ разумной цѣли*, а требуютъ, чтобъ оно отреклось отъ себя, потому что оно ближе къ природѣ. Такихъ требованій не признаетъ гордое сердце человѣка; оно сильно своими страстями и знаетъ свою силу: оно знаетъ, если пламя страстныхъ увлеченій подниметъ голову, какъ безсильно, какъ несостоятельно обязательство жертвовать формальному долгу! Сердце знаетъ, что наслажденіе есть также право всего живущаго, ищетъ его и манитъ имъ; за что оно имъ пожертвуетъ—формализму до этого дѣла нѣтъ. Держась на ледяной высотѣ своихъ всеобщностей, онъ пренебрегаетъ сердцемъ, онъ его не хочетъ знать. Такъ принялся было онъ защищать бракъ, но никогда не могъ дойти до христіанскаго ученія о бракѣ, именно по недостатку любви и сердца\*). Онъ допускаетъ, что

\*) Наприм., диссертация Рётшера о гётевомъ Wahlverwandschaft.

*основаніе* браку любовь; это его естественная непосредственность; но послѣ вѣнчанія любовь не нужна, — вы перешли за границу естественныхъ влеченій, въ сферу нравственности, гдѣ ужь нѣтъ ни плача, ни воздыханія, ни какой страстности, а есть скука и тупое исполненіе долга, котораго смыслъ утратился и котораго внутренняя психея отлетѣла. Сознаніе, что я жертвую всею сердечной стороною бытія для нравственной идеи брака — вотъ награда. Словомъ, бракъ для брака. Самое высшее развитіе такого брака будетъ, когда мужъ и жена другъ друга терпѣть не могутъ и исполняютъ ех *officio* супружескія обязанности. Тутъ торжество брака для брака гораздо полнѣйшее, нежели въ случаѣ равнодушія. Люди равнодушные другъ къ другу могутъ по расчету жить вмѣстѣ; они не мѣшаютъ другъ другу.

Религія *устремляется* въ другой міръ, въ которомъ также улетучиваются страсти земныя; этотъ другой міръ не чуждъ сердцу; напротивъ, въ немъ сердце находитъ покой и удовлетвореніе; сердце не отвергается имъ, а распускается въ него; во имя его религія могла требовать жертвованія естественными влеченіями; въ высшемъ мірѣ религіи личность признана, всеобщее нисходитъ къ лицу, лицо поднимается во всеобщее, не переставая быть лицомъ; религія имѣетъ собственно двѣ категоріи; всемірная личность божественная и единичная личность человѣческая. Формализмъ убиваетъ живыя личности въ пользу промежуточныхъ отвлеченныхъ всеобщностей. Религія не становится выше любви въ отношеніи брака; религія говоритъ: люби твою жену, потому что она Богомъ тебѣ данная подруга. Религія связываетъ лица связью неразрушимой; здѣсь бракъ есть таинство, совершающееся подъ благословеніемъ Божіимъ. Формализмъ разсуждаетъ не такъ:

„Ты, какъ свободно разумная воля, вступилъ въ бракъ съ сознаниемъ его обязанностей въ нравственномъ и спеціальномъ смыслѣ—пади же жертвой этой обязанности, запутайся въ цѣпь, которую добровольно надѣлъ на себя; плати всѣми годами твоей жизни за прошедшій фактъ, быть можетъ основанный на минутномъ увлеченіи. Никакой взглядъ на міръ, ни развитіе, ни опытность ничего не помогутъ, потому что принесеніемъ тебя въ жертву идея брака укрѣпляется и поднимается. Тебѣ, какъ личности, выхода нѣтъ; да и гини себѣ, ты, случайность. Необходимъ человѣкъ, а не ты“. Формализмъ топчетъ ногами всю сторону естественной непосредственности; религія и тутъ его побѣждаетъ, ибо она, признавая семейную жизнь, считаетъ ее естественною непосредственностью въ свою очередь передъ жизнью въ высшемъ мірѣ. Да, религія снимаетъ семейную жизнь, какъ и частную, во имя высшей, и громко призываетъ къ ней: „кто любитъ отца своего и мать свою болѣе меня—тотъ недостоинъ меня“. Эта высшая жизнь не состоитъ изъ одного отрицанія естественныхъ влеченій и сухаго исполненія долга: она имѣетъ свою положительную сферу во всеобщихъ интересахъ своихъ; поднимаясь въ нее, личные страсти сами собою теряютъ важность и силу — и это единственный путь обузданія страстей — свободный и достойный человѣка. Сдѣлаемъ опытъ оглянуться на нашу драму съ этой точки зрѣнія.

Жизнь лицъ, печально прошедшихъ передъ нашими глазами, была жизнь односторонняго сердца, жизнь личныхъ преданностей, исключительной нѣжности. Небо-склонъ ея тѣсенъ; намъ въ немъ неловко дышать, человѣкъ требуетъ больше; комнатный воздухъ для него нездоровъ. Мы чувствуемъ себя чужими жежду этими

людьми и личностями, другъ въ другѣ живущими, сосредоточенными на себѣ и довѣяющими другъ другу во имя своихъ личностей. При такомъ направленіи духа, начала кроткаго, тихаго семейнаго счастья лежали въ нихъ; они могли бы быть счастливы, даже нѣкоторое время были — и ихъ счастье было бы дѣломъ случая, такъ же, какъ и ихъ несчастье. Міръ, въ которомъ они жили — міръ случайности. Частная жизнь, не знающая ничего за порогомъ своего дома, какъ бы она ни устроилась, бѣдна; она похожа на обработанный садъ, благоухающій цвѣтами, вычищенный и прибранный. Садъ этотъ можетъ долго утѣшать хозяевъ, особенно если заборъ его перестанетъ колоть ихъ глаза; но случись ураганъ—онъ вырветъ деревья съ корнями и затопитъ цвѣты, и садъ будетъ хуже всякаго дикаго мѣста. Такимъ хрупкимъ счастьемъ человекъ не можетъ быть счастливъ; ему надобенъ безконечный океанъ, который волнуется ураганами, но чрезъ нѣсколько мгновений бываетъ гладокъ и свѣтелъ какъ прежде. Судьба всего исключительно личнаго, не выступающаго изъ себя, незavidна; отрицать личные несчастія нелѣпо; вся индивидуальная сторона человека погружена въ темный лабиринтъ случайностей, пересѣкающихся, влетающихъ другъ въ друга; дивія физическія силы, непросвѣтенныя влеченія, встрѣчи,—имѣютъ голосъ, и изъ нихъ можетъ составиться согласный хоръ, но могутъ двигать и раздирающіе душу диссонансы. Въ эту темную кузницу судебъ свѣтъ никогда не проникаетъ; слѣпые работяжки бьютъ зря молотомъ налѣво и направо, не отвѣчая за слѣдствія. Чѣмъ болѣе человекъ сосредоточивается на частномъ, тѣмъ болѣе голыхъ сторонъ онъ представляетъ ударамъ случайности. Пенять нѣ на кого: личность человека не замкнута; она имѣетъ широкія

ворота для выхода. Вся вина людей, живущихъ въ однихъ сердечныхъ, семейныхъ и частныхъ интересахъ, въ томъ, что они не знаютъ этихъ воротъ, а остальное, въ чемъ ихъ винять, — обыкновенно дѣло случая.

Случайность имѣетъ въ себѣ нѣчто невыносимо противное для свободнаго духа; ему такъ оскорбительно признать неразумную власть ея, онъ такъ стремится подавить ее, что, не зная выхода, выдумываетъ лучше грозную судьбу и покоряется ей; хочетъ, чтобъ бѣдствія, его постигающія, были предопредѣлены, т. е. состояли бы въ связи съ всемірнымъ порядкомъ; онъ хочетъ принимать несчастія за преслѣдованія, за наказанія: тогда ему есть утѣха въ повиновеніи или въ ропотѣ; одна случайность для него невыносима, тягостна, обидна; гордость его не можетъ вынести безразличной власти случая. Эта ненависть и стремленіе выйти изъ подъ ярма указываютъ довольно ясно на необходимость другой области, *иного міра*, въ которомъ врагъ поправъ, духъ свободенъ и дома. Еслибъ человѣкъ не имѣлъ никакого выхода, въ немъ не было бы и потребности выйти изъ міра случайности, какъ у животнаго, напримѣръ. Поднимаясь, развиваясь въ сферу разумную и вѣчную всеобщаго, мы стяжаемъ возможность и крѣпость переносить удары случайности: они бьютъ тогда въ одну долю бытія, они не такъ обидны. Надобно было большое совершенствленіе, большое развитіе своей индивидуальности въ родовое, чтобъ съ яснымъ челомъ сказать: „*есть міръ*; въ немъ мы развиваемся; какая судьба насъ постигнетъ, все равно (да и судьбы вовсе нѣтъ); дѣло въ томъ, чтобъ мы *пришли въ себя*, остальное безразлично“. Хвала великой Еврейкѣ, сказавшей это!\*)

\*) Рахель — Briefwechsel.



Не отвергнуться влеченій сердца, не отречься отъ своей индивидуальности и всего частнаго, не предать семейство — всеобщему, но раскрыть свою душу всему Человѣческому, страдать и наслаждаться страданіями и наслажденіями современности, работать столько же для рода, сколько для себя, словомъ, развить эгоистическое сердце во всѣхъ скорбящее, обобщить его разумомъ, и въ свою очередь оживить имъ разумъ... Человѣкъ безъ сердца какая-то безстрастная машина мышленія, не имѣющая ни семьи, ни друга, ни родины; сердце составляетъ прекрасную и неотъемлемую основу духовнаго развитія; изъ него пробѣгаетъ по жиламъ струя огня всеогрѣвающего и живительнаго; имъ живое сотрясается въ наслажденіи, радо себѣ. Поднимаясь въ сферу всеобщаго, страстность не утрачивается, но преобразуется, теряя свою дикую, судорожную сторону; предметъ ея выше, святѣе; по мѣрѣ расширенія интересовъ, уменьшается сосредоточенность около своей личности, а съ нею и ядовитая жгучесть страстей. Въ самомъ колебаніи между двумя мірами — личности и всеобщаго, есть непреодолимая прелесть; человѣкъ чувствуетъ себя живою, сознательною связью этихъ міровъ, и теряясь, такъ сказать, въ свѣтломъ эфирѣ одного, онъ хранитъ себя и слезами и восторгами и всею страстностью другаго. Человѣческая жизнь — трудная статистическая задача; безчисленные противоположности, множество борющихся элементовъ ринуты въ одну точку и сняты ею. Природа, развиваясь, безпрестанно усложняется; проще всего камень, за то и жизнь его состоятъ въ одномъ мертвомъ, косномъ покоѣ. Человѣкъ не можетъ отказаться безнаказанно отъ участія во всѣхъ обителяхъ, въ которыя онъ призванъ своимъ временемъ. Человѣкъ развѣвшійся равно не можетъ ни исключи-

тельно жить семейною жизнью, ни отказаться отъ нея въ пользу всеобщихъ интересовъ. Было время для каждаго народа, когда семейная жизнь удовлетворяла всѣмъ требованіямъ; для насъ европейцевъ это время миновало; мы живемъ шире, богаче. Въ патріархальный вѣкъ, дѣтская простота, односложность отношеній, физическій трудъ и психическая неразвитость отстраняла всякую возможность скорбныхъ катастрофъ, поражающихъ нѣжныя одухотворенныя существованія развитыхъ странъ. Удары случайности были тѣ же; грудь, на которую они падаютъ, измѣнилась.

Лица нашей драмы отравили другъ другу жизнь, потому что они слишкомъ близко подошли другъ къ другу, и, занятыя единственно и исключительно своими личностями, они собственными руками разрыли пропасть, въ которую низверглись; страстность ихъ, не имѣя другаго выхода, сожгла ихъ самихъ. Человѣкъ, строящій домъ свой на одномъ сердцѣ, строитъ его на огнедышащей горѣ. Люди, основывающіе все благо своей жизни на семейной жизни, ставятъ домъ на песокъ. Быть можетъ, онъ простоятъ до ихъ смерти, но обезпеченія нѣтъ, и домъ этотъ, какъ дома на дачахъ, прекрасны только во время хорошей погоды. Какое семейное счастье не раздробится смертію одного изъ лицъ? Мы отвѣтять: а утѣшеніе религіи? Но религія есть по преимуществу выходъ въ иной міръ. А тамъ, гдѣ религіозная и гуманическая сторона бытія слаба, гдѣ она подчинена чувствамъ, подчинена частному и личному, тамъ ждите бѣдъ и горестей... Въ этомъ положеніи наши герои. Они сводятъ насъ въ преисподнюю, въ міръ сердца, разорваннаго съ разумомъ, въ подземный міръ обезумѣвшихъ естественныхъ влеченій, готовыхъ пожрать все вокругъ себя. Это страшная изнанка

жизни человѣческой ; тутъ опредѣляются личныя гибели, дробятся однимъ ударомъ песчинками собранныя достоинства ; тутъ раздаются глухіе стоны отчаянія, яростные крики боли ; тутъ индивидуальное доведено до послѣдней крайности, до нелѣпости, и царить объ руку съ безумнымъ самоотверженіемъ и съ наглымъ эгоизмомъ. Тутъ люди сражаются съ призраками порожденными ихъ болѣзненной фантазіей, рвутъ въ клочья свою грудь и грудь ближняго, бѣснуются, ненавидятъ, ревнуютъ, лишаютъ себя жизни, влюбляются — все это ни разу не давши себѣ отчета въ томъ, чего хотятъ...

Не засмѣяться ль имъ, пока  
Не обагрилась ихъ рука ?

Если человѣкъ, попавшись во власть адскимъ силамъ, найдетъ твердость пріостановиться, подумать—онъ, безъ сомнѣнія, засмѣется и, еще вѣрнѣе, покраснѣетъ. Главное сумасшествіе состоитъ въ какой-то чудовищной важности, которую приписываютъ событіямъ, именно потому, что они не знаютъ что въ самомъ дѣлѣ важно. Не факты отдѣльные — смертные грѣхи, а грѣхи противъ духа и въ духѣ. Возьмемъ, напримѣръ, драму Бомарше „La mѣre coupable“. Человѣкъ, годы цѣлыя съ злою ревностью отыскивавшій улики противъ своей жены, наконецъ находитъ ихъ. Теперь-то онъ отомститъ, теперь-то онъ бросится со всею жестокостью невинности, со всею свирѣпостью судіи на преступную, которая двадцать лѣтъ, не осушая слезъ, оплакиваетъ свое паденіе. Онъ точно пользуется первымъ случаемъ, чтобъ положить на благородное чело ея печать позора ; при этомъ онъ ждетъ увертокъ, ждетъ горькихъ словъ — и встрѣчаетъ кроткое сознаніе вины, и его жесткая душа смягчится, онъ *протрезвляется*, изъ мужа-мстителя дѣлается мужемъ-человѣкомъ. Сердце, полное жолчи и

злости, раскрывается снова любви. А между тѣмъ доказательства найдены, и то, что въ подозрѣніи онъ не могъ вынести, онъ забываетъ при достовѣрности. Почти всѣ злодѣйства въ мірѣ происходятъ отъ нетрезваго пониманія. Бентамъ говоритъ, что всякій преступникъ дурной счетчикъ. Если обобщить эту мысль и взять ее не въ тѣхъ матеріальныхъ границахъ, въ которыхъ она высказана имъ, то это будетъ одна изъ величайшихъ истинъ. Но возвратимся къ нашей драмѣ. Заулисная вина несчастія этихъ людей, тѣснота и неестественная для человѣка жизнь праздности; преступное отчужденіе отъ интересовъ всеобщихъ, преступный холодъ ко всему человѣческому внѣ ихъ тѣснаго круга, исключительное занятіе собою, взаимное обоготвореніе. Другихъ винъ не ищите, вотъ больное мѣсто! Еслибъ въ нихъ было развито *живое* религіозное чувство, еслибъ *человѣчность* ихъ не ограничилась первой ступенью, т. е. семейной жизнью,—катастрофы этой, конечно, не было бы. Еслибъ Эмиль, сверхъ своихъ личныхъ привязанностей, имѣлъ симпатію къ современности, любовь къ родинѣ, къ искусству, къ наукѣ, остался ли бы онъ сложа руки, въ ничтожной праздности, разжигая бездѣйствіемъ страсти, истощая силы души на противо-дѣйствіе несчастной любви. Можетъ быть, эта любовь и посѣтила бы его сердце, какъ мимолетная гостья, но она не стащила бы его въ преисподнюю, не нарушила бы мира съ женой, потому что онъ былъ бы сильнѣе всего той стороною бытія, которой онъ не развилъ. Еще разъ, ихъ жизнь была бѣдная жизнь въ сферѣ частной любви, выхода не имѣла и при неудачѣ лопнула. Словомъ, *любовь* оправдываетъ все. Но нынче, когда нѣтъ авторитета, подъ который духъ критики не дѣлалъ бы опыта подкочаться, можно и самую злато-

власую Афродиту потребовать къ трибуналу, если судья только не боится ея красоты. Я съ своей стороны готовъ быть лучше Антоніемъ, нежели Октавіаномъ, и навѣрное не велю покрыться Клеопартѣ, лишь бы встрѣтиться съ нею; однакожь, осмѣливаюсь звать на правезъ ее, изъ пѣны морской рожденную!

Существовать — величайшее благо; любовь раздвигаетъ предѣлы индивидуальнаго существованія и приводитъ въ сознаніе все блаженство бытія; любовью жизнь восхищается собою; любовь — апоѳеоза жизни. Лукрецій всю природу называетъ торжественнымъ празднествомъ любви, брачнымъ пиромъ, для котораго цвѣты развертываютъ свои прекрасные вѣнчики, наполняютъ благоуханіемъ воздухъ, птицы покрываются красивыми, перьями, и проч. Любовь человѣческая — еще болѣе апоѳеоза самой любви, такъ какъ вообще человѣческое есть апоѳеоза естественнаго. Природа оканчивается взоромъ юноши и дѣвы, любящихъ другъ друга. Этимъ взоромъ она страстно понимаетъ всю безконечную красоту свою, имъ она *ощутила себя*; далѣе она идти не можетъ — далѣе другое царство; она совершила свое, подняла форму до соотвѣтствія духу, раздвоилась, и, взглянувъ высшими представителями своего дуализма, она поняла выразительность своей красоты; личности, въ нѣмомъ восторгѣ другъ отъ друга, въ торжественномъ упоеніи взаимнаго созерцанія отрѣшились отъ себя. Они сняли противоположность свою любовью и между тѣмъ не совпадаютъ для того, чтобъ наслаждаться другъ другомъ, для того, чтобъ жить другъ въ другѣ. И съ этимъ мгновеніемъ восторга и поклоненія бытію соединена великая тайна возникновенія, обновленія юнымъ отжившаго. Любовь — пышный, изящный цвѣтокъ, вѣнчающій и оканчивающій индивидуальную

жизнь; но онъ, какъ всѣ цвѣты, долженъ быть раскрытъ одною стороною, лучшей стороною своей къ небу — всеобщаго. Цвѣтокъ питается изъ земли и изъ солнца; отъ этого, въ немъ земное такъ чудно хорошо. Любовь — одинъ моментъ, а не вся жизнь человѣка; любовь вѣнчаетъ личную жизнь въ ея индивидуальномъ значеніи; но за исключительною личностью есть великія области, также принадлежащія человѣку, или, лучше, которымъ принадлежитъ человѣкъ и въ которыхъ его личность, не переставая быть личностью, теряетъ свою исключительность. Монополію любви надобно подорвать вмѣстѣ съ прочими монополіями. Мы отдали ей принадлежащее, теперь скажемъ прямо: человѣкъ не для того только существуетъ, чтобъ *любитъ*ся; неужели *вся* цѣль мужчины — обладаніе такою-то женщиной, *вся* цѣль женщины — обладаніе такимъ-то мужчиною? — Никогда! Какъ неестественна такая жизнь, всего лучше доказываютъ герои почти всѣхъ романовъ. Что за жалкое, потерянное существованіе какого нибудь Вертера, — чтобъ указать на знаменитость; — сколько сумасшедшаго и эгоистическаго въ немъ, при всей блестящей сторонѣ, которую всегда придаетъ человѣку сильная страсть. Не должно ошибаться: это блескъ очей лихорадочнаго; онъ имѣетъ въ себѣ магнетическое, притягивающее, а между тѣмъ онъ выражаетъ не огонь жизни, а пламя, разрушающее ее. При всѣхъ поэтическихъ выходкахъ Вертера, вы видите, что эта нѣжная, добрая душа не можетъ выступать изъ себя; что, кромѣ маленькаго міра его сердечныхъ отношеній, ничто не входитъ въ его лиризмъ; у него ничего нѣтъ ни внутри, ни внѣ, кромѣ любви къ Шарлоттѣ, не смотря на то, что онъ почитываетъ Гомера и Оссіана. Жаль его! Я горькими слезами плакалъ надъ его послѣдними письмами, надъ

подробностями его кончины. Жаль его,—а вѣдь пустой малый былъ Вертеръ! Сравните его, или Эдуарда, и всѣхъ этихъ страдателей съ широко - развернутыми людьми, у которыхъ субъективному Кесарю отдана богатая доля, но и доля обще-человѣческая не забыта; сравните ихъ съ Карломъ Мооромъ, съ Максомъ Пикколомини, съ Теллемъ, наконецъ, съ этимъ добрымъ патриархальнымъ отцемъ семейства, съ этимъ энергическимъ освободителемъ своего отечества. И, чтобъ не обидѣть Гёте, сравните съ архитекторомъ въ „Wahlverwandtschaft“ и вы ясно увидите, что я хочу сказать. Любовь вошла великимъ элементомъ въ ихъ жизнь, но не поглотила, не всосала въ себя другихъ элементовъ. Они любовью не отрѣзались отъ всеобщихъ интересовъ гражданственности, искусства, науки; напротивъ, они внесли все одушевленіе ея, весь пламень ея въ эти области, и наоборотъ, ширину и грандіозность этихъ міровъ внесли въ любовь. Оттого любовь ихъ, счастлива или нѣтъ, но не выражается въ помѣшательство. Помнится, Тиссѵ, въ извѣстной книгѣ своей о нѣкотораго рода самоудовлетвореніи, сказалъ: „Природа жестоко мститъ оскорбляющимъ ея законы; эта мсть лежитъ въ самомъ отступленіи отъ бытія, въ которое долженъ развиваться организмъ, и есть физическое послѣдствіе его.“ Великая истина! Человѣкъ долженъ развиваться въ міръ всеобщаго; оставаясь въ маленькомъ, частномъ мірѣ, онъ надѣваетъ китайскіе башмаки: чему дивиться, что ступать больно, что трудно держаться на ногахъ, что органы уродуются? чему дивиться, что жизнь, несообразная цѣли, ведетъ къ страданіямъ? Самыя эти страданія—громкій голосъ, напоминающій, что человѣкъ сбился съ дороги.

Но я предвижу возраженіе: этотъ міръ всеобщихъ

интересовъ, эта жизнь общественная, художественная, сціентифическая, — все это для мужчины; а у бѣдной женщины ничего нѣтъ, кромѣ ея семейной жизни. Она должна жить исключительно сердцемъ; ея міръ ограниченъ спальней и кухней... Странное дѣло! девятнадцать столѣтій христіанства не могли научить людей понимать въ женщинѣ человѣка. Кажется, гораздо мудренѣе понять, что земля вертится около солнца, однако поспорили, да и согласились; а что женщина человѣкъ, въ голову не помѣщается! Однакожь участіе женщины въ высшемъ мірѣ было признано религіею. „Марѳа, Марѳа, ты печешься о многомъ, а *одно* потребно. Марія избрала *благу* часть“. На женщинѣ лежатъ великія семейныя обязанности относительно мужа — тѣ же самыя, которыя мужъ имѣетъ въ ней, а званіе матери поднимаетъ ее надъ мужемъ, и тутъ-то женщина во всемъ ея торжествѣ: женщина больше мать, нежели мужчина отецъ; дѣло начальнаго воспитанія есть дѣло общественное, дѣло величайшей важности, а оно принадлежитъ матери. Можетъ ли это воспитаніе быть полезно, если жизнь женщины ограничить спальней и кухней? Почему Римляне такъ уважали Корнелію, мать Гракховъ?.. Во вторыхъ, ея семейное призваніе ни коимъ образомъ не мѣшаетъ ея общественному призванію. Міръ религіи, искусства, всеобщаго — точно такъ же раскрытъ женщинѣ, какъ намъ, съ тою разницею, что она во все вноситъ свою грацію, непреодолимую прелесть кротости и любви. Вся исторія Италіи не совершилась ли подъ непрерывнымъ вліяніемъ женщинъ? Не доказали ль онѣ мощь геніальности своей и на престолѣ, какъ Екатерина II, и на плахѣ, какъ Роланъ? Нужны ли доказательства людямъ, которые своими глазами видѣли Сталь, Рахель, Беттину и теперь еще ви-



дять исполинскій талантъ геніальной женщины?.. Но въ сторону эти исключительныя явленія: обращаю вниманіе на фактъ, извѣстный всѣмъ, находящійся у каждаго передъ глазами. Откуда дѣвицы имѣютъ необыкновенный тактъ поведенія, умѣнье себя держать, вѣрный смыслъ въ дѣлахъ жизни? Воспитаніе ихъ ограничено гаремнымъ заключеніемъ, и между тѣмъ ихъ быстро понимающей натурѣ достаточно нѣсколько шаговъ по полю жизни, чтобъ выразумѣть ее, чтобъ пріобрѣсти *esprit de conduite*, до котораго мужчина вырабатывается пол-жизни самымъ скорбнымъ путемъ паденій, разврата, разореній, обидъ, униженій и богъ-знаетъ чего. Этотъ фактъ, совершенно всеобщій, доказываетъ ли подчиненность женщины мужчинамъ въ отношеніи ума, или напротивъ? Какое же мы имѣемъ право отчуждать ихъ отъ міра всеобщихъ интересовъ; я скажу какъ Розина, когда ей Бартоло доказывалъ, что мужъ можетъ распечатывать письма жены: „*Mais pourquoi lui donnerait-on la préférence d'une indignité qu'on ne fait à personne ?* „ („Севильскій Цирюльникъ“). Въ дикія времена феодализма (которыя представляются такими поэтическими, чистыми у нашихъ романтиковъ), рыцари имѣли обыкновеніе въ своихъ помѣстьяхъ выбирать маленькихъ дѣвочекъ, обѣщавшихъ красоту, и запирали въ особое отдѣленіе, гдѣ за ихъ *нравственностью* былъ строгій надзоръ; изъ этихъ разсадниковъ брали они себѣ, по мѣрѣ надобности, любовницъ. Такъ рассказываетъ очевидецъ Брантомъ. Нынче такого грубаго и отвратительнаго униженія женщины нѣтъ. А не правда ли, что-то родственное этимъ хозяйственнымъ запасамъ осталось въ воспитаніи дѣвицъ исключительно въ невѣсты? Мысль, что она сама въ себѣ никакой цѣли не имѣетъ, кромѣ замужства, право, не нравственна и не пристойна.

Я почти все сказалъ, что хотѣлъ сказать по поводу одной драмы: слѣдовало бы остановиться; но характеръ Grübeleien именно таковъ, что они до тѣхъ поръ тянутся, пока внѣшняя причина натолкнетъ на что нибудь другое, или напомнить, что пора кончить. Теперь, когда слѣдовало положить перо, мнѣ пришло въ голову еще кое-что о любви.

Любовь почти всегда поэтами поется сквозь слезы, покрытая какою-то траурною мантиею, замѣнившею алое покрывало. Вмѣсто радостной улыбки, у нихъ скрежетъ зубовъ; вмѣсто юнаго румянца—блѣдныя щеки. Откуда взялся въ любви, въ этомъ торжественномъ, радостномъ чувствѣ, мучительно грустный, раздирающій душу характеръ? Это наслѣдіе мечтательности среднихъ вѣковъ и германизма; для романтизма нѣтъ счастья выше несчастія, нѣтъ радости выше скорби и грусти; все человѣческое получило тогда судорожно болѣзненное направление: такъ простыя южныя болѣзни получаютъ на сѣверѣ чрезвычайно сложное нервичное, жолчевое свойство. То было время убіенія всего естественнаго и развитія всего противоестественнаго, время вѣчнаго противорѣчія словъ и дѣла; оно — мрачное, сосредоточенное, вѣчно обращенное на себя, занимающееся собою, раздуло въ струи адскаго огня кроткій пламень любви. Міръ дѣйствительный былъ въ пренебреженіи: жили въ мечтахъ, отреклись отъ естественныхъ влеченій и воцарили вмѣсто ихъ новыя, порожденныя отъ беззаконной смѣси крови и духа:—таково понятіе чести, доведенное до безумнаго себя обоготворенія; такова платоническая любовь—натянутое одухотвореніе истинной любви. Словомъ, романическое воззрѣніе представляетъ, какъ телескопъ, весь міръ вверхъ ногами; внутреннее у него поставлено вдали, духовное исполнено чувственности, чувственность одухотворена. Съ такимъ настроеніемъ души, при вѣчномъ разрывѣ съ истинною жизнью, страсти получили тѣмъ ужаснѣйшее развитіе, что

онѣ были неестественны. Нельзя отрицать сильную увлекательность романтизма; туманность его, бѣгущая ясности и разума, стремленіе, не знающее предѣла и цѣли, искусственная чистота, восторженная нѣжность, рѣчь, которая, какъ музыка, больше намекаетъ, нежели высказываетъ,—все вмѣстѣ захватываетъ душу особенно юную, дѣвственную. Романтизму шла такъ же хорошо платоническая, несчастная любовь, какъ романтизмъ шелъ среднимъ вѣкамъ. Но время его миновало, поэты-романтики знать этого не хотятъ. А между тѣмъ, представьте вы себѣ вмѣсто изящнаго образа рыцаря Тогенбурга закованнаго въ желѣзо, съ крестомъ на груди — представьте г. Тогенбурга въ пальто и резинковыхъ калошахъ, проводящаго жизнь гдѣ нибудь въ Парижѣ, Лондонѣ, Брюсселѣ на улицѣ, дожидаясь „какъ стукнетъ окно,“ — и вамъ сдѣлается ужасно смѣшно...

Мечтательность, романтизмъ, платоническая любовь, — все это въ наше время очень хорошо при переходѣ изъ отрочества въ юношество. Душа моется, расправляетъ крылья въ этомъ фантастическомъ морѣ, въ этомъ упоительномъ полумракѣ. Но остаться на вѣкъ мечтательно вздыхающимъ, страдающимъ безнадежно *по ней*, стремящимся и возносящимся — не видя, что подъ ногами дѣлается, что надъ головою гремитъ!... Какъ люди вѣчно занятые суетою ежедневности, бессознательно влекомые общимъ движеніемъ, совершенно внѣшніе и ограниченные вышли, съ одной стороны, изъ жизни истинно человѣческой, такъ мечтатели, исполненные неопредѣленной тоски, сердечныхъ страданій, боящіеся грубыхъ прикосновеній дѣйствительности, въ другую сторону вышли изъ жизни. Первые возвратились въ состояніе животныхъ или не дошли еще до человѣческаго; они довольны своею жизнію на скотномъ дворѣ. Вторые вышли изъ человѣческой жизни въ какую-то степь, по которой сколько ни пройдешь, столько же остается. Тѣ не могутъ прійти въ себя, эти выйдти

изъ себя не могутъ. Жизнь не для нихъ; это два берега ея: она величественно течетъ между ними. На мечтателей часто клепаютъ глубину души, неизвѣстную намъ, профанамъ: тамъ „покоится не одна прекрасная жемчужина,“ да они ее выковырять не могутъ, и словъ нѣтъ высказать и звуковъ нѣтъ спѣть... Знаете ли, что мнѣ подѣ часъ приходитъ въ голову? глубина эта похожа на то, что еслибъ выкопать колодезь до центра земли и все продолжать копать, каждый шагъ глубже былъ бы шагомъ ближе къ поверхности. Центръ тяжести—граница глубины; еще разъ, жизнь—статистическая задача—ни *igorro*, ни *igorro* росо. *Tgorro* росо—человѣкъ въ толпѣ съ низкими желаніями безгласенъ; *igorro*—человѣкъ внѣ дѣйствительности въ сферѣ праздной и бесполезной... Возвращаюсь къ любви. Мучительная любовь не есть истинная, а... „Знаешь ли ты,“ сказалъ мнѣ одинъ ученый другъ, которому я читалъ эту тетрадь, „знаешь ли ты условіе, чтобъ не дурную, да и не хорошую статью прочли?“ Я навострилъ уши. „Надобно,“ продолжалъ онъ съ важностью ученаго и съ участіемъ друга, точно въ статистической задачѣ жизни человѣческой: „чтобъ было сказано ни *igorro*, ни *igorro* росо. Въ послѣднемъ ты предостерегся, я первой отдаю полную справедливость; подумай о второмъ; вспомни историческую воздержность Сципіона.“

Подумавъ и вспомнивъ историческую воздержность Сципіона, я остановился; тѣмъ болѣе не осмѣлюсь заставить благосклоннаго читателя (если Богъ пошлетъ его) читать продолженія безсвязныхъ *Grübeleien*.

10 октября, 1842.



## ОГЛАВЛЕНІЕ

---

СТР.

### РАННЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ (1834—1840)

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| ЗНАМЕНІТЫЕ СОВРЕМѢННИКИ: Гофманнъ. . . . .                | 3  |
| Рѣчь, сказанная при открытіи Вятской публичной библіотеки | 27 |

### ЖУРНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ (1840—1845)

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| ПИСЬМА ОВЪ ИЗУЧЕНІИ ПРИРОДЫ. . . . .                               | 33  |
| РАЗСКАЗЫ О ВРЕМЕНАХЪ МЕРОВИНГОВЪХЪ ( <i>Предисловіе</i> ). . . . . | 301 |
| ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ДРАМЫ . . . . .                                    | 308 |











AC  
65  
1742  
V. 1-2



**Stanford University Libraries**  
**Stanford, California**

**Return this book on or before date due.**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

